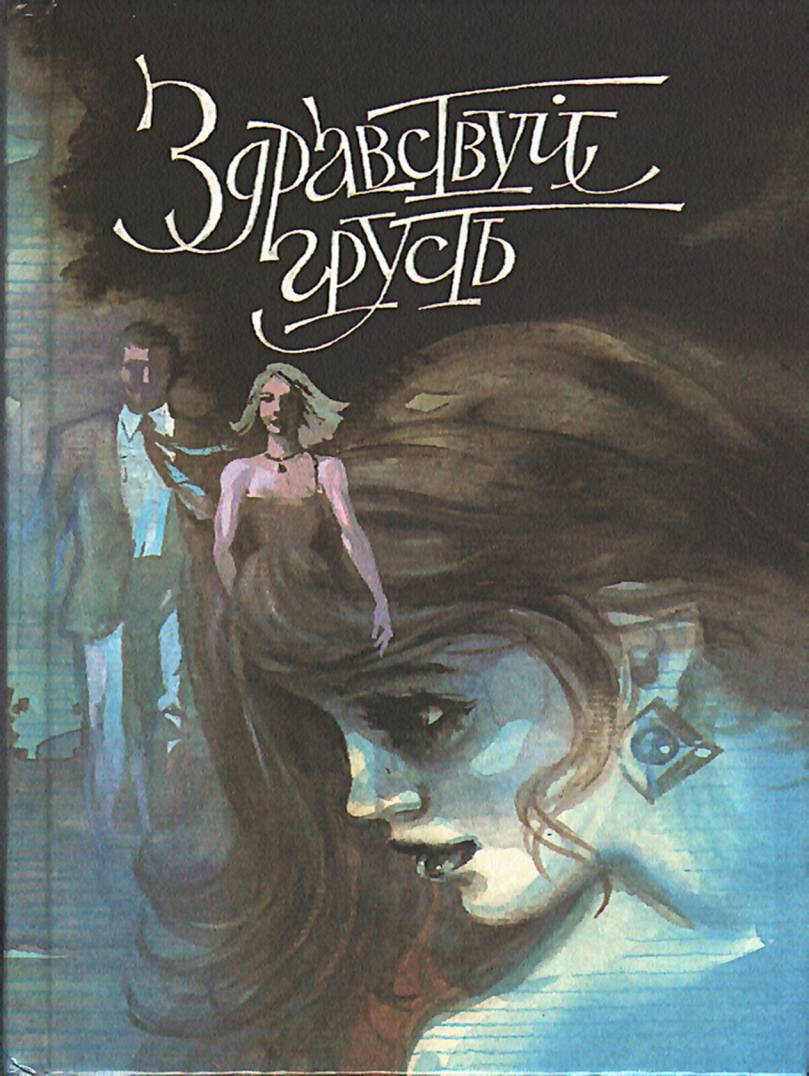
# Здравствуй, грусть



# Здравствуй, грусть

## Франсуаза Саган, Анн Филип, Робер Андре, Робер Андре, Симона де Бовуар, Франсуа Нурисье, Клер Галуа

Аннотация
Здравствуй, грусть. Современная французская психологическая повесть
Свидетельство чувств
ФРАНСУАЗА САГАН. Здравствуй, грусть. Перевод Юлианы Яхниной
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Анн Филип. ОДНО МГНОВЕНЬЕ. Перевод Киры Северовой
Робер Андре. ВЗГЛЯД ЕГИПТЯНКИ. Перевод Мориса Ваксмахера
Симона де Бовуар. ПРЕЛЕСТНЫЕ КАРТИНКИ. Перевод Ленины Зониной
Франсуа Нурисье. ХОЗЯИН ДОМА. Перевод Норы Галь
Клер Галуа. ШИТО БЕЛЫМИ НИТКАМИ. Перевод Елены Бабун

## Аннотация

В сборник включены психологические повести известных французских писателей — Франсуазы Саган («Здравствуй, грусть») Робера Андре («Взгляд египтянки»), Клер Галуа («Шито белыми нитками») и др., которые представляют собой своеобразную реакцию литературы на усиливающееся наступление капитала во всех сферах жизни.




Современная французская
психологическая повесть

Москва
Издательство «Правда»
1990

# Здравствуй, грусть
# Современная французская психологическая повесть

## Свидетельство чувств

В сборник включены шесть повестей, написанных французскими авторами 50—60-х годов XX века, разными по возрасту, по жизненному и творческому опыту, по манере письма.

При явных различиях эти произведения имеют общую, объединяющую их тональность: все шесть повестей пронизывает острая, щемящая душу грусть. В них выражено ощущение трагизма жизни, переданы внутренняя боль и взволнованное, тревожное состояние личности.

Не следует думать, будто составитель сборника специально отыскивал во французской прозе упомянутого периода особо мрачные книги, дабы показать, как, мол, «там у них скверно живется».

Достаточно бросить самый беглый взгляд на литературу, театр, кино 50—60-х годов, чтобы убедиться в типичности, характерности для своего времени включенных повестей.

Почти во всех книгах, удостоенных литературных премий в течение тех лет, — трагический конец (убийство, самоубийство, разлука, несчастный случай и т. д.). В списках наиболее читаемых книжных новинок на первых местах значат-

ся, как правило, романы о неудачной любви, о трагедии одиночества, о разрыве человеческих связей, о бедах и несчастьях людей. С криком отчаяния и гнева входит в литературу 60-х годов значительное число молодых писателей (особенно заметная фигура — Ле Клезьо). На парижской сцене царит «театр абсурда», в моду вошли Беккетт, Ионеско, Артур Адамов и др. с их мрачными, пессимистическими пьесами. Огромным успехом пользуются фильмы о трагических судьбах и о несостоявшемся счастье (некоторые из них, например, «Монпарнас-19», «На окраине Парижа», «Мужчина и женщина», «Супружеская жизнь» и др. шли также в СССР). Даже детективные романы приобрели в те времена трагический привкус, показывая на первом плане безысходное состояние жертвы, оказавшейся в смертельной ловушке (Буало-Нарсежак, Себастьян Жапризо и др.).

Что же, собственно говоря, вызвало всю эту печальную литературу? Откуда взялись трагические нотки?

Незадолго до периода, отраженного в повестях настоящего сборника, закончилась вторая мировая война, которая вызвала радикальную переоценку духовно-этических ценностей, обнажила несостоятельность привычных представ-

лении и вековых верований. Наиболее полно это разочарование в прежних прочных философско-религиозных устоях выразил экзистенциализм — учение, созданное Ж.-П. Сартром.

Под непосредственным воздействием сартровской доктрины развивается в 40-е и 50-е годы значительная часть литературы. Появляется даже термин «экзистенциалистский роман», который в видоизмененном виде существует и поныне, а породившая его философия как бы растворилась в духовной среде, вошла органично в жизненные представления французов, определяя нередко позиции даже тех писателей, которые вовсе не считают себя последователями Сартра.

Естественно, что литература, возникшая на основе или под влиянием экзистенциалистской философии, не может быть веселой, радостной и оптимистичной, ибо она проводит художественное исследование трагедии индивида, брошенного во враждебное ему «существование». В 50—60-е годы это трагическое восприятие мира получает новый импульс в связи с болезненной реакцией на резко усилившуюся дегуманизацию социально-производственных и межличностных отношений. Ее с особой остротой ощутили миллионы французов в связи с глубокими пере-

менами и потрясениями в обществе, вызванными небывалым экономическим подъемом, который пережила Франция примерно с середины 50-х до начала 70-х годов. Оправившись за 10–12 лет от последствий войны, она стала развиваться бешеными темпами (ежегодный рост производства в среднем — шесть процентов), используя достижения научно-технической революции, природное трудолюбие своего народа и такой мощный стимул, как реально удовлетворяемая материальная заинтересованность.

За 15 лет в стране произошли изменения, для каких в былые времена понадобилось бы не менее столетия. Обновленная Франция вошла в пятерку наиболее развитых и богатых стран мира. И хотя сохранилось и даже обострилось неравенство, осталось за бортом процветания немало бедняков, в целом люди жить стали значительно лучше, чем в 40-е годы.

Казалось бы, надо радоваться, а не писать грустные книги. Но писатели (а вместе с ними философы, публицисты, социологи) заявили, что этот «великий скачок» в материально-технической сфере был осуществлен за счет попрания и даже разрушения коренных человеческих и духовно-нравственных ценностей. Цена эконо-

мических успехов оказалась слишком высокой — произошло заметное снижение значимости человека, отдельной личности.

Крайне ускоренный характер развития обнажил то, что не бросилось бы заметно в глаза при более плавной и последовательной эволюции. Но в данном случае вышла наружу, стала очевидной явная бесчеловечность системы, обеспечивающей прибыль, доход, богатство и в конечном счете — прогресс. В рамках действия ее механизмов человек, отдельный индивид нужен лишь как участник процесса производства, как хорошо отлаженный инструмент или как безотказно действующая «покупательная машина», способная обеспечивать выгоду. Все остальные человеческие качества не нужны, мешают функционированию системы.

Становилось ясным, что происходящие изменения не были ориентированы на защиту и укрепление гуманистического начала. Сфера «человеческого фактора» оказалась слишком загрязненной, зараженной «отходами производства», что сказалось на общем моральном состоянии общества.

Резко изменились нравы, развилось стремление к потреблению материальных благ как к

единственной цели и главному смыслу существования, усилилась тяга к показной роскоши, к престижности, к разного рода удовольствиям и развлечениям. Внешнее, броское, поверхностное ценится теперь неизмеримо выше, чем подлинное, глубокое, значительное.

Чисто функциональный, расчетливый подход проникает и в область чувств. Человек нужен человеку лишь для «дела», для практических целей не только в социально-производственной сфере, но и в рамках семейно-личностных отношений. Все труднее и реже понимают друг друга близкие люди, все острее ощущают они взаимную отчужденность, все чаще вспыхивают конфликты, вызванные нарушением душевных и духовных контактов. Связи между личностями оказываются крайне поверхностными, непрочными и легко рвутся. Резкое обострение некоммуникабельности становится нормой и тяжело ранит души людей.

К этому нужно еще добавить, что сознание огромного большинства населения постоянно гложет все нарастающая неудовлетворенность их потребительских запросов, которые никогда не могут быть полностью удовлетворены, ибо рождаются все новые и новые. Они создаются

модой, соображениями престижа и вездесущей рекламой, диктующей вкусы и потребности. Происходит фактически манипулирование психикой и волей людей, превращенных в бездумные «автоматы» по совершению покупок (независимо от материального уровня, ибо, если нет денег, покупай в кредит, бери в долг).

В обществе постепенно накапливается недовольство, принимающее самые разнообразные, порой причудливые и резкие формы, особенно среди молодежи («хиппизм», левый экстремизм и т. п.). Своеобразным выхлопом этого накопившегося недовольства стали события мая — июня 1968 года, потрясшие весь мир бурным проявлением протеста огромного числа людей (тогда развернулась забастовка самая мощная за всю историю Франции — более 10 млн. участников).

Художественная литература середины 50-х — конца 60-х годов вобрала в себя и сублимировала эти настроения всеобщей неудовлетворенности, что и вызвало грустные интонации повестей, включенных в сборник. Люди, представленные на их страницах, не только лишены (в духе экзистенциализма) каких-либо идейно-нравственных опор и внушающих надежды идеалов счастливого будущего, но с особой обостренно-

стью ощущают свое социальное одиночество в мире, где разорвались живые человеческие связи, где царит функциональный рационализм и холодный расчет.

Писатели, однако, не ограничиваются изображением несчастий и бед, которые переживают их персонажи, они раскрывают значительность и глубину их чувств. Тем самым восстанавливается истинная мера человека, ибо со всей очевидностью явствует, что как бы ни оболванивало людей «общество потребления», как бы ни принижалась значимость человеческого начала в современной действительности, человек был и остается великой, непреходящей ценностью. Каждая личность несет в себе целый мир духовного, психологического, эмоционального богатства. Она единична по своей сути, незаменима, и ее утрата невосполнима. Поэтому несчастья и беды человека, даже в сугубо личной, интимной сфере жизни обретают глубокий трагический смысл.

Для того, чтобы нагляднее выразить трагичность судьбы своих персонажей, писатели стремятся как можно полнее и выразительнее показать их психологическое состояние в момент кризисно-экстремальной ситуации, когда эмоции особенно обострены. Для этой цели они

используют такие художественные средства, которые усиливают особую взволнованность, тревожное состояние действующих лиц. Передается и авторское эмоциональное отношение. Автор и персонаж нередко сливаются в единое целое даже в тех произведениях, которые написаны от третьего лица. Текст, как правило, излагается в форме живого монолога. Создается впечатление, будто это расшифрованная магнитофонная запись устной речи. Все это придает произведению особо доверительный, «исповедальный» характер.

Открывается сборник повестью Франсуазы Саган «Здравствуй, грусть». В 1954 году ее появление было встречено шквалом статей, выступлений, бурных споров. Автор — в то время 19-летняя студентка Сорбонны (подлинное ее имя Франсуаза Куарез) — сразу же превратилась в литературную «звезду». Конечно, немалую роль сыграла здесь и реклама, умело использовавшая такой редкий случай, как написание произведения высокого художественного уровня в столь юном возрасте. Но еще сильнее потрясло читателей и критиков то, о чем осмелилась рассказать героиня повести Сесиль — девушка из порядочной буржуазной семьи, только что вышедшая из закрытого като-

лического учебного заведения, где она получила среднее образование и должное нравственное воспитание (как и автор повести). Откровенно, нисколько не смущаясь, она поведала о радостях физической любви, о том, как прекрасно быть молодой, здоровой, любить жизнь и наслаждаться ею в объятиях любовника (не жениха, не мужа, а именно любовника). «В мое время, — восклицал горестно один критик, — девушкам запрещали читать книги, которые они теперь пишут». В повести Саган читатели увидели своеобразное знамение времени, примету начавшейся эпохи «свободных нравов». Примерно в это же время еще одна девушка из приличной буржуазной семьи, начинающая актриса Брижит Бардо — появилась на экране в голом виде в фильме Роже Вадима «И бог создал женщину».

В героине повести Саган и в образе, созданном Брижит Бардо, усматривали провозвестниц грядущих чудовищных перемен в нравах общества. В прессе создался миф о Саган как об эдакой юной прожигательнице, которая танцует до утра в ночных ресторанах, хлещет не разбавленное виски, водит машину на бешеной скорости (почему-то босиком, что особенно возмущало). Дело даже не в том, соответствовал ли этот миф реаль-

ности. Просто именно так преломился в сознании тех, кто писал о ней, прозвучавший в ее повести вызов принятым условностям и ханжескому лицемерию.

Однако книга вовсе не сводится к этим породившим сенсационную шумиху «смелостям», которые, кстати сказать, сегодня, когда во французском обществе полностью снята цензура, и том числе и на порнографию, кажутся наивными и давно устаревшими. «Здравствуй, грусть» привлекает прежде всего искренностью тона, свежестью и остротой восприятии мира. Бурная радость жизни, которую испытывает Сесиль, причудливо и вместе с тем органически сочетается с какой-то глубокой печалью, с чувством острой неудовлетворенности. Ф. Саган подчеркивает драма драматический, подспудный мотив повествования тем, что выносит в заглавие строчку из лирического стихотворения Поля Элюара. Это же стихотворение она ставит эпиграфом. Открывается повесть фразой, которая должна настроить читателя совсем не на веселый лад: «Это незнакомое чувство, преследующее меня своей вкрадчивой тоской, я не решусь назвать, дать ему прекрасное и торжественное имя — грусть». Весь последующий текст фактически сводится к

тому, чтобы объяснить, откуда могло взяться это странное для героини повести чувство. Для его появления не было, казалось, никаких оснований в то лето, когда ей «минуло семнадцать лет» и она была «безоблачно счастлива».

Состояние счастья достигается чисто импульсивным, бездумным существованием. Сесиль просто и искренне радуется южному солнцу, теплому морю, прекрасной природе и ощущениям, которые ей принесло открытие физической любви. Она чувствует себя наподобие «цикад, опьяненных зноем и лунным светом», и знает, что, когда кончится лето и они с отцом вернутся в Париж, она будет по-прежнему вести такой же легкий, ничем не обремененный образ жизни, нацеленный только на удовольствия, ибо так легко и просто, ни о чем не задумываясь, живет ее отец.

И вот такую совершенно безоблачную идиллию нарушает появление Анны Ларсен — подруги покойной матери Сесиль, приехавшей с явной целью женить на себе беспутного и легкомысленного вдовца, сделать из него покорного мужа, порядочного семьянина, что вполне могло удаться, если бы не противодействие со стороны Сесиль, которая ловкой интригой сумела расстро-

ить намечающийся брак, что в конечном счете приводит к гибели Анны.

Конфликт между Сесиль и Анной составляет ядро, главное содержание повести. Вроде бы банальное, обычное противостояние будущей мачехи и падчерицы обретает глубокий смысл. С одной стороны, оно предстает перед читателем как столкновение свободных, ничем не скованных чувств, живого, непосредственного восприятия мира с устаревшими нормами морали, с застывшими, «принятыми в обществе» критериями и правилами поведения. Анна, с точки зрения Сесиль, сковывает и унижает ее как личность, не дает ей свободно и импульсивно развиваться, за что и наказана. Гедонизм, чувственное наслаждение жизнью одержали победу над благоразумием, рассудительностью и рационализмом. Чувства победили разум. Юная героиня повести и ее беспечный отец могут теперь беспрепятственно продолжать свою погоню за удовольствиями.

Но, с другой стороны, тот же самый конфликт постепенно приобретает совсем иную окраску. Все явственнее проступает в тексте повести понимание, что Сесиль защищает бездуховное, эгоистическое, по сути, пустое существование.

Она отстаивает чисто функциональный подход к людям, при котором человек важен и ценен не сам по себе, не в силу своих личных качеств, а лишь как предмет удовольствия. Анна, напротив, воплощает как бы более высокую культуру чувств, более развитое духовное и нравственное начало. Если для Сесиль и ее отца любовь — всего лишь их собственные приятные ощущения от общения с меняющимися партнерами, то для Анны «это постоянная нежность, привязанность, потребность в ком-то». Это понимает и сама героиня повести, чувствуя, что ее отец (как и она) был «неполноценным в эмоциональном отношении», или, по словам Анны, «жалким рабом своих прихотей». Сесиль отдает должное человеческим качествам Анны, восхищается ее культурой, ее достоинством, ее умением владеть собой. Она бы даже полюбила эту женщину, не окажись та препятствием на ее пути к наслаждениям.

Но вот путь свободен, препятствие убрано, а вместо радости Сесиль вдруг остро ощутила совершенно незнакомое ей чувство и назвала его «грустью». Вся эта история с Анной, ее гибель вызвали сильное нравственное потрясение в душе героини. Она ясно осознала цинизм, бесчеловечность той веселой жизни, которую они

с отцом ведут и, очевидно, будут продолжать вести. Однако и мир прежних, традиционных ценностей, который отстаивала Анна, Сесиль и всему ее поколению представляется утратившим привлекательность, безнадежно устаревшим. Получается, что нет ничего ценного, ради чего стоит жить, трудиться, гореть и вдохновляться. Сесиль ощущает это столь остро, что ей кажется, будто она заглянула в пропасть, в бездонную пустоту — и содрогнулась от ужаса. Так вроде бы интимная, сугубо частная коллизия становится глубинным социально психологическим обобщением, и это превращает книгу Франсуазы Саган в своеобразный манифест молодого поколения, остро почувствовавшего идейно-нравственный вакуум общества, в котором оно начинает свою жизнь. Возник даже термин «поколение Франсуазы Саган». К тому времени, когда писательница выпустила еще три повести («Смутная улыбка», 1955; «Через месяц, через год», 1957; «Любите ли вы Брамса?», сложилась целая литература об ее творчестве. Никогда еще не было столько написано об авторе, едва достигшем 25-летнего возраста. Однако бурный успех не вскружил голову начинающей писательнице. Франсуаза Саган написала еще немало романов и повестей,

став известным драматургом и публицистом и прочно вошла во французскую литературу. Обычно она выступает на стороне несправедливо обиженных людей и социальных групп, высказывалась несколько раз в поддержку левых сил Франции. В 1988 году Ф. Саган посетила Советский Союз, приветствовала происходящие в нем перемены и миролюбивую внешнюю политику нашей страны.

«Здравствуй, грусть» стоит несколько особняком в нашем сборнике. Она была своего рода «зарницей», сигналом тревоги, вызванной нравственным неблагополучием и торжеством бездуховности в обществе. Остальные повести, включенные в книгу, относятся к более позднему периоду, к 60-м годам, когда в литературе ощутимо начал сказываться прилив гуманистических идей и представлений. Еще в середине 50-х годов теоретик «нового романа» Ален Роб-Грийе громогласно возвестил: «Человек был смыслом всего, ключом ко всему миру и его естественным источником. Почти ничего от всего этого сейчас не осталось»[1]. Это означало, что незачем больше ставить образ человека в центр повествования.

---

**[1] Примечания: 1**

Цит. по книге: «Судьбы романа», М. 1975. С. 10.

Создается новая романная модель, где вместо характеров и живых персонажей выводится расплывчатый «некто», герметически отгороженный от реальной жизни, погруженный в текст, который заполнен длинными описаниями «вещного мира» (так называемая «школа взгляда»), или залитый нескончаемым потоком речи. Иными словами, происходит сознательное «расчеловечивание» литературы, отказ от ее человеческой концепции.

К началу 60-х годов выходит из моды экзистенциализм как философии (хотя остаются еще в практике принципы экзистенциалистского романа), его сменяет холодный, лишенный человеческого тепла структурализм. Этот метод исследования, применяемый в лингвистике, где он имеет свои достоинства, воспринимается уже не как метод, а как мировоззрение, как универсальное объяснение всех явлений природы и общества. Главным становится выявление форм и механизмов функционирования знаково-символических систем культуры, при этом происходит абстрагирование от конкретных, живых, чувственно-ощутимых проявлений сущности исследуемого объекта. В середине 60-х годов философ-структуралист Мишель Фуко напу-

гал французов своим заявлением: «Человек — это изобретение недавнего времени, и конец его, может быть, уже недалек… человек изгладится, как песчаное изображение на морском пляже».[2]

Естественно, что во Франции — стране богатейших и давних гуманистических традиций — столь явное принижение человеческого начала и в теории, и в практике не могло не вызвать протеста. Значительная часть французских писателей крайне болезненно и резко отрицательно реагирует на эту дегуманизацию, стремится защитить человеческие ценности, оказавшиеся под угрозой. Основную роль взяла на себя психологическая художественная литература (роман, повесть, поэзия, драма и даже комедия). В русле этой «человекозащитной» литературы были созданы и повести, вошедшие в наш сборник.

«Одно мгновенье» Анн Филип, появившееся в 1963 году, трудно назвать повестью и вообще отнести к какому-то определенному жанру. Толчком к написанию книги послужила преждевременная смерть еще совсем молодого, но уже знаменитого во всем мире, обаятельного и яркого актера Жерара Филипа. Его вдова изложила на

---

**[2] Примечания: 2**

Foucaux. Les mots et les choses. Paris, 1966, c. 398.

бумаге свои чувства, вызванные тяжелой утратой. Она нигде не называет имен, не указывает, что речь идет именно о Жераре Филипе, а дает анализ душевного состояния Женщины, потерявшей Любимого. Она перебирает в памяти светлые минуты их счастья, воссоздает мучительные последние месяцы жизни, когда она уже знала, а он не знал, что обречен на смерть, кричит от отчаяния и стремится при этом не утратить человеческого достоинства, не погибнуть самой, ибо у нее есть дети и она обязана жить. Конечно, здесь нет сюжета в традиционном смысле слова и вообще последовательного, связного повествования. Автору не до того. Текст представляет собой магму слов, передающих живые человеческие ощущения и переживания. Это крик души человека в момент несчастья.

И тем не менее Анн Филип создала художественное произведение глубокого человеческого содержания, обобщающего характера и выразительной формы. Она показала огромную значимость и ценность отдельной человеческой личности, раскрыла величие и красоту человеческих чувств, воспела гимн Любви. «Наша жизнь — что она для вечности? Мгновенье. Одно мгновенье!» — горестно восклицает Анн Филип.

Не случайно она выносит эту мысль и в заглавие книги. «Одно мгновенье» — о чем тут говорить? Но весь текст книги как раз и посвящен тому, чтобы наглядно и убедительно показать, каким это «мгновенье» может быть ярким, прекрасным, значительным. Потрясение, вызванное смертью, настолько обострило восприятие прошлого, что каждый пережитый вместе с любимым миг жизни озаряется особым светом. И то, что раньше казалось обычным, обыденным, теперь видится по-особому глубоким и насыщенным. «Мы богаты, — пишет она, — нас обогатили бесчисленные мгновенья, пережитые вместе»).

Так при всех личных, конкретных воспоминаниях частный случай из жизни одной женщины вырастает до глубокого обобщения. Повесть (если можно к ней применить этот термин) воспринимается не как стенания убитой горем вдовы, а как серьезный анализ личной трагедии, показанной в соотнесенности с этическими и даже философскими проблемами. «Я пыталась добраться до глубины нас самих», — пишет автор и вскрывает источник поддерживающей ее и мужа внутренней силы: духовную близость, высок не нравственные критерии, а главное — подлинную, без всякой фальши, человечность. «Наша судь-

ба, — размышляет Анн Филип, — в значительной мере зависит от того, как мы представляем себе счастье».

Повесть «Одно мгновенье» имела необычайный успех у читателей. Впоследствии Анн Филип стала известной писательницей, выпустила в 60—80-е годы несколько изящных по стилю, тонких психологических повестей, обогативших этот жанр французской литературы.

Раскрытие духовного богатства личности в острой ситуации стало все чаще привлекать писателей 60-х годов. В небольшой повести «Взгляд египтянки» (1965) известный романист Робер Андре показывает, какое внутреннее преображение произошло с пожилым бизнесменом Пьером Рени, когда он почувствовал приближение смерти. Это был человек, лишенный духовной культуры. Все его жизненные представления ограничивались сугубо материальными, конкретно-осязаемыми категориями. Он увлеченно «делал деньги», отдавая работе строителя-подрядчика все свое время и силы. Жену не любил, жил с нем очень недружно («35 лет ссор и раздоров»), предпочитал развлекаться на стороне. Но вот он тяжело заболел. Жена везет его в Венецию — переменить климат, отдохнуть. Теперь он це-

ликом в руках у этой ненавистной ему женщины и знает, что жить осталось недолго. Есть от чего прийти в отчаянье.

Робер Андре — опытный мастер психологической прозы — как бы подносит увеличительное стекло к своему персонажу, и перед читателем крупным планом возникают сложнейшие коллизии душевных переживаний. В повести показано, какое «колдовское» воздействие оказала на героя Венеция — сам город, его каналы, его площади, соборы, музеи. Рени пережил, по словам автора, «эстетическое потрясение». Находясь и крайне напряженном, кризисном психологическом состоянии, он остро почувствовал силу красоты и впервые проявил способность думать о чем-то, кроме дела, работы и сугубо материальных предметов. Особенно сильное впечатление произвела на него картина итальянского художника Тинторетто «Мария Египетская». Взгляд этой египтянки с полотна топит холод предсмертного отчаяния, которым охвачен Пьер Рени. Можно было бы сказать, что красота побеждает смерть, во всяком случае, пробуждает дух, но Робер Андре, тонкий психолог, не ограничивается этой в общем-то банальной истиной и вскрывает более глубокие пласты души своего героя. Конечно, от соприкос-

новения с прекрасным произошли изменения — Рени испытывает «чувство умиротворения», становится в какой-то степени иным, чем был раньше. Но в то же время в нем усиливается и обостряется желание жить, и проявляется оно в соответствии с его низким духовным уровнем: умиротворение сменяется яростным протестом, озлоблением, Венеция теперь кажется слишком «рыхлой, размягченной и гнилой», Рени начинает вдруг остро ощущать затхлый запах, идущий из каналов этого города на воде. Цепляясь за жизнь в ключе своих примитивных представлений и понятий, он посещает проститутку в убогом борделе. Этот визит приобретает символический и даже патетический характер. Порожденный «венецианской иллюзией» порыв удержаться в жизни, в желаниях, в силе оборачивается нелепой, жалкой попыткой человека, не способного на большие чувства и устремления, спасти себя путем прикосновения к живой плоти.

Умирая, Рени вдруг почувствовал любовь к жене. Это была последняя душевная конвульсия, вызванная защитной реакцией обреченного на смерть. И в душе жены «расцветает сострадание», вспыхивает давно погасшая любовь. Перед лицом смерти высокие чувства озаряют эту «призем-

ленную» пару.

Робер Андре посвящает большую часть повести видениям, грезам и размышлениям умирающего. Он ведет читателя по причудливым изгибам душевных перепадов, вызванных страхом смерти, обнажает тончайший механизм человеческой психологии. Он стремится показать, какое сложное переплетение мотивов, побуждений и самых разнообразных ощущений и чувств представляет собой духовный мир даже такого примитивного человека, каким был герой его повести, и в этом заложен глубокий гуманистический смысл произведения.

Остальные три повести сборника нацелены не столько на общие проблемы значимости и ценности человека, сколько на изображение конкретных проявлений распада межличностных отношений. Используется для этого жанр исповедальной повести (или «романа-исповеди»).

Именно в таком жанре создала в 1966 году свою повесть «Прелестные картинки» Симона де Бовуар. «Меня побудило написать эту книгу, — рассказывала она корреспонденту газеты „Монд“, — очень сильное раздражение, которое я испытываю перед миром лжи, плотно обступившим нас. Пресса, телевидение, реклама,

мода пускают в обиход лозунги, мифы. Люди впитывают их в себя и заслоняются ими от реальности[3]». Писательница решила показать, как всюду проникающие искусственность и фальшь прекращают живую жизнь в серию «прелестных картинок» — своего рода эталонов, определяющих поведение и мышление людей. Не случайно свою героиню Лоранс, тридцатилетнюю неглупую женщину, она сделала сотрудницей рекламного агентства. Лоранс находится в самом центре огромной фабрики *лжи*, производящей «прелестные картинки».

Однажды героиня вдруг ясно осознала, что и ее собственная жизнь, и жизнь ее близких также строится по образцу «картинок». Задуматься и вглядеться в свое окружение ее заставили простые вопросы одиннадцатилетней дочери Катерины: «Мама, зачем мы существуем?», «Ну, а те люди, которые несчастливы, зачем они существуют?». Присмотревшись к себе, к своим родственникам, к друзьям и сослуживцам, Лоранс видит, что в том мирке, где она живет, царят неестественность, позерство, стремление подражать стереотипам и утрачены настоящие

**[3] Примечания: 3**
«Le Monde», 23.IV.66, с. 17.

человеческие ценности: любовь, счастье, истина, живые чувства. Близкие Лоранс замкнуты каждый в своей «картинке» и лишены внутренних, душевных контактов друг с другом. Лоранс испытывает ощущение пустоты «что с одним, что с другим» и с пронзительной остротой осознает ужас одиночества.

Чтобы передать это «прозрение» и его последствия, писательница использует форму внутреннего монолога. Действие загнано внутрь; движущей силой, подлинным сюжетом книги являются не сами события, а психологические реакции на них героини повести, ход ее переживаний и размышлений. Все, о чем идет речь, предстает увиденным глазами Лоране в момент ее «прозрения» и приобретает эмоциональную, субъективную окраску. Речь персонажей воспроизводится не сама по себе, а как бы услышанной ею. Чтобы передать это постоянное присутствие своей героини, писательница прибегает к разным способам, например, к своеобразному «двуголосию», когда высказывания какого-либо персонажа или описание перебиваются звучанием внутреннего голоса рассказчицы, дающей свою оценку происходящему. А есть и прием «многоголосия» — когда без скобок, прямым по-

током льются фразы, произносимые разными людьми, не выделенные в диалоги.

Симона де Бовуар не только передаст самыми разными средствами боль, тревогу, отчаянье своей героини, но и сама внутренне слита с ней в единое целое. То, что увидела и почувствовала героиня романа в момент своего «прозрения», ненормально, с точки зрения автора, не должно быть, ибо человек заслуживает лучшей участи.

Близка по своей направленности к «Прелестным картинкам» повесть Франсуа Нурисье «Хозяин дома» (1968), еще более характерная для жанра «романа-исповеди», поскольку насыщена автобиографическими мотивами.

Крупный мастер психологического романа и, пожалуй, самый влиятельный сегодня литературный критик, Нурисье почти во всех своих произведениях так или иначе рассказывает о собственной жизни. Сын бедной вдовы из парижского предместья, он ценой огромных усилий сумел получить высшее образование, сделать блестящую карьеру в издательском и журналистском мире, попасть в число ведущих законодателей литературной моды. В конце 50-х — начале 60-х годов он был главным редактором журнала «Парижанка», который имел тогда успех

и влияние. Позже он входил в состав руководства ряда издательств.

Оказавшись среди завсегдатаев салонов «сильных мира сего», увидев изнанку литературно-издательской «кухни», Франсуа Нурисье стал высказывать в своих произведениях глубокое отвращение к этой среде, не порывая, однако, с ней. Такая духовно-нравственная раздвоенность вылилась в острое ощущение неудовлетворенности жизнью, которая выразилась в нервной, резко сатирической и одновременно лирической прозе Нурисье, где автор был предельно откровенен в обрисовке своей среды и самого себя. Наиболее известные его произведения 50—70-х годов — автобиографическая трилогия «Синий как ночь» (1958), «Мелкий буржуа» (1963), «Французская история» (1966), а также небольшие по объему, взволнованно написанные повести «Хозяин дома» (1968), «Взрыв» (1970) и роман «Аллеманда» (1973). В конце 70-х годов Ф. Нурисье пишет очерки-раздумья социально-философского и мемуарного содержания: «Письмо моей собаке» (1975), «Музей человека» (1978). Каждая из его книг привлекает искренностью тона, эмоциональностью изложения. В них звучит голос человека, который задыхается в душной атмосфе-

ре делового литературно-издательского Парижа, где властвуют фальшь и расчет, где гоняются за престижностью и модой. Ф. Нурисье создал особый жанр современной исповедальной, психологической прозы, сочетающей структуру традиционного психологического романа, приемы и технику «нового романа» со стилем интимного дневника.

«Хозяин дома» дает особенно яркое представление о манере этого писателя. Внешняя канва событий крайне бедна: поездка героя повести за город для осмотра дома, беседа с торговцем недвижимостью, ремонт дома, размещение в нем, приезд туда детей на каникулы, отношения с женой, с соседями.

Но это только поверхностный слой повествования. Главное в нем — рассказ о трагическом крахе иллюзий героя, который был глубоко неудовлетворен окружающей его действительностью, остро чувствовал фальшь и суетливую бессмысленность своего существования модного литератора, добившегося коммерческого успеха. Он мечтал отрешиться от пустой, бессодержательной парижской жизни, сбросить с себя налипшую мишуру, создать нечто вроде замкнутой «крепости» и жить там по-настоящему,

полнокровно, полновесно с близкими и дорогими для него людьми — женой и детьми, на фоне прекрасной французской природы. Поэтому покупка дома, его оборудование, его обживание приобретали своеобразный символический смысл как переход в новое качество. Но вот дом есть, а счастья нет. Многолетнюю мечту осуществить не удалось. Рассказчик постепенно обнаруживает, что у него нет контактов с детьми, а с женой установились сложные, напряженные отношения. В семье царит все та же некоммуникабельность, которую он болезненно ощущал вне стен дома. «Соединение нескольких одиночеств», — так определяет автор эту семью в интервью газете «Ле Суар».[4] Да и дом не стал настоящим укрытием, так как самим своим материальным существованием он вынуждает хозяина входить в контакты с ненавистным миром дельцов, спекулянтов, подрядчиков.

Как пишет Л. Андреев по поводу этой книги, «сам дом оказывается аллегорическим образом — укрыться в нем не удается, так как дом поражен теми же болезнями, что и все общество: он так же дряхл, так же неизлечимо болен, в нем

**[4] Примечания: 4**
«Le Soir», 20.II.68, с. 24.

воцарилось одиночество и предчувствие смерти»[5]. Духовная драма личности передается в форме внутренних монологов рассказчика, перебиваемых опять же внутренними монологами других персонажей (продавец дома, жена и др.). Повествование ведется в свободной, раскованной манере, в виде внешне неупорядоченного потока наблюдений, воспоминаний, размышлений «хозяина дома». Такой прием «высвечивает» внутреннее состояние персонажа и позволяет читателю ощутить вместе с ним неотвратимость краха мечты, что воспринимается не как частная неудача, а как трагическая утрата последней надежды в этом, по определению автора, «сером», «забытом богом» мире.

Противоречие между живыми человеческими чувствами и штампами социального поведения резко обнажено в повести Клер Галуа «Шито белыми нитками», которая появилась в 1969 году и поразила читателей обостренным до боли восприятием жизни. Героиня повести, девочка 12–13 лет, столкнулась со смертью близкого ей человека, 19-летней сестры Клер. Испытанное потрясение помогло ей увидеть окружающий мир в

**[5] Примечания: 5**

Андреев Л. Г. «Современная литература Франции. 60-е годы». М., 1977, с. 332.

ярком свете. Как при вспышке магния, высветилось то, что было скрыто, не бросалось обычно в глаза. Этот прием, характерный для всех повестей сборника, в данном случае усиливается острокритическим отношением к миру взрослых со стороны вступающей в него девочки-подростка.

С болью в сердце ощущает она, насколько несуразны, нелепы, а порой и просто бесчеловечны слова и поступки ее родных. «Мне было страшно, — замечает героиня повести в своем монологе. — Я обнаружила жестокость на дне маминой души». Автор показывает, что нравственная глухота и отталкивающие девочку действия взрослых порождены их социальным конформизмом ограниченных мещан, замшелых обывателей, поступающих и оценивающих мир не своими чувствами, а общепринятыми клише. Отец семейства, женившийся по корыстному расчету, поклонник порядка и власти (в кабинете висят портреты Петэна и Де Голля), не в состоянии воспринимать ничего, что выходит за рамки материально ощутимых благ и привычных штампов. Бабушка и мать живут в плену традиционных формальных представлений о поведении, не допускающих никакого проявления эмоционально-душевных порывов и нарушений

принятых норм. Поэтому незаконная, тщательно скрываемая от всех любовь покойной Клер, которая должна была, будучи уже беременной, выходить замуж за нелюбимого ею жениха, угодного родителям (ибо он из их среды и материально достаточно обеспечен), никак не укладывалась в восприятии ее родных. Они не могли понять дочь и были глубоко оскорблены, узнав об этой любви после ее смерти. Но по-настоящему их волнует другое — как бы урвать побольше денег с человека, который сбил своей машиной их дочь, едущую на велосипеде. «Ребенок — это капитал, и мы его отсудим!» — восклицает отец.

И только маленькая героиня повести догадывается о подлинной трагедии. Она вспоминает поведение сестры перед гибелью и понимает, что та была в отчаяньи, металась в одиночестве и, по всей вероятности, пришла к мысли о самоубийстве. Сделав такое открытие, девочка с ужасом смотрит на чудовищный мир родителей, видит, что он искусственный, фальшивый, что он «шит белыми нитками». Ей страшно вступать в такой мир. Поэтому повесть пронизана той же грустью, которая связывает в единое целое все повести нашего сборника, какими бы разными они ни были.

*Ю. Уваров*

# ФРАНСУАЗА САГАН. Здравствуй, грусть
## *Перевод Юлианы Яхниной*

*Прощай же грусть*
*И здравствуй грусть*
*Ты вписана в квадраты потолка*
*Ты вписана в глаза которые люблю*
*Ты еще не совсем беда*
*Ведь даже на этих бледных губах*
*Тебя выдает улыбка*
*Так здравствуй грусть*
*Любовь любимых тел*
*Могущество любви*
*Чья нежность возникает*
*Как бестелесное чудовище*
*С отринутою головой*
*Прекрасноликой грусти.*
***Поль Элюар*[6]**

---

**[6] Примечания: 6**
Перевод П. Борисова.



# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## Глава первая

Это незнакомое чувство, преследующее меня своей вкрадчивой тоской, я не решаюсь назвать, дать ему прекрасное и торжественное имя — грусть. Это такое всепоглощающее, такое эгоистическое чувство, что я почти стыжусь его, а грусть всегда внушала мне уважение. Прежде я никогда не испытывала ее — я знала скуку, досаду, реже раскаяние. А теперь что-то раздражающее и мягкое, как шелк обволакивает меня и отчуждает от других.

В то лето мне минуло семнадцать, и я была безоблачно счастлива. «Окружающий мир» составляли мой отец и Эльза, его любовница. Я хочу сразу же объяснить создавшееся положение, чтобы оно не показалось ложным. Моему отцу было сорок лет, вдовел он уже пятнадцать. Это был молодой еще человек, жизнерадостный и привлекательный, и, когда два года назад я вышла из пансиона, я сразу поняла, что у него есть любовница. Труднее мне было примириться с тем, что они у него меняются каждые полгода! Но

вскоре его обаяние, новая для меня беззаботная жизнь, мои собственные наклонности приучили меня к этой мысли. Отец был беспечный, но ловкий в делах человек, он легко увлекался — и так же быстро остывал — и нравился женщинам. Я тотчас полюбила его, и притом всей душой, потому что он был добр, щедр, весел и нежно ко мне привязан.

Лучшего друга я не могла бы и пожелать — я никогда не скучала с ним. В самом начале лета он был настолько мил, что даже осведомился, не будет ли мне неприятно, если Эльза, его теперешняя любовница, проведет с нами летние каникулы. Само собой, я развеяла все его сомнения: во-первых, я знала, что он не может без женщин, во-вторых, была уверена, что Эльза нас не обременит. Рыжеволосая высокая Эльза, нечто среднее между продажной девицей и дамой полусвета, была статисткой в киностудиях и в барах на Елисейских полях. Она была славная, довольно простая и без особых претензий. А кроме того, мы с отцом так хотели поскорее уехать из города, что смирились бы вообще с чем угодно. Отец снял на побережье Средиземного моря большую уединенную и восхитительную белую виллу, и мы стали мечтать о ней, едва настали первые

жаркие дни июня. Вилла стояла на мысу, высоко над морем, скрытая от дороги сосновой рощей; козья тропа сбегала вниз к маленькой золотистой бухте, где среди рыжих скал плескалось море.

Первые дни были ослепительны. Разомлевшие от жары, мы часами лежали на пляже и мало-помалу покрывались золотистым здоровым загаром — только у Эльзы кожа покраснела и облезала, причиняя ей ужасные мучения. Отец проделывал ногами какую-то сложную гимнастику, чтобы согнать намечающееся брюшко, несовместимое с его донжуанскими притязаниями. Я с раннего утра сидела в воде, в прохладной, прозрачной воде, окуналась в нее с головой, до изнеможения барахталась в ней, стараясь смыть с себя тени и пыль Парижа. Потом я растягивалась на берегу, зачерпывала целую горсть песка и, пропуская между пальцами желтоватую ласковую струйку, думала, что вот так же утекает время, что это нехитрая мысль и что нехитрые мысли приятны. Стояло лето.

На шестой день я в первый раз увидела Сирила. Он плыл на паруснике вдоль берега — у нашей бухточки парусник перевернулся. Я помогла ему выудить его пожитки, мы оба хохотали, и я узнала, что зовут его Сирил, он учится на юри-

дическом факультете и проводит каникулы с матерью на соседней вилле. У него было лицо типичного южанина, смуглое, открытое, и в выражении что-то спокойное и покровительственное, что мне понравилось. Вообще-то я сторонилась студентов университета, грубых, поглощенных собой и еще более того — собственной молодостью: они видели в ней источник драматических переживаний или повод для скуки. Я не любила молодежь. Мне куда больше нравились приятели отца, сорокалетние мужчины, которые обращались ко мне с умиленной галантностью, в их обхождении сквозила нежность одновременно отца и любовника. Но Сирил мне понравился. Он был рослый, временами красивый, и его красота располагала к себе. Хотя я не разделяла отвращения моего отца к физическому уродству, отвращения, которое зачастую побуждало нас проводить время в обществе глупцов, все-таки в присутствии людей, лишенных всякой внешней привлекательности, я испытывала какую-то неловкость, отчужденность; их смирение перед тем, что они не могут нравиться, представлялось мне каким-то постыдным недугом. Ведь все мы добиваемся только одного — нравиться. Я по сей день не знаю, что кроется за этой жаждой побед

— избыток жизненных сил или смутная, неосознанная потребность преодолеть неуверенность в себе и самоутвердиться.

На прощание Сирил предложил, что научит меня управлять парусником. Я вернулась к ужину, поглощенная мыслями о нем, и совсем или почти совсем не принимала участия в разговоре; я едва обратила внимание на то, что отец чем-то встревожен. После ужина, как всегда по вечерам, мы расположились в шезлонгах на террасе перед домом. Небо было усеяно звездами. Я смотрела на них в смутной надежде, что они до срока начнут, падая, бороздить небо. Но было еще только начало июля, и звезды были недвижны. На усыпанной гравием террасе пели цикады. Наверное, много тысяч цикад, опьяненных зноем и лунным светом, ночи напролет издавали этот странный звук. Мне когда-то объяснили, что они просто трут одно о другое свои надкрылья, но мне больше нравилось думать, что эта песня, такая же стихийная, как весенние вопли котов, рождается в их гортани. Мы блаженствовали; только маленькие песчинки, забившиеся под блузку, мешали мне уступить сладкой дремоте. И тут отец кашлянул и выпрямился в шезлонге.

— К нам собираются гости, — сказал он.

Я в отчаянии закрыла глаза. Так я и знала: слишком уж мирно мы жили, это не могло долго продолжаться.

— Скажите же скорее, кто? — воскликнула Эльза, падкая на светские развлечения.

— Анна Ларсен, — ответил отец и обернулся ко мне.

Я молча смотрела на него, я была слишком удивлена, чтобы отозваться на эту новость.

— Я предложил ей погостить у нас, когда ее утомит выставлять свои модели, и она… она приезжает.

Вот уж чего я меньше всего ждала. Анна Ларсен была давнишней подругой моей покойной матери и почти не поддерживала отношений с отцом. И однако, когда два года назад я вышла из пансиона, отец, не зная, что со мной делать, отправил меня к ней. В течение недели она научила меня одеваться со вкусом и вести себя в обществе. В ответ я прониклась к ней пылким восхищением, которое она умело обратила на молодого человека из числа своих знакомых. Словом, ей я была обязана первыми элегантными нарядами и первой влюбленностью и была преисполнена благодарности к ней. В свои сорок два года это была весьма привлекательная, изящная

женщина с выражением какого-то равнодушия на красивом, гордом и усталом лице. Равнодушие — вот, пожалуй, единственное, в чем можно было ее упрекнуть. Держалась она приветливо, но отчужденно. Все в ней говорило о твердой воле и душевном спокойствии, а это внушало робость. Хотя она была разведена с мужем и свободна, молва не приписывала ей любовника. Впрочем, у нас был разный круг знакомых: она встречалась с людьми утонченными, умными, сдержанными, мы — с людьми шумными, неугомонными, от которых отец требовал одного — чтобы они были красивыми или забавными. Думаю, Анна слегка презирала нас с отцом за наше пристрастие к развлечениям, к мишуре, как презирала вообще все чрезмерное. Связывали нас только деловые обеды — она занималась моделированием, а отец рекламой, — память о моей матери да мои старания, потому что я, хоть и робела перед ней, неизменно ею восхищалась. Но в общем ее внезапный приезд был совсем некстати, принимая во внимание Эльзу и взгляды Анны на воспитание.

Эльза засыпала нас вопросами о положении Анны в свете, а потом ушла спать. Оставшись наедине с отцом, я уселась на ступеньки у его ног. Он наклонился и положил обе руки мне на

плечи.

— Радость моя, почему ты такая худышка? Ты похожа на бездомного котенка. А мне хотелось бы, чтобы моя дочь была пышной белокурой красавицей с фарфоровыми глазками…

— Не о том сейчас речь, — перебила я его. — Ты мне лучше скажи, почему ты пригласил Анну? И почему она согласилась приехать?

— Как знать, быть может, просто захотела повидать твоего старика отца.

— Ты не из тех мужчин, которые могут интересовать Анну, — сказала я. — Она слишком умна и слишком себя уважает. А Эльза? Ты подумал об Эльзе? Ты представляешь себе, о чем будут беседовать Анна с Эльзой? Я — нет!

— Я об этом не подумал, — признался он. — Это и вправду ужасно. Сесиль, радость моя, а что, если мы вернемся в Париж?

Тихонько посмеиваясь, он трепал меня по затылку. Я обернулась и посмотрела на него. Его темные глаза в веселых морщинках блестели, губы чуть растянулись в улыбке, он был похож на фавна. Я рассмеялась вместе с ним, как всегда, когда он сам себе все осложнял.

— Милый мой сообщник! — сказал он. — Ну что бы я делал без тебя?

И голос его звучал такой нежной убежденностью, что я поняла — без меня он был бы несчастлив. До поздней ночи мы проговорили о любви и ее сложностях. Он считал, что все они вымышленные. Он неизменно отрицал понятия верности, серьезности отношений, каких бы то ни было обязательств. Он объяснял мне, что все эти понятия условны и бесплодны. В устах любого другого человека меня бы это коробило. Но я знала, что при всем том сам он способен испытывать нежность и преданность — чувства, которыми он проникался с тем большей легкостью, что был уверен в их недолговечности и сознательно к этому стремился. Мне нравилось такое представление о любви: скоропалительная, бурная и мимолетная. Я была в том возрасте, когда верность не прельщает. Мой любовный опыт был весьма скуден — свидания, поцелуи и быстрое охлаждение.

## Глава вторая

Анна должна была приехать только через неделю. Я пользовалась последними днями настоящих каникул. Виллу мы сняли на два месяца, но я понимала, что с приездом Анны привольному житью придет конец. Присутствие Анны

придавало вещам определенность, а словам смысл, которые мы с отцом склонны были не замечать. Она придерживалась строгих норм хорошего вкуса и деликатности, и это нельзя было не почувствовать в том, как она внезапно замыкалась в себе, в ее оскорбленном молчании, в манере выражаться. Это и подстегивало меня и утомляло, а в конечном счете унижало — ведь я чувствовала, что она права.

В день ее приезда было решено, что отец с Эльзой поедут ее встречать на станцию Фрежюс. Я наотрез отказалась участвовать в этой затее. С горя отец оборвал в саду все гладиолусы, чтобы преподнести Анне букет, когда она сойдет с поезда. Я дала ему только один совет — не вручать цветы через Эльзу. В три часа, когда они уехали, я спустилась на пляж. Стояла изнурительная жара. Я растянулась на песке, задремала — меня разбудил голос Сирила. Я открыла глаза — небо было белое, в знойной дымке. Я не ответила Сирилу: мне не хотелось разговаривать с ним, да и вообще ни с кем. Раскаленное лето навалилось на меня, пригвоздило меня к пляжу: руки словно налились свинцом, во рту пересохло.

— Вы что, умерли? — спросил Сирил. — Издали вас можно принять за обломок крушения…

Я улыбнулась. Он сел рядом со мной, случайно коснувшись рукой моего плеча, и мое сердце стремительно и глухо заколотилось. За последнюю неделю, благодаря моим блистательным навигационным маневрам, мы десятки раз оказывались за бортом в обнимку друг с другом, и я не чувствовала при этом ни малейшего волнения. Но сегодня жара, полудрема, неловкое прикосновение сделали свое дело, и что-то сладко оборвалось во мне. Я повернулась к Сирилу. Он смотрел на меня. Я уже немного узнала его: он был сдержан и более целомудрен, чем обычно бывают в его возрасте. Наш образ жизни и наша необычная семейная троица его шокировали. Он был слишком добр, а может, слишком робок, чтобы высказать мне свое мнение напрямик, но я угадывала его по косым, неодобрительным взглядам, какие Сирил бросал на отца. Ему было бы приятнее, если бы меня это смущало. Но этого не было, и смущал меня в данную минуту только взгляд Сирила и толчки моего собственного сердца. Он наклонился ко мне. Мне вспомнились последние дни минувшей недели, мое доверие к нему, безмятежный покой, который я испытывала в его присутствии, и я пожалела о том, что ко мне приближается этот большой рот с крупными

губами.

— Сирил, — сказала я, — нам было так хорошо…

Он осторожно поцеловал меня. Я посмотрела на небо, потом больше уже ничего не видела, кроме огненных вспышек в зажмуренных глазах. Жара, дурман, вкус первых поцелуев, вздохи растянулись в долгие мгновения. Автомобильный гудок вспугнул нас, точно двух воришек. Я молча покинула Сирила и стала подниматься к дому. Меня удивило это раннее возвращение: поезд Анны еще не должен был прийти… И однако на террасе я увидела Анну — она выходила из своей машины.

— Да это просто замок Спящей Красавицы! — сказала она. — Как вы загорели, Сесиль! Я очень рада вас видеть.

— Я тоже, — сказала я. — Но откуда же вы, из Парижа?

— Я решила приехать на машине и теперь чувствую себя совершенно разбитой.

Я отвела Анну в приготовленную для нее комнату. Потом открыла окно в надежде увидеть парусник Сирила, но он уже исчез. Анна села, на кровать. Под глазами у нее пролегли легкие тени.

— Вилла прелестна, — сказала она со вздохом. — А где же хозяин дома?

— Он с Эльзой поехал встречать вас на станцию.

Я поставила ее чемодан на стул, обернулась и опешила. Анна внезапно изменилась в лице, губы у нее дрожали.

— С Эльзой Макенбур? Он привез сюда Эльзу Макенбур?

Я не нашлась, что ответить. Я смотрела на нее в совершенной растерянности. Это лицо, всегда спокойное, невозмутимое, вдруг так обнажило себя передо мной, задав мне тысячу загадок… Она смотрела на меня невидящим взглядом сквозь образы, пробужденные в ней моими словами. Наконец заметила меня и отвернулась.

— Мне следовало вас предупредить, — сказала она. — Но я так торопилась, так устала…

— А теперь… — продолжала я машинально.

— Что теперь? — спросила она.

Взгляд был недоуменный, презрительный. Что, собственно говоря, произошло?

— Теперь вы приехали, — тупо сказала я и потерла руки. Знаете, я очень рада, что вы здесь. Я буду вас ждать внизу; если хотите чего-нибудь выпить, бар у нас отличный.

Я вышла, бормоча что-то бессвязное, и в полном смятении стала спускаться по лестнице. Что означает это выражение лица, этот дрогнувший голос, эта внезапная слабость? Я села в шезлонг и закрыла глаза. Я пыталась вспомнить обычные выражения строгого волевого лица Анны: ироническое, непринужденное, властное. Оказалось, что оно бывает беззащитным, это и тронуло меня, и раздосадовало. Неужели она любит моего отца? Возможно ли, что она его любит? Он совсем не в ее вкусе. Он человек слабый, легкомысленный, порой безвольный. Но, может, все объясняется просто дорожной усталостью и оскорбленной нравственностью? Битый час я терялась в догадках.

В пять часов приехали отец с Эльзой. Я смотрела, как он выходит из машины, и пыталась понять, может ли Анна его любить. Он шел быстрым шагом, слегка откинув голову назад. И улыбался. Я подумала — вполне возможно, что Анна его любит, какая угодно женщина может его полюбить.

— Анна не приехала, — крикнул он. — Надеюсь, она не выпала из вагона.

— Она у себя в комнате, — сказала я. — Она приехала на машине.

— Вот как! Отлично. В таком случае передай ей этот букет.

— Вы принесли мне цветы? — раздался голос Анны. — Очень мило.

Она спускалась по лестнице навстречу ему, спокойная, улыбающаяся, в платье, которое будто и не лежало в дорожном чемодане. Я с огорчением подумала, что она сошла вниз, только когда услышала, что приехала машина, а могла бы это сделать немного раньше, чтобы поболтать со мной, хотя бы о моем экзамене, на котором я, кстати сказать, провалилась! Последнее соображение меня утешило.

Отец бросился к ней, поцеловал ей руку.

— Я четверть часа простоял на платформе с букетом в руках и с дурацкой улыбкой на лице. Слава богу, вы все-таки приехали! Вы знакомы с Эльзой Макенбур?

Я отвела глаза.

— Мы, кажется, встречались, — ответила Анна самым любезным тоном. — Моя комната великолепна. Как мило с вашей стороны, Реймон, что вы пригласили меня погостить: я очень устала.

Отец просто из кожи вон лез. Ему казалось, что все шло как нельзя лучше. Он ораторствовал, откупоривал бутылки. Но перед моим мысленным

взором попеременно возникало то страстное лицо Сирила, то лицо Анны — два лица, искаженных бурным душевным порывом, и я сомневалась, протекут ли наши каникулы так безмятежно, как полагает отец.

Наш первый ужин прошел очень весело. Отец и Анна говорили об общих знакомых, немногочисленных, но весьма колоритных. Я с удовольствием слушала их болтовню, пока Анна не объявила, что компаньон моего отца — микроцефал. Это был большой любитель выпить, но славный малый, и мы с отцом не однажды весело ужинали с ним втроем.

— Ломбар такой забавный, Анна, — возразила я. — С ним не соскучишься.

— Согласитесь, что он человек недалекий, и даже его юмор…

— Может, у него не совсем обычный склад ума, но…

— То, что вы называете складом ума, скорее можно назвать спадом, — снисходительно бросила она.

Краткость, законченность ее формулировки привели меня в восторг. Бывают фразы, от которых на меня веет духом изысканной интеллектуальности, и это покоряет меня, даже если я

не до конца их понимаю. Услышав фразу Анны, я пожалела, что у меня нет записной книжки и карандаша. Я сказала ей об этом. Отец рассмеялся.

— Во всяком случае, ты у меня не обидчива.

Мне не на что было обижаться, потому что в Анне не чувствовалось никакой недоброжелательности. Она была слишком равнодушна, и в ее суждениях отсутствовали категоричность и резкость, свойственные злости. Но от этого они становились лишь еще более меткими.

В этот первый вечер Анна, казалось, не заметила вольной или невольной рассеянности Эльзы, которая вошла прямо в спальню отца. Анна привезла мне в подарок свитер из своей коллекции моделей, но сразу пресекла поток моих благодарностей. Изъявления благодарности ей досаждали, а так как мне никогда не хватало красноречия для выражения восторга, я и не стала себя утруждать.

— По-моему, эта Эльза очень мила, — сказала Анна, когда я собралась уходить.

Она не улыбаясь смотрела мне прямо в глаза — она искала в них подозрение, которое во что бы то ни стало стремилась развеять. Она хотела заставить меня забыть, что в первую минуту не смогла сдержаться.

— Да-да, она очаровательная, гм, девушка… очень славная.

Я запнулась. Она рассмеялась, а я ушла спать раздосадованная. Засыпая, я думала о том, что Сирил, наверное, танцует в Каннах с девицами.

Я чувствую, что опускаю, вынуждена опускать главное — присутствие моря, его неумолкающий ритмичный гул, солнце. Точно так же я не могла бы описать четыре липы во дворе провинциального пансиона, их аромат и улыбку отца на вокзале два года назад, когда я вышла из пансиона, — улыбку смущенную, потому что у меня были косы и на мне было безобразное темное, почти черное платье. А потом в машине — внезапную вспышку торжествующей радости: он обнаружил, что у меня его глаза, его рот, и понял, что я могу стать для него самой любимой, самой восхитительной игрушкой. Я ничего не знала — он открыл мне Париж, роскошь, легкую жизнь. Наверное, большинством моих тогдашних удовольствий я обязана деньгам — наслаждением быстро мчаться в машине, надеть новое платье, покупать пластинки, книги, цветы. Я и по сей день не стыжусь этих легкомысленных удовольствий, да и называю их легкомысленными потому лишь, что их так называли при мне другие. Уж если я

и стала бы о чем-то жалеть, от чего-то отрекаться, — так скорее от своих огорчений, от приступов мистицизма. Жажда удовольствий, счастья составляет единственную постоянную черту моего характера. Может, я слишком мало читала? В пансионе читают только нравоучительные книги. А в Париже мне читать было некогда: после занятий друзья затаскивали меня в кино — я не знала имен актеров, это их удивляло, — или на залитые солнцем террасы кафе. Я упивалась радостью смешаться с толпой, потягивать вино, быть с кем-то, кто заглядывает тебе в глаза, берет тебя за руку, а потом уводит прочь от этой самой толпы. Мы бродили по улицам, доходили до моего дома. Там он увлекал меня в подъезд и целовал: мне открылась прелесть поцелуев. Неважно, как звались эти воспоминания: Жан, Юбер или Жак — эти имена одинаковы для всех молоденьких девушек. Вечером я взрослела, выезжала с отцом в общество, где мне было нечего делать, где собиралась довольно разношерстная компания, и я развлекалась и развлекала других своей юностью. На обратном пути отец высаживал меня у дома, а потом чаще всего провожал свою даму. Я не слышала, как он возвращался.

Я не хочу, чтобы создалось впечатление, будто

он афишировал свои связи. Он просто не скрывал их от меня, вернее, не искал фальшивых и благовидных предлогов, почему та или иная его приятельница так часто завтракает с нами или почему она водворяется у нас в доме — к счастью, временно! Так или иначе, я не-долго пребывала в неведении насчет того, какого рода отношения связывают его с нашими «гостьями», а он, без сомнения, дорожил моим доверием и к тому же избавлял себя таким образом от обременительной необходимости изощряться в выдумках. Расчет был превосходен. Одна беда — я на некоторое время усвоила трезвый цинизм во взглядах на любовь, что, принимая во внимание мой возраст и жизненный опыт, выглядело скорее смешным, чем страшным. Я охотно повторяла парадоксы, вроде фразы Оскара Уайльда: «Грех — это единственный яркий мазок, сохранившийся на полотне современной жизни». Я уверовала в эти слова, думаю, куда более безоговорочно, чем если бы применяла их на практике. Я считала, что моя жизнь должна строиться на этом девизе, вдохновляться им, рождаться из него как некий штамп наизнанку. Я не хотела принимать в расчет пустоты существования, его переменчивость, повседневные добрые чувства. В идеале я рисо-

вала себе жизнь как сплошную цепь низостей и подлостей.

## Глава третья

На другое утро меня разбудил косой и жаркий луч солнца, которое затопило мою кровать и положило конец моим странным и сбивчивым сновидениям. Спросонок я пыталась отстранить этот назойливый луч рукой, потом сдалась. Было десять часов утра. Я в пижаме вышла на террасу — там сидела Анна и просматривала газеты. Я обратила внимание, что ее лицо едва заметно, безукоризненно подкрашено. Должно быть, она никогда не давала себе полного отдыха. Так как она не повернулась в мою сторону, я преспокойно уселась на ступеньки с чашкой кофе и апельсином в руке и приступила к утренним наслаждениям: я вонзала зубы в апельсин, сладкий сок брызгал мне в рот, и тотчас же — глоток обжигающего черного кофе, и опять освежающий апельсин. Утреннее солнце нагревало мои волосы, разглаживало на коже отпечатки простыни. Еще пять минут — и я пойду купаться. Голос Анны заставил меня вздрогнуть.

— Сесиль, почему вы ничего не едите?

— По утрам я только пью, потому что…

— Вам надо поправиться на три кило, тогда вы будете выглядеть прилично. У вас щеки впали и все ребра можно пересчитать. Принесите себе бутерброды.

Я стала ее умолять, чтобы она не заставляла меня есть бутерброды, а она начала мне втолковывать, почему это необходимо когда появился отец в своем роскошном халате в горошек.

— Очаровательное зрелище, — сказал он. — Две девочки-смуглянки сидят на солнышке и беседуют о бутербродах.

— Увы, девочка здесь только одна, — сказала со смехом Анна. — Я ваша ровесница, бедный мой Реймон.

Отец склонился над ее рукой.

— Злюка, как и всегда, — сказал он нежно, и веки Анны задрожали, точно от неожиданной ласки.

Я воспользовалась удобным случаем, чтобы улизнуть. На лестнице я столкнулась с Эльзой. Она явно только что встала — веки у нее набрякли, губы казались совсем бледными на багровом от солнечных ожогов лице. Я едва удержалась, чтобы не остановить ее и не сказать, что там, внизу, сидит Анна, и лицо у нее ухоженное и свежее, и загорать она будет без всяких неприятностей,

постепенно, соблюдая меру. Я едва удержалась, чтобы ее не предостеречь. Но вряд ли это пришлось бы ей по вкусу: ей было двадцать девять лет, то есть на тринадцать лет меньше, чем Анне, и она считала это своим главным козырем.

Я взяла купальник и побежала на пляж. К моему удивлению Сирил был уже там со своей лодкой. Он пошел мне навстречу с очень серьезным видом и взял меня за руки.

— Я хотел попросить у вас прощения за вчерашнее, — сказал он.

— Я сама виновата, — ответила я.

Я не чувствовала ни малейшего смущения, и его торжественный вид меня удивил.

— Я очень зол на себя, — сказал он и столкнул лодку в воду.

— И зря, — беззаботно сказала я.

— Совсем не зря!

Я уже забралась в лодку, а он стоял рядом по колено в воде, опершись руками на планшир, точно на барьер в суде. Я поняла, что он не сядет в лодку, пока не выговорится, и всем своим видом показала, что вся обратилась в слух. Я хорошо изучила его лицо и без труда читала на нем. Я подумала — ему двадцать пять лет, наверное, он считает себя совратителем, и при этой мысли

меня разобрал смех.

— Не смейтесь, — сказал он. — Вчера вечером я очень разозлился на себя. Ведь вы беззащитны передо мной — ваш отец, эта женщина, дурной пример… Будь я последним подлецом, вы все равно способны были бы мне довериться…

Он даже не был смешон. Я чувствовала, что он добрый и готов влюбиться в меня и я сама не прочь в него влюбиться. Я обвила руками его шею, прижалась щекой к его щеке. У него были широкие плечи, и я ощущала телом его сильное тело.

— Вы славный, Сирил, — шепнула я. — Вы будете мне братом.

С коротким гневным возгласом он обхватил меня руками и осторожно вытащил из лодки. Он держал меня на руках, прижав к себе, моя голова лежала у него на плече. В эту минуту я его любила. Он был такой же золотистый, милый и нежный, как я сама, и он меня оберегал. Когда его губы нашли мои, я, как и он, задрожала от наслаждения — в нашем поцелуе не было ни угрызений, ни стыда, было только жадное, прерываемое шепотом узнавание. Потом я вырвалась и поплыла к лодке, которую сносило течением. Я окунула лицо в воду, чтобы прийти в себя, освежиться…

Вода была зеленая. Меня захлестнуло чувство беззаботного, безоблачного счастья.

В половине двенадцатого Сирил отправился домой, а на козьей тропе появился отец со своими двумя женщинами. Он шел посередине, поддерживая обеих, подавая руку то одной, то другой с присущей ему одному любезной непринужденностью. Анна была в халате — она спокойно сбросила его под нашими пристальными взглядами и вытянулась на нем. Тонкая талия, безукоризненные ноги — только кое-где кожа чуть заметно увядала. Конечно, тут сказывались годы постоянных, неукоснительных забот. Вздернув бровь, я с невольным одобрением посмотрела на отца. К моему великому удивлению, он не ответил на мой взгляд и закрыл глаза. Бедняжка Эльза имела самый жалкий вид — она обмазывала себя оливковым маслом. Я не сомневалась: еще неделя, и мой отец… Анна обернулась ко мне.

— Сесиль, почему вы здесь так рано встаете? В Париже вы оставались в постели до полудня.

— Там мне приходилось заниматься. Это валило меня с ног.

Она не улыбнулась; она улыбалась, только если ей хотелось, а из вежливости, как все люди — никогда.

— А ваш экзамен?

— Завалила, — бойко объявила я. — Завалила начисто.

— Вы должны непременно сдать его в октябре.

— Зачем? — вмешался отец. — У меня самого никогда не было диплома. А живу я припеваючи.

— У вас с самого начала было состояние, — напомнила Анна.

— А у моей дочери не будет недостатка в мужчинах, которые смогут ее прокормить, — благородно сказал отец.

Эльза засмеялась было, но осеклась, когда мы все трое посмотрели на нее.

— Надо ей позаниматься во время каникул, — сказала Анна и закрыла глаза, показывая, что разговор окончен.

Я с отчаянием посмотрела на отца. Он ответил мне смущенной улыбкой. Я представила себе, как я сижу над страницами Бергсона, черные строчки мозолят мне глаза, а внизу смеется Сирил… Эта мысль привела меня в ужас. Я подползла к Анне и тихо окликнула ее. Она открыла глаза. Я склонилась над ней с встревоженным и умоляющим видом, нарочно втянув щеки так, чтобы походить на человека, изнуренного умственным трудом.

— Анна, неужели вы это сделаете — неужели

заставите меня заниматься в такую жару… во время каникул, которые я могла бы так хорошо провести…

Секунду она внимательно вглядывалась в меня, потом с загадочной улыбкой отвернулась.

— Мне следовало бы «это» сделать… и даже в такую жару, как вы выражаетесь. Я вас знаю, вы будете дуться на меня два дня, но зато экзамен будет сдан.

— Есть вещи, с которыми нельзя примириться, — сказала я без улыбки.

Она посмотрела на меня с насмешливым вызовом, и я снова растянулась на песке, терзаемая беспокойством. Эльза что-то щебетала о курортных увеселениях. Но отец не слушал ее; сидя там, где находилась вершина треугольника, образуемого телами двух женщин, он бросал знакомые мне замедленные, бесстрашные взгляды на опрокинутый профиль Анны, на ее плечи. Кисть его руки плавным, равномерным, непрерывным движением сгребала и выпускала песок. Я побежала к морю и окунулась, оплакивая каникулы, которые у нас могли быть и которых теперь не будет. Зато у нас есть все, что необходимо для драмы: соблазнитель, дама полусвета и женщина трезвого ума. На дне я заметила вдруг восхитительную ра-

ковину — розовую с голубым. Я нырнула за ней и до самого обеда не выпускала ее из рук, гладкую, обкатанную. Я решила, что это мой талисман и я буду хранить его до конца лета. Не знаю, как это вышло, что я ее не потеряла, хотя всегда все теряю. Сейчас я держу ее в руке, розовую, теплую, и мне хочется плакать.

## Глава четвертая

В последующие дни меня больше всего удивляло, как мило держит себя Анна с Эльзой. Эльза так и сыпала глупостями, но Анна ни разу не ответила на них одной из тех коротких фраз, в которых она была так искусна и которые превратили бы бедняжку Эльзу в посмешище. Я мысленно восхваляла ее за терпение и великодушие, не понимая, что тут замешана изрядная доля женской хитрости. Мелкие жестокие уколы быстро надоели бы отцу. А так он был благодарен Анне и не знал, как выразить ей свою признательность. Впрочем, признательность была только предлогом. Само собой, он обращался с ней как с женщиной, к которой питает глубокое уважение, как со второй матерью своей дочери: он даже охотно подчеркивал это, то и дело всем своим видом показывая, что поручает меня ее

покровительству, отчасти возлагает на нее ответственность за мое поведение, как бы стремясь таким образом приблизить ее к себе, покрепче привязать ее к нам. Но в то же время он смотрел на нее, он обходился с ней как с женщиной, которую не знают и хотят узнать — в наслаждении. Так иногда смотрел на меня Сирил, и тогда мне хотелось и убежать от него подальше, и раззадорить его. Наверное, я была в этом смысле впечатлительной Анны. Она выказывала моему отцу невозмутимую, ровную приветливость, и это меня успокаивало. Я даже начала думать, что ошиблась в первый день; я не замечала, что эта безмятежная приветливость до крайности распаляет отца. И в особенности ее молчание… такое непринужденное, такое тонкое. Оно составляло разительный контраст с неумолкающей трескотней Эльзы, как тень со светом. Бедняжка Эльза… Она совершенно ни о чем не подозревала, оставалась все такой же шумной, говорливой и — как бы слиняла на солнце.

Но в один прекрасный день она, видимо, кое-что поняла, перехватила взгляд отца; перед обедом она что-то шепнула ему на ухо, на мгновение он нахмурился, удивился, потом с улыбкой кивнул. Когда подали кофе, Эльза встала и, подойдя к

двери, обернулась с томным видом, по-моему, явно взятым напрокат из голливудских фильмов, и, вложив в свою интонацию десятилетний опыт уже чисто французской игривости, сказала:

— Вы идете, Реймон?

Отец встал, только что не покраснев, и последовал за ней, толкуя что-то о пользе сиесты. Анна не шелохнулась. В кончиках ее пальцев дымилась сигарета. Я решила, что должна что-то сказать.

— Говорят, сиеста — хороший отдых, но, по-моему, это заблуждение.

Я осеклась, почувствовав двусмысленность моей реплики.

— Прошу вас, — сухо сказала Анна.

Она даже не заметила двусмыслицы. Она с первого мгновения определила шутку дурного тона. Я посмотрела на нее. У нее было нарочито спокойное, безмятежное выражение лица-оно меня тронуло. Как знать, может, в эту минуту она страстно завидовала Эльзе. Мне захотелось утешить ее, и у меня вдруг мелькнула циничная мысль, которая прельстила меня, как все циничные мысли, приходившие мне в голову: они давали какую-то уверенность в себе — опьяняющее чувство сообщничества с самой собой. Я не удержалась и сказала вслух:

— Между прочим, поскольку Эльза сожгла себе кожу, навряд ли он или она получат удовольствие от этой сиесты.

Уж лучше бы мне промолчать.

— Я ненавижу подобные разговоры, — сказала Анна. — А в вашем возрасте они не только глупы, но и невыносимы.

Я вдруг закусила удила.

— Извините, я пошутила. Уверена, что в конечном счете оба очень довольны.

Она обернула ко мне утомленное лицо. Я тотчас попросила прощения. Она закрыла глаза и заговорила тихим, терпеливым голосом:

— У вас несколько упрощенные представления о любви. Это не просто смена отдельных ощущений…

Я подумала, что все мои любовные переживания сводились именно к этому. Внезапное волнение при виде какого-то лица, от какого-то жеста, поцелуя… Упоительные, не связанные между собой мгновения — вот и все, что сохраняла моя память.

— Это нечто совсем иное, — говорила Анна. — Это постоянная нежность, привязанность, потребность в ком-то… Вам этого не понять.

Она сделала неопределенное движение рукой

и взялась за га-зету. Я предпочла бы, чтобы она рассердилась, а не примирялась так равнодушно с моей эмоциональной несостоятельностью. Я подумала, что она права — я живу как животное, по чужой указке, я жалка и слаба. Я презирала себя, а это было на редкость неприятное чувство, потому что я к нему не привыкла, — я себя не судила, если можно так выразиться, ни ради хвалы, ни ради хулы. Я поднялась к себе, в голове бродили смутные мысли. Я ворочалась на теплых простынях, в ушах все еще звучали слова Анны: «Это нечто совсем иное, это постоянная потребность в ком-то». Испытала ли я хоть раз в жизни потребность в ком-нибудь?

Подробности этих трех недель изгладились из моей памяти. Я уже говорила, я не хотела замечать ничего определенного, никакой угрозы. Другое дело — дальнейшие события: они врезались мне в память, потому что поглотили все мое внимание, всю мою изобретательность. Но эти три недели, три первые, в общем счастливые недели… В какой именно день отец бросил откровенный взгляд на губы Анны и в какой громко упрекнул ее в равнодушии, притворяясь, будто шутит? Когда именно он уже без улыбки сопоставил изощренность ее ума с придуркова-

тостью Эльзы? Мое спокойствие зиждилось на дурацкой уверенности, что они знакомы уже пятнадцать лет, и, уж если им суждено было влюбиться друг в друга, это давно бы случилось. «Впрочем, если этого не миновать, — убеждала я себя, — отец влюбится в Анну на три месяца, и из этого романа она вынесет кое-какие пылкие воспоминания и капельку унижения». Будто я не знала, что Анна не из тех женщин, кого бросают за здорово живешь. Но рядом был Сирил — и мои мысли были заняты им. Мы часто ходили по вечерам в кабачки Сен-Тропеза, танцевали под замирающие звуки кларнета и шептали друг другу слова любви, которые я наутро забывала, но которые так сладко звучали в миг, когда были произнесены. Днем мы плавали на паруснике вдоль берега. Иногда с нами плавал отец. Ему очень нравился Сирил, особенно с тех пор, как тот проиграл ему заплыв в кроле. Отец называл его «мой мальчик», Сирил называл отца «мсье», но я невольно задавалась вопросом, кто из них двоих взрослее.

Однажды нас пригласили на чай к матери Сирила. Это была спокойная, улыбчивая старая дама, она рассказывала нам о своих вдовьих и материнских заботах. Отец выражал ей сочувствие,

бросал благодарные взгляды на Анну, рассыпался в любезностях перед старой дамой. Должна сказать, что ему вообще никогда не было жаль потерянного даром времени. Анна с милой улыбкой наблюдала эту сцену. Дома она заявила, что старушка очаровательна. Я стала бранить на чем свет стоит старых дам этого типа. Отец с Анной посмотрели на меня со снисходительной и насмешливой улыбкой, и это вывело меня из себя.

— Не видите вы, что ли, до чего она самодовольна, — крикнула я. — Она гордится своей жизнью, потому что воображает, будто исполнила свой долг и…

— Но это так и есть, — сказала Анна. — Она исполнила, как говорится, свой долг супруги и матери…

— А свой долг шлюхи? — спросила я.

— Я не люблю грубостей, — сказала Анна, — даже в парадоксах.

— Это вовсе не парадокс. Она вышла замуж, как все на свете, до страсти или просто потому, что так получилось. Родила ребенка — вам известно, откуда берутся дети?

— Конечно, не так хорошо, как вам, — отозвалась Анна с иронией, — но кое-какое представление об этом у меня есть.

— Так вот, она воспитала этого ребенка. Вполне возможно, что она не стала подвергать себя тревогам и неудобствам адюльтера. Но поймите — она жила, как живут тысячи женщин, а она этим гордится. Она смолоду была буржуазной дамой, женой и матерью, и пальцем не шевельнула, чтобы изменить свое положение. И похваляется она не тем, что совершила нечто, а тем, что чего-то не сделала.

— Какая нелепица, — возразил отец.

— Да ведь это же приманка для дураков, — воскликнула я. Твердить себе: «Я выполнила свой долг», только потому, что ты ничего не сделала. Вот если бы она, родившись в буржуазном кругу, стала уличной девкой, она была бы молодчина.

— Все это модные, но дешевые рассуждения, — сказала Анна.

Пожалуй, она была права. Я верила в то, что говорила, но повторяла я это с чужого голоса. Тем не менее моя жизнь, жизнь моего отца подкрепляли эту теорию, и, презирая ее, Анна меня унижала. К мишуре можно быть приверженным не меньше, чем ко всему прочему. Но Анна вообще не желала признавать во мне мыслящее существо. Я чувствовала, что должна немедленно, во что бы то ни стало доказать ей, что она ошибается. Однако

мне и в голову не приходило, что для этого так скоро представится удобный случай и я им воспользуюсь. Впрочем, я готова была признать, что через месяц буду придерживаться совсем других взглядов на тот же предмет, что мои убеждения изменятся. Где уж мне было претендовать на величие души!

## Глава пятая

И вот в один прекрасный день все рухнуло. С утра отец решил, что мы проведем вечер в Каннах, поиграем и потанцуем. Помню, как обрадовалась Эльза. В привычной для нее атмосфере казино она надеялась вновь почувствовать себя роковой женщиной, чей образ несколько потускнел от палящего солнца и нашего полузатворнического образа жизни. Против моего ожидания Анна не стала противиться этой светской затее и даже как будто была довольна. Поэтому сразу после ужина я со спокойной душой поднялась к себе в комнату, чтобы надеть вечернее платье — кстати сказать, единственное в моем гардеробе. Его выбрал для меня отец; оно было сшито из какой-то экзотической ткани, пожалуй чересчур экзотической для меня, потому что отец, повинуясь то ли своим вкусам, то ли привычкам, любил одевать

меня под роковую женщину. Я сошла вниз, где он ждал в ослепительном новом смокинге, и обвила руками его шею.

— Ты самый красивый мужчина из всех, кого я знаю.

— Не считая Сирила, — сказал он, сам не веря в то, что говорит. А ты-ты самая хорошенькая девушка из всех, кого я знаю.

— После Эльзы и Анны, — сказала я, тоже не веря собственным словам.

— Но раз их здесь нет и они заставляют себя ждать, потанцуй со своим старым ревматиком отцом.

Меня охватило радостное возбуждение, как всегда, когда мы с ним куда-нибудь выезжали. Он и в самом деле ничем не напоминал старика-отца. Танцуя, я вдыхала знакомый запах — его одеколона, тепла его тела, его табака. Он танцевал ритмично, полузакрыв глаза, как и я, слегка улыбаясь счастливой улыбкой, которая неудержимо рвалась с его губ.

— Ты должна научить меня танцевать бибоп, — сказал он, позабыв о своем ревматизме.

Он остановился, машинальным любезным бормотаньем приветствуя появление Эльзы. Она медленно спускалась по лестнице в зеленом

платье с рассеянной светской улыбкой на губах — улыбкой, какую она пускала в ход в казино. Она постаралась представить в наиболее выгодном свете свои выгоревшие на солнце волосы и облезшую кожу, но ее похвальные усилия увенчались сомнительным успехом. К счастью, она этого, по-видимому, не понимала.

— Ну как, мы едем?

— Анны еще нет, — сказала я.

— Пойди посмотри, готова ли она, — сказал отец. — Пока мы доберемся до Канн, будет полночь.

Я поднялась по ступенькам, путаясь в длинном платье, и постучалась к Анне. Она крикнула: «Войдите». Я так и приросла к порогу. На ней было серое платье, удивительного серого цвета, почти белого, который, словно предрассветное небо, отливал какими-то оттенками морской волны. Казалось, в этот вечер в Анне воплотилось все очарование зрелой женственности.

— Изумительно, — сказала я. — О, Анна, какое платье!

Она улыбнулась своему отражению в зеркале, как улыбаются кому-то, с кем предстоит скорая разлука.

— Да, этот серый цвет в самом деле находка, —

сказала она.

— Вы сами — находка, — сказала я.

Она взяла меня за ухо, заглянула мне в лицо. Глаза у нее были темно-голубые. Они просветлели, улыбнулись.

— Вы милая девочка. Хотя порой бываете несносной.

Она пропустила меня вперед, ничего не сказав о моем платье, что я отметила с облегчением, но и с обидой. По лестнице она спускалась первой, и я видела, как отец пошел ей навстречу. У подножия лестницы он остановился, поставив ногу на нижнюю ступеньку и подняв к Анне лицо. Эльза тоже следила, как Анна спускается по лестнице. Я очень четко помню эту картину: на первом плане прямо передо мной золотистый затылок, великолепные плечи Анны, чуть пониже ослепленное лицо отца, его протянутая рука и где-то вдали силуэт Эльзы.

— Анна, — сказал отец. — Вы несравненны.

Она мимоходом улыбнулась ему и надела поданное ей пальто.

— Встретимся на месте, — сказала она. — Сесиль, хотите поехать со мной?

Она уступила мне место за рулем. Ночная дорога была так хороша, что я вела машину не

торопясь. Анна молчала. Казалось, она даже не слышала, как надрываются трубы в приемнике. Машина отца обогнала нас на крутом повороте, но она даже бровью не повела. Я почувствовала, что вышла из игры, что присутствую на спектакле, в который уже не могу вмешаться.

В казино, благодаря ухищрениям отца, мы очень скоро потеряли друг друга из виду. Я очутилась в баре с Эльзой и ее знакомым полупьяным южноамериканцем. Он занимался театром и, несмотря на винные пары, рассказывал очень интересно, как человек, увлеченный своим делом. Я довольно приятно провела в его обществе около часа, но Эльза скучала. Она была знакома с одной или двумя театральными знаменитостями, но вопросы ремесла ее ничуть не интересовали. Она вдруг спросила меня, где мой отец, будто я имела об этом хоть малейшее представление, и исчезла. Южноамериканец на мгновение, кажется, огорчился, но очередная порция виски поправила его настроение. Я ни о чем не думала, я была приятно возбуждена, так как из вежливости участвовала в его возлияниях. Все стало еще более забавным, когда он захотел танцевать. Мне пришлось обхватить его обеими руками и зорко следить, чтобы он не отдавил мне ноги, а это требовало немалых

усилий. Мы оба хохотали до упаду, так что, когда Эльза с видом Кассандры хлопнула меня по плечу, я готова была послать ее к черту.

— Я их не нашла, — сказала она.

Лицо у нее было удрученное, пудра с него уже осыпалась, стала видна сожженная кожа, черты заострились. Выглядела она довольно жалко. Я вдруг страшно рассердилась на отца. Он вел себя возмутительно невежливо.

— А-а! Я знаю, где они, — сказала я, улыбнувшись с таким видом, точно их отсутствие было самой естественной вещью на свете и беспокоиться не о чем. — Я мигом.

Лишившись моей поддержки, южноамериканец рухнул в объятия Эльзы и, кажется, был этим доволен. Я с грустью подумала, что у нее куда более роскошные формы, чем у меня, и что я не могу на него сердиться. Казино было большое, я обошла его дважды, но без толку. Я обшарила все террасы и наконец вспомнила о машине.

Я не сразу нашла ее в парке. Они сидели в ней. Я подошла сзади и увидела их в зеркале. Увидела два профиля, близко-близко друг от друга, очень серьезные и удивительно прекрасные в свете фонаря. Они смотрели друг на друга и, должно быть, о чем-то тихо разговаривали — я видела,

как шевелятся их губы. Я хотела было уйти, но вспомнила об Эльзе и распахнула дверцу.

Рука отца лежала на запястье Анны. Они едва взглянули на меня.

— Вам весело? — вежливо спросила я.

— В чем дело? — раздраженно спросил отец. — Что тебе здесь надо?

— А вам? Эльза уже целый час ищет вас повсюду. Анна медленно, будто нехотя, повернулась ко мне.

— Мы уезжаем. Скажите ей, что я устала и что ваш отец отвез меня домой. Когда вы вдоволь навеселитесь, вы вернетесь в моей машине.

Я задрожала от негодования, я не находила слов.

— Навеселимся вдоволь! Да вы понимаете, что говорите? Это отвратительно!

— Что отвратительно? — с удивлением спросил отец.

— Ты привозишь рыжую девушку к морю, под палящее солнце, которого она не переносит, а когда она вся облезла, ты ее бросаешь. Это слишком просто! А я — что я скажу Эльзе?

Анна с усталым видом опять обернулась к нему. Он улыбался, ей, меня он не слушал. Я дошла до полного отчаяния:

— Ладно, я скажу… скажу ей, что отец хочет спать с другой дамой, а она пусть подождет удобного случая, так что ли?

Возглас отца и звук пощечины, которую мне отвесила Анна, раздались одновременно. Я проворно отпрянула от открытой дверцы. Анна ударила меня очень больно.

— Проси прощения, — сказал отец.

В полном смятении я застыла у дверцы машины. Благородные позы всегда приходят мне на ум с запозданием.

— Подойдите сюда, — сказала Анна.

В ее голосе не было угрозы, и я подошла. Она коснулась рукой моей щеки и заговорила мягко, с расстановкой, как говорят с недоумками:

— Не будьте злюкой, мне очень жаль Эльзу. Но при вашей деликатности вы сумеете все уладить. А завтра мы все объясним. Я вам сделала больно?

— Нет, что вы, — вежливо ответила я.

Оттого что она вдруг стала такая ласковая, а я только что так необузданно вспылила, я едва не расплакалась. Они уехали — я смотрела им вслед, чувствуя себя опустошенной. Единственным моим утешением была мысль о моей собственной деликатности. Я неторопливо вернулась в

казино, где меня ждала Эльза и повисший на ее руке южноамериканец.

— Анне стало плохо, — непринужденно объявила я. — Папе пришлось отвезти ее домой. Выпьем чего-нибудь?

Она смотрела на меня, не говоря ни слова. Я попыталась найти убедительную деталь.

— У нее началась рвота, — сказала я. — Ужас, она испортила себе все платье.

Мне казалось, что эта подробность потрясающе правдива, но Эльза вдруг заплакала, тихо и жалобно. Я в растерянности уставилась на нее.

— Сесиль, — сказала она. — Ах, Сесиль, мы были так счастливы…

И она зарыдала громче. Южноамериканец заплакал тоже и все повторял: «Мы были так счастливы, так счастливы». В эту минуту я ненавидела Анну и отца. Я готова была на все, что угодно, лишь бы Эльза перестала плакать и тушь не стекала бы с ее ресниц, и американец не рыдал бы больше.

— Еще не все потеряно, Эльза. Поедемте со мной.

— Я приду на днях за своими вещами, — прорыдала она. — Прощайте, Сесиль, мы всегда ладили друг с другом.

Мы обычно говорили с ней только о погоде и модах, но сейчас мне казалось, что я теряю старого друга. Я круто повернулась и побежала к машине.

## Глава шестая

Утреннее пробуждение было мучительным — наверняка из-за того, что накануне я выпила много виски. Я проснулась, лежа поперек кровати, в темноте, с неприятным вкусом во рту, в отвратительной испарине. В щели ставен пробивался солнечный луч — в нем сомкнутым строем вздымались пылинки. Мне не хотелось ни вставать, ни оставаться в постели. У меня мелькнула мысль, каково будет отцу и Анне, если Эльза вернется сегодня утром. Я старалась думать о них, чтобы заставить себя встать, но тщетно. Наконец я преодолела себя и, понурая, несчастная, оказалась на прохладных плитах пола. Зеркало являло мне унылое отражение — я внимательно вглядывалась в него: расширенные зрачки, опухший рот, это чужое лицо — мое… Неужели я могу чувствовать себя слабой и жалкой только из-за этих вот губ, искаженных черт, из-за того, что я произвольно втиснута в эти ненавистные рамки? Но если я и в самом деле втиснута в эти

рамки, почему мне дано убедиться в этом таким безжалостным и тягостным для меня образом? Я упивалась тем, что презираю себя, ненавижу свое злое лицо, помятое и подурневшее от разгула. Я стала глухо повторять слово «разгул», глядя себе в глаза, и вдруг заметила, что улыбаюсь. В самом деле, хорош разгул: несколько жалких рюмок, пощечина и слезы. Я почистила зубы и сошла вниз.

Отец с Анной уже сидели рядом на террасе, перед ними стоял поднос с утренним завтраком. Я невнятно пробормотала: «Доброе утро» — и села напротив. Из стыдливости я не решалась на них смотреть, но их молчание вынудило меня поднять глаза. Лицо Анны слегка осунулось — это был единственный след ночи любви. Оба улыбались счастливой улыбкой. Это произвело на меня впечатление — счастье всегда было в моих глазах залогом правоты и удачи.

— Хорошо спала? — спросил отец.

— Так себе, — ответила я. — Я выпила вчера слишком много виски.

Я налила себе кофе, жадно отхлебнула глоток, но тут же отставила чашку. Было в их молчании что-то такое — какое-то ожидание, от которого мне стало не по себе. Я слишком устала, чтобы долго его выдерживать.

— Что происходит? У вас обоих такой загадочный вид.

Отец зажег сигарету, стараясь казаться спокойным. Анна посмотрела на меня против обыкновения в явном замешательстве.

— Я хотела вас кое о чем попросить.

Я приготовилась к худшему.

— Опять что-нибудь передать Эльзе?

Она отвернулась, снова обратила взгляд к отцу.

— Ваш отец и я — мы хотели бы пожениться, — сказала она.

Я пристально посмотрела на нее, потом на отца. Я ждала от него знака, взгляда, который покоробил бы меня, но и успокоил. Он рассматривал свои руки. Я подумала: «Не может быть», но я уже знала, что это правда.

— Очень хорошая мысль, — сказала я, чтобы выиграть время.

У меня не укладывалось в голове: отец, который всегда так упорно противился браку, каким бы то ни было оковам, в одну ночь решился… Это переворачивало всю нашу жизнь. Мы лишались своей независимости. Я вдруг представила себе нашу жизнь втроем — жизнь, внезапно упорядоченную умом, изысканностью Анны, — ту жизнь,

какую вела она на зависть мне. Умные, тактичные друзья, счастливые, спокойные вечера… Я вдруг почувствовала презрение к шумным застольям, к южноамериканцам и разным эльзам. Чувство превосходства и гордости ударило мне в голову.

— Очень, очень хорошая мысль, — повторила я и улыбнулась им.

— Я знал, что ты обрадуешься, котенок, — сказал отец. Он успокоился, развеселился. Заново прорисованное любовной истомой лицо Анны было таким открытым и нежным, каким я его никогда не видела.

— Подойди сюда, котенок, — сказал отец.

Он протянул мне обе руки, привлек меня к себе, к ней. Я опустилась перед ними на колени, они оба смотрели на меня с ласковым волнением, гладили меня по голове. А я — я неотступно думала, что, может быть, в эту самую минуту меняется вся моя жизнь, но что я для них и в самом деле всего только котенок, маленький преданный зверек. Я чувствовала, что они где-то надо мной, что их соединяет прошлое, будущее, узы, которые мне неведомы и от которых я свободна. Я намеренно закрыла глаза, уткнулась головой в их колени, смеялась вместе с ними, вновь вошла в свою

роль. Да и почему бы мне не быть счастливой? Анна прелесть, ей чужды какие бы то ни было мелочные побуждения. Она будет руководить мною, снимет с меня бремя ответственности за мои поступки, что бы ни случилось, наставит на истинный путь. Я стану верхом совершенства, а заодно и мой отец.

Отец встал и вышел за бутылкой шампанского. Мне вдруг стало противно. Он счастлив — это, конечно, главное, но я уже столько раз видела его счастливым из-за женщины…

— Я немного побаивалась вас, — сказала Анна.

— Почему? — спросила я.

Послушать ее — я своим запретом могла помешать двум взрослым людям пожениться.

— Я опасалась, что вы меня боитесь, — сказала она и засмеялась.

Я тоже засмеялась, потому что я ведь и вправду ее побаивалась. Она давала мне понять, что она это знает и что мой страх напрасен.

— Вам кажется смешным, что старики решили пожениться?

— Какие же вы старики? — возразила я с подобающим случаю убеждением, потому что в эту минуту, вальсируя, вошел отец с бутылкой.

Он сел рядом с Анной, обвил рукой ее плечи.

Она вся подалась к нему движением, которое заставило меня потупиться. Вот почему она и согласилась выйти за него — из-за его смеха, из-за этой сильной, внушающей доверие руки, из-за его жизнелюбия, из-за тепла, которое он излучает. Сорок лет, страх перед одиночеством, быть может, последние всплески чувственности… Я привыкла смотреть на Анну не как на женщину, а как на некую абстракцию: я видела в ней уверенность в себе, элегантность, интеллект и ни тени чувственности или слабости… Я понимала, как гордится отец: надменная, равнодушная Анна Ларсен будет его женой. Любит ли он ее, способен ли любить долго? Есть ли разница между его чувством к ней и тем, что он питал к Эльзе? Я закрыла глаза, солнце меня сморило. Мы сидели на террасе в атмосфере недомолвок, тайных страхов и счастья.

Все эти дни Эльза не показывалась. Неделя пролетела быстро. Семь счастливых, ничем не омраченных дней — только семь. Мы строили замысловатые планы, как мы обставим квартиру, какой у нас будет распорядок дня. Мы с отцом развлекались, стараясь уплотнить его до отказа, усложняли с безответственностью тех, кто никогда не знал никакого распорядка. Но

неужели мы верили в это всерьез? Неужели отец и впрямь собирался изо дня в день возвращаться в половине первого к обеду в одно и то же место, ужинать дома и потом никуда не уходить? И однако, он с радостью отрекался от своих богемных привычек, восхвалял порядок, элегантную, размеренную жизнь буржуазного круга. Но наверняка для него, как и для меня, все это были лишь умозрительные построения.

Об этой неделе у меня сохранились воспоминания, в которых я теперь люблю копаться, чтобы себя помучить. Анна была безмятежной, доверчивой, удивительно мягкой, отец ее любил. По утрам они выходили рука об руку, дружно смеясь, с синими кругами вокруг глаз, и, клянусь, я хотела бы, чтобы так продолжалось всю жизнь. Вечерами мы часто отправлялись на побережье выпить аперитив на террасе какого-нибудь кафе. Нас повсюду принимали за обыкновенную дружную семью, и мне, привыкшей всегда появляться вдвоем с отцом и встречать лукавые или сострадательные улыбки и взгляды, нравилось выступать в роли, соответствующей моему возрасту. Свадьба должна была состояться в Париже по возвращении.

Бедняжка Сирил был несколько ошарашен

нашими домашними преобразованиями. Но этот узаконенный конец пришелся ему по душе. Мы вдвоем плавали на паруснике, целовались, если приходила охота, и порой, когда он прижимался своими губами к моим, мне вспоминалось лицо Анны, чуть изможденное лицо, каким оно у нее бывало по утрам, вспоминалась та медлительность, та счастливая небрежность, какую любовь придавала ее движениям, и я завидовала ей. Поцелуи быстро выдыхаются, и, конечно, люби меня Сирил меньше, я бы в ту неделю стала его любовницей.

В шесть часов, возвращаясь из плавания к островам, Сирил втаскивал лодку на песчаный берег. Мы шли к дому через сосновую рощу и, чтобы согреться, затевали веселую возню, бегали взапуски. Он всегда нагонял меня неподалеку от дома, с победным кличем бросался на меня, валил на усыпанную хвойными иглами землю, скручивал руки и целовал. Я и сейчас еще помню вкус этих задыхающихся, бесплодных поцелуев и как стучало сердце Сирила у моего сердца в унисон с волной, плещущей о песок… Раз, два, три, четыре — стучало сердце, и на песке тихо плескалось море-раз, два, три… Раз — он начинал дышать ровнее, поцелуи становились уверенней,

настойчивей, я больше не слышала плеска моря, и в ушах отдавались только быстрые, непрерывные толчки моей собственной крови.

Однажды вечером нас разлучил голос Анны. В свете заката, где перемежались красноватые блики и тени, мы с Сирилом, полуголые, лежали рядом — понятно, что это могло ввести Анну в заблуждение. Она резко окликнула меня по имени.

Одним прыжком Сирил вскочил на ноги и, само собой, смутился. Я тоже встала, но не так поспешно и поглядела на Анну. Она обернулась к Сирилу и тихо сказала, как бы не замечая его:

— Надеюсь, я вас больше не увижу.

Он не ответил, наклонился ко мне и, прежде чем уйти, поцеловал меня в плечо. Этот порыв удивил и растрогал меня, будто Сирил дал мне какой-то обет. Анна пристально смотрела на меня все с тем же серьезным отрешенным выражением, точно думала о чем-то другом. Меня это разозлило: если думает о другом, могла бы поменьше говорить. Я подошла к ней, притворяясь смущенной просто из вежливости. Она машинально сняла с моей шеи сосновую иголку и только тут как будто впервые увидела меня. И сразу на ее лице появилась та великолепная презрительная маска, то выражение усталости и

неодобрения, которые так удивительно красили ее, а мне внушали робость.

— Вам бы следовало знать, что такого рода развлечения, как правило, кончаются клиникой, — сказала она.

Она говорила стоя и не сводя с меня взгляда, и мне было ужасно не по себе. Она принадлежала к числу тех женщин, которые могут разговаривать, держась прямо и неподвижно. Мне же нужно было развалиться в кресле, вертеть в руках какой-нибудь предмет, курить сигарету или покачивать ногой и смотреть, как она качается…

— Не стоит преувеличивать, — смеясь, сказала я. — Я только поцеловалась с Сирилом, вряд ли это приведет меня в клинику.

— Я прошу вас больше с ним не встречаться, — сказала она таким тоном, точно считала, что я лгу. — Не возражайте — вам семнадцать лет, я теперь в какой-то мере отвечаю за вас и не допущу, чтобы вы портили себе жизнь. Кстати, вам необходимо заниматься, это заполнит ваш дневной досуг.

Она повернулась ко мне спиной и пошла к дому своей непринужденной походкой. А я, потрясенная, словно приросла к месту. Она верит в то, что говорит, — все мои доводы, возражения

она примет с тем равнодушием, которое хуже презрения, будто я и не существую вовсе, будто я — это не я, не та самая Сесиль, которую она знает с рождения, не я, которую, в конце концов, ей, должно быть, тяжело наказывать, а неодушевленный предмет, который надо водворить на место. Вся моя надежда была на отца. Наверное, он скажет, как всегда: «Что это за мальчуган, котенок? Надеюсь, он по крайней мере красив и здоров? Берегись распутников, детка». Он должен сказать именно это — не то прости-прощай мои каникулы.

Ужин прошел как в кошмарном сне. Анне и в голову не пришло предложить мне: «Я не стану ничего рассказывать отцу, я не доносчица, но дайте мне слово, что будете прилежно заниматься». Такого рода сделки были не в ее характере. Это и радовало и злило меня — ведь в противном случае у меня был бы повод ее презирать. Но она избежала этого промаха, как и всех других, и, только когда подали второе, вдруг как будто вспомнила о происшествии.

— Реймон, я хотела бы, чтобы вы дали кое-какие благоразумные наставления вашей дочери. Сегодня вечером я застала ее в сосновой роще с Сирилом, и, судя по всему, отношения у них

самые короткие.

Отец, бедняжка, попытался обратить все в шутку.

— Ай-ай-ай, что я слышу? Что же они делали?

— Я его целовала, — с жаром крикнула я. — А Анна подумала…

— Я ничего не подумала, — отрезала она. — Но полагаю, что ей лучше некоторое время не видеться с ним и заняться своей философией.

— Бедное мое дитя, — сказал отец, — Надеюсь, этот Сирил хоть славный мальчик?

— Сесиль тоже славная девочка, — сказала Анна. — Вот почему я была бы очень огорчена, если бы с ней случилась беда. А поскольку она здесь предоставлена самой себе, постоянно проводит время с этим мальчиком и оба они бездельничают, беды, по-моему, не избежать. А вы в этом сомневаетесь?

При словах: «А вы в этом сомневаетесь?» — я подняла глаза. Отец в полном смущении потупился.

— Вы, безусловно, правы, — сказал он. — Конечно, в общем-то тебе надо немного позаниматься, Сесиль. Ты ведь не хочешь провалиться по философии?

— Мне все равно, — буркнула я.

Он посмотрел на меня и тут же отвел глаза. Я была сражена. Я понимала, что беззаботность — единственное чувство, которое было содержанием нашей жизни, — не располагала аргументами для самозащиты.

— Ну вот что, — сказала Анна, поймав под столом мою руку. — Вы откажетесь от роли лесной дикарки ради роли хорошей ученицы, но всего на один месяц, ведь это не страшно, верно?

Она и он смотрели на меня с улыбкой, в этих условиях спорить было бесполезно. Я осторожно отняла руку.

— Нет, — сказала я, — очень даже страшно.

Я сказала это так тихо, что они не расслышали, а может быть, не захотели расслышать. На другое утро я сидела над фразой Бергсона — я потратила несколько минут, чтобы ее понять: «Сколь различны ни казались бы на первый взгляд факты и их причины и хотя по правилам поведения нельзя заключить о сути вещей, мы неизменно черпаем стимул для любви к человечеству только из неразрывной связи с исходным принципом человеческого рода». Я повторяла эту фразу сначала тихо, чтобы не растравлять себя, потом в полный голос. Я внимательно вглядывалась в нее, обхватив голову руками. Наконец я ее поняла, но

чувствовала себя такой же холодной и бездарной, как когда прочла ее в первый раз. Продолжать я не могла: я вчитывалась в следующие строчки с прежним усердием и готовностью, как вдруг какой-то вихрь всколыхнулся во мне и швырнул меня на кровать. Я подумала о Сириле, который ждал меня в золотистой бухточке, о тихом покачивании лодки, о вкусе наших поцелуев и — об Анне. Подумала о ней так, что села на кровати с сильно бьющимся сердцем, твердя себе, что это глупо и чудовищно, что я просто ленивая, избалованная девчонка и не вправе позволить себе так думать. Но против воли мне лезли в голову мысли — мысли о том, что она зловредна и опасна и необходимо убрать ее с нашего пути. Я вспомнила о только что кончившемся завтраке, за которым я не разжимала губ. Уязвленная, осунувшаяся от обиды, чувствуя, что презираю себя, что мои переживания смешны… Да, именно в этом я и винила Анну: она мешала мне любить самое себя. От природы созданная для счастья, улыбок, беззаботной жизни, я из-за нее вступила в мир угрызений и нечистой совести и, совершенно не привыкшая к самоанализу, безнадежно погрязла в нем. А что она могла мне предложить взамен? Я взвешивала ее силу: захотела получить моего

отца — и получила. Понемногу она превратит нас в мужа и падчерицу Анны Ларсен, то есть в цивилизованных, хорошо воспитанных и счастливых людей. Ведь она и вправду даст нам счастье. Я предвидела, с какой легкостью наши уступчивые натуры поддадутся соблазну заключить себя в рамки и сложить с себя всякую ответственность. Слишком велико ее влияние на нас. Я уже начала терять отца — его смущенное, отвернувшееся от меня за столом лицо мучало, преследовало меня. Я едва ли не со слезами вспоминала о нашем былом сообщничестве, о том, как мы смеялись, возвращаясь под утро в машине по светлеющим улицам Парижа. Всему этому настал конец. Меня Анна тоже приберет к рукам, будет вертеть и распоряжаться мною. И я даже не почувствую себя несчастной, она будет действовать умно, с помощью иронии и ласки, и я не смогу — а через полгода уже и не захочу — ей сопротивляться.

Нет, я должна во что бы то ни стало встряхнуться, вернуть отца и нашу былую жизнь. Какими пленительными показались мне вдруг два минувших года, веселых и суматошных, два года, от которых еще недавно я с такой легкостью готова была отречься… Иметь право думать что хочешь, думать дурно или вообще почти не думать, право

жить, как тебе нравится, быть такой, как тебе нравится. Не могу сказать «быть самой собой», потому что я всего только податливая глина, но иметь право отвергать навязанную тебе форму.

Я понимаю, что перемену моего настроения можно объяснить. сложными мотивами, что мне можно приписать великолепнейшие комплексы: кровосмесительную любовь к отцу или болезненную страсть к Анне. Но я — то знаю подлинные причины: жара, Бергсон, Сирил или, во всяком случае, отсутствие Сирила. До самого вечера я размышляла об этом, пройдя все степени тяжелого настроения, вызванного одним открытием — что мы во власти Анны. Я не привыкла к долгим раздумьям и стала раздражительной. За столом, как и утром, я не открывала рта. Отец счел своим долгом пошутить:

— Люблю молодежь за живость и разговорчивость…

Я метнула в него пронзительный, жесткий взгляд. Что правда, то правда, он любил молодежь, и с кем же, как не с ним, я обычно болтала? Мы болтали обо всем: о любви, о смерти, о музыке. Но он бросил меня, он сам сделал меня безоружной. Я смотрела на него, я думала: «Ты больше не любишь меня так, как прежде, ты меня

предаешь», — и старалась без слов внушить ему свои мысли. Я переживала самую настоящую трагедию. Он тоже взглянул на меня и вдруг растревожился, быть может, поняв, что это не игра и наше согласие в опасности. Он застыл в немом вопросе. Анна обернулась ко мне:

— Вы плохо выглядите, я корю себя за то, что заставила вас заниматься.

Я не ответила, я слишком ненавидела самое себя за то, что раздуваю драматический конфликт, но остановиться уже не могла. Мы отужинали. На террасе, в светлом треугольнике, отбрасываемом окном столовой, я увидела, как рука Анны, длинная, трепетная рука качнулась, нашла руку отца. Я подумала о Сириле, мне хотелось, чтобы он прижал меня к себе на этой террасе, полной цикад и лунного света. Мне хотелось, чтобы меня приласкали, утешили, примирили с самой собой. Отец и Анна молчали: у них впереди была ночь любви, у меня — Бергсон. Я попыталась заплакать, пожалеть самое себя, но тщетно. Я жалела не себя, а Анну, как будто уже заранее знала, что победу одержу я.

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

## Глава первая

Я сама удивляюсь, как отчетливо помню все, начиная с этой минуты. Я стала внимательно вглядываться в окружающих и в самое себя. До сих пор непосредственность, бездумный эгоизм составляли для меня привычную роскошь. Я всегда в ней жила. Но эти несколько дней так перевернули мою душу, что я начала задумываться, наблюдать себя со стороны. Я прошла через все муки самоанализа, но так и не примирилась с собой. «Питать такие чувства к Анне, — твердила я себе, — глупо и мелко, а желать разлучить ее с отцом — жестоко». Но впрочем, за что я себя осуждала? Я — это я, с какой стати мне насиловать свои чувства? Впервые в жизни мое «я» как бы раздвоилось, и я в полном изумлении обнаружила в себе эту двойственность. Я находила для себя убедительные самооправдания, нашептывала их себе, считала себя искренней, как вдруг подавало голос мое второе «я», оно опровергало мои собственные доводы, кричало мне, что я нарочно предаюсь самообману, хотя у моих

доводов есть видимость правдоподобия. Но как знать — может, именно мое второе «я» вводило меня в заблуждение? И эта прозорливость — не была ли она моей главной ошибкой? Целыми часами я просиживала в своей комнате, пытаясь понять, оправданы ли опасения и неприязнь, какие мне отныне внушала Анна, или я просто балованная, эгоистичная девчонка, жаждущая лженезависимости?

Тем временем я день ото дня худела, на пляже только спала, а за столом против воли хранила напряженное молчание, которое в конце концов стало их тяготить. Я приглядывалась к Анне, ловила каждое ее движение, за едой то и дело твердила себе: «Вот она потянулась к нему — да ведь это любовь, самая настоящая любовь, другой такой он никогда не встретит. А вот она улыбнулась мне, и в глазах затаенная тревога — да разве можно на нее за это сердиться?» Но вдруг она говорила: «Когда мы вернемся в город, Реймон...» И при мысли о том, что она войдет в нашу жизнь, будет делить ее с нами, я вся ощетинивалась. Анна начинала мне казаться просто ловкой и холодной женщиной. Я твердила себе: «У нее холодное сердце, у нас — пылкое, у нее властный характер, у нас — независимый, она

равнодушна к людям, они ее не интересуют, нас страстно влечет к ним, она сдержанна, мы веселы. Только мы двое по-настоящему живые, а она проскользнет между нами с этим пресловутым спокойствием, будет отогреваться возле нас и мало-помалу завладеет ласковым теплом нашей беззаботности, она ограбит нас, точно прекрасная змея. Прекрасная змея, прекрасная змея!» — повторяла я. Анна протягивала мне хлеб, и я, вдруг очнувшись, восклицала про себя: «Да ведь это же безумие! Ведь это Анна, умница Анна, которая взяла на себя заботу о тебе. Холодность — это ее манера держаться, здесь нет никакой задней мысли; равнодушие служит ей защитой от тысячи житейских гнусностей, это залог благородства». Прекрасная змея… Побелев от стыда, я глядела на нее и мысленно молила о прощении. Иногда она подмечала мои взгляды, и удивление, неуверенность омрачали ее лицо, обрывали ее фразу на полуслове. Она инстинктивно искала взглядом отца, он смотрел на нее с восхищением и страстью, он не понимал причины ее тревоги. В конце концов обстановка по моей милости сделалась невыносимой, и я себя за это ненавидела.

Мой отец страдал от этого настолько, насколько вообще был способен страдать в его положении.

Иными словами, мало, потому что был без ума от Анны, без ума от гордости и наслаждения, а он жил только ради них. Тем не менее, в один прекрасный день, когда я дремала на пляже, он сел рядом со мной и стал на меня смотреть. Я почувствовала на себе его взгляд. Я хотела было встать и с наигранно веселым видом, который вошел у меня в привычку, предложить ему искупаться, но он положил руку мне на голову и заговорил жалобным тоном:

— Анна, посмотрите на эту пичужку, она совсем отощала. Если это результат занятий, надо их прекратить.

Он хотел все уладить, и, без сомнения, скажи он это десятью днями раньше, все и уладилось бы. Но теперь я запуталась в куда более сложных противоречиях, и дневные занятия меня больше не тяготили — ведь после Бергсона я не прочла ни строчки.

Подошла Анна. Я по-прежнему лежала ничком на песке, прислушиваясь к ее заглушенным шагам. Она села по другую сторону от меня и прошептала:

— И вправду, учение ей не впрок. Впрочем, было бы лучше, если бы она в самом деле занималась, а не кружила по комнате…

Я обернулась, посмотрела на них. Откуда она знает, что я не занимаюсь? Может, она вообще читает мои мысли, она способна на все. Это предположение меня напугало.

— Я вовсе не кружу по комнате, — возразила я.

— Может; ты скучаешь по этому мальчугану? — спросил отец.

— Нет!

Я была не вполне искренна. Впрочем, у меня не оставалось времени думать о Сириле.

— И однако, ты, верно, плохо себя чувствуешь, — строго сказал отец. — Анна, вы видите? Форменный цыпленок, которого выпотрошили и поджаривают на солнце.

— Сесиль, девочка моя, — сказала Анна. — Сделайте над собой усилие. Позанимайтесь немного и побольше ешьте. Этот экзамен очень важен…

— Плюю я на этот экзамен, — крикнула я. — Понимаете, плюю!

Я в отчаянии посмотрела ей прямо в лицо, чтобы она поняла: тут речь о вещах поважнее экзамена. Мне надо было, чтобы она спросила: «Так в чем же дело?», чтобы она засыпала меня вопросами, вынудила все ей рассказать. Она переубедила бы меня, поставила бы на своем, но зато меня не отравляли бы больше эти разъеда-

ющие и гнетущие чувства. Анна внимательно смотрела на меня, берлинская лазурь ее глаз потемнела от ожидания, от укоризны. И я поняла, что она никогда не станет меня расспрашивать, не поможет мне облегчить душу, ей это и в голову не придет: по ее представлениям, так не делают. Она и вообразить себе не может, какие мысли меня снедают, а если бы вообразила, отнеслась бы к ним с презрением и равнодушием, чего они, впрочем, и заслуживали! Анна всегда знала подлинную цену вещам. Вот почему нам с ней никогда, никогда не найти общего языка.

Я снова рывком распласталась на животе, прижалась щекой к ласковому, горячему песку, вздохнула и чуть задрожала. Спокойная, уверенная рука Анны легла мне на затылок и мгновение удерживала меня в неподвижности, пока не унялась моя нервная дрожь.

— Не усложняйте себе жизнь, — сказала она. — Вы были такой довольной, оживленной, и вообще, вы всегда живете бездумно — и вдруг стали умствовать и хандрить. Это вам не идет.

— Знаю, — сказала я, — я молодое, здоровое и безмозглое существо, веселое и глупое.

— Идемте обедать, — сказала она.

Отец ушел вперед — он терпеть не мог подоб-

ного рода споры.

По дороге он взял мою руку и задержал ее в своей. Это была, сильная, надежная рука: она утирала мне слезы при первом любовном разочаровании, она держала мою руку, когда мы бывали спокойны и безмятежно счастливы, она украдкой пожимала ее, когда мы вместе дурачились и хохотали до упаду. Я привыкла видеть эту руку на руле или сжимающей ключи, когда по вечерам она неуверенно нащупывала замочную скважину, на плече женщины или с пачкой сигарет. Но теперь эта рука ничем не могла мне помочь. Я крепко стиснула ее. Отец посмотрел на меня и улыбнулся.

## Глава вторая

Прошло два дня: я все так же кружила по комнате, я вся извелась. Я не могла избавиться от навязчивой мысли: Анна перевернет всю нашу жизнь. Я не делала попыток увидеть Сирила — он успокоил бы меня, дал каплю радости, а я этого не хотела. Мне даже доставляло смутное удовольствие задаваться неразрешимыми вопросами, вспоминать минувшие дни и со страхом ждать будущего. Стояла сильная жара; в моей комнате с закрытыми ставнями царил сумрак, но и это

не спасало от непереносимой, давящей и влажной духоты. Я валялась на постели, запрокинув голову, уставившись в потолок, и только изредка передвигалась, чтобы найти прохладный кусочек простыни. Спать мне не хотелось, я ставила на проигрыватель в ногах кровати одну за другой пластинки, лишенные мелодии, но с четким, замедленным ритмом. Я много курила, чувствовала себя декаденткой, и мне это нравилось. Впрочем, эта игра не могла меня обмануть: я грустила и была растеряна.

Однажды после полудня ко мне постучалась горничная и с таинственным видом сообщила, что «внизу кое-кто ждет». Я, конечно, решила, что это Сирил, и спустилась вниз. Но это был не Сирил, а Эльза. Она порывисто сжала мои руки. Я смотрела на нее, пораженная ее неожиданной красотой. Она наконец загорела — ровным светлым загаром, была тщательно подмазана и причесана и ослепительно молода.

— Я пришла за своими вещами, — сказала она. — Правда, Хуан купил мне на днях несколько платьев, но ими все равно не обойдешься.

На секунду я задумалась, кто такой Хуан, но выяснять не стала. Я была рада вновь увидеть Эльзу — от нее веяло миром содержанок, ат-

мосферой баров, бездумных вечеринок, и это напомнило мне счастливые дни. Я сказала ей, что рада ее видеть, а она стала меня уверять, что мы всегда ладили друг с другом, потому что у нас много общего. Меня слегка передернуло, но я не подала виду и предложила ей подняться ко мне, чтобы избежать встречи с отцом и Анной. Когда я упомянула об отце, она невольно чуть заметно мотнула головой, и я подумала, что она, наверное, все еще любит его… несмотря на Хуана и его платья. И еще я подумала, что три недели назад я не заметила бы ее движения.

В моей комнате она стала восторженно расписывать, какую восхитительную светскую жизнь она ведет на взморье. А я слушала и смутно чувствовала, как во мне пробуждаются странные мысли, внушенные отчасти ее новым обликом. Наконец она замолчала, возможно потому, что я не поддерживала разговора, прошлась по комнате и, не оборачиваясь, небрежным тоном проронила: «Ну а как Реймон — он счастлив?» Мне смутно подумалось: «Очко в мою пользу», и я тотчас поняла почему. В моем мозгу роились замыслы, возникали планы, я чувствовала, что меня сокрушает бремя моих прежних доводов. Я сразу же сообразила, что нужно ей ответить.

— «Счастлив», — ну, это слишком сильно сказано! Просто Анна старается ему это внушить. Она очень ловкая женщина.

— Очень! — вздохнула Эльза.

— Вам ни за что не угадать, чего она от него добилась… Она выходит за него замуж…

Эльза обернулась ко мне с выражением ужаса на лице:

— Замуж? Реймон… Реймон хочет жениться?

— Да, — сказала я. — Реймон собирается жениться.

Безумный смех подступил мне к горлу. Руки у меня задрожали. Эльза так растерялась, будто я ее ударила. Нельзя было ей дать время поразмыслить и прийти к выводу, что, в конце концов, в его годы это естественно и не может же он всю свою жизнь прожить среди содержанок. Я подалась вперед и, для вящего впечатления резко понизив голос, сказала:

— Этого нельзя допустить, Эльза. Он уже страдает. Это совершенно невозможно, вы понимаете сами.

— Конечно, — сказала она.

Она была как зачарованная — меня разбирал смех и все сильнее била дрожь.

— Я вас ждала, — снова заговорила я. — Вам

одной по плечу тягаться с Анной. Тут нужна женщина вашего класса.

Она явно жаждала мне поверить.

— Но если он собирается жениться, значит, он ее любит, — возразила она.

— Бросьте, — ласково сказала я. — Он любит вас, Эльза! Не пытайтесь уверить меня, будто вы этого не знаете.

Я видела, как она заморгала глазами, как отвернулась, чтобы скрыть радость, надежду, которую я в нее заронила. Я действовала словно по наитию, я совершенно точно угадывала, что надо ей говорить.

— Понимаете, — сказала я, — она поманила его прелестями семейного очага, добродетельной жизни, и он попался на эту удочку.

Мои слова угнетали меня… Ведь они, в конце концов, выражали то, что я и в самом деле чувствовала, пусть в грубой, примитивной форме, но все-таки они отвечали моим мыслям.

— Если этот брак состоится, мы все трое — погибшие люди, Эльза. Надо защищать моего отца, ведь это большое дитя, Эльза… Большое дитя…

«Большое дитя», — повторяла я убежденно. Пожалуй, это слишком отдавало мелодрамой, но прекрасные зеленые глаза Эльзы уже затумани-

лись жалостью. И я закончила, как заклинание:

— Помогите мне, Эльза. Ради вас, ради моего отца, ради вашей с ним любви.

И про себя добавила: «… и ради китайчат».

— Но что я могу сделать? — спросила Эльза. — По-моему, это невозможно.

— Ну если, по-вашему, это невозможно, тогда делать нечего, — произнесла я так называемым убитым голосом.

— Вот шлюха! — пробормотала Эльза.

— Именно, — сказала я и на сей раз сама отвернулась.

Эльза расцветала на глазах. Над ней посмеялись, но теперь она покажет этой интриганке, на что способна она, Эльза Макенбур. Мой отец ее любит, она это знала всегда. Да и она сама — Хуан не мог затмить в ее сердце обаяние Реймона. Само собой, она никогда не толковала ему о прелестях семейного очага, но зато она, по крайней мере, не докучала ему, не пыталась заставить его…

— Эльза, — сказала я, дольше я не могла ее вынести. — Пойдите к Сирилу и скажите ему, что я прошу его вас приютить. С матерью он договорится. Передайте, что завтра утром я зайду к нему. Мы втроем все обсудим.

Проводив ее до порога, я, смеха ради, добавила:

— Вы защищаете свое счастье, Эльза.

Она кивнула с самой серьезной миной, так, словно у нее не было полутора десятка вариантов этого самого счастья — по числу мужчин, которые будут ее содержать. Я глядела, как она идет по солнцу своей танцующей походкой. Я была уверена — не пройдет недели, как отец снова захочет ее.

Была половина четвертого: отец, наверное, спит в объятиях Анны. Она сама, упоенная, разметавшаяся в постели, разомлевшая от наслаждения и счастья, тоже, наверное, предалась сну… Быстро-быстро я начала строить планы, избегая даже мимолетной попытки разобраться в самой себе. Я как маятник слонялась по комнате, подходила к окну, смотрела на безмятежно спокойное, распластавшееся у песчаного берега море, возвращалась к двери и опять шла к окну. Я высчитывала, прикидывала и одно за другим отметала все возражения; никогда прежде я не подозревала, как изворотлив и находчив человеческий ум. Я чувствовала себя опасной и удивительно ловкой, и к волне отвращения к самой себе, которая захлестнула меня с первых слов моего разговора с Эльзой, примешивалась гордость, ощущение сговора, в который я вступи-

ла с самой собой, и одиночества.

Надо ли говорить, что от всего этого не осталось и следа, когда настал час купания. Меня терзали угрызения совести, я не знала, что сделать, чтобы загладить свою вину перед Анной. Я несла на пляже ее сумку, бросилась подавать ей купальный халат, когда она вышла из воды, была сама предупредительность, сама любезность; эта внезапная перемена, после того как я дулась столько дней подряд, удивила ее и даже обрадовала. Отец был в восторге. Анна благодарила меня улыбкой, веселым голосом отвечала мне, а в моих ушах звучало: «Вот шлюха!» — «Именно». Как я могла это сказать, как могла терпеть глупость Эльзы? Завтра же посоветую ей уехать, скажу, что ошиблась. Все останется по-прежнему, и, в конце концов, почему бы мне не сдать экзамен? Ведь получить степень бакалавра наверняка полезно.

— Правда ведь?

Я обращалась к Анне:

— Правда ведь, получить степень бакалавра полезно?

Она посмотрела на меня и расхохоталась. Я — тоже, обрадованная тем, что ей так весело.

— Вы неподражаемы, — сказала она.

Я и в самом деле была неподражаема. А если бы

она еще знала, какие планы я вынашивала утром! Я умирала от желания рассказать ей все, чтобы она поняла, до какой степени я неподражаема! «Представьте, что я подучила Эльзу разыграть комедию: она должна была прикинуться влюбленной в Сирила, поселиться у него, мы видели бы, как они плавают в лодке, как прогуливаются в лесу и на берегу. Эльза снова стала красивой. О, конечно, ее красота не может сравниться с вашей, но все-таки есть в ней эта цветущая земная прелесть, которая заставляет мужчин оборачиваться. Отец не вынес бы этого долго: он никогда не примирился бы с тем, что красивая женщина, которая принадлежала ему, утешилась так быстро, да еще, можно сказать, у него на глазах. И вдобавок с мужчиной моложе его. Понимаете, Анна, хотя он любит вас, он снова очень быстро захотел бы ее, просто ради самоутверждения. Он очень тщеславен, а может, неуверен в себе — уж не знаю. Эльза по моей указке повела себя так, как надо. В один прекрасный день он бы вам изменил, а вы бы этого не стерпели, правда ведь? Вы не из тех женщин, которые умеют делиться. Вы бы уехали, а я этого и добивалась. Ну да, это глупо, но я злилась на вас из-за Бергсона, из-за жары, я воображала, что… Я даже не решаюсь

рассказать вам, что настолько это надуманно и смехотворно. Из-за этого экзамена я готова была поссорить нас с вами, подругой моей матери, нашим другом. А между тем ведь сдать экзамен на бакалавра полезно».

— Правда ведь?

— Что правда? — переспросила Анна. — Что полезно сдать экзамен на бакалавра?

— Да, — сказала я.

А в общем, не стоит ей рассказывать, вряд ли она поймет. Есть вещи, которые Анна понять не может. Я бросилась в воду, поплыла вдогонку за отцом, стала с ним бороться, вновь обретая радость от игры, от воды, от спокойной совести. Завтра же переберусь в другую комнату; устроюсь на чердаке, прихвачу с собой учебники. Бергсона я, правда, с собой не возьму незачем пересаливать! Два часа ежедневной работы в одиночестве, молчаливые усилия, запах чернил, бумаги. В октябре — успех, изумленный смех отца, одобрение Анны, диплом. Я стану умной, образованной, чуть равнодушной, как Анна. Кто знает, может у меня незаурядные способности… Смогла же я в пять минут разработать логический план — само собой гнусный, но зато логичный же. А Эльза! Я сыграла на ее тщеславии, на ее чувствах, в мгно-

вение ока я заставила ее плясать под свою дудку, а ведь она пришла забрать вещи. Удивительная штука: я взяла Эльзу на мушку, подметила ее уязвимое место и, прежде чем заговорить, точно рассчитала удар. Я впервые познала ни с чем не сравнимое наслаждение: разгадать человека, увидеть его насквозь, заглянуть ему в душу и поразить в больное место. Осторожно, точно прикасаясь пальцем к пружинке, я пыталась прощупать кого-то — и тотчас сработало. Я попала в цель! Прежде я никогда не испытывала ничего подобного, я была слишком импульсивна. Если я затрагивала чью-нибудь чувствительную струнку, то только по неосмотрительности. И вдруг мне приоткрылся удивительный механизм человеческих реакций, могущество слова… Как жаль, что я обнаружила это на путях обмана. Но в один прекрасный день я полюблю кого-нибудь всей душой, и вот так же осторожно, ласково, трепетной рукой нащупаю путь к его сердцу…

## Глава третья

На другое утро я шла к вилле, где жил Сирил, уже куда менее уверенная в силе своего интеллекта. Накануне за ужином я много пила, чтобы отпраздновать свое выздоровление, и сильно

захмелела. Я уверяла отца, что защищу диссертацию по литературе, буду вращаться среди эрудитов, стану знаменитой и нудной. А ему придется пустить в ход все средства рекламы и скандала, чтобы посодействовать моей карьере. Мы наперебой строили нелепые планы и покатывались от смеха. Анна тоже смеялась, хотя не так громко и несколько снисходительно. А по временам, когда мои честолюбивые планы выходили за рамки литературы и простого приличия, ее смех и вовсе умолкал. Но отец был так откровенно счастлив, оттого что наши дурацкие шуточки помогают нам вновь обрести друг друга, что она воздерживалась от замечаний. Наконец они уложили меня в постель, накрыли одеялом. Я горячо благодарила их, вопрошала: «Что бы я без вас делала?». Отец и в самом деле не знал, но у Анны, кажется, было на этот счет довольно суровое мнение. Я заклинала ее сказать какое, и она уже склонилась было надо мной, но тут меня сморил сон. Среди ночи мне стало плохо. А утреннее пробуждение еще ни разу не было для меня таким мучительным. С мутной головой, тяжелым сердцем шла я к сосновой рощице, не замечая ни утреннего моря, ни возбужденных чаек.

Сирил встретил меня у калитки сада. Он кинул-

ся ко мне, обнял, страстно прижал к себе, бормоча бессвязные слова:

— Родная моя, я так волновался… Так долго… Я не знал, что с тобой, может, эта женщина мучает тебя… Я не думал, что сам могу так мучиться… Каждый день после полудня я плавал вдоль бухты, взад и вперед… Я не думал, что так тебя люблю…

— Я тоже, — сказала я.

Я и вправду была удивлена и растрогана. Мне было досадно, что меня мутит и я не могу выразить ему своих чувств.

— Какая ты бледная, — сказал он. — Но теперь я сам о тебе позабочусь, я не позволю больше истязать тебя.

Я узнала разыгравшуюся фантазию Эльзы. Я спросила Сирила, как приняла Эльзу его мать.

— Я представил ее как свою приятельницу, сироту, — ответил Сирил. — Она вообще славная, Эльза. Она все рассказала мне об этой женщине. Удивительно: такое тонкое, породистое лицо — и повадки настоящей интриганки.

— Эльза сильно преувеличивает, — вяло возразила я. — Я как раз хотела ей сказать…

— Мне тоже надо тебе кое-что сказать, — оборвал Сирил. — Сесиль, я хочу на тебе жениться.

На секунду я перепугалась. Надо что-то сделать, что-то сказать. Ах, если бы не эта гнусная тошнота…

— Я люблю тебя, — говорил Сирил, дыша мне в волосы. — Я брошу юриспруденцию, мне предлагают выгодное место у дяди… мне двадцать шесть лет, я уже не мальчишка. Я говорю совершенно серьезно. А ты что скажешь?

Я тщетно подыскивала какую-нибудь красивую уклончивую фразу. Я не хотела за него замуж. Я любила его, но не хотела за него замуж. Я вообще не хотела ни за кого замуж, я устала.

— Это невозможно, — пробормотала я. — Мой отец…

— Твоего отца я беру на себя, — сказал Сирил.

— Анна не согласится, — сказала я. — Она считает, что я еще ребенок. А что скажет она, то скажет и отец. Я так устала, Сирил. От всех этих волнений я еле держусь на ногах. Сядем. А вот и Эльза.

Эльза спускалась по лестнице в халате, свежая и сияющая. Я чувствовала себя поблекшей и тощей. У них обоих был здоровый, цветущий, возбужденный вид, и это еще больше меня угнетало. Эльза усадила меня, обхаживая так бережно, словно я только-только вышла из тюрьмы.

— Как поживает Реймон? — спросила она. — Он знает, что я здесь?

Она улыбалась счастливой улыбкой женщины, которая простила и надеется. Я не могла сказать ей, что отец ее забыл, а Сирилу — что я не хочу за него замуж. Я закрыла глаза, Сирил пошел за чашкой кофе. Эльза говорила, говорила без умолку, она явно смотрела на меня как на необычайно проницательное существо, она полностью на меня полагалась. Кофе был крепкий, ароматный, солнце немного подбодрило меня.

— Я без толку ломала себе голову, я не вижу выхода, — сказала Эльза.

— Выхода нет, — сказал Сирил. — Он под ее обаянием, под ее властью. Тут ничего не поделаешь.

— Почему же? — возразила я. — Одно средство есть. Вы начисто лишены воображения.

Мне льстило, что они с таким вниманием прислушиваются к моим словам — они на десять лет меня старше, а сообразительности ни на грош.

— Это начисто психологический вопрос, — заявила я небрежным тоном.

Я говорила долго, изложила им весь свой план. Они выдвигали те же возражения, какие накануне выдвигала я сама и, опровергая их, я испытывала жгучее наслаждение. Я делала это

без всякой цели, но, стараясь их убедить, я сама вошла в азарт. Я доказала им, что это возможно. Теперь мне осталось уговорить их, что этого делать не следует, но я не находила столь же убедительных доводов.

— Не нравятся мне все эти ухищрения, — сказал Сирил. — Но если другого способа жениться на тебе нет, я готов на все.

— Собственно, Анна в этом не виновата, — сказала я.

— Вы прекрасно понимаете, что, если она останется у вас, вы выйдете за того, за кого захочет она, — сказала Эльза.

Наверное, она была права. Я сразу вообразила, как мне исполняется двадцать лет и Анна представляет мне молодого человека — он тоже лиценциат, с блестящими видами на будущее, умный, уравновешенный и, конечно, неспособный на измену. Пожалуй, отчасти похожий на Сирила. Я рассмеялась.

— Прошу тебя, не смейся, — сказал Сирил. — Скажи, что будешь ревновать, когда я сделаю вид, будто влюблен в Эльзу. Как ты вообще могла на это пойти, ты любишь меня?

Он говорил шепотом, Эльза деликатно удалилась. Я всматривалась в загорелое, напряженное

лицо Сирила, в его темные глаза. Он любил меня — странное чувство это будило во мне. Я смотрела на его алый рот — так близко от меня… Я больше не ощущала себя интеллектуалкой. Он слегка приблизил ко мне свое лицо, наши губы соприкоснулись и узнали друг друга. Я сидела с открытыми глазами, его неподвижные губы, горячие и жесткие, были прижаты к моим; вот они дрогнули, он крепче прижался к моим губам, чтобы унять дрожь, потом его губы раздвинулись, поцелуй ожил; сразу стал более властным, искусным, чересчур искусным… И я поняла, что куда больше подхожу для того, чтобы целоваться на солнце с юношей, чем для того, чтобы защищать диссертацию… Задохнувшись, я слегка отстранилась от него.

— Сесиль, мы должны жить вместе. Я согласен разыграть эту комедию с Эльзой.

А я думала: правильно ли я все рассчитала? Я — душа, режиссер этой комедии. Я смогу остановить ее в любую минуту.

— Забавные тебе приходят в голову выдумки, — сказал Сирил, улыбаясь одним уголком рта. При этом у него приподнималась верхняя губа и он становился похожим на разбойника, на красавца-разбойника…

— Поцелуй меня, — прошептала я. — Поцелуй скорее!

Так я заварила эту комедию. Против воли, из беспечности и любопытства. Иной раз мне кажется, было бы лучше, если бы я сделала это с умыслом, из ненависти, в исступлении. Тогда, по крайней мере, я могла бы винить себя, себя самое, а не лень, солнце и поцелуи Сирила.

Час спустя я рассталась с заговорщиками в довольно скверном настроении. Конечно, у меня не было недостатка в успокоительных доводах: мой план может оказаться неудачным, а страсть отца к Анне так сильна, что он даже окажется способным хранить ей верность. К тому же ни Сирил, ни Эльза не сумеют обойтись без моей помощи. А у меня всегда найдется повод прекратить игру, если вдруг отец попадется на удочку. Но сделать попытку проверить, справедливы или нет мои психологические расчеты, все-таки забавно.

Вдобавок Сирил меня любит, он хочет на мне жениться — эта мысль поддерживала меня в радостном возбуждении. Если он согласится подождать год или два, пока я стану взрослой, я приму его предложение. Я уже представляла себе, как я живу с Сирилом, сплю рядом с ним, никогда с ним не разлучаюсь. По воскресеньям

мы обедаем вместе с отцом и Анной — дружной четой, а может, и с матерью Сирила, что придаст нашим трапезам семейную атмосферу.

Я встретила Анну на террасе — она спускалась на пляж к отцу. Она посмотрела на меня тем ироническим взглядом, каким смотрят на людей, сильно выпивших накануне. Я спросила ее, что она собиралась мне сказать вечером, когда я заснула, но она, смеясь, отказалась ответить под предлогом, что я обижусь. Отец вышел из воды, широкоплечий, мускулистый — он показался мне великолепным. Я пошла купаться с Анной, она легко плыла, приподняв голову над водой, чтобы не замочить волос. Потом мы все трое растянулись рядом на песке: я посредине, они по обе стороны от меня, молчаливые и умиротворенные.

И вот тут-то у дальней оконечности бухты показалась лодка под всеми парусами. Отец заметил ее первый.

— Бедняжка Сирил больше не мог выдержать, — сказал он, смеясь. — Анна, простим ему? В общем он славный малый.

Я подняла голову, я почуяла опасность.

— Что это он делает? — удивился отец. — Огибает бухту? Да он не один…

Теперь и Анна подняла голову. Лодка проплыла мимо нас, обогнула берег. Я уже различала лицо Сирила, я мысленно заклинала его поскорее уплыть отсюда.

Возглас отца заставил меня вздрогнуть. Между тем вот уже две минуты, как я его ждала:

— Да ведь это… это Эльза! Что она тут делает?

Он обернулся к Анне:

— Бесподобная девица! Она наверняка заарканила бедного мальчугана и убедила старую даму себя удочерить.

Но Анна его не слушала. Она смотрела на меня. Я встретилась с ней взглядом и, сгорая от стыда, уткнулась лицом в песок. Она протянула руку и положила ее мне на затылок.

— Поглядите на меня. Вы на меня сердитесь?

Я открыла глаза: она склонилась надо мной с тревогой, почти с мольбой. В первый раз она смотрела на меня как на существо, способное чувствовать и мыслить, и это в тот самый день… Я застонала и резко повернулась к отцу, чтобы стряхнуть с себя ее руку. Отец смотрел на парусник.

— Бедная моя девочка, — вновь раздался голос, тихий голос Анны. — Бедняжка Сесиль, тут есть доля моей вины, наверное, мне не следовало про-

являть такую нетерпимость. Но я вовсе не хотела сделать вам больно, вы мне верите?

Она ласково поглаживала меня по волосам, по затылку. Я не шевелилась. У меня было такое чувство, как бывает при отливе, когда песок уходит из-под ног, — жажда поражения, нежности охватила меня, и никогда ни одно чувство — ни гнев, ни желание — не завладевало мной с такою силой. Прекратить комедию, вверить Анне мою жизнь, до конца дней предаться в ее руки. Никогда не испытывала я такой неодолимой, такой безграничной слабости. Я закрыла глаза. Мне чудилось, что мое сердце перестало биться.

## Глава четвертая

Отец не выказал ничего, кроме удивления. Горничная рассказала ему, что Эльза приходила за своим чемоданом и тут же ушла. Уж не знаю, почему она умолчала о нашей с ней встрече. Это была деревенская женщина, настроенная весьма романтически, наши взаимоотношения должны были рисоваться ей в довольно соблазнительном свете. Тем более что именно ей пришлось переносить вещи из комнаты в комнату.

Итак, отец и Анна, терзаясь угрызениями совести, проявляли ко мне внимание и доброту,

которые сперва невыносимо тяготили меня, но вскоре начали нравиться. По правде говоря, хоть это и было делом моих рук, мне вовсе не доставляло удовольствия на каждом шагу встречать Сирила в обнимку с Эльзой, всем своим видом показывающих, что они вполне довольны друг другом. Плавать на лодке я больше не могла, но зато я могла видеть, что там сидит Эльза и ветер треплет ее волосы, как прежде мои. Мне не стоило никакого труда принимать замкнутый вид и держаться с напускным безразличием, когда мы сталкивались с ними. А сталкивались мы с ними повсюду: в сосновой роще, в поселке, на дороге. Анна смотрела на меня, заводила разговор о чем-нибудь постороннем и, чтобы ободрить меня, клала руку мне на плечо. Кажется, я назвала ее доброй? Быть может, ее доброта была утонченной формой ума, а то и просто равнодушия — не знаю, но она всегда находила единственно верное слово, движение, и, если бы я взаправду страдала, лучшей поддержки я не могла бы и желать.

Итак, я без особой тревоги предоставляла событиям идти своим чередом, потому что, как я уже сказала, отец не проявлял никаких признаков ревности. Это убеждало меня в том, что он привязан к Анне, но отчасти задевало, доказывая

тщету моих построений. Однажды мы с ним шли вдвоем на почту и встретили Эльзу; она сделала вид, будто не заметила нас. Отец оглянулся на нее, как на незнакомку, и присвистнул.

— Погляди — правда, Эльза неслыханно похорошела!

— Счастлива в любви, — сказала я.

Он бросил на меня удивленный взгляд.

— Ты, по-моему, относишься к этому легче, чем…

— Что поделаешь, — сказала я. — Они ровесники, как видно, это перст судьбы.

— Если бы не Анна, перст судьбы был бы тут ни при чем… — Он был в бешенстве. — Уж не думаешь ли ты, что какой-то мальчишка может отбить у меня женщину против моей воли…

— И все-таки возраст играет роль, — серьезно сказала я.

Он пожал плечами. Домой он вернулся хмурый: очевидно, размышлял о том, что и в самом деле Эльза молода и Сирил тоже, а он, женясь на женщине своих лет, перестанет принадлежать к той категории мужчин без возраста, к какой относился до сих пор. Меня охватило чувство невольного торжества. Но потом я увидела морщинки в уголках Аннинх глаз, едва заметную складку у рта

и устыдилась. Но было так приятно подчиняться своим порывам, а потом раскаиваться в них…

Прошла неделя. Сирил и Эльза, не зная, как обстоят дела, наверное, каждый день ждали меня. Но я не решалась пойти к ним, они подстрекнули бы меня к новым выдумкам, а мне этого не хотелось. К тому же каждый день после полудня я уединялась в своей комнате якобы для занятий. На самом деле я бездельничала: я набрела на книгу Йоги и усердно ее изучала, изредка содрогаясь от безудержного, но беззвучного хохота — я боялась, как бы меня не услышала Анна. Ведь я говорила ей, что работаю не разгибая спины, я разыгрывала перед ней разочарованную в любви девушку, которая черпает утешение в надежде написать когда-нибудь настоящий ученый труд. Мне казалось, что это внушает ей уважение, и я дошла до того, что несколько раз за обедом цитировала Канта, чем явно приводила в отчаяние отца.

Однажды днем, завернувшись в купальные полотенца, чтобы больше походить на индийцев, я поставила правую ступню на левое бедро и стала пристально созерцать себя в зеркале — не из желания полюбоваться собой, а в надежде достичь состояния нирваны, — когда вдруг в дверь посту-

чали. Я решила, что это горничная и, так как она ни на что не обращала внимания, крикнула:

«Войдите».

Это оказалась Анна. На мгновение она застыла на пороге, потом улыбнулась:

— Вот что это вы играете?

— В Йогу, — сказала я. — Но это не игра, а индийская философия.

Она подошла к столу и взяла книгу в руки. Меня охватила тревога. Книга была открыта на сотой странице и вся испещрена моими пометками вроде «неосуществимо» или «утомительно».

— Вы на редкость прилежны, — сказала она. — Но где же пресловутое сочинение о Паскале, о котором вы столько рассказывали?

И в самом деле, за столом я повадилась рассуждать об одной фразе Паскаля, делая вид, что размышляю и работаю над ней. Само собой, я не написала о ней ни слова. Я не шелохнулась. Анна пристально посмотрела на меня и все поняла.

— То, что вы не занимаетесь, а паясничаете перед зеркалом, дело ваше! — сказала она. — Но вот то, что потом вы лжете отцу и мне, уже гораздо хуже. Недаром я удивлялась, что вы вдруг так пристрастились к умственной деятельности…

Она вышла, а я оцепенела в своих купальных

полотенцах, я не могла взять в толк, почему она называет это «ложью». Я рассуждала о сочинении, чтобы доставить ей удовольствие, а она вдруг обдала меня презрением. Я уже привыкла, что теперь она обращалась со мной по-другому, и спокойный, унизительный для меня тон, каким она высказала мне свое пренебрежение, страшно меня обозлил. Я сорвала с себя маскарадный наряд, натянула брюки, старую блузку и выбежала из дому. Стояла палящая жара, но я мчалась сломя голову, подгоняемая чувством, похожим на ярость, тем более безудержную, что я не могла бы поручиться, что меня не мучит стыд. Я прибежала к вилле, где жил Сирил, и, запыхавшись, остановилась у входа. В полуденном зное дома казались до странности глубокими, притихшими, ревниво оберегающими свои тайны. Я поднялась наверх к комнате Сирила: он показал мне ее в тот день, когда мы были в гостях у его матери. Я открыла дверь, он спал, вытянувшись поперек кровати и положив щеку на руку. С минуту я глядела на него: впервые за все время нашего знакомства он показался мне беззащитным и трогательным; я тихо окликнула его; он открыл глаза и, увидев меня, сразу же сел:

— Ты? Как ты здесь очутилась?

Я сделала ему знак говорить потише: если его мать придет и увидит меня в его комнате, она может подумать… да и всякий на ее месте подумал бы… Меня вдруг охватил страх, я шагнула к двери.

— Куда ты? — крикнул Сирил. — Подожди… Сесиль.

Он схватил меня за руку, стал со смехом меня удерживать. Я обернулась и посмотрела на него, он побледнел — я, наверное, тоже — и выпустил мое запястье. Но тотчас вновь схватил меня в объятья и повлек за собой. Я смутно думала: это должно было случиться, должно было случиться. И начался хоровод любви — страх об руку с желанием, с нежностью, с исступлением, а потом жгучая боль и за нею всепобеждающее наслаждение. Мне повезло, и Сирил был достаточно бережным, чтобы дать мне познать его с первого же дня.

Я провела с ним около часа, оглушенная, удивленная. Я привыкла слышать разговоры о любви, как о чем-то легковесном, я сама говорила о ней без обиняков, с неведением, свойственным моему возрасту; но теперь мне казалось, что никогда больше я не смогу говорить о ней так грубо и небрежно. Сирил, прижавшись ко мне, твердил,

что хочет на мне жениться, всю жизнь быть вместе со мной. Мое молчание стало его беспокоить: я приподнялась на постели, посмотрела на него, назвала своим возлюбленным. Он склонился надо мной. Я прижалась губами к жилке, которая все еще билась на его шее, прошептала: «Сирил, мой милый, милый Сирил». Не знаю, было ли мое чувство к нему в эту минуту любовью, — я всегда была непостоянной и не хочу прикидываться другой. Но в эту минуту я любила его больше, чем себя самое, я могла бы отдать за него жизнь. Прощаясь со мной, он спросил, не сержусь ли я — я рассмеялась. Сердиться на него за это счастье…

Я медленно шла домой через сосновую рощу разбитая, скованная в движениях; я не разрешила Сирилу проводить меня — это было бы слишком опасно. Я боялась, что на моем лице, в кругах под глазами, в припухлости рта, в трепетании тела слишком явно видны следы наслаждения. Возле дома в шезлонге сидела Анна и читала. Я уже приготовилась ловко соврать, чтобы объяснить свое отсутствие, но она ни о чем меня не спросила, она никогда ни о чем не спрашивала. Я молча села возле нее, вспомнив, что мы в ссоре. Я сидела неподвижно, полузакрыв глаза, стараясь овладеть ритмом своего дыхания, дрожью своих

пальцев. По временам я вспоминала тело Сирила, мгновение счастья, и у меня обрывалось сердце.

Я взяла со стола сигарету, чиркнула спичкой о коробок. Спичка погасла. Я зажгла вторую очень осторожно, так как ветра не было — дрожала только моя рука. Спичка погасла, едва я поднесла ее к сигарете. Я сердито хмыкнула и взяла третью. И тут, не знаю почему, эта спичка стала в моих глазах вопросом жизни и смерти. Может быть, потому, что Анна, выйдя вдруг из своего безразличия, посмотрела на меня внимательно, без улыбки. В эту минуту исчезло все: место, время, — осталась только спичка, мой палец поверх нее, серый коробок и взгляд Анны. Мое сердце сорвалось с цепи, гулко заколотилось, пальцы судорожно сжали спичку, она вспыхнула, я жадно потянулась к ней лицом, сигарета накрыла ее и погасила. Я уронила коробок на землю, закрыла глаза. Анна не сводила с меня сурового, вопросительного взгляда. Я молила кого-то о чем-то — лишь бы кончилось это ожидание. Руки Анны приподняли мою голову — я зажмурила глаза, боясь, как бы она не увидела моего взгляда. Я чувствовала, как из-под моих век выступили слезы усталости, смущения, наслаждения. И тогда, точно вдруг отказавшись от всех вопросов, жестом,

выдающим неведение и примиренность, Анна провела ладонями по моему лицу сверху вниз и отпустила меня. Потом сунула мне в рот зажженную сигарету и вновь углубилась в книгу.

Я придала, попыталась придать этому жесту символический смысл. Но теперь, когда у меня гаснет спичка, я заново переживаю эту странную минуту-пропасть, разверзшуюся между мной и моими движениями, тяжесть взгляда Анны и эту пустоту вокруг, напряженную пустоту…

## Глава пятая

Описанная мной сценка не могла обойтись без последствий. Как многие очень сдержанные в проявлении чувств и очень уверенные в себе люди, Анна не выносила компромиссов. А ее жест — суровые руки, вдруг ласково скользнувшие по моему лицу, — был для нее именно таким компромиссом. Она что-то угадала, она могла вынудить у меня признание, но в последнюю минуту поддалась жалости, а может быть, равнодушию. Ведь возиться со мною, муштровать меня было для нее не легче, чем примириться с моими срывами. Только чувство долга заставило ее взять на себя роль опекунши, воспитательницы; выходя замуж за отца, она считала себя обязан-

ной заботиться и обо мне. Я предпочла бы, чтобы за этим ее постоянным неодобрением, что ли, крылась раздражительность или какое-нибудь другое более поверхностное чувство, привычка быстро притупила бы его; к чужим недостаткам легко привыкаешь, если не считаешь своим долгом их исправлять. Прошло бы полгода, и я вызывала бы у нее просто чувство усталости — привязанности и усталости; а я ничего лучшего и не желала бы. Но у Анны мне никогда не вызвать этого чувства — она будет считать себя в ответе за меня, и отчасти она права, потому что я все еще очень податлива. Податлива и в то же время упряма.

Итак, Анна была недовольна собой и дала мне это почувствовать. Несколько дней спустя за обедом разгорелся спор по поводу все тех же несносных летних занятий. Я позволила себе чрезмерную развязность. Покоробило даже отца, и дело кончилось тем, что Анна заперла меня на ключ в моей комнате, при этом не произнеся ни одного резкого слова. Я и не подозревала, что она меня заперла. Мне захотелось пить, я подошла к двери, чтобы ее открыть — дверь не поддалась, и я поняла, что меня заперли. Меня в жизни не запирали — меня охватил ужас, самый настоящий

ужас. Я бросилась к окну — этим путем выбраться было не-возможно. Совершенно потеряв голову, я опять метнулась к двери, навалилась на нее и сильно ушибла плечо. Тогда, стиснув зубы, я попыталась сломать замок — я не хотела звать на помощь, чтобы мне открыли. Но я только испортила маникюрные щипчики. Бессильно уронив руки, я остановилась посреди комнаты. Я стояла неподвижно и прислушивалась к странному спокойствию, умиротворению, которые охватывали меня по мере того, как прояснялись мои мысли. Это было мое первое соприкосновение с жестокостью — я чувствовала, как по мере моих размышлений она зарождается, крепнет во мне. Я легла на кровать и стала тщательно обдумывать свой план. Моя злоба была так несоразмерна поводу, который ее вызвал, что после полудня я два-три раза вставала, хотела выйти из комнаты и каждый раз, наткнувшись на запертую дверь, удивлялась.

В шесть часов вечера дверь отпер отец. Когда он вошел ко мне, я машинально встала. Он молча посмотрел на меня, и я все так же машинально улыбнулась.

— Хочешь, поговорим? — сказал он.

— О чем? — спросила я. — Ты ненавидишь объ-

яснения, я тоже. И они ни к чему не ведут…

— Ты права. — У него явно отлегло от души. — Тебе надо держаться с Анной поласковей, быть терпеливой.

Последнее слово меня поразило — мне быть терпеливой с Анной. Он все ставил с ног на голову. В глубине души он считал, что навязывает Анну своей дочери. А не наоборот. У меня были основания для самых радужных надежд.

— Я вела себя гадко, — сказала я. — Я извинюсь перед Анной.

— Скажи, ты… гм… ты счастлива?

— Конечно, — беспечно ответила я. — И потом, если мне будет очень уж трудно ужиться с Анной, я пораньше выйду замуж — только и всего.

Я знала, что такой выход его огорчит.

— Об этом нечего и думать… Ты ведь не Белоснежка… Неужели ты с легким сердцем сможешь так скоро расстаться со мной? Ведь мы прожили вместе всего два года.

Для меня эта мысль была так же мучительна, как и для него. Я поняла, что еще минута, и я с плачем припаду к нему и буду говорить о погибшем счастье и о моих раздутых переживаниях. Но я не могла превращать его в сообщника.

— В общем, я, конечно, сильно преувеличиваю.

Мы с Анной прекрасно ладим друг с другом. При взаимных уступках…

— Да-да, — сказал он. — Само собой.

Должно быть, он, как и я, подумал, что уступки едва ли будут взаимными и скорее всего их придется делать мне одной.

— Видишь ли, — сказала я, — я ведь отлично понимаю, что Анна всегда права. Она в своей жизни преуспела гораздо больше вас, ее существование гораздо более осмысленно…

У него невольно вырвался протестующий жест, но я продолжала как ни в чем не бывало:

— … Пройдет какой-нибудь месяц, два, я полностью усвою взгляды Анны, и наши глупые споры кончатся. Надо просто набраться терпения.

Он смотрел на меня, явно сбитый с толку. И испуганный — он потерял компаньона для будущих проказ и в какой-то мере терял прошлое.

— Ну, не надо преувеличивать, — слабо возразил он. — Я признаю, что навязывал тебе образ жизни, не совсем подходящий по возрасту ни тебе… гм… ни мне, но наша жизнь вовсе не была бессмысленной или несчастливой… нет. В общем, не так уж нам было грустно или, скажем, неуютно эти два года. Не надо все зачеркивать только потому, что Анна несколько по-иному

смотрит на вещи.

— Зачеркивать не надо, но надо поставить крест, — сказала я с убеждением.

— Само собой, — сказал бедняга, и мы сошли вниз. Я без малейшего смущения извинилась перед Анной. Она сказала, что это пустяки и причина нашего спора — жара. Мне было весело и безразлично.

Как было условлено, я встретилась с Сирилом в сосновой роще; объяснила ему, что надо делать. Он выслушал меня со смесью страха и восхищения. Потом притянул к себе, но было поздно — пора возвращаться домой. Я сама удивилась тому, как мне трудно расстаться с ним. Если он хотел привязать меня к себе, более прочных уз он не мог бы найти. Мое тело тянулось к его телу, обретало самое себя, расцветало рядом с ним. Я страстно поцеловала его, мне хотелось сделать ему больно, оставить какой-то след, чтобы он ни на минуту не забывал обо мне в этот вечер и ночью видел меня во сне. Потому что ночь будет тянуться бесконечно долго без него, без его близости, его умелой нежности, внезапного исступления и долгих ласк.

## Глава шестая

На другое утро я пригласила отца прогуляться со мной по дороге. Мы весело болтали о разных пустяках. Вернуться я предложила через сосновую рощу. Было ровно половина одиннадцатого — я поспела минута в минуту. Отец шел впереди меня, тропинка была узкая и заросла колючим кустарником, он то и дело раздвигал его, чтобы я не оцарапала себе ноги. Вдруг он остановился, и я поняла, что он их увидел. Я подошла к нему. Сирил и Эльза спали, лежа на опавшей хвое и являя взгляду все приметы сельской идиллии; они действовали в точности по моей указке, но, когда я увидела их в этой позе, у меня сжалось сердце. Что из того, что Эльза любит отца, а Сирил любит меня, — они оба так хороши собой, оба молоды, и они так близко друг от друга… Я взглянула на отца — он не двигался, впился в них взглядом, неестественно побледнев. Я взяла его под руку.

— Не надо их будить, уйдем.

Он в последний раз посмотрел на Эльзу. На Эльзу, раскинувшуюся на спине, во всей своей молодости и красоте, золотистую, рыжую, с легкой улыбкой на губах — улыбкой юной нимфы, которую наконец-то настигли… Он круто повер-

нулся и быстро зашагал прочь.

— Вот шлюха, — бормотал он. — Вот шлюха!

— За что ты ее бранишь? Разве она не свободна?

— Причем здесь свобода? Тебе что, приятно видеть, как Сирил спит с ней в обнимку?

— Я его больше не люблю, — сказала я.

— Я тоже не люблю Эльзу, — крикнул он в ярости. — И все равно мне это неприятно. Не забывай, что я — гм... я жил с нею! А это куда хуже...

Мне ли было не знать, что это куда хуже! Наверное, его, как и меня, подмывало броситься к ним, разлучить их, вновь вернуть. себе свою собственность — то, что было твоей собственностью.

— Услышала бы тебя Анна!..

— Что? Анна?.. Конечно, она не поняла бы или была бы шокирована, это вполне естественно. Но ты! Ведь ты моя родная дочь. Неужели ты меня перестала понимать, неужели тебя это тоже шокирует?

До чего же мне было легко направлять его мысли. Меня даже немного напугало то, что я так хорошо его знаю.

— Я не шокирована, — сказала я. — Но в конце концов, надо смотреть правде в глаза: у Эльзы память короткая, Сирил ей нравится, она для тебя

потеряна. Особенно если вспомнить, как ты с ней обошелся. Такие вещи не прощают…

— Захоти я только… — начал отец, но с испугом осекся.

— Ничего бы у тебя не вышло, — сказала я с убеждением, точно обсуждать его надежды вернуть Эльзу было самым будничным делом.

— Но у меня и в мыслях этого нет, — сказал он, обретая трезвость.

— Еще бы, — ответила я, пожав плечами.

Этот жест означал: «Бесполезно, бедняжка, ты вышел из игры». Весь обратный путь он молчал. Дома он обнял Анну и, закрыв глаза, несколько мгновений прижимал ее к себе. Удивленная, она подчинилась с улыбкой. Я вышла из комнаты и, сгорая от стыда, припала в коридоре к стенке.

В два часа я услышала тихий свист Сирила и спустилась на пляж. Сирил сразу же помог мне взобраться в лодку и поплыл в открытое море. На море было пустынно — никому не приходило в голову купаться в такую жару. Вдали от берега он спустил парус и обернулся ко мне. Мы едва успели перемолвиться словом.

— Сегодня утром… — начал он.

— Замолчи, — сказала я, — ох, замолчи!

Он осторожно опрокинул меня на брезент. Мы

были в поту — мокрые, скользкие, мы действовали неловко и торопливо; лодка равномерно покачивалась под нами. Солнце светило мне прямо в глаза. И вдруг Сирил зашептал властно и нежно… Солнце оторвалось, вспыхнуло, рухнуло на меня… Где я? В пучине моря, времени, наслаждения?.. Я громко звала Сирила, он не отвечал — отвечать не было нужды.

А потом прохлада соленой воды. Мы оба смеялись — ослепленные, разнеженные, благодарные. Нам принадлежали солнце и море, смех и любовь — и почувствуем ли мы их когда-нибудь с тем же накалом и силой, какие им придавали в это лето страх и укоры совести?..

Любовь приносила мне не только вполне осязаемое физическое наслаждение; думая о ней, я испытывала что-то вроде наслаждения интеллектуального. В выражении «заниматься любовью» есть свое особое, чисто словесное очарование, которое отчуждает его от смысла. Меня пленяло сочетание материального, конкретного слова «заниматься» с поэтической абстракцией слова «любовь». Прежде я произносила эти слова без тени стыдливости, без всякого смущения, не замечая их сладости. Теперь я обнаружила, что становлюсь стыдливой. Я опускала глаза, когда

отец чуть дольше задерживал взгляд на Анне, когда она смеялась новым для нее коротким, тихим, бесстыдным смехом, при звуках которого мы с отцом бледнели и начинали смотреть в окно. Если бы мы сказали Анне, как звучит ее смех, она бы нам не поверила. Она держалась с отцом не как любовница, а как друг, нежный друг. Но, наверное, ночью… Я запрещала себе думать об этом, я ненавидела тревожные мысли.

Дни шли. Я отчасти позабыла об Анне, отце и Эльзе. Занятая своей любовью, я жила с открытыми глазами, как во сне, приветливая и спокойная. Сирил спросил меня, не боюсь ли я забеременеть. Я ответила, что во всем полагаюсь на него, и он принял мои слова как должное. Может, я потому с такой легкостью и отдалась ему: он не перекладывал на меня ответственности окажись я беременной, виноват будет он. Он брал на себя то, чего я не могла перенести, — ответственность. Впрочем, мне не верилось, что я могу забеременеть, я была худая, мускулистая… В первый раз в жизни я радовалась, что сложена как подросток.

Между тем Эльза начала терять терпение. Она засыпала меня допросами. Я всегда боялась, как бы меня не застигли с нею или с Сирилом. Она подстраивала так, чтобы всегда и везде попадать-

ся на глаза отцу, встречаться на его пути. Она упивалась двоими воображаемыми победами, порывами, которые, по ее словам, он подавлял, но не мог утаить. Я с удивлением наблюдала, как эта девица, чья профессия мало отличалась от продажной любви, предавалась романтическим грезам, приходила в экстаз от таких пустяков, как взгляд или движение, — это она-то, воспитанная четкими требованиями мужчин, которые всегда спешат. Правда, она не привыкла к сложным ролям, и та, какую она играла теперь, очевидно, представлялась ей верхом психологической изощренности.

Мысль об Эльзе понемногу все сильнее завладевала отцом, но Анна, судя по всему, ничего не замечала. Он был с ней еще более нежен и предупредителен, чем когда-либо, и это пугало меня, потому что я объясняла его поведение неосознанными укорами совести. Лишь бы только ничего не случилось в течение еще трех недель. А там мы переедем в Париж, Эльза тоже, и; если Анна и отец не передумают, они поженятся. В Париже будет Сирил, и, как здесь Анна не могла помешать мне его любить, так и там она не сможет помешать мне с ним встречаться. В Париже у него была комната, далеко от дома, где жила мать. Я

уже рисовала себе окно, открывающееся прямо в голубое и розовое небо — неповторимое небо Парижа, воркующих на карнизе голубей и нас с Сирилом вдвоем на узкой кровати…

## Глава седьмая

Несколько дней спустя отец получил записку от одного нашего приятеля с приглашением встретиться в Сен-Рафаэле и выпить вместе аперитив. Отец немедля сообщил нам об этом, обрадованный возможностью вырваться ненадолго из нашего добровольного, но отчасти и вынужденного уединения. Я рассказала Эльзе и Сирилу, что в восемь часов мы будем в «Солнечном баре», и, если они приедут туда, они нас там застанут. На беду, Эльза была знакома с упомянутым приятелем, и это подогрело ее желание явиться в бар. Я стала опасаться осложнений и сделала попытку ее отговорить. Все напрасно.

— Шарль Уэбб меня обожает, — объявила она с детским простодушием. Если он меня увидит, он тем более уговорит Реймона вернуться ко мне.

Сирилу было безразлично — ехать или не ехать в Сен-Рафаэль. Для него важно было одно — находиться там, где я. Я прочла это в его взгляде и не могла подавить горделивого чувства.

Мы выехали из дому около шести. Анна повезла нас в своей машине. Мне нравилась ее машина, большая открытая американская машина, отвечавшая не столько вкусу Анны, сколько требованиям рекламы. Зато моим вкусам она соответствовала вполне — в ней было множество блестящих мелочей, она была бесшумная, обособленная от всего мира и кренилась на крутых поворотах. К тому же мы все трое помещались на переднем сиденье, а я нигде не чувствовала такой тесной связи с другими людьми, как в машине. Все трое на переднем сиденье, чуть прижимая друг друга локтями, во власти общего наслаждения скоростью, ветром, а может быть — и общей смерти. Машину вела Анна, словно символизируя уклад нашей будущей семьи. Я не ездила в ее машине с того пресловутого вечера в Каннах, и это пробудило во мне воспоминания.

В «Солнечном баре» нас ждали Шарль Уэбб с женой. Он занимался театральной рекламой, его жена просаживала заработанные им деньги, причем с головокружительной быстротой и — на молодых мужчин. Он был просто одержим мыслью, как свести концы с концами, и вечно охотился за заработком. Было в нем от этого что-то беспокойное, торопливое, почти неприличное.

Он долго был любовником Эльзы — несмотря на свою красоту, она не отличалась корыстью, и ее беспечность в денежных делах привлекала Шарля.

Его жена была злюкой. Анна прежде с ней не встречалась, и я тотчас подметила на ее прекрасном лице презрительное и на-смешливое выражение, какое обычно у нее появлялось в обществе. Шарль Уэбб, как всегда, болтал без умолку, по временам сверля Анну испытующим взглядом. Он явно недоумевал, что у нее может быть общего с юбочником Реймоном и его дочерью. Меня распирало от гордости при мысли, что еще минута, и он это узнает. Воспользовавшись паузой, отец склонился к нему и напрямик объявил:

— А у меня новость, старина. Пятого октября мы с Анной собираемся пожениться.

Остолбенев от изумления, тот переводил взгляд с одного на другого. Я была в восторге, его жена озадачена — она питала давнюю слабость к отцу.

— Поздравляю, — завопил наконец Уэбб во все горло. — Отличная мысль! Мадам, вы изумительная женщина! Посадить себе на шею такого шалопая! Официант!.. Мы должны это отпразд-

новать.

Анна улыбалась непринужденно, спокойно. И вдруг лицо Уэбба расплылось в улыбке — мне не было нужды оборачиваться.

— Эльза! Господи, да ведь это Эльза Макенбур, она меня не замечает! Реймон, ты только погляди, как она похорошела!

— Еще бы, — сказал отец тоном счастливого обладателя.

Потом все вспомнил, и его лицо омрачилось.

Анна не могла не уловить интонации отца. Она быстро отвернулась от него в мою сторону. Она уже собиралась заговорить на первую попавшуюся тему, когда я наклонилась к ней:

— Анна, ваша элегантность производит опустошение в сердцах; поглядите, вон тот мужчина не сводит с вас глаз.

Я сообщила это доверительным тоном — то есть достаточно громко, чтобы услышал отец. Он живо обернулся и заметил человека, о котором я говорила.

— Мне это не нравится, — заявил он и взял руку Анны в свою.

— Как они очаровательны! — с ироническим умилением заметила мадам Уэбб. — Шарль, вам не следовало нарушать покой этой влюбленной

парочки. Достаточно было пригласить малютку Сесиль.

— Малютка Сесиль не приехала бы, — без обиняков заявила я.

— Почему? Завели себе дружка среди рыбаков?

Она однажды видела, как я болтала с кондуктором автобуса, и с той поры относилась ко мне как к деклассированной особе — как к тем, кого она считала «деклассированными».

— А как же, — ответила я, делая над собой усилие, чтобы казаться веселой.

— И кого же вы поймали в свои сети?

Хуже всего было то, что она находила себя остроумной. Я начала злиться.

— Морские коты не моя специальность, но в остальном улов у меня недурен.

Воцарилось молчание. Его прервал невозмутимый, как всегда, голос Анны:

— Реймон, попросите, пожалуйста, официанта подать соломинки. Без них нельзя пить апельсиновый сок.

Шарль Уэбб тут же подхватил разговор о прохладительных напитках. Моего отца душил смех — я это угадала по тому, как он уткнулся в свой стакан. Анна бросила на меня умоляющий взгляд. И как это принято у тех, кто был на волоске от

ссоры, мы тотчас решили, что вместе пообедаем.

За обедом я много пила. Я хотела во что бы то ни стало забыть выражение лица Анны — встревоженное, когда она вглядывалась в отца, и затаенно благодарное, когда взгляд ее задерживался на мне. На все шпильки мадам Уэбб я улыбалась лучезарной улыбкой. Эта тактика сбивала ее с толку. Она стала выходить из себя. Анна знаком просила меня быть сдержанной. Она чувствовала, что мадам Уэбб готова закатить публичный скандал, а Анна не выносила скандалов. Но мне было не привыкать — в нашем кругу такие вещи считались делом обычным. Поэтому я с самым непринужденным видом слушала болтовню мадам Уэбб.

После обеда мы отправились в один из сенрафаэльских ночных кабачков. Вскоре после нашего прихода появились Эльза с Сирилом. Эльза остановилась на пороге, громко заговорила с гардеробщицей и в сопровождении бедняжки Сирила стала пробираться между столиками. У меня мелькнула мысль, что она ведет себя не как влюбленная, а как уличная девка, но при ее красоте она могла себе это позволить.

— Это что еще за прощелыга? — спросил Шарль Уэбб. — Совсем еще молокосос.

— Это любовь, — залепетала его жена. — Счастливая любовь…

— Вздор, — резко сказал отец. — Просто очередная интрижка.

Я посмотрела на Анну. Она разглядывала Эльзу спокойно, непринужденно, как рассматривала манекенщиц, демонстрировавших ее модели, или просто очень молоденьких женщин. Без тени недоброжелательства. Я почувствовала прилив пылкого восхищения таким отсутствием мелочности и зависти. Впрочем, я вообще считала, что ей нечего завидовать Эльзе. Анна была в сто раз красивее, утонченнее ее. И так как я выпила, я ей высказала это напрямик. Она с интересом взглянула на меня.

— Вот как? По-вашему, я красивее Эльзы?

— Еще бы!

— Что ж, это всегда приятно слышать. Но вы опять слишком много пьете. Дайте сюда стакан. Вас не очень огорчает, что здесь сидит ваш Сирил? Впрочем, видно, что ему скучно.

— Он мой любовник, — весело сказала я.

— Вы совсем пьяны. К счастью, пора домой!

Мы с облегчением распрощались с Уэббами. Состроив самую серьезную мину, я назвала мадам Уэбб «дорогая сударыня». Отец сел за руль, я

уронила голову на плечо Анны.

Я думала о том, что она мне милее Уэббов и всех наших обычных знакомых. Что она лучше, достойнее, умнее их. Отец говорил мало. Наверняка вспоминал появление Эльзы.

— Она спит? — спросил он Анну.

— Как дитя. Она вела себя довольно сносно. Если не считать несколько слишком прямолинейного намека на котов…

Отец рассмеялся. Воцарилось молчание. И потом снова раздался голос отца:

— Анна, я люблю вас, люблю вас одну. Вы мне верите?

— Не повторяйте мне этого так часто, я начинаю бояться…

— Дайте мне руку.

Я хотела было выпрямиться и предостеречь: «Нет, только не сейчас, когда машина идет над пропастью». Но я была навеселе. Запах духов Анны, морской ветер в моих волосах, на плече царапинка — след нашей с Сирилом любви. Достаточно причин, чтобы быть счастливой и молчать. Меня клонило в сон. Эльза и бедняжка Сирил, наверное, трясутся на мотоцикле, который мать подарила ему в прошлый день рождения. Эта мысль почему-то растрогала меня до слез. Ма-

шина Анны была такая уютная, с таким мягким ходом, в ней так хорошо спалось… А вот кому, должно быть, сейчас не спится, так это мадам Уэбб! Быть может, в ее годы я тоже буду платить мальчишкам, чтобы они меня любили, потому что любовь самая приятная, самая настоящая, самая правильная вещь на свете. И неважно, чем ты за нее платишь. Важно другое — не озлобиться, не завидовать, как она завидует Эльзе и Анне. Я тихонько засмеялась. Анна чуть согнула руку в плече. «Спите», — повелительно сказала она. И я уснула.

## Глава восьмая

Наутро я проснулась в прекрасном настроении, чувствуя только небольшую усталость и легкую тяжесть в затылке от вчерашних излишеств. Как всегда по утрам, солнечный свет заливал мою кровать; я сбросила одеяло, скинула пижамную куртку и подставила голую спину солнечным лучам. Положив щеку на согнутую руку, я видела прямо перед собой крупное плетение простыни, а подальше на плитках пола неуверенно копошившуюся мушку. Лучи были теплыми и ласковыми, казалось, они проникают до самых костей и прилагают особые старания, чтобы меня

согреть. Я решила, что все утро пролежу вот так, не шевелясь.

Мало-помалу вчерашний вечер все отчетливей оживал в моей памяти. Я вспомнила, как сказала Анне, что Сирил мой любовник, и рассмеялась: если ты пьян, можешь говорить правду — никто не поверит. Вспомнила я и мадам Уэбб и мою стычку с ней; я привыкла к женщинам подобного сорта: в этой среде в таком возрасте они зачастую бывали отвратительны из-за своего безделья и стремления взять от жизни побольше. Рядом со сдержанной Анной она показалась мне еще более убогой и надоедливой, чем всегда. Впрочем, этого и следовало ожидать: я не представляла себе, какая из приятельниц отца способна была долго выдерживать сравнение с Анной. В обществе людей подобного рода приятно провести вечер можно либо в подпитии, когда ты для забавы затеваешь с ними спор, либо если ты состоишь в интимных отношениях с кем-либо из супругов. Отцу было проще — для них с Уэббом это был спорт. «Угадай, кто сегодня ужинает и спит со мной? Малютка Марс, которая снималась у Соре-ля. Захожу я к Дюпюи и как раз…» Отец с хохотом хлопал его по плечу: «Счастливчик! Она почти так же хороша, как Элиза». Мальчишество. Но

мне нравилось, что они оба вкладывают в него запал, увлеченность. И даже когда нескончаемо долгими вечерами Ломбар на террасе кафе уныло исповедовался отцу: «Я любил ее одну, Реймон! Помнишь весну, перед тем как она уехала… Глупо, когда мужчина всю свою жизнь посвящает одной женщине!» — в этом было что-то непристойное, унизительное, но человечное — двое мужчин изливают друг другу душу за стаканом вина.

Друзья Анны, должно быть, никогда не говорили о самих себе. Да они наверняка и не попадали в такого рода истории. А если уж они говорили о чем-либо подобном, то, наверное, посмеивались от стыдливости. Я чувствовала, что готова разделить с Анной снисходительное отношение к нашим знакомым любезную и прилипчивую снисходительность…. И однако, я понимала, что к тридцати годам буду скорее похожа на наших друзей, чем на Анну. Я задохнулась бы от такой неразговорчивости, равнодушия, сдержанности. Наоборот — лет этак через пятнадцать, уже немного пресыщенная, я склонюсь к обаятельному и тоже уже немного уставшему от жизни мужчине и скажу:

— Моего первого любовника звали Сирил. Мне было неполных восемнадцать, на море стояла

такая жара…

Я с удовольствием представила себе лицо этого мужчины. С крошечными морщинками, как у отца. В дверь постучали. Я проворно накинула пижамную куртку и крикнула: «Войдите». Это была Анна — она осторожно держала в руках чашку.

— Я решила, что чашка кофе вам не повредит… Ну как вы — не слишком скверно?

— Превосходно, — ответила я. — Кажется, вчера вечером я немного перебрала.

— Как всегда, когда вы бываете на людях… — Она засмеялась. — Впрочем, должна признаться, что вы меня развлекли… Этот вечер был бесконечным.

Я уже не замечала ни солнца, ни вкуса кофе. Разговор с Анной всегда полностью поглощал мои мысли, я переставала наблюдать себя со стороны, хотя только она и заставляла меня сомневаться в себе. Рядом с ней я переживала насыщенные и трудные минуты.

— Сесиль, вам интересно с людьми вроде Уэббов или Дюпюи?

— Вообще-то их манеры несносны, но сами они забавны.

Она тоже следила за копошившейся на полу

мушкой. Наверное, эта мушка — калека, подумала я. У Анны были тяжелые веки с длинными ресницами — ей было легко казаться снисходительной.

— Вы никогда не замечали, насколько однообразны и… как бы это выразиться… тяжеловесны их разговоры? Вам не надоедает слушать все эти рассуждения о контрактах, о девицах, о светских увеселениях?

— Видите ли, — сказала я, — я десять лет провела в монастыре, а эти люди ведут безнравственный образ жизни, и для меня в этом все еще таится какая-то приманка.

Я не решалась признаться, что это мне просто нравится.

— Но вот уже два года… — сказала она. — Впрочем, тут бесполезно рассуждать или морализировать, это вопрос внутреннего ощущения, шестого чувства…

Как видно, я была его лишена. Я явственно сознавала, что в этом плане мне чего-то не хватает.

— Анна, — сказала я внезапно. — Как, по-вашему, я умная?

Она рассмеялась, удивленная прямолинейностью вопроса.

— Ну конечно же! Почему вы спросили?

— Если бы я была набитой дурой, вы все равно ответили бы то же самое, — вздохнула я. — Я иногда так остро чувствую ваше превосходство…

— Это всего лишь вопрос возраста. Было бы весьма печально, если бы у меня не было чуть больше уверенности в себе, чем у вас. Я могла бы подпасть под ваше влияние.

Она засмеялась. Я была уязвлена.

— А может, в этом не было бы ничего страшного!

— Это была бы катастрофа, — сказала она.

Она вдруг отбросила шутливый тон и в упор взглянула на меня. Мне стало не по себе. Есть люди, которые в разговоре с тобой непременно смотрят тебе в глаза, а не то еще подходят к тебе вплотную, чтобы быть уверенными, что ты их слушаешь, — я и по сию пору не могу свыкнуться с этой манерой. Кстати сказать, их расчет неверен, потому что я в этих случаях думаю лишь об одном — как бы увильнуть, уклониться от них, я бормочу: «Да-да», переминаюсь с ноги на ногу и при первой возможности убегаю на другой конец комнаты; их навязчивость, нескромность, притязания на исключительность приводят меня в ярость. Анна, по счастью, не видела необходимости завладевать мною таким способом — она

ограничивалась тем, что смотрела мне прямо в глаза, и мне становилось трудно сохранять в разговоре с ней тот непринужденный беспечный тон, какой я на себя напускала.

— Знаете, — как обычно кончают мужчины вроде Уэбба?

Я мысленно добавила: «И моего отца».

— Под забором, — отшутилась я.

— Наступает время, когда они теряют свое обаяние и, как говорится, «форму». Они уже не могут пить, но все еще помышляют о женщинах; только теперь им приходится за это платить, идти на бесчисленные мелкие уступки, чтобы спастись от одиночества. Они смешны и несчастны. И вот тут-то они становятся сентиментальны и требовательны… Скольких я уже наблюдала, когда они совершенно опускались.

— Бедняга Уэбб! — сказала я.

Мне было не по себе. И в самом деле — такой конец угрожал и моему отцу! Во всяком случае, угрожал бы, не возьми его Анна под свою опеку.

— Вы об этом не задумывались, — сказала Анна с едва заметной сострадательной улыбкой. — Вы редко думаете о будущем — правда ведь? Это привилегия молодости.

— Пожалуйста, не колите мне глаза моей

молодостью, — сказала я. — Я никогда не прикрывалась ею — я вовсе не считаю, что она дает какие-то привилегии или что-то оправдывает. Я не придаю ей значения.

— А чему вы придаете значение? Своему покою, независимости?

Я боялась подобных разговоров, в особенности с Анной.

— Ничему. Вы же знаете, я почти ни о чем не думаю.

— Я немного сержусь на вас и вашего отца… «Никогда ни о чем не думаю… ничего не умею… ничего не знаю». Вам нравится быть такой?

— Я себе не нравлюсь. Я себя не люблю и не стремлюсь любить. Но вы иногда усложняете мне жизнь, и за это я почти злюсь на вас.

Она, задумавшись, стала что-то напевать, мелодия была знакомая, но я не могла вспомнить, что это.

— Что это за песенка, Анна, это меня мучает…

— Сама не знаю. — Она снова улыбнулась, хотя не без некоторого разочарования. — Полежите, отдохните, а я буду продолжать изучение интеллектуального уровня семьи в другом месте.

«Еще бы, — думала я. — Отцу-то это легко». Я так и слышала, как он отвечает: «Я ни о чем не

думаю, потому что люблю вас, Анна». И как ни умна Анна, этот ответ наверняка кажется ей убедительным. Я медленно, со вкусом потянулась и снова уткнулась в подушку. Вопреки тому, что я сказала Анне, я много размышляла. Конечно, она сгущает краски: лет через двадцать пять мой отец будет симпатичным седовласым шестидесятилетним мужчиной, питающим некоторую слабость к виски и красочным воспоминаниям. Мы будем выезжать вместе. Я стану поверять ему свои похождения, он — давать мне советы. Я сознавала, что вычеркиваю Анну из нашего будущего: я не могла, мне не удавалось найти ей место в нем. Я не могла представить себе, как в нашей беспорядочной квартире, то запустелой, то заваленной цветами, в которой снуют посторонние люди, звучат чужие голоса и вечно валяются чьи-то чемоданы, воцарится порядок, тишина, гармония — то, что Анна вносила повсюду как самое драгоценное достояние. Я страшно боялась, что буду умирать от скуки. Правда, с тех пор как благодаря Сирилу я узнала настоящую, физическую любовь, я гораздо меньше опасалась влияния Анны. Это вообще избавило меня от многих страхов. Но я больше всего боялась скуки и покоя. Нам с отцом для внутреннего спокойствия

нужна была внешняя суета. Но Анна никогда бы ее не потерпела.

## Глава девятая

Я подробно рассказываю об Анне и о самой себе и почти не говорю об отце. Но не потому, что не он был главным действующим лицом в этой истории, и не потому, что он мало меня интересует. Никого в жизни я не любила так сильно, как его, и из всех чувств, какие обуревали меня в ту пору, чувства к нему были самыми стойкими, глубокими, и ими я особенно дорожила. Но я слишком хорошо его знаю, чтобы с легкостью болтать о нем, да и слишком мы похожи друг на друга. Однако именно его характер я в первую очередь должна объяснить, чтобы как-то оправдать его поведение. Его нельзя было назвать ни тщеславным, ни эгоистичным. Но он был легкомыслен — неисправимо легкомыслен. Я не могу даже сказать, что он был не способен на глубокие чувства, что он был человек безответственный. Его любовь ко мне не была пустой забавой или просто отцовской привычкой. Ни из-за кого он так не страдал, как из-за меня. Да и я сама — я потому и впала в отчаяние в тот памятный день, что он как бы отмахнулся от меня, отвратил от

меня свой взгляд… Ни разу он не пожертвовал мною во имя своих страстей. Ради того чтобы проводить меня вечером домой, он не однажды упускал то, что Уэбб называл «роскошной возможностью». Но в остальном — не стану отрицать — он был во власти своих прихотей, непостоянства, легкомыслия. Он не мудрствовал. Он все на свете объяснял причинами физиологическими, которые считал самыми важными. «Ты сама себе противна? Спи побольше, поменьше пей». Точно так же он рассуждал, если его страстно влекло к какой-нибудь женщине, — он не пытался ни обуздать свое желание, ни возвысить его до более сложного чувства. Он был материалист, но при этом деликатный, чуткий, и, по сути дела, очень добрый человек.

Желание, которое влекло его к Эльзе, тяготило его, но отнюдь не в том смысле, как можно предположить. Он не говорил себе: «Я собираюсь обмануть Анну. А значит, я ее меньше люблю». Наоборот: «Экая досада, что меня так тянет к Эльзе. Надо побыстрее добиться своего, иначе мне не миновать осложнений с Анной». При этом он любил Анну, восхищался ею, она внесла перемену в его жизнь, вытеснив череду доступных неумных женщин, с какими он имел дело в

последние годы. Она тешила одновременно его тщеславие, чувственность и чувствительность, потому что понимала его, помогала ему своим умом и опытом; но зато я далеко не так уверена, сознавал ли он, насколько серьезно ее чувство к нему! Он считал ее идеальной любовницей, идеальной матерью для меня. Но приходило ли ему в голову смотреть на нее как на «идеальную жену» со всеми вытекающими отсюда обязательствами? Сомневаюсь. Убеждена, что в глазах Сирила и Анны он, как и я, был неполноценным в эмоциональном отношении. Однако это вовсе не мешало ему кипеть страстями, потому что он считал это естественным и вкладывал в это все свое жизнелюбие.

Когда я замышляла изгнать Анну из нашей жизни, я не беспокоилась о нем. Я знала, что он утешится, как утешался всегда: ему куда легче перенести разрыв, чем упорядоченную жизнь. По сути дела, его, как и меня, подкосить и сокрушить могли только привычка и однообразие. Мы с ним были одного племени, и я то убеждала себя, что это прекрасное, чистокровное племя кочевников, то говорила себе, что это жалкое выродившееся племя прожигателей жизни.

В данный момент отец страдал — во всяком

случае, изнывал от досады. Эльза стала для него символом прошлой жизни, молодости вообще, и прежде всего его собственной молодости. Я чувствовала, что он умирает от желания сказать Анне: «Дорогая моя, отпустите меня на один денек. С помощью этой девки я должен убедиться, что еще не вышел в тираж. Стоит мне вновь почувствовать усталость ее тела, и я успокоюсь». Но он не мог этого сказать. И не потому, что Анна была ревнивицей, твердыней добродетели и к ней нельзя было подступиться с подобными разговорами; просто, согласившись жить с отцом, она, несомненно, поставила условия: что с бездумным развратом покончено, что он не школьник, а мужчина, которому она вручает свою судьбу, и, следовательно, он должен вести себя соответственно, а не быть жалким рабом собственных прихотей. Кто мог бы упрекнуть за это Анну? Это был вполне естественный, здоровый расчет, но это не могло помешать отцу желать Эльзу. Желать ее чем дальше, тем больше, желать ее вдвойне, как всякий запретный плод.

И конечно же, в эту пору в моей власти было все уладить. Достаточно было посоветовать Эльзе, чтобы она ему уступила, и под любым предлогом на один вечер увезти Анну в Ниццу или еще куда-

нибудь. Дома нас встретил бы отец, успокоенный и снова преисполненный нежности к предмету узаконенной любви или любви, которая, во всяком случае, станет узаконенной по возвращении в Париж. Ведь и с тем, чтобы остаться такой же любовницей, как другие — то есть временной, Анна тоже никогда бы не примирилась. Ох, как усложняло нам жизнь ее чувство собственного достоинства, самоуважения!..

Но я не советовала Эльзе уступить отцу и не просила Анну съездить со мной в Ниццу. Я хотела, чтобы скрытое желание выплеснулось наружу и толкнуло отца на ложный шаг. Я не могла снести высокомерия, с каким Анна относилась к нашей прошлой жизни, того, что она походя презирала все, что составляло наше с отцом счастье. Я хотела не то чтобы унизить ее, но заставить принять наш взгляд на жизнь. Пусть узнает, что отец ее обманул, и трезво оценит это событие как чисто плотскую прихоть, а не как покушение на ее личное достоинство и честь. Если уж ей хочется любой ценой оказаться правой, пусть позволит нам быть виноватыми.

Я даже делала вид, что не замечаю мучений отца. Главное нельзя было допустить, чтобы он вздумал мне исповедоваться, пытался превра-

тить меня в свою сообщницу, заставил вести переговоры с Эльзой и удалить Анну.

Мне приходилось делать вид, что я считаю его любовь к Анне священной, как и саму Анну. И должна признаться, что для меня это не составляло труда. Мысль, что он может обмануть Анну, наполняла меня ужасом и смутным восхищением.

Тем временем мы проводили счастливые дни, я не упускала случая подогреть страсть отца к Эльзе. Лицо Анны больше не пробуждало во мне укоров совести. Иногда я начинала думать, что она смирится с происшедшим и наша совместная с ней жизнь сложится в соответствии не только с ее вкусами, но и с нашими. С другой стороны, я часто виделась с Сирилом, и мы тайком любили друг друга. Запах сосен, шум моря, прикосновение его тела… Его начало мучить раскаяние, роль, которую я ему навязала, была ему противна, он соглашался на нее только потому, что я убедила его, будто это необходимо ради нашей любви. Все это требовало от меня двоедушия, игры в молчанку с самой собой, но почти никаких усилий и лжи. (А ведь я уже говорила, что никогда не судила себя ни за что, кроме поступков).

Я не задерживалась на этом периоде, потому

что, перебирая воспоминания, боюсь наткнуться на такие, от которых на меня накатывает тоска. И так уже, стоит мне вспомнить счастливый смех Анны, то, как она была мила со мной, и я чувствую, что меня словно ударили — нанесли удар ниже пояса, — мне больно, я задыхаюсь от злости на самое себя. Я так близка к тому, что называют муками нечистой совести, что мне приходится искать спасения в простых жестах — закурить сигарету, поставить пластинку, позвонить приятелю. Мало-помалу мысли мои отвлекаются. Но мне не нравится, что я вынуждена цепляться за свою короткую память, за легковесность своего ума, вместо того чтобы с ними бороться. Я не люблю признаваться в этих своих свойствах даже тогда, когда могла бы порадоваться им.

## Глава десятая

Удивительное дело — судьба любит являться нам в самом недостойном или заурядном обличье. В то лето она избрала обличье Эльзы. Что ж, красивое или, вернее, привлекательное обличье. К тому же Эльза великолепно смеялась, заразительно, самозабвенно, как это свойственно одним только недалеким людям.

Я быстро уловила, как действует этот смех на

отца, и подстрекала Эльзу выжимать из него все возможное, когда нам предстояло «застигнуть» ее с Сирилом. «Как только услышите, что мы с отцом близко, — наставляла я ее, ничего не говорите, просто смейтесь». И едва раздавался этот упоенный смех, лицо отца мгновенно искажалось от ярости. Роль режиссера по-прежнему увлекала меня. Все мои удары попадали точно в цель: при виде Эльзы и Сирила, которые выставляли напоказ свои несуществующие, но вполне правдоподобные отношения, мы оба с отцом бледнели, вся кровь отливала от моего лица, так же как от его, это была загнанная вглубь жажда обладания, которая хуже любой муки. Сирил, Сирил, склонившийся над Эльзой… Это зрелище разрывало мне сердце, а между тем я сама подготавливала его вместе с Сирилом и Эльзой, не подозревая, какой силой оно обладает. На словах все легко и просто; но стоило мне увидеть профиль Сирила, его смуглую, гибкую шею, склоненную над приподнятым к нему лицом Эльзы, и я готова была отдать все на свете, чтобы этого не было. Я забывала, что сама это подстроила.

Но если отбросить эти эпизоды, повседневная жизнь была заполнена доверием, нежностью и — мне больно произнести это слово — счастьем

Анны. Да, никогда я не видела ее более счастливой — она вверяла себя нам, эгоистам, не подозревая ни о наших бурных желаниях, ни о моих гнусных мелких интригах. На это я и рассчитывала: из сдержанности, гордости она инстинктивно избегала каких бы то ни было ухищрений, чтобы крепче привязать отца, какого бы то ни было кокетства, кроме одного — была красивой, умной и нежной. Мало-помалу я начинала ее жалеть. Жалость — приятное чувство, устоять перед ним так же трудно, как перед музыкой военного оркестра. Можно ли ставить мне его в вину?

Однажды утром необычайно взволнованная горничная принесла мне записку от Эльзы: «Все улаживается, приходите!» Мне почудилось, будто стряслась катастрофа — я ненавижу развязки. И все-таки я пришла к Эльзе на пляж, лицо ее сияло торжеством:

— Час назад я наконец-то встретилась с вашим отцом.

— Что он вам сказал?

— Сказал, что ужасно жалеет о том, что произошло, что вел себя по-хамски. Это ведь правда?

Мне пришлось согласиться.

— Потом наговорил мне комплиментов, как умеет он один… Знаете, этаким небрежным то-

ном, очень тихо, словно ему тяжело говорить… таким тоном…

Я пресекла ее идиллические воспоминания.

— К чему он клонил?

— Ни к чему!.. То есть нет, он пригласил меня выпить с ним в поселке чашку чая, чтобы доказать, что я не таю на него обиды, что я женщина современная, с широкими взглядами…

Представления моего отца о широте взглядов молодых рыжеволосых женщин развеселили меня.

— Что тут смешного? Идти мне туда или нет?

Я едва не ответила ей: «А мне какое дело?» Потом сообразила, что она видит во мне виновницу успеха своих маневров. Справедливо или нет, но я разозлилась.

— Не знаю, Эльза. Все зависит от вас, не спрашивайте меня каждую минуту, что вам делать — можно подумать, будто это я заставляю вас…

— А кто же еще, — сказала она. — Это все благодаря вам…

Восхищение, звучавшее в ее голосе, вдруг перепугало меня.

— Идите, если вам хочется, но, ради бога, не рассказывайте мне больше ни о чем!

— Но ведь… ведь его надо освободить от этой

женщины….. Сесиль!

Я обратилась в бегство. Пусть отец делает что хочет, пусть Анна выпутывается как знает! К тому же у меня было назначено свидание с Сирилом. Мне казалось, что только любовь может избавить меня от цепенящего страха.

Сирил молча обнял меня, увлек за собой. Рядом с ним все было просто все заполнялось страстью, наслаждением. Немного погодя, прильнув к нему, к его золотистому, влажному от пота телу, сама обессиленная и потерянная, точно потерпевшая кораблекрушение, я сказала ему, что ненавижу себя. Я сказала это с улыбкой, потому что это была правда, но я не мучилась, а испытывала какую-то приятную покорность судьбе. Он не принял моих слов всерьез.

— Все это пустяки. Я так люблю тебя, что смогу тебя переубедить. Я тебя люблю, так люблю…

Ритм этой фразы неотступно преследовал меня за обедом: «Я тебя люблю, так люблю». Вот почему, несмотря на все старания, я только смутно припоминаю подробности этого обеда. На Анне было платье сиреневого цвета, как тени под ее глазами, как сами ее глаза. Отец смеялся, явно умиротворенный: для него все складывалось к лучшему. За десертом он объявил, что под вечер

ему надо отлучиться в поселок. Я мысленно улыбнулась. Я устала, я решила — будь что будет. Мне хотелось одного — искупаться.

В четыре часа я спустилась на пляж. На террасе я столкнулась с отцом, он собирался в поселок; я ничего ему не сказала. Даже не посоветовала вести себя осторожней.

Вода была ласковая и теплая. Анна не показывалась — должно быть, рисовала у себя в комнате свои модели, а отец тем временем любезничал с Эльзой. Через два часа солнце уже перестало греть, я поднялась на террасу, села в кресло и развернула газету.

В эту минуту я и увидела Анну; она появилась из леса. Она бежала, кстати сказать, очень плохо, неуклюже, прижав локти к телу. У меня вдруг мелькнула непристойная мысль — что бежит старая женщина, что она вот-вот упадет. Я оцепенела: она скрылась за домом в той стороне, где был гараж. Тогда я вдруг поняла и тоже бегом устремилась за нею.

Она уже сидела в своей машине и включала зажигание. Я ринулась к ней и повисла на дверце.

— Анна, — сказала я, — Анна, не уезжайте, это недоразумение, это моя вина, я объясню вам…

Она меня не слушала, не смотрела на меня, она

наклонилась, чтобы освободить тормоз.

— Анна, вы нам так нужны!

Тогда она выпрямилась — лицо ее было искажено. Она плакала. И тут я вдруг поняла, что подняла руку не на некую абстракцию, а на существо, которое способно чувствовать и страдать. Когда-то она была девочкой, наверное немного скрытной, потом подростком, потом женщиной. Ей исполнилось сорок лет, она была одинока, она полюбила и надеялась счастливо прожить с любимым человеком десять, а может, и двадцать лет. А я… ее лицо… это было делом моих рук. Я была потрясена, я как в ознобе колотилась о дверцу машины.

— Вам не нужен никто, — прошептала она, — ни вам, ни ему.

Мотор завелся. Я была в отчаянии, я не могла ее так отпустить.

— Простите меня, умоляю вас…

— Простить? Вас? За что?

Слезы градом катились по ее лицу. Она, как видно, этого не замечала, черты ее застыли.

— Бедная моя девочка!..

Она на секунду коснулась рукой моей щеки и уехала. Машина скрылась за углом дома. Я была в смятении, в отчаянии… Все произошло так

быстро! И какое у нее было лицо, какое лицо…

За моей спиной раздались шаги — это был отец. Он успел стереть следы Эльзиной помады и стряхнуть с костюма хвойные иглы. Я обернулась, я налетела на него:

— Подлец, подлец!

И разрыдалась.

— Что случилось? Неужели Анна? Сесиль, скажи мне, Сесиль…

## Глава одиннадцатая

Мы встретились только за ужином, оба тяготясь так внезапно обретенной возможностью снова побыть с глазу на глаз. У меня кусок не шел в горло, у него тоже. Мы оба чувствовали, что нам необходимо вернуть Анну. Лично я просто не могла бы долго вынести ни воспоминания о ее потерянном лице, какое я увидела перед отъездом, ни мысли о ее горе и моей вине. Я позабыла все свои терпеливые ухищрения и хитроумные планы. Я была совершенно растеряна, выбита из колеи и такое же чувство читала на лице отца.

— Как ты думаешь, она надолго бросила нас? — спросил он наконец.

— Она наверняка уехала в Париж, — сказала я.

— В Париж… — задумчиво прошептал отец.

— Может, мы ее никогда больше не увидим…

Он в смятении поглядел на меня и через стол протянул мне руку.

— Представляю, как ты сердишься на меня. Сам не знаю, что на меня нашло. Мы с Эльзой возвращались лесом, и она… В общем, я ее поцеловал, а в эту минуту, наверное, подошла Анна…

Я его не слушала. Отец и Эльза, обнявшиеся в тени сосен, казались мне какими-то водевильными, бесплотными персонажами — я их не видела. Единственно реальным за весь этот день, до боли реальным было лицо Анны — ее лицо в последний миг, искаженное мукой лицо человека, которого предали. Я взяла сигарету из отцовской пачки и закурила. Вот еще одна вещь, которой не терпела Анна, — когда курят за едой. Я улыбнулась отцу.

— Я все понимаю, ты не виноват… Как говорится, минута слабости. Но надо, чтобы Анна нас простила, вернее, простила тебя.

— Как же быть? — спросил он.

Вид у него был глубоко несчастный. Мне стало его жаль, потом стало жаль себя; как могла Анна нас бросить, неужели хочет наказать нас за то, что в конце концов было просто мимолетной шалостью? Разве у нее нет обязанностей по отно-

шению к нам?

— Мы ей напишем, — сказала я, — и попросим у нее прощения.

— Гениальная мысль! — воскликнул отец.

Наконец-то он нашел способ избавиться от покаянного бездействия, в котором мы томились вот уже три часа.

Не докончив ужина, мы сдвинули в сторону скатерть и приборы, отец принес большую настольную лампу, ручки, чернильницу, свою личную почтовую бумагу, и мы сели друг напротив друга, только что не с улыбкой, настолько уверовали благодаря этой мизансцене в возможность возвращения Анны. Перед окном выписывала мягкие кривые летучая мышь. Отец наклонил голову и начал писать.

Не могу вспомнить без мучительной для меня жестокой издевки письма, преисполненные добрых чувств, которые мы в тот вечер написали Анне. При свете лампы, вдвоем, прилежные и неумелые, как школьники, мы трудились в тишине над невыполнимым заданием: «Вернуть Анну». Тем не менее мы сотворили два шедевра на эту тему, полные чистосердечных извинений, любви и раскаяния. Закончив письмо, я уже почти не сомневалась, что Анна не сможет устоять,

что примирение неизбежно. Я уже воображала сцену прощения, окрашенную стыдливостью и юмором… Это произойдет в Париже, в нашей гостиной, Анна войдет и…

Раздался телефонный звонок. Было десять часов вечера. Мы посмотрели друг на друга с удивлением, потом с надеждой: это же Анна, она звонит, что она простила, она возвращается. Отец ринулся к телефону, весело крикнул: «Алло!»

А потом упавшим голосом повторял только: «Да, да. Где? Да, да». Я тоже встала, во мне зашевелился страх. Я смотрела на отца, на то, как он машинально проводит рукой по лицу. Наконец он осторожно положил трубку и повернулся ко мне.

— Случилось несчастье, — сказал он, — ее машина разбилась на дороге в Эстерель. Они не сразу узнали ее адрес! Позвонили в Париж, а там им дали здешний телефон…

Он говорил машинально, на одной ноте, я не осмеливалась его перебить.

— Катастрофа произошла в самом опасном месте. Там как будто это уже не первый случай… Машина упала с пятидесятиметровой высоты. Было бы чудом, если бы она осталась жива…

Остаток этой ночи вспоминается мне как в

каком-то кошмаре. Дорога, освещенная фарами, застывшее лицо отца, двери больницы… Отец не разрешил мне посмотреть на нее. Я сидела на скамье в приемном покое и глядела на литографию с видом Венеции. Я ни о чем не думала. Сестра рассказала мне, что с начала лета это уже шестая катастрофа в этом самом месте. Отец не возвращался.

И я подумала, что снова — даже в том, как она умерла, — Анна оказалась не такой, как мы. Вздумай мы с отцом покончить с собой — если предположить, что у нас хватило бы на это мужества, — мы пустили бы себе пулю в лоб и при этом оставили бы записку с объяснением, чтобы навсегда лишить виновных сна и покоя. Но Анна сделала нам царский подарок — предоставила великолепную возможность верить в несчастный случай: опасное место, а у нее неустойчивая машина… И мы по слабости характера вскоре примем этот подарок. Да и вообще, если я говорю сегодня о самоубийстве, это довольно-таки романтично с моей стороны. Разве можно покончить с собой из-за таких людей, как мы с отцом, из-за людей, которым никто не нужен — ни живой, ни мертвый. Впрочем, мы с отцом никогда и не называли это иначе как несчастным случаем.

На другой день часов около трех мы вернулись домой. Эльза с Сирилом ждали нас, сидя на ступеньках лестницы. Они поднялись нам навстречу — две нелепые, позабытые фигуры: ни тот, ни другая не знали Анну и не любили ее. Вот они стоят с их ничтожными любовными переживаниями, в двойном соблазне своей красоты, в смущении. Сирил шагнул ко мне, положил руку мне на плечо. Я посмотрела на него — я никогда его не любила. Он казался мне славным, привлекательным, я любила наслаждение, которое он мне дарил, но он мне не нужен. Я скоро уеду, прочь от этого дома, от этого юноши, от этого лета. Рядом стоял отец, он взял меня под руку, и мы вошли в дом.

Дома был жакет Анны, ее цветы, ее комната, запах ее духов. Отец закрыл ставни, вынул из холодильника бутылку и два стакана. Это было единственное доступное нам утешение. Наши покаяные письма все еще валялись на столе. Я смахнула их, они плавно опустились на пол. Отец, направлявшийся ко мне с полным стаканом в руке, поколебался, потом обошел их стороной. Это движение показалось мне символическим, с отпечатком дурного вкуса. Я взяла стакан обеими руками и залпом его осушила. Комната была

погружена в полумрак, у окна маячила тень отца. О берег плескалось море.

## Глава двенадцатая

А потом был солнечный день в Париже, похороны, толпа любопытных, траур. Мы с отцом пожимали руки старушкам — родственницам Анны. Я с любопытством разглядывала их: они, наверное, приходили бы к нам раз в году пить чай. На отца глядели с соболезнованием: Уэбб, должно быть, распустил слухи о предстоящей свадьбе. Я заметила Сирила — он поджидал меня у входа. Я уклонилась от встречи с ним. Мое раздражение против него было ничем не оправдано, но я не могла его подавить… Окружающие скорбели о нелепом и трагическом происшествии, и, так как у меня оставались сомнения насчет того, была ли эта смерть случайной, все эти разговоры доставляли мне удовольствие.

На обратном пути в машине отец взял мою руку и сжал в своей. Я подумала: «У тебя не осталось никого, кроме меня, у меня — никого, кроме тебя, мы одиноки и несчастны» — и в первый раз заплакала. Это были почти отрадные слезы, в них не было ничего общего с той опустошенностью, страшной опустошенностью, какую я испытала

в больнице перед литографией с видом Венеции. Отец с искаженным лицом молча протянул мне платок.

Целый месяц мы жили как вдовец и сирота, обедали и ужинали вдвоем, никуда не выезжали. Изредка говорили об Анне: «А помнишь, как в тот день…» Говорили с осторожностью, отводя глаза, боялись причинить себе боль, боялись — вдруг кто-нибудь из нас сорвется и произнесет непоправимые слова. За эту осмотрительность и деликатность мы были вознаграждены. Вскоре мы смогли говорить об Анне обыкновенным тоном, как о дорогом существе, с которым мы были счастливы, но которое отозвал господь бог. Словом «бог» я заменяю слово «случай», но в бога мы не верили. Спасибо и на том, что в этих обстоятельствах мы могли верить в случай.

Потом в один прекрасный день у одной из подруг я познакомилась с каким-то ее родственником — он мне понравился, я ему тоже. Целую неделю я повсюду появлялась с ним с постоянством и неосторожностью, присущими началу любви, и отец, плохо переносивший одиночество, тоже стал бывать повсюду с одной молодой и весьма тщеславной дамой. И началась прежняя жизнь, как это и должно было случиться.

Встречаясь, мы с отцом смеемся, рассказываем друг другу о своих победах. Он, конечно, подозревает, что мои отношения с Филиппом отнюдь не платонические, а я прекрасно знаю, что его новая подружка обходится ему очень дорого. Но мы счастливы. Зима подходит к концу, мы снимем не прежнюю виллу, а другую, поближе к Жуан-ле-Пен.

Но иногда на рассвете, когда я еще лежу в постели, а на улицах Парижа слышен только шум машин, моя память вдруг подводит меня: передо мной встает лето и все связанные с ним воспоминания. Анна, Анна! Тихо-тихо и долго-долго я повторяю в темноте это имя. И тогда что-то захлестывает меня, и, закрыв глаза, я окликаю это что-то по имени: «Здравствуй, грусть!»

**Анн Филип. ОДНО МГНОВЕНЬЕ**
***Перевод Киры Северовой***

*Печаль низвергает человека с вершины совершенства.*
***Спиноза***



# I

Я просыпаюсь рано. Еще темно. Не открывая глаз, я стараюсь снова глубоко погрузиться в сон, но тщетно. Я на каком-то печальном и пасмурном берегу, где-то на полпути между явью и кошмаром. Самое разумное было бы зажечь лампу и почитать, не дать мыслям заплутаться в лабиринте, но усталость делает меня безвольной, и я плыву к ярким воспоминаниям. Иногда я причаливаю к ним, и тогда они захватывают меня настолько, что я не могу отделить их от действительности. Но сознание не дремлет, и я скольжу от воспоминания к воспоминанию, поворачиваю голову к твоей подушке, которую по-прежнему кладу справа от своей, и снова вижу твое мертвое лицо, обращенное к моему пустому месту рядом с тобой в ту минуту, когда жизнь покинула тебя. Я вижу твои открытые глаза, спокойное, отсутствующее выражение твоего лица, раскрытые ладони твоих рук, которые подсказали мне тогда, что никакое страдание, никакой ужас не терзали тебя в последний миг. Потом, когда я долго смотрела на тебя, держала твою холодную руку, которая

уже начинала костенеть, гладила твое лицо, я почувствовала, что ты отдыхаешь на нашей постели, как на берегу, а меня, потому что я еще жива, помимо моей воли уносит каким-то непреодолимым потоком. Ты навсегда стал недвижим, а я некоторое время еще буду двигаться. Смерть разлучила нас навеки.

Я открываю глаза, зажигаю лампу, я восстаю против самой себя. Начинается новый день, он не принесет мне никакой радости. Ты один видел меня, я одна видела тебя. Сегодня мне не с кем обменяться взглядом. Я живу впустую. Я знала, что так будет. В те дни, каждый из которых мог быть последним, я смотрела на тебя, я искала любовь, а находила смерть. Я молча молила: «Смотри же и ты на меня, смотри, ведь у меня останутся хотя бы воспоминания, у тебя же — ничего. Все исчезнет, ты не сможешь даже помнить. Небытие. Ты скоро возвратишься в небытие». Я была полна тобой, я тонула в твоих жестах и твоих взглядах. Я улыбалась тебе, чтобы увидеть, как рождается улыбка на твоих губах, я целовала твои руки, чтобы видеть, как ты целуешь мои. И я твердила себе, что никогда, никогда не забуду этого. Я хотела, чтобы каждый твой поцелуй навсегда запечатлелся на моем теле, чтобы каждая

моя ласка помешала тлению завладеть тобой. Я боролась, не имея надежды на успех. Я была побеждена, потому что был побежден ты, но ты не знал о своем поражении.

Я хотела бы все время идти не останавливаясь. Мне кажется, только так я смогу жить. Я любила шагать с тобой в ногу. Что в мире могло быть прекраснее. Куда я иду сегодня? Ведь идти — это не значит только переставлять ноги. Где моя цель? Я повинуюсь строгому приказу: жить, помогать жить детям. Это почти легко, и только так, сведя все к этой формуле, я смогу выполнять свой долг.

Мне хорошо в тиши зимы, когда земля голая, без запахов. Я тоже стараюсь погрузиться в спячку. Весной я поплыву по течению. Солнце, распускающиеся почки, ароматы, пение птиц затопят меня.

Глядя на первый цветок, разве можно не восхищаться им, не стремиться жить так же просто, как он?

Нужно ли мне будущее, в котором нет тебя?

Я иду по Люксембургскому саду. Иду по тем же дорожкам, что и два года назад. Тогда утро только занималось. Стулья были пусты. Торопливо бежали несколько школьников. Струи фонтана

устремлялись в жемчужный свет утра — ведь тогда не было дождя, как сегодня, хотя дело шло к зиме. Листья на деревьях умирали, ветер гнал их по аллее, я наступала на них. Листья вырастут другие. Но могла ли я утешиться тем, что в то время, как ты умираешь, кто-то рождается? Я бесцельно кружила по знакомым и любимым дорожкам. Стволы деревьев казались мне прутьями решетки. Я говорила тебе все, что мы никогда уже не скажем друг другу. Я дышала медленно, полной грудью. Я не решалась сесть, мне было страшно остановиться. Я шла куда глаза глядят, жадно глотая воздух. Я не искала способа спасти тебя, потому что приговор был уже вынесен. Он был ужасен. Вот и все.

До этого я никогда не задумывалась о смерти. Она для меня не существовала. Меня интересовала только жизнь. Смерть? Встреча с ней неизбежна, и: все же она никогда не состоится, потому что когда приходит наша смерть, уходим мы. Она вступает в свои права в тот миг, когда мы перестаем существовать. Она или мы. В нашей власти сознательно пойти ей навстречу, но можем ли мы хоть одну секунду побыть с ней, разве она не мгновенна, как молния? Мне предстояло навеки разлучиться с тем, кого я любила больше

всего на свете. «Никогда больше» уже стояло у нашего порога. Я знала, отныне ничто, кроме моей любви, не будет связывать нас. Я понимала, что, если даже какие-то тончайшие клетки, называемые душой, и бессмертны, все равно они не обладают памятью и наша разлука будет вечной. Я твердила себе, что смерть — это еще не самое страшное, страшнее ее приближение: физическое страдание и боль при мысли, что ты покидаешь своих близких, начатую работу, а тебя все это минует. Но тебя не будет!

Горестные воспоминания охватывают меня. Я возвращаюсь в свое детство и неизбежно снова погружаюсь в эту черноту ночи и копоти, мне чудится, будто меня засасывают пески, будто меня кто-то душит. Мне четыре или пять лет. Я с матерью на вокзале. Мы стоим у окошечка кассы. Когда подходит наша очередь, мать говорит: «До В. один билет туда и обратно и один детский только туда…» Я не вижу человека, к которому обращается мама, но все слышу и прижимаюсь к ней. Может быть, я и не прижималась, не знаю, но и сейчас еще я хорошо помню, как каждой клеточкой своего существа стремилась к ней, как к единственной гавани, единственному убежищу в мире. Мы в поезде. Мне знакома каждая станция.

Я еду по этой дороге уже не в первый раз. Я знаю, что меня ждет. Мысленно я прикидываю, сколько еще времени остается мне побыть с мамой, краткая разлука, которая нам предстоит, кажется мне долгой, как сама жизнь. Я думаю, что уже научилась не плакать, но внутри у меня какой-то спрут, он сжимает мне сердце, поднимается к горлу и делает слюну горькой. Как и многие дети, я — дочь разведенных родителей, которые, после того как ушла любовь, хотят отомстить друг другу. Я — орудие мести. Обычная история, короче говоря. Настало время мне быть с отцом, но я провожу его не у отца, а у его брата и невестки. Поезд останавливается: В… Мне остается не больше четверти часа жизни. Сейчас мы сядем в коляску, и тогда я прильну к маме. Лошадь тащится еле-еле, потому что улица Франс поднимается в гору и петляет. Вот и последний поворот. Я вижу дом, такой же белый, как и другие, с зеркальцем на первом этаже, которое позволяет незаметно посмотреть, кто звонит или идет мимо. Я могу еще сосчитать до двадцати, потому что коляска должна развернуться — дом на левой стороне улицы. Потом мама изо всех сил обнимет меня, а я крепко поцелую ее. Она уедет в этой же коляске, даже не выйдет из нее, а я, стоя рядом с тетей, по-

машу ей рукой — лицемерное прощание! — в то время как мое сердце будет разрываться от горя, но я знаю, этому я уже научилась, здесь нельзя выдавать свои чувства. Я прохожу в дом. Первая комнат, налево — гостиная. Туда никогда не заходят. Чехлы, ковры, стены — все одного цвета. Дальше — столовая. Из нее выход на маленький дворик; несколько ступенек ведут со двора в сад. Но в столовой я не вижу ничего, кроме большого зеркала, оно — мое наказание, во время обеда я всегда сижу против него. Каждый раз, стоит лишь мне поднять глаза, я слышу: «Перестань смотреться в зеркало!» Я опускаю голову и молча жую, но кусок застревает у меня в горле. «Ешь!» Тишина. Мерзкая тишина, нарушаемая только стуком приборов. Дядя и тетя не разговаривают друг с другом. Это не любящие муж и жена, а супруги, да к тому же супруги бездетные.

Да, там я чувствовала себя несчастной. Позднее я возмущалась и бунтовала и твердо решила устроить свое счастье.

## II

— Сколько это продлится? — спросила я у врачей, когда они пригласили меня в маленькую комнатку рядом с операционной.

— Месяц, самое большее — полгода.

— А вы не могли бы, пока он еще спит, сделать так чтобы он не проснулся?

— Нет, мадам.

Пять минут назад я поднялась со стула в зале ожидания, где была вместе с нашими самыми близкими друзьями.

Пришла медицинская сестра: «Просят мадам Х.» Я пошла за ней, думая: «Это слишком быстро. Мне сказали — через полтора часа, а с тех пор, как его увезли, прошло всего минут двадцать». Когда я увидела, как ко мне подходят четыре врача в белых халатах, я словно в открытой книге прочла приговор на их лицах. Один из них молча придвинул мне стул. Я все поняла. Начиналась моя казнь, а тот, кто был приговорен, спал в нескольких метрах от меня.

— Он будет страдать?

— Нет, скорее всего, смерть наступит от истощения.

Я снова спустилась вниз. Это был тот же самый лифт, и казалось, что в нем спускается та же женщина, но в душе моей наступил конец света. Я сказала кому-то: «Никакой надежды». Меня позвали к телефону, и я начала лгать. Немного позже я вошла в палату, ты уже был там. Сестра

ставила к твоей левой ноге капельницу. Из-за носового зонда дыхание у тебя было тяжелое. А ведь все могло быть иначе: ты лежал бы с таким же бледным и печальным лицом, лицом человека, который просто еще не проснулся после наркоза, но потом все было бы хорошо. Именно так я думала в минуты надежды: три страшных дня — и снова перед нами вся жизнь. Три страшных дня прошли, за ними встала смерть, а между нами — ложь.

Даже на спящего я не решалась смотреть на тебя с отчаянием, с безумием, которое овладевало мною. Я старалась, чтобы мой взгляд был спокоен, я репетировала перед тобой, лежащим без сознания, комедию, которую должна была отныне разыгрывать, — это все, что мне осталось в нашей совместной жизни. В последний раз мы обменялись с тобой любящими взглядами как равный с равным в ту минуту, когда санитар перекладывал тебя на каталку.

## III

Это было восемь лет назад. В одну из суббот. Было холодно. В Париже весна еще не чувствовалась, но за городом она давала о себе знать, несмотря на пасмурное небо и голые деревья.

Мы ехали, ориентируясь по маленькому плану, который нам дали в агентстве по продаже недвижимого имущества. Мы немало поплутали, прежде чем добрались до деревни и разыскали высокие железные ворота. Они были закрыты. Мы прошли по аллее, и в самой глубине с перед нами открылся дом — уродливый, выкрашенный желтой и красной краской, с крыльцом посередине, которое торчало, словно бородавка на носу. Только крыша старинной черепицы была красива. Немолодой мужчина косил на одной из лужаек траву. Он подошел к нам. Держался он подчеркнуто прямо, как кавалерийский офицер. Я помню его безукоризненно завязанный галстук, целлулоидный воротничок, фетровую шляпу, светлые, чуть насмешливые глаза. Внимательно оглядывая нас, он отвечал короткими фразами.

Да, имение продается. Мы можем осмотреть его. «Но домом, — добавил он, — я не ведаю. Если угодно, я сейчас позову мадам». Мадам — это его жена. Он сходил за ней, она пришла, кутаясь в сиреневую шаль, с ключами в руках. Очень учтиво поздоровавшись, она пригласила нас следовать за ней. Мы открыли ставни, осмотрели дом, и фантазия моя разыгралась. Вид из каждого окна был весьма романтический. Метрах в

двадцати от дома протекала река, кругом росли деревья. Тишина. А что касается дома, то он будет таким, каким мы его сделаем. В нем будет царить любовь.

Садовник ожидал у двери. Он повел нас в парк. Перед каждым деревом он останавливался, поглаживая рукой ствол, показывал первые почки.

— Все каштаны переболели, — говорил он, — кроме одного, который растет перед домом, у него цветы такие красные, что озаряют весь фасад. Этот дуб — самый замечательный дуб в округе, посмотрите, у него совершенно ровный ствол, а там, выше, рядом с небольшой березовой рощей, аллея кедров, ее посадили на моей памяти, эта мысль возникла у одного из прежних владельцев, он, кстати, единственный хоть что-то понимал в деревьях и любил их, а другие, что были после, предпочитали Межев или Лазурный берег. Деревню надо знать и любить. Вы любите деревню?

— Да, любим.

— Здесь вся моя жизнь, — сказал он. — Но я ведь только садовник, меня можно выставить за дверь. — Он сказал это, глядя нам в глаза с восхитительным высокомерием.

С этого момента я полюбила мосье Б. В саду, расположенном тремя террасами, он показал нам

фруктовые деревья, рассказал о земле, разминая комья пальцами. Мы осмотрели окаймленные тимьяном грядки с морковью, салатом, земляникой, заросли пионов. По другую сторону каштановой аллеи простиралась обширная заброшенная часть парка, заросшая кустарником, мохом, плющом. Там было много валежника. Потом мы прошли по тропинке, которая тянулась вдоль Уазы.

С крутого берега мы помахали матросам на барже. Мосье Б. река не интересовала.

— Летом здесь можно купаться?

Вопрос, должно быть, показался ему нелепым.

— Если вам не противно, купайтесь. Находятся любители, но там полно мазута и дохлых кошек.

На краю одной лужайки мосье Б. показал нам предмет своей гордости: деревья, постриженные в форме петухов и каких-то птиц.

— Это, скажу вам, работка! Чтобы так постричь дерево, нужно время и умение. Нынешние садовники не хотят этому учиться, слишком много возни.

На наш взгляд, это было пределом искусственности, тем, что мы ненавидели всей душой, но, растроганные, мы проявили такт и выразили свое восхищение.

В тот день мы больше ничего не смотрели. Покидая имение, мы остановились на пригорке. Воды Уазы среди еще черных полей несли с собой отражение облаков; вдали, почти на линии горизонта, виднелась церковь, окруженная домами. Зрелище было красивое, мы залюбовались им. Меня охватило непреодолимое желание сказать тебе что-то, но я промолчала, во всяком случае, умолчала о главном. Я еще не была достаточно уверена, что жду ребенка, чтобы ты разделил со мною эту зыбкую радость.

Две недели спустя мы снова приехали туда. Весна бушевала. Мы оставили машину на том же месте. Солнце было уже высоко, и, слушая тишину полей, мы наблюдали, как оно медленно съедает туман и открывает среди деревьев крышу дома, который мы только что купили.

Прошло время. Родились дети. Это такой же вечер, как другие. Я жду тебя. Я знаю не только шум нашей машины, но по тому, где ты прибавляешь скорость или, наоборот, притормаживаешь, даже могу угадать, какое у тебя настроение. Лежа с закрытыми глазами, я слушаю каждый шорох ночи. Вот и ты. Ты останавливаешься, чтобы открыть ворота, которые больше не скрипят, ты так и оставляешь их открытыми, потому что устал,

под колесами шуршит галька, свет фар скользит по закрытым ставням, ты разговариваешь с собакой, поднимаешься по лестнице, снимаешь туфли, чтобы не разбудить меня. Ты входишь. Ты здесь. Это жизнь.

Все в доме еще спят, когда я выскальзываю в сад. Самый прекрасный, как я его называю — непостижимый — час. Река сверкает в легкой дымке, на лужайке еще лежит ночная роса, в саду и розарии крутятся дождевальные установки, садовник собирает овощи, и мы вместе осматриваем фруктовые деревья — на них уже зреют плоды. Каждое утро я прихожу сюда проведать березы и кедры, персиковые деревья и смоковницы, сорвать цветы, которые уже распустились. Когда ты проснешься, я расскажу тебе, что нового в нашем саду.

Сентябрьская ночь, мы возвращаемся из дальнего путешествия. Никто нас не услышал, собака не залаяла, она, выражая свою радость, молча льнет к нам. Мы садимся на каменную ограду, которая возвышается над рекой. Полная луна заливает своим светом дом и парк, в котором нам знаком каждый уголок.

Много лет мы предчувствовали, что наша любовь откроет перед нами неограниченные

возможности созидания: у нас будут дети, работа, друзья, дом, и, может быть, мы даже поможем сделать мир лучше. Время свершений пришло. Мы оказались восторженными строителями. В ту ночь то ли оттого, что поездка на чужбину придала нашим чувствам особую остроту, то ли оттого, что ночь была так прекрасна, мы вдруг осознали, что наши мечты воплотились в жизнь.

Когда я услышала, что ты должен умереть, я сразу поняла, что никогда больше не вернусь в наш дом. И все ж; один раз, по твоей просьбе, мне пришлось поехать туда. Мосье Б., как и в первый раз, когда мы его увидели, рабе тал: на той же самой лужайке сгребал опавшие листья старого каштана с красными цветами. Мы обнялись. О; спросил, как ты себя чувствуешь. Ты чувствуешь себя хорошо. Ты вернешься, как только сможешь встать.

Дети поиграли. Я приготовила чай, и мы выпили его, глядя на аллею, откуда обычно появлялась твоя машина. Больше я никогда не бывала в этих местах. Они потеряли для меня очарование. То, что мы там создали, будет жить без нас. Я неистово восставала против деревьев, цветок собаки, птиц и особенно против вещей, которые продолжали существовать, — этих стен, мебели,

безделушек, одежды, аккуратно развешенной в шкафу. Вещи, не имеющие собственной жизни, но долговечные, брали реванш. В тот послеполуденный час мне показалось справедливым и естественным, чтобы в мгновенье, когда замрет твой последний вздох, земля здесь разверзлась и поглотила бы все.

## IV

Я вспоминаю одну ночь, которую мы провели в саду, где теперь я хожу без тебя. Это одно из тех мест, которые после твоей смерти я избегаю.

Была полночь. Мы вышли из театра последними. Шел снег. Мы брели, взявшись за руки. Говорить не хотелось, да в этом и не было нужды. Мы шли без цели, но и без колебаний. Изредка медленно и бесшумно проезжали машины. Улицы казались мне необитаемыми, по, быть может, это наша любовь в тот вечер отрешила нас от мира. Рядом с нами была ночь и небо, Париж был далеко. С улицы Вавэн мы вышли к Люксембургскому саду. Ты сказал: «Войдем?»

Мы перелезли через ограду и оказались в сказочном мире. Снег взлетал под нашими ногами. Мы были счастливы и сознавали это. Светлая, тихая радость, когда ты уверен, что все может

быть только хорошо! Ты снял пальто, и мы сели на него. В темноте мы смотрели друг на друга. Я видела твои ясные глаза и припорошенные снегом ресницы. Город был в двух шагах, за оградой, он окружал нас. Пробило три часа. Почему я вдруг подумала о несчастье? Не о том, что оно может постичь нас, — тогда мне казалось невероятным даже представить себе что-либо подобное, — а о несчастье других. Именно в эту минуту одни люди умирали, другие убивали; рушились семьи; плакали от одиночества дети; мужчины и женщины, лежа в постелях, подводили итог своим бедам. Очень далеко от нас, в Индокитае, люди мучились в предсмертной агонии или мучили других. С тех пор как возникла жизнь, каждую секунду кто-то радуется и страдает, рождается и умирает, и так будет всегда, до тех пор, пока существует мир. Мы сидели замерев, завороженные счастьем; рука в руке, голова к голове. Один из нас сказал: «Если когда-нибудь придет беда, постараемся держаться достойно». Другой ответил: «Я обещаю тебе это».

Мы ушли оттуда, когда город начал просыпаться. Вернувшись домой, мы даже не пытались уснуть. Я любила эту бессонную ночь, чистую как снег и такую прекрасную, что я не хочу утратить

из нее ни одного мгновенья.

## V

Бывают дни, когда я не доверяю себе, я должна быть постоянно начеку. Я могу не выдержать. Нужно, чтоб я все время была чем-нибудь занята. Я тружусь, как муравей. Запрещаю себе думать. У меня одна цель: прожги этот час и так, час за часом, добраться до того времени, когда я не буду окружена пустотой. Но боль иногда подкрадывается исподтишка. Утро начинается хорошо. Я не училась вести двойную жизнь. Я думаю, говорю, работаю, и вместе с тем я вся поглощена тобой. Время от времена предо мною возникает твое лицо, немного расплывчато как на фотографии, снятой не в фокусе. И вот в таки; минуты я теряю бдительность: моя боль — смирная, как хорошо выдрессированный конь, и я отпускаю узду. Один миг — и я в ловушке. Ты здесь. Я слышу твой голос, чувствую твою руку на своем плече или слышу у двери твои шаги. Я теряю власть над собой. Я могу только внутренне сжаться и ждать, когда это пройдет.

Я стою в оцепенении, мысль несется, как подбитый самолет. Неправда, тебя здесь нет, ты там, в ледяном небытии. Что случилось? Какой звук,

запах, какая таинственная ассоциация мысли привели тебя ко мне?

Я хочу избавиться от тебя, хотя прекрасно понимаю, что это самое ужасное, но именно в такую минуту у меня недостает сил позволить тебе завладеть мною. Ты или я. Тишина комнаты вопиет сильнее, чем самый отчаянный крик. В голове хаос, тело безвольно. Я вижу нас в нашем прошлом, но где и когда? Мой двойник отделяется от меня и повторяет все то, что я тогда делала.

Я ходила из одной комнаты в другую во вселенной дома, как ходил бы по Парижу или Нью-Йорку человек узнавший о неминуемом конце света. Светопреставление — твоя смерть. И в то же время я понимала, что мы будет жить и без тебя.

Тем не менее я делала все, что от меня требовалось. Как могла я держаться так, словно ничего не произошло? Я внимательно разглядывала себя в зеркало, как разглядывает молодая счастливая женщина наутро после свадьбы. Нет, ничего нельзя было прочесть на моем лице. Горе отложит на нем свой отпечаток позднее, а пока еще оно отражало недавнее счастье. Я могла быть спокойна: ты ни о чем не догадываешься. Выражение моего лица и моя улыбка не изменились. Движения — тоже. Я принимала ванну, и мы

разговаривали через комнату. Я закрывала глаза, чтобы лучше слышать тебя. Никогда я не слушала тебя так и все равно знала, что неминуемо наступит день, когда твой голос ускользнет из моей памяти и я забуду, как ты говорил: «Ты думаешь, недельки через две я смогу принять ванну?» Я разговаривала по телефону. Я благодарила за цветы, которые тебе прислали. Я говорила, что операция прошла благополучно, и вместе с тобой сочиняла ответы на срочные письма, а потом печатала их на машинке, повернувшись к тебе спиной, чтобы дать хоть немного передышки лицу. Я выписывала чеки, деньги уходили… «В марте я вернусь к работе, — сказал ты и добавил: — Я счастлив». Мне показалось, будто меня хлестнули бичом. Что это — удар кинжалом или самая нежная ласка? Я предавала тебя с ясным взглядом, который впервые лгал тебе. Я вела тебя к краю пропасти, а меня поздравляли. Мне было стыдно, но я делала это, потому что вдруг оказалось, что нечто более сильное, более властное, нежели честность, которая раньше была для меня превыше всего, побуждала меня поступать так. Да, через месяц мы поедем отдыхать. Шале с деревянным балкончиком, внизу — заснеженное поле, сзади — лес, сверкающие под солнцем горы.

Нет, никогда, никогда больше этого не будет. Десять раз на день я шла сказать тебе правду. Я шепотом повторяла первую фразу, я знала, что ты сразу все поймешь: «Мне нужно сказать тебе…» или: «Нам предстоит разлука», или: «Тебя обманывают». Почему, по какому праву от тебя скрывают то, что больше всего касается тебя, почему тебя надо ложью оберегать от того, что ты смог бы мужественно перенести? Я убеждена, что ты встретил бы эту весть достойно. А ты смотрел на меня: «Ты занимаешься только мною, а я чувствую себя хорошо, у меня ничего не болит». Я молчала, прикорнув у тебя в ногах, твоя рука ласкала меня, и я, замере, представляла себе, что было бы, если бы я сказала тебе все: тебя до конца не покидала бы мысль о смерти, но мне было бы легче, я могла бы плакать в твоих объятиях, говорить о нашем счастье.

Я рассматривала твой шов. Он забавлял тебя.

— Подумай, мне разрез**а**ли живот!

Я ненавидела этот шов, и в то же время он меня завораживал, Там, под моими губами, в двух или трех сантиметрах от них, живет рак, который скоро, очень скоро убьет, одолеет тебя, а ты этого не знаешь. Как ты не разгадал мои мысли?! Мое лицо лгало столь же ловко, как и твой шов, кото-

рый заживал так правдоподобно.

— Странное это чувство — сознавать, что ты разрезан.

— Ну конечно, ведь это твоя первая операция.

— Когда я поправлюсь, ты положишь голову мне на грудь?

Я киваю: «Да». Только никогда этого не будет, любимый мой. Или когда ты будешь мертв. И улыбалась тебе, и именно об этом я думала. Я хотела бы ничего не знать, хотела бы остановить то, что остановить уже невозможно, потому что эго сама жизнь, ее движение. Нет, я должна взять все на себя, это мой долг, если уж смерть, уход из жизни — твой удел.

Ты смотрел на меня с усталой улыбкой, едва уловимой, которая угадывается скорее в глазах, чем на губах. Глаза у тебя были больные, с какой-то выцветшей, желто-зеленой, словно сухой тростник, радужной оболочкой и отливающими перламутром белками. Временами твой взгляд становился отсутствующим. Бедный мой, любимый мой! Наши дни текли, как течет Сена, но для тебя конец пути был совсем близко. Землетрясение, какая-нибудь авария, обрушившаяся крыша — сколько прекрасных возможностей могли привести нас обоих к одной точке, одновременно

лишить будущего!

Иногда я подходила к окну, смотрела на дома, на прохожих, на машины, подъезжавшие к тротуару, и всюду мне виделось: *«он должен умереть»* — и только это.

Я ложилась у тебя в ногах, я улыбалась тебе, улыбалась искренне, потому что я была счастлива — ты рядом, ты со мной. Я пыталась остановить эту минуту, превратить ее в маленький островок в потоке времени, но это не получалось, нет, не получалось. Дорога в завтра была перекрыта, никакой лазейки. Как я ни изощрялась, все мои мысли натыкались на одну и ту же стену: тупик, дорога не ведет никуда. Нет, ведет — в пропасть.

Ты каждый раз набрасывался на еду, а у меня кусок застревал в горле.

— Мясо жесткое, — сказал ты как-то за ужином, — оно слишком свежее.

Слишком свежее — значит, животное убито, умерло совсем недавно. Меня замутило.

## VI

В Париже редко смотрят на небо. Каждый раз, когда мы покидаем город, небо открывается нам как бы заново. Наблюдая за движением луны и звезд, я всегда испытывала счастье общения со

вселенной, частицей которой являемся и мы. Если мы расставались, ты назначал мне свидание на одной из звезд, и мне казалось, что я вижу нить нашей любви, яркую черточку, бархатную стрелу, огненный след, тянувшийся от каждого из нас, чтобы соединиться в созвездии Орион.

Часто, любуясь ночным небом, я особенно ясно и здраво оценивала свои радости и горести, особенно четко осознавала, что такое мир, какое место мы в нем занимаем, что такое одиночество и что такое совершенная любовь, верная, «как солнцу — травы, как луне — приливы, магнит — железу, голубю — голубка иль как земля — закону тяготенья», — как говорил Троил Крессиде.

Много месяцев после твоей смерти я старалась не смотреть на небо. Я вернулась к нему снова одной летней ночью, а именно двадцать восьмого августа. Я вглядывалась в звезды, ища там одну, и сразу же нашла ее. Она двигалась с запада на восток, одинокая и мудрая. Она была рождена руками и разумом человека и называлась «Эхо II». Она снова связала меня с ночным небом. В тот вечер я долго не уходила домой, поджидая ее возвращения. Мне казалось, я одержала победу. Я стыдилась войны в Алжире, депортаций и фальшивых процессов; я гордилась, что живу в то

время, когда человек впервые проник в космос. Но я была здесь одна, в нескольких сотнях метров от того, что осталось от тебя. Ты никогда не узнаешь этого нарождающегося мира. Наша жизнь уже не касалась тебя. И я не могла отогнать от себя мысль, что самой совершенной, самой мирной ракете предпочла бы открытие лекарства, которое спасло бы тебя. Пахло розмарином, лаяли собаки, со стороны дороги до меня доносился шум машин и веселый смех пассажиров. Каждый раз, когда я сталкивалась с чужим счастьем, я еще сильнее чувствовала свое крушение.

Я должка признаться, что впервые отдалась во власть воспоминаний; я призываю их, прошу помочь мне жить, я снова погружаюсь в свои мысли, ворошу прошлое. Иногда я сержусь на тебя за то, что ты умер. Ты покинул, ты оставил меня. Из-за тебя я не могу смотреть на серое небо и ноябрьские дожди, на последние золотые листья и черные, голые деревья, которые раньше были для меня предвестниками весны. Я избегаю рассветов и сумерек, силой заставляю себя смотреть на солнце и на свет луны. Я была проворной и легкой, теперь я неповоротлива, я тащусь, вместо того чтобы устремляться вперед. Все мне стоит больших усилий.

Я нигде больше не ищу тебя. Но долгое время ты сам внезапно появлялся отовсюду. Как найти тропинку, улицу, набережную, где бы мы не ходили вместо? Нужно было или бежать от mix, или оставаться с ними один на один. В толпе людей, на уединенной лесной дороге я видела только тебя. Мой разум восставал против этих миражей, но сердце искало их. Ты был, и тебя не было. И я без конца спрашивала себя: как же это возможно — не то, что я живу, но как может биться мое сердце, если твое остановилось? Я иногда слышала, как говорили, что ты продолжаешь жить среди нас. Я соглашалась. К чему спорить? Но я думала, что некоторым так легче принимать смерть других. Не тешат ли они себя надеждой, что и они не уйдут из жизни бесследно?

Я слишком любила тебя, чтобы примириться с тем, что тело твое исчезнет, но зато душа, мол, будет жить. И потом, как их разделить, чтобы сказать: вот это его тело, а это его душа? Твоя улыбка и твой взгляд, твоя походка и твой голос — что это, материя или дух? И то и другое, они неразделимы.

Иногда я играю в страшную игру: какую часть тебя можно было бы отсечь или изуродовать, чтобы ты не перестал быть тем удивительным

человеком, которого я любила? Где граница, по какому признаку я определила бы ее? Когда я смогла бы сказать: я не узнаю тебя больше?

Некоторые говорят мне, что, когда люди слишком хорошо знают друг друга, это убивает любовь, что тайна необходима любви, как зерну — лучи солнца. Но ведь лелеять тайну, пестовать ее — значит признавать ее хрупкость. Нет, тайны не должно быть, ее нужно раскрыть. Но чем глубже мы проникаем в нее, тем больше убеждаемся, что она существует.

Я смотрю, как ты спишь; мир, в котором ты сейчас пребываешь, улыбка в уголках твоих губ, чуть вздрагивающие ресницы, твое обнаженное и беспомощное тело — это и есть тайна.

Я плаваю в теплой и прозрачной воде. Ты где-то рядом, я жду, когда ты появишься в проеме двери, увитой глициниями. Ты говоришь мне «доброе утро», я знаю, что тебе снилось, с какими мыслями ты проснулся, и все-таки ты — тайна.

Мы разговариваем: твой голос, твои мысли, слова, которыми ты пользуешься, чтобы выразить их, для меня самые привычные в мире. Каждый из нас может закончить фразу, начатую другим. И все-таки ты — тайна и оба мы — тайна. В улыбке Джоконды меньше тайны, чем в твоем самом

незначительном жесте. Случается — и это бывает в те особые минуты, которые заставляют поверить в совершенство мира, — что нам все ясно друг в друге. Тогда у меня неожиданно появляется желание умереть, лишь бы это совершенство жило вечно. Но нет, кончают счеты с жизнью только под ударами судьбы, а счастье зовет нас жить. Не знаю, но, наверное, достигнув вершины совершенства, мы никогда больше не захотели бы спуститься на грешную землю. Раз мы были богами, мы не желаем снова быть смертными.

Что такое любовь? Это источник, начало источника, это когда мир становится богатым, это восхищение, это чувство, будто ты впервые встретился с чудом и в то же время уже знаком с ним, это возвращение в потерянный рай, примирение тела с духом, ощущение нашей силы и нашей хрупкости, привязанность к жизни и отсутствие страха перед смертью, уверенность, непоколебимая и вместе с тем неустойчивая, преходящая, которую каждый день нужно завоевывать заново.

Ты был самым прекрасным, что связывало меня с жизнью. Ты познакомил меня со смертью. Когда она придет за мной, у меня не будет надежды встретиться там с тобой, но мне будет казаться,

что я иду знакомой дорогой — ведь по ней уже прошел ты.

## VII

Я снова смотрю на небо, я люблю на него смотреть. На нем ни малюсенькой голубой полосочки. Грязные, мрачные тучи тянутся между крышами, как разгромленная армия.

Сегодня солнце, как и счастье, спрятано, но оно существует. Я ищу лазурное небо, золотой век. Я должна вновь найти истоки радости. Вновь обрести ясность, выбраться из мрака, но сохранить твой образ в своем сердце. Я пытаюсь вернуть душевное равновесие и порою мне это удается, но потом оно ускользает. Я продолжаю упорствовать, сама не зная зачем. Не есть ли это извечный закон мира: или приспосабливайся, или погибнешь.

Сдаться, опустить руки было бы малодушием. Я молю только о спасении. Я ищу его и этим утром, проходя по Люксембургскому саду, как когда-то давно, когда я шла через пустыню. Тогда я могла не прогонять воспоминаний. Где-то, за тысячи километров, был ты. Ни твое отсутствие, ни расстояние не смущали меня. Мы были двумя голосами фуги, и ничто не могло помешать этому.

В ней звучали *ты, я,* и то самое *мы,* которое не было *ты* плюс *я,* оно еще только рождалось, но потом оно перерастет и поглотит нас обоих.

Ни один пейзаж не дает такой свободы воображению, как пустыня. Дерево на обочине дороги, птичья пара в небе говорят о жизни больше, чем самая цветущая долина. Я разговаривала с тобой, или мы молча ехали верхом. Когда мои грезы рассеивались и ты исчезал, я не испытывала никакой грусти. Ты есть, мы уже встретились друг с другом, какое значение имеет все остальное? Мы еще не вместе, все впереди.

Я вершила свою судьбу и сама подчинялась ей. Я верила в свою силу и была выше чувств. Я считала себя ясной и разумной, готовой к любым случайностям. Была убеждена, что я вне этого круга — «счастье-несчастье». Я не знала, что именно счастье давало мне эту уверенность. Я вдыхала его так же естественно, как воздух.

## VIII

*Санитар пришел за ним. Он переложил его с кровати на каталку. Мы посмотрели друг на друга. Мне не разрешили сопровождать его. Я осталась стоять на пороге. Санитар заслонял его от меня. Я слышала шаги санитара, слышала,*

*как шуршала колесами каталка, и мне казалось, что никогда они не достигнут конца этого длинного и сверкающего чистотой коридора.*

Пожалуй, именно тогда я рассталась с тобой навеки. Минуты, когда я смотрела на тебя, укутанного одеялом, были последними минутами моего счастья. Меньше чем через час я снова увидела тебя. Ты спал, твои волосы растрепались, лицо было бледно. Чем определяется время? Боем часов на башне, оповещающим, что прошел еще час, или теми событиями, которые этот час вместил в себя? Мир перевернулся. Тысячи лет отделяли тебя, лежащего сейчас передо мною, от тебя, каким ты был час назад. Ты спал, и все равно я не осмеливалась смотреть на тебя и лишь украдкой бросала быстрые взгляды. Я сидела рядом оцепеневшая, сестры и врачи сновали мимо меня, они были заняты своим делом, а я желала твоей смерти. Пусть она будет быстрой, как молния или как вор. Неужели это тоже любовь? Быть готовой пожертвовать всем ради твоей жизни, а час спустя желать тебе смерти? Я ведь только сейчас умоляла врачей, чтобы они не дали тебе проснуться. Где же тогда добро и где зло?

Ночь тянулась бесконечно. Я лежала на крова-

ти, устремив взгляд в потолок. Туда я отбрасывала свою неотступную мысль.

Он умрет. Он умрет.

Я так отчаянно боролась с этой мыслью, что у меня все болело, я отшвыривала ее, она меня сокрушала, душила, повергала. Я смирялась с нею, я вбивала ее себе в голову и в тело, и с нею погружалась в недра земли. Да, он умрет. Он истлеет. Вот что нужно знать, вот что нужно понять. Может, мне станет легче, если я отвернусь? Стена белая, на ней еще ничего не написано. Чистая страница. Я хотела бы страницу чистую, как вчера. Хотела бы вернуть сутки назад. Я мысленно начинала все сначала. Тебе предстоит операция. Мы в комнате одни. За окном неторопливо бродит садовник. Мы лежим рядом на твоей кровати. Правой рукой ты держишь мою левую руку. Мы разъединяем их только тогда, когда нужно перевернуть страницы наших книг. Как спокойно! Иногда ты дремлешь, склонив ко мне голову. Бьет три, нам остается два часа.

— Ты не приходи ко мне, когда я буду спать после наркоза, я не хочу, в это время люди выглядят такими некрасивыми! Не придешь? Обещай мне!

— Нет, я буду рядом с тобой, но ты не будешь

некрасивым. Я же смотрю на тебя, когда ты спишь.

— Это другое дело.

— Хорошо, я обещаю тебе.

Пришел санитар и увез тебя. Я привела в порядок комнату. Открыла настежь окно. Небо было низкое и тяжелое, как грифельная доска. Я прошла в зал ожидания. Меня позвали. Вместе с медицинской сестрой я поднялась в лифте. Сестра открыла дверь и ввела меня в маленькую комнатку, где я увидела лишь несколько стульев. Я услышала шаги, вошли четыре врача. Один из них придвинул мне стул. Они молчали. Я посмотрела на них. Который из них заговорил? Который посмотрел мне прямо в глаза? Бывают минуты, когда нужно предотвратить судьбу, остановить время. Больше нет белых стен. В каждом закоулке, на облупившейся краске, на лампе, на полоске света, которая просачивалась через верхнюю щель двери, повсюду было написано: *«он умрет»*.

Ты был рядом со мною, но уже в недоступном мне мире. Ты спал. Отныне ты стал приговоренным, а я — сообщница палача. Мне рассказывали, что на бойнях есть животные, которые сопровождают своих сородичей до места казни. Их не

убивают. Мне предстоит то же самое?

До утра я могла предаваться отчаянию, яростно спорить сама с собою, колебаться. Но рассвет приближался. Я должна была предстать перед тобою со спокойным лицом. Я всегда знала, что важные решения принимаются в несколько секунд. Мне нужно было выбрать: или ты будешь счастлив, или твое счастье разом оборвется. И я решила: сделать все, что в моих силах, чтобы никакое страдание, никакой страх не терзали тебя. Больше я ничего не могла. Я хотела, чтобы ты не утратил то ощущение радости, которое мы познали. Потом я буду думать, правильно ли поступила. Я не металась между чувством и разумом. Несчастье вошло в мою жизнь. Все события, все переживания проходили сквозь него. Оно изменило меня. Возможно, придет время, когда я снова смогу, как прежде, думать, что счастье и несчастье в жизни всегда идут рядом и нужно быть готовым к встрече с ними. Не в этом ли состоит мудрость?

*Он проспал всю ночь и все утро. Временами ненадолго приходил в сознание. Он смотрел на меня, хотя я не знаю, видел ли, и снова впадал в забытье.*

Твой первый взгляд. Он всплывал из какого-то иного мира, откуда хотел убежать, и цеплялся за мой взгляд. Мое предательство началось: «Все хорошо».

Ты улыбнулся, сомкнул ресницы и коснулся моей руки. С этой минуты, вопреки моему ожиданию, мне было хорошо только рядом с тобой. Мрак сгущался вокруг нас, но то, что ты был со мной, внешне не изменившийся, ничего не знающий, успокаивало меня. Сам того не подозревая, ты помогал мне — твое счастье заставляло меня притворяться. Я не могла ни на секунду забыться, закрыть на все глаза. Я жила двойной жизнью. Мне говорили, что очень большое горе порождает бесчувственность. Это неправда, никогда еще я не принимала так близко к сердцу все, с чем мне приходилось сталкиваться.

В тот вечер я пошла домой. Меня встретил детский смех. Эти невинные создания ожидает удар. И тут я тоже бессильна. Круглый стол, за которым пустует твое место. Наша постель. Ты умрешь на ней? Впрочем, не все ли равно, где? Чудовищно то, что ты должен умереть. Я останусь одна, об этом я еще не подумала. Одиночество: ты не видишь никого и тебя никто не видит. Я вернулась в клинику. Ты ждал меня. Ты еще жил, и завтра,

быть может, тоже будешь жить, и наш первый взгляд будет предназначен только друг другу. Страшное слово пришло мне на ум: «пользоваться». Я слышала, как оно прозвучало в первый раз. Пользоваться последними солнечными лучами, пользоваться тем, что нам еще осталось. Какое это безобразное слово — алчное и скупое.

Я дождалась, пока ты уснешь, а потом — в первый раз — как подкошенная рухнула и провалилась в сои.

На другой день я проснулась очень рано. Я прислушалась к твоему дыханию. Наступит день, когда я не услышу его. Я не хотела, чтобы меня затянула трясина. Он умрет, он умрет, твердила я себе, завтра или через две недели, он обречен, нужно отдавать себе в этом отчет. Не тешить себя надеждой. Знать. Потом забыть, что знаешь, и жить, как обычно. Не останавливаться — вставать, принимать душ, чистить зубы, отправлять детей в школу.

Когда ты проснулся, все стало гораздо проще: мы были вдвоем, Я не хотела думать, надолго ли. Секунды казались мне часами, дни — секундами. Наша жизнь — что она для вечности? Мгновенье. Одно мгновенье. Все человеческие жизни, начиная с пещерного предка, скованные в единую

цепь, создали историю человечества. Ты скоро умрешь, я умру немного позже. Мы станем одним звеном цепи.

## IX

На пятый день после операции, утром, вошел санитар и предложил тебе походить. Ты с трудом поднялся, я надела тебе твои домашние туфли. Ты казался невероятно высоким, пижама висела на тебе, как на вешалке. Санитар поддерживал тебя с одного бока, я — с другого. Знал ли он что-нибудь? Знал ли он, что я все знаю? Я не хотела в сообщники никого.

Сначала мы подошли к окну, чтобы взглянуть на сад.

— Как будет хорошо, когда мы вернемся в деревню, — сказал ты.

Я уговаривала тебя снова лечь, потому что догадывалась, что ты собираешься сделать, и так оно и случилось. Ты пошел в ванную, к зеркалу. Многое я отдала бы за то, чтобы свет тебя обманул! Ты пристально посмотрел на себя, привычным жестом поправил волосы. Голова чуть наклонена вперед, взгляд внимательный. Я опередила тебя:

— Нельзя, сказать, что ты выглядишь хорошо.

— Да, нельзя.

— Это потому, что ты стоишь. Когда ты ляжешь, я дам тебе свое зеркальце, и ты увидишь, что в постели у тебя румянец.

Это была правда. Когда ты лежал, кровь приливала к твоему лицу, и ты выглядел неплохо, только глаза, очень тусклые, беспокоили меня.

Ты снова лег.

Я смотрела на тебя, как пятнадцать лет назад, когда наша любовь только рождалась и мы узнавали друг друга. Да, это был взгляд первооткрывателя, мне казалось, будто я вижу тебя впервые в жизни. Наши жесты, самые простые, самые обычные и в то же время самые интимные и прекрасные, — все всколыхнулось в моей памяти, уже окрашенное этим «никогда больше». Я знала, что уже принадлежит прошлому. Никогда больше ты не подкинешь в огонь полено и не посадишь на плечи детей. Правда, я еще могла видеть, как ты переворачиваешь страницы книги, касаешься моей руки, пишешь письмо. Однако почти все твои движения уже выдавали болезнь, на них лежала ее печать: ты ходил медленно, немного наклонившись вперед, брился в два или три приема, садился в постели осторожно, опираясь на руки.

О любовь моя! Неужели смерть уже так близка,

что незаметно для тебя наложила свой отпечаток на каждое твое движение? Нет, конечно же, нет, это мне так кажется, потому что я все знаю. Вечером я смотрела, как ты спишь: твое лицо было неподвижно, но я видела, как у тебя на. шее пульсирует жилка. А потом око будет такое же? Сегодня ты еще живешь. Этот день выигран. Как она придет, смерть? По каким признакам узнаю я, что она приближается? Я старалась уловить их, но ведь я впервые в жизни сталкивалась со смертью. Замечу ли я ее приближение? Ты был моим сфинксом, но ты даже не подозревал, какую загадку загадал мне. Ты не догадывался об этом, но я пыталась получить ответ у тебя. Я с изумлением смотрела, как ты ешь, и не могла понять, было ли это мужеством, я хочу сказать, заставлял ли ты себя есть, чтобы скорее поправиться, боясь слабости, которую ты, возможно, чувствовал, или твоя молодость даже на пороге смерти превращала тебя в молодого голодного волка.

Я не знала, выйдешь ли ты из клиники живым. Часто, глядя на белые стены, которые я ненавидела, я думала: неужели именно здесь нас настигнет твоя смерть? Нет, тебе становилось лучше, и однажды утром нам объявили, что мы можем вернуться домой.

Я уложила чемодан. Погода была дивная, и мы постояли несколько минут у окна. Я не из тех женщин, у кого глаза на мокром месте. Комната снова стала безликой, какой она была в тот день, когда мы приехали сюда, и только отцветающая роза доживала свой век в стаканчике для полоскания зубов. Следующий больной мог войти. Да, это была роковая для нас комната… Мне хотелось, чтобы ты поспал перед отъездом, но ты был полон планов, ты попросил меня снова рассказать тебе о доме в горах, в котором мы скоро поселимся.

Он будет стоять на лесной опушке, фасадом к восходящему солнцу. Ты не сможешь ходить на лыжах, но мы возьмем напрокат сани и завернемся в меховой полог, от которого немного попахивает лошадью. Мы будем гулять под заснеженными деревьями и приручим голубых белок. Мы будем завтракать, обедать и ужинать на деревянном балкончике и вечерами наблюдать, как закат озаряет вечернее небо и одновременно зажигаются огни в деревне. Ты будешь есть по шесть раз в день и принимать солнечные ванны.

Ты сел на кровати, и я помогла тебе одеться. Ты надел тот же костюм, в котором был, когда мы приехали сюда. Брюки спадали на бедра, а между твоей шеей и воротником рубашки я могла про-

сунуть три пальца.

Я смотрела, как ты идешь по коридору. Ты вышел на крыльцо и остановился там на минуту. Глубоко вздохнул и сощурил глаза под яркими лучами солнца. Я подумала, что так выходит на арену бык. В машине нас было четверо. Ты сидел впереди, я — сзади. Сбоку я видела твой профиль. Как был прекрасен Париж — дерзкий и ласковый. Я пыталась смотреть на все твоими глазами и понять твою усталую радость, но мой взгляд притягивала только твоя шея — заросшая волосами и тонкая, как молодая березка. Она была такая же, когда тебе было двадцать лет. Тогда, если ты бывал недоволен собой, ты уходил вперед один и стегал высокую траву веткой, подобранной на краю тропинки. Потом вдруг возвращался ко мне, обнимал меня за плечи, и мы начинали хохотать. Но не дай бог, если б я засмеялась хоть на минуту раньше, — ты закрылся бы как ракушка. Теперь все это далеко, мы на другом конце пути.

Ты положил руку на спинку сиденья и пошевелил кистью, чтобы я погладила ее. Какой ты был худой и бледный! Париж. Париж! Куда идут люди? Почему они вот так спешат? Я наблюдала за неистовой пляской пешеходов и машин, как они, не теряя ни секунды, движутся вперед в

такт красному и зеленому сигналам светофору? Никакого воображения. Главное — быть дисциплинированным, вот и все. Этот пешеход, может быть, вечером умрет, или в нем гнездится какая-нибудь болезнь, о которой он не подозревает. Что за важность! Смерть всегда стоит у наших дверей. Главное — не думать о ней. Забыть. Смотреть, как течет Сена и солнце играет на мостах, стоять там, созерцать и не думать, не думать ни о счастье, ни о несчастье, ни о прошлом, ни о будущем. Жить только минутой.

Это была наша последняя поездка, твой прощальный визит тем местам, которые мы любили. Никогда больше мы не пройдем по Парижу вместе, никогда не испытаем того чувства, что здесь мы у себя дома, чувства, которое мы часто испытывали, пересекая улицу Бак или площадь Сен-Мишель, где мы проехали в тот вечер. Мне вспомнилось множество солнечных утр, когда мы шли тем же путем, только в обратном направлении. Мы выходили с улицы Бонапарта к Сене и каждый раз с тем же восхищением и гордостью любовались ее прекрасными набережными. Какого цвета здесь небо? Голубое, белое, серое, золотистое? В нем были все цвета понемногу, да еще мягкая дымка, атласное сияние которой

придавало этому каменному пейзажу, аркам моста и изгибам реки изящество, вызывавшее чувство преклонения перед разумом и талантом человека.

Мы проходили по набережным до Трокадеро и иногда, если никуда не спешили, останавливались полюбоваться открывавшимся оттуда великолепным видом, правда ненадолго, потому что так уж устроена жизнь, что по Парижу ходят для того, чтобы перебраться из одного места в другое, а не бродят просто так, глазея по сторонам, засунув руки в карманы. Каждый год мы клялись друг другу, что будем выкраивать для этих прогулок время, которое так несправедливо называют потерянным, но парижская жизнь затягивала нас в свои круговорот, и длительные прогулки пешком становились событием чуть ли не более редким, чем дальние путешествия. Этот нечеловеческий ритм города иногда разлучал пас на много дней. Мы не виделись, не имели времени поговорить. Уходили, приходили, разговаривали по телефону, спали. На какое-то время связь прерывалась, мы жили неполной жизнью, но знали, что наступит воскресенье, мы будем вместе и тогда расскажем друг другу все, что принесла нам эта бесконечная неделя, что

мы думали о себе, что слышали, что заметили друг у друга, хотя, казалось, были так поглощены своими делами, что не обращали друг на друга внимания. Мне нравилось, когда ты хвалил мой новый джемпер, о котором ты не промолвил ни слова в то утро, когда я надела его впервые, так же как тебе было приятно, если я говорила, что японский галстук гораздо больше подходит к белой рубашке, чем к серой. Все, что накопилось в нас за неделю, выплескивалось наружу, и мы смеялись над песенкой Жюльетты Греко «Я ненавижу воскресенье».

Мы обретали друг друга после гонки. Эти встречи обогащали нас. Больше их не будет. Тебе предстоит единственная встреча — я хорошо это знала, — встреча со смертью. Я выискивала признаки ее приближения на твоем лице — у тебя немного запали щеки или ты морщился от боли — и говорила себе: вот она, а если ты чувствовал себя хорошо и у тебя было прекрасное настроение, думала, что это, может быть, то самое улучшение, которое, как я слышала, наступает перед смертью. Поскольку я ничем не могла помочь тебе, мне оставалось заставить себя не думать. Оставаться с тобой до последнего твоего дыхания… Ты был со мной в машине, я чувство-

вала тепло твоего тела. Через месяц я, наверное, отдала бы все на свете за эти минуты, которые тогда казались мне адом.

Ты захотел подняться по лестнице сам. Я шла следом. Я знала, ты поднимаешься домой в последний раз. Обычно ты перескакивал через ступеньки, бесшумно, как пантера, и тишина, которая следовала вечером за стуком двери подъезда, возвещала мне о твоем возвращении. Секунду спустя ключ поворачивался в замочной скважине нашей двери.

В тот день я шла сзади, готовая поддержать тебя, если ты обессилеешь. Я молила только, чтобы никто из соседей не встретился нам за то бесконечное время, пока ты одолевал лестницу. Чтобы никто не увидел твое лицо, исхудавшее, землистое, покрытое капельками пота, — его то открывала мне, то закрывала спираль лестницы, за перилу, которой ты цеплялся. Я видела, как тяжело ты дышишь, как играют желваки на твоей скуле. Мы поднимались на вавилонскую башню. Никогда эта лестница не казалась мне такой длинной, словно она вела на край света. Но когда мы поднимемся, нам придется добираться до другого края света, и так до конца, а потом я пойду одна.

Ты сел на первый попавшийся стул. Голова опущена, взгляд уперся в колени, где отдыхали твои руки. Мы оба разом увидели, что обручальное кольцо стало тебе велико, и ты надел его поглубже, потерев о брюки.

Наша спальня была сплошным цветником, но меня цветы уже не радовали. Я знала, что скоро они появятся здесь охапками, венками, букетами. Ты станешь ранней смертью, засыпанной цветами.

И все же ты вернулся домой, куда я приходила каждый вечер терять и вновь находить мужество, надевать платье или английский костюм, который доставил бы тебе удовольствие.

День угасал. Я задернула шторы. Легла рядом с тобой и сделала вид, что дремлю. Ты читал. Я жила наедине с чудовищем. Что такое рак? Твердая масса. Я старалась припомнить научные фильмы, которые когда-то смотрела. Я представляла себе эту интенсивную жизнь клеток, их неуловимый рост.

Они выигрывают все битвы. И все это совершается почти у меня на глазах, под покровом твоей кожи, гладкой и безобидной на вид. В вечерней тишине я, казалось, слышала, как работает эта подлая фабрика без перерыва все двадцать че-

тыре часа в сутки и тем лучше и быстрее, чем прекраснее и моложе сырье, которое она пожирает. Ты ничего не знаешь, я ничего не могу предотвратить… Я смотрела на тебя, а в это время в тебе бесшумно разрасталась твоя смерть.

## X

Я вспоминаю, как мы подстерегали первые движения наших детей. Я носила тогда в себе зародыш жизни, как ты теперь несешь в себе зародыш смерти.

Зимний рассвет. Я спала между тобой и нашим ребенком. Какое блаженство тела и разума! Я была устойчивым пузырьком в мире, внешне неподвижным не из-за инертности, а потому, что взаимодействие сил, центром которых, казалось мне, в эту минуту я являлась, было совершенно. Все гармонично. Несчастье и смерть — это что-то далекое, приглушенное, и если даже придет день и они постигнут нас, то все равно никогда не смогут нарушить гармонию этого дня.

Вскоре на земле стало одним дыханием больше. Я приоткрывала глаза — убедиться, что не сплю. В этом тельце, в этих мягких линиях, которые уже очаровывали меня, все было предрешено. В наших силах помочь или помешать развитию этого

нового человека, сделать так, чтобы он как можно скорее стал сознательным, не больше. Но жизнь — не ровная дорожка, борьба неизбежна. Какой он — из числа тех, кто закаляется в трудностях, или из тех, кто оказывается побежденным еще до борьбы? И это тоже предопределено судьбой? Сегодня я знаю, что бессильна перед взглядом ребенка, подавленного тоской, и перед взглядом другого, в котором только доверие и который не догадывается об обмане.

Я возвращаюсь в свое детство и вспоминаю, как стремилась к счастью, вспоминаю предчувствие, что мне предстоит счастливая жизнь и я в какой-то мере ответственна за свое счастье. Вспоминаю долгое, мрачное и холодное время, когда замкнутая, лишенная детской непосредственности, я постоянно была грустна и стыдилась своей грусти; я хотела исцелиться от нее, как от болезни, и радость, которая иногда выпадала на мою долю, казалась мне справедливой и прекрасной. Позднее я поняла, что наша судьба в значительной мере зависит от того, как мы представляем себе счастье, ведь счастье — это не только духовное и физическое благополучие.

И сейчас еще, несмотря ни на что, я хотела бы снова обрести счастье. Оно представляется

мне как верность себе самой, а значит, и тебе, я призываю чудо: однажды проснуться счастливой, без ощущения тяжести на душе. Я знаю, земля содрогнулась, на ее теле образовалась рана, она нанесена на карту моей новой географии, я смирилась с ней, но я хочу, чтобы она перестала кровоточить.

Мне еще трудно жить настоящим, я редко вхожу в него без усилия. Когда мы говорили о смерти, мы думали, что самое ужасное — пережить близкого человека: теперь я не уверена, что это так, я пытаюсь найти истину и каждый день прихожу к иному выводу. Когда весенний воздух хватает меня за горло, когда я вижу наших детей, каждый раз, когда я сталкиваюсь с красотой жизни и, забыв о тебе, наслаждаюсь ею несколько секунд — потому что ты не оставляешь меня надолго, — я думаю, что из нас двоих жертва — ты. Но когда горе захлестывает меня, я, жалкая и подавленная им, думаю, что мы были правы, что умереть — это совсем не самое страшное. Я беспрестанно противоречу себе. Я и хочу и не хочу больше страдать из-за того, что ты ушел. Когда горе становится сои сем нечеловеческим, когда оно кажется мне безысходным, я жажду успокоения, но как только ты даешь миг корот-

кую передышку, я боюсь утратить связь с тобой, боюсь, что ради зыбкой безмятежности и любви к жизни, которая завладевает мною помимо моей воли, из памяти ускользнут паши последние дни и последние взгляды. И так вот без отдыха, без остановки я колеблюсь от одной точки к другой, а потом обретаю неустойчивое равновесие.

Так будет долго. Я готова к этому. Но иногда я чувствую огромную усталость, меня охватывает страшное искушение — сдаться, сложить оружие. В такие минуты я люблю землю, и возможность успокоиться в ней — уснуть как сурок или застыть как статуя — не пугает меня. Тогда я забываю о тлении, хотя мысль о нем иногда неотступно преследует меня — оно представляется мне естественным распадом ткани, в котором нет ничего страшного.

На следующий день после возвращения из клиники ты проснулся поздно. Ты сказал мне: «До чего же я устал!» Я ответила, что это вполне понятно, подниматься по лестнице было слишком тяжело, и теперь тебе следует побольше отдыхать. Мы лежали на постели не двигаясь и лишь изредка перебрасывались словами. Каждый был погружен в свои мысли. Мне казалось, что они витали над нашими головами, как завитки ды-

ма, — поднявшиеся вверх, слегка касаются друг друга, но не смешиваются, оставаясь каждая сама по себе.

Мы слушали твое любимое анданте. Только музыка может так волновать, умиротворить и наполнять душу тоской, тревожить и успокаивать. Она помогла мне в тот день взять себя в руки. Она вернула ударам моего сердца ритмичность, которую нарушила твоя коротенькая фраза: «До чего же я устал!»

Только не терять самообладания, это еще не та усталость, о которой сказал врач, это просто из-за лестницы; скоро у тебя появится румянец, ты попросишь есть, может быть, посидишь на кровати. Еще один день будет отвоеван у вечности. Но нельзя строить столь далекие планы. надо думать о том, что будет после обеда, не углубляясь дальше, не требуя большего, или, наоборот, смотреть на мир с огромной высоты, как эта музыка, которую я слушала и которая говорила мне, что все в мире находится в непрерывном движении, все изменяется и что нежность или любовь не должны уходить со смертью. Однако стоило мне хоть немного успокоить себя, как все мое существо восставало против этого. Так было бы слишком легко. Я здесь, здоровая, сильная,

я увижу лето, увижу, как будут расти наши дети. Какой предстану я перед лицом смерти? По правде сказать, в тот единственный раз, когда моя жизнь была в опасности, мне не показалось это ужасным, но тогда опасность мне только грозила, я не была обречена, значит, я просто играла с огнем, временами мне было жутко, но и только, не больше. Но что легче — смириться с мыслью, что ты сам умрешь, или с мыслью, что умрет дорогой тебе человек? Не знаю. То, что происходило на этот раз, нельзя было сравнить ни с чем. Если бы я узнала, что у тебя есть хоть один-единственный шанс спастись, мы говорили бы о нем с тобой, мы испробовали бы невозможное и, кто знает, — вдруг выиграли бы? «Никакой надежды», — сказали врачи, и я поняла, что это так. Достаточно было заглянуть в студенческий учебник по медицине, чтобы убедиться в этом. А если бы врачи скрыли правду и от меня, если бы, как и ты, я ничего не знала? Нет, они поступили правильно… Между неведением и самой горькой правдой я всегда выберу последнее. Конечно, это было нелогично. Я отстаивала свое право знать правду, а тебя лишала его. Я уничтожала наше равенство, приняв роль покровительницы. Да, я хотела видеть тебя счастливым, твое счастье

было для меня превыше всего, и когда ты говорил мне: «Я счастлив», все недомолвки, вся ложь становились для меня сладкими как мед, я заставила бы лгать весь мир ради улыбки, которую ты подарил мне тогда, той мимолетной улыбки, которую мне хотелось схватить рукой, прижать к груди, которая и поныне со мной.

Я знала, если бы тебе предоставили выбор между твоей прекрасной, но короткой жизнью и жизнью долгой, но заурядной, ты не колебался бы. Но почему такой выбор? Наверное, все люди делятся на две категории, и ты принадлежишь к тем, кто проходит жизнь стремительно, как падающая звезда в летнем небе?

## XI

«Полет Икара» Брейгеля, полный солнца, есть само выражение одиночества, порожденного не эгоизмом, а безразличием, которое разъединяет людей. Он, конечно, прав, этот пахарь, что все равно ведет свою борозду, в то время как Икар гибнет. Нужно, чтобы жизнь продолжалась, чтобы зерно было посеяно или собрано, несмотря на то, что над кем-то нависла смерть. И все-таки хочется, чтобы он бросил свой плуг и побежал на помощь ближнему. Или нет, я, наверное, оши-

баюсь, он, конечно, не знает, что человек в беде. Он пребывает в таком же неведении, как море и небо, холмы и скалы. Икар умирает не потому, что его покинули, а потому, что люди не ведают о том, что он гибнет. Каждый из нас напоминает этого пахаря. Всякий раз, выйдя из дома, мы проходим мимо людского отчаяния или страдания, о которых даже не подозреваем. Мы не замечаем ни умоляющих взглядов, ни боли души или тела. Я далека от своего ближнего. Если бы я и вправду была близка к нему, я всегда непременно бросалась бы на помощь, забыв о своих делах.

Мы стали Икаром. Там, за окнами, все текло своим чередом. Я отдергивала штору и наблюдала за привычной жизнью нашей улицы и нашего двора, но она виделась мне уже в ином свете. Все изменилось, все воспринималось не так, как раньше. Голоса на улице удивляли меня, будто я впервые слышала их, смех доносился до меня словно из другого мира, и скрежет мусорных ящиков, которые каждое утро волочили по тротуару, казался мне приготовлением к казни. Осужденный на смерть каждый день на рассвете слушает, не воздвигают ли гильотину. Но ты под утро крепко спал, а я, проснувшись, переживала час моей самой большой слабости. Отчаяние от

того, что есть, отчаяние от того, что будет. Я не могла ни задремать, ни решиться покинуть нашу постель. Единственной моей отрадой были твои волосы, которые я различала на белой подушке, и твое тело, которое — я знала — было рядом. Я чувствовала твое тепло. Я чувствовала его и в утро твоей смерти. Ты спокойно спал, а болезнь в это время готовилась к последней атаке. Когда я закрыла дверь нашей спальни, я не подозревала, что только что видела тебя в последний раз. Около полудня о тебе уже будут говорить в прошедшем времени. Он любил, он хотел, он работал, он опасался. Прошедшее время — время смерти. Я не знала, кто — врачи ли, съехавшиеся ли друзья или я сама употребила его впервые. Возможно, я. Каждый раз, когда я слышу, как дети повторяют глагол «быть» во всех временах, я думаю о том роковом утре, которое окончательно провело для меня границу между прошлым и настоящим. Он был — это значит, что его никогда больше не будет. Все кончено. Точка. Вы можете биться головой о стену, вопить, окаменеть, держаться так, как если бы ничего не произошло, рвать на себе волосы, умолять, возмущаться, соглашаться — вы не измените ничего: он был, то есть его больше нет. Теперь весь мир и вы сами имеете право и

даже обязаны говорить о нем в прошедшем времени. Вы только сейчас начали употреблять это время рядом с его именем, но отныне оно будет для него единственным.

Больше нет надобности говорить шепотом, чтобы не потревожить твой сон. Начиналась жизнь без тебя. Я была одна. Пожалуй, я не знала еще, насколько это непереносимо — не быть одной, нет, а не быть больше с тобой. С тех пор как я увидела тебя спящим на каталке в клинике, всеми моими поступками руководила одна-единственная мысль: только бы он не страдал, только бы он ничего не узнал. Моя миссия окончена, я выполнила ее без славы. Ты, у которого ясность была одним из самых лучших качеств, предстал пред смертью, как ребенок.

Ты был прекрасен. Ты излучал свое последнее сияние; завтра ты уже будешь иным. Да, я знала, что тебя уже нет в этом теле, но какая-то сила влекла меня к нему. Я еще могла смотреть на тебя, держать твою руку или гладить твое лицо. Завтра нельзя будет даже этого. Завтра ты будешь в гробу. Спрятанный навеки. Я думала: совсем один. Через два дня я буду ехать позади тебя, а через три дня мы расстанемся навсегда. И двадцати дней не прошло с тех пор, как мы были

счастливы, и вот все кончено.

Я повторяла себе: он умер, он умер, ты умер. Мне нужно было самой немедленно произнести эти слова, чтобы проникнуться ими навечно, чтобы не оставлять лазейки для бегства, иначе мне захотелось бы отвернуться, отрицать, а отрицание лишь завело бы меня в тупик. Тысячи игл впивались в меня изнутри, я была сплошным криком.

Я хотела, чтобы мое тело не изменило мне, чтобы оно пришло мне на помощь. Я цеплялась за край пропасти. Я заставляла себя смотреть в пустоту. У смерти было твое лицо, и поэтому я смотрела на нее пристально, чуть ли не любовалась ею. Трудно себе представить прощание с покойным, если ты сам не пережил его, ничто не поможет постичь это. Мысль останавливается, когда достигает границы ужаса: вот, здесь все начинается.

Сегодня я еще не могу расплести нити жизни. Но и плющ и дерево приходят мне на ум, когда я пытаюсь осознать твою смерть; она подобна первородному греху, вселенской катастрофе, которая нарушила законы всемирного тяготения. Я тщетно пытаюсь найти уголок, где чувствовала бы себя на месте.

Я смирилась с тем, что тебя нет. Я не просыпаюсь больше оттого, что каждое утро какой-то буравчик сверлит мой мозг или пронзительная сирена врывается в мой сон, чтобы снова и снова объявить мне, что ты умер. Я опять начала думать о погоде, о книге, которую прочла, о делах, которые надо сделать сегодня. Много месяцев я представляла себе, что как только я смогу говорить с интересом о чем-нибудь другом, кроме тебя, думать о чем-нибудь другом, а не о тебе, я буду почти спасена.

Может, это уже случилось? Не знаю. Прошлое не отпускает меня, я отчитываюсь перед ним за все. А жизнь призывает меня к себе. Я знаю это, хочу этого, но я как-то особенно ясно ощущаю серость дней, то усилие, которое мне надо сделать, чтобы снова вернуться к жизни вопреки сердцу, жаждущему одиночества. И я постоянно во власти какого-то безумия. Выходя вечером, я оставляю лампу зажженной. Когда я возвращаюсь, я вижу ее свет за занавеской и улыбаюсь своей хитрости, наивной, потому что, как только я открываю дверь, я лицом к лицу сталкиваюсь с одиночеством. Я открываю и закрываю стенные шкафы, переставляю флаконы, поворачиваю краны, но не слышу ничего, кроме тишины твоего

отсутствия. Я слушаю ее, она не пугает меня, она меня завораживает. Мне не хочется нарушать ее. Придет сон, он приходил ко мне уже сотни ночей, когда я слушала твое отсутствие.

Бывают дни, когда ты ускользаешь от меня. Неужели были счастье и красота? И мы их впитывали в себя ежечасно? В такие дни я не могу ни на чем сосредоточиться, мысль перескакивает прошлое, старается обойти подводные камни, становится бесплотной. Тогда у меня остается только мечта и пепел; то, что было, ускользает, и я вижу, откуда берут начало эта пресловутая идеализация, эти приукрашенные воспоминания, которые постепенно упрощают и подменяют истину, эта измена, которая дается тем более легко что тебя нет и некому оспорить сладкий образ, который создает воображение. Я достигаю ложного спокойствия, но удаляюсь от истинной мудрости, которая заключается в горении, способности мыслить, ясности ума. Я призываю твой образ и кидаюсь в прошлое, чтобы не потерять тебя. Одна в нашей спальне, я подолгу не могу оторвать взгляда от твоих любимых уголков, от вещей, которыми ты дорожил, я ищу твой след, вытягиваю тебя из мрака, и постепенно ты возвращаешься. Отправной точкой мне служит всегда одно вос-

поминание: яркое пятно на стене… Как-то утром, за три дня до твоей смерти, появилось солнце, а до этого несколько дней лил дождь. Я отдернула шторы, и ты сказал: «Приятно чувствовать солнце на лице». Я немного сдвинула кровать, чтобы лучи падали на тебя. Ты на миг закрыл глаза, а когда открыл их, прошептал: «Как хорошо!»

Время тянулось медленно. Я принесла тебе чистое белье, ты выбрал голубую пижаму, ту самую, в которой ты умрешь. Солнце уже играло на стене, оно покинуло тебя. Навсегда. Назавтра снова лил дождь, на следующий день — тоже, а на третий день утром тебя не стало. Я никогда не забуду цвет этого ноябрьского солнца, не забуду, как оно ласкало твое лицо и волосы, а потом перебралось на стену, как дезертир. Даже солнце предало тебя. Ты остался на поле боя один.

Погода в Эскале в наше последнее лето была чудесная. Какие планы строили мы тогда? О чем мечтали?

Мы вели беззаботную жизнь. Мы. подчинялись ветру и солнцу. Они определяли распорядок нашего дня. Каждый день — одно и то же, ничего не случалось, мы были просто счастливы, счастливы оттого, что ощущали это. Счастье пропитывало нас как аромат, которого мы иногда не замечали

— настолько были счастливые. Разве птица сознает, что ока счастлива, когда летает?

Мы часами лежали с закрытыми или полузакрытыми глазами, слушая едва уловимый шум моря, удары сердца — и все. Когда нам становилось жарко, мы бежали в воду, пропустив волну, без шума, чтобы не нарушить безупречную гармонию неба и моря.

Мы могли не говорить ни о чем или болтать обо всем. Молчание и болтовня прекрасны, когда они означают высшее проявление любви или дружбы, а не прикрывают недовольство или непримиримые разногласия, когда они порождены общностью настолько глубокой, что два существа, внешне непохожие, достигают сходства более удивительного, чем сходство черт лица.

Иногда я замечала, что ты плохо выглядишь, меня охватывала смутная тревога, потом это проходило. В самую жару ты шел расчищать ложбину, где растут три морские сосны, а я поднималась вздремнуть после обеда в большой комнате, закрыв там ставни. Дети спали. В доме царила необыкновенная тишина. Стрекот кузнечиком был не в счет. Я слушала удары твоей кирки, которые сливались для меня с жарой, запахом моря и цветов в нечто единое, потом слу-

шала, как хрустит под твоими нот ми валежник. Ты часами рубил кустарник, который мм сжигали после первого дождя, потом возвращался, весь в поту, с запутавшимися в волосах и одежде веточками, с исцарапанными руками и ногами, светящийся радостью. Иногда ты работал на тракторе — я ненавидела запах бензина и адский грохот, — уезжал далеко на большой холм, где прокладывал дорогу в непроходимой чаще, зарастал шей кустарником почти двадцать лет.

После полудня, когда солнце оставляло наш дом, но холм еще был залит его лучами, мы ходили прогуляться в те места, что ты открыл несколько часов назад. Мы приносили оттуда сосновые шишки, иногда черепаху, которая доставляла столько радости детям. Почти каждый день мы сидели на одном и том же поваленном дереве, наблюдая, как солнце покидает сосны, потом — виноградники и наконец прячется за холм. Нередко мы брали с собой детей. Если нам хотелось побыть одним, мы уходили тайком, но иногда наша хитрость не удавалась, и тогда мы видели две маленькие фигурки, катившиеся по склону, а потом поднимавшиеся к нам. Минута отдыха у нас на руках, чтобы перевести дух, — и уже рассказывай им какую-нибудь сказку. Ино-

гда они задумывались, задавали нам трудные вопросы: «А почему солнце ходит так каждый день?» Потом окружающая красота настолько захватывала их, что они переставали тараторить или требовать, чтобы им что-нибудь рассказывали. Как и мы, они не могли отвести глаз от этого величественного зрелища — заката солнца.

— А если оно больше не придет?

Мы отвечали, что завтра, очень рано, еще до того, как они проснутся, солнце вернется и снова озарит то место, где мы сидим.

— И оно будет двигаться всю ночь?

— Да, оно не останавливается никогда, и мы тоже двигаемся, и когда у нас ночь, в других странах — день.

Нет ничего серьезнее, чем разговоры с детьми. Дети бесстрашно ставят и разрешают сложнейшие вопросы, проникают в самую суть вещей. Мы часто говорили с ними о смерти. Не знала я, что очень скоро она коснется их так близко. «Он умер», «она спит», — говорили они, находя иногда возле дома мертвого кузнечика или ящерицу. Никаких проблем. Но скоро все изменится.

Несколько месяцев спустя они узнали, что означает «никогда больше», и тот из них, который страдал сильнее, потому что больше понимал,

сказал мне:

— Раз наш папа умер, пусть у пас будет другой, но только похожий на него.

Я пыталась объяснить. Объяснить что? Что любовь…

— Но ведь нельзя любить мертвого, его же никогда больше не увидишь, — отвечал он мне. — А где он теперь? Он нас видит?

— Думаю, нет. Но мы его видим в своих воспоминаниях.

— У меня его глаза и рот, правда? — говорил он мне гордо.

— А у меня его походка.

— Да, верно.

— А где ты его похоронила?

Я отвечала — на холме, я не могла сказать — на кладбище. На холме… Именно так я хотела бы тебя похоронить: без гроба, одного, у подножия какого-нибудь дерева, там, где мы любили гулять. Почему наши похоронные обряды так мрачны, так неестественны? Похороны на берегах Ганга отнюдь не означают, что люди там страдают меньше, просто они не выставляют свое горе напоказ, считая, что каждый должен справляться с ним сам. Я хотела, чтобы наши дети помнили тебя живым и чтобы они никогда не думали о

том, что ты истлеешь. Меня эта мысль преследовала много месяцев. Я не могла представить себе, что твое тело, такое изящное, такое красивое, станет отталкивающим; я все время думала об этом, все время. Я говорила себе, что это ничего, ведь это просто химическая реакция, главное, что ты ничего не знаешь. Но мысленно я видела тебя, твои глаза, губы, ткань твоего костюма, и когда при мне говорили детям, испугавшимся осы или мухи: «Маленькие не едят больших», — я думала: нет, едят, едят до последнего кусочка. Да, я не хотела, дети тоже думали об этом, но и не хотела говорить, что ты на небе, потому что это противоречило бы нашим принципам. Я пыталась связать тебя с жизнью. Он превратился в два деревца и цветы, говорила я детям, пчелы летают с цветка на цветок, собирают мед, а мы его едим, вот все и начинается сначала.

Дети реагировали каждый сообразно своему характеру.

— Из такого красивого, как он, — с сияющим видом сказал мне один, — должны вырасти красивые цветы?

Второй промолчал, но задумался. Наутро он пришел ко мне.

— Значит, когда мы едим мед, мы едим кусочек

человека? — спросил он.

Я хотела бы, чтобы они любили тебя таким, каким ты был. Что они помнят о тебе? Они мне без конца твердят о какой-то прогулке, о которой я им почти не рассказывала, но она запечатлелась в их памяти. В тот день ты убил небольшую змейку. Тогда, казалось, они не обратили на это особого внимания, но потом прогулка вблизи дома превратилась в настоящую экспедицию, во время которой ты убил страшное чудовище. Ты для них — символ храбрости и ловкости, и когда я рассказываю им о других прогулках, более дальних и более интересных, они неизменно возвращаются к этой.

Они ищут тебя, они хотят тебя узнать или вспомнить, соединив то, что сохранилось в их памяти, с тем, что от создают в своем воображении с помощью фотографий рассказов о тебе, смутных воспоминаний, внезапно всплывающих откуда-то из глубины, я иногда вижу это, когда какой-нибудь пустяк внезапно поражает их, будит мысль, вызывает желание рыться в их юной памяти, прояснит! то, что имеет лишь туманные, расплывчатые очертания так фотограф наводит на фокус свой объектив, чтобы получить четкое изображение. Они не смогут найти себя, не прой-

дя через тебя.

Я вижу, насколько они напоминают тебя, и это меня очаровывает и потрясает. Иногда это сходство бывает мимолетно, проявляясь то в одном, то в другом. Какой-нибудь жест, манера зашнуровывать башмаки, просыпаться по утрам, любовь к тому же времени дня, к тому же небу, взгляд, которого я прежде не замечала, хотя, возможно, он и был, но мне казалось, он появился только теперь. Я слушаю и смотрю.

Мысленно я перебираю всю твою жизнь и вижу тебя в том возрасте, когда я тебя не знала. Я пытаюсь соединить свои наблюдения над детьми и твой юношеский облик, и так еще лучше узнаю тебя.

Я пишу, словно мотаю клубок, у которого нет конца. Нить, которую я тяну, ведет меня к тебе, но пробираюсь я не через лабиринт, а скорее по спиралям какой-то раковины. Я пытаюсь добраться до глубины нас самих. Когда мне кажется, что я уже достигла цели, я обнаруживаю, что это только этап, что нужно идти дальше, пересекать пространства воспоминаний и ощущений, сдирать все новые оболочки, и только так я достигну мира, который предугадываю и желаю. Я одна знаю свои поражения и победы. Иногда мне ка-

жется, что я уже сделала шаг вперед, я довольна, как вдруг все рушится: нет ни позвоночника, ни плоти, все растворилось в какой-то кислоте, нить оборвалась, я — крошечное бесформенное пятнышко, безвольный комок нервов.

Идти напролом бесполезно, необходимо сделать отвлекающий маневр, как говорят, «рассеяться», что всегда вызывает у меня отвращение. Я выхожу из дома и иду, не думая ни о чем, я убегаю от себя самой. Моему лицу нужен ветер, моим ногам — твердая почва. Все забыть, вычеркнуть из памяти. Когда я чувствую усталость, я почти спасена. Я существую. Я возвращаюсь на землю. Я удивляюсь, найдя все на своих местах.

## XII

В тот день на рассвете открыли настежь дверь. Целый день и еще полдня я ехала позади тебя. Я помню только дорогу, которая, казалось, никогда не кончится, деревни, которые мы проезжали, автомобили, которые мы обгоняли, и нас, сопровождающих эту черную, в цветах, машину, от которой я не могла оторвать глаз. Больше я не помню почти ничего. В тот день я даже не заметила, как после Лиона, по мере продвижения к югу, показались первые кипарисы и первые

фонтанчики с питьевой водой, окруженные платанами. Здесь, на юге, небо другое, и даже если идет дождь, то и дождь не такой, и ветер порывистый. А ведь раньше мы всегда удивлялись этой перемене и тому, что она все еще поражает нас.

Я помню эту сумасшедшую гонку до мельчайших де талей и в то же время как-то смутно. Черная машина останавливалась около бензоколонки, и мы ждали позади, это было бессмысленно, но мы не могли оставить тебя одного, хотя ты все равно уже был далеко от нас, в твоем теле начался длительный процесс тления. Вечером мы устроились на ночлег. Тебя поставили в гараж. Я бродила около тебя, не зная, что делать, не решаясь уйти и лечь спать, я гладила венок, черный креп, который прикрывал твой гроб, трогала кузов автомобиля. Я долго кружили так. Ведь это было нелепо: ты в гараже, а я наверху в теплой постели, или ты на стоянке, среди машин, а я завтракаю. Я ела, пила, мне даже не хотелось плакать. Я не думала ни о будущем, ни даже о детях, хотя не видела их уже два дня, а они позже расскажут мне, как весело провели время у своих маленьких друзей.

На второй день мы добрались до кладбища. Там я вернулась к действительности. Я смотрела на

море, далекое и серое, как и небо. Я помню, как глухо падали на гроб цветы, этот звук каждый раз отзывался во мне, потом — первые лопаты земли, тяжелый резкий стук, который завершался мягким пианиссимо, когда земля скатывалась по крышке, прежде чем навечно лечь на дно твоей могилы. Мы были в мире одни, ты — погребенный, я — наверху. Мой взгляд проникал сквозь дерево и свинец. Я отдала бы все на свете — да, да, все! — чтоб вдруг увидеть тебя воспрянувшим, живым, прогуляться с тобой, как мы любили, по холму, или молча постоять, посмотреть на море. Десять минут, не больше, а потом пусть будет смерть, пытка — все что угодно, лишь бы еще раз увидеть тебя.

Впервые в жизни я хотела невозможного. Позже один из наших детей попросил меня: «Ведь ты можешь все, сделай так, чтобы он вернулся на один день, только на один-единственный день, мы устроим праздник, мы будем умниками. Он увидит, что нам хорошо». Я вынуждена была объяснить, что это не в моих силах, и поняла, что малыш уже почувствовал смысл страшных слов «никогда больше» и, как и я, не может примириться с ними.

Начал моросить дождь, часы на башне пробили

полдень. Воздух был неподвижен. Капли дождя бесшумно падали на листья деревьев, на каменные стены, оставляя на них темные полосы. Земля, постепенно закрывала гроб. И вот уже нет ямы, а только холмик свежей земли, укутанный цветами.

Теперь я знаю, что такое кладбище, как другие знают, что такое мемориальные доски, которые на улицах Парижа после оккупации означают, что кто-то из борцов Со противления был убит на этом месте, и при виде такой доски перед глазами близких снова возникают изуродованное пулями лицо, лужа крови, распростертое тело.

В тот миг, когда я ступала на перрон вокзала в Пари же, того самого вокзала, куда мы обычно возвращались после каникул (и тут же начинали строить планы на зиму, без сожаления прощаясь с летом, чтобы с головой уйти в новые заботы), именно в тот миг, когда мое тело было между подножкой вагона и перроном, когда я уже ставила ногу на перрон, я в одно мгновенье — ясное и холодное, как нож гильотины, — осознала, какое одиночество ждет меня.

Ураган пронесся, я вышла из него живая. Я ждала сражения, но еще не знала, каково оно будет; я делала свои первые шаги в неведомом мне мире,

и у меня не было ни времени, ни желания постараться представить себе его. Спокойствие дома и эта тишина! Вещи… Вот они, на своих местах, обивка мебели чистая, подушки не смяты, как будто ими никогда не пользовались, свежие цветы, книги, последние, что мы прочли вместе, — до них можно дотянуться рукой — и кровать. В памяти всплывало только недавнее прошлое: четыре дня и где-то далеко — начало этого прошлого, операция, потом всего три недели, и по ту сторону пропасти, на другом берегу, — наша жизнь.

Она кончена, кончена навсегда. Время гнало свои волны. Мне оставалось или тонуть, или дышать, но я не хотела, не хотела ни того, ни другого. Жизнь поступала со мной жестоко: «Или живи, или умирай, — говорила она, и я замирала на месте. — Ты не ешь и не спишь, тебе нравится выставлять напоказ свое горе». Жизнь обвиняла меня. Я не была ни трусливой, ни храброй. Дети служили мне опорой: когда они были со мной, я держала себя в руках, их неведение, как и твое совсем недавно, помогало мне. Я стала только фасадом, но были минуты, когда без этого я могла бы рухнуть. Я познала оцепенение, которое является лишь началом смерти. Уснуть, забыться, погрузиться в ночь… Но стоило мне закрыть

глаза, слепящий свет вспыхивал перед моими веками. Я училась одиночеству, беспощадному, безоговорочному, оно как голое пространство, которое начинается от вас и тянется до горизонта; ни мысли, ни взгляду не за что зацепиться. Я не знала, чем заполнить дни, на чем остановить мысль. Я была раздавлена тобой, твой образ стоял у меня перед глазами, ты меня душил, все мои видения были связаны только с твоей болезнью, мне хотелось вспомнить нашу прежнюю жизнь, но я была ослеплена твоей смертью. Я не могла освободиться от нее. Мне нужно было вырваться из этого замкнутого круга, но проходили часы и дни, а я пребывала в бездействии. Я заставляла себя делать все необходимое, произносила слова, которых от меня ждали. Я становилась бесплотной тенью.

Я еще не осмеливалась слушать музыку, боясь, что она выведет меня из оцепенения, в котором я находилась, и низвергнет в мир, где меня все ранит, мир, в котором я не смогу жить. Я была безучастна ко всему и не знала, что перетянет — пойду ли я ко дну или спасусь. Инстинкт диктовал мне ритм, которому я следовала. Я проклинала ночь, но не могла избежать ее. Я сохранила достаточно здравого смысла, чтобы понять: бесчестно

утверждать, будто ты выше того, чего ты еще не знаешь. Сколько раз мы слышали от богатого, что не в деньгах счастье, от ленивого — что всякое дело — потеря времени, от невежды — что образование еще не делает человека, от холодных женщин — что они выше чувственной любви, а от импотентов — что платоническая любовь самая прекрасная? Преднамеренный и жалкий обман, попытка спутать карты! Но правда и то, что деньги не приносят счастья, что дело может быть никчемным, что образованный человек не обязательно лучший и что любовь — это не только физическое влечение.

Я же, лишь достигнув глубины того, что называют отчаянием, смогла сохранить внутреннее равновесие. Если и был какой-то выход, он вел через мрак и трясину.

Чтобы отыскать его, я должна была пройти страшный путь, на который меня бросила твоя смерть, не искать забвения, ничего не оставлять во мраке, ни от чего не бежать и встретить несчастье так, как когда-то встречала радость.

Я бродила по комнатам, окруженная твоими вещами, раздосадованная смятением, ничтожной причиной которого они были. Что делать с зубной щеткой, с бритвой, с туалетной во-

дой, со свитером, отныне бесполезным? Сжечь? Сохранить? Подарить? Бросить в Сену? Сжечь — значило бы удовлетворить чувство абсолюта, сохранить — поддаться минутному соблазну. Неужели я становилась женщиной, живущей только прошлым, обреченной на бесплодное поклонение: перечитывать письма, снова и снова смотреть фотографии, ласкать твою одежду? Я переставила кое-какую мебель, часть ее продала, но я оставила твою книгу там, где положил ее ты, потому что она помогала мне вспомнить твой жест, взгляд, брошенную фразу. Я пыталась остановить время, увековечить тебя, я воздвигала памятники в пустоте. Приходила ночь, я ложилась в нашу постель, я лежала там, застыв, такая же неподвижная, как и ты, словно похороненная вместе с тобой, отрешенная от самой себя.

Я ждала, ничего не ожидая. Так прошли месяцы. Наше имущество описали, подсчитали сумму долгов, оценили стоимость того, что мы вместе создали, «кроме драгоценностей и предметов личного обихода». Я не умерла, но была на грани смерти.

## XIII

Я уже не припомню тот день, когда впервые почувствовала, что еще не все потеряно. Была ли это улыбка ребенка, пробудившая меня к жизни, или грустный взгляд, замеченный там, где мне не хотелось бы его видеть? Или чувство ответственности? Измучило ли меня отчаяние? А может, просто жизнь взяла свое? Истина имеет столько граней, что я не могу сказать определенно, что именно дало мне возможность вновь почувствовать под ногами почву. Однажды я отметила про себя, что перестала быть только фасадом. Я жила, дышала. Я снова хотела участвовать в событиях. Постепенно я взяла себя в руки и увидела, что от меня осталось. Вот тогда-то я не то чтобы перестала ощущать одиночество, но попыталась свыкнуться с ним.

И я сроднилась с ним, теперь мы хорошо познакомились друг с другом, и я умею смотреть ему прямо в глаза. Я говорю о нем с друзьями, которые всегда считали его естественным. Для меня же в мире нет ничего прекраснее супружеской пары, и когда я слышу разговоры, будто любить — это значит потерять свою свободу и свою целостность, я спрашиваю себя: неужели мы говорим об

одном и том же чувстве?

Я вспоминаю один вечер: я перелистывала страницы какой-то книги, и мой взгляд упал на фотографию скульптуры, которую мы часто разглядывали вместе, — торс женщины как крик радости, устремленный к небу. Я застыла в оцепенении, но не перевернула страницу. Прошлое всколыхнулось во мне снова, я увидела фильм бел конца, услышала песню победы, — все это сломано одним ноябрьским днем. Мне показалось, что я выбралась из трясины. Я была одна в своей комнате, но почувствовала, что снова живу; комната показалась мне иной, не такой, как в другие дни. Я опять втянулась в круговорот жизни и поняла, что вновь обрела способность наслаждаться прекрасным.

И, тем не менее, все причиняло мне боль, и особенно взгляды, которыми, словно заговорщики в толпе, обмениваются между собой любящие супруги; эти взгляды, словно две птицы вместе реют над шумом голосов, дымом сигарет и стаканами с виски. Для этих людей в мире не существует никого, кроме них, их встреча все поставила на место, жизнь кажется справедливой, им все равно, что их слышат, что о них говорят; птицы здесь, думают они, птицы охраняют нас, и

сейчас, когда мы будем на улице одни, мы снова увидим их. Две мои птицы умерли, но я не могу без трепета смотреть, как летают птицы других, и безошибочно угадываю их.

И я с удивлением пришла к выводу, что любящие супруги встречаются очень редко.

Я никогда не относилась к смерти с такой легкостью, как в те времена, когда была счастлива. Тогда мне было почти безразлично — жить или умереть. Теперь мои мысли всецело поглощала смерть. Я думала о ней, пересекая улицу, ведя машину. Пустячный насморк… но он может перейти в гиперемию. Легкое недомогание… а вдруг за этим скрывается тяжелая болезнь? Я выходила из своего оцепенения, чтобы войти в этот живой мир, которого я боялась и где все меня ранило. Я не знала, сколько это будет длиться. Я вспоминаю, какое волнение охватило меня в Порт де ла Биллет при виде грузовика с лошадьми, которых везли на бойню. Эти обреченные животные — даже животные! — снова привели мои мысли к тебе. Как-то вечером в автобусе я не могла оторвать взгляда от одной безделушки — маленького черепа из слоновой кости, — болтавшейся на золотой цепочке. Девушка, которой принадлежала эта безделушка, была красивая, очень юная, с

подведенными глазами и бледными губами; я мысленно сорвала мясо с ее костей, добралась до скелета и вдруг увидела два черепа, которые потом превратились в один, в тот, который меня неотступно преследовал.

Я избегала бывать на площади Сен-Сюльпис, где часто ходила во время твоей болезни. В те дни, как-то утром, я обратила внимание на магазин похоронных принадлежностей, так удобно расположенный около церкви. На витрине были выставлены прекрасные фотографии с изображением пышных похорон, добротные гробы, окруженные громадными свечами. Меня хлестнула мысль: сюда придут заказывать все это и для тебя. Я не ускорила шаг, и все-таки тысячи черных птиц били крыльями в моей груди. У меня было только одно желание — увидеть тебя, коснуться тебя. Когда я вошла в нашу спальню, ты еще спал. Я на цыпочках вышла и, дожидаясь, когда ты проснешься, взяла книгу. По правде сказать, я не прочла ни строчки, но немного успокоилась. Когда ты позвал меня, я подошла к тебе со спокойным лицом, как обычно, и, целуя тебя, в отчаянии наслаждалась осколками счастья, которые еще принадлежали мне. Вал надвигался, я знала, что бессильна перед ним, и все же

продолжала бороться шаг за шагом. Когда я шла по площади Сен-Сюльпис, я хотела только одного — увидеть тебя живым. Я довольствовалась крохами, которые пожирала, как голодающая. Что оставалось от нашего гордого счастья? Но ты хорошо поспал, чувствовал себя менее усталым, чем накануне. Ты залпом проглотил свой кофе с молоком и почти целую булку: «Я голоден, я голоден». Я видела твои глаза, такие бесцветные, с покрасневшими веками. «Уже три дня как я вернулся из клиники, время летит быстро», — сказал ты мне. Ты ни о чем не догадывался. Это было после твоей операции, в утро, ничем не отличавшееся от других. Ты говорил, я слушала тебя и думала, куда же заведет меня жестокий долг и любовь к тебе. И снова находила те границы, которые определила в ночь после операции: лишь бы ты не страдал, лишь бы ты ни о чем не догадался. Только это я должна была принимать во внимание. Я заглядывала в самую глубину твоей души, и ты раскрывал ее. Сколько лет или минут понадобилось нам на то, чтобы достичь этих тайников, еще более глубоких, чем чувство, в котором разум и инстинкт сливаются воедино? Мне нравились наше стремление к трудностям, наше недоверие к легковесным переживаниям.

Мы оба хотели, чтобы ничто не оставляло нас равнодушными, даже то, что, казалось, меньше всего способно воспламенять. С тех пор как родилась наша любовь, мы не переставали изучать, узнавать друг друга. Мы открыли друг другу свои души и, обезоруженные, отбросили закон джунглей.

Когда ты еще был со мной, я мечтала о нашем послед нем разговоре. Я хотела, чтобы ты рассказал мне обо всем — о себе, о нас, о людях, о том, что ты думал о каждой вещи и о каждом событии, хотела, чтобы все то, что ты мне будешь говорить, шептать, повторять, убаюкивало бы меня, хотела засыпать и просыпаться под звук твоего голоса, насыщаться им, жить только им.

В последний вечер я уже отложила книгу, а ты еще продолжал читать. Ты спросил меня, не мешает ли мне свет. Нет, он не мешал, он позволял мне смотреть на тебя сквозь полузакрытые веки. Я слушала, как ты переворачиваешь страницы, все мне было позволено, нельзя было только плакать, но мне вовсе не хотелось плакать. Я хотела вспоминать прожитые вместе годы, но не решалась сказать тебе об этом. Не в наших обычаях было воскрешать прошлое, и тебе могло бы показаться странным, почему вдруг я думаю

о том, что было, а не о том, что будет. Поэтому я пустилась в воспоминания одна, а ты в это время читал или дремал.

Наша общая жизнь… Сначала это был какой-нибудь час, день, потом — месяц. Я спиралью сворачивалась в этом маленьком, слишком тесном прошлом. Я знала, оно будет больше, но мы об этом никогда не говорили. Были порывы, и была сдержанность. Мы присматривались друг к другу, держались настороженно и искали какой-то затаенный смысл в каждом слове другого. Неопределенная форма служила нам переходом от «я» к «мы». Мы пользовались ею долго. Однажды появилось «мы», сказанное как бы случайно, но вскоре оно было отброшено: наверное, мы еще не были готовы к нему. Потом неопределенная форма стала употребляться все реже. Мы начинали строить нашу совместную жизнь, и в тот день, когда это было принято и признано, мы поняли, что уже давно стремились к ней. Вдруг оказалось, что мы богаты, — нас обогатили бесчисленные мгновенья, события, пережитые вместе и сохранившиеся в нашей памяти потому, что они нас объединяли. Иногда чье-то присутствие придавало нам больше смелости. Я рассказывала о прогулке под дождем, ты говорил, что небо, за-

тянутое тучами, может быть прекрасно и что ты видел яблоневый сад, где бурей сорвало все цветы. Одни мы не промолвили бы ни слова об этой прогулке, которая нас сблизила. Мы привыкали друг к другу. Это был долгий труд, который так захватывал нас, что иногда мы пугались. Тогда, сделав крутой поворот, без всяких объяснений, мы переставали видеться.

Уже в то время наша любовь была слишком гордой, Чтобы мы могли допустить хотя бы частицу тщеславия. Наши побуждения были благородны. Мы верили друг другу, но нуждались в этих остановках, чтобы разобраться в своих чувствах, убедить себя, что пока мы еще свободны в выборе нашего будущего, независимы в своих действиях и своих вкусах. Потом мы снова находили друг друга и скрывали волнение, уверенные, что кажемся неуязвимыми. Как нравилась мне эта дистанция, которую мы соблюдали!

Наша встреча могла бы быть лишь прекрасным мгновеньем, чудесным воспоминанием, могла бы никак не изменить нашу жизнь. Нет ничего более рискованного, чем мелкая интрижка. Мы не вкладываем в нее душу и поэтому думаем, что сберегаем себя, но делаем это так неумело, что, растрачивая слова, которые не соответствуют

чувствам, мы от встречи к встрече постепенно растрачиваем себя, как ткань, которую время пожирает прежде, чем она послужит своему назначению.

## XIV

В день похорон, когда я ушла с кладбища, я поняла, что буду приходить туда часто. Я могла бы остаться прежней, так же любить тебя, но больше никогда не ходить на твою могилу. В первый вечер, закрывая ставни в своей комнате, я вдруг увидела небо, огромное, безлунное, давящее. Я была одна на земле. Я хотела бы, чтобы меня унесли с собой тучи, которые плыли надо мной. Я задернула шторы — так зверек закапывается в свою нору. Не нужно больше смотреть на небо и вообще делать что-либо из того, что я любила раньше. Как я встречусь с детьми? Три дня я совсем не думала о них.

На следующий день я пришла проведать тебя. Бессмысленное свидание, еще один безответный монолог. Я находилась за пределами действительности, и у меня не было сил вернуться к ней. Как я ни уговаривала себя, все было тщетно. Вот она, твоя могила, я смотрела на нее, бесцельно трогала землю, я начинала думать, что сейчас

ты придешь, что ты просто опоздал немного, как обычно, и скоро я почувствую, что ты рядом, и мы вместе будем смотреть на эту могилу, едва присыпанную свежей землей.

Я прекрасно сознавала, что ты умер, но галлюцинация начиналась снова. Тебя нет, значит, ты ждешь меня в машине, и какая-то безумная надежда — я знала, что она безумная, — охватывала меня.

«Да, он в машине». И найдя ее пустой, я снова успокаивала себя, давала себе отсрочку: «Он гуляет по холму». Я спускалась к дому и, беседуя с друзьями, высматривала тебя на дороге, конечно же, сама себе не веря.

В тот же вечер я вернулась в Париж. Мне казалось, я снова предала тебя. Я ведь только это и делала день за днем в течение трех недель, с той минуты, как тебя увезли на каталке по длинному белоснежному коридору, — предоставляла тебя твоей судьбе; я сопровождала тебя, шла за тобой до конца, но оставалась в мире живых, в то время как ты, не зная этого, уходил из него, и я читала предстоящую разлуку в твоих глазах и твоей улыбке.

Я вернулась к тебе на следующее лето. Первые каникулы без тебя. Когда я покидала Париж,

стояла ужасная жара. На рассвете я увидела гряду холмов, кипарисы, виноградники, потом — море, которое, казалось, рождается из тумана и едва отличимо от неба. Я снова увидела эту бесцветную трепещущую дымку и поняла, что, не признаваясь самой себе, я опять готовилась к свиданию с тобой, и именно эта сокровенная мысль заставила меня вернуться. Снова возникла раздвоенность — бежать от тебя и стремиться к тебе, идти на кладбище на свидание с тобой и говорить или думать, что отныне ты будешь жить только в памяти и в наших детях. Вопреки рассудку я стремилась к тебе, хотя знала, что тебя больше нет, стремилась к тебе такому, каким видела перед тем, как люди в черном упрятали тебя в тонкое полотно и свинец. Я спешила к тебе, чтобы увидеть два дерева и каменный бордюрчик. На что еще могла я надеяться?

Я ехала быстро, сердце мое отчаянно колотилось. Погода была чудесная, и дети пели. Дом совсем не изменился, и это поразило меня. Я ожидала увидеть сама не знаю что — разгром, поле битвы, развалины, сожженные деревья, землю, покрытую пеплом, голые виноградники, но все сохранило свое неизменное очарование. Стрекотание кузнечиков, ветер в платанах, рыжие и

зеленые сосны, высокая трава, выжженные солнцем лужайки, бугенвиллеи, одичавшая герань, буйно разросшиеся глицинии. Никаких следов битвы на земле Вергилия, как я ее называла.

Я ничего не смогу изменить в мире из-за того, что тебя больше нет на земле. Я отпустила детей и поднялась к тебе. Солнце стояло в зените, это был гибельный для цветов час. Деревья выросли, земля осела. Я всегда, считала, что кладбище умиротворяет. Мы любили приходить на могилу Ван Гога и Тео в Овере. Мы любили плющ, который их укрывал, мы говорили: пусть на кладбище покой и безмятежность, а все-таки хорошо вернуться домой, согреться вечерком у камина, чувствовать, что нас двое, смотреть, как поднимается луна, слушать сову, доверчиво внимать тишине. Но в тот день, когда я была наедине с тобой, и почти черные кипарисы, и голубое небо, и легкий ветерок были только декорацией. Мой взгляд влекло к тому, что было скрыто, к жизни под землей, жизни нечеловеческой, где каждый тлел в одиночестве, и ты — тоже, всего в метре от меня.

Сколько потребуется лет — наверное, несколько веков, не меньше, — чтобы элементы, из которых ты состоял, соединились с землей и чтобы ты снова стал пылью, солью земли, несколькими

горстями песка, который будущий человек пропустит между пальцев, как это любили делать мы, с закрытыми глазами растянувшись на пляже лицом к солнцу, раскинув руки, погрузив ладони в песок и наслаждаясь его нежным, живым теплом.

Миллиарды клеточек, соединившихся, чтобы создать любимое мною существо, которое уже никогда больше не повторится, представлялись мне звездным дождем. Я вдруг почувствовала способность рассуждать здраво. Встречи не было. Была я одна перед тобой мертвым, я — перед пустотой. Я могла сколько угодно воскрешать в памяти твой голос, твои жесты, наши беседы, я могла выдумывать настоящее, сочинять воображаемые диалоги, но на самом деле я не должна была ничего ждать от тебя. Ты ушел из мира, ушел навсегда. Какой-то тихий беспощадный голос, который я хорошо знала, твердил мне: «Живи или умирай, но реши, нужно сделать выбор».

В тот день я поняла, что еще не готова к этому, может быть, я сумею сделать эго завтра, может — через десять лет, а может — никогда. Возвращаясь, я увидела с дороги детей, они играли — разыскали свои игрушки, поставили маленький белый столик. Они готовились к лету.

Я чуть было не разрушила их радость и не повела их наверх, чтобы рассказать им, что в мире нет справедливости, но проявила благоразумие и пошла прогуляться с ними — как обычно. За год молодые виноградники разрослись, на некоторых лозах уже появились первые гроздья.

Жизнь продолжалась. И я, уже в который раз, решила — хотя знала, что тоска и чувство одиночества еще не раз вернутся ко мне, — тоже продолжать жить. Подобно умному саженцу применяться к ритму сезона, дышать полной грудью, говорить «да» и чувствовать удары своего сердца. Дети были ласковы, оба держали меня за руки, я боялась, как бы они не догадались о моей растерянности. Я вновь ощутила свою ответственность за них и, стало быть, на сегодня была спасена. Я предложила рассказать им сказку, но какую?

— Расскажи про маленького бычка.

И я рассказала про маленького черного бычка, который счастливо жил в Камарге со своей мамой, но однажды люди пришли за ним и отправили его на бой быков…

— Он не умрет, правда?

— Конечно, нет, он преодолеет все препятствия.

— Если он и вправду не умрет, пусть на его пути

будет как можно больше опасностей.

Я подробно рассказала, что сделал бычок, чтобы тореадор его не убил. Это был умный, хитрый бычок, он умел определять время по часам и знал, что после пятнадцати минут борьбы его жизнь будет спасена. Он храбро сражался, ни разу не дав противнику приблизиться к себе, он понял, что орудие смерти спрятано у тореадора под красным плащом. Все смеялись, потому что бычок перехитрил человека, и, когда пробили часы, с трибун раздалась буря аплодисментов. Толпа стоя кричала: «Viva el toro!» В тот же вечер бычок вернулся домой. Это был первый случай, когда бык вернулся с арены. Его встретили как героя, и, конечно, он женился, и у него было много детей.

Дети слушали. Неожиданно для себя мы обнаружили, что уже не идем, а сидим на нашем любимом бревне. Я научилась следовать за двумя мыслями сразу, я слышала свой голос, это была, конечно, я, но настолько изуродованная твоим отсутствием, что с трудом узнавала себя. Все вокруг было несказанно прекрасно. Лучи солнца прорезали небо, как будто оно служило лишь экраном для тех образов, которые я вызывала к жизни; это было похоже на фейерверк, сладостный и жестокий, расплывавшийся в воздухе, или на

молнии, которые, словно частицы тебя, прямым попаданием жестоко разили меня, но не убивали. Мне хотелось взглядом поймать в этом фейерверке твою улыбку, наш согласованный шаг, наши ноги, одновременно ступающие на землю, мои руки, раскрытые навстречу тебе на пороге дома, и то, как ты, когда мы приезжали сюда, вдыхал первый глоток воздуха, словно провозглашая: «Здесь и сейчас начинаются наши каникулы!» Ты был неоконченной фугой, прерванным арабеском. Я видела твое будущее, остановленное и замененное словами: он был. Как бы мне хотелось проспрягать этот глагол в будущем времени: «Я всегда буду счастливой женщиной, ты всегда будешь счастливым мужчиной…»

Сказка кончилась. Дети ушли. Я видела, как они идут, очаровательные, хрупкие, как обещание, две юные жизни, за которые я была в ответе и которые нужно было вести к гавани. Но к какой? Смогу ли я оградить их от трудностей, которые испытали мы? И нужно ли это делать? Разве не самое главное, чтобы они чувствовали в себе достаточно силы, достаточно любви для того, чтобы смело встретить жизнь и полюбить битву? Время их возмужания придет быстро, мне кажется, что я уже вижу его Я вижу наших детей счастливыми,

красивыми, может быть, я обманываюсь, но это так прекрасно — черпать в этом радость.

## XV

Каникулы прошли среди детского смеха. Я покорно ходила на те же самые пляжи или, в зависимости от погоды, к тем же самым скалам, куда когда-то мы ходили вместе. Только по одной дороге я не ходила никогда. По сторонам она вся заросла тростником, его стебли почти соединялись над головой, и машина, проезжая, раздвигала их в стороны. Тростник шелестел по кузову, и это приводило детей в восторг, они вставали во весь рост, чтобы схватить тростинку, и нам приходилось ехать медленно из страха, что они поранятся. Это было настоящее приключение — девственный лес на берегу моря. Едва выйдя из машины, дети раздевались и нагишом, размахивая тростником, словно орифламмами, бежали на раскаленный песок. Как только их ноги касались неподвижного моря, они останавливались, ожидая нас. Первое утреннее купанье всегда было самое шумное. Мы поднимали каскады брызг. Ты брал по очереди детей, высоко подбрасывая и ловил в тот момент, когда они касались воды. Дети вопили от радости: «Еще,

еще!.. Теперь меня!» Но ты быстро уставал. «Еще один-единственный разочек!» — умоляли они, и ты говорил: «Хорошо, еще по одному разу, и все».

Я и сейчас слышу их смех, вдруг обрывавшийся на долю секунды, когда, повиснув в воздухе, как мячик, они сдерживали дыхание, отдаваясь во власть того крошечного страха, который дети любят испытывать, если чувствуют себя в безопасности. Потом они играли одни, а мы, растянувшись на белом песке, нежились под солнцем. Дети понемногу утихомиривались, но вскоре мм слышали воинственный клич индейцев, означавший, что принято решение строить какой-нибудь шалаш, обычно так и остававшийся незаконченным, — то есть яму, прикрытую со всех сторон тростником, увенчанную полотенцем и, если в дюнах уже распускались морские лилии, украшенную цветами. Эти цветы я ношу теперь на твою могилу.

Первую половину лета я прожила какой-то нереальной, двойной жизнью. Никогда еще я не ощущала так остро ласку солнца и воды, запах соли на коже. Я ждала, когда кончится день, чтобы подняться к тебе. Это уже не было свиданием с тобой, просто я шла посмотреть на землю, которая скрывала тебя, на деревья, которые обвивали

тебя своими корнями. Я поливала молоденькие саженцы и еще нежный плющ, который палило солнце. Земля пила воду шумно, почти как человек.

Я возвращалась. Дети — требовательные, добрые и веселые — завладевали мною. Я подчинялась им, это было приятно, они любили меня, они были жизнью. Я чувствовала голод, у меня снова появился аппетит, но я старалась не замечать слишком ясных ночей. Я знала, за ставнями луна заливает своим светом приморские сосны, лощину и зеленые дубы. Мне хотелось подняться на холм и растянуться подле тебя. Но я не чувствовала себя достаточно сильной, чтобы сделать это. Я читала.

К концу лета твоя могила стала для меня привычной. Часто, находясь вдали от нее, я думала о ней и внешне оставалась спокойной. Я мысленно представляла себе, как тянут вверх свои ветви деревья. Я точно знала, когда они перерастут ограду и когда их верхушки увидят море. Я знала, когда их тень играет над тобой, какие ветры колышут их кроны. Где бы я ни была, стоило мне захотеть, и я слышала шум дороги, голоса деревни, завывание мистраля, шквалы восточного ветра, дождь, скрип железной калитки, которую толкает входя-

щий. Да, я знала все звуки, которые долетают до тебя. И я знала, в котором часу птицы прилетают пить с цветов капельки росы.

## XVI

Идут месяцы, годы, сменяются лета и зимы. Вот и снова весна. В неподвижном воздухе она накатывается на меня волнами. Она то дарует мне, то вновь отнимает у меня силу и надежду. Иногда вкрадчивая, иногда давящая, она проникает в самую глубину души. Достаточно частички ее, смешанной с неожиданно теплым воздухом, птичьего щебетания, почки, лопнувшей на дереве в нашем дворе, шума дождя, взрыва смеха за окном, чтобы все снова стало зыбким. Спокойствие, которое, мне казалось, я обрела, мудрость, которой я гордилась, принятые решения, примирение с действительностью, усмиренное возмущение, приглушенное горе, мои прекрасные прочные замки сразу оказываются замками, построенными на песке. Ураган рядом, он дремлет, готовый обрушиться на меня, как только небо станет нежным, как только появятся первые зеленые ростки, которые создают хрупкое гало вокруг деревьев.

«Уже весна, я надену белые носки, все мои подружки так ходят!» — кричит мне дочка.

Да, инстинкт очень живуч, он чует, он знает, он всегда прав. Разум отмечает, что все это закономерно, но он не в силах заставить меня унять дрожь. Тело не обманывает никогда, оно может призвать к порядку. Я чувствую себя вялой, охваченной бесконечной усталостью. А когда я выхожу из оцепенения, мною овладевает то безумный гнев, то горе. Это возмутительно, что тебя здесь нет. Я часто наблюдаю за двумя старушками. Чуть ли не час они одолевают кусочек улицы, что виден из моего окна. Одна из них согнулась почти под прямым углом, другая ее поддерживает; они идут, никого не видя, не произнося ни слова, две заводные куклы, одетые в черное, с серыми лицами, по которым нельзя даже догадаться, какими они были в молодости. Знают ли они, что наступила весна? И неужели только потому, что они еще могут двигаться и сердца их бьются, можно сказать, что они живут? А может быть, они еще больше дорожат жизнью, чем юноша в расцвете сил, готовый умереть ради того, что он любит, и чем тот красивый молодой мужчина, каким был ты, который говорил: «Я хотел бы умереть молодым!»

Весна причиняет мне боль. Мне хочется просить у нее пощады. Каждый год я надеюсь, что

смогу наслаждаться ею или совсем забуду ее вкус. Значит, я не продвинулась вперед ни на шаг? Неужели я словно белка в колесе? И смогу ли я когда-нибудь спокойно свернуться клубочком в своей кровати?

Весенний воздух заставляет меня грезить о прошлом и о том, что было бы, если бы ты был со мною. Я знаю, что эти грезы — просто неспособность жить настоящим. Я плыву по течению, не заглядывая слишком далеко или слишком глубоко. Я жду момента, когда вновь стану сильной. Он настанет, я знаю, я еще не утратила вкуса к жизни. Я хочу спастись, но не хочу освободиться от тебя.

**Робер Андре. ВЗГЛЯД ЕГИПТЯНКИ**
***Перевод Мориса Ваксмахера***

*..и вот, Мариам покрылась проказою, как снегом.*
***Числа, гл. 12***



В углах губ пена, во рту странный вкус, отдающий металлом и солью, холод в руках и ногах, омерзительный холод, извечный враг солдата, но, пока в большой кавалерийской фляге остается вино, а между рубахой и телом проложены газеты, кое-как еще держишься, бредешь по глине, по изрытой снарядами и заляпанной пятнами снега земле, тащишься при свете луны, мрачно глядящей на воронки и на овраги, из которых ползет немыслимый смрад.

«На север и северо-восток, лейтенант! На север, к окоченевшей Полярной звезде, сквозь холод мертвой земли, где на обрубках деревьев, отливая черным глянцем, громоздятся вороны…»

Он нашаривает платок, вытирает рот, пытается отыскать шнурок звонка, хочет взглянуть, который час, но на том месте, где положено быть ночному столику, встречает лишь пустоту, в которой неясно белеет его рука. И тогда он все вспоминает, замечает напротив другой диван. Анриетта спит…

Путешествие! Скажите на милость! Хоть раз в жизни ощутил ли он это нелепое желание — путешествовать, эту страсть, про которую она все уши ему прожужжала? Разумеется, нет! В неуклонном его восхождении не было ни минуты

передышки, не было даже крохотной щелки, в которую могло бы просочиться несуразное это желание, просочиться и внести смуту, нарушить неумолимый распорядок его времени. А распорядок — ключ к успеху и ко всем радостям, которые дарует человеку успех.

— К единственным, несравненным! — шепчет Рени. — Мне нечего жаловаться на судьбу. Надо признать: жизнь меня баловала…

Пейзаж, струящийся за вагонным окном, все больше светлеет. Близится день, он прогонит, он непременно должен прогнать все эти мысли, которые лишь отголосок слуховых и зрительных ритмов, рожденных скоростью и темнотой…

Но мысли все не уходят, и назойливое сравнение застряло в голове, еще одурманенной благодатным сном (невероятно, но он в самом деле спал!), и Рени удивлен, с каким неожиданным терпением переносит он это столь новое для него состояние раздумий…

Болезнь словно рассекла время надвое. Раньше слово «думать» означало стремление вырваться за пределы своего «я», порыв к действию — ко всему, что связано с любимой работой, когда честолюбивый темперамент, вскормленный самим успехом, постоянно находит для себя

новое поле деятельности, на котором надо восторжествовать; теперь же «думать» сделалось отступлением, парализующей передышкой. Прежде ему просто некогда было думать, а сегодня он чуть ли не получает от этого удовольствие… Времени у него ныне, увы, сколько угодно! И нечем отвлечься от этого рискованного занятия, от опасного этого самокопания, от взгляда, обращенного внутрь самого себя; во всем здесь повинна, конечно, болезнь, с ее губительным последствием — бездеятельностью! Ох, этот взгляд в собственную душу, неотступный, инквизиторский, проникающий все глубже и глубже взгляд, эта мучительная, исполненная тревоги меланхолия… Неутешительное сравнение с двумя склонами: вначале — торжествующая полнота бытия, каждого мгновения проживаемой жизни, когда каждый день, каждый час — в непрестанном движении! — потом вдруг обрыв, пустота, застой и странная пропасть в душе, будто свербящая рана…

Правда, сегодняшнее пробуждение было не столь мучительным, как обычно. Он спал — спал даже в вагоне!.. И она рядом — тоже спит…

Осмотрел, как всегда, платок: сегодня он чист, никаких красноватых пятен, которые так пугали

его весь месяц. Тиски, сжимавшие грудную клетку и заставлявшие его, как маньяка, подносить, на манер оперного певца, руку к левой стороне груди, словно немного разжались…

«Единственные, несравненные подлинные радости. Труд сам по себе был ценностью, которая все приумножалась и не была подвержена инфляции: жизнь приносила доход, а что касается наслаждений…»

Во время бесконечно долгих ночей без сна, которые, несмотря на зажатый в ладони шнурок звонка, были наполнены страхом (а вдруг коварство судьбы погрузит Анриетту в такой глубочайший сон, что в случае приступа она просто не успеет прибежать к нему со спасительной таблеткой!), он охотно перебирал в памяти все этапы «предыдущего» времени, и итоги немного успокаивали его — плоды проделанной работы. Воспоминания о былых наслаждениях оставляли его равнодушным, хотя когда-то… Да, теперь мысль причудливо изменяла масштабы прежних пристрастий. Успех оставался успехом, его нельзя ни перечеркнуть, ни разрушить. Но, странное дело, наслаждение с трудом всплывало в памяти. Память отвергала наслаждения. Те наслаждения, которые ценятся человеком, пока ему еще далеко

до смертного часа…

Она по-прежнему спит.

Уже рассвело, за окном расстилалась плодородная равнина, досыта напоенная влагой, мелькала однообразная вереница ярко-зеленых сочных лугов, бежали рисовые поля и оросительные каналы, обсаженные рядами тополей с чутко дрожащей листвой. У горизонта обозначились горы, их вершины еще тонули в туманном мареве. Эти горы он должен был бы узнать, но он ничего не узнавал.

А ведь однажды он уже был в этих местах. Но за тридцать пять лет все меняется до неузнаваемости, война вносит в воспоминания все искажающую ноту — война и время… От испытаний той далекой поры в памяти осталась только картина передышки, целиком заполненной единственной радостью, символом самого драгоценного блага, отнятого теперь болезнью: свободы!

Нахлынувшая злость разбудила его окончательно, заставила повернуть голову в сторону другого дивана, где все так же безмятежно спала мадам Рени.

Он ощущал себя узником. Как странно, как мерзко все изменилось в жизни! Странная, мерз-

кая тюрьма, в которую их заточило супружество!

Во время ночных размышлений — а они с каждым месяцем, с каждой неделей становятся все упорнее, все беспредельней — этот ее преступный сон с беспощадностью напоминает ему о цепях, сковавших его самого.

Когда, точно четки, перебирал и отсчитывал он ночные часы, теряя последнюю надежду заснуть и при этом безумно боясь погрузиться в спасительное забытье, потому что кто знает, удастся ли ему снова, уже в обратном направлении, перешагнуть через этот черный порог, разве не на ее только помощь ему оставалось рассчитывать, не на ту быстроту и проворство, с какими она подбежит и подаст ему все эти разнообразные и сложные лекарства, предназначенные для того, чтобы поддерживать в организме баланс, благоприятный для работы пораженного недугом сердца?

Но можно ли полагаться на сон, который, вот как в это утро, так беспробуден, что оборачивается смертельной угрозой?

О, быть целиком и полностью во власти ее рассеянности, вечного ее легкомыслия и ребячливости! Она ведь всегда отличалась инфантильной бездумностью.

Хранительница жизни, она, из-за лежавшей на ней ответственности, важность которой Рени, качаясь на волнах разыгравшегося воображения, склонен был сильно преувеличивать, — она была сейчас хозяйкой его смерти.

По купе, где бледное свечение ночника противилось натиску занимавшегося дня, рыскало привычное чувство страха. Ну можно ли так беззаботно, так беспечно спать! Ведь она каждый вечер без его ведома оставляет его, по сути дела, без всякой помощи, на произвол судьбы. А теперь опасность возрастет еще больше. Шутка ли — за границей! Отправиться за границу в его теперешнем состоянии! Без врача, который всегда следил за всеми перипетиями болезни, за малейшим отклонением от привычного хода событий, столь важного особенно сейчас, когда гуморальное равновесие в организме поддерживается лишь лекарствами, точнейшей их дозировкой. А тут еще резкая перемена климата…

Это она, она захотела поехать, она потащила его за собой, вынудила, заставила, это все она, с ее возмутительным упрямством. Раньше ему еще удавалось хоть как-то сопротивляться. Но теперь больше не было сил на борьбу, он хотел теперь одного — покоя. Да, покой он обрел, но ценой

своей независимости.

Она дышала размеренно, ровно, и он долго вглядывался в отрешенное лицо, наглухо запертое опущенными веками, лицо, где притаилась его смерть. Приступы гнева, с помощью которых ему удавалось хоть ненадолго удерживать опасность на расстоянии, всегда немного успокаивали его — он это знал, и это был еще один узелок на путах, скреплявших их невероятный союз.

— Нельзя иметь все!

Да что говорить, с этой точки зрения баланс был пассивным или, скорее, нейтральным, а союз их — застарелым недоразумением. Раньше его часто подмывало с этим недоразумением покончить. Но, несмотря на все бури и ураганы, недоразумение устояло, продержалось целых тридцать пять лет! А ведь все началось с простой случайности, в конце той войны, войны, пейзажи которой он снова видел сейчас за окном, совершенно их не узнавая, если не считать озаренного рассветными лучами озера — Рени вдруг вспомнил его, когда поезд шел через городок, где когда-то стояла их часть.

Из войны он вышел тогда невредимым, но безмерно усталым, разбитым морально и ощущал потребность в тихой гавани; ему хотелось создать

семью, прочную традиционную семью, какой у него никогда не было…

То давнее сожаление, та давняя боль, потаенная и глухая, не имела ничего общего с нынешними его страданиями. Раньше, когда он не раздумывал, она напоминала о себе очень редко, зато теперь…

Боль? Слово было, пожалуй, неточным. Скорее, тайное, смутное недомогание, ощущение пустоты, нехватки чего-то важного — ощущение, которое он всегда торопливо гнал от себя. Он предчувствовал свою значительность. Он стал бы, он мог бы стать кем-то другим, если бы только… Впрочем, кем другим? Этого он не хотел знать. Он хорошо распорядился собой, извлек немалую пользу из своих способностей, и ощущение нехватки чего-то постепенно ушло, стало чуждым его натуре. Понадобилась болезнь, чтобы прежняя тоска опять подняла голову. Раньше он даже гордился, что не знал настоящего детства. В пережитых испытаниях закаляется наша сила…

Здесь пора сообщить, что мать Рени умерла, когда ему не было и четырех лет. Он не помнил ее.

С первых месяцев жизни его отдали в деревню кормилице. Женщина, которую он звал матерью, была простая крестьянка; он нежно ее любил, но

ее образ — в силу времени, расстояния, а главное, в силу его неуклонного восхождения вверх, все больше отдалявшего его от корней, — понемногу тускнел. Рени старался сохранить прежние отношения, поддержать в себе прежнюю нежность, но нежность черствела и наконец превратилась в некое подобие долга; он часто — поначалу каждый год — совершал паломничество на бедную ферму, к бедным крестьянам Центральной Франции, но, увы, против судьбы, против очевидности не пойдешь: он, Рени, сделался господином, богатым и важным, а она так и осталась простой деревенской женщиной, которой, как и его молочным братьям, легче было объясняться на местном диалекте.

Мнимое воспоминание об умершей матери, об ее лице со старой фотографии, мало-помалу заняло место в его сердце и породило некое ощущение обделенности, той странной тревоги, которая, прежде чем в свою очередь уйти и быть забытой, какое-то время сильно терзала его, особенно в первые школьные годы, пришедшие на смену его раннему, деревенскому детству, — в трудные, самые трудные годы его жизни; он провел их в закрытом пансионе, которых теперь уж не встретишь и где царила сплошная муштра и

зубрежка.

При поступлении в эту школу — Рени тогда исполнилось семь лет, и он, таким образом, достиг «разумного возраста» — ему сказали, что мать вовсе ему не мать и что настоящей его матерью была та незнакомая молодая женщина с пожелтевшим лицом на фотографии в овальной рамке и с траурной лентой; фотографию принес отец и вручил ее в тот момент, когда он переступал порог пансиона; все это было обставлено с некоторой торжественностью, которая показалась ему неуместной и бестактной.

Все его братья к тому времени умерли или вот-вот должны были умереть; братья умирали тихо и самым банальным образом — от детских болезней, которым в те времена приходилось платить роковую дань и избежать которых удавалось лишь детям самым крепким — таким, как он.

Впрочем, система принуждения, установленная святыми отцами, была так хорошо продумана, требовала от учеников такого прилежания и такой дисциплины, что он почти не отдавал себе отчета в пустоте, которая постепенно образовалась вокруг него. Он быстро утратил привычку думать об этом, он вообще надолго утратил ту пагубную склонность «думать», что так некстати

вновь овладела им много лет спустя. Забвение было спасением. Должно быть, он уже тогда предчувствовал это. Обделенный всем на свете, но только не умом, он рано понял, что должен быть как следует вооружен — лишь тогда он сможет отвоевать у жизни все то, чего судьба не позаботилась даровать ему с колыбели.

Когда в шестнадцать лет Рени снова — но уже в обратном направлении — перешагнул порог пансиона, он обладал довольно солидными по тому времени основами знаний и выдержал грозные экзамены; границы его духовных возможностей были раз навсегда установлены как его собственной натурой, так и незабытыми правилами преподобных отцов.

Он пустил корни в промышленности, которой ему предстояло отныне служить и которую ему было суждено прославить, — он пустил в ней корни, но, поскольку был молодым человеком без роду и племени, всего лишь бедным сыном бедного ремесленника, изготовлявшего мебель, ему пришлось начинать с самой первой ступеньки — мелким клерком, и с таким ничтожным жалованьем, которое он сам, он, рьяный консерватор, как, впрочем, и все, кому удалось преодолеть классовые барьеры в обществе, основанном на

власти денег, впоследствии считал возмутительно низким.

Однако — я настаиваю на этом — он был прекрасно вооружен. Ощущение обделенности, опасная тревога, охватившая его в семилетнем возрасте, были теперь загнаны в глубину души. Более того, он сумел превратить это в агрессивную тревогу честолюбца.

Его успехи на жизненном поприще на редкость удачно согласовывались с полученным им воспитанием; основы знаний были преподаны ему в школе — и усвоены им — так превосходно, что он просто не догадывался об их ограниченности и, уж конечно, от этой ограниченности не страдал.

Война завершила эту внутреннюю работу. Отныне он был больше чем вооружен — он был закален!

И вот, в силу странного парадокса, именно тогда он вдруг впервые выказал слабость. Из-за охватившей его усталости все едва не пошло прахом: он начал «думать».

Перемирие застало его в госпитале: он медленно поправлялся после отравления газом. Судьба столкнула его с сиделкой, проявившей невероятную самоотверженность, и Рени, при всей его закаленности, неожиданно дрогнул;

болезнь обнаружила таившуюся в нем слабость. Панцирь неуязвимости, мужества и упорства, все те высокие достоинства, которые должны были принести ему победу, — все рассыпалось в прах от самого малого физического недомогания. Он чувствовал себя расслабленным и разбитым, его терзали нелепые страхи, мучило разыгравшееся воображение; короче, он рухнул, сломленный появлением некоего двойника, к счастью, вновь канувшего в небытие, как только наступило выздоровление. И, также к счастью, суровое детство, прошедшее в деревенской глуши, одарило его неиссякаемыми источниками жизненной силы.

Итак, Анриетта великолепно выхаживала его, а «мысль» — этот периодический возврат к своему глубинному «я» — внушала ему странные и опасные бредни, те, что вместе со старой пожелтевшей фотографией были спрятаны в ученическом чемодане.

Что касается Анриетты, ему приятно было признавать, что уж она-то оставалась самой собою. И злосчастная идея создания семьи сумела воспользоваться его остаточной слабостью.

Да если даже исходить из чисто деловых соображений, разве уже не начинало вредить его карьере слишком затянувшееся положение хо-

лостяка?

«Нельзя иметь все», не так ли? Последующие годы подтвердили правильность этого афоризма: период душевной удовлетворенности, вызванной выздоровлением, возвратом к мирной жизни, красотой Анриетты, оказался недолгим. Пришло разочарование, обнаружилось неустранимое несходство характеров. Все было до банальности просто. Рени до сих пор удивлялся, когда думал об этом. По злой иронии судьбы, они расходились решительно во всем, общим у них было, пожалуй, лишь стремление шагать вверх по общественной лестнице. Правда, и тут у мадам Рени были свои, особые взгляды.

На нашего путешественника неизгладимую печать накладывало происхождение: он чувствовал недоверие к тому миру, с которым, в силу своего успеха, ему предстояло слиться, — недоверие, отягченное интеллектуальной робостью. Он любил только свою контору, строительные площадки, только свой каждодневный труд. Анриетта же, напротив, простодушно тянулась к роскоши, к прелести светских отношений. Он шел на это с большой неохотой, что было еще одним источником разногласий.

Нужно также сказать, что Анриетта с неодо-

лимым и каким-то ребяческим упрямством, по силе равным его собственному, добивалась удовлетворения всех своих прихотей. Ей нравилось отстаивать свои права, нравилось по каждому, даже самому пустяковому, поводу сражаться с мужем; ныне в этих битвах он терпел поражение. Рени понимал, однако, что она это делала в его интересах.

Наконец, приходилось считаться со средой. С могучим стремлением буржуазии к внешней благопристойности, с консервативной суровостью нравов, царившей в этих кругах, где развод был бы расценен как профессиональный промах; он и сам разделял эти взгляды. К тому же достаток, который непрерывно возрастал по мере его продвижения вверх, позволял и ему и ей жить своей самостоятельной жизнью, тщательно соблюдая при этом необходимые приличия.

И нелепейшее недоразумение, каким оказался их брак, растянулось на многие годы, на целых тридцать пять лет, в течение которых все больше забывалось романтическое зарождение их любви, на долгих тридцать пять лет ссор, и раздоров, и восхождения вверх, и будничного течения жизни, когда время порой кое-как подправляет то, что оно само же разрушило, и печальное недора-

зумение длилось и длилось — пока не произошло несчастье, из-за которого он совершает теперь это опаснейшее путешествие.

«В конце концов, — любил повторять Рени, — я болел только два раза в жизни»; но этот итог омрачало смутное чувство, что так серьезно второй раз уже не болеют.

Обычная болезнь — дело вполне житейское, событие будничное, заурядное, когда тело вступает в полосу более или менее случайного нарушения некоторых своих функций, но приобретает в схватке с недугом новые запасы прочности. Однако эта, вторая, его болезнь настолько отличалась от обычного недомогания, что он не находил в себе мужества взглянуть правде в лицо.

Немногим более года назад Рени вдруг почувствовал сильную усталость, на которую поначалу не обратил особого внимания. Но усталость не отступала. Стало все труднее подниматься по лестнице, труднее ходить. Ему не хватало дыхания. Вечерами, где бы он ни находился — дома ли, в гостях, на работе, — его одолевала неодолимая сонливость, голова безвольно клонилась на грудь. У него ничего не болело, он даже немного располнел. Вот только цвет лица стал серый и начали зябнуть руки и ноги, но вряд ли из-за

этого стоило бить тревогу.

И не проходила эта усталость, безмерная, ни с чем не сравнимая; она наваливалась тяжестью на плечи, свинцом наливались ноги. Всегда неутомимый, быстрый и ловкий, он вдруг почувствовал, что его словно бы притормозили. Странный паралич сковал также его живой ум. Появились провалы в памяти, забывчивость, стало трудно писать. От него ускользали слова. Краснея от стыда, он ловил себя на том, что забывает правила орфографии.

«Она могла бы и раньше все это заметить, но нет! Как всегда, была занята только собою, своею персоной, своими светскими раутами, своим сном! А ведь у нее не было никаких занятий, никаких дел! Вот уж истинный бич эта праздность!..»

В конце концов это все же стало его немного тревожить, даже, вернее, огорчать. Надвигается старость, думал он с грустью. Но люди, окружавшие его на работе, были встревожены по-настоящему.

Подчиненные стали необыкновенно предупредительны. Все твердили, что ему необходимо отдохнуть. Эта заботливость, вместо того чтобы растрогать его, только раздражала, укрепляла в

нем решимость держаться. Сказывался инстинкт старого честолюбивого бойца, сказывалась страстная привязанность к работе, к единственной вещи на свете, по-настоящему увлекавшей его, сказывалось его необоримое упрямство — он выдержал еще несколько месяцев, но эти месяцы были для него крестной мукой.

Все вокруг только и ждут, когда он освободит свое место! Он это знал, чувствовал это, ведь он и сам когда-то с нетерпением ждал, когда уйдут на покой несносные старцы, которые только преграждают путь молодым.

И он, стиснув зубы, держался, держался из последних сил, держался благодаря своей удивительной воле; на людях сохранял он кое-как видимость здоровья и силы, но, оставаясь один, буквально валился с ног. Так продолжалось до того памятного вечера, когда, выйдя с завода, ш душного помещения, на холодный воздух, он вдруг потерял сознание; обморок сопровождался сильным приступом тошноты — он отнес это за счет плохого пищеварения и повышенной температуры; вскоре он пришел в себя, его отвезли домой (к счастью, Анриетта отсутствовала); но, войдя к себе в комнату, он почувствовал, что не может даже снять пальто, и, как был, рухнул в

кресло. В течение долгих, нескончаемо долгих минут сидел он в полной прострации, ловя ртом воздух, обливаясь холодным потом, дрожа от озноба; перед глазами колыхался туман, к горлу подступала мучительная тошнота.

Когда он наконец отдышался и туман перед глазами немного рассеялся, он с ужасом увидел в зеркале над письменным столом свое лицо! Восковая бледность, темные круги под глазами, струйки пота, стекавшие по щекам, по обеим сторонам заострившегося носа, разительный контраст между отечной пухлостью тела и худобой изможденного лица, на котором в падавшем сбоку свете резко обозначились все неровности, — это зрелище удручало его. Перед ним была зловещая карикатура, прилепленная на раздувшийся манекен. Ему стало страшно.

«Я был на краю смерти», — подумал он.

И понял, что должен уступить.

Врач подтвердил этот диагноз в тех же словах: «Вы были на краю смерти»; он обнаружил следы целого ряда микроинфарктов, прошедших в свое время незамеченными, и велел немедленно лечь в больницу…

Из больницы Рени вышел через месяц. Теперь он был худ, как в тридцать лет, но лицо, обтянутое

пергаментной кожей, было по-прежнему бледно, как воск. Усы и остатки волос на висках стали совсем седыми. Он начал их красить. Он постоянно чувствовал себя ослабевшим, усталым.

Ему объяснили, что теперь он здоров, только должен строго соблюдать режим: побольше лежать, отдыхать, спать днем — словом, вести такой образ жизни, какого он всегда боялся; он был теперь приговорен к пожизненным «размышлениям».

С большим трудом он выторговал себе разрешение приходить на несколько часов в день на работу, на несколько часов надевал прежнюю маску, но она уже не могла обмануть даже тех немногих из его подчиненных, кто был полностью лишен честолюбивых устремлений. Надежда встать в строй постепенно развеялась. Вскоре он снова вернулся вечером домой в состоянии полного изнеможения; на этот раз подскочила температура. По утрам на платке стали появляться розовые, потом алые пятна, и это невозможно было долго скрывать. Ему снова пришлось отступить, сдаться, примириться с постельным режимом, согласиться на опасное путешествие, ставшее теперь его новой, его последней надеждой…

День захватил уже всю ширь небосвода, разо-

гнал последние клочья тумана. Все вокруг было залито прозрачной ясностью, она придавала контурам странную четкость, резко разграничивала тени и свет; эта четкость удивила его, так же как и широкая перламутровая пелена, простиравшаяся на востоке, там, где вставало солнце, еще скрытое за холмами, на склонах которых листва оливковых деревьев переливалась точно предвестие излучаемого морем света.

Мсье Рени созерцал пейзаж с недоверием. Природу он любил, хотя почти никогда не бывал на природе; он любил ее по смутным воспоминаниям детства, но любил как житель Севера и признавал лишь в виде тучных земель, пашен, лесов и озер. А эти резкие линии за окном, эта желтая сухая земля и щебень, эти незнакомые деревья — они только смущали его, как, впрочем, все, что было связано с Югом и с итальянцами; к последним он испытывал снисходительное презрение.

Но, может быть, оттого, что он чувствовал себя в это утро немного лучше обычного, к недоверию сейчас примешивалось любопытство. Не было ли это уже тем чудом, которого ожидали врачи от перемены места и климата? В его положении самый недоверчивый человек не может устоять

перед той потаенной надеждой, какую возбуждает само безумство подобного паломничества.

Испуганный вскрик;

— Пилюли! Ты их не принял!

Он не принял ни одного лекарства, и почувствовал себя виноватым, и тут же рассердился на себя за это.

— Я спала! Боже, как я спала! — с ужасом проговорила Анриетта.

Ее жалкое, помятое, лишенное косметики лицо, на котором было написано раскаяние, ничуть не растрогало его. А она ведь так мало спала весь этот год, бедная его сиделка!

Это был его маленький реванш, он мстил ей за свое зависимое положение, предвидя, что жизнь на новом месте сделает его участь узника еще тяжелее.

— Ты спала как сурок! Я мог бы криком кричать, все равно бы ты не услышала! — бросил он с горькой иронией.

Пейзаж снова изменился. Поезд шел теперь среди искрящихся лагун.

* * *

Каждое утро, проснувшись, он должен был глотать эти пилюли, а в десять часов — другие,

потом перед обедом и ужином — еще и еще. Питание тоже представляло собой целую проблему, ибо из меню была полностью исключена соленая пища. Пришлось везти с собой всякие пакетики, в которых были отмерены, взвешены, строго дозированы мельчайшие количества веществ, необходимых для организма и его водяного баланса в течение суток, — гнетущая бухгалтерия, в которой он совершенно терялся — от отвращения к ней и просто по рассеянности. В конце концов он оставил при себе лишь круглую коробочку с несколькими розовыми драже — он всегда носил ее в жилетном кармане или в кармане пиджака на случаи неожиданного приступа, который мог произойти в любую минуту, — всю же остальную аптеку положили в сумочку к Анриетте.

Рени отдавал себе отчет в том, что попадает таким образом под ее постоянный надзор, поскольку тем самым ее постоянное присутствие рядом с ним становилось необходимым, но на протяжении зимних месяцев, долгих месяцев полной физической немощи, особого неудобства от такого соседства он не ощущал. После вторичного приступа болезни он почти не выходил из дому, если не считать коротких прогулок в середине дня, когда позволяла погода; мучитель-

ная одышка, из-за которой он едва передвигал ноги, приводила его в отчаяние. Ему невольно вспоминались прежние прогулки, эти долгие блуждания, когда он отпускал машину и бродил по городу, с любопытством наблюдая уличные сценки и заигрывая с женщинами; свои случайные знакомства он обычно доводил до победного конца, поскольку вкусы у него были неприхотливые и он находил удовольствие в мимолетных связях, доставлявших чувственное наслаждение и не влекущих за собой никаких осложнений, могущих помешан работе; эта примитивность требований особенно возросла в последние годы. Он все больше дорожил своим временем, но не желал сдерживать свои любовные аппетиты, порожденные темпераментом, каковой он не без гордости считал поистине юношеским. Он просто платил своим партнершам деньги — и не видел в том ничего зазорного. Теперь от этих лакомств, ставших для него такими привычными, тоже пришлось отказаться. Он стремился сократить свои нынешние грустные прогулки: они слишком живо напоминали ему о прошлом. Он предпочитал теперь сидеть отшельником в тепле и комфорте квартиры, запершись в четырех стенах своей комнаты, где, несмотря на нудный

ритуал лечения, вкушал в одиночестве иллюзию свободы. Однако, как ни пытался он скрыть это от себя самого, его постоянно терзал страх — страх ошибиться в дозе, забыть принять пилюлю, перепутать порошок; этот страх мог возрастать или уменьшаться в зависимости от физического самочувствия, но полностью не проходил никогда; давнее душевное малодушие перед лицом болезни — у него, человека, который никогда не болел, — теперь прочно поселилось в нем и терзало его какой-то беспредметной тревогой.

Мадам Рени вернулась к своей прежней роли сиделки и тоже прочно в ней укрепилась; нужно сказать, что она выполняла эту миссию даже не без некоторого удовольствия — выполняла усердно и умело, хотя ее усердию явно не хватало такта. Но ясно одно: несмотря на все, что годами их разделяло, несмотря на ту злобность, с какой он стремился себя оградить от ее бдительного надзора — при этом сам же делая все для того, чтобы этот надзор еще больше усилился, — Анриетта с присущим ей упорством ревностно выполняла свой долг. Бесспорно, он был полностью в ее власти, и ничто не могло бы ей помешать при случае дать ему это почувствовать.

А теперь мы присоединимся к нашим путеше-

ственникам в конечном пункте их паломничества, не в самом городе, а в большом и красивом отеле на острове Сан-Джорджо, с видом на открытую лагуну и на Джудекку; они занимают две смежные комнаты, просторные и веселые, — белые обои, голубой мохнатый ковер, окна выходят на террасу и в тенистый сад, который отлого спускается к маленькой пристани; там в распоряжении постояльцев всегда есть лодка. В любое время дня и ночи она перевезет вас с острова на набережную Скьявони и доставит обратно в отель.

Месторасположение замечательное! На горизонте взгляд с отрадой покоится на трепете моря, на том перламутровом свечении, которое с недоверием разглядывал Рени в окно вагона, на ласковом мерцании, которое всегда смягчено влажной дымкой; там и сям виднеются сиреневые пятна других островов и молов, плывут гондолы; укромный уголок, приют тишины и спокойствия, похожего на крепкий и здоровый сон; такой безмятежности Рени до сих пор никогда не знал, и этот контраст с огромным прокопченным городом, который он покинул только вчера, коченеющим в лапах зимы… все это казалось чудом!

Он злился и негодовал на это путешествие, он

его опасался, он его не хотел. Да, он поехал, но то была лишь уступка, вынужденная уступка — врачу, своему телу, наконец, жене, которая с таким неисправимым эгоизмом повела на мужа осаду, безобразно воспользовалась его слабостью! С большим недоверием въезжал он в прославленный город, плыл по Большому Каналу к набережной. Яркие краски, шум, солоноватые, а порою и затхлые запахи, чересчур пылкая итальянская услужливость, воспринимаемая им как лакейство, — все раздражало его. Мосты и дворцы, мимо которых они проплывали, он даже не удостоил взглядом. Но когда он оказался в комнате, прохладной и защищенной решетчатыми ставнями от яркого света, в комнате, где чудесно пахло свежим бельем и кипарисами и куда не проникал никакой шум, кроме пения птиц в саду и дремотного плеска воды, он, стыдясь себе в этом признаться, вдруг почувствовал, что все это покоряет его! Вряд ли мог бы он объяснить эту внезапную перемену. Он просто ее ощущал. Ему было так хорошо, как еще ни разу не было за все время болезни.

Самым тяжким его страданием, нескончаемой его мукой с того злосчастного вечера, когда впервые обнаружился недуг, был даже не страх

смерти (этот страх находил на него приступами, особенно во время бессонных ночей, и приступы эти становились все реже по мере того, как время шло и он убеждался; лечение приносит свою пользу и благодаря прогрессу медицины болезнь его не так уж страшна…) — хуже всего было вынужденное безделье. Прежде он вообще не знал, что такое досуг; правда, он каждый год уезжал на три недели в отпуск, отправлялся один в горы, в маленькую гостиницу, спал, бродил по окрестным лесам, но проходила неделя, и он уже считал дни — так не терпелось ему вернуться к работе. Что поделаешь! Ничто на свете, кроме работы, не интересовало его, и он не стеснялся в этом признаться.

А теперь его разлучают с предметом единственной страсти! Изо дня в день он все глубже погрязает в болезни, он в ней увязает и тонет, будто в дурном сне, будто в кошмаре, когда ты скован по рукам и ногам, когда ты словно парализован, но все твои чувства воспринимают мир еще обостреннее, и ты с небывалой отчетливостью ощущаешь весь трагизм своего положения, всю невосполнимость утраты! В таком кошмаре он прожил все эти нескончаемо долгие месяцы, пытаясь в каком-то изнурительном сомнам-

булическом порыве вынырнуть, выбраться на поверхность, но порыв был напрасен, его предательски подводила слабость, подводило полное изнеможение, и он с обреченностью бился в тисках своей навязчивой идеи, в заколдованном круге бунта и страха.

Однако сейчас, хотя он и не мог себе в этом признаться, навязчивая идея неожиданно отпустила его, и душу заполнило странное чувство покоя и мира. Как только он вошел в эту затененную комнату, по которой пробегал легкий ветерок, напоенный чистым дыханием каналов, как только увидел террасу и линию горизонта за деревьями сада, а главное, просторную кровать с ослепительно белыми простынями, ему показалось, что он снова свободен!

Странная мысль, странная свобода! Была ли то иллюзия возврата к утраченной полноте жизни, вызванная улучшением физического самочувствия? Нет, в нем свершилась внезапная и непостижимая перестройка, произошло приятие бытия. Он перестал ощущать себя жертвой и узником. Пусть он не тот, кем был прежде, но это не значит, что он стал хуже. Просто он сделался кем-то другим, он живет иной жизнью, и в эту иную, новую жизнь ему еще предстоит до конца

проникнуть, предстоит разведать ее и понять; ему казалось, что он и прежде, на протяжении всего своего существования, шел рядом с нею, бок о бок, но почему-то не желал бросить хоть взгляд в ту сторону; это ощущение было еще очень смутным, и прояснилось оно, как мы увидим, лишь к концу его пребывания в Венеции.

А сейчас, с облегчением сбросив дорожный костюм, Рени лежит на огромной кровати, на белоснежном свежем белье, и с радостным удивлением вслушивается в новые звуки, умиротворяюще спокойные в своей монотонности, — ничего излишне громкого, никакого металлического скрежета, только вода, ее плеск, и морской ветерок, шелестящий листвою, только птицы, и приглушенный звон колокола Сан-Джорджо и других, более дальних церквей, и песня гондольера порой, и тут он погружается в сон — спокойно, доверчиво, как ребенок…

Этой умиротворенности, которая удивила его самого, — предстояло длиться еще несколько недель, обещанное улучшение произошло. Климат, влажный, но полностью лишенный всякой пыли и всякого дыма, мягкая температура начала мая, когда нет ни сильной жары, ни сильного ветра, оказали чудотворное действие на его лег-

кие. Больше не надо было прятать или украдкой стирать носовые платки. Прогулки, если только не ходить слишком быстро, уже не так утомляли его. Бессонница, еще вчера такая упорная и мучительная, теперь отступала перед маленькой дозой снотворного.

В городе они бывали редко. В отличие от мадам Рени, он не испытывал любопытства. Здесь, на этом острове в этой комнате, в этом тихом саду, свершилось его приобщение к новой жизни, и он был глубоко признателен чуду, ему претила, самая мысль покинуть этот замкнуты:': мир; он суеверно боялся разрушить очарование, погрузившись в недра странного города, чье золото, мрамор и купола отражались по вечерам в муаровых водах лагуны, пылавшей фантастическими бликами закатного солнца.

Он вставал поздно, днем подолгу отдыхал в саду и лишь часам к пяти отваживался наконец выйти на набережную Сан-Джорджо; там он опасливо созерцал все эти дворцы и статуи и машинально глотал порошки, пилюли и микроскопические дозы соли, которые совала ему Анриетта; вечером, прежде чем погасить свет, он просматривал французские газеты.

Всякий раз стоило большого труда уговорить

его нанять лодку и поехать на набережную Скьявони. Шум, запахи, крики, перебранки и приставания гондольеро; по-прежнему раздражали его. Иногда он соглашался сделать несколько шагов по направлению к площади Сан-Марко; он шел, проклиная голубей, назойливых фотографов, неугомонные густые толпы туристов, потом усаживался за столик на террасе. Здесь его тревога начинала понемногу утихать. Он выбирал местечко в тени и. сидя вдали от уличной суеты, уже с некоторым интересом наблюдал за манерами, лицами, одеждой людей, за причудливыми арабесками, которые движение людского моря рисовало на огромной мраморной площади, следил за пестрыми потоками, что обтекали Кампаниллу и вливались под своды базилики; сам он решительно отказывался туда входить и только бросал тайком мимолетный взгляд, когда они возвращались на Пьяццетту; он бывал всякий раз очень рад, завидев вдали, на границе канала и лагуны свой драгоценный остров и колокольню Сан-Джорджо, четко выделявшуюся на фоне неба, — милый свой остров, где свистал вольный ветер и гнал прочь тяжелые болотные испарения.

«Что же это, бесчувственность?»

Нет! Поверьте, вся эта безмятежная красота, сотканная из поразительной гармонии между ландшафтом и стилем, эта архитектура, которая словно создана для того, чтобы своими линиями, природой и цветом своих камней отражать игру струящихся красок моря и неба, — эта красота не оставляла Рени равнодушным. Скорее он пытался себя от нее защитить, он даже досадовал на нее за то, что она так откровенно выставляет себя напоказ. В своем убежище он прятался не от нее — он ощущал себя на острове в безопасности потому, что вкушал здесь грустное забвение самого себя, как бы разлуку с собой.

Венеция, ее знаменитая площадь, ее пятиглавый собор, фасад с квадригой, изобилие статуй и пышных украшений, — это была «мысль», была вновь обретенная способность «размышлять», но «размышлять» в той сфере, в которой, по известным причинам, он был абсолютно невежествен.

И выходит, зыбкие тени сада в их контрасте с ослепительностью мраморных стен, с роскошью порталов, пронизанных свечением алебастра и цветных витражей, символизировали для Рени то, что он вынужден был отрицать, отвергать, загонять в глубины сознания с того самого дня, как он впервые переступил порог школы?

«Я тоже склонен так думать; к тому же надо принять во внимание религиозность, навязанную святыми отцами, а потом яростно отвергнутую и породившую в душе, как это чаще всего бывает, ненависть и злопамятство».

Послушайте только, как бурчит он в тревоге, направляясь через сад к лодке:

— Безвкусная пышность, чрезмерная роскошь! Одна мишура! — И в ритуальных воплях: «Гондола! Гондола!», которыми разражаются гондольеры в смешных опереточных нарядах, ему чудится насмешка и вызов.

И поглядите, как он сразу успокаивается, когда пристань начинает удаляться и он, закрыв глаза, бездумно отдается ровному стрекоту мотора и легкой качке; поглядите, как, приехав в отель, он закрывает ставни и блаженно вытягивается на просторной кровати, которая так ему полюбилась. Ведь эта кровать вернула ему спокойный сон — самую верную защиту от невзгод и опасностей.

«А что же мадам Рени?»

После нескольких неудачных попыток вытащить его с собой в город она в конце концов смирилась и, преодолев колебания, стала время от времени оставлять его на несколько часов

одного. Упорное сопротивление Рени не слишком ее удивляло. Она знала эту его черту — одну из причин их постоянных семейных раздоров. В прежние времена она была бы рада этой возможности заставит; его восхищаться культурой и вкусом, которых поначалу им обоим так не хватало. Ей всегда казалось, что восхождение по общественной лестнице требует умения говорить о картинах, о книгах, прочесть которые считается хорошим тоном, — все это входило в условия салонной жизни, которой, как вы помните, Рени всячески избегал, участвуя в ней лишь против собственной воли. Она не могла понять, почему он не пытается ликвидировать эту свою неполноценность. Он жил в достатке, потом уже и в богатстве, но не получал никакой радости от жизни. То ли тут проявлялся атавизм, то ли из-за трудного начала своей карьеры, но он еще долго выказывал себя расчетливым и бережливым. Она же любила сорить деньгами — и делала это даже вызывающе, словно для того, чтобы его нарочно позлить. Правда, время и здесь постепенно все сгладило: считать деньги в этой семье вскоре стало просто ненужным.

Но именно эта сторона их взаимного непонимания оставила в ее душе глубокий след. В

своем простодушии она не умела воздать мужу должное и выказывала полное безразличие к его столь поучительной биографии, изложенной в начале нашего повествования, полное безразличие к его действительным заслугам, к выпавшим на его долю несчастьям, проявляя чрезмерную суровость ко всему тому, что она называла его недостатками.

Теперь все это казалось бесконечно далеким. Болезнь Рени принесла свои тревоги, свои страхи, свои жесткие требования, пробудила чувство долга. Для Анриетты болезнь мужа тоже пролегла пропастью между прошлым и настоящим. Рени в самом деле стал другим человеком; этот новый человек был слаб и в то же время деспотичен, у него появились новые неприятные черты, он стал будто состарившийся ребенок, но она почему-то с готовностью принимала все его странности и причуды, сама не понимая, откуда у нее эта снисходительная терпеливость.

Итак, она стала уезжать в город одна или высаживала мужа возле его любимой террасы, оставляла с бокалом лимонада, а сама отправлялась осматривать музеи и соборы. То, что некогда было тщеславием, было суетной жаждой выглядеть знатоком, теперь под воздействием давних

сожалений и того наивного обаяния, каким в ее глазах был всегда окружен этот неведомый мир искусств, превратилось с годами в искренний интерес, в пристрастие, в склонность.

Еще в Париже Анриетта запаслась путеводителями, накупила справочников, альбомов с репродукциями; к этой поездке, о которой она так мечтала, она подготовилась тщательно и со вкусом.

«Увидеть Венецию…» Этот банальный штамп, эта расхожая мечта стали для нее спокойной решимостью, она горела желанием проверить справедливость того, что знала и слышала о Венеции. Это происходит с каждым путешественником. Есть на свете места — их безудержно превозносят, опошляют тошнотворным восторгом, но вся эта мелкая суета не в силах им повредить! Встреча с ними все равно потрясает своей абсолютной, ни с чем не сравнимою новизной! Как и все, Анриетта Рени была очарована и восхищена.

И все же к чувству радости примешивалось смутное сожаление, которое она даже не сразу осознала. Увиденная ею Венеция оказалась более сложной, чем та, что рисовалась в мечтах; возможно, в этом повинна была и та удивительная терпеливость, какую она проявляла в роли сидел-

ки при больном муже.

«Простите, но терпеливость как-то не вяжется с тем, что мы знаем об ее характере…»

Об ее характере мы знаем лишь от Рени, и случай, который произошел в конце первой недели, даст нам возможность понять, что здесь нет, в сущности, никакого противоречия.

Она знала, что будет ходить по музеям одна, и она ходила одна, но вскоре начала ощущать какую-то неудовлетворенность, восхищаться в одиночестве было недостаточно. Ей хотелось об увиденном говорить, ее восхищению требовались свидетели; она с удовольствием слушала добровольные (и порой небескорыстные) объяснения служителей, присоединялась к группам экскурсантов.

Однажды утром она пришла в Академию и остановилась перед знаменитой «Грозой» Джорджоне. Полотно разочаровало ее. Ей показалось, что оно не заслуживает своей репутации. Пройдя по залам и посмотрев другие картины, она вернулась к Джорджоне, ей не хотелось уходить разочарованной, и тут вдруг она поняла, что «Гроза» странным образом влечет и притягивает ее, точно загадка, которую непременно нужно разгадать. Она пристально вглядывалась в кар-

тину, и ее охватило странное чувство; оно было совсем не похоже на те ощущения, какие до сих пор вызывала в ней живопись, — то был своего рода восторг, мягкий и сильный одновременно, с какой-то долей растерянности, нечто подобное оставляю! порою в душе сновидения, когда суть приснившегося безвозвратно утеряна, но аромат пережитого во сне приключения сохранился и перед глазами еще мерцают неясные образы…

Когда она возвращалась на площадь Сан-Марко, где ее дожидался Рени, перед ней неотступно стояло полотне Джорджоне, его сюжет, его странные персонажи и в этой навязчивости было что-то тревожное. Она не могла понять причину такого странного и сильного воз действия картины, которая поначалу даже разочаровала ее. Произведения более законченные, более тщательно отделанные, более совершенные но мастерству (она не была знатоком, она просто чувствовала это), никогда не производили на нее такого впечатления. Она восхищалась ими, но удовольствие оставалось чисто умозрительным. Подействовал ли на нее так образ материнства? Или этот персонаж, этот соглядатай или солдат в красном жилете, стоящий в углу картины и с неуместным любопытством глядящий на жен-

щину? Или лишенные смысла руины, которые только препятствуют взгляду устремиться вдаль, к затянутому зловещими тучами небу? А может быть, крепостной вал, озаренный отсветом молнии? Что-то было во всем этом разнородное, не сочетающееся меж собой. Название полотна тоже ничего не объясняло — не больше, чем то, что было на нем изображено. И однако…

Однако впечатление было таким неотступным и цепким, что она незаметно для себя углубилась в лабиринт переулков. Ей пришлось довольно долго блуждать, пока наконец она выбралась на площадь. Проходя под аркада ми, взволнованная, запыхавшаяся, она еще издали увидела Рени; он сидел на террасе, затерянный среди этого залитого солнцем простора, чуждый шумному многолюдью, всем и всему чужой и до ужаса одинокий! Контраст между этим одиночеством и веселым кишеньем толпы был так разителен, что она остановилась как вкопанная. Ей вдруг показалось, что она впервые видит его.

Он сидел на стуле нахохлившись, подняв воротник рубашки, который стал теперь непомерно широк для его исхудавшей шеи. Темные очки в массивной оправе делали лицо совсем маленьким и худым. Он казался сейчас таким слабым,

таким высохшим и хрупким, что у нее защемило сердце от жалости, и странное дело, эта жалость была каким-то непонятным образом сродни тому волнению, которое она испытала перед картиной Джорджоне. Неподвижно застыв в полумраке портика, она прошептала:

— Боже мой! Что с ним стало! Да может ли это быть!

То, что она увидела, было как откровение, весь облик этого старого человека, его грустное, изможденное лицо удивительно сочетались с сернистым, тусклым светом грозового неба над загадочными памятниками города, с белым силуэтом молодой женщины под деревом, спокойно кормившей грудью ребенка…

Наконец она подошла к нему. Он обернулся, увидел ее, помахал рукой. Она села на соседний стул; не думая о том, что надо как-то объяснить свое опоздание, она неловко рылась в сумочке, нашла нужное лекарство. Порывисто протянула ему.

— Вот твоя пилюля.

Он с усилием проглотил таблетку. Она не отвечала ни на его традиционные упреки и жалобы: «Скоро ты будешь ночевать в своих музеях!», ни на столь же традиционное ворчанье по пово-

ду многолюдья и жары. Она думала о том, как было бы хорошо побеседовать с ним о «Грозе», рассказать, какое важное открытие, касающееся их обоих, она только что сделала, — и думала о том, что говорить с ним об этом невозможно. пейзажПрежде она сама не умела разговаривать от таких вещах, а теперь… Она вдруг почувствовала угрызения совести, и причина их была так же туманна, как связь между жалостью к мужу и тем эстетическим потрясением, которое она пережила в Академии. В чем она может себя упрекнуть? Долгие протекшие годы внезапно исчезли, образовав головокружительную пустоту. И возникает новая аналогия, которая будет отныне преследовать эту разбитую параличом чету: палата, зловонная госпитальная палата, до отказа набитая ранеными. Лейтенант Рени, мертвенно-бледный, худой, лежит на металлической кровати с сеткой. Из коротких рукавов рубахи выглядывают тонкие, как палки, руки — кожа да кости. Охваченная состраданием, сиделка склоняется над лейтенантом:

— Господи! Какие у него руки! Как у ребенка!

Между той встречей в госпитале и венецианской террасой — мертвое время, провал, небытие, деньги…

Ей не в чем себя упрекнуть. Она не сумела бы говорить с ним об этом; да и к чему? Зачем тешить себя химерами, ведь он не способен понять такой разговор. Откуда взялось это небытие? И откуда в картине этот цоколь на двух неравных, разбитых опорах? Шумным и пестрым потоком устремляясь сквозь стаи белых и сизых голубей к пяти сверкающим куполам, к Кампанилле, все эти люди обрамляют и подчеркивают одиночество нашей четы, ее беду... Быть может, волнение вызвано резким контрастом между материнством, этой набухшей грудью, к которой прильнули губы ребенка, этой счастливой самоотдачей, этим безразличием к буйству стихий, к грозе — к самою грозой, которая нависает над башнями в тревожном свечении молний?

— Может быть, наконец, мы вернемся?

Она безропотно подчиняется, она еще вся в бередящих душу воспоминаниях о собственном сострадании, вся в плену своей нежности. Медленным шагом они возвращаются на Пьяццетту, выходят на набережную. Анриетта с удивлением замечает, что положила на его локоть руку. Какой-то фотограф долго преследует их, пятится перед ними, отчаянно жестикулируя, подпрыгивая и кривляясь.

— La fotografia, la fotografia, per piacere, Commendatore![7] — стонет он.

Она улыбается, надеясь, что Рени на сей раз согласится, уступит, но он по-прежнему неумолим, и она, с внезапной робостью перед мужем, не споря, позволяет ему отогнать попрошайку.

Они уже на набережной, и Рени глядит на свой остров. Их лодка, к сожалению, еще не подошла, и им приходится выдержать натиск целой оравы гондольеров, которые сегодня ведут себя назойливее, чем обычно. Один из них, совсем еще юный, почти подросток, особенно нахален. Анриетту поражает его лицо с правильными, но уже заплывшими жиром чертами. Черные как смоль вьющиеся волосы лоснятся от помады и густой гривой спадают на шею сзади. Маленький пухлый рот делает лицо каким-то женственным, что еще больше подчеркивается сюсюкающим венецианским говорком. В этой женственности нет и тени юношеского обаяния, она двусмысленна и противна. Поражает несоответствие между мягкостью черт и странностью взгляда. Один глаз сверкает из-под длинных ресниц влажным восточным блеском, другой — безжизненный,

---

**[7] Примечания: 7**
Фотографию, фотографию, пожалуйста, командор! *(ит.)*

тусклый, лишен всякого выражения. Анриетта вдруг понимает, что глаз — стеклянный. Наглец крив на один глаз. Ее охватывает гадливость, словно при виде нищего, выставляющего напоказ свои язвы; гадливость становится еще острее, когда она вслушивается в слова, которые выкрикивает подросток. В этой скороговорке, где плохой итальянский смешан с корявыми французскими фразами, ей чудятся грязные намеки, гнусные предложения. Она краснеет, шокированная, ей делается страшно. Рени, который только что так энергично, с таким презрением отбивался от всего этого люда, теперь, очевидно, устал; он вяло реагирует на наскоки испорченного мальчишки.

Наконец подходит их лодка, и перевозчик — старик явно не венецианского типа — отгоняет малолетнего искусителя.

Commendatore закрывает глаза, вдыхает влажный ветер. За кормой еще долго слышится пронзительный голос юного гермафродита, посылающего им неразборчивые проклятия.

Духота сгущается, будет дождь. Над Лидо громоздятся фиолетовые тучи. Ветер гонит их к берегу. Они закрывают солнце. Купола, соборы, мрамор, золото — все мигом гаснет, а вода становится бронзовой.

* * *

Открытие, сделанное ею на обратном пути из музея и сопровождавшееся всякими мелкими происшествиями, возымело странное действие. Она снова стала настаивать, чтобы Рени сопровождал ее в прогулках по городу. В здоровье мужа ей виделось улучшение; она любила принимать желаемое за действительное и предпочитала не замечать ничего, что противоречило ее оптимизму. Рени был еще очень слаб, но для нее он сделался Commendatore.

Вскоре эта идея прочно укоренилась в ее голове. С неосознанным эгоизмом она постепенно извратила самый смысл их путешествия; оно стало для нее отныне символом их неожиданного сближения. Она хотела этого, хотела всем сердцем, — значит, примирение обязательно должно состояться, и оно состоялось. Конечно, Рени нуждался в отдыхе, в неустанных заботах; но разве он и так постоянно не отдыхает? Разве она не заботится о нем денно и нощно? Разве бдительно не следит за своевременным приемом лекарств? Надежда росла. Речь теперь шла уже не о том, чтобы поддерживать его слабые силы, — речь шла о полном выздоровлении. И право же,

немного дополнительной физической нагрузки, некоторые развлечения и прогулки только ускорят процесс исцеления, помогут свершиться венецианскому чуду!

Анриетта была очень довольна собой, она искренне радовалась, что придумала эту поездку, что смогла убедить и Рени, и врачей в необходимости путешествия. Она оказалась права, она всегда бывала права, ей не в чем себя упрекнуть. Да, да, он выздоравливает — и выздоравливает он благодаря ей, так же как он выздоровел тридцать пять лет тому назад — тоже благодаря ей!

Эта идея спасения приводила ее в восторг, зачеркивая то бесконечно долгое мертвое время непонимания, а потом и безразличия, какое пролегло между знакомством в госпитале и приездом в Венецию. Сейчас все начинается сначала, разве не так? Неужели он откажется это при знать?

Увы! Он признавал это с великим трудом. Он не мог забыть то чувство, которое охватило его, когда он впервые вошел в просторную комнату, всю белую и голубую, и увидел огромную кровать с белоснежными простынями, и после мучительного путешествия обрел благодать спокойного сна. Он не мог забыть, что здесь был положен конец самому худшему из всех его испытаний

— бессонным ночам, когда, наглотавшись бесполезных снотворных, он подвергался пытке ожидания утра, пытке колесования «думами». Здесь он вкусил совершенно новое для него и блаженное ощущение безопасности! И он по-детски был убежден, что всем этим счастьем он обязан лишь одному — тому, что они поселились на острове. Анриетта не замечала, что Рени стал другим, что он любит тишину и спокойствие сада, где он блаженно грезит часами, что он любит близость воды, навевающей на душу грусть. Но было еще нечто более важное!

Он тоже стал верить в чудо, но, разумеется, на свой манер. Он избавился от своих недавних иллюзий о возможности вернуться к прежней работе, и, быть может, это произошло под воздействием того блаженного чувства, которое охватило его на пороге гостиничного номера, того таинственного подчинения недугу. Теперь его уже почти не пугала перспектива жизни вдали от дел в отставке, на пенсии.

Иногда, проснувшись среди ночи, он тихонько вставал, приоткрывал ставни или распахивал выходившую на террасу стеклянную дверь и глядел на песчаные аллеи сада на облитые лунным светом смоковницы и кипарисы, на шелковистое

поблескивание воды и блуждающие огни невидимых гондол; внизу на легкой волне покачивалась лодка, дремал старик перевозчик. Рени с наслаждением вдыхал влажный солоноватый воздух и долго стоял в не подвижности, весь во власти зыбких, невнятных грез, во власти прекрасного чувства умиротворенности, которое вызывала в нем окружающая природа; белый сад, деревья, лагуна, вода, мостки, даже сама луна, заливавшая комнату наркотическим сиянием, — все вокруг защищало и охраняло его, все исполнено было благожелательства и покоя. Он не понимал природы и не хотел ее пони мать. Он просто ощущал ее благотворную мощь! Из каких-то немыслимо давних времен всплывали неведомые ощущения, заставляя его произносить в глубине души поразительно странные фразы, вроде того, что «над домом благостная бодрствует луна» или «я сошел с корабля, я в порту, я наполнил вином до краев свою чашу».

В такие минуты остаток дней, которые ему суждено было прожить, представлялся ему долгой и бережливой тратой жизненных сил, медлительными, размеренными каплями существования, не лишенного своих радостей, ибо «над домом благостная бодрствует луна»! И наш прозаичный

Commendatore, на грани слез, взволнованный, воспарял на крыльях «мысли», которая, по сути, была лишь хрупкой конструкцией слов над душевной бездной, — в эти лирические минуты он готов был склониться к решениям, которые всегда себе запрещал; «мысль», еще недавно зловредная и опасная, теперь казалась достойной быть принятой во внимание. Под каким углом? Этого он пока не знал, но размеренные капли существования, эта медлительная струйка жизни, отпущенная ему судьбою, оставляли вполне достаточно времени, чтобы еще вернуться к вопросам, которыми он всю жизнь невольно пренебрегал. И он возвращался в постель, весь омытый лунным светом, весь белый, как прокаженный. Колыбельная песня воды ласково опускала его в волны спокойного сна…

Вполне понятно, что недоверчивый страх перед городом не хотел сдавать свои позиции без боя. Рени судорожно цеплялся за свое убежище; и его жена прибегала ко всяческим уловкам. Но у нее обнаружился неожиданный союзник: изменение в «мыслях» самого Commendatore.

Улучшение самочувствия всегда придает нам смелости. Шли дни, и он понемногу стал забывать то славное ощущение покоя, которое снизошло

на него в день приезда, забывать свой странный ночной бред, который, на мой взгляд, вызван был гуморальными нарушениями в организме на почве болезни, такими, скажем, как увеличение содержания мочевины в крови, — психическое воздействие этого фактора общеизвестно. Порой его охватывало желание испытать свои новые силы. Следует также отметить, что теперь, когда исчезло и недомогание, и связанные с ним тревоги, он гораздо добродушнее стал переносить свое зависимое от жены положение, еще недавно внушавшее ему такой ужас.

Тяжелое, свистящее дыхание Анриетты, спавшей в соседней комнате, больше не таило в себе угрозы; он уже не боялся ее крепкого сна, напоминавшего раньше о не видимом приближении смерти.

И когда в один прекрасный день, после многих без успешных попыток соблазнить его красотами знаменито го венецианского стекла, она в конце концов отправилась на длительную экскурсию в Мурано одна и по рассеянности прихватила с собой все его пилюли и порошки, Рени после ее возвращения первым удивился, что ничего не заметил и что это грубейшее нарушение режима обошлось для него без всяких последствий.

С этого дня стало ясно, что она выиграла; он понемногу начал вместе с ней выезжать в город. Да, Анриетта дождалась наконец своего часа!

Теперь почти каждый день можно было видеть, как на набережную Скьявони высаживается из лодки Commendatore со своей Дамой. Пышный титул, случайно оброненный суетливым фотографом, был незамедлительно подхвачен гондольерами, гидами и прочим подозрительным людом, постоянно толкущимся на пристани в ожидании добычи. Мадам Рени ничего не знала о неистребимой склонности итальянцев к титулам, и ей нравилось думать, что за их развязностью и зубоскальством кроется искреннее уважение к ее супругу.

— La fotografia, Commendatore!

Какая жалость! Такое щедрое освещение — снимок наверняка получился бы превосходным. Она поместила бы его на самом почетном месте в своем альбоме. «Командор Пьер Рени!» Когда он выходил из лодки, ступал на мраморные плиты и медленно шагал в своей слишком просторной одежде (он решительно не хотел подгонять ее к своей нынешней фигуре), с исхудавшим смуглым лицом, седыми усами и остатками седых волос на висках (он их больше не красил), в нем про-

ступало то, чего он: прежде никогда, при всей очевидности этого качества, в нем не замечала, — достоинство; иногда ее даже подмывало сказать — величавость, подобная той, какую обретают порой некоторые старики.

То, что он был стар или, вернее сказать, что его состарили испытания последних месяцев, — это она впервые поняла, увидев его на террасе, когда, вся еще переполненная впечатлениями от «Грозы», проходила под портике Сан-Джеминьяно; но это открытие в какой-то мере даже доставило ей дополнительное удовлетворение.

Итак, с каждым днем они гуляли все больше, ходили все дальше, все дольше — во Дворец дожей, в Коррер, в Ка д'Оро, в Академию, и Commendatore послушно следовал за ней и даже, особенно в первые дни, принуждал себя проявлять интерес ко всем этим предметам искусства, которые в его глазах представляли собой нагромождение ценностей, гигантский склад очень дорогих вещей. Благодаря такому взгляду он готов был благосклонно отнестись к Венеции, этому смущающему душу городу на сваях. Как знаток, он не мог не оценить усилий, предпринимавшихся в разные исторические эпохи, чтобы создать такую сокровищницу: то был для него еще один

пример блистательного взлета из самых жалких низов! Дистанция, отделявшая убогую деревушку, бедный рыбацкий поселок, от Республики с ее непобедимыми галерами и величественными памятниками, внушала ему уважение.

«Гроза» Джорджоне, к великому разочарованию мадам Рени, оставила его равнодушным; он ограничился лишь тем, что выразил сожаление по поводу потемневших от времени красок. Зато его внимание привлекло полотно Тинторетто «Мария Египетская»; на эту картину он глядел с той же мечтательностью, с какой обычно созерцал свой остров. Кроме того, он с восторгом отозвался о конной статуе кондотьера Коллеони. Это было все. Следует, однако, признать, что для него и это было немало. Анриетта, исполненная после одержанной победы снисходительности, была ему признательна. Как бы то ни было, она добилась главного. Она была теперь не одна. Рядом с ней шагал Commendatore, у нее был слушатель.

Разумеется, он уставал. Близился июнь, жара становилась более тяжкой, участились грозы. Тучи, индиговые и мертвенно-бледные, похожие на те, что так внезапно прервали игру света на куполах соборов и мраморе дворцов в день встре-

чи с наглым кривым гондольером, чуть ли не ежедневно сгущались над морским горизонтом. Разражались они не дождем, а пыльным горячим ветром, от которого теснило дыхание и делался мучительным каждый шаг, что затрудняло посещение музеев.

Однако особой усталости Рени пока еще не чувствовал, словно Венеция и в самом деле окропила живою водой его разрушенное сердце, будто и в самом деле свершилось то чудо, которого так жаждала мадам Рени. Он стал лишь немного тяжелее дышать, наш Commendatore, и вынужден был часто и надолго останавливаться, чтобы перевести дух среди этих бесконечных мраморных лестниц, на которые без зазрения совести она заставляла его взбираться с тех пор, как убедила себя в его близком выздоровлении.

Без зазрения совести? Не будем к ней чересчур суровы. Сказано, пожалуй, слишком сильно. Commendatore по-прежнему выглядел хорошо. При малейшем признаке ухудшения она незамедлительно уложила бы его в постель, стала бы ухаживать за ним с той самоотверженностью, которая нам уже знакома. Без колебаний отказалась бы от прогулок. Но ощущение опасности ушло из ее мыслей, ушло вместе с болезнью, а вне

болезни мадам Рени тут же обрела свои прежние привычки, прежние реакции — словом, свой прежний характер.

Ей следовало ни на миг не забывать про «Грозу» Джорджоне и про то, как внезапным видением возник перед ней старый человек, одиноко и грустно сидевший на стуле среди безразличного кишения толпы на залитой солнцем площади. Она часто об этом вспоминала, будем справедливы, и всякий раз ее охватывал тайный порыв щемящей жалости и на душе становилось невыразимо сладко, она опять была Анриеттой милосердной, Анриеттой безупречной — нежной Анриеттой своей второй молодости! Но в промежутках, завороженная неисчерпаемыми сокровищами города, в который она влюблялась все больше и больше, она забывала об этом.

Она пала жертвой той странной экзальтации, которую Венеция вызывает у своих гостей. Остров, от города более или менее изолированный, был постоянно погружен в дремоту; его омывала лагуна, стоячие воды которой лишь медлительно покачивались в такт прихотливой игре света и облаков. Но когда вода заходила в затейливые лабиринты между памятниками, мостами и дворцами, когда ее вспарывали бесчисленные лодки

и расцвечивали, плещась на ветру, бесчисленные вымпелы и флажки, когда под небом, где летучая дымка, поднимающаяся от влажной дельты и с северных равнин, сливается с яростным светом уже африканского солнца, эту воду густо заселяли, пронзая ее насквозь, до потери жидкого ее естества, яркие картины, пестрые красочные образы с преобладанием охрового и розового тонов, опрокинутые вверх дном архитектурные чудеса, — тогда та же самая вода, на острове обычно ленивая, сонная, начинала вдруг лихорадочно вибрировать, словно подхватывая пляску солнечных бликов на мраморе; вода становилась желанной передышкой для взгляда, ослепленного готической пышностью, арабесками, светлым кружевом камня, зыбкого, струящегося камня, что колышется в синих, зеленых, рыжих глубинах, и они неторопливо растворяют его в себе; вода становилась бескрайней песнью, которая опять и опять потрясает тебя, полня сердце восторгом, так прекрасны нескончаемые ее модуляции; есть в город и укромные уголки, где время будто останавливается и замирает, есть безликие зоны безмолвия и серых красок, и каждый камень Венеции исполняет спою партию в этом гигантском и изматывающем душу концерте!

И нужно ли удивляться, что Анриетта нетерпеливо тормошит мужа, теребит, наконец распекает за это странное нелюбопытство, за непостижимую апатию перед лицом праздника. А он поднимает к ней тоскливое, худое лицо, он обливается потом и с трудом переводит дыхание, каш Commendatore; но помилуйте, разве он в самом деле не Commendatore, разве не должен он соответствовать той роли, которую обязан играть, поскольку так решила жена, роли, которой он никогда не играл прежде, что причиняло Анриетте всегда такие страдания! Нет, мы с вами не будем возмущаться, не будем негодовать. Во всем виноват город. Никто не в силах, ускользнуть от его колдовских чар, они завораживают, они ослепляют; не ускользнула от них и Анриетта.

«Но какую роль должен был он играть?»

Эту роль и правда определить нелегко, и придется прибегнуть к отрицанию; все тридцать пять лет их супружества были лишены тех многих важных компонентов, которые могли бы превратить совместную жизнь в подлинный союз, — элементов, словно обреченных на погибель каким-то роком, чего она не сумела вовремя осознать, и понадобились болезнь, беспомощность, слабость, чтобы у нее появилось другое отноше-

ние к мужу; в обычных условиях оно могло бы легко привести к примирению, и недоразумение было бы изжито. Но в их случае откровение, посетившее мадам Рени, когда она увидела мужа под портиком, породило новое противоречие, которое еще больше укрепилось под колдовским воздействием Венеции. Сама не отдавая себе в том отчета, Анриетта впала в банальнейший грех женского собственничества, ощутила детскую, несомненно, обманчивую потребность в том, чтобы ее баловали, потребность занимать главенствующее положение в той супружеской чете, перед которой в таком восхищении приплясывал бродячий фотограф, но этот наивный образ — посвящение в сан старых венецианских любовников, — увы, так и остался погребенным в недрах его волшебного аппарата!

И изо дня в день росла напряженность между супругами, сопровождаемая вереницей взаимных попреков…Она тащит меня за собой бог знает куда, она меня губит, она уносит в своей сумке все мои пилюли и порошки, она их в конце концов потеряет… Его ничто не интересует, он всегда думал только о деньгах, у него нет ни грана вкуса… Она в конце концов измотает меня до предела… Он бросил меня одну, он сам себя измотал своими

бесчисленными любовными похождениями…

Усталость и злость вызывали у Commendatore и другие, довольно любопытные, реакции.

Он покинул свой остров, свою большую прохладную комнату, белую и голубую, свой мирный сад с горлицами и кипарисами. Он больше не находил здесь благотворного покоя первых недель. Он снова во власти тревоги. Ночи тоже уже не так хороши, несмотря на снотворное, дозы которого он вынужден был увеличивать. Он снова, как прежде, боится гасить перед сном свет, опять сжимает в ночной темноте шнурок звонка — свою единственную связь с соседней комнатой. Долгие часы проводит он в полузабытьи, погружаясь порою в неприятные навязчивые сновидения.

По огромной площади, почему-то вдруг опустевшей и затихшей, которая разделяется в длину на две части, солнечную и теневую — в то время как Кампанилла, и все пять куполов, и бронзовые кони, залитые кровавым светом, таят в себе скрытую угрозу, — торопливо шагает мадам Рени, и шаг ее неестествен, ибо она остается неподвижной и не сокращается расстояние, которое ей предстоит пройти; а он тяжко дышит, пытаясь ее догнать, но из этого ничего не выходит, и он дышит все тяжелее, усталость все

мучительнее, а сердце колотится быстро и шумно, отдаваясь громким эхом по всей площади, и вдруг сердце, этот панический барабан, перестает биться в груди, но его биение гулким эхом гудит под портиками и аркадами, прокатывается по рядам пустых стульев на террасах, по квадриге, по зловещей Кампанилле. И тогда мадам Рени, по-прежнему бегущая со скоростью амазонки и по-прежнему неподвижная, вдруг оборачивается, встряхивает сумочку с пилюлями, но что-то неприятное и двусмысленное появляется вдруг в ее привычных чертах. Разве это мадам Рени? Что-то в этом лице напоминает круглую физиономию деревенской кормилицы, с ее беззубой улыбкой. Порой сквозь лицо Анриетты волною или как отражение в тихой воде, искаженное законом преломления, тем странным углом, под каким это лицо отражается в глади пруда, проступает еще одна физиономия, словно узнаешь портрет, который когда-то лежал на дне его ученического сундучка; но горестное сомнение остается, и его можно рассеять, лишь догнав ее, эту ста тую с бронзовыми ногами. Увы! У него нет больше сил! Окровавленный свет куполов и квадриги закрывает видение пурпурным водопадом, а кривой гондольер с жирным лицом эфеба вцепляется

ему в рукав и, изрыгая непристойности, пытается столкнуть в гнилую воду канала…

Commendatore просыпается — весь в поту, пальцы сжимают шнурок звонка. Он встает и долго ходит взад и вперед по комнате, успокаивая бешеное сердцебиение, потом выходит, как в первые ночи, на террасу, смотрит на сад, на лодку и на перевозчика, которых покачивает легкая волна, на темную массу моря, на бакены и сигнальные огни, которые выглядят теперь уже не так умиротворенно, как прежде, и весь окружающий мир уже не тот в этом нездоровом свете огромной шафрановой луны, отвратившей свой взор от их дома…

Однако никаких тревожных признаков ухудшения здоровья не видно; просто Рени, вырванный из своего убежища, уставший от музеев и произведений искусства, измученный до предела, теперь уже только растрачивает все те благотворные дары, какими наградила его Венеция по приезде.

Он знает, на собственном горьком опыте прекрасно знает, что ему не исцелиться. Он опять вспоминает об этом. Сколько прочел он в свое время энциклопедий, медицинских пособий и словарей, специальных журналов и справоч-

ников, отыскивая описания своей болезни и ее симптомов!

То, что он с такой маниакальной страстью искал, всегда обнаруживалось в рубрике «Старость». И как подробно, с какой точностью все это было описано, каждое слово выверено и взвешено, — этот его проклятый недуг, эта недостаточность, износ, истощение, этот всеобщий закон любого механизма, как бы великолепно ни был он сработан и закален! У Рени не оставалось ни малейшей надежды, ни малейшей иллюзии.

Но то, что понимает разум, не хочет принять человеческая плоть. Да и как это примешь, когда тебе стало легче и болезнь вроде бы великодушно отпустила тебя? А теперешнее облегчение было самым длительным, самым явным. И нелепая надежда опять возрождалась, уравновешивая собою ночные кошмары. Он читал не о том, читал не в том разделе, не в той рубрике. Знал же он в жизни могучих, точно кряжистые дубы, стариков… И опять маячило перед ним искушение — испытать, проверить себя.

Он проверял себя в этих нудных хождениях по музеям. Они утомляли его куда больше, чем если бы он ходил один, сам, как ни от кого не зависящий взрослый человек, который устает

вследствие собственных своих поступков, который свободен от этого повседневного рабства и устает так, как положено уставать мужчине…

Бессмысленное бунтарство! Здесь уже можно различить те причудливые образы, которые оно разбудит в нем несколько позже и которые он будет сам настойчиво взращивать в своей душе, — занятие, честно сказать, странное, если принять во внимание его возраст и здоровье; но и это можно опять-таки объяснить нарушениями гуморального равновесия, от утомления еще более усилившимися, объяснить увеличением содержания мочевины в крови, отчего в безмятежный период его венецианской жизни у него возникали в ночном саду совершенно чуждые его характеру восторженные фразы, вроде: «над домом благостная бодрствует луна», А если физиологическое объяснение вас не устраивает, можно истолковать все и в чисто психологическом плане — скажем, как ностальгию по ушедшим жизненным силам, тоску по прежней мужественности!

Между тем город множил свои соблазны. В противоположность тому, что думала на этот счет Анриетта, Рени отнюдь не оставался бесчувственным к ним; особенно поражал его резкий

контраст между лучезарной перспективой города, завораживающим ритмом его дворцов и куполов и тем притаившимся в коде мраком, который служит опорой для этого взлета и где тоже идет своя жизнь, но только в иных, более примитивных формах, лишенных какого бы то ни было эстетического начала; жаркое брожение, замкнутое в темницах цокольных этажей, черный лабиринт — плата за солнечные доспехи. К этой затхлой изнанке, чьи испарения так раздражали его всякий раз, когда он выезжал на лодке в лагуну, он по-прежнему испытывал гадливость, но из-за частых прогулок между ними стала устанавливаться при этом некая близость, чему способствовали и тайные желания, зревшие в нем. Все это, в общем, не ново. От отвращения до зачарованности — один шаг…

Отдаться этой зачарованности он еще не решался. Сопровождая неутомимую Анриетту и не слушая, о чем она ему говорит, он часто бросал украдкою взгляд на переплетение улочек, на темные жилы каналов, на запутанные переходы, от которых разило помойкой, на скученность, на кривые лестницы, на подворотни, на сочащиеся сыростью, поросшие мхом, покрытые солью, изъеденные проказой стены, на сползающее к

закату солнце, на переливающуюся, покрытую отбросами воду, лижущую фундаменты и сваи.

Всякий, кто бывал в Венеции, помнит эти картины. Везде, насколько хватает глаз, только мосты, улочки, тупики, закоулки, несуразные переходы, нечто подозрительное, нечто затопленное водой и гниющее под роскошью мрамора и золота, точно дряблая кожа шлюхи под густым слоем румян. Это потайное лицо города внушало ему страх, но то был страх потерять голову. Венеция тени и мрака напоминала о его болезни, говорила об одряхлении и износе, которые скрыты за вполне здоровой, казалось бы, видимостью и все клинические симптомы которых он знал наизусть.

Он бы хотел… Он не знал, чего бы хотел, он пребывал в нерешительности. Не отдавая себе в том отчета, он наклонялся над водой, вдыхал тлетворные испарения. Чаще всего в молчаливом отчаянии мечтал он о том, чтобы опять стать таким, каким был в первые дни на острове, когда Анриетта на долгие часы предоставляла его самому себе и он бездумно бродил по саду, блаженно дремал или, что еще лучше, сидел на площади Сан-Марко, ибо теперь ему казалось, что там ему было хорошо, что он не скучал, не

страдал в одиночестве в тенистом уголке своей излюбленной террасы, среди гомона толпы и белых и сизых стаек голубей, — нет, ему было там хорошо, он погружался в блаженную одурь, в забытье своих «мыслей»; теперь этот уголок представал перед ним в мечтах, становился миражем, осененным алыми отсветами куполов и бронзовой квадриги. Думая обо всем этом, он испытывал странное чувство, похожее на то, что принято называть головокружительным эффектом «уже виденного» или навязчивой идеей; то было чувство, что он близко знаком со всей этой архитектурой, благородство которой, несмотря ни на что, не могло его не поражать, что он давно и хорошо знает сумрачные аркады и портики и этот проход к Пьяццетте, к дворцу, проход, озаренный перламутровым светом моря; то было вместе с тем ощущение тревоги и дурноты, ибо пестрые человеческие потоки, вместо того чтобы возбуждать в нем веселье, вызывать прилив жизненных сил, вписывались в совсем иную картину — в огромное, мощенное плитами пустынное пространство, по которому свершает свой сверхъестественный бег его супруга с бронзовыми ногами; и это вихревое движение становилось призрачным, оно порождало дву-

смысленность, которая в любую минуту могла перейти в отрезвляющую убежденность: нет, я еще не проснулся! я все еще нахожусь на дне колодца, или пропасти, или в тех жутких водах кошмара, в каких я барахтаюсь, сжимая шнурок звонка, и Анриетта с ее проклятыми железными ногами вовремя не услышала отчаянного вопля о помощи, который я, конечно, издал!

Однако эта убежденность сейчас уже не столько пугала, сколько удивляла его. Впрочем, все его «думы» в целом удивляли его своим капризным и фантастическим движением.

Раньше, даже в самые трудные месяцы, предшествовавшие поездке, даже во время приступов, его мысль текла упорядоченно и четко, выливаясь в форму внутреннего монолога, и монолог этот складывался уверенно и легко. Но с тех пор, как его заставили покинуть его убежище, он опять ощутил себя не только заторможенным и слабым, но и не способным справляться с какой-то странной формой подвижности, при которой ему стало труднее находить слова, они от него ускользали, ему явно их не хватало, и вместо слов стали появляться образы, движения, картины, возникать загадочные сцены. Он винил в этом влажный климат, жару, коварную вялость горо-

да, свою усталость, вызванную блажью мадам Рени. Его «мысль» становилась субстанцией мягкой и зыбкой, неверной и туманной, вроде тех ежесекундно меняющих свои очертания беловатых шлейфов, что бегут по воде и порою перед рассветом окутывают всю поверхность лагуны; и на этом нестойком, расплывчатом фоне — что особенно мучительно для человека, чей ум всегда был ясен и быстр, — рождались неподвижные видения, висящие вне времени, в пустоте, подменяя ослабевшую память: крестьянка-кормилица с беззубой улыбкой, слова и фразы на местном диалекте (а он-то думал, что давно их забыл), деревенский ландшафт, долины, леса, вспаханные поля и чаще всего зеленая, заросшая водяной чечевицею лужа под нависшими над нею стволами высохших ив; эта картина наполняла его непонятным волнением…

Все эти срывы подводили его к еще одной навязчивой идее. Да! Он должен любой ценой взять себя в руки, испытать, проверить себя! Может быть, Анриетта права, может быть, он в самом деле стоит на пути к исцелению, как это было тридцать пять лет назад, но сможет ли он вернуться к любимому делу, к работе, к единственному смыслу своей жизни, если он

пребывает во власти больных фантазий и призраков, порожденных этой вялой «мыслью»? Разве он стар?.. Нет, конечно, не стар! Уж он-то насмотрелся на этих кряжистых, как дубы, стариков с ясным умом, полных сил, цветущих и ненавистных! Уж он натерпелся от них; сколько он перенес явных несправедливостей — пускай теперь и другие помучаются, как когда-то мучился он, Рени, такой закаленный, таком сильный, но без связей, без денег, и вот, несмотря на все препятствия, он… Пусть теперь поглядят на него. Он вы нырнул из трясины своих сновидений с помощью старого демона, духа силы и упорства, который когда-то давно помог ему пробиться, а потом стал множить хаос на хаос. Неблагодарный и забывчивый, Рени проклинал в такие минуты этот город-губку с его прогнившими фундаментами, податливо-мягкими, как его, Рени, «мысль», проклинал свою податливо-мягкую мысль, запах затхлости, свою мысль, смрад черных каналов и их извилистое плутание в самом сердце этого нелепого города, нелепого, как картина, к которой так часто с видом заговорщицы тащила его Анриетта: смуглый, похожий на араба солдат и молодая полуобнаженная женщина-крестьянка, которая кормит ребенка; эти двое находятся по

обе стороны каких-то развалин с колоннами, по соседству с рекой, через которую перекинуты мостки, а дальше крепостная стена города, над которым вот-вот разразится гроза. Нелепость!

* * *

Итак, его ночи опять стали похожи на прежние бессонные ночи. Если б он даже и не забывал исправно принимать все лекарства, что были назначены ему врачом для разжижения крови и облегчения работы больного сердца, их благотворному действию все равно бы помешала усталость. Теперь он безудержно глотал множество самых разных снотворных, и делал это чаще всего тайком от Анриетты, а она, несмотря на дурное настроение Commendatore и на его достойную сожаления бесчувственность к изящным искусствам, была настолько захвачена Венецией и так счастлива его выздоровлением, которое воспринимала как личную свою победу, что заметно ослабила бдительность. Вечерами, тоже измученная, но на свой манер — жарой и экскурсиями, она валилась с ног и мгновенно засыпала своим все тем же предательским сном.

И все-таки странно, что она не заметила изменений, которые произошли во время четвертой

недели. Под действием снотворных, которые он принимал во всякий час ночи, у него совершенно сдвинулось нормальное чередование бодрствования и отдыха. Он засыпал перед самым рассветом и в течение всего дня пребывал в состоянии оцепенения и дурмана, из которого выходил лишь к вечеру — и сразу становился раздражительным и мстительным сверх всякой меры. Это ослепление, это свое «небрежение» — она сама потом это так называла — Анриетта всю жизнь будет ставить себе в упрек, ибо, перебирая в памяти все эпизоды их пребывания в Венеции, она падет жертвой весьма распространенной иллюзии: связь событий, когда мы размышляем о них после того, как они уже произошли, представляется нам всегда фатальной, и эта фатальность прямо-таки бросается в глаза; роковой исход придает задним числом особое значение любому жесту, взгляду, слову погибшего человека. И рассвет в вагонном купе, когда она внезапно проснулась и воскликнула с ужасом: «Я спала! Боже, как я спала!», а он, поразив ее в самое сердце, сказал: «Я мог бы криком кричать, все равно бы ты не услышала!», сказал с такой злостью, с такой несправедливой злостью, — этот рассвет в вагоне стал, пожалуй, для нее не самым неприятным воспоминанием.

Ибо поступки Commendatore в течение ночи, о которой сейчас пойдет наш рассказ, отдавались в ее ушах мучительным посмертным эхом и выглядели как злобная: и изощренная месть…

В тот вечер, едва успев лечь в постель, она тут же, как всегда, начала клевать носом над очередным путеводителем; последний раз взглянув в открытую дверь коридора, соединявшего обе комнаты, и увидев, что муж разделся и лежит в постели среди вороха французских газет, что на ночном столике разложены все необходимые лекарства, а сам он мрачно-спокоен и погружен в свои мысли, она погасила свет и, перед тем как провалиться в забытье, успела отметить, что свет погашен и у Рени.

Она не испытывала тревоги; да и кто мог предвидеть такую выходку с его стороны? Commendatore нравилось лежать в полумраке. Погруженный в зыбкое пространство, в котором угадывалась белизна мебели, подчеркиваемая легким лунным свечением, просачивавшимся сквозь жалюзи, он вслушивался в мерный плеск невидимой воды, который убаюкивал его и усыплял. На какое-то мгновение его даже охватило — увы, очень ослабленное — чудесное блаженство первых ночей.

Он окунается в туманное мельтешение привычных сцен, граница между явью и сном расползается, мрачные картины переходят в сны, которые удивительно похожи на те мысли и грезы, которые осаждают его, когда он бредет за своей спутницей по мраморным плитам набережных, по лестницам дворцов и музеев, по просторной площади, многолюдной и в то же время пустынной, и освещение площади попеременно становится пурпурным и белым, подчиняясь магическому ритму, в котором шагает фигура со множеством лиц, и наконец, после долгой вереницы переходов, блужданий и изменений ракурса, он испуганно выныривает из сна и судорожно цепляется за бессонницу; страх заснуть и больше никогда не проснуться перемешивается с тем чувством, которое возникло впервые на площади и с тех пор не покидало его, с чувством, что отныне он уже не способен постичь разницу между явью и сном; ему кажется, что событие, очень важное, торжественное и вместе с тем, по причине своей неуловимости, может быть, совершенно ничтожное, которое подстерегает и повсюду преследует его, может произойти по коварному недоразумению в тот самый миг, когда перестаешь быть зрителем и становишься

действующим лицом, сам при этом не ведая, откуда ты взялся вдруг на этих подмостках.

В самом деле, где он был сейчас? Ответить трудно. Возможно, он был уже где-то не здесь. Никогда раньше не мог бы он вообразить, что некая пугающе важная вещь, мысль о которой не покидает его ни на мгновение, будет всего лишь неуловимым и неприметным перемещением в пространстве и сможет сливаться со словами, пейзажами, сценами, которые память держала до этой поры на внушительном расстоянии. Пыльная дорога, что ведет через бедную деревушку к зацветшей зеленой луже, прежде жила только в памяти, но вот он уже шагает по ней! Запахи мела, пота и дров, застоявшиеся в мрачной классной комнате, где сквозь высокие окна, забранные решетками, виден клочок низкого и облачного северного неба, — он их уже вдыхает! Затянутое тучами небо — оно глядит на него, глядит на все эти лица, это Анриетта? Кто? Улыбка на круглом загорелом лице, которое все чаще появляется перед ним в эти последние ночи, и необъятная мягкая грудь, такая огромная, такая пористая и ноздреватая, что она поглощает тебя целиком, точно коварный сон, одаряя загадочной болью, как музыкальная фраза, где мелодия тщетно ждет

разрешения, как бесприютная жалоба, которой выпала доля шагать и шагать без конца по земле, то повышаясь, то понижаясь, пока она не разрешится аккордом, где дрожит диссонанс, боль неизлечимой неуверенности, когда невозможно узнать, кто же именно перед тобой, и путница оборачивается, оглядывает красный горизонт, и кольнувшее вдруг сомнение относительно этой мягкой груди, в которой вдруг обнаруживается тонкий контур портрета, правильный овал лица с серыми глазами, с тонким, крепко сжатым ртом, и точно такой же рот у Commendatore, и глаза у Commendatore такие же, и та же ямочка на подбородке, он ее обнаружил в зеркале, когда взглянул на себя сквозь туман дурноты, и две струйки пота с каждой стороны заострившегося носа, ямочка на подбородке, ее дерзость еще больше бросается в глаза из-за этого краха, дерзость тщетная и смехотворная, ибо находишься «на краю смерти», ты это понял сразу, еще до того, как были получены результаты всех сложных обследований. Это знаешь всегда заранее, и звери тоже про это знают: они без всяких сцен и истерик покорно ожидают конца; в углу губ пена, во рту странный вкус, отдающий металлом и солью, и холод в руках, в посиневших ногах, холод, извечный враг солдата,

но, пока есть вино, пока есть старые газеты и на живот намотан фланелевый пояс, еще можно держаться, и он бредет по изрытой рытвинами равнине, вокруг, точно вбитые в зеленоватую глину колья, торчат обрубленные деревья, а на дне ям и рытвин намерз лед, и белеют пятна снега, и луна над рытвинами, над окопами, над пятнами снега, над оврагами, и запах того времени, когда звучало: «Держите на север и северо-восток, лейтенант», и Полярная звезда, луна, холод, который поднимается от мертвой земли, «твои корни», черные лоснящиеся вороны на обрубках деревьев.

Лунный луч скользнул по глазам — Рени вскочил, выпустил шнурок звонка, он нащупал платок, машинальным движением вытер мокрые губы, повернул голову, чтобы взглянуть на часы. К великому огорчению, не было еще двенадцати. Как холодно, господи боже мой, как холодно!

При этом он весь в поту. Он натягивает одеяло, выпивает глоток воды, у которой, кажется, сегодня несвежий вкус, глядит опять на часы, на тюбики со снотворным и на круглую коробку с розовыми пилюлями; снаружи слышен привычный плеск, а со стороны коридора доносится дыхание, размеренное, глубокое, в четком ритме

и с легким присвистом, — настоящий и крепкий сон, такой желанный и такой опасный!

Темная комната понемногу обретает враждебность. Он ждет. Смутная боль гнездится в левом плече, и внезапно, в тот миг, когда ему мнится, что он снова погружается в сон, его опять охватывает разочарование, которое он ощутил, когда глядел на часы, — разочарование, даже отчаяние, невыносимое до тошноты. Нет, он не хочет, не хочет… Чего он не хочет? Он ищет слово, не может найти, и тогда тошнота превращается в ужас. Вороны и рытвины — они в этой комнате, и окоченевшая Полярная звезда сверкает жестоким блеском, а он идет по краю рва, где затаились когти, готовые вцепиться в него и потащить на дно.

Когда Commendatore приходит в себя, он сидит на кровати, меж ребер громко стучит барабан, ощущение холода стало еще острее, по спине и груди струится по-прежнему пот. Позвать? Он вслушивается в отдаленное дыхание и понимает, что звать не станет. Дыхание, его дурацкая размеренность, эта налаженность отлично действующей здоровой машины порождают в нем только гнев, яростный гнев.

«Ночь безумна, эта ночь безумна», — повторяет он вполголоса, тут же удивляясь, что ему удается

говорить, но странное дело, фраза, которую он произносит еще раз, чтобы услышать звук своего голоса, действует на него благотворно, она будто вносит порядок в ту сумятицу импульсов, образов и недомогания, которая только что терзала его. Он встает, чувствует легкое головокружение, но оно проходит, как только он открывает окно. К счастью, движение сфер привело бодрствующее ночное светило к самому дому, и его милосердный свет широко льется в комнату вместе с запахами воды и кипарисов, чьи ветви нежно перебирает теплый ветерок. Веяние другого мира…

Успокоившись, Commendatore проходит на террасу, видит мертвенно-бледный сад, и изъеденный проказой бархатистый диск, который дрожит в бассейне, и в просвете между деревьями лодку и перевозчика. И возможно, как раз в эту минуту перед ним с предельной ясностью предстает то, чего он желал на протяжении многих дней и многих ночей, сходных с этой ночью, отчетливо предстает диковинное желание, на которое мы уже намекали, связанное, несомненно, с растущими гуморальными нарушениями, но также и с растущей неуверенностью по отношению к реальному миру, — сумасбродная тяга к самопроверке! Старый демон, который

всегда поддерживал его, говорит с ним в эту ночь дыханием трепетной лагуны, дыханием всего этого белого мира, который есть лишь изнанка погруженной во мрак комнаты и затопленных подземелий, населенных горестными кошмарами, с ним говорит другой мир, который очень похож на мир силков и ловушек по причине неверности своих границ и своего жидкого естества, чья зыбкость еще больше подчеркнута мерцанием светила, изливающего на землю и воду спокойный призыв к забвению.

Именно это, я думаю, ощущает сейчас Commendatore, и демон, пользуясь его слабостью и некоторой затуманенностью сознания, рисует ему все отчетливо и в деталях— испытание не во сне, а наяву, которое влечет его пойти по ночной дороге, чья безмятежная таинственность вызывает в памяти образы иного мира, столько раз виденного во сне, но при этом избавлена от мучительных призраков и искушений, — испытание это словно бы лишено всякой опасности. Старое, иссохшее тело трепещет в магическом порыве.

Commendatore возвращается в комнату, прислушивается на пороге коридора, тихо одевается, глотает одну розовую пилюлю, кладет коробочку с оставшимися в карман. И вот он уже шагает по

саду, уже подходит к мосткам, стараясь, чтобы гравий не скрипел у него под ногами. Безумное решение, которое он твердо принял, и предосторожности, достойные школяра, наполняют его восторгом; ему даже кажется, что в голове у него прояснилось. Липкие, засасывающие глубины исчезли. И как прежде, как всегда, когда он погружался в свою стихию и совершал поступки, он чувствует, что его озаряет и ведет за собой ясное, четко очерченное пламя!

Перевозчик, дремавший в лодке, довольно сносно говорит по-французски и без особых затруднений понимает его просьбу. Во всяком случае, она нисколько не удивляет его. А ведь просьба плохо вяжется и с этой фигурой, внушительной и одновременно хрупкой, молча занявшей место на корме, и с темным просторным пальто, в которое она кутается, несмотря на жару, и с лицом, которое в свете луны кажется лицом прокаженного…

А ночь поистине прекрасна! Дали, мягко оживляемые неясным колыханием сигнальных огней, мерцающие гирлянды буйков на рыбацких сетях и бакенов у молов; на берегу — Джудекка и огромный коралл Санта-Мариа-дел-ла Салюте; гондолы, в которых звучат серенады; слышатся

далекие голоса и смех; с приближением к молу начинает казаться, что ты причаливаешь к грандиозному празднеству, о котором здесь говорит всё — и обе колонны Пьяццетты, и Дворец дожей, по ступеням которой; так трудно бывает взбираться, но эти колонны и весь роскошный фасад сейчас залиты светом прожекторов, там же как стоящая чуть дальше Кампанилла; да, это в самом деле другой мир, из которого изгнано зловредное колдовство солнца. Сам вид набережной, где толпа теперь не так густа, как днем, и этот струящийся с неба свет, утративший синюю мертвенность, чтобы стать розовым и голубоватым, этот ртутный дождь на лепнине и куполах, отражающихся в непрозрачной воде, где они колышутся и дробятся в завихрениях и потоках, — все так неожидан но, так ново, так величественно, что на сей раз Commendatore не может остаться безучастным. Понадобилась вся ночь, чтобы он открыл наконец город, которого он m знал и которым пренебрегал во время дневных прогулок с Анриеттой, и вместо того чтобы образумиться, он лишний раз порадовался своему побегу.

Однако у него нет времени как-то согласовать это открытие со своими странными планами.

Мотор уже выключен, и лодка движется по инерции, приближаясь к гондоле, в которой стоит человек, чьим заботам с видимым отвращением собирается его препоручить перевозчик, — стоит жирный гермафродит с искусственным глазом.

Commendatore ощущает толчок, и чудодейственное возбуждение, которое поддерживало его, внезапно улетучивается. Опять поднимает голову усталость, напоминая ему, что при всех снотворных и успокаивающих она по-прежнему настороже. Ему хочется проглотить еще одну пилюлю, но в лодке это сделать трудно, а выйти на берег он боится. Старик перевозчик вступает в спор с гондольером, и хотя Commendatore не знает языка, он все же понимает, что его передадут попечениям эфеба и что спор идет о стоимости поездки; тот упорно торгуется, театрально жестикулирует и по-прокурорски завывает.

Но как прекрасен дворец со своей вереницею статуй! Как прекрасен остров, который они недавно покинули, и его церковь, похожая на большую перламутровую раковину! Как восхитительна пылающая линия дворцов вдоль Большого Канала, на которые он ни разу не бросил и взгляда! Его охватывает сожаление, но жалеть поздно. Он это знает, инстинкт старого прожигателя жиз-

ни уже в первую встречу, после домогательств смешного фотографа, подсказал ему, какого рода делами промышляет нахальный подросток. У парня теперь мертвенно-бледное лицо. Нужно ему довериться. Это в порядке вещей.

Традиционный торг вдруг представляется Рени неуместным. Он властно прерывает его, вызывая поток благодарностей и благословений, перебирается в гондолу и решительно усаживается на подушки; правда, он несколько смущен явной растерянностью старика перевозчика, который наклоняется к нему и шепчет дружеские советы; в них можно уловить слова «вор» и «ждать». Черт побери! Он прекрасно знает, что его обкрадывают, но ему на это наплевать! И его уже ничуть не заботит, что гондола уходит все дальше от ярких огней и погружается в сумрачный лабиринт, во власть которого он отдан желанием. Желанием? Честно говоря, он не мог бы сейчас объяснить, какой смысл вкладывает он в это слово. Свое испытание он обрядил в маскарад проверки собственной мужественности, но старый демон избирает причудливые дороги, и нелегко бывает понять, чего он в самом деле хочет. Демон долго закрывал ему доступ на дно, парализовал его мысли, путал ложными воспоминаниями.

Сегодня он приподнял плиту — и явь смешалась со сном… Не в зыбучих ли топях того, что прежде звалось сновидением, выковал демон свой план? И, поманив утолением нехитрого желания (такого простого и ясного, исполненного такой физиологической благодати) и двусмысленными декорациями ночного моря, озаренного бледной луной, заставил наконец пуститься в это плавание к преисподней?

Рени вздыхает, устраивается поудобней на подушках, и гондола беззвучно скользит в мире, который становится все более беззвучным, тесным и сумрачным. Мерцающий свет фонаря на носу освещает плывущие навстречу контуры мостков и парапетов, поросшие мхом, и изборожденные трещинами пролеты мостов, щербатые камни высоких глухих стен, решетки, обитые гвоздями двери с молотком, подворотни с лампами, подвешенными на железных столбах. Влажность возрастает, кожа становится мокрой, шест гондольера поднимает из глубины запах тины, прорезаемый то миазмами гниения, то ароматами кухни. Справа и слева мгновенным видением возникает вход в канал — узкая черная траншея, в которой посверкивают неясные отблески; порою мелькнет желтый огонек дальней лодки,

где-то в бесконечности — мосты и арки, иногда крохотная площадь и кафе с пустынной террасой, прилепившейся тут к изголовью церквушки, там к неведомому дворцу, еще дальше, в мареве, — к кривым деревянным домишкам с резными украшениями на восточный манер, где плещется на ветру вывешенное для просушки белье; слабый неверный свет, которым залиты эти плавающие по грязи островки, совершенно безмолвные или овеянные журчаньем фонтана, кажется все более удивительным по мере того, как длится поездка и переходы во мраке становятся продолжительнее и сложнее. У путешественника кружится голова, он закрывает глаза или пытается не отрывать взгляда от светлой полоски на небе, где мерцает несколько звезд.

Он ощущает рядом, сзади себя, присутствие живого существа, слышит песенку, которую мурлычет кривой гондольер в такт движению своего шеста, слышит другие, более отдаленные песни, голоса, традиционный обмен приветствиями, когда встречаются две гондолы; он ощущает всю эту симфонию бликов, затемнений, сигналов, картин и протяжных народных песен, которые доносятся особенно отчетливо из-за сырости воздуха, из-за подступающих вплотную стен, из-за

гладкой и жирной водной поверхности, порождающей глуховатый, но далеко слышный резонанс, точно в залах дворца, где своды способствуют гулкому эху.

Наконец на повороте какого-то канала, такого узкого, что здесь не разойтись и двум лодкам, гондола останавливается. Путешественник не решается выйти на берег. От долгого сидения в одной позе у него онемела спина, и он очень устал. А главное, пока продолжалось плавание, он с горечью успел осознать очевидное: он совершил ошибку. Он дал себя обмануть бессоннице, наваждению, миражу!

Решающий момент, который нас почти не удивляет, ведь мы занимаем в этой истории более выгодное положение, поскольку можем с легкостью проследить все ее повороты. Итак, поздним вечером он видит на своем острове белый, облитый луною сад, впадающий в ночное море, и это неожиданное откровение увлекает его за собой. Он этим несказанно удивлен. Он цепляется за мысль о возвращении, но все напрасно. Реальность представляется ему необъяснимой и жестоко удручает его. Знакомый демон издевается над ним и словно вонзает ему в спину свои когти.

«Славная шуточка, правда? Вот что я сделал с тобою, старый безумец! Сам виноват! Я всегда был к твоим услугам, чтобы помешать тебе уступить своей слабости — своей мысли и ее зеркальному отражению, вывернутому наизнанку. Наш союз был возможен лишь до тех пор, пока тело твое хранило свою закалку. Твои склонности были безобидны, избыток соков находил для себя чашу, и если ты не всегда бывал слишком взыскателен к качеству этого сосуда, в том повинно отсутствие эстетического воспитания. Ты за это не отвечаешь, и мы с тобой ладили. Но когда рухнули барьеры, как ты не понял, что в тебе гнездится тайный порок? Высокая нравственность всегда ведет к катастрофе. Гляди же теперь, дуралей!»

Commendatore глядит, и урок, который он получает, — это нашептывание эфеба и подмигивание живого глаза, в отталкивающем контрасте с глазом мертвым на жирном лице; торг снова продолжается. Рени равнодушен, он уже ничего не боится: от любых шагов и поступков его удерживает не только сознание своей ошибки, которое мы предвидели, но и все то неожиданное, что он обнаруживает вокруг.

Гондола причалила у подножия высокого дома, фасад которого перегружен лепными украшени-

ями и неразличимыми в полумраке фигурами. На том берегу канала виднеется низкая стена, на нее спускаются растения висячего сада, а над крышами высится пальма! Легкий ветерок колышет большие длинные листья на ее верхушке и сквозь тошнотворный запах отбросов приносит явственный аромат цветка. Рени удивлен, что способен воспринять этот аромат, а еще удивлен, что вокруг, если не считать неприятной физиономии гондольера, уже не стало ничего подозрительного, ничего нечистого, грязного: как только увидел он пальму, облитую трепетной белизной ласкового света, как только услышал запах ее невидимого цветка, тайная подземная жизнь города словно бесследно растаяла. Кругом опять было то безмятежное обаяние сада, кипарисов, живой лагуны, от которого он ушел и которое казалось уже навсегда перечеркнутым лабиринтами гниющей воды!

Он больше ничего не понимает, и вместе с тем ему кажется, что он все понимает, — на него нисходит некая интуитивная ясность, по поводу которой он бы хотел более основательно поразмыслить на досуге; не та ли это самая ясность, какую пыталась открыть ему Анриетта перед своей нелепой «Грозой»? Или, может быть, та,

которую сам он, незрячий и глупый, провидел рядом с другим полотном — да, да, он вспоминает теперь, конечно, провидел, — когда глядел на каскады света и мрака, которые уступами поднимаются к вершине холма, беря начало от ствола другой пальмы, и где тот же ласковый свет идет мерцающими пеленами от ствола к стволу, от одной водяной площадки к другой, дробясь и сверкая металлическим блеском под взглядом присевшей на камень молодой женщины, чья голова окружена сумрачным нимбом. Значит, для того чтобы это понять, он должен был явится сюда, в это злачное место, вместе с молодым негодяем? Это открытие повергает его в безграничное изумление…

Commendatore отталкивает от своей груди чужую жадную руку, сует гондольеру банковские билеты, с трудом поднимается с сиденья. Вот когда дает себя знать старость, его усталость! Он ее узнаёт, узнаёт головокружение, узнаёт свинцовую тяжесть, которой наливается все его тело. Какое-то смутное опасение удерживает его на пороге, когда этот отвратительный шут берется за рукоятку грязного дверного молотка, но тут же Рени понимает: что бы дальше ни произошло, все будет только пустою формальностью, лишенной

всякого значения.

Мы с вами не стали бы сопровождать его в этот пошлый дом свиданий, если б тому, что должно последовать, не предшествовало видение. Особенность взгляда преображает реальность, и мы сейчас вправе себя спросить: тот ли это человек перед нами, чей жизненный путь мы очертили? Он и сам уже предчувствует происходящие в нем перемены, несмотря на головокружение от усталости, на тошнотворный вкус во рту, очень сходный с тем, что он почувствовал в своем последнем сне, несмотря на туман перед глазами, и он делает огромное усилие, чтобы держаться нормально; его осаждают бесчисленные вопросы, и прежде всего они касаются посетившего его видения — той безмятежности, которой веяло от стены висячего сада и от того восточного дерева, которое гордо вознеслось над крышами, трепеща на фоне черного неба. Испытание меняет свою природу. Куда оно теперь его поведет? Мы это узнаем, если потерпим еще немного, потерпим еще столько времени, сколько потребуется ему, чтобы посмотреть вокруг этим совсем новым взглядом, ради обретения которого он отправился против собственной воли к этим смрадным каналам.

Мысль о зеркале вновь возникает по аналогии со множеством грязных и тусклых зеркал, украшающих вестибюль; они вправлены в позолоченные рамы поразительного уродства. «Ах, какое забавное новшество!» — так и подмывает его сказать традиционной, закутанной в шаль матроне, которая встречает его с раболепной учтивостью и через каждое слово величает его все тем же фальшивым титулом Commendatore.

«Весь твой церемониал мне прекрасно знаком, бедная старая сводница, я знаю его наизусть! А ведь в основе всего — примитивнейшая потребность, запрос здорового тела, все соки которого находятся в равновесии и которому следует предоставлять требуемое удовольствие, максимально экономя при этом время: ведь скупость в этих вопросах — ключ успеха, секрет моего восхождения, успеха и восхождения, с которыми, впрочем, я уже сам не знал, что мне делать. У меня никогда не было времени оглядеться, посмотреть на самого себя, но этой ночью, когда рухнули все преграды, я себя наконец вижу, и вот я пришел к тебе, чтобы присутствовать при последнем акте драмы, ибо пальма дозволяет мне это. Я всегда проходил где-то рядом с самим собою, понимаешь? И так оно было даже лучше

— из-за школьного сундучка, из-за кормилицы».

Этот внутренний монолог, несколько возбужденный и, пожалуй, чересчур торжественный, он заканчивает уже наедине с собой, ибо матрона исчезла, и он пользуется ее отлучкой, чтобы проглотить еще одну розовую пилюлю. Он ожидает в гостиной; она вся в лепнине, обшита панелями; по стенам вьется слой почерневшей штукатурки под мрамор; между бесчисленными трюмо с мутными зеркалами намалеваны виды лагуны и празднеств на Большом Канале вперемежку с буколическими сценами, где резвятся сатиры и нимфы; все эти фрески сильно облупились, на них темные пятна сырости. С лепного потолка свисает ветвистая хрустальная люстра, на этажерках расставлены безделушки из фарфора и муранского стекла, вроде тех, что как-то принесла после одной из своих экскурсий Анриетта. Кружевные накидки на кожаных креслах, кожа потерлась, позеленела на швах. Все это придает обстановке некую не соответствующую этому месту обветшалость, во всяком случае, здесь весьма мало венецианского и гораздо больше от лавки старьевщика… Немного придя в себя, ощущая благотворное действие розовой пилюли, Commendatore с иронией думает о том, каких

денег будет ему стоить это развлечение, весьма посредственное и старомодное, если судить по гостиной, вкусить каковое у него просто не хватит сил и интерес к которому ему кажется столь же устаревшим, как сама эта гостиная.

Да, сладострастием жалким и убогим веяло от обстановки, и если мы все же изображаем ее, то лишь ради взгляда, каким теперь смотрит на нее он. Проследуем же за содержательницей дома через коридор в другую гостиную. За накрытым столом сидят в ожидании еды живущие здесь дамы; по дороге происходит короткая остановка, для того чтобы договориться о цене, которая в общем соответствует нашим предположениям, но приличия требуют немного поторговаться. Помещение освещено канделябрами с электрическими лампочками в виде свечей, которые отбрасывают тени на розовые перегородки; если подумать, этот зал со своим длинным столом смахивает на некое судилище, и преображенный Рени думает об этом и вспоминает сумрачный лабиринт, который сюда ведет.

Вороватое, медлительное скольжение параллельно струящейся жиже и разрезанному подворотнями небу, долгое, медлительное скольжение, а впереди дрожащим султаном маячит

нос гондолы и поблескивают по бокам поперечные каналы, и так до тех пор, пока всю душу не перевернет вдруг аромат невидимого цветка, и вот уже Commendatore отдает себя на растерзание алчной групп с любопытствующих девиц, чьи мишурные одеяния в фольклорном стиле — шали с бахромой, массивные гребни, обильные румяна — и способные вызвать удушье благоухания говорят о средиземноморской породе, с которой превосходно согласуется их возраст, увядшая кожа и худоба; последняя особенно заметна благодаря теням от торшеров с канделябрами и придает их облику нечто воронье. В подобные подземелья можно попасть по шатким мосткам бессонницы — после долгого падения очутиться в странном подвале, где сгрудились затянутые в свою униформу судьи: двадцать пять шушукающихся гарпий, которые заунывно перебирают нескончаемый перечень ваших проступков и прегрешений, и перечисление это тем более ошарашивает, что вменяемые вам в вину действия касаются самых заурядных жизненных обстоятельств. Оказывается, сами о том не ведая, вы совершали тяжкие проступки, и вот теперь этот ужас… Но успокойся!

Эти безобидные жалкие существа на самом де-

ле не желают тебе дурного, они вовсе не гарпии, они не отличаются ни красотою, ни безобразием, они преисполнены доброй воли и нежности, а нежность тебе сейчас очень нужна! Когда ты переступаешь порог коридора, у тебя опять кружится голова, ты чувствуешь тяжесть в ногах и приступ внезапного отвращения; такого отвращения ты не испытывал никогда в жизни, оно — плата за твое открытие, которое делает твое присутствие здесь еще более мучительным.

К счастью, эти дамы более проницательны, чем хозяйка, в их взгляде на него можно прочесть тревогу и то уважение, с каким итальянская женщина всегда относится к мужчине вообще и к старику в частности. К тому же охвативший его было ужас уступает место озабоченности, ибо Рени прислушивается к тому, что творится с его организмом; от усталости тело наливается страшной тяжестью, а благородная пальма, увенчанная серебристым нимбом, нависает над зловонным коридором.

И чуть позже, в спальне, где горит ночник и стоит широкая кровать с деревянной панелью и лепными золочеными спинками, а сквозь оконный переплет с зеленоватыми стеклами виден угол одной из тех странных — освещенных и

пустых — площадей, что словно парят над глянцевитой чернотой излучин, он спрашивает себя, откуда этот мир и покой, снизошедший в его душу через плечо женственного негодяя, несмотря на его стеклянный, полный дикой, неосознанной злобы глаз, — коренится ли этот покой в самом пейзаже, или его следует объяснить новым состоянием души, достичь которого ему не удавалось целых тридцать пять лет. Тридцать пять лет! Нет, пожалуй, даже больше… Он начинает подсчитывать, наш Commendatore, — надо будет спросить у Анриетты, надо будет ответить на все встающие перед ним вопросы, если только время будет к нему милосердно.

Хрупкая надежда! Дно «мысли» с каждой минутой делается все более вязким, и Рени бьет, как пловец, ногами, чтобы, оттолкнувшись от дна, вынырнуть на поверхность. Он опять видит себя глядящим еще в одно зеркало, которое поставлено здесь для отражения кровати, чья гладкая белизна манила бы, приглашая к былому крепкому сну, не будь это белое поле постели подпорчено сейчас фигурой унылого гостя, фигурой такой знакомой и такой в этот миг чуждой тому, кто глядит на нее: некто в темно-синем костюме, которого он не снял по причине холода,

и с белым как мел лицом покоится рядом с розовой белизной — с живой белизной женщины, которую он все же попросил раздеться, отчасти для того, чтобы успокоить ее, внушить ей иллюзию привычного выполнения своего долга, но, главное, для того, чтобы с восхищением смотреть на нее. Он не решается ей об этом сказать, и она никогда не узнает об оказанной ей чести. Нет, красивой ее не назовешь: у нее крючковатый нос и слишком большой рот, но тело вполне сносное, а почтенному созерцателю просто необходимо сейчас убедиться, что он, — действительно существует, это дивное диво — молодо здоровое тело!

И он восхищается, он растерянно созерцает, он грустно ослеплен кожей, излучающей теплоту, гибкой крепостью мышц, налитой грудью, равномерной и мощной пульсацией крови под теплою кожей, ослеплен щедрым ветвлением голубоватых жилок, тонкой чувствительностью слизистых оболочек, чернотой волосяного покрова — а запах живого существа, это великое чудо! Его сердце переполнено признательностью и жалостью, он улавливает чудовищную связь, существующую между черным автоматом и блистательной анатомией. И ему начинает казаться, что образ отступает, становится негативом фо-

тографии, теряет реальность. Черный человек уходит вдаль все дальше и дальше. Картина затуманивается, он медленно поднимает руку, чтобы послать ей прощальный привет, и его втягивает в себя неумолимая спираль дурноты, и картина исчезает, растворяется в колокольном звоне.

* * *

Однако отсрочка, которой он так жаждал, была все же дарована ему судьбой, и мы можем проследить за нашей историей со стороны, когда она фактически уже завершена; ибо в каждом занимающем нас событии после периода неуверенности и даже после того, как чаши весов примут, казалось бы, окончательное положение, судьба все равно припасет еще одно, переходное состояние, плоды которого весьма прихотливы и которое может опечалить, но может порой и утешить, позволяя свершиться тому, что прежде казалось химерой; в этих случаях все получается так, будто феи, которые не захотели явиться к колыбели новорожденного, охвачены вдруг запоздалыми угрызениями совести.

Придя в себя, наш путешественник слышит смутный шум спора, в котором стороны по молчаливому согласию, словно боясь повредить

больному, стараются говорить тихо; над ним что-то медленно раскачивается, глухо постукивает дерево о дерево. Он открывает глаза в мире сплошного тумана; оказывается, он лежит на дне лодки, накрытый дурно пахнущим одеялом, а перевозчик отвязывает причальный конец, понося на все корки невидимого собеседника, чей голос кажется почему-то знакомым. Набережная пустынна, памятники и дворцы погружены во мрак или в серую полутьму. Туман, из которого он вынырнул, приходя в себя, размывает контуры зданий; ближе к лагуне туман особенно густ, над поверхностью воды тянутся белые шлейфы; лишенная отражений вода стелется гладкой и неподвижной пеленой металлически-серого оттенка, вода темнее, чем небо, она переливается и струится, словно город и острова вот-вот вынырнут из глубин на поверхность.

Он не чувствует боли, но предельно измучен и, главное, очень слаб — любое движение стоит неимоверных усилий. Продолжая по-стариковски ворчать и бранить венецианцев («проклятая воровская порода, даже хуже неаполитанцев, даже еще хуже, мсье»), перевозчик завел Мотор, и свинцового цвета вода побежала вдоль борта. Commendatore ощутил огромное облегчение. На

него снизошло, окутало, словно ватой, сверхъестественное спокойствие скольжения по каналу и его призрачных дворцов. Нижние горизонты сознания были теперь выстланы уже не зыбучим вероломным песком, а шелковистой, пушистой субстанцией, которая все растворяла в своем безмятежном равнодушии.

Он с трудом повернулся, привстал — и разглядел шпиль Сан-Джорджо. Колокольня выступала из клубов тумана на бледно-сиреневом небе, где уже гасли звезды, оставляя после себя сверкающие крохотные пятна, и отражение медно-красного мерцания начинало скатываться от шпиля к куполам. Пронзительный голос гермафродита умолк, слышался только голос старого перевозчика, он заботливо справлялся о самочувствии Рени и, негодуя, рассказывал, что мсье бросили в гондолу, «как собаку». Узнал Рени и о том, что его спаситель родом из Пьемонта, и больше он ничего уже не слышал. Он погрузился в забытье.

Из этого забытья ему не суждено было выйти на протяжении всей выпавшей на его долю отсрочки. Его уложили на просторную кровать с белоснежными простынями в белой и синей комнате, такой прохладной и тихой. Время не разделялось уже на часы, а текло сплошным,

нечленимым потоком. Слабость была теперь благом, она смягчала все ощущения и не позволяла делать над собою усилия, мешающие «думать». Он больше не сдерживал себя, он спокойно отдавался течению мыслей и уже не удивлялся тому, что сцены, которые порождены были провалом в зыбучие пески, когда-то именовавшимся «сном», смешиваются с реальностью.

С реальностью? Имело ли сейчас это слово какой-нибудь смысл? Ведь время остановилось. Реальностью было реальное живое присутствие — в данном случае присутствие Анриетты Рени, той Анриетты, которая снова, в который уж раз, не проснулась, как он и боялся тогда в купе вагона, но блуждания в черном лабиринте стерли обиду. Больше того — и потому-то мы можем поверить в угрызения совести у фей и в их запоздалый подарок, — больше того, теперь и следа не осталось от той злости, что копилась в его душе тридцать пять лет и вновь было ожила из-за путешествия и мучительных гонок по дворцам и музеям!

Будь у него чуть побольше сил, мы сейчас могли бы присутствовать, я в этом уверен, при диалоге, о котором так мечтала незаменимая Анриетта на террасе кафе, присутствовать при разговоре, в котором речь пошла бы и о «Грозе» Джорджоне, и

о видении висячего сада, о трепещущей пальме… но у него не было сил говорить. Нужно ли об этом жалеть? Анриетта бесконечно внимательна и заботлива. Он всегда обнаруживает ее рядом в те мгновения, когда возвращается к ней из своих все более долгих отлучек, отлучек в туманный и ватный мир. Но даже и в этих видениях она не бежит больше бронзовым шагом к пяти куполам и квадриге, отлитой из пламенеющей бронзы. Тягостная двусмысленность, огорчительная двойственность ее лица, когда она оборачивается к нему и взмахивает сумкой с лекарствами, сменилась определенностью. Теперь он знает, что это кормилица — и одновременно портрет, спрятанный на дне сундучка, он знает так же, что благодаря старому демону невозможное свершилось: достигнуто желанное единство.

Но если это свершилось, не будет ли позволительно предположить, что именно Анриетта облегчила ему этот переход от сна к яви — помогла устранить провал во времени, прежде обрекавший это единение на неудачу? Кто знает? Она всегда бывала права. Очевидно, в этом путешествии с самого начала заложено было нечто, что с каждым новым поворотом событий вызревало все больше и больше. И кто знает, не

предчувствовал ли уже Commendatore ясность и гармонию последних своих часов, когда его так потрясло искусство великих венецианских мастеров? Ведь они как никто сумели отобразить на своих полотнах таинственный знак. Вспомним про каскад мрака и лунного света, белого, точно проказа, света, который, переходя от пальм к водоворотам, взбираясь со скалы на скалу, поднимается к облачному столпу под взглядом Марии Египетской.

Чем больше Рени слабел, чем чаще, перемежаясь с мимолетными улучшениями, случались с ним кратковременные приступы бреда, вызванные увеличением содержания мочевины в крови, тем чаще произносил он странные, лишенные смысла фразы, вроде «над домом благостная бодрствует луна». И Анриетта одобряла его, подтверждала его правоту, он ощущал ее полное согласие с тем, что так его волнует. Это восхищало его. Он все время спрашивал:

— Ты здесь?

— Ну конечно. Я всегда здесь.

— Тебе пора укладывать вещи.

— Но зачем?

— Для путешествия. Ты все проверишь…

Он не отпускал ее от себя ни на шаг, и вот что

примечательно и позволяет нам говорить, что она ему помогала: Анриетта тем больше радовалась, чем больше он закабалял ее. Она снова была необходимой, снова незаменимой, как и в начале их совместной жизни, — и уже не потому, что владела его лекарствами.

«Не желает ли она сейчас искупить свою вину, свое непростительное легкомыслие, свою непростительную небрежность? Вспомните его фразу в поезде, вспомните ее экскурсию в Мурано!»

Нет, скорее мне хотелось бы верить следующему.

То, чего она так тщетно искала по возвращении из Академии, когда ее волновало странное чувство и она вдруг увидела под портиком одинокую фигуру на стуле и кафе, и то, что Commendatore, со своей стороны, вынес из ночной одиссеи, этот его новый взгляд поверх плеча кривого гондольера, — два этих откровения слились воедино в синей и белой комнате на острове, предназначенной им судьбой, слились воедино, чтобы подарить им на конец то, чего они были лишены на протяжении всей своей жизни.

Вспомните также: в далекую теперь пору начала болезни Commendatore упрямо расходовал остаток своих сил на то, чтобы отказываться от

ее забот. А теперь он сам просит и требует их неустанно! Ни днем, ни ночью сиделка не знает покоя. Неужели это все тот же мужчина — тот, которому теперь надо менять белье, которого надо мыть, кормить, поворачивать и который с каждым днем уходит чуточку дальше, немного глубже погружается в шелковистую субстанцию и в свои видения, содержание коих мы взяли на себя смелость вам рассказать? Вы понимаете, куда я клоню: чем ближе и неотвратимее конец, тем больше стремится она приблизить начало — начало их отношений, — тем ярче расцветает в ее душе сострадание — единственно доступная Анриетте форма страсти.

Как же иначе истолковать ее странный возглас, когда смерть наконец стала смертью, когда усталое старое сердце, так долго пребывавшее «на краю смерти», остановилось и Commendatore с невероятно худым, до неправдоподобия съежившимся, крошечным лицом лежал на спине и на белых простынях недвижно покоились чудовищно исхудавшие руки — две длинные, обтянутые синеватой кожей кости, — как истолковать ее возглас, тот же самый, что вырвался из ее груди тридцатью пятью годами раньше, возле госпитальной койки, на которой лежал лейтенант

Пьер Рени:

— Господи! Руки… Руки у него как у ребенка, совсем как у ребенка!

Она рыдает, бедная Анриетта, но так ли уж будет оскорбительно для нее, если мы предположим, что в ее страдальческом возгласе есть толика тайного восхищения?

И, быть может, таким образом раскрывается загадка юной крестьянки, которая кормит грудью ребенка среди странных развалин, под взглядом солдата или соглядатая, стоящего в углу картины, — тайна «Грозы», которая желтым своим зигзагом перечеркивает нависшую над стена ми города тучу.

Да, вот оно, истинное чудо Венеции!

**Симона де Бовуар. ПРЕЛЕСТНЫЕ КАРТИНКИ**
***Перевод Ленины Зониной***

*Клоду Ланзману*



## Глава 1

«Октябрь в этом году просто небывалый», — говорит Жизель Дюфрен; они кивают, улыбаются, летний жар струится с серо-голубого неба. (Что в них есть такое, чего мне не хватает?) Совершенная картинка, уже воспроизведенная в «Плэзир де Франс» и «Вотр Мезон»[8], ласкает их взор: ферма, купленная по дешевке, за ломоть хлеба, ну, пусть хлеба с маслом, — перестройка которой Жан-Шарлем влетела в тонну икры («Миллионом больше, миллионом меньше, не обеднею», — сказал Жильбер), розы у каменной стены, хризантемы, астры, далии, «красивейшие в Иль-де-Франс», — говорит Доминика; зонты и кресла — голубые и лиловые — до чего смело! — выделяются на зелени лужайки; лед позвякивает в бокалах; Удан целует руку Доминике, тонюсенькой в своих черных брюках и ослепительной блузке; светлые волосы седеющей блондинки, со спины ей дашь тридцать лет. «Никто не умеет

**[8] Примечания: 8**

Иллюстрированные журналы, посвященные благоустройству квартир, домов, усадеб.

принимать, как вы, Доминика». (В эту минуту в другом саду, совсем ином и в точности таком же, кто-то произносит те же слова и та же улыбка приклеивается к другому лицу: «Какое чудесное воскресенье!» Почему я об этом думаю?)

Все было безукоризненна: солнце и ветерок, жаровня— барбекью, сочные бифштексы, салаты, фрукты, вина. Жильбер рассказывал о путевых и охотничьих приключениях в Кении, а потом углубился в японскую головоломку — надо найти место еще шести кусочкам, а Лоранс предложила им тест с паромщиком, и они загорелись, они обожают удивляться самим себе и смеяться друг над другом. Весь день Лоранс была в ударе, ее подавленность сейчас — это реакция. (Я — циклотемичка[9].) Луиза играет с двоюродными братьями в глубине сада. Катрин читает перед камином, в котором трепещет легкое пламя; она похожа на всех счастливых девочек, читающих лежа на ковре. «Дон Кихот» на той неделе, теперь «Квентин Дорвард», не от этого же она плакала по ночам, но тогда отчего? Луиза была потрясена: «Мама, Катрин чем-то огорчена, она плачет ночью». Учителя ей нравятся, у нее новая подружка,

**[9] Примечания: 9**

Человек, страдающий психическим заболеванием, которое выражается в циклической резкой перемене настроений.

она здорова, дома весело.

— Опять в поисках формулировки? — говорит Дюфрен.

— Мне надо убедить людей обшивать стены деревянными панелями.

Удобно: стоит ей отключиться, все считают, что она подыскивает формулировку. Разговор идет о неудавшемся самоубийстве Жанны Тексье. Держа сигарету в левой руке и приподняв правую, точно предупреждая, чтоб ее не прерывали, Доминика говорит своим властным, хорошо поставленным голосом:

— Не так уж она умна, карьерой она обязана мужу, но все же, если ты одна из самых заметных женщин в Париже, непозволительно вести себя как мидинетка!

В другом саду, совсем ином и в точности таком же, кто-то говорит: «Доминика Ланглуа обязана своей карьерой Жильберу Мортье». А это несправедливо, она проникла на радио в сорок пятом и всего добилась собственными силами — работала, как лошадь, топтала тех, кто ей мешал. Почему им так нравится перемывать друг другу косточки. Они наверняка говорят — Жизель Дюфрен в этом не сомневается, — что мама заарканила Жильбера из корысти — этот дом, путешествия,

не будь Жильбера, ей были бы не по карману, это верно, — но он дал ей нечто большее: она ведь все-таки слегка растерялась, когда бросила папу (он бродил по дому как неприкаянный, уж очень безжалостно она покинула его, едва Марта вышла замуж); своей самоуверенностью она обязана Жильберу. (Разумеется, можно было бы сказать…)

Юбер и Марта возвращаются из лесу с огромными охапками веток. Высоко подняв голову, она бодро вышагивает с улыбкой, застывшей на губах: святая, пьяная от радостной любви к богу, эту роль она играет с той поры, как обрела веру. Они занимают свои места на голубых и лиловых подушках, Юбер закуривает трубку, которую он — последний человек во Франции — еще именует «старушкой носогрейкой». Улыбка паралитика, грузное тело. Путешествуя, он надевает черные очки: «Обожаю путешествовать инкогнито». Прекрасный дантист, посвятивший весь свой досуг «тьерсе»[10]. Понимаю, что Марта ищет, чем заполнить жизнь.

— В Европе летом не найдешь ни одного пляжа, где можно вытянуть ноги, — говорит Домини-

---

**[10] Примечания: 10**
Ставка на трех первых лошадей в заезде.

ка, — а на Бермудах пляжи огромные, почти пустынные, и никто тебя не знает.

— Короче, дыра-люкс, — говорит Лоранс.

— А Таити? Почему вы не хотите поехать снова на Таити? — спрашивает Жизель.

— В пятьдесят пятом на Таити было прекрасно, теперь там хуже, чем в Сен-Тропезе. Это так вульгарно…

Двадцать лет прошло. Папа называл Флоренцию, Гренаду; она говорила: «Все туда едут. Это так пошло… Путешествовать вчетвером в машине: семейство Фенуйяр[11]». Он ездил по Италии, по Греции без нас, а мы проводили каникулы в шикарных местах — во всяком случае, тогда Доминика считала их шикарными. Теперь она пересекает океан, чтоб принять солнечную ванну. На рождество Жильбер повезет ее в Баальбек…

— Говорят, прекрасные пляжи на бразильском побережье, и притом совершенно безлюдные, — говорит Жизель. — И можно заскочить в новую столицу. Мне бы так хотелось повидать Бразилиа.

— Ну нет! — говорит Лоранс. — С меня хватает

---

**[11] Примечания: 11**

Путешествующие мещане — персонажи сатирической иллюстрированной книги Кристофа.

новых районов на окраинах Парижа, от них просто тоска берет! А тут целый город такой!

— Ты вроде своего отца — пассеистка[12], — говорит Доминика.

— А кто из нас не пассеист? — говорит Жан-Шарль. — В эпоху ракет и автоматики люди сохраняют тот же образ мыслей, что и в девятнадцатом веке.

— Только не я, — говорит Доминика.

— Ты во всем исключение, — говорит Жильбер убежденно (или скорее с пафосом: он всегда как бы смотрит на себя со стороны).

— Во всяком случае, рабочие, которые построили город, придерживаются моего мнения: они не пожелали расстаться со своими деревянными домами.

— У них не было выбора, дорогая Лоранс, — говорит Жильбер. — Квартирная плата им не по средствам.

Его рот округляется в улыбке, точно он извиняется за свое превосходство.

— Бразилиа — это теперь уже вчерашний день, — говорит Дюфрен. — Это еще архитектура, в которой крыша, дверь, стена, труба существуют

---

**[12] Примечания: 12**

Человек, для которого все прекрасное связано с историческим прошлым.

самостоятельно. Теперь поиски идут по линии создания синтетического дома, где каждый элемент поливалентен: крыша сливается со стеной и ниспадает в патио.

Лоранс недовольна собой; она сказала глупость, ясное дело. Вот что значит говорить о вещах, которых не знаешь: «Не говорите о том, чего не знаете», — учила мадемуазель Уше. Но тогда и рта не раскроешь. Она молча слушает, как Жан-Шарль описывает город будущего. Неведомо почему грядущие чудеса, которых он собственными глазами не увидит, приводят его в восторг. Он пришел в восторг, когда узнал, что человек сейчас на несколько сантиметров выше, чем в средние века, а средневековый был, в свою очередь, крупнее доисторического. Позавидуешь, что они могут относиться ко всему этому со страстью. Вот уже в который раз Дюфрен и Жан-Шарль с неослабевающим пылом рассуждают о кризисе архитектуры.

— Кредиты найти необходимо, согласен, — говорит Жан-Шарль, — но иными путями. Отказаться от собственной атомной силы — значит выпасть из истории.

Никто не отвечает; в тишине раздается вдохновенный голос Марты:

— Если бы все народы мира согласились на разоружение! Вы читали последнее послание Павла Шестого?

Доминика нетерпеливо обрывает ее:

— Очень авторитетные люди говорили мне, что если война разразится, то не пройдет и двадцати лет, как человечество вновь достигнет современной стадии развития.

Жильбер поднимает голову, ему осталось пристроить всего четыре кусочка:

— Войны не будет, дистанция между капиталистическими и социалистическими странами скоро будет сведена к нулю. Мы перед лицом великой революции двадцатого века — производство сейчас важнее, чем собственность.

«Зачем же тогда тратить столько средств на вооружение?» — думает Лоранс. Но у Жильбера наверняка и на это есть ответ, а у Лоранс нет никакого желания оказаться еще раз посрамленной. К тому же Жан-Шарль уже ответил: без бомбы мы бы уже выпали из истории. А что это, собственно, значит? Очевидно, это было бы катастрофой, вид у всех подавленный.

Жильбер оборачивается к ней с милой улыбкой:

— Приходите в пятницу. Хочу, чтоб вы послу-

шали мою новую стереорадиолу «Хай-Фай».

— Такую же, как у Карима и Александра Югославского, — говорит Доминика.

— Истинное чудо, — говорит Жильбер. — Послушаешь и перестанешь воспринимать музыку обычной радиолы.

— В таком случае я отказываюсь ее слушать, — говорит Лоранс. — Я слишком люблю музыку. (Ничего подобного. Я сказала это ради красного словца.)

Жан-Шарль очень заинтересован:

— Минимально, сколько стоит вся система?

— Моноустановку вы можете получить за триста тысяч старых франков, это минимум, жесткий минимум. Но это не то, совсем-совсем не то.

— А чтоб это было по-настоящему хорошо, что-нибудь около миллиона? — спрашивает Дюфрен.

— Послушайте, за хорошую моносистему надо заплатить от шестисот тысяч до миллиона. Я вам советую лучше брать моносистему, чем посредственную стерео. Стоящий многокаскадный усилитель продается за пятьсот тысяч франков.

— Я так и думал: минимум миллион, — говорит Дюфрен со вздохом.

— Есть способы потратить миллион глупее, — говорит Жильбер.

— Если Вернь получит заказ в Русильоне, я сделаю нам подарок, — говорит Жан-Шарль Лоранс. Он поворачивается к Доминике: — Он придумал потрясающий план городка отдыха, который там собираются строить.

— У Верня всегда потрясающие идеи. Но их не часто осуществляют, — говорит Дюфрен.

— Они будут осуществлены. Вы с ним знакомы? — спрашивает Жак-Шарль у Жильбера. — До чего увлекательно с ним работать; вся мастерская живет в ощущении подъема: чувствуешь себя не исполнителем, а творцом.

— Это самый крупный архитектор своего поколения, — ставит точку Доминика. — Он в крайнем авангарде урбанизма.

— Я предпочитаю все же работать у Монно, — говорит Дюфрен. — Мы не творцы, мы исполнители. Зато больше зарабатываем.

Юбер вынимает трубку изо рта.

— Стоит обдумать.

Лоранс встает, улыбается матери:

— Я стащу у тебя несколько далий?

— Конечно.

Марта тоже встает; она отходит вместе с сестрой.

— Ты видела папу в среду? Как он?

— У нас он всегда весел. Пререкался с Жан-Шарлем для разнообразия.

— Жан-Шарль тоже не понимает папу. — Марта взглядом советуется с небом. — Он такой особенный. Папа по-своему причащен божественному. Музыка, поэзия — для него это молитва.

Лоранс склоняется к далиям, от этого лексикона ее коробит. Действительно, у него есть что-то, чего нет у других, нет у нее (но что есть у них всех, чего у меня тоже нет?). Розовые, красные, желтые, оранжевые — она сжимает в руке великолепные далии.

— Хорошенький денек, девочки? — спрашивает Доминика.

— Чудесный! — восторженно говорит Марта.

— Чудесный, — вторит Лоранс.

Свет меркнет, она не прочь вернуться домой. Она колеблется. Она тянула до последней минуты: попросить о чем-нибудь мать ей так же трудно, как в пятнадцать лет.

— Мне надо тебя о чем-то попросить.

— О чем же? — голос Доминики холоден.

— Это касается Сержа. Он хотел бы уйти из университета. Его привлекает работа на радио или на телевидении.

— Тебе отец дал это поручение?

— Я встретила у папы Бернара и Жоржетту.

— Ну и как они? Продолжают разыгрывать Филемона и Бавкиду?

— О, я видела их всего минуту!

— Скажи твоему отцу раз и навсегда, что я не контора по устройству на работу. Я нахожу просто неприличным, что меня пытаются эксплуатировать таким образом. Я никогда ничего не ждала от других.

— Ты не можешь ставить папе в вину, что он хочет помочь своему племяннику, — говорит Марта.

— Я ставлю ему в вину, что он ничего не может сделать сам. — Доминика жестом отметает возражения. — Будь он мистиком, траппистом, я поняла бы. (Вот уж нет, думает Лоранс.) Но он предпочел роль посредственности.

Она не прощает ему, что он стал парламентским секретарем-редактором, а не крупным адвокатом, как она рассчитывала, выходя замуж. «Встал на запасный путь», — говорит она.

— Уже поздно, — говорит Лоранс. — Я поднимусь навести красоту.

Немыслимо позволить, чтоб на отца нападали, а защищать его и того хуже. Когда она думает о нем, у нее сжимается сердце, точно она в чем-то

виновата. Оснований, собственно, нет — я никогда не брала сторону мамы.

— Я тоже поднимаюсь, мне надо переодеться, — говорит Доминика.

— Я присмотрю за детьми, — говорит Марта.

Очень удобно. С тех пор, как Марта ищет святости, она жаждет взвалить на себя все повинности и извлекает из них столь высокое блаженство, что можно все спихнуть на нее, не испытывая угрызений совести.

Причесываясь в комнате матери — а чертовски это красиво, деревенский дом в испанском стиле, — Лоранс делает последнюю попытку:

— Ты в самом деле ничего не можешь для Сержа?

— Нет. — Доминика подходит к зеркалу. — Ну и лицо у меня! В мои годы невозможно целый день работать и каждый вечер выезжать. Мне бы надо поспать.

Лоранс рассматривает мать в зеркале. Прелестная, совершенная картинка: женщина, которая стареет красиво. Стареет. Этого Доминика не приемлет. Она впервые сдает. Болезни, жестокие удары — ей все было нипочем. И вдруг в ее глазах смятение.

— Не могу поверить, что в один прекрасный

день мне будет семьдесят.

— Ни одна женщина не держится лучше тебя, — говорит Лоранс.

— Фигура в порядке, я никому не завидую. Но взгляни на это.

Она показывает на глаза, шею. Конечно, ей уже не сорок.

— Тебе уже не двадцать, конечно, — говорит Лоранс. — Но многие мужчины предпочитают поживших женщин. Доказательство — Жильбер…

— Жильбер… Чтоб его сохранить, я убиваю себя светской жизнью. Это может обернуться против меня.

— Ну что ты!

Доминика надевает костюм от Баленсиаги. Только не от Шанель: тратишь миллионы, а выглядишь, точно одеваешься на Блошином рынке. Она шепчет:

— Эта стерва Мари-Клер. Ни за что не дает развода: только чтоб мне насолить.

— Может быть, она уступит в конце концов. Мари-Клер наверняка говорит: «эта стерва Доминика».

Во времена Люсиль де Сен-Шамон Жильбер жил вместе с женой, вопрос о разводе даже не возникал, поскольку у Люсиль были муж, дети.

Доминика заставила его разъехаться с Мари-Клер; разумеется, если он согласился, значит это его устраивало, но Лоранс тогда сочла, что мать слишком жестока:

— Заметь, жить вместе с Жильбером очень рискованно. Он любит свободу.

— Да и ты тоже.

— Да.

Доминика поворачивается перед трюмо и улыбается. На самом деле она в восторге от того, что будет обедать у Вердле. Министры ей импонируют. До чего я недоброжелательна, думает Лоранс. Это ее мать, она к ней привязана. Но это и чужая женщина. Кто прячется за картинками, мелькающими в зеркале? А может, никто?

— У тебя все в порядке?

— В полном. Порхаю от успеха к успеху.

— А девчонки?

— Ты видела. Процветают.

Доминика задает вопросы, так положено, но она сочла бы неприличным, если б ответы Лоранс были тревожными или хотя бы подробными.

В саду Жан-Шарль склонился над креслом Жизель: легкий флирт, который льстит им обоим (и Дюфрену тоже, я полагаю), каждый внушает другому, что у них мог бы быть роман, хотя им

обоим это ни к чему. (А если бы вдруг они завели роман? Думаю, что меня это не тронуло бы. Значит, бывает любовь без ревности?)

— Так я рассчитываю на вас в пятницу, — говорит Жильбер. — Когда вас нет, скучно.

— Полно!

— Уверяю вас. — Он с чувством пожимает руку Лоранс, точно они тайные сообщники; поэтому-то все и находят его очаровательным. — До пятницы.

Лоранс настойчиво приглашают в гости, все любят бывать у нее: она сама не понимает, почему.

— Чудесный день, — говорит Жизель.

— При нашей парижской жизни без разрядки никак нельзя, — говорит Жан-Шарль.

— Без этого не обойдешься, — говорит Жильбер.

Лоранс устраивает девочек на заднем сиденье, запирает дверцы, садится рядом с Жан-Шарлем, и они трогаются по дорожке следом за машиной Дюфренов.

— Самое удивительное в Жильбере — это то, что он сохранил простоту, — говорит Жан-Шарль. — Когда подумаешь о лежащей на нем ответственности, о его могуществе. Ничуть не важничает.

— А зачем ему?

— Ты плохо к нему относишься, это понятно. Но не будь несправедливой.

— Да нет, почему? Хорошо.

Хорошо ли? Она, пожалуй, ко всем хорошо относится. Он не разглагольствует, это правда, говорит она себе. Но ни для кого не тайна, что он руководит одной из самых крупных в мире компаний по производству электронных машин, он один из создателей общего рынка.

— Интересно, в какой цифре выражаются его доходы, — говорит Жан-Шарль. — Практически они неограниченны.

— Мне было бы страшно иметь столько денег.

— Он умно ими пользуется.

— Да.

Странно: когда Жильбер рассказывает о своих путешествиях, он очень забавен. А через час совершенно невозможно вспомнить, что он говорил.

— Уикэнд в самом деле удачный.

— В самом деле удачный.

И снова Лоранс задумывается: что есть у них, чего нет у меня? О, не стоит волноваться; бывают такие дни, когда встаешь с левой ноги и ничто не радует: к этому надо уже привыкнуть. И все же

Лоранс спрашивает себя: что же неладно? Внезапно ее охватывает безразличие. Она ощущает себя отъединенной, точно чужой. Депрессию, которая охватила ее пять лет назад, ей объяснили; немало молодых женщин проходит через подобный кризис; Доминика посоветовала ей тогда вырваться за пределы дома, работать, и Жан-Шарль согласился, увидев, сколько я зарабатываю. Теперь у меня нет никаких оснований расстраиваться. Работа, люди вокруг, я довольна жизнью. Нет, мне ничто не угрожает. Просто настроение плохое. С другими тоже так бывает, и они, я уверена, не делают из этого никаких историй. Она оборачивается к детям:

— Вам было весело, мои хорошие?

— О да! — горячо говорит Луиза.

Запах палой листвы проникает в открытое окно; звезды сверкают на чистом кебе детства, и внезапно Лоранс становится совсем хорошо.

«Феррари» обгоняет их, Доминика машет рукой, легкий шарф полощется на ветру, она действительно очень эффектна. И Жильбер выглядит отлично для своих пятидесяти шести лет. Прекрасная пара. В сущности, она права, требуя, чтобы в положение была внесена ясность.

— Они подходят друг другу, — говорит Жан-

Шарль. — Для их возраста они красивая пара.

Пара. Лоранс рассматривает Жан-Шарля. Она любит мчаться в машине рядом с ним. Он внимательно следит за дорогой, и она видит его профиль, так волновавший ее десять лет назад, он ее и сейчас еще трогает. Когда она глядит ему прямо в лицо, Жан-Шарль уже не тот, она его видит по-другому. Лицо у него умное, энергичное, но, — как бы это сказать, — остановившееся, как все лица. В профиль, да еще в полумраке, рот кажется мягче, глаза — мечтательней. Таким он возник перед ней одиннадцать лет назад, таким возникает и теперь, когда его нет рядом, а иногда на мгновение, когда они сидят бок о бок в машине. Они не разговаривают. Молчание — подобие сообщничества: оно выражает согласие, слишком глубокое для слов. Возможно, это иллюзия. Но пока колеса поглощают дорогу, пока дети дремлют, пока Жан-Шарль молчит, Лоранс хочется в это верить.

От тревоги не остается и следа, когда Лоранс часом позже усаживается за свой стол: она немного устала, одурела от свежего воздуха, мысли ее где-то бродят. В свое время Доминика категорически пресекала это: «Нечего мечтать, займись чем-нибудь», — а теперь налагает запрет она

сама. Я должна найти эту идею, говорит она себе, беря ручку. Какая прелестная картинка, ее можно использовать для рекламы мебели, рубашек или цветов, она сулит надежность, счастье. Пара, шагающая по тротуару, вдоль набережной, под мягкий шелест деревьев, видит через окно идеальный интерьер: под абажуром погружен в чтение журналов мужчина, молодой и элегантный, в пуловере из козьей шерсти; молодая женщина за столом, с пером в руке; гармония черных, красных, желтых тонов, удачно подчеркнутая (счастливое совпадение) красными и желтыми пятнами далий. (Только что, когда я их рвала, это были живые цветы.) Лоранс думает о сказочном короле, прикосновение которого все превращало в золото, и вот его дочь стала великолепной металлической куклой. Все, к чему прикасается она, превращается в картинки. ДЕРЕВЯННЫЕ ПАНЕЛИ ПОМОГУТ ВАМ СОЧЕТАТЬ УРБАНИСТИЧЕСКУЮ ЭЛЕГАНТНОСТЬ С ПОЭЗИЕЙ ЛЕСА. Сквозь черную листву она замечает журчащее поблескивание реки; идет пароход, прощупывая берега ярким глазом. Луч озаряет стекла, грубо высвечивает объятия влюбленных; для меня это картинка прошлого, тогда как я для них — картинка нежного будущего, и

я, и мои дети, спящие, как они догадываются, в глубине квартиры. ДЕТИ ПРОСКАЛЬЗЫВАЮТ В ОГРОМНОЕ ДУПЛО И ОБНАРУЖИВАЮТ ТАМ ВОСХИТИТЕЛЬНУЮ КОМНАТУ, ОБШИТУЮ ПАНЕЛЯМИ ИЗ НАСТОЯЩЕГО ДЕРЕВА.

Она всегда была картинкой. За этим следила Доминика, с детства околдованная картинами жизни, так не похожими на ее собственную, и упрямо стремившаяся — всем своим умом и недюжинной энергией — заполнить этот ров. «Тебе не понять, каково это, когда у тебя рваные ботинки и ты сквозь носок чувствуешь плевок, по которому прошла, тебе не понять, каково это, когда подружки с чистыми, блестящими волосами разглядывают тебя, подталкивая друг друга в бок локтем. Нет, с пятном на юбке ты не выйдешь, пойди переоденься». Безупречная девочка, идеальный подросток, совершенная молодая девушка. Ты была сама ясность, свежесть, совершенство, говорит Жан-Шарль.

Определенным, свежим, совершенным было все: голубая вода бассейна, изысканный стук теннисных мячей, белые пики гор, клубы облаков на гладком небе, аромат сосен. Каждое утро, раскрывая ставни, Лоранс видела перед собой великолепную фотографию на глянцевой

бумаге: в парке отеля юноши и девушки, одетые в светлое, загорелые, отполированные солнцем, как галька. Внезапно, в один прекрасный вечер, когда мы возвращались с прогулки, в остановившейся машине его губы на моих губах, этот ожог, головокружение. Тогда на много дней и недель я перестала быть картинкой, я была плотью и кровью, желанием, наслаждением. И снова я погрузилась в ту тайную негу, которую знавала некогда, сидя у ног отца или держа в руке его руку… И это повторилось полтора года назад с Люсьеном. Огонь в моих жилах, размягченность до мозга костей. Она прикусывает губу. Если бы Жан-Шарль знал! В сущности, между ним и Лоранс ничто не изменилось. Люсьен — это совсем другое. Впрочем, он уже не волнует ее, как прежде.

— Пришла идея?

— Придет.

Внимательный взгляд мужа, красивая улыбка молодой женщины. Ей часто говорят, что у нее красивая улыбка: она ее чувствует на своих губах. Идея придет. Вначале всегда трудно, нужно избежать множества использованных штампов, множества ловушек. Но она свое дело знает. Я продаю не деревянные панели: я продаю надеж-

ность, успех и капельку поэзии в придачу. Когда по совету Доминики она занялась рекламой, то преуспела так быстро, что впору было поверить в призвание. Надежность. Дерево воспламеняется не чаще камня или кирпича: намекнуть на это, не вызвав и мысли о пожаре. Вот где нужна сноровка.

Внезапно она встает. Плачет ли Катрин и сегодня вечером?

Луиза спит. Катрин глядит в потолок. Лоранс склоняется к ней:

— Ты не спишь, мой милый? О чем ты думаешь?

— Ни о чем.

Лоранс целует ее. В чем дело? Это не похоже на Катрин, какие-то тайны. Она откровенна и даже болтлива.

— Думают всегда о чем-нибудь. Попробуй рассказать мне.

Катрин мгновение колеблется; улыбка матери помогает ей.

— Мама, зачем мы существуем?

Вопрос из тех, которые дети обрушивают вам на голову в то время, как вы думаете только о продаже деревянных панелей. Нужно ответить сразу:

— Мое сокровище, папе и мне было бы очень грустно, если бы ты не существовала.

— А если бы вы тоже не существовали?

Какая тоска в глазах у девочки, с которой я обращаюсь все еще как с младенцем. Откуда у нее этот вопрос? Вот, значит, почему она плачет.

— Разве сегодня ты не радовалась, что все мы — ты, я, люди вообще — существуем?

— Да.

Кажется, она не очень убедила Катрин. Лоранс осеняет.

— Люди существуют, чтоб делать счастливыми друг друга, — говорит она с жаром. Она горда своим ответом.

Лицо Катрин замкнуто, она думает или скорей ищет слова.

— Ну, а те люди, которые несчастливы, зачем они существуют?

Так. Вот мы и добрались до самого главного.

— Ты видела несчастных людей? Где же, мой маленький?

Катрин молчит. Чем-то она напугана. Где же? Гойя — веселая, да она и по-французски почти не говорит. Живем в богатом квартале: ни бродяг, ни нищих; значит, книги? Товарищи?

— Среди твоих подруг есть несчастные?

— О нет!

Тон кажется искренним; Луиза ворочается в кровати; Катрин пора спать; она явно ничего не скажет, понадобится время, чтоб она на это решилась.

— Послушай, мы поговорим обо всем завтра. И если ты знаешь несчастных людей, мы попробуем что-нибудь для них сделать. Можно ухаживать за больными, дать деньги бедным, можно сделать так много…

— Ты думаешь? Для всех?

— Будь уверена, я плакала бы круглые сутки, если бы знала, что есть люди, которым нельзя помочь в несчастье. Я тебе обещаю, что мы найдем, как им помочь. Я тебе обещаю, — повторяет она, гладя Катрин по волосам. — Спи теперь, моя маленькая.

Катрин натягивает одеяло, закрывает глаза. Голос, поцелуи матери ее успокоили. Но завтра? Как правило, Лоранс избегает неосторожных обещаний. А уж такого опрометчивого она никогда не давала.

Жан-Шарль поднимает голову.

— Катрин рассказала мне сон, — говорит Лоранс.

Правду она ему откроет завтра. Не сейчас. По-

чему? Он внимателен к дочерям. Лоранс садится, делает вид, что поглощена своими поисками. Не сейчас. Он предложит немедленно десяток объяснений. Она хочет разобраться сама до того, как он даст ответ. Что же неладно? Я в ее возрасте тоже плакала. Как я плакала! Возможно, поэтому я теперь никогда не плачу. Мадемуазель Уше говорила: «От нас будет зависеть, чтобы эти люди умерли не напрасно». Я ей верила. Она еще многое говорила: быть человеком среди людей! Она умерла от рака. Лагеря уничтожения, Хиросима — в 1945-м хватало причин, чтобы выбить из колеи одиннадцатилетнего ребенка. Столько ужасов, Лоранс думала тогда, что все это не может быть пережито напрасно, она пыталась поверить в бога, в потустороннюю жизнь, где каждый будет вознагражден. Доминику нельзя упрекнуть: она разрешила ей побеседовать со священником, она даже выбрала ей умного священника. Да, в 1945-м все это было естественно. Но если сегодня моя десятилетняя дочь рыдает, виновата я. Доминика и Жан-Шарль обвинят меня. С них станет послать меня к психологу. Катрин очень много читает, слишком много, и я не знаю в точности что: у меня нет времени. Во всяком случае, я придавала словам иной смысл, чем она.

— Можешь себе представить, в одной нашей Галактике — сотни обитаемых планет! — говорит Жан-Шарль, задумчиво постукивая пальцем по журналу. — Мы похожи на кур, запертых на птичьем дворе и полагающих, что это и есть мир.

— О, даже на Земле мы загнаны в маленький круг, узкий до невозможности.

— Только не теперь. Пресса, путешествия, телевидение, мы живем планетарно. Ошибка заключается в том, что мы принимаем планету за вселенную. В конце концов, к восемьдесят пятому году солнечная система будет исследована… Это не возбуждает твое воображение?

— Честно говоря, нет.

— Ты лишена фантазии.

Я не знаю даже людей, которые живут этажом ниже, Лоранс. Про тех, что в квартире напротив, ей многое, через стенку: течет вода в ванной, хлопают двери, радио извергает песенки и призывы пить «Бананию», муж распекает жену, а она после его ухода — дочь. Но что происходит в остальных трехстах сорока квартирах дома? В других домах Парижа? В Люблинфе она знает Люсьена, немного Мону, несколько лиц, несколько имен. Семья, друзья, крошечная замкнутая система. И другие системы такие же неприступные. Мир

всюду вне нас. Войти в него невозможно. И все же он проскользнул в жизнь Катрин, он ее пугает, и мой долг — ее оборонить. Как примирить ее с тем, что несчастные люди существуют, как заставить ее поверить, что они перестанут быть несчастными?

— Ты не хочешь спать? — спрашивает Жан-Шарль.

Сегодня ее не осенит ни одна идея, нечего упорствовать. Ее улыбка повторяет улыбку мужа:

— Я хочу спать.

Ночной ритуал, веселый шум воды в ванной комнате, кровати, пижама, пахнущая лавандой и светлым табаком. Жан-Шарль курит, пока душ смывает с Лоранс дневные заботы. Быстро снять грим, накинуть тонкую рубашку, она готова. (Отличное изобретение — пилюля, которую проглатываешь утром, чистя зубы: все эти процедуры были занятием не очень-то приятным.) На белизне свежей постели рубашка вновь скользит по коже, слетает через голову, она отдается нежным объятиям нагого тела. Радость ласк. Наслаждение острое и блаженное. После десяти лет супружества совершенное физическое согласие. Да, но жизни это не меняет. Любовь тоже гладка, гигиенична, обыденна.

— Да, твои рисунки очаровательны, — говорит Лоранс.

Мона действительно талантлива: она придумала смешного человечка, которого Лоранс часто использует для рекламных компаний, — немного слишком часто, считает Люсьен, лучший мотиватор фирмы.

— Но? — говорит Мона. Она сама похожа на свое создание: лукава, язвительна и изящна.

— Тебе известно, что говорит Люсьен. Нельзя злоупотреблять юмором. Дерево стоит дорого, тут не до шуток— в данном случае цветное фото подействует лучше.

Лоранс отложила две фотографии, выполненные по ее указаниям: высокая роща, таинственная, поросшая мхом, мягкие, роскошные блики на старых стволах; молодая женщина в воздушном неглиже улыбается посреди комнаты, обшитой деревянными панелями.

— Они попросту вульгарны, — говорит Мона.

— Вульгарны, но притягательны.

— Кончится тем, что меня вышвырнут, — говорит Мона. — В этой конторе рисунок уже не котируется. Вы всегда предпочитаете фото.

Она складывает свои эскизы и спрашивает с любопытством:

— Что такое с Люсьеном? Ты с ним перестала встречаться?

— Ничего подобного.

— Ты никогда не просишь у меня алиби.

— Еще попрошу.

Мона выходит из кабинета, и Лоранс снова принимается редактировать текст под картинкой. Душа у нее к этому не лежит. Вот так разрывается работающая женщина, иронически говорит она себе.

(Она разрывалась куда больше, когда не работала.) Дома она подыскивает формулировки, на службе думает о Катрин. Вот уже три дня, как она не думает ни о чем другом.

Разговор был долгим и невнятным. Лоранс спрашивала себя, какая книга, какая встреча взволновала Катрин: Катрин хотела знать, как можно уничтожить несчастье. Лоранс рассказала ей о тех, кто занимается социальной опекой, заботится о стариках и неимущих. О врачах, сестрах, которые вылечивают больных.

— Я могу стать врачом?

— Если будешь хорошо учиться, разумеется.

Лицо Катрин просветлело; они помечтали вместе о ее будущем; она станет лечить детей, их мам, конечно, тоже, но главное — детей.

— А ты? Что ты делаешь для несчастных людей?

Безжалостный взгляд ребенка, для которого нет правил игры.

— Я помогаю папе зарабатывать нам на жизнь. Благодаря мне ты сможешь учиться и лечить больных.

— А папа?

— Папа строит дома для людей, которым негде жить. Это тоже один из способов оказать им услугу, ты понимаешь.

(Отвратительная ложь, но где спасительная правда?) Недоумение Катрин не рассеялось. Почему не накормят досыта всех людей? Лоранс снова принялась расспрашивать, и девочка заговорила, наконец, о плакате. Действительно ли в плакате было дело или за этим скрывалось еще что-то?

Может быть, в конце концов плакат и объяснял все. Власть картинки. «Две трети мира голодают» — и голова ребенка, такая прекрасная, с непомерно расширенными глазами и сжатым ртом, таящим ужас. Для меня это только знак — знак того, что борьба с голодом продолжается. Катрин увидела голодного сверстника. Я вспоминаю, какими бесчувственными мне казались взрослые, — мы столького не замечаем, то есть

мы замечаем, конечно, но проходим мимо, потому что сознаем свое бессилие.

Какой прок — на этом пункте, в порядке исключения, сходятся папа и Жан-Шарль — от угрызений совести? А та история с пытками, от которой три года тому назад я заболела, — к чему она привела? Мы вынуждены привыкать к ужасам, творящимся в мире, слишком уж их много: откармливание гусей, линчевание, аборты, самоубийства, истязания детей, дома смерти, девушки, искалеченные варварскими обрядами, расстрелы заложников, репрессии — видишь все это в кино, по телевизору и тут же забываешь. Со временем все это, безусловно, исчезает. Однако дети живут в настоящем, они беззащитны. Нужно было бы думать о детях, не следовало бы вывешивать на стенах подобные фото, говорит себе Лоранс. Гнусная мысль. Гнусная — словечко из моего лексикона пятнадцатилетней девочки. Что оно значит? У меня нормальная реакция матери, оберегающей дочь.

— Папа вечером тебе все объяснит, — заключила Лоранс.

Десять с половиной лет: самое время, чтобы девочка немного оторвалась от матери и сосредоточилась на отце. Он лучше, чем я, найдет

удовлетворительные аргументы, подумала она.

Вначале ей было неловко от тона Жан-Шарля. Не то чтоб ироничного или снисходительного — патерналистского. Потом он прочел целую лекцию, очень ясную, очень убедительную. До настоящего времени люди на земле были разобщены, они не справлялись с природой, были эгоистами. Этот плакат — доказательство того, что мы хотим все изменить. Сейчас мы можем производить гораздо больше продовольствия, чем раньше, быстро перевозить его из богатых стран в страны бедные: есть организации, специально занимающиеся этим. В голосе Жан-Шарля появились лирические ноты, как всегда, когда он говорит о будущем: пустыни покрылись злаками, овощами, фруктами, вся земля стала землей обетованной; откормленные молоком, рисом, помидорами и апельсинами, все дети широко улыбались. Катрин слушала как зачарованная: она видела праздничные сады и поля.

— Через десять лет не будет ни одного печального человека?

— Так нельзя сказать. Но все будут сыты. Все будут гораздо счастливее.

Тогда она сказала проникновенно:

— Я предпочла бы родиться через десять лет.

Жан-Шарль рассмеялся, гордый ранним развитием дочери. Он удовлетворен ее школьными успехами, слезы не принимает всерьез. Дети нередко теряются, переходя в шестой класс, а ее латынь занимает, по всем предметам у нее хорошие отметки. «Мы из нее кого-нибудь сделаем», — сказал мне Жан-Шарль. Да, но кого? Сейчас это ребенок, у которого тяжело на душе, и я не знаю, как ее утешить.

Звонит внутренний телефон. «Лоранс? Ты одна?» — «Да». — «Я зайду поздороваться». Он будет меня упрекать, думает Лоранс. Она и правда не уделяет ему внимания; после отпуска нужно было наладить дом, ввести Гойю в курс дел, Луиза болела бронхитом. Уже полтора года прошло после праздника в Люблинфе, на который по традиции не пригласили ни мужей, ни жен. Они много танцевали вместе — он отлично танцует, — целовались, и чудо повторилось: огонь в крови, головокружение. Они оказались у него в квартире. Вернулась ока только на заре, притворяясь пьяной, хотя ничего не пила, она никогда ничего не пьет; совесть ее не мучила: Жан-Шарль ничего не узнает, и продолжения не будет. Потом начались бурные переживания. Он меня преследовал, он плакал, я уступала; он рвал, я

страдала, высматривала красную «жюльетту», висела на телефоне; он возвращался, он умолял; оставь мужа— никогда; но я люблю тебя; он меня оскорблял, уходил, я ждала, надеялась, теряла надежду; мы вновь обретали друг друга; какое счастье, я так страдал без тебя, а я без тебя; признайся во всем мужу — никогда… Туда, обратно, туда, обратно, и всякий раз приходишь к тому же самому…

— Мне необходимо знать твое мнение, — говорит Лоранс. — Какой вариант ты предпочитаешь?

Люсьен наклоняется через ее плечо. Рассматривает две фотографии; ее трогает внимательность его взгляда.

— Трудно решить. Они играют на совершенно различных мотивировках.

— Какая действенней?

— Я не располагаю убедительной статистикой. Доверься своему чутью. — Он кладет руку на плечо Лоранс. — Когда мы поужинаем вместе?

— Жан-Шарль уезжает с Вернем в Русильон через неделю.

— Через неделю!

— Ну пожалуйста, у меня столько хлопот дома из-за дочки.

— Не вижу связи.

— А я вижу.

Давно знакомый спор: ты больше не хочешь видеть меня, да нет, хочу, пойми, я понимаю слишком хорошо… (Может быть, сейчас, в другом конце Галактики, другой Люсьен, другая Лоранс произносят те же слова? Во всяком случае, в других кабинетах, квартирах, кафе Парижа, Лондона, Рима, Нью-Йорка, Токио, возможно, даже в Москве.)

— Посидим где-нибудь завтра после работы, хочешь?

Он смотрит на нее с упреком:

— У меня нет выбора.

Он ушел рассерженный: жаль. Ему было трудно, но он заставил меня примириться с создавшейся ситуацией. Он знает, что она не разведется, но больше не угрожает разрывом. Он соглашается на все, почти на все. Он ей дорог, она отдыхает с ним от Жан-Шарля; они так непохожи: вода и огонь. Он любит читать сюжетные романы, вспоминать о детстве, задавать вопросы, фланировать. И потом, под его взглядом она ощущает собственную драгоценность. Драгоценность. Она поддалась; да, и она тоже. Думаешь, что тебе дорог мужчина, а на самом деле тебе дорого некое представление

о себе, некая иллюзия свободы или неожиданности, миражи. (Неужели это правда, или на меня так действует ремесло?) Она заканчивает редактуру. В конце концов выбирает молодую женщину в воздушном неглиже. Она запирает кабинет, садится в машину; пока она переодевает туфли и натягивает перчатки, ее внезапно охватывает радость. Мысленно она уже на Рю де л'Юниверсите, в квартире, заваленной книгами, пропахшей табаком. К сожалению, она никогда не остается там долго. Больше всех она любит своего отца, больше всех на свете, а видится куда больше с Доминикой. И так всю мою жизнь: я любила отца, а воспитывала меня мать.

«Вот скотина!» Она замешкалась на полсекунды, и какой-то толстяк у нее под носом захватил стоянку. Снова приходится кружить по узким улочкам с односторонним движением, где бампер стукается о бампер.

Подземные паркинги и четырехэтажные общественные центры, технический городок под ложем Сены — все это через десять лет. Я тоже предпочла бы жить на десять лет позже. Наконец-то свободное место! Сто метров пешком, и она попадает в другой мир: комната привратницы на старинный манер, плиссированные занавески,

запах кухни, тихий двор, каменная лестница, гулкое эхо шагов, когда по ней поднимаешься.

— Поставить машину становится все немыслимей.

— Ловлю тебя на слове.

В устах отца даже банальности не банальны: глаза его светятся огоньком сообщничества. Сообщничество по вкусу им обоим: они любят мгновения, когда близость такова, что кажется, они живут только друг для друга. Лукавый огонек поблескивает, когда, усадив ее, поставив перед ней стакан апельсинового сока, он спрашивает:

— Как поживает твоя мать?

— В полной форме.

— Кому она сейчас подражает?

Это их традиционная игра — повторять вопрос, поставленный Фрейдом в связи с одним случаем истерии. Доминика в самом деле всегда кому-нибудь подражает.

— Сейчас, по-моему, Жаклин Вердле. У нее та же прическа, и она сменила Кардена на Баленсиагу.

— Она встречается с Вердле? С этими подонками? Ее, правда, никогда не смущало, кому она пожимает руку… Ты с ней говорила о Серже?

— Она не хочет ничего сделать для него.

— Я был уверен.

— Не похоже, чтоб дядя и тетя были дороги ее сердцу. Она называет их Филемоном и Бавкидой…

— Это не очень справедливо. Полагаю, что моя сестра утратила немало иллюзий в отношении Бернара. Она уже не любит его по-настоящему.

— А он?

— Он никогда по-настоящему не ценил ее.

Любить по-настоящему, ценить по-настоящему. Для него в этих словах есть смысл. Он любил Доминику по-настоящему. А кого еще? Быть им любимой; существует ли на свете женщина, оказавшаяся достойной этого? Нет, конечно, иначе откуда бы взялась эта горькая складка в углах рта.

— Люди меня всегда удивляют, — возобновляет он разговор. — Бернар настроен оппозиционно, но находит вполне естественным, что его сын хочет работать на ОРТФ, являющийся вотчиной правительства. Наверно, я неисправимый старый идеалист: я всегда пытался согласовать свою жизнь со своими принципами.

— А у меня нет принципов, — говорит Лоранс с сожалением.

— Ты их не афишируешь, но ты порядочна, лучше так, чем наоборот, — говорит ее отец с

жаром.

Она смеется, отпивает глоток сока, ей хорошо. Чего бы она ни отдала за похвалу отца! Неспособного на компромиссы, интриги, равнодушного к деньгам, единственного на свете.

Он роется в пластинках У него нет стереорадиолы «Хай-Фай», зато множество пластинок, подобранных с любовью.

— Сейчас услышишь восхитительную вещь: новую запись «Увенчания Поппен».

Лоранс пытается сосредоточиться. Женщина прощается с родиной, с друзьями. Это красиво. Она глядит с завистью на отца: какое внутреннее богатство! Она искала этого в Жан-Шарле, в Люсьене, но обладает этим он один: на его лице отблеск вечности. Черпать силы в самом себе; быть очагом, излучающим тепло. Я позволяю себе роскошь угрызаться, упрекать себя в том, что недостаточно к нему внимательна, но нуждается не он во мне, а я в нем. Она смотрит на него, ищет, в чем его секрет, поймет ли она это когда-нибудь. Она не слушает. Музыка уже давно не доходит до нее. Патетика Монтеверди, трагизм Бетховена намекают на страдания, каких ей не дано было испытать; полновластные и усмиренные, пламенные. Ей знакомы горькие надломы,

раздражение, отчаяние, растерянность, пустота, скука, главное — скука. Скуку нельзя петь…

— Да, это великолепно, — говорит она с жаром. («Говорите, что думаете», — учила мадемуазель Уше. Даже с отцом это невозможно. Говоришь то, чего люди от тебя ждут.)

— Я знал, что тебе понравится. Я ставлю продолжение?

— Не сегодня. Я хотела с тобой посоветоваться. По поводу Катрин.

Тотчас он весь внимание, чуткий, не знающий готовых ответов. Когда она умолкает, он задумывается:

— У вас с Жан-Шарлем все в порядке?

Проницательный вопрос. Может, она и не плакала бы так над убитыми еврейскими детьми, если б в доме не стояло тяжкое молчание.

— В полнейшем.

— Уж очень быстро ты отвечаешь.

— Нет, правда все хорошо. Я не так энергична, как он; но как раз для детей полезно, что мы друг друга уравновешиваем. Если только я не слишком рассеянна.

— Из-за работы?

— Нет, мне кажется, я вообще рассеянна. Но не с девочками, с ними, пожалуй, нет.

Отец молчит. Она спрашивает:

— Что я могу ответить Катрин?

— Отвечать нечего. Раз уж возник вопрос, отвечать нечего.

— Но я должна ответить. Зачем мы существуем? Ну, ладно, это, допустим, абстракция, метафизика; этот вопрос меня не очень тревожит. Но несчастье — несчастье для ребенка нестерпимо.

— Даже в несчастье можно обрести радость. Но, признаюсь, убедить в этом десятилетнюю девочку не так-то просто.

— Как же быть?

— А так — я попробую с ней поговорить, понять, что ее волнует. Потом скажу тебе.

Лоранс подымается:

— Надо идти, пора.

Может, папе это удастся лучше, чем Жан-Шарлю и мне, думает Лоранс. Он умеет говорить с детьми, он со всеми находит нужный тон. И подарки он придумывает прелестные. Войдя в квартиру, он вытаскивает из кармана картонный цилиндр, опоясанный блестящими полосками, точно гигантский леденец. Луиза, Лоранс по очереди приникают к нему глазом: колдовство красок и форм, складывающихся, распадающихся, мелькающих, множащихся в убегающей

симметрии восьмиугольника. Калейдоскоп, в котором ничего нет; материалом ему служит мир — далии, ковер, занавески, книги. Жан-Шарль тоже смотрит.

— Это могут отлично использовать художники по тканям, по обоям, — говорит он. — Десять идей в минуту.

Лоранс подает суп, отец съедает его молча. («Вы не едите, вы питаетесь», — сказал он ей однажды; она, как и Жан-Шарль, совершенно равнодушна к радостям гастрономии.) Он рассказывает детям смешные истории и, не подавая виду, выспрашивает их. Вот Луна, забавно было бы прогуляться там, а им не страшно было бы отправиться на Луну? Нет, ни капельки, когда люди полетят туда, все будет проверено и так же безопасно, как путешествие на самолете. Человек в космосе ничуть не ошеломил их: на экране телевизора он показался им скорее неуклюжим; они уже читали об этом в комиксах, и как на Луну высаживаются тоже, их даже удивляет, что человек до сих пор не прилунился, им бы очень хотелось повидать этих людей, сверхчеловеков или недочеловеков — жителей других планет, о которых им рассказывал отец. Они описывают их, перебивая друг друга, возбужденные звуками собственных

голосов, присутствием дедушки и относительной роскошью обеда. А в лицее изучают астрономию? Нет. «Но в школе весело», — говорит Луиза. Катрин рассказывает о своей подруге Брижитт, которая на год старше и такая умная, о своей преподавательнице французского, которая немного глуповата. «Почему ты так думаешь?» — «Она говорит глупости». Больше из Катрин ничего не вытянешь. Уписывая ананасное мороженое, они умоляют дедушку взять их в воскресенье на прогулку, в машине, как он обещал. Показать им замки Луары, те самые, о которых рассказывается в истории Франции…

— Вам не кажется, что Лоранс тревожится без всяких оснований? — спрашивает Жан-Шарль, когда они остаются втроем. — В возрасте Катрин у всех умных детей возникают вопросы.

— Но почему у нее возникают именно эти вопросы? — говорит Лоранс. — Она же от всего ограждена.

— Кто сейчас огражден? — говорит отец. — А газеты, радио, телевидение, кино?

— За телевидением я очень слежу, — говорит Лоранс. — Газеты мы не разбрасываем.

Она запретила Катрин читать газеты; она ей объяснила на примерах, что, когда мало знаешь,

можно все понять превратно и что газеты часто лгут.

— Тем не менее всего ты не проконтролируешь. Ты знакома с ее новой подружкой?

— Нет.

— Пусть Катрин пригласит ее. Попробуй выяснить, что она собой представляет, о чем говорит с Катрин.

— Во всяком случае, Катрин весела, здорова, хорошо учится, — говорит Жан-Шарль. — Никакой трагедии нет, если девочка немного слишком чувствительна.

Лоранс хотелось бы думать, что Жан-Шарль прав. Когда она идет в комнату девочек, чтобы поцеловать их перед сном, они скачут на кроватях и, громко хохоча, кувыркаются. Она смеется вместе с ними, подтыкает одеяла. Но не может забыть тоскливого лица Катрин. Что такое эта Брижитт? Даже если она тут и ни при чем, я должна была ею поинтересоваться. Слишком многое я упускаю.

Она возвращается в living-room[13]. Ее отец и Жан-Шарль ведут один из бесконечных споров, повторяющихся каждую среду.

---

**[13] Примечания: 13**
Гостиная *(англ.)*.

— Ничего подобного, люди не утратили корней, — говорит Жан-Шарль нетерпеливо. — Ново то, что питает их почва всей планеты.

— Они теперь нигде, хотя и повсюду. Даже путешествия их не радуют.

— Вы хотите, чтоб путешествие было резкой переменой обстановки. Но земля превратилась в единую страну. Поэтому даже кажется странным, что необходимо время, чтобы перенестись из одного места в другое. — Жан-Шарль глядит на Лоранс. — Помнишь наше последнее возвращение из Нью-Йорка? Мы так привыкли к реактивным самолетам, что семь часов пути показались нам вечностью.

— Пруст говорит то же самое по поводу телефона. Не помните? Когда он вызывает бабушку из Донсьера. Он замечает, как злит его ожидание, потому что чудо голоса, слышимого на расстоянии, стало уже привычным.

— Не помню, — говорит Жан-Шарль.

— Нынешние дети находят нормальным, что человек прогуливается в космосе. Ничто никого больше не удивляет. Скоро техника обретет для нас естественность природы, и мы будем жить в абсолютно обесчеловеченном мире.

— Почему обесчеловеченном? Облик челове-

ка изменится, нельзя же замкнуть его в некое недвижное понятие. Но досуг поможет человеку вновь обрести ценности, которые вам так дороги: индивидуальность, искусство.

— Не к этому мы идем.

— К этому! Возьмите декоративные искусства, возьмите архитектуру. Фундаментальность уже не удовлетворяет. Происходит возврат к своего рода барокко, то есть к эстетическим ценностям. Все в твоих руках! Действуй. Начните работать чтобы жить.

Зачем? — думает Лоранс. Время от этого не пойдет ни быстрее, ни медленнее. Жан-Шарль живет уже в 1985-м, папа грустит по 1925-му. Он, по крайней мере, говорит о мире, который существовал, был им любим; Жан-Шарль выдумывает будущее, которое, может, никогда и не осуществится.

— Согласитесь, что раньше ничто так не уродовало местность, как железная дорога. Теперь НОЖД[14] и ОЭФ[15] прилагают огромные усилия, чтоб сохранить красоту французского пейзажа.

— Усилия скорее плачевные.

— Ничего подобного.

---

**[14] Примечания: 14**
Национальное общество железных дорог.

**[15] Примечания: 15**
Общество электрификации Франции.

Жан-Шарль перечисляет вокзалы, электростанции, гармонирующие с окрестностями. Верх в спорах всегда одерживает он, побивая фактами. Лоранс улыбается отцу. Тот решил замолчать, но выражение глаз, изгиб рта свидетельствуют, что он остался при своих убеждениях.

Сейчас он уйдет, думает Лоранс, опять она ничего не извлекла из встречи. Что у меня неладно? Я всегда думаю не о том.

— Твой отец — типичный образец человека, отказывающегося войти в двадцатый век, — говорит Жан-Шарль через час.

— А ты живешь в двадцать первом, — говорит Лоранс с улыбкой.

Она садится за свой стол. Она должна изучить результаты недавних исследований психологии покупателя, проводившихся под руководством Люсьена. Она открывает досье. До чего нудно, просто гнетуще. Глянец, блеск, лоск, мечта о скольжении, об отполированном существовании; секс, инфантилизм (безответственность); скорость, самоутверждение, тепло, надежность. Неужели все вкусы находят объяснение в столь примитивных стремлениях? Вряд ли. Неблагодарная работа у этих психологов: бесконечные вопросники, уловки, хитрости, а ответы всегда

одинаковы. Люди хотят нового — без риска, забавного — с гарантией солидности, достоинств — по дешевке. Перед ней всегда одна проблема: завлекать, удивлять, успокаивая; вот магический предмет, он потрясет вашу жизнь, ничего не потревожив. Она спрашивает:

— У тебя возникало много вопросов, когда ты был маленьким?

— Наверно.

— Ты уже не помнишь, какие?

— Нет.

Он снова погружается в книгу. Он утверждает, что начисто забыл свое детство. Отец — мелкий промышленник из Нормандии, два брата, нормальные отношения с матерью: никаких причин бежать от прошлого. Однако он никогда о нем не говорит.

Он читает. Раз это досье нагоняет на нее скуку, она могла бы тоже почитать. Что? Жан-Шарль обожает книги, которые ни о чем не говорят. «Ты понимаешь, самое потрясающее у этих молодых писателей, что они пишут не для того, чтоб рассказать какую-нибудь историю: они пишут, чтобы писать, точно камни складывают в кучу ради удовольствия». Она решилась однажды прочесть описание висячего моста, занимавшее

триста страниц, но не выдержала и десяти минут. Что до романов, которые рекомендует Люсьен, то они говорят о людях, о событиях, столь же далеких от моей жизни, как Монтеверди.

Пусть так. Литература для меня звук пустой. Но надо же хоть просвещаться: я превратилась в невежду! Папа говорил: «Лоранс станет, как я, библиотечной крысой». А вместо этого… То, что она отстала в первые годы брака, понятно, случай классический. Любовь, материнство — резкий эмоциональный шок, в особенности если замуж выходишь очень молодой, когда ум и чувства еще не достигли гармонического равновесия. Мне тогда казалось, что будущего нет: оно есть у Жан-Шарля, у девочек, но не у меня. К чему же мне читать? Порочный круг: я пренебрегала собой, скучала и чувствовала, что все больше себя утрачиваю. Причины ее депрессии были, конечно, более глубокими, но в психоаналитике она не нуждалась: она выбрала профессию, которая ее интересовала, и вышла из депрессии, обрела себя. А сейчас? Сейчас проблема изменилась: мне не хватает времени; вечно я в поисках идей, формул, это превращается в наваждение. И все же, когда она начала работать в Люблинфе, она, по крайней мере, читала газеты; теперь она полагается

на Жан-Шарля, он ее держит в курсе происходящего; этого недостаточно. («Составляйте обо всем собственное мнение!» — говорила мадемуазель Уше. Она была бы весьма разочарована, увидав меня сегодня!) Лоранс тянется за «Мондом», который валяется на столике. Ничего не получается: нельзя было терять нить — сейчас она тонет, все началось когда-то раньше. Что такое Бурунди? ОКАМ? Чем недовольны бонзы? Кем был генерал Дельгадо? Где, собственно, находится Гана? Она складывает газету, испытывая все же чувство облегчения: никогда ведь не знаешь заранее, на что рискуешь наткнуться. Как я ни бронировала свою шкуру, я далеко не так закалена, как они. «Женская склонность к содроганиям», — говорит Жан-Шарль, хоть он и сторонник женского равноправия. Я с этим борюсь; мне собственные содрогания противны, самое лучшее — избегать всего, что может их вызвать.

Она снова принимается за досье. Зачем мы существуем? Для меня это не проблема. Существуем, и все. Главное, не обращать внимания, взять разбег, и единым духом — до самой смерти. Пять лет тому назад бег пресекся. Я снова разогналась. Но время тянется долго. Падения неизбежны. Для меня проблема в том, что внезапно все рушит-

ся, точно на вопрос Катрин существует ответ, и ответ ужасающий! Нет, нет! Думать так — значит скатываться к неврозу. Я не упаду снова. Я предупреждена, вооружена, я держу себя в руках. Впрочем, подлинные причины тогдашнего кризиса мне ясны, они — в прошлом; я выяснила для себя, в чем состоял конфликт; мои чувства к Жан-Шарлю наталкивались на любовь, которую я испытывала к отцу; теперь этот разрыв меня не мучит, я откровенна с собой до конца.

Дети спят, Жан-Шарль читает. Где-то думает о ней Люсьен. Она ощущает себя в гнезде, в коконе собственной жизни, полной и теплой. Нужно только быть бдительной, и тогда ощущение надежности не даст трещины.

## Глава 2

Зачем я понадобилась Жильберу?

Окруженные влажными садами, пахнущими осенью и провинцией, все дома Нейи напоминают клиники. «Не говорите Доминике». В его голосе звучал страх. Рак? А может быть, сердце?

— Спасибо, что пришли.

Гармония серых и красных тонов, пол, затянутый черным бобриком, редкие издания на стеллажах из ценного дерева, две современные

картины с дорогостоящими подписями, стереорадиола со всеми аксессуарами, бар — вот такой кабинет миллиардера она должна продавать каждому клиенту, покупающему всего лишь купон репса или сосновую этажерку.

— Виски?

— Нет, спасибо. — У нее комок в горле. — Что случилось?

— Фруктового сока?

— С удовольствием.

Он наливает ей, наливает себе, кладет лед в ее стакан, не торопясь. Привычка чувствовать себя хозяином положения и высказываться, когда он считает нужным? Или ему неудобно?

— Вы хорошо знаете Доминику и можете мне дать совет.

Сердце или рак. Если Жильбер спрашивает у Лоранс совета, дело идет о чем-то серьезном. Она слышит слова, которые повисают в воздухе, лишенные всякого смысла.

— Я влюблен в молодую девушку.

— То есть как?

— Влюблен. От слова «любовь». В девятнадцатилетнюю девушку. — Его губы складываются в улыбку, он говорит отеческим тоном, точно объясняя умственно недоразвитому ребенку

нечто очень простое: — В наше время не так уж редко случается, что девятнадцатилетняя девушка любит мужчину, которому перевалило за пятьдесят.

— Значит, и она вас любит?

— Да.

Нет, беззвучно кричит Лоранс. Мама! Бедная моя мама! Она не хочет ни о чем расспрашивать Жильбера, не хочет облегчить ему объяснение. Он молчит. Она уступает, поединок с ним ей не по силам:

— И что?

— А то, что я женюсь.

На этот раз она кричит громко:

— Но это невозможно!

— Мари-Клер дала согласие на развод. Она знает и любит Патрицию.

— Патрицию?

— Да. Дочь Люсиль де Сен-Шамон.

— Это невозможно! — повторяет Лоранс. Она однажды видела Патрицию девочкой лет двенадцати, белокурой и манерной; и ее фотографию, датированную прошлым годом: вся в белом на первом балу; прелестная индюшка без гроша, которую мать швыряет в богатые руки. — Вы не бросите Доминику: семь лет!

— Именно.

Он подчеркнуто циничен, и рот его округляется, как бы выставляя улыбку напоказ. Он просто хам. Лоранс слышит, как колотится ее сердце, сильно, торопливо; она точно в страшном сне, когда не можешь понять, происходит ли все на самом деле или тебе показывают фильм ужасов. Мари-Клер согласна на развод: разумеется, она счастлива, что может напакостить Доминике.

— Но Доминика любит вас. Она думает, что на исходе дней вы будете вместе. Она не переживет, если вы бросите ее.

— Переживет, переживет, — говорит Жильбер.

Лоранс молчит. Слова бесполезны, она понимает.

— Ну, не сидите с таким удрученным видом. У вашей матери сильная воля. Она отлично отдает себе отчет в том, что женщина пятидесяти одного года старше мужчины, которому пятьдесят шесть. Она дорожит своей карьерой, светской жизнью, она примирится с разрывом. Я не знаю только — и об этом-то я и хотел с вами посоветоваться, — как наилучшим способом сообщить ей.

— Все способы дурны.

Жильбер глядит на нее с той покорностью, которая стяжала ему славу покорителя сердец:

— Я доверяю вашему уму, вашему мнению: должен ли я сказать ей только, что уже не люблю ее, или следует сразу заговорить о Патриции?

— Она не переживет. Не делайте этого! — умоляет Лоранс.

— Я скажу ей завтра днем. Постарайтесь увидеться с ней вечером. Нужно, чтоб кто-нибудь был около нее. Вы мне позвоните и скажете, как она реагировала.

— Нет, нет! — говорит Лоранс.

— Речь идет о том, чтоб все прошло как можно менее болезненно; я даже хотел бы иметь возможность сохранить ее дружбу; я желаю ей добра.

Лоранс поднимается и идет к двери; он хватает ее за руку.

— Не говорите ей о нашем разговоре.

— Я поступлю так, как сочту нужным.

Жильбер за ее спиной бормочет какую-то ерунду, она не подает ему руки, хлопает дверью. Она его ненавидит. Какое облегчение внезапно признаться себе: Жильбер мне всегда был отвратителен. Она шагает, наступая на опавшие листья, страх сгущается вокруг, как туман; и одна только жесткая, ясная очевидность пронзает этот мрак: я его ненавижу! Лоранс думает: Доминика возненавидит его! Она гордая, сильная.

«Непозволительно вести себя, как мидинетка!» Ей будет больно, но ее выручит гордость. Роль трудная, но красивая: женщина, приемлющая разрыв с элегантностью. Она погрузится в работу, заведет нового любовника… А что, если я сама поеду и предупрежу ее сейчас же? Лоранс сидит не двигаясь за рулем своей машины. Внезапно она покрывается по**т**ом, ей дурно. Невозможно, чтоб Доминика услышала слова, которые намерен сказать Жильбер. Что-нибудь стрясется: он умрет сегодня ночью. Или она. И земля полетит в тартарары.

Завтра — это уже сегодня; земля не полетела в тартарары. Лоранс ставит машину прямо у перехода, плевать на штраф. Трижды она звонила с работы: гудки «занято». Доминика сняла трубку. Лоранс поднимается в лифте, вытирает влажные руки. Держится естественно.

— Я не помешала? Никак не могла дозвониться, а мне необходим твой совет.

Все это шито белыми нитками, она никогда не спрашивает совета у матери, но Доминика ее почти не слушает.

— Входи.

Она садится в «зоне покоя» просторного салона, выдержанного в пастельных тонах. В вазе

огромный букет желтых заостренных цветов, похожих на злых птиц. У Доминики распухшие глаза. Значит, она плакала? Вызывающе, почти с торжеством, она бросает:

— Хорошую историю я тебе расскажу!

— Что такое?

— Жильбер мне заявил, что любит другую.

— Ерунда! Кого же?

— Не сказал. Только заявил, что «наши отношения должны теперь строиться на иной основе». Прелестная формула. Он не приедет в Февроль на уик-энд. Он меня бросает, ясно! Но я узнаю, кто эта особа, и, клянусь тебе, ей не поздоровится!

Лоранс колеблется: покончить разом? Она не в силах, ей страшно. Выиграть время.

— Да ну, просто каприз какой-нибудь.

— У Жильбера капризов никогда не бывает, у него бывают только твердые намерения. — И внезапно вопль: — Мерзавец! Мерзавец!

Лоранс обнимает мать за плечи:

— Не кричи.

— Буду кричать сколько хочу: мерзавец! Мерзавец!

Никогда бы Лоранс не додумала, что мать может так кричать: плохой театр какой-то. В театре да, но не на самом деле, не в жизни. Взвинченный

неприличный голос пронзает «зону покоя»:

— Мерзавец! Мерзавец!

(В другом салоне, совсем ином, в точности таком же, с вазами, полными роскошных цветов, тот же крик рвется из других уст: «Мерзавец!»)

— Представляешь себе! Так поступить со мной. Он бросает меня, как мидинетку.

— Ты ни о чем не подозревала?

— Ни о чем. Здорово он меня охмурил. Ты его видела в прошлое воскресенье: сплошная улыбка.

— Что, собственно, он тебе сказал?

Доминика поднимается, приглаживает волосы, слезы у нее текут.

— Что он обязан сказать мне правду. Он меня уважает, он мной восхищается — обычная белиберда. Но любит он другую.

— Ты не спросила ее имя?

— Я за это не так взялась, — говорит Доминика сквозь зубы. Она вытирает глаза. — Я уже слышу всех моих милых приятельниц. «Жильбер Мортье бросил Доминику». Вот уж они повеселятся.

— Найди ему сейчас же замену, мало ли их увивается за тобой.

— Стоит о них говорить — жалкие карьеристы…

— Уезжай. Покажи всем, что ты прекрасно мо-

жешь обойтись без него. Он мерзавец, ты права. Постарайся забыть его.

— Он будет только доволен! Это его более чем устроит.

Она поднимается, ходит по салону.

— Я верну его. Так или иначе. — Она глядит на Лоранс злыми глазами. — Это был мой последний шанс! Понимаешь?

— Полно.

— Оставь! В пятьдесят один год не начинают жизнь сначала. — Она повторяет, как маньяк: — Я верну его! Добром или силой.

— Силой?

— Если я найду способ оказать на него давление.

— Какой способ?

— Поищу.

— Но что это тебе даст, если ты сохранишь его силой?

— Я его сохраню. Не буду брошенной женщиной.

Она снова садится. Остановившийся взгляд, стиснутые зубы. Лоранс говорит. Она произносит слова, подчерпнутые некогда из уст матери: достоинство, душевный покой, мужество, уважение к себе, сохранять лицо, уметь себя держать, из-

брать благородную роль. Доминика не отвечает. Она говорит устало:

— Иди домой. Мне нужно подумать. Будь столь любезна, позвони Петридесам от моего имени, скажи, что у меня ангина.

— Ты сможешь уснуть?

— Во всяком случае, не беспокойся, я снотворных не наглотаюсь.

Она сжимает руки Лоранс непривычным, стесняющим жестом, впивается пальцами в ее запястья.

— Постарайся выяснить, кто эта женщина.

— Я не знаю никого из окружения Жильбера.

— Попытайся все же.

Лоранс медленно спускается по лестнице. Что-то теснит в груди, мешает дышать. Она предпочла бы раствориться в нежности и печали. Но в ушах звенит крик, она не может забыть злого взгляда. Ярость и оскорбленное тщеславие — страдание, столь же душераздирающее, как любовная боль, но без любви. Кто мог бы полюбить Жильбера настоящей любовью? А Доминика? Любила ли она когда-нибудь? (Отец не находил себе дома места, как душа неприкаянная, он любил ее, он любит ее до сих пор. И Лоранс растворялась в нежности и печали. С тех пор Доминику окружил

зловещий ореол.) Даже страдание не делает ее человечной. Точно слышишь скрежет лангуста, невнятный шум, не говорящий ни о чем, кроме боли. Особенно нестерпимой, потому что не можешь ее разделить.

Я попыталась не слышать, но лангусты все еще скрежетали у меня в ушах, когда я вернулась домой. Луиза сбивала на кухне белки под наблюдением Гойи; я ее поцеловала.

— Катрин вернулась?

— Она у себя в комнате, с Брижитт.

Они сидели в темноте, одна против другой. Я зажгла свет, Брижитт встала.

— Здравствуйте, мадам.

Я сразу заметила большую английскую булавку, которой был подколот подол ее юбки: ребенок без матери, я уже знала это от Катрин; высокая, худая, каштановые волосы, подстриженные слишком коротко, неухоженные, выцветший голубой пуловер; если ее принарядить, она была бы красивой. В комнате царил беспорядок, стулья перевернуты, подушки на полу.

— Рада с вами познакомиться.

Я поцеловала Катрин.

— Во что вы играли?

— Мы разговаривали.

— А этот беспорядок?

— А, это раньше, с Луизой, мы тут бесились.

— Мы сейчас уберем, — сказала Брижитт.

— Это не срочно.

Я подняла одно из кресел и села. Меня не беспокоило, что они бегали, прыгали, перевернули мебель; но о чем говорили они, когда я вошла?

— О чем вы говорили?

— Да так, разговаривали, — сказала Катрин.

Стоя передо мной, Брижитт разглядывала меня, не дерзко, но с откровенным любопытством. Я ощущала некоторую неловкость. Взрослые не глядят друг на друга по-настоящему. Эти глаза меня видели. Я взяла со стола «Дон Кихота» — сокращенное и иллюстрированное издание, — Катрин давала его почитать подруге.

— Вы прочли? Вам понравилось? Садитесь же.

Она села.

— Я не дочитала до конца. — Она улыбнулась мне красивой улыбкой, совсем не детской, даже чуть кокетливой. — Мне становится скучно, когда книжка слишком длинная. И потом я больше люблю, когда пишут про то, что было на самом деле.

— Исторические романы?

— Да, и путешествия, и то, что пишут в газетах.

— Ваш папа разрешает вам читать газеты?

Это ее огорошило, она прошептала смущенно:

— Да.

Папа прав, подумала я, я не все держу под контролем. Если она приносит газеты в лицей, если она пересказывает то, что прочла в них… Все эти чудовищные происшествия… Замученные дети, дети, утопленные собственной матерью.

— Вы все понимаете?

— Брат мне объясняет.

Брат у нее студент, отец — врач. Одна с двумя мужчинами. За ней, наверно, не очень присматривают. Люсьен считает, что девочки, у которых есть старшие братья, созревают быстрее; может быть, поэтому у нее уже повадки маленькой женщины.

— Кем вы хотите быть? У вас есть планы?

Они сообщнически смотрят друг на друга.

— Я буду врачом, она — агрономом, — говорит Катрин.

— Агрономом? Вам нравится деревня?

— Мой дедушка говорит, что будущее зависит от агрономов.

Я не осмелилась спросить, чем занимается этот дедушка. Я посмотрела на часы. Без четверти восемь.

— Катрин должна привести себя в порядок к обеду. Вас, наверно, тоже ждут дома.

— А у нас каждый обедает, когда ему удобно, — сказала она небрежным тоном. — Сейчас еще, наверно, никто не вернулся.

Да, случай ясный. Девочка заброшенная, привыкшая к самостоятельности. Ей ничего не запрещали, ничего не разрешали: росла как трава. Какой инфантильной выглядела рядом с ней Катрин! Было бы неплохо оставить ее пообедать с нами. Но Жан-Шарль злится, когда его не предупреждают заранее. К тому же, не знаю почему, мне бы не хотелось, чтобы он познакомился с Брижитт.

— Вам все же пора идти домой. Подождите минутку, я подошью вам юбку.

Уши у нее стали совсем красные.

— О, право, не надо.

— Надо, это очень некрасиво.

— Я подошью дома.

— Дайте я хоть переколю булавку как следует.

Она мне улыбнулась:

— Вы очень любезны.

— Я была бы рада познакомиться с вами поближе. Хотите пойти вместе с Катрин и Луизой в Музей человека в четверг?

— О да!

Катрин проводила Брижитт до входной двери. Слышен был их шепот и смех. Мне тоже хотелось сидеть в темноте с девочкой моего возраста, и шептаться, и смеяться. Но Доминика всегда говорила: «Она, разумеется, очень симпатичная, твоя приятельница, но уж так неинтересна». У Марты была подруга, дочка папиного приятеля, ограниченная и тупая. А у меня не было, никогда.

— Твоя подружка очень симпатична.

— Мне с ней весело.

— У нее хорошие отметки?

— О да, самые лучшие.

— А у тебя что-то ухудшились по сравнению с началом месяца, ты плохо себя чувствуешь?

— Нет.

Я не настаивала.

— Она старше тебя, поэтому ей позволяют читать газеты. Но ты не забыла, о чем мы с тобой говорили? Ты еще мала.

— Я помню.

— Ты не нарушала обещания?

— Нет.

Казалось, Катрин чего-то недоговаривала.

— Что-то у тебя голос неуверенный.

— Нет, правда. Только знаешь, то, что мне пере-

сказывает Брижитт, понять совсем нетрудно.

Я смутилась. Брижитт мне нравится. Но хорошо ли она влияет на Катрин?

— Быть агрономом. Странное желание. Тебе оно понятно?

— Я предпочитаю стать врачом. Я буду лечить больных, а она растить хлеб и помидоры в пустыне, и у всех будет еда.

— Ты показала ей плакат с голодным мальчиком?

— Это она мне его показала.

Разумеется. Я послала Катрин мыть руки и причесываться, а сама пошла в комнату Луизы. Она рисовала, сидя за партой. Я вспомнила: темная комната, зажжена только маленькая лампа, цветные карандаши, позади долгий день, поблескивающий мелькнувшими радостями, а за окном — огромный таинственный мир. Драгоценные мгновения, утраченные навсегда. Как жаль! Помешать им взрослеть или… Или что?

— Как ты красиво нарисовала, доченька.

— Это подарок тебе.

— Спасибо. Я положу его на стол. Тебе было весело с Брижитт?

— Она учила меня разным танцам… — Голос Луизы погрустнел. — А потом они меня выстави-

ли за дверь.

— Им нужно было поговорить. А ты зато смогла помочь Гойе приготовить обед. Папа будет очень горд, когда узнает, что ты сама сделала суфле.

Она засмеялась, мы услышали звук ключа в замке, и она побежала встречать отца.

Это было вчера. Лоранс озабочена. Она видит перед собой улыбку Брижитт. «Вы очень любезны», — это ее трогает. Такая дружба может быть полезна Катрин: она в том возрасте, когда интересуются всем происходящим в мире; я недостаточно рассказываю ей, отца она побаивается; с другой стороны, нельзя ее травмировать. Дед и бабка Брижитт по материнской линии живут в Израиле, прошлый год она провела у них, поэтому она и отстала от своего класса. Были ли в семье погибшие? Неужели она рассказала Катрин обо всех этих ужасах, от которых я столько плакала? Я должна быть на страже, мне нужно быть в курсе всего происходящего и самой просвещать дочь. Лоранс пытается сосредоточиться на «Франс Суар». Еще одно чудовищное происшествие. Двенадцать лет. Повесился в тюрьме; попросил бананов, полотенце и повесился. «Накладные расходы». Жильбер объяснял, что в любом обществе существуют накладные расходы. Да, конечно. Тем

не менее эта история потрясла бы Катрин.

Жильбер. Любовь. От слова «любовь». Каков мерзавец! «Мерзавец! Мерзавец!» — вопит Доминика в «зоне покоя». Сегодня утром по телефону она сказала мрачным голосом, что спала хорошо, и сразу повесила трубку. Чем я могу ей помочь? Ничем. Так редко можешь кому-нибудь помочь… Катрин — да. Значит, надо это сделать. Знать, как ответить на ее вопросы, даже опережать их. Раскрыть перед ней действительность, не испугав ее. Для этого я должна сначала сама быть информированной. Жан-Шарль упрекает меня в том, что современность меня не интересует; пусть даст мне список книг; заставить себя прочесть их. План не новый. Периодически Лоранс принимает решения, но — почему бы это? — подлинного желания их выполнить у нее нет. Теперь все иначе. Ведь это для Катрин. Она не простит себе, если Катрин не найдет в ней опоры.

— Ты здесь, как хорошо, — говорит Люсьен.

Лоранс сидит в кожаном кресле, на ней халат; Люсьен тоже в халате, у ее ног, глядит на нее снизу вверх.

— И мне хорошо.

— Я хотел бы, чтоб ты всегда была здесь.

Они занимались любовью, потом наскоро по-

обедали, поболтали, опять занимались любовью. Ей уютно в этой комнате: диван-кровать, покрытый мехом, стол, два черных кожаных кресла, купленных на Блошином рынке, на этажерке несколько книг, телескоп, роза ветров, секстант, в углу лыжи и чемоданы из свиной кожи; во всем непринужденность, ничего роскошного; а все-таки ничуть не удивляет изобилие элегантных костюмов, замшевых курток, свитеров, шейных платков, обуви в шкафу. Люсьен приоткрывает полы пеньюара Лоранс, гладит ее колено.

— У тебя красивые колени. Это редкость — красивые колени.

— У тебя прекрасные руки.

Он сложен хуже Жан-Шарля, слишком худ; но руки тонкие, нервные, лицо подвижное, чувствительное, в жестах — изящная гибкость. Он живет в мире приглушенных звуков, тонких оттенков, полутонов, светотени, в то время как вокруг Жан-Шарля всегда полдень, резкий ровный цвет.

— Выпьешь чего-нибудь?

— Нет, налей себе.

Он наливает себе американского виски — «on the rocks»[16], по-видимому, очень редкой марки.

---

**[16] Примечания: 16**
Виски со льдом, без содовой.

К еде он равнодушен, но гордится своим знанием вин и спиртных напитков. Он усаживается снова у ног Лоранс.

— Готов спорить, что ты никогда не напивалась.

— Я не люблю спиртного.

— Не любишь или боишься?

Она гладит черные волосы, сохранившие детскую мягкость.

— Не играй со мной в психолога.

— Да, ты дамочка, в которой с налету не разберешься. Иногда такая юная, веселая, близкая, а другой раз — ну просто Минерва в шлеме со щитом.

Вначале ей нравилось, что он говорит о ней; это нравится каждой женщине, а Жан-Шарль ее не баловал, но, в сущности, все эти разговоры — пустое. Она слишком хорошо знала, что интригует Люсьена, вернее, тревожит.

— Все зависит от моей прически.

Он кладет голову к ней на колени.

— Дай мне помечтать пять минут, что мы останемся вместе всю жизнь. Незаметно поседеем. Ты будешь прелестной старой дамой.

— Помечтай, дорогой.

Почему он говорит глупости? Любовь, которой

не будет конца, — это, как поется в песенке, «не бывает, не бывает». Но тоскующий голос будит в ней смутное эхо чего-то пережитого давным-давно, в другой жизни, а может быть, переживаемого сейчас, но на другой планете. Это неотвязно и вредно, как сильный запах ночью в запертой комнате, запах нарциссов. Она говорит довольно сухо:

— Я тебе надоем.

— Никогда.

— Не будь романтиком.

— На днях один старый врач отравился, держа за руку жену, умершую неделю назад. Случается и такое…

— Да, но чем это мотивировано? — спрашивает она, смеясь.

Он говорит с упреком:

— Я не смеюсь.

Она допустила, чтоб разговор принял этот глупо-чувствительный тон, теперь нелегко будет уйти.

— Я не люблю думать о будущем: меня удовлетворяет настоящее, — говорит она, прижимая ладонь к щеке Люсьена.

— Правда? — Он смотрит на нее глазами, в которых с почти невыразимой яркостью отражается

она сама. — Тебе со мной не скучно?

— Какой вздор! Меньше, чем с кем-либо другим.

— Странный ответ.

— Потому что ты задаешь странные вопросы. Разве у меня сегодня был скучающий вид?

— Нет.

С Люсьеном занятно разговаривать. Они болтают о сотрудниках Люблинфа, клиентах, выдумывают им приключения. Люсьен пересказывает прочтенные романы, описывает места, где побывал, он умеет найти деталь, пробуждающую в Лоранс мимолетное желание читать, путешествовать. Только что он говорил о Фицджеральде, которого она знает только по имени, и она удивляется, что столь ирреальная история могла случиться на самом деле.

— Мы провели чудный вечер, — говорит она.

Он вздрагивает.

— Почему ты говоришь «мы провели»? Вечер не кончился…

— Уже два часа, мне нужно идти домой, милый.

— Как, ты не останешься?

— Дети стали слишком большими, это опасно.

— О, я прошу тебя!

— Нет.

В прошлом году, когда Жан-Шарль был в Марокко, она часто говорила «нет», уходила, а потом внезапно останавливала машину, разворачивалась и бегом взлетала по лестнице. Он сжимал ее в объятиях: «Ты вернулась!» — и она оставалась до зари. Ради этого счастья на его лице. Такая же ловушка, как всякая другая. Сегодня она не вернется. И он это знает.

— Значит, ты не проведешь со мной ни одной ночи?

Она собирается с силами. Он убедил себя, что в отсутствие Жан-Шарля они будут спать вместе. Но она ничего не обещала.

— Представь себе, что девочки поймут. Риск слишком велик.

— В прошлом году ты рисковала.

— А потом угрызалась.

Они оба поднялись. Он мечется по комнате, в ярости останавливается перед Лоранс.

— Всегда одна и та же песня! Согрешить мы не прочь, но при этом остаемся хорошей матерью, хорошей женой. Почему нет общепринятых слов, чтобы сказать: дурная возлюбленная, дурная любовница… — Голос его дрожит, взор увлажняется. — Значит, мы никогда больше не проведем

ночи вместе: случая удобнее у нас не будет.

— Может, будет.

— Нет, потому что ты не станешь его искать. Ты меня уже не любишь, — говорит он.

— Почему же я здесь?

— Ты любишь меня не так, как раньше. После твоего возвращения из отпуска все не так, как раньше.

— Уверяю тебя, все по-прежнему. Мы и раньше двадцать раз ссорились из-за этого. Дай мне одеться.

Он наливает снова виски, пока она проходит в ванную комнату, где полочки уставлены флаконами и баночками. Люсьен коллекционирует лосьоны и кремы, которые клиенты дарят Пюблинфу. Конечно, забавы ради, но также и потому, что он холит себя. Конечно, если б все было, как раньше, я бы подавила угрызения совести; трепет, ниспровергающий все, ночь в пламени, вихри и обвалы желания и блаженства — ради такого преображения можно предавать, лгать, рисковать. Но не ради милых ласк, не ради удовольствия, так напоминающего радости супружеской любви. Не ради зачерствелых эмоций, ставших повседневностью. Даже измена функциональна, говорит она себе. Споры, так волновавшие прежде, теперь

раздражают ее. Когда она возвращается в комнату, он уже покончил со вторым бокалом.

— Я понял, все ясно. Ты завела интрижку из любопытства — не оставаться же глупой гусыней, которая никогда не изменяла мужу… Только и всего. А я, идиот несчастный, говорил тебе о вечной любви.

— Неправда. — Она подходит, обнимает его. — Ты мне очень дорог.

— Очень дорог! Мне всегда доставались только крохи твоей жизни. Я с этим смирился. Но если ты будешь уделять мне еще меньше, лучше порвать.

— Я делаю, что могу.

— Ты не можешь обижать мужа, детей, но мучить меня — это ты можешь.

— Я не хочу, чтобы ты мучился.

— Ну да! Это тебе безразлично. Я думал, что ты не такая, как другие; подчас даже кажется, что у тебя есть сердце. Но нет. Современной женщине, женщине свободной, преуспевающей — на хрен оно сдалось, сердце.

Он говорит, говорит. Жан-Шарль, когда у него неприятности, молчит. Люсьен говорит. Две методы. Я и правда с детства приучилась владеть своим сердцем. Хорошо это или плохо? Пустой

вопрос, себя не переделаешь.

— Ты не пьешь, не выходишь из себя, ни разу я не видел тебя плачущей, ты боишься утратить самоконтроль — это я и называю отказом от жизни.

Она чувствует себя задетой, что-то — она сама не знает что — ее укололо.

— Ничего не поделаешь, какая есть.

Он хватает ее за руку:

— Ты отдаешь себе отчет? Целый месяц я жду этих ночей. Я мечтал о них каждую ночь.

— Хорошо, я виновата. Я должна была тебя предупредить!

— Ты этого не сделала, теперь оставайся!

Она потихоньку высвобождает руку.

— Пойми, если у Жан-Шарля возникнут подозрения, наши отношения станут невозможны.

— Потому что в жертву, ясное дело, буду принесен я.

— Не будем к этому возвращаться.

— Не будем, проиграл.

Лицо Люсьена смягчается, в его взоре остается только глубокая печаль.

— Что ж, до завтра, — говорит он.

— До завтра. Мы проведем прекрасный вечер.

Она его целует, он не отвечает поцелуем; в лице

у него страдание.

Ей не жаль его; пробираясь к своей машине, она скорее ему завидует. Как она страдала в ту ночь в Гавре, когда он заявил, что предпочитает сразу же порвать; это было в самом начале их романа, она собирала данные о продаже кофе «Мокески», и он поехал с ней. Зависеть от мужа, от детей, ждать, просить милостыни он не хотел. «Я его потеряю!» Она тогда ощутила боль, острую, как от физической раны. И снова, в прошлую зиму, после возвращения из Шамони. «Эти две недели были пыткой, — говорил Люсьен, — лучше покончить разом». Она умоляла; он не уступал, десять дней он с ней не разговаривал, десять дней ада. Ничего общего с благородными страданиями, которые перелагают на музыку. Куда более низменно: сухой рот, позывы к рвоте. Но было хотя бы о чем жалеть, чему огорчаться. Ему еще знакомы эта лихорадка, и отчаяние, и надежда. Ему везет больше, чем мне.

Почему, собственно, Жан-Шарль, а не Люсьен, спрашивает себя Лоранс, разглядывая мужа, который намазывает апельсиновый джем на тост. Она хорошо знает, что Люсьен в конце концов отдалится от нее и полюбит другую. (Почему, собственно, я, а не другая?) Она к этому готова и

в перспективе даже желает этого. И только спрашивает себя, почему Жан-Шарль? Дети уехали накануне вечером к Февроль с Мартой, в квартире тихо. Но соседи пользуются воскресеньем, чтоб по очереди стучать в стенку. Жан-Шарль в ярости ударяет рукой об стол:

— Мне это осточертело, я сейчас пойду и набью им морду!

После возвращения он стал раздражителен, обрывает детей, набрасывается на Гойю, ко всем придирается. Вернь — гений, ясновидец, но он так нетерпим, что в итоге прав Дюфрен: Вернь никогда не реализует своих планов. Предприниматель не вполне согласился с его проектом, нужно было подумать о собственных сотрудниках, прежде чем отказываться от дела — теперь у нас из-под носа ушло целое состояние.

— Я попробую перейти к Монно.

— Ты говорил, что у вас замечательная мастерская, что вы работаете вдохновенно.

— Вдохновение не кормит. Я стою больше, чем зарабатываю у Верня. У Монно я получу по меньшей мере вдвое.

— Заметь, мы живем совсем неплохо.

— А будем еще лучше.

Жан-Шарль решил остаться с Вернем, который

столько для него сделал (Хороши бы мы были без его авансов, когда родилась Катрин!), но прежде он должен сквитаться с ним на словах.

— Необыкновенные идеи, о которых все говорят, о которых не перестают писать, все это, конечно, прекрасно…

Почему, собственно, Жан-Шарль, а не Люсьен? Ощущение пустоты, что с одним, что с другим; но с Жан-Шарлем ее соединяют дети, дом, прочные узы; а Люсьен теперь, когда она уже ничего не чувствует, кажется совсем чужим. Ну, а если бы она вышла замуж за него? Было бы ни лучше, ни хуже, думает она. Почему, собственно, этот мужчина, а не другой? Странно. Оказываешься всю жизнь с кем-то в одной упряжке только потому, что в девятнадцать лет встретила именно его. Она не жалеет, что это был Жан-Шарль, ни в коей мере. Он живой, горячий, всегда полон планов, идей, увлечен тем, что делает, блестящ, все его находят симпатичным. И верный, порядочный, красивое тело, отличный любовник. Привязан к дому, к детям, к Лоранс. Любит не так, как Люсьен, менее романтично, но крепко и нежно; ему необходимо ее присутствие, ее одобрение, он сходит с ума, когда она кажется грустной или хотя бы озабоченной. Идеальный муж. Она рада, что вышла

за него, а не за другого; но все же удивительно, что это так важно и в то же время случайно. Никаких особых оснований. (Но ведь у всех так.) Существуют ли родственные души где-нибудь, кроме литературы? А старый врач, которого убила смерть жены? Это еще не доказывает, что они были созданы друг для друга. «Любить по-настоящему», — говорит папа. Люблю ли я Жан-Шарля? Любила ли я Люсьена по-настоящему? У нее впечатление, что близкие лишь существуют рядом с ней, а в ней самой, внутри — никого; только дочери, но это уже органическое.

Нельзя быть великим архитектором, не умея приспосабливаться.

Звонок прерывает Жан-Шарля; он раздвигает перегородку, разделяющую комнату надвое, и Лоранс проводит Мону в ту часть, которая служит ей кабинетом.

— Ты меня здорово выручила, что пришла.

— Не оставлять же тебя на произвол судьбы.

Мона — хорошенькая, силуэт — в брюках и пуловере — мальчишеский, а улыбка и грациозный наклон шеи женственны. Вообще-то она отказывается пошевелить мизинцем после окончания рабочего дня: и без того нас достаточно эксплуатируют. Но проект должен быть сдан не

позднее сегодняшнего вечера, а она знает, что представленный ею макет не вполне подходит. Она осматривается.

— Ишь ты, роскошно живешь! — Она задумывается. — Конечно, вдвоем вы должны зашибать большую деньгу.

Ни иронии, ни упрека: она сравнивает. Она неплохо зарабатывает, но, говорят, — сама она не любит о себе распространяться, — что она из очень простой среды, и вся семья у нее на руках. Она садится рядом с Лоранс, раскладывает рисунки на письменном столе.

— Я сделала несколько вариантов.

Нелегко рекламировать новую марку такого распространенного продукта, как томатный соус. Лоранс посоветовала Моне сыграть на контрасте: солнце — свежесть. Картинка, сделанная ею, была мила: яркие краски, в небе большое солнце, прижавшаяся к горе девушка, оливковые деревья, а на первом плане — банка с фирменной маркой и помидор. Но чего-то не хватало: вкуса плода, его сочности. Они долго обсуждали и пришли к выводу, что нужно надрезать кожу, слегка обнажить мякоть.

— Ага, теперь все совсем по-другому, так и хочется в него впиться.

— Да, я решила, что тебе понравится, — говорит Мона, — посмотри остальные…

От листка к листку легкие изменения формы, цвета.

— Трудно выбрать.

Жан-Шарль входит в комнату, зубы его блестят, белые-пребелые, когда он, улыбаясь, пожимает руку Моны:

— Лоранс мне столько говорила о вас! И я видел много ваших рисунков. Я в восторге от вашей Мерибель. Вы очень талантливы.

— Стараемся быть на высоте, — говорит Мона.

— Какой из этих рисунков будит в тебе желание по-пробовать томатный соус? — спрашивает Лоранс.

— Они все очень похожи. И все красивы — настоящие маленькие картины.

Жан-Шарль кладет руку на плечо Лоранс.

— Я спущусь, пошурую в машине. Ты будешь готова к половине первого? Нужно выехать не позднее, если мы хотим попасть в Февроль к обеду.

— Я буду готова.

Он выходит, широко улыбнувшись.

— Вы едете за город? — спрашивает Мона.

— Да, у мамы есть дом. Мы ездим туда почти

каждое воскресенье. Это разрядка… — Она чуть не сказала машинально, «которая так необходима», но вовремя спохватилась. Она слышит голос Жильбера: «Это разрядка, которая так необходима», видит усталое лицо Моны, ей как-то неловко. (Не стесняться, не попрекать себя, не заниматься самокопанием.)

— Смешно, — говорит Мона.

— Что?

— Смешно, до чего твой муж похож на Люсьена.

— Ты спятила! Люсьен и Жан-Шарль — это вода и огонь.

— По-моему, это две капли воды.

— Ничего подобного.

— Оба они мужики с хорошими манерами и белыми зубами, умеют поговорить и употребляют после бритья aftershave.

— А, если ты об этом…

— Об этом. — Она резко обрывает фразу. — Ну? Какой из вариантов ты предпочитаешь?

Лоранс снова рассматривает их. Люсьен и Жан-Шарль употребляют лосьон после бритья. Ладно. А какой любовник у Моны? Ей хотелось бы, чтоб Мона поговорила о себе, но та уже приняла свой обычный замкнутый вид, от которого Лоранс

робеет. Как она проведет воскресенье?

— Мне кажется, что лучший — вот этот. Мне здесь деревня нравится, домики хорошо карабкаются по склонам…

— Я тоже предпочитаю этот, — говорит Мона. Она складывает свои бумаги. — Хорошо, я смываюсь.

— Не хочешь выпить чего-нибудь? Вина? Виски? Или томатного соку?

Они смеются.

— Нет, ничего не хочу, покажи мне твою хазу.

Мона молча переходит из комнаты в комнату. Иногда ощупывает материю обивки, дерево стола. В углу салона, залитого солнцем, она опускается в мягкое кресло.

— Я понимаю, почему вы ничего не понимаете.

Обычно Мона дружелюбна, но иногда кажется, что она ненавидит Лоранс. Лоранс вообще не любит, когда ее ненавидят, а когда Мона — в особенности. Мона поднимается и, застегивая куртку, окидывает все последним взглядом, смысл которого ускользает от Лоранс, — во всяком случае, это не зависть.

Лоранс провожает ее до лифта и возвращается к столу.

С ощущением смутной обиды она засовывает в конверт отобранный макет и текст, составленный ею. Презрительный голос Моны. Что дает ей право превосходства? Она не коммунистка, но мистика пролетариата, как выражается Жан-Шарль, ей, должно быть, не чужда; что-то сектантское есть в ней, Лоранс замечает это не в первый раз. («Если есть на свете что-нибудь ненавистное для меня — это сектантство», — говорил папа.) Досадно. Из-за этого-то каждый из нас оказывается запертым в своем маленьком кругу. Если бы каждый проявил немного доброй воли, не так уж трудно было бы понять друг друга, говорит себе Лоранс с сожалением.

Обидно, думает Лоранс, никогда я не помню снов. У Жан-Шарля каждое утро наготове рассказ о том, что ему снилось; точный, немного вычурный, похожий на то, что показывают в кино или описывают в книгах. А у меня — ничего. Все происходящее со мной в толще ночи — подлинная жизнь, нечто существенное и неуловимое. Если бы понять, это, возможно, помогло бы мне (в чем?)… Во всяком случае, ей ясно, почему она просыпается каждое утро в угнетенном состоянии: Доминика, Доминика, прорубившая свой путь в жизни ударами топора, подавляя и сметая

все, что ее стесняло, а теперь вдруг беспомощная, барахтающаяся в слепом бешенстве. Они с Жильбером встретились, «как друзья», и он не назвал ей имени другой женщины.

— Да и существует ли она? — сказала она мне с подозрительностью в голосе.

— Зачем ему лгать тебе?

— Он такой сложный человек!

Я спросила Жан-Шарля:

— На моем месте ты сказал бы ей правду?

— Разумеется, нет. Чем меньше суешься в чужие дела, тем лучше.

Доминика питает еще смутную надежду. Весьма шаткую. В воскресенье в Февроле, убитая отсутствием Жильбера, она заперлась у себя в комнате под предлогом головной боли с мыслью: «Он больше никогда не придет». По телефону — она звонит мне ежедневно — она обрисовала мне его в столь гнусных красках, что я плохо понимаю, как может она им дорожить: наглый, самовлюбленный, садист, чудовищный эгоист, готовый принести мир в жертву своему комфорту, своим прихотям. А бывают дни, когда она расхваливает его ум, силу воли, блестящую карьеру и утверждает: «Он еще вернется ко мне». Она сомневается, какую тактику избрать:

мягкость или насилие? Как она поступит в тот недалекий день, когда Жильбер признается ей во всем? Самоубийство? Убийство? Не могу себе представить. Мне знакома только Доминика, одерживающая победы.

Лоранс рассматривает книги, которые Жан-Шарль отобрал для нее. (Он смеялся: «А, ты решилась? Я рад. Ты увидишь, что мы все живем в необыкновенную эпоху». Он выглядит совсем мальчишкой, когда у него очередной приступ энтузиазма.) Она перелистала книги, заглянула в конец; они утверждают то же, что Жан-Шарль и Жильбер: все уже идет гораздо лучше, чем раньше, а потом станет еще лучше. Некоторые страны начинают неудачно: в частности, Черная Африка; беспокоит рост народонаселения в Китае и во всей Азии; однако благодаря синтезу протеинов, противозачаточным средствам, автоматизации, атомной энергии можно рассчитывать, что к 1990 году цивилизация изобилия и досуга будет создана. Земля станет единым миром, говорящим, вполне вероятно, — с помощью автоматического перевода — на универсальном языке; люди будут есть вдоволь и работать самую малость; они забудут о страданиях и болезнях. Катрин в 1990 году будет еще молода. Но ей хотелось бы узнать

нечто успокоительное о том, что происходит сейчас вокруг нее.

Нужно бы раздобыть другие книги, из которых я могла бы узнать другую точку зрения. Какие? Пруст мне не поможет. И Фицджеральд не поможет. Вчера я долго стояла перед витриной большой книжной лавки. «Массы и власть», «Бандунг», «Патология предприятия», «Психоанализ женщины», «Америка и Америки», «В защиту французской военной доктрины», «Новый рабочий класс», «Новый класс рабочих», «Завоевание космоса», «Логика и структура», «Иран»… С чего начать? В лавку не зашла.

Спрашивать? Но кого? Мону? Она не любит болтать, она старается успеть сделать как можно больше в минимально короткое время. К тому же мне заранее известно все, что она скажет. Она опишет условия жизни рабочих, не соответствующие тому, какими они должны быть, тут никто не спорит, хотя благодаря надбавкам на семью почти все обзавелись стиральными машинами, телевизорами, даже автомобилями. Жилья не хватает, но положение меняется: достаточно поглядеть на новые корпуса, на все эти стройки, желтые и красные краны в небе Парижа. Социальными вопросами сегодня занимаются

все. В сущности, проблема одна: делается ли все возможное, чтоб на земле стало больше комфорта и справедливости? Мона считает, что нет. Жан-Шарль говорит: «ВСЕ возможное не делается никогда, но сейчас делается необыкновенно много». По его мнению, такие люди, как Мона, грешат нетерпением, они похожи на Луизу, которая удивляется, что люди все еще не высадились на Луне. Вчера он сказал мне: «Конечно, иногда приходится жалеть о снижении духовного уровня, порождаемом концентрацией, автоматизацией. Но кто захочет остановить прогресс?»

Лоранс берет с журнального столика последние номера «Экспресса» и «Кандида». В целом пресса — газеты, еженедельники — подтверждает точку зрения Жан-Шарля. Теперь Лоранс раскрывает их без опаски. Нет, ничего страшного не происходит, если не считать Вьетнама, но во Франции американцев не одобряет никто. Она довольна, что сумела преодолеть дурацкий страх, осуждавший ее на невежество (в большей степени, чем отсутствие времени, время всегда можно найти). В сущности, достаточно посмотреть на вещь объективно. Трудность в том, что ребенку этого не передашь. Сейчас Катрин, кажется, спокойна. Но если она снова начнет тревожиться, у меня нет

для нее никаких новых слов…

«Кризис в отношениях между Алжиром и Францией». Лоранс доходит до середины статьи, когда звонят в дверь. Два бодрых звонка: Марта. Лоранс просила ее сто раз не приходить без предупреждения. Но она во власти сверхъестественных сил; с тех пор, как ее вдохновляет небо, Марта стала необыкновенно деспотична.

— Я не помешала?

— Немного. Но раз уж ты здесь, посиди пять минут.

— Ты работаешь?

— Да.

— Ты слишком много работаешь. — Марта глядит на сестру с проницательным видом. — Или у тебя неприятности? В воскресенье ты что-то была невесела.

— Напротив.

— Ладно, ладно! Твоя сестренка хорошо тебя знает.

— Ты ошибаешься.

У Лоранс нет ни малейшего желания откровенничать с Мартой. И потом словами этого не выразишь. Если я скажу, что беспокоюсь за маму, не знаю, как отвечать Катрин, что у Жан-Шарля собачье настроение, что у меня роман, который

меня тяготит, может показаться, что голова моя набита заботами, поглощающими меня полностью. В действительности, это так и не так, это в воздухе. Лоранс только об этом и думает, хотя думает о другом.

— Послушай, — говорит Марта. — Я должна с тобой поговорить об одной вещи. Хотела сделать это еще в воскресенье, но я перед тобой робею.

— Робеешь передо мной?

— Да, представь себе, я знаю, что ты разозлишься. Но тем хуже. Катрин скоро одиннадцать: нужно, чтобы она занялась законом божьим и приняла первое причастие.

— Что за идея! Мы с Жан-Шарлем неверующие.

— Ты же крестила ее тем не менее.

— Ради матери Жан-Шарля. Но теперь, когда она умерла…

— Ты берешь на себя большую ответственность, лишая дочь религиозного образования. У нас христианская страна. Большинство детей принимает первое причастие. Она упрекнет тебя впоследствии, что ты решила за нее, не оставив ей свободы выбора.

— Это великолепно! Заставить ее изучать закон божий — значит предоставить ей свободу.

— Да. Поскольку сейчас во Франции это нор-

мальное положение. Ты превращаешь ее в исключение, в изгоя.

— Хватит.

— Не хватит. Я нахожу, что Катрин грустна, беспокойна. У нее странные мысли. Я никогда не пыталась влиять на нее, но я ее выслушиваю. Соприкосновение со смертью, со злом трудно для ребенка, если он не верит в бога. Вера помогла бы ей.

— Какими мыслями она с тобой делилась?

— Я уж не помню в точности. — Марта разглядывает сестру. — А ты ничего не заметила?

— Заметила, конечно. Катрин задает много вопросов. Я не хочу отвечать на них ложью.

— Не много ли ты на себя берешь, заявляя, что это ложью.

— Не больше, чем ты, когда заявляешь, что это истина. — Лоранс кладет ладонь на руку сестры. — Не будем. Это моя дочь. Я воспитываю ее, как считаю нужным. У тебя всегда остается возможность молиться за нее.

— Я этой возможности не упускаю.

Ну и нахалка эта Марта! И правда, нелегко дать детям светское воспитание в обществе, где царит религия. Катрин в эту сторону не тянет. А Луизу привлекает живописность обрядов. На рожде-

ство она непременно попросит, чтоб мы пошли посмотреть на ясли. Они были совсем маленькие, когда Лоранс стала пересказывать им библию и евангелие, так же как греко-римские мифы и сказания о Будде. Это красивые легенды, возникшие вокруг реальных событий и людей, объяснила она девочкам. Отец помог ей найти нужные слова. А Жан-Шарль рассказал им о возникновении вселенной, о туманностях и звездах, о происхождении жизни на Земле. Они нашли эту историю чудесной. Луиза увлеклась какой-то книгой по астрономии, написанной очень просто, отлично иллюстрированной. Продуманные долгие усилия, от которых Марта избавила себя, доверив сыновей священникам, а теперь она хочет все разрушить одним щелчком. Какая наглость!

— Ты в самом деле не помнишь, что именно поразило тебя в словах Катрин? — спрашивает Лоранс некоторое время спустя, провожая сестру к двери.

— Нет. Собственно, речь идет не о словах, я скорее что-то почувствовала интуитивно, — говорит Марта многозначительно.

Лоранс раздраженно захлопывает дверь. Только что, вернувшись из лицея, Катрин выглядела веселой. Она ждет Брижитт, чтобы заняться ла-

тинским переводом. О чем будут они говорить? О чем они говорят? Когда Лоранс спрашивает, Катрин увиливает от прямого ответа. Не думаю, чтоб она мне не доверяла; скорее у нас нет общего языка. Я предоставляла ей полную свободу, обращаясь с ней, как с младенцем, не пытаясь беседовать с ней; она, вероятно, боится слов, робеет в моем присутствии. Я не могу добиться контакта. «Кризис в отношениях между Алжиром и Францией». Нужно все-таки дочитать статью.

— Здравствуйте, мадам.

Брижитт протягивает Лоранс букетик фиалок.

— Спасибо. Это мило с вашей стороны.

— Видите, я аккуратно подшила подол.

— Да, конечно, так гораздо лучше.

Когда они встретились в вестибюле Музея человека, у Брижитт в юбке все еще торчала булавка. Лоранс промолчала, но девочка заметила взгляд, уши ее вспыхнули.

— О, опять забыла.

— Постарайся больше не забывать.

— Я обещаю вам, что зашью сегодня вечером.

Лоранс обошла с ними музей. Луиза немножко скучала; старшие совали нос повсюду, восторгались. Вечером Брижитт сказала Катрин:

— Тебе повезло, у тебя такая милая мама!

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть за повадками маленькой женщины заброшенность сироты.

— Займетесь переводом с латинского?

— Да.

— А потом будете чесать языки, как две кумушки?

Лоранс колеблется.

— Брижитт, не говорите с Катрин о печальном.

Лицо и даже шея Брижитт наливаются краской.

— А что, я сказала чего не следовало?

— Ничего особенного. — Лоранс успокоительно улыбается. — Просто Катрин еще очень маленькая: она часто плачет по ночам; многого пугается.

— А! Хорошо!

Вид у Брижитт скорей обескураженный, чем раскаивающийся.

— А если она будет задавать мне вопросы, я должна сказать, что вы мне запретили отвечать?

Теперь в затруднении Лоранс: я чувствую себя виновной в том, что обвинила ее, а ведь в сущности…

— Какие вопросы?

— Не знаю. О том, что показывают по телеви-

дению.

Ах да, еще и это: телевидение. Жан-Шарль часто мечтает о том, каким оно может стать, но то, каково оно сейчас, вызывает в нем только сожаление. Он не включает ничего, кроме тележурнала новостей и передачи «На всю первую полосу», которую и Лоранс смотрит время от времени. По телевидению показывают сцены подчас непереносимые, а на ребенка то, что он видит, производит гораздо большее впечатление, чем слова.

— А что вы видели в последние дни?

— О, много разных вещей!

— Грустных?

Брижитт смотрит в глаза Лоранс.

— Я многое нахожу грустным. А вы нет?

— Да, и я тоже.

Что они показывали в последние дни? Мне следовало смотреть. Голод в Индии? Бойню во Вьетнаме? Расистские столкновения в США?

— Я не видела последних передач, — возобновляет разговор Лоранс. — Что вас поразило?

— Девушки, которые выкладывают кружочки моркови на селедочное филе, — выпаливает Брижитт.

— То есть как?

— Очень просто. Они рассказывали, что целый день укладывали кружочки моркови на селедочное филе. Они не многим старше меня. Я бы лучше умерла, чем жить так!

— Они относятся к этому, вероятно, немножко по-иному.

— Почему?

— Они выросли в других условиях.

— У них был не очень-то довольный вид, — говорит Брижитт.

Идиотские профессии. Скоро они исчезнут благодаря автоматике, а пока, разумеется… Молчание затягивается.

— Хорошо. Идите заниматься вашей латынью. И спасибо за цветы, — говорит Лоранс.

Брижитт не двигается с места.

— Я не должна говорить о них Катрин?

— О ком?

— Об этих девушках.

— Нет, почему же, — говорит Лоранс. — Не надо делиться с ней только вещами, которые вам кажутся действительно ужасными. Я боюсь, что Катрин будут мучить кошмары.

Брижитт перекручивает свой пояс; обычно она держится просто, непосредственно, но сейчас совершенно растеряна. Я плохо за это взялась,

думает Лоранс; она недовольна собой. Ну, а как за это браться?

— В общем я доверяю вам. Будьте внимательны, вот и все, — неловко заключает она.

Я стала бесчувственной или Брижитт ранима сверх меры? — спрашивает она себя, когда девочка исчезает; за дверью. Целый день — кружочки моркови. Нет сомнения, что девушки, занятые этим, не способны выполнять более интересную работу. Но от этого им не веселее. Вот оно, «снижение духовного уровня», о котором все сожалеют. Права я или нет, что так мало об этом думаю?

Лоранс дочитывает статью; она любит доводить начатое до конца. Потом погружается в работу: сценарий для рекламы новой марки шампуня. Она курит сигарету за сигаретой — даже идиотские вещи становятся интересны, если делать их хорошо. Пачка пуста. Поздно. Из глубины квартиры доносится неясный шум. Неужели Брижитт еще не ушла? А что делает Луиза? Лоранс пересекает переднюю. Луиза плачет в своей комнате, в голосе Катрин тоже слышны слезы.

— Не плачь, — умоляет она. — Честное слово, я тебя люблю больше Брижитт.

Ну вот! И почему радость одних всегда оплачивается слезами других?

— Лулу, я тебя люблю больше всего. С Брижитт мне интересно поговорить, а ты моя маленькая сестричка.

— Это правда? Взаправду правда?

Лоранс бесшумно отходит. Сладкие огорчения детства, когда поцелуи мешаются со слезами. Не стоит придавать значения тому, что Катрин учится чуть хуже; она созревает внутренне, постигает то, чему не учат в школе: как сочувствовать, утешать, получать и давать, различать на лицах и в голосах ускользающие оттенки. На мгновение сердце Лоранс заливает теплота, драгоценный дар, такой редкий. Как сделать, чтобы Катрин никогда в жизни не ощутила, что ей не хватит этого тепла?

## Глава 3

Лоранс пользуется отсутствием детей, чтоб навести порядок в их комнатах. Вероятно, Брижитт не рассказала о передаче, которая так ее поразила, во всяком случае, Катрин спокойна. Она так и сияла сегодня утром, когда садилась в дедушкину машину: он увозил их на уик-энд показать замки Луары. Зато Лоранс — хотя в конечном итоге это просто глупо — места себе не находит. Мысль о тусклом повседневном горе оказалось куда

труднее переварить, чем великие катастрофы, которые случаются все же нечасто. Интересно знать, как приноравливаются к этому другие.

В понедельник, завтракая с Люсьеном, она задает ему вопрос. (Никакой радости от этих встреч. Он зол на меня, но не отстает. Доминика говорила лет десять назад: «Мужчины мне осточертели». Опаздывать на свидания, отменять их, соглашаться все реже и реже: в конце концов им надоедает. Но так я не умею. Придется на днях отсечь с кровью). Он этими проблемами не интересуется, но все же ответил мне. Девушка, приговоренная с шестнадцати лет к дурацкому труду, лишенная будущего, — это нелепость. Но, в сущности, жизнь всегда нелепа, не из-за одного, так из-за другого. У меня есть немного денег, я порядочно зарабатываю, но на что мне это, раз ты меня не любишь? Кто счастлив? Среди твоих знакомых есть счастливые люди? Вот ты отгораживаешься от крупных неприятностей, держа сердце на запоре: разве это счастье? Твой муж? Быть может, но узнай он правду, не очень-то он обрадовался бы. Чуть хуже, чуть лучше, одна жизнь стоит другой. Ты сама говорила: с души воротит, когда видишь, что определяет вкусы людей, их жалкие прихоти, иллюзии; они не

поглощали бы в таком количестве транквилизаторов, антидепрессивных средств, если бы были довольны. Бедным худо. Но и богатым не лучше: ты бы почитала Фицджеральда, он здорово об этом пишет. Да, думает Лоранс, какая-то правда тут есть. Жан-Шарль часто весел, но он не счастлив по-настоящему: слишком уж часто и легко раздражается из-за мелочей.

И какой ад ждет маму с ее роскошной квартирой, туалетами и деревенским домом! А я? Не знаю. Мне не хватает чего-то, что есть у других. Хотя… Хотя, может и у них этого нет. Может, когда Жизель Дюфрен вздыхает: «Это восхитительно», когда Марта растягивает в сияющей улыбке свои толстые губы, они ничего не чувствуют, так же, как и я. Только папа…

В прошлую среду они остались наедине, когда дети ушли спать: Жан-Шарль обедал где-то с молодыми архитекторами. («Конец вертикалям, конец горизонталям, архитектура пойдет по кривой или погибнет». Ему это показалось несколько комичным, но все же у них любопытные идеи, рассказал он ей, вернувшись.) Они болтали о том, о сем, и теперь, в который раз, она пытается привести в систему его ответы. Социалистическая страна или капиталистическая — все равно

человек повсюду подавлен техникой, отчужден, порабощен, оглуплен. Все зло от роста потребностей, человек должен был бы их ограничить: вместо того, чтобы стремиться к изобилию, которого нет и, возможно, не будет никогда, человеку следовало бы удовлетвориться жизненным минимумом — так живут люди в нищих селениях, например в Греции, на острове Сардиния, куда техника еще не проникла и где деньги не оказали разлагающего влияния. Там людям ведомо суровое счастье, потому что там остались в неприкосновенности некоторые ценности — достоинство, братство, великодушие, — которые придают жизни неповторимый вкус. Порождая новые потребности, мы усиливаем чувство обездоленности. Когда начался этот упадок? В тот день, когда мудрости предпочли науку, красоте — пользу. Виноваты Возрождение, рационализм, капитализм, обожествление науки. Ладно. Но раз уж мы пришли к этому, что делать теперь? Попытаться возродить в себе, вокруг себя мудрость и стремление к красоте. Ни социальная, ни политическая, ни техническая революции не вернут человеку утраченную истину. В крайнем случае, можно совершить этот переворот для себя лично: тогда придет радость, несмотря на окружающий

нас мир абсурда и разлада.

В сущности, то, что говорят Люсьен и папа, накладывается одно на другое. Все несчастны, все могут обрести счастье: что в лоб, что по лбу. Могу ли я объяснить Катрин: люди не так уж несчастны, раз они дорожат жизнью. Лоранс колеблется. Это то же самое, что сказать: несчастные не несчастны. Разве это правда? Голос Доминики, пресекающийся всхлипываниями и воплями; жизнь ей отвратительна, но она вовсе не хочет умереть: вот несчастье. А бывает такая пустота, такой вакуум, от которого кровь леденеет, который хуже смерти, хотя ты и предпочитаешь его, раз не кончаешь с собой: я столкнулась с этим пять лет тому назад и по сей день испытываю ужас. Раз люди кончают самоубийством — он попросил бананы и полотенце, — значит существует нечто, что хуже смерти. Поэтому-то и пробирает до костей, когда читаешь о самоубийстве: страшен не тощий труп, болтающийся на оконной решетке, а то, что происходило в сердце за мгновение до этого.

Нет, говорит себе Лоранс, подумавши, приходится сделать вывод, что папины ответы годятся только для него самого; он всегда ко всему относился стоически — к почечным коли-

кам и операциям, к четырем годам лагеря для военнопленных, к маминому уходу, хотя это и причинило ему много горя. Он один способен находить радость в той уединенной, суровой жизни, которую избрал для себя. Хотела бы я владеть его секретом, Может, если бы я его видела чаще, дольше…

— Ты готова? — спрашивает Жан-Шарль.

Они спускаются в гараж; Жан-Шарль открывает дверцу.

— Дай я поведу, — говорит Лоранс. — Ты слишком нервничаешь.

Он добродушно улыбается:

— Как хочешь. — И садится в машину рядом с ней.

Объяснение с Вернем, очевидно, было не из приятных; он не рассказывал, но был мрачен и вел машину так, что с ним опасно было ехать — гнал вовсю, резко тормозя и злясь по малейшему поводу. Еще немного, и позавчера газеты имели бы повод в очередной раз сообщить, что автомобилисты набили друг другу морду.

Недавно, в Люблинфе, Люсьен блестяще объяснял психологию человека за рулем: ощущение неполноценности, потребность компенсации, самоутверждение, независимость. (Он сам водит

очень хорошо, но на безумной скорости.) Мона прервала его:

— Я вам сейчас объясню, почему все эти хорошо воспитанные господа превращаются в скотов, когда они за рулем.

— Почему?

— Потому, что они скоты.

Люсьен пожал плечами. Что она этим хотела сказать?

— В понедельник, вернувшись в город, я подписываю договор с Монно, — говорит Жан-Шарль весело.

— Ты доволен?

— Еще как! Все воскресенье буду спать и играть в бадминтон. В понедельник начинаю действовать.

Машина выезжает из тоннеля. Лоранс увеличивает скорость, не отрывая взгляда от зеркала. Обогнать, уступить, обогнать, обогнать, уступить. Субботний вечер: последние машины покидают Париж. Она любит вести машину, и Жан-Шарль не страдает пороком многих мужей: что б он ни думал, замечаний не делает. Она улыбается. В конечном счете у него не так-то много недостатков, и, когда они едут бок о бок, у нее всегда возникает иллюзия, хотя она и знает ей цену, что

«они созданы друг для друга». Она принимает решение: на этой неделе поговорю с Люсьеном. Вчера он снова сказал ей с упреком: «Ты никого не любишь!» Правда ли это? Нет. Он мне нравится, я порву с ним, но он мне нравится. Мне в общем все нравятся. Кроме Жильбера.

Она сворачивает с автострады на узкую пустую дорогу. Жильбер будет в Февроле. По телефону голос Доминики звучал торжествующе: «Жильбер будет здесь». Зачем он приедет? Может, решил поставить на дружбу? Это ему не поможет, когда правда выйдет на свет. Или он явится именно для того, чтобы все сказать? Руль под пальцами Лоранс влажнеет. Доминика продержалась последний месяц только потому, что сохраняла надежду.

— Я спрашиваю себя, почему Жильбер согласился приехать?

— Может, он отказался от своих матримониальных планов?

— Сомневаюсь.

День холодный, серый, цветы увяли; но окна сияют во раке, в гостиной дрова пылают ярким светом: народу мало, общество, однако, изысканное: Дюфрены, Жильбер, Гирион с женой. Лоранс знала его еще девочкой — он был легой отца;

теперь он самый знаменитый адвокат Франции. Поэтому не приглашены Марта и Юбер. Они недостаточно представительны. Улыбки, рукопожатия; Жильбер целует руку, которую Лоранс отказалась ему подать месяц назад; он смотрит на нее многозначительным взглядом, предлагая:

— Хотите выпить чего-нибудь?

— Немного погодя, — говорит Доминика. Она хватает Лоранс не за плечо. — Поднимись сначала причесаться, ты совершенно растрепана.

В спальне она улыбается.

— Вовсе ты не растрепана, я хотела поговорить с тобой.

— Неприятности какие-нибудь?

— Что за пессимизм!

Глаза Доминики блестят. Она немного чересчур элегантна: блузка в стиле девятисотых годов и длинная юбка (кому она подражает?). Она говорит возбужденно:

— Представь себе, что я узнала, где собака зарыта.

— Да?

Как может Доминика сохранять кокетливо-вызывающий вид, если она знает?

— Держись, ты здорово удивишься. — Она делает паузу, — Жильбер вернулся к своей старой

пассии — Люсиль де Сен-Шамон.

— Почему ты думаешь?

— А меня просветили. Он все время торчит у нее, проводит уик-энды в Мануаре. Странно, правда? После всего, что он мне о ней рассказывал! Хотела бы я знать, как ей это удалось. Я ее недооценивала.

Лоранс молчит. Несправедливое превосходство того, кто знает, над тем, кто не знает. Тошнотворно. Открыть ей глаза? Не сегодня, когда дом полон гостей.

— Может, это не Люсиль, а какая-нибудь ее приятельница.

— Как же! Станет она поощрять идиллию Жильбера с другой. Теперь понятно, почему он скрывал ее имя: боялся, что я расхохочусь ему в лицо. Не понимаю этой прихоти. Но, во всяком случае, это ненадолго. Раз Жильбер бросил ее, познакомившись со мной, значит, у него были на это свои причины, они остаются в силе. Он вернется ко мне.

Лоранс ничего не говорит. Молчание затягивается. Это должно было бы удивить Доминику, но нет: она так привыкла задавать вопросы и сама отвечать на них. Она говорит мечтательно:

— Было бы лихо послать Люсиль письмо с по-

дробным описанием ее анатомии и вкусов.

Лоранс подскакивает.

— Этого ты не сделаешь!

— А было бы забавно. Как бы у нее вытянулась физиономия! И у Жильбера! Нет. Он бы не простил мне этого до самой смерти. Я избрала противоположную тактику — быть предельно милой. Отвоевывать потерянное. Я очень рассчитываю на нашу поездку в Ливан.

— Ты думаешь, поездка состоится?

— Как? Разумеется! — Голос Доминики повышается. — Он давным-давно пообещал мне отпраздновать рождество в Баальбеке. Все об этом знают. Не может же он теперь смыться.

— Но та, другая, будет против.

— Я поставлю вопрос ребром: или он со мной едет, или я отказываюсь встречаться с ним.

— Шантажом ты его не возьмешь.

— Он не хочет меня потерять. Эта история с Люсиль гроша ломаного не стоит.

— Зачем же он тебе сказал об этом?

— Отчасти из садизма. И потом он хочет располагать своим временем, уик-эндами особенно. Но ты видишь: стоило мне проявить настойчивость, и он явился.

— В таком случае поставь вопрос ребром.

Может, это выход. Доминика получит удовлетворение от мысли, что рвет она. А позднее, когда она узнает правду, самое тяжелое уже будет позади.

Гостиная гудит от смеха, раската голосов, они пьют вино, виски, мартини. Жан-Шарль протягивает Лоранс стакан ананасного сока.

— Ничего дурного?

— Нет, но и ничего хорошего. Посмотри на них.

Жестом собственницы Доминика положила ладонь на руку Жильбера.

— Подумать только, что ты не был три недели. Ты слишком много работаешь. Надо уметь отдыхать.

— Я умею, — говорит он равнодушно.

— Нет, не умеешь, по-настоящему растормаживает только деревня.

Она улыбается ему её шаловливым кокетством, это ново и вовсе к ней не идет. Она говорит очень громко.

— Или путешествия, — добавляет она. И, не отпуская руки Жильбера, говорит Тириону: — Мы собираемся провести рождество в Ливане.

— Великолепная мысль. Говорят, это восхитительно.

— Да. И мне кажется забавным встретить рождество в жарких краях. С рождеством всегда ассоциируется снег…

Жильбер ничего не отвечает. Доминика натянута как струна и может сорваться от одного слова. Он, должно быть, чувствует это.

— Нашему другу Люзаршу пришла в голову очаровательная идея, — говорит госпожа Тирион своим певучим голосом блондинки. — Сочельник-сюрприз. Он сажает двадцать пять приглашенных в самолет — и мы не знаем, где приземлимся: в Лондоне, в Риме, в Амстердаме или еще где-нибудь. Естественно, он заказал столики в самом красивом ресторане города.

— Забавно, — говорит Доминика.

— Обычно люди не слишком изобретательны, когда дело касается развлечений, — говорит Жильбер.

Еще одно слово, утратившее Смысл для Лоранс. Иногда в кино ей интересно, смешно. Но развлечения… А Жильбер развлекается? Сесть в самолет, не зная, куда он летит, развлечение ли это? Может, подозрения, возникшие у нее на днях, и обоснованны?

Она присаживается к Жан-Шарлю и Дюфренам, устроившимся подле камина.

— Жаль, что в современных зданиях камин — недоступная роскошь, — говорит Жан-Шарль.

Он глядит в огонь, отблески которого пляшут на его лице. Он снял замшевую куртку, расстегнул ворот спортивной рубашки; он кажется моложе, менее скованным, чем обычно. (Впрочем, и Дюфрен в своем велюровом костюме — тоже, или тут дело только в одежде?).

— Я забыл рассказать тебе анекдот, от которого придет в восторг твой отец, — говорит Жан-Шарль. — Голдуотеру до того нравится, как горят дрова, что летом он охлаждает свой дом эр кондишн и разжигает большой огонь.

Лоранс смеется.

— Да, папе это понравится…

На журнальном столике около нее — «Реалите», «Экспресс», «Кандид», «Вотр жарден», несколько книг: Гонкуровская премия, премия Ренодо. По дивану разбросаны пластинки, хотя Доминика никогда не слушает музыку. Лоранс вновь оборачивается к ней — улыбающаяся, довольная, она разглагольствует, оживленно жестикулируя.

— Ну нет! Я уж предпочитаю пообедать «У Максима». Тут по крайней мере можешь быть уверен, что повар не харкал в кушанья и что твои колени не будут липнуть к господину, сидящему

за соседним столиком. Я знаю, у снобов сейчас в моде маленькие бистро, но они не дешевле, воняют пригорелым салом, все время об кого-нибудь трешься.

— А вы бывали «У Гертруды»?

— Да, бывала. За те же деньги лучше пойти в «Серебряную башню».

Вид у нее непринужденный. Почему приехал Жильбер? Лоранс слышит смех Жан-Шарля, смех Дюфрена.

— Нет, серьезно, вы отдаете себе отчет, что останется нам, бедным архитекторам, при всех этих предпринимателях, инициаторах, администраторах, инженерах? — говорит Жан-Шарль.

— Ох уж эти мне инициаторы! — вздыхает Дюфрен.

Жан-Шарль ворошит дрова, глаза его блестят. Не приходилось ли ему в детстве видеть, как горят дрова? Во всяком случае, от его лица исходит аромат детства, и Лоранс ощущает, как что-то в ней тает; нежность — если б обрести ее вновь, навсегда… Голос Доминики пробуждает ее.

— Я тоже думала, что не будет ничего интересного; и поначалу все шло из рук вон плохо; никакого порядка, мы целый час топтались перед входом; и тем не менее пойти стоило; там были

все парижские знаменитости. Поили вполне сносным шампанским. И я должна сказать, что госпожа де Голль оказалась гораздо презентабельней, чем я предполагала, не скажешь, что величественна, нет, с Линетт Вердле ее, конечно, не сравнить, но держится с достоинством.

— Мне говорили, что право на кормежку получили только финансы и политика, а искусство и литература должны были удовольствоваться вышивкой, это правда? — небрежным голосом спрашивает Жильбер.

— Не есть же мы туда шли, — говорит Доминика, принуждённо смеясь.

Ну и сволочь этот Жильбер, задал вопрос специально, чтоб досадить маме! Дюфрен поворачивается к нему:

— Правда, что электронные машины будут использоваться для создания абстрактных полотен?

— Возможно. Не думаю только, что это будет рентабельно, — говорит Жильбер, округляя рот в улыбке.

— Как? Машина может заниматься живописью? — восклицает госпожа Тирион.

— Абстрактной— почему бы и нет? — говорит Тирион ироническим тоном.

— Известно ли вам, что есть машины, создающие музыку под Моцарта и Баха? — говорит Дюфрен. Да, да: один недостаток — она безупречна, тогда как музыкантов из плоти и крови всегда можно в чем-нибудь упрекнуть.

А ведь я читала об этом недавно в каком-то еженедельнике. С тех пор, как она проглядывает газеты, Лоранс замечает, что люди нередко пересказывают в разговорах статьи. Почему бы нет? Нужно же где-то черпать информацию.

— Скоро машины вытеснят архитектурные мастерские, и мы окажемся на мели, — говорит Жан-Шарль.

— Вполне вероятно, — говорит Жильбер. — Мы вступаем в новую эру, когда человек станет бесполезен.

— Только не мы! — говорит Тирион. — Адвокаты будут всегда нужны, потому что машина никогда не овладеет красноречием.

— Но, возможно, люди утратят чувствительность к красноречию, — говорит Жан-Шарль.

— Скажете тоже! Человек — говорящее животное, слово всегда будет его пленять. Машины не изменят природы человека.

— Как раз изменят!

Жан-Шарль и Дюфрен единодушны (они чи-

тают одно и то же), представление о человеке подлежит пересмотру, оно будет отброшено без всякого сомнения, это порождение девятнадцатого века, устаревшее в наши дни. Во всех областях — в литературе, музыке, живописи, архитектуре — искусство отвергает гуманизм предшествующих поколений. Жильбер молчит со снисходительным видом, остальные перебивают друг друга. Признайте, что есть книги, которые сейчас уже невозможно читать, фильмы, которые невозможно смотреть, музыка, которую невозможно слушать, но шедевры остаются шедеврами, когда бы ни были созданы. А что такое шедевр? Надо отказаться от субъективных критериев, это невозможно, простите, к этому стремится вся новая критика, хотел бы я знать, каких критериев придерживаются жюри Гонкуров и Ренодо, премии в этом году еще хуже прошлогодних, ах, вы знаете, это все издательские махинации, мне из надежного источника известно, что некоторые члены жюри подкуплены, какой срам, а с художниками — это ведь еще скандальней: из любого мазилки с помощью рекламы делают гения, если все его считают гением, значит, — он гений, это парадокс, нет, других критериев, объективных критериев не существует…

— Ну, нет! То, что прекрасно — прекрасно! — говорит госпожа Тирион с таким пафосом, что на мгновение все замолкают. Потом все начинается сначала…

Как обычно, Лоранс путается в собственных мыслях; она почти всегда не согласна с тем, кто говорит, но поскольку они все расходятся между собой, то, противореча всем, она противоречит самой себе. Хотя госпожа Тирион патентованная идиотка, мне хочется сказать, как она: что прекрасно — то прекрасно, что правда — то правда. Но чего стоит это мнение? От кого оно у меня? От папы, из лицейских уроков, от мадемуазель Уше? В восемнадцать лет у меня были убеждения. Что-то от них осталось, немного, скорее тоска по ним. Лоранс никогда не уверена в своих суждениях, слишком они зависят от настроения, от обстоятельств. Выходя из кино, я с трудом могу сказать, понравился мне фильм или нет.

— Я могу вас отвлечь на две минуты?

Лоранс холодно смотрит на Жильбера.

— У меня нет ни малейшего желания с вами говорить.

— Я настаиваю.

Лоранс проходит за ним в соседнюю комнату, ей любопытно и тревожно. Они садятся, она

ждет.

— Я хотел вас предупредить, что собираюсь все выложить Доминике. О поездке, разумеется, не может быть и речи. К тому же Патриция готова все понять, отнестись ко всему по-человечески, но она устала ждать. Мы хотим пожениться в конце мая.

Решение Жильбера непоколебимо. Единственное средство — убить его. Доминика страдала бы куда меньше. Она шепчет:

— Зачем вы приехали? Вы внушаете ей ложные надежды.

— Я приехал, потому что по многим причинам не желаю иметь в Доминике врага, а она поставила на кон нашу дружбу. Если благодаря некоторым уступкам мне удастся смягчить разрыв, это будет гораздо лучше, прежде всего для нее. Вы не согласны?

— Вы не сможете.

— Да, я тоже так думаю, — говорит он совсем иным голосом. — Я приехал также для того, чтобы понять, как она настроена. Она упорно считает, что у меня преходящее увлечение. Я должен открыть ей глаза.

— Не сейчас!

— Сегодня вечером я возвращаюсь в Париж… —

Лицо Жильбера озаряется. — Послушайте, мне пришло в голову, не лучше ли будет в интересах Доминики, чтобы вы ее подготовили?

— А, вот она, подлинная причина вашего присутствия: вы хотели бы переложить на меня эту приятную обязанность.

— Признаюсь, я испытываю ужас перед сценами.

— Вам не хватает фантазии, сцены — это далеко не самое худшее. — Лоранс задумывается. — Сделайте одну вещь: откажитесь от поездки, ничего не говоря о Патриции. Доминика так разозлится, что порвет с вами сама.

Жильбер говорит резко:

— Вы отлично знаете, что нет.

Он прав. Лоранс на мгновение захотелось поверить словам Доминики: «Я поставлю перед ним вопрос ребром», но она покричит, обрушится на него с упреками, а потом будет снова ждать, требовать, надеяться.

— То, что вы намерены сделать, жестоко.

— Ваша враждебность меня огорчает, — говорит Жильбер с расстроенным видом. — Никто не властен над своим сердцем. Я разлюбил Доминику, я люблю Патрицию: в чем мое преступление?

Глагол «любить» в его устах приобретает нечто

непристойное. Лоранс подымается.

— На этой неделе я поговорю с ней, — говорит Жильбер. — Я вас настоятельно прошу повидать ее тотчас после нашего объяснения.

Лоранс глядит на него с ненавистью.

— Чтоб помешать ей покончить с собой, оставив записку, где будет сказано о причинах? Это произвело бы дурное впечатление — кровь на белом платье Патриции…

Она отходит. Лангусты скрежещут у нее в ушах; гадостный лязг нечеловеческого страдания. Она берет шампанское с буфета, наливает бокал.

Они наполняют тарелки, продолжая начатый разговор.

— Девочка не лишена дарования, — говорит госпожа Тирион, — но нужно было бы научить ее одеваться, она способна носить блузку в горошек с полосатой юбкой.

— Заметьте, иногда это совсем не так плохо, — говорит Жизель Дюфрен.

— Гениальный портной может себе позволить все, — говорит Доминика.

Она подходит к Лоранс.

— О чем с тобой говорил Жильбер?

— Он хотел порекомендовать мне племянницу своих друзей, которую интересует рекламное

дело.

— Это правда?

— Не воображаешь ли ты, что Жильбер может говорить со мной о ваших отношениях?

— С него станет. Ты ничего не ешь?

Аппетит у Лоранс отбило начисто. Она бросается в кресло и берет журнал. Она чувствует, что не способна поддерживать беседу. Он поговорит с Домиником на этой неделе. Кто может помочь мне успокоить ее? За этот месяц Лоранс поняла, как одинока мать. Куча знакомых — ни одной подруги. Никого, кто способен ее выслушать или попросту отвлечь. Несешь в одиночку эту хрупкую конструкцию — собственную жизнь, а угрозам числа нет. Неужели у всех так? У меня все же есть папа. И Жан-Шарль никогда не причинит мне горя. Она поднимает на него глаза. Он говорит, смеется, смеются вокруг него, он умеет нравиться, когда захочет. Снова волна нежности поднимается в сердце Лоранс. В конце концов это естественно, что он нервничал в последние дни. Он знает, скольким обязан Верню; и все же он не может пожертвовать ради него карьерой. Из-за этого конфликта он и был не в своей тарелке. Он любит успех, Лоранс это понимает. Если не вкладывать себя в работу, от скуки сдохнешь.

— Моя дорогая Доминика, мне придется вас покинуть, — церемонно говорит Жильбер.

— Уже?

— Я специально приехал пораньше, потому что не могу остаться допоздна, — говорит Жильбер.

Он быстро прощается со всеми. Доминика выходит е ним из дому. Жан-Шарль делает знак Лоранс:

— Иди сюда. Тирион рассказывает увлекательнейшие истории из своей практики.

Они все сидят, кроме Тириона, который расхаживает, потрясая рукавами воображаемой мантии.

— Какого я мнения о моих товарках по ремеслу, милая дама? — говорит он Жизель. — Да самого наилучшего; многие из них прелестные женщины, и многие не лишены таланта (как правило, это не совпадает). Но одно бесспорно; ни одна из них не способна успешно выступить в суде присяжных. Нутра не хватит, авторитета и — сейчас я вас удивлю — чувства сцены, без которого не обойтись.

— На наших глазах женщины овладевали профессиями, которые априорно казались недоступными для них, — говорит Жан-Шарль.

— С самой ушлой, самой красноречивой из них,

клянусь вам, я управлюсь в два счета перед судом присяжных, — говорит Тирион.

— Вас, возможно, ждут сюрпризы, — говорит Жан-Шарль. — Что до меня, то я верю: будущее принадлежит женщинам.

— Возможно, при условии, однако, что они не будут по-обезьяньи копировать мужчин, — говорит Тирион.

— Заниматься мужским делом — не значит по-обезьяньи копировать мужчин.

— Не понимаю, Жан-Шарль, — говорит Жизель Дюфрен, — это говорите вы, который всегда держит нос по ветру; не станете же вы меня уверять, что вы — феминист. Феминизм в наше время — пройденный этап.

Феминизм. Последнее время только и говорят об этом. Лоранс тотчас же перестает слушать. Феминизм, психоанализ, Общий рынок, ударная сила — она не знает, что об этом думать, ничего не думает. У меня аллергия. Она смотрит на мать, которая возвращается в комнату с натянутой улыбкой на губах. Завтра, через два дня, на этой неделе Жильбер ей все скажет. Голос прозвучал, прозвучит в «зоне покоя»: «Мерзавец, мерзавец!» Перед взором Лоранс цветы, похожие на злых птиц. Когда она приходит в себя, госпожа Тирион

разглагольствует:

— Меня тошнит от того, что все подвергается систематическому поношению. Разве это не было красиво задумано: двадцать пятого января на обеде в пользу голодающих детей нам подали за двадцать тысяч франков чашечку риса и стакан воды; обычное меню маленьких индусов. Так что же! Подхихикивания в левой печати. А что бы они запели, если б мы ели икру и паштет из гусиных печенок!

— Раскритиковать можно все, — говорит Доминика, — не стоит обращать внимания.

Вид у нее отсутствующий, она рассеянно отвечает госпоже Тирион, между тем как остальные четверо усаживаются за бридж; Лоранс открывает «Экспресс»: информация, разложенная на тоненькие рубрики, как чашка молока; без сучка, без задоринки, ничто не задевает, не царапает. Ее клонит ко сну, она поспешно встает, когда Тирион отходит от карточного стола, заявляя:

— У меня завтра трудный день. Мы вынуждены уехать.

— Я пойду наверх лягу, — говорит она.

— Здесь, должно быть, чудесно спится, — говорит госпожа Тирион. — И наверное нет нужды в снотворных. В Париже без них не обойдешься.

— А я покончила со снотворными с тех пор, как ежедневно принимаю гармонизатор, — говорит Жизель Дюфрен.

— Я испробовал одну из убаюкивающих пластинок, но она меня ничуть не убаюкала, — весело говорит Жан-Шарль.

— Мне рассказывали об удивительном аппарате, — говорит Тирион, — включаешь его в электросеть, он дает световые сигналы, монотонные и завораживающие; они вас усыпляют, а он выключается сам по себе. Непременно закажу такой.

— Ах, сегодня вечером мне ничего не надо, — говорит Лоранс.

Эти комнаты в самом деле прелестны: стены затянуты набивным полотном, деревенские кровати под лоскутными покрывалами, а на умывальнике — фаянсовый таз и кувшин, В стене почти незаметная дверь, ведущая в ванную комнату. Она высовывается в окно и вдыхает холодный запах земли. Через минуту Жан-Шарль будет здесь: она хочет думать только о нем, о его профиле в пляшущих отблесках огня. И внезапно он уже здесь, он ее обнимает, и нежность обжигающей лавой струится по жилам Лоранс, и, когда губы их сливаются, у нее от желания подкаши-

ваются ноги.

— Ну вот! Бедная девочка! Ты очень перепугалась?

— Нет, — говорит Лоранс, — я была так счастлива, что не раздавила велосипедиста.

Она откидывает голову на спинку удобного кожаного кресла. Сейчас она уже не так счастлива, неведомо почему.

— Хочешь чаю?

— Не беспокойся.

— Это займет не больше пяти минут.

Бадминтон, телевизор: когда мы выбрались, уже стемнело; я ехала не быстро. Я ощущала присутствие Жан-Шарля рядом со мной, вспоминала нашу ночь, не отрывая при этом взгляда от дороги. Внезапно, с тропинки направо от меня, в свет фар выскочил рыжий велосипедист. Я резко повернула руль, машина покачнулась и опрокинулась в кювет.

— Ты как?

— В порядке, — сказал Жан-Шарль. — А ты?

— В порядке.

Я выключила контакт. Дверца отворилась.

— Вы ранены?

— Нет.

Группа велосипедистов — мальчики, девочки

— окружили машину, лежавшую неподвижно вверх колесами, продолжавшими крутиться; я крикнула рыжему: «Дурак ты этакий!» — но какое облегчение! Я думала, что проехала по его телу. Я бросилась в объятия Жан-Шарля: «Дорогой мой! Здорово нам повезло. Ни царапины!».

Он не улыбался.

— Машина разбита вдребезги.

— Это да, но лучше она, чем ты или я.

Около нас остановились машины; один из мальчиков объяснил:

— Этот идиот ехал не глядя, он бросился под колеса, а эта милая дама свернула влево.

Рыжий бормотал извинения, остальные благодарили меня.

— Он за вас молиться должен!

На краю мокрой дороги рядом с разломанной машиной я ощутила, что во мне вспенивается радость, как шампанское. Я любила этого кретина велосипедиста за то, что не убила его, и его товарищей, улыбавшихся мне, и незнакомых людей, которые предлагали довезти нас до Парижа. Внезапно у меня закружилась голова, и я потеряла сознание.

Она очнулась на заднем сиденье ДС. Но обратный путь она помнила плохо: шок был все же

сильный. Жан-Шарль говорил, что придется покупать новую машину, что за разбитую больше двухсот тысяч франков не выручишь; он был недоволен, понятно; труднее было принять то, что он, казалось, сердился на меня. Не моя же это вина, я скорее горжусь тем, как я мягко положила нас в кювет; но в конце концов все мужья убеждены, что как водители они дают сто очков форы женам. Да, я вспоминаю, он был настолько недобросовестен, что вечером, когда я перед тем, как лечь, сказала: «Никто бы из этого не выкрутился, не раздолбав машину», ответил: «Я не нахожу, что это очень изобретательно: наша страховка компенсирует ущерб только третьему лицу».

— Что ж, по-твоему, лучше было бы убить этого типа?

— Ты его не убила бы: сломала бы ему ногу…

— Прекрасно могла убить.

— Ну и поделом ему. Все свидетели стали бы на твою сторону.

Он этого не думал, сказал просто, чтоб мне насолить, так как убежден, что я могла отделаться меньшими расходами. А это неправда.

— Вот чай, специальная смесь, — говорит отец, ставя поднос на стол, заваленный журналами. — Знаешь, о чем я думаю, — говорит он, — интерес-

но, если бы девочки были в машине, сохранился бы у тебя тот же рефлекс?

— Не знаю, — говорит Лоранс.

Она колеблется. Жан-Шарль — это как бы мое другое «я», думает она. Мы солидарны. Я действовала, точно была одна. Но подвергнуть риску моих девочек, чтоб спасти незнакомца, нелепость! А Жан-Шарль? Он занимал место смертника. В конце концов ему есть из-за чего сердиться.

Отец возобновляет разговор:

— Вчера, когда дети были со мной, я бы скорее смел с лица земли целый пансион, чем пошел на малейший риск.

— А уж до чего они были довольны! — говорит Лоранс. — Ты задал им королевский пир.

— А! Я отвез их в один из маленьких ресторанов, где еще подают настоящие сливки, цыплят, которые откормлены хорошим зерном, настоящие яйца. Ты знаешь, что в США курам дают водоросли и что в яйца приходится впрыскивать специальное химическое вещество, чтобы придать им вкус яйца?

— Это меня не удивляет. Доминика привезла мне из Нью-Йорка шоколад с химическим ароматом шоколада.

Они смеются. Подумать только, что я не провела с ним ни одного уик-энда в жизни! Он подает чай в разрознен ных чашках. Старая керосиновая лампа, переделанная в электрическую, освещает стол, на котором раскрыт том «Плеяды». Ему не приходится терзать свое воображение, чтобы развлечься.

— У Луизы забавный ум, — говорит он. — Но похожа на тебя Катрин. В ее возрасте ты была так же серьезна.

— Да, я была на нее похожа, — говорит Лоранс (Будет ли она похожа на меня?)

— Я нахожу, что у нее очень развилось воображение.

— Можешь себе представить, Марта меня увещевает: я обязана повести ее к первому причастию!

— Она мечтает всех нас обратить. Она не проповедует, но ставит себя в пример. Всем своим видом она говорит: посмотрите, как вера преображает женщину, какую внутреннюю красоту она дает. Бедняжка, не так-то легко выявить наружу внутреннюю красоту.

— Ты злой.

— Да нет, она славная девочка. Доминика и ты, вы обе сделали блестящую карьеру; существо-

вание матери семейства так тускло, вот она и поставила на святость.

— К тому же иметь Юбера единственным свидетелем твоей жизни явно недостаточно.

— Кто был в Февроле?

— Жильбер Мортье, Дюфрены, Тирион и его жена.

— Она принимает этого подлеца! Помнишь, он приходил к нам — говорит без умолку, а за душой ничего. Не хвалясь, скажу, что начинал лучше его. Вся его карьера построена на грязных интригах и саморекламе. И Доминика хотела, чтоб я стал таким!

— Ты не мог.

— Я мог бы, если б совершил те же гнусности, что он.

— Именно это я и хочу сказать.

Доминика ничего не поняла. «Он предпочел роль посредственности». Нет. Жизнь без компромиссов, время, высвобожденное для раздумий, наслаждения культурой, вместо суетливого существования людей маминого круга; да и я живу не лучше.

— Твоя мать процветает по-прежнему?

Лоранс колеблется.

— У нее неладно с Жильбером Мортье. Я пола-

гаю, что он собирается ее оставить.

— Вот уж полная неожиданность для нее! Она умнее мисс Планеты и на вид приятней госпожи Рузвельт: это дает ей основание считать себя выше всех женщин.

— Сейчас она очень несчастна, — Лоранс приняла резкость отца, но ей жаль мать. — Знаешь, я думала над тем, что ты мне говорил о несчастье. И все же оно существует. Ты остаешься самим собой в любой ситуации, но это не каждому дано.

— То, что доступно мне, доступно любому. Я не исключение.

— А я думаю, что исключение, — нежно говорит Лоранс. — Например, одиночество, мало кого оно не тяготит.

— Потому что люди не отдаются ему всей душой. Самые большие радости были мне дарованы одиночеством.

— Ты в самом деле доволен своей жизнью?

— Я никогда не совершил ничего, в чем мог бы себя упрекнуть.

— Тебе повезло.

— А ты своей недовольна?

— Довольна! Но я себя во многом упрекаю: слишком мало занимаюсь дочками; слишком мало бываю с тобой.

— У тебя дом и работа.

— Да, но все же…

Не будь Люсьена, у меня оставалось бы больше времени; я чаще видела бы папу и могла бы, как он, читать, размышлять. Моя жизнь чересчур загромождена.

— Ты видишь, мне уже надо ехать. — Она поднимается. — Твоя специальная смесь восхитительна.

— Скажи, ты уверена, что не получила внутренних контузий? Ты должна пойти к врачу.

— Нет, нет, я себя чувствую отлично.

— Что вы будете делать без машины? Хочешь взять мою?

— Я не хочу лишать тебя машины.

— Какое же это лишение! Я так редко ею пользуюсь. Мне больше по вкусу пешие прогулки.

Как это на него похоже, думает она взволнованно, садясь за руль. Ни на чей счет он не обольщается, и не приведи бог попасть ему на зуб, но он чуток, внимателен, всегда готов помочь. Она еще ощущает вокруг себя теплый полумрак его квартиры. Расчистить жизнь от всего лишнего. Я должна избавиться от Люсьена.

Сегодня же вечером, решила она. Она сказала, что встретится с Моной; Жан-Шарль поверил, он

всегда ей верит, ему не хватает воображения. Сам он, безусловно, не изменяет ей, и ревновать ему и в голову не приходит.

— Тут красиво, ты не находишь?

— Очень красиво, — говорит она.

Они провели час у Люсьена, а потом она настояла на том, чтоб пойти куда-нибудь. Ей казалось, что в общественном месте легче объясниться, чем в интимной обстановке. Он повел ее в элегантное кабаре в стиле девятисотых годов: приглушенный свет, зеркала, зеленые растения, укромные уголки с диванами. Ей могло бы прийти в голову такое обрамление для фильма-рекламы какой-нибудь марки шампанского или выдержанного коньяка. Вот один из недостатков ее профессии: она слишком хорошо знает, как делаются декорации, под ее взглядом они распадаются на составные части.

— Что ты будешь пить? У них замечательное виски.

— Закажи мне, а выпьешь сам.

— Ты сегодня прекрасна.

Она мило улыбается.

— Ты мне говоришь это каждый раз.

— Это каждый раз так.

Она бросает взгляд на свое отражение в зеркале.

Хорошенькая женщина, сдержанно веселая, чуть капризная, чуть таинственная — такой видит меня Люсьен. Мне это нравилось. А для Жан-Шарля я деловая, прямая, цельная. Тоже неправда. Приятная внешность, да. Но многие женщины куда более красивы. Перламутровая брюнетка с большими зелеными глазами, обрамленными огромными искусственными ресницами, танцует с мужчиной немного моложе ее; я понимаю, что от такого создания можно потерять голову. Они улыбаются друг другу, временами щека касается щеки. Любовь ли это? Мы ведь тоже улыбаемся друг другу, и руки наши встречаются.

— Если б ты знала, какая пытка эти уик-энды! Субботняя ночь… В другие ночи я еще могу сомневаться. Но тут я знаю. Это раскаленная лава в недрах моей недели. Я напился.

— Зря. Для меня это не так уж важно.

— Когда ты со мной, это для тебя тоже не так уж важно.

Она не отвечает. До чего он стал скучен! Сплошные упреки. Еще один, и я воспользуюсь. В самом деле…

— Потанцуем, — предлагает он.

— Пойдем.

Сегодня же вечером, повторяет она себе. По-

чему сегодня? Не из-за ночи в Февроле, ее не тяготит переход из одной кровати в другую: все так похоже. К тому же Жан-Шарль охладил ее чувства, когда она после катастрофы бросилась в его объятия, а он сухо заметил: «Машина вдребезги». Подлинная — и единственная — причина в том, что когда разлюбишь, любовь становится невыносима. Чистая потеря времени. Они молчат, как молчали нередко, но ощущает ли он, что это иное безмолвие?

Как за это взяться? — спрашивает она себя, садясь на диванчик. Она закуривает. В старомодных романах закуривают беспрестанно, это искусственно, говорит Жан-Шарль. Но в жизни часто случается прибегнуть к сигарете, когда надо преодолеть смущение.

— И ты тоже пользуешься «крикетом?» — говорит Люсьен. — Ты женщина со вкусом. Это так уродливо.

— Зато удобно.

— Как бы я хотел подарить тебе красивую зажигалку! По-настоящему красивую. Золотую. Но я лишен даже права делать тебе подарки.

— Ну! Ну! Ты позволял себе.

— Пустяки.

Духи, шарфики — она говорила, что это образ-

чики для рекламы. Но, разумеется, от пудреницы или зажигалки из золота Жан-Шарль бы взбеленился.

— Ты знаешь, я не дорожу вещами. То, что я их рекламирую, отбило у меня интерес…

— Не вижу связи. Красивая вещь остается надолго как воспоминание. Вот от этой зажигалки, например, я давал тебе прикурить, когда ты впервые пришла ко мне.

— Можно вспоминать и без этого.

В сущности, Люсьен тоже живет внешней жизнью, хотя и по-иному, чем Жан-Шарль. Из всех, кого я знаю, только папа другой. Он верен чему-то, что в нем, а не в вещах.

— Почему ты говоришь со мной таким тоном? — спрашивает Люсьен. — Ты хотела пойти куда-нибудь, и мы пошли; я выполняю все твои желания. Ты могла бы быть полюбезнее.

Она не отвечает.

— За весь вечер ты не сказала мне ни единого нежного слова.

— Не было случая.

— Теперь никогда не бывает случая.

Вот подходящий момент, говорит она себе. Он пострадает немножко, потом утешится. Множество любовников на земле рвут как раз в это

мгновение; через год они и не вспомнят.

— Послушай, ты не перестаешь упрекать меня. Лучше объяснимся откровенно.

— Мне нечего тебе объяснять, — быстро говорит он. — И я тебя ни о чем не спрашиваю.

— Спрашиваешь, только обиняком. И я хочу тебе ответить. Я к тебе очень хорошо отношусь, и так будет всегда. Но я больше не люблю тебя по-настоящему. (А любила ли? Есть ли смысл у этих слов?)

Молчание. Сердце Лоранс колотится быстрее, чем обычно, но самое тяжелое позади. Решительные слова произнесены. Остается закруглить сцену.

— Я давно это знаю, — говорит Люсьен. — Почему тебе понадобилось сказать об этом сегодня?

— Потому, что мы должны сделать из этого выводы. Если это не любовь, незачем спать друг с другом.

— Я тебя люблю. Множество людей спит друг с другом, не испытывая безумной любви.

— Не вижу оснований.

— Конечно! Тебе ничего не нужно. А мне каково? Я-то не могу без тебя обойтись, на меня тебе наплевать.

— Напротив, я прежде всего думаю о тебе. Я

даю тебе слишком мало, крохи, как ты сам часто говоришь. Другая женщина сделает тебя гораздо счастливее.

— Какая трогательная забота!

Лицо Люсьена искажается. Он берет руку Лоранс.

— Ты говоришь не всерьез! Неужели все, что было между нами: ночи в Гавре, ночи у меня, наша вылазка в Бордо, — для тебя больше не существует?

— Ты не прав. Я всегда буду это вспоминать.

— Ты уже забыла.

Он взывает к прошлому, он сопротивляется; она спокойно подает реплики; это бессмысленно, но она знает? Тот, кого бросают, имеет свои права; она вежливо выслушивает его, ей нетрудно. У него во взгляде — подозрение.

— Я понял! У тебя есть другой!

— Ну что ты! При моей-то жизни!

— Нет, действительно это не так. Просто ты меня никогда не любила. Есть женщины, холодные в постели. Ты хуже. Ты страдаешь холодностью сердца.

— Не моя вина.

— А если я тебе скажу, что возьму да разобьюсь сейчас на автостраде?

— Ты не до такой степени глуп. Брось, не делай из этого трагедии. Одной меньше… Люди взаимозаменяемы.

— То, что ты говоришь, чудовищно. — Люсьен встает. — Пойдем. Мне хочется избить тебя.

Они доезжают молча до дома Лоранс. Она выходит и на мгновение останавливается в растерянности на краю тротуара.

— Что ж, до свидания, — говорит она.

— Нет, не до свидания. Подотрись своим хорошим отношением. Я сменю контору и не увижу тебя никогда в жизни.

Он захлопывает дверцу, трогается. Она не очень горда собой. Но и не недовольна. Это было необходимо, говорит она себе. Почему — она толком не знает.

Сегодня она столкнулась с Люсьеном в Пюблинфе, они не заговорили. Десять вечера. Она наводит порядок в спальне, когда слышит телефонный звонок и голос Жан-Шарля:

— Лоранс, твоя мать.

Она кидается к телефону:

— Это ты, Доминика?

— Да. Приезжай сейчас же.

— Что случилось?

— Приедешь, скажу.

— Еду.

Жан-Шарль снова погружается в книгу; он спрашивает с недовольным видом:

— Что происходит?

— Наверно, Жильбер все сказал.

— Подумаешь, трагедия!

Лоранс натягивает пальто, идет поцеловать дочек.

— Почему ты уходишь так поздно? — говорит Луиза.

— Бабушка немного больна. Она попросила меня купить ей лекарства.

Она спускается на лифте в гараж, где стоит машина, которую одолжил ей отец. Жильбер сказал! Она дает задний ход, выезжает. Спокойствие, спокойствие. Несколько глубоких вдохов и выдохов. Сохранить хладнокровие, ехать не слишком быстро. Ей везет, она тотчас находит место, ставит машину у тротуара. На мгновение она застывает у нижней ступеньки. Ей не хватает мужества подняться, позвонить. Что она найдет там, за дверью? Она поднимается, звонит.

— Что с тобой случилось?

Доминика не отвечает. Она причесана, накрашена, глаза сухие, она нервно курит.

— Жильбер только что ушел, — говорит она

глухим голосом. Она вводит Лоранс в салон. — Он мерзавец. Мерзавец из мерзавцев. И его жена не лучше. Все одним миром те мазаны. Но я буду защищаться. Они хотят добить меня, но им не удастся.

Лоранс смотрит вопросительно, она ждет; слова застревают в горле у Доминики.

— Это не Люсиль. Это Патриция. Дуреха. Он на ней женится.

— Женится?

— Женится. Представляешь? Могу вообразить. Пышная свадьба в Мануаре, с флердоранжем, в церкви. С Мари-Клер он ведь не изволил обвенчаться. И Люсиль — взволнована, в роли молодой матери новобрачной. Сдохнуть от смеха.

Она разражается смехом, откинув голову на спинку кресла; она смеется, смеется, с остановившимся взглядом, бледная, и толстые жилы вздуваются под кожей на ее шее, внезапно ставшей шеей очень старой женщины. В подобных случаях дают оплеуху или плещут водой в лицо, но Лоранс не осмеливается. Она только говорит.

— Успокойся. Прошу тебя, успокойся.

Дрова догорают в камине, в салоне слишком жарко. Смех замирает, голова Доминики падает на грудь, жилы на шее исчезают, лицо обмякает.

Говорить!

— Мари-Клер соглашается на развод?

— С восторгом. Она меня ненавидит. Полагаю, что ее пригласят на свадьбу. — Кулак Доминики расплющивается о ручку кресла. — Я боролась всю жизнь. А эта маленькая идиотка в двадцать лет — жена одного из самых богатых людей во Франции. Она будет еще молода, когда он сдохнет, оставив ей половину своего состояния. Это, по-твоему, справедливо?

— Где она, справедливость? Послушай, ты всего добилась сама, это прекрасно. Тебе никто не был нужен. Значит, ты сильна. Покажи им свою силу, покажи, что тебе плевать на Жильбера…

— Ты считаешь, что всего добиться самой — прекрасно! Ты не знаешь, каково это. Что приходится делать, что выносить, особенно женщине. Всю жизнь терпела унижения. С Жильбером… — Голос Доминики дрожит. — С Жильбером я чувствовала себя защищенной, спокойной, наконец-то спокойной после стольких лет…

Она говорит таким голосом, что Лоранс тянет к ней. Надежность, покой. Ей кажется, что она, наконец, поняла сущность Доминики, столь яростно скрываемую обычно.

— Доминика, дорогая, ты должна гордиться

собой. Не чувствовать себя униженной, никогда. Забудь Жильбера, он не заслуживает твоих сожалений. Конечно, это трудно, тебе понадобится время, но ты справишься…

— По-твоему, это не унизительно — быть выброшенной на свалку, как старая калоша? Ах, я так и слышу, как они хихикают.

— Хихикать тут не над чем.

— А они будут хихикать.

— Значит, они глупы. Не думай о них.

— Я не могу. Ты не понимаешь. Ты вроде своего отца, витаешь в облаках. А я живу, живу с этими людьми.

— Не встречайся с ними.

— А с кем мне встречаться? — Слезы начинают течь по бледному лицу Доминики. — Быть старой само по себе ужасно. Но я думала, что Жильбер будет со мной, всегда со мной. И вот — нет. Старая, одинокая: это чудовищно.

— Ты не старая.

— Скоро буду.

— Ты не одинока, у тебя есть я, мы.

Доминика плачет. Под маской скрывалась женщина из плоти и крови, имеющая сердце, чувствующая, что стареет, страшащаяся одиночества; она шепчет:

— Женщина без мужчины — одинокая женщина.

— Ты встретишь другого мужчину. А пока у тебя есть твоя работа.

— Работа? Ты думаешь, она мне что-нибудь дает? Раньше — да, потому что я стремилась чего-то добиться. Теперь добилась и спрашиваю себя — чего?

— Того, чего ты хотела. У тебя совершенно незаурядное положение, увлекательная работа.

Доминика не слушает. Уставившись в стену перед собой.

— Женщина, добившаяся положения! Издали это заманчиво. Но наедине с самой собой, в спальне, вечером… Одинокая навсегда. — Она вздрагивает, точно выходя из транса. — Я этого не переживу!

«Переживет, переживет!» — говорил Жильбер. Да или нет?

— Отправься в путешествие, поезжай в Баальбек без него.

— Одна?

— С подругой.

— По-твоему, у меня есть подруги! А где я деньги возьму? Я даже не знаю, смогу ли сохранить Февроль, содержать дом слишком дорого.

— У тебя есть машина, поезжай в Италию, переменишь обстановку.

— Нет! Нет! Я не уступлю. Я что-нибудь сделаю.

Лицо Доминики становится опять таким жестким, что Лоранс овладевает смутный страх.

— Как? Что ты можешь сделать?

— Во всяком случае, я отомщу.

— Как?

Доминика колеблется; ее губы кривит подобие улыбки.

— Я уверена, они скрыли от девочки, что мать спала с Жильбером. Я расскажу ей, И о том, как он говорил о Люсиль: груди до колен и все прочее.

— Ты не сделаешь этого! Это безумие. Не пойдешь же ты к ней!

— Нет. Но я могу написать.

— Надеюсь, ты это не серьезно!

— А почему бы нет?

— Это было бы подло.

— А то, что они со мной делают — не подло? Элегантность, fair play[17], чушь все это! Они не вправе причинять мне страдания, я не намерена отвечать им добром на зло.

Лоранс никогда не судила Доминику, она ни-

---

**[17] Примечания: 17**
Честная игра *(англ.)*.

кого не судит; но ее пробирает дрожь. В этом сердце чудовищный мрак, там гнездятся змеи. Помешать, любой ценой.

— Ты ничего не достигнешь; только скомпрометируешь себя в их глазах, а свадьба все равно состоится.

— В этом я как раз очень сомневаюсь, — говорит Доминика. Она задумывается, рассчитывает: — Патриция растетеха. Это в стиле Люсиль: можно иметь любовников, но дочурка не должна ничего знать, дочурочка девственница, она достойна своего флердоранжа…

Лоранс ошарашена внезапной вульгарностью Доминики. У нее никогда не было такого голоса, такой манеры говорить; она слышит кого-то другого, не Доминику.

— Так что когда эта святая невинность узнает правду, это ее здорово прихлопнет.

— Но она же тебе ничего не сделала, не она виновата.

— И она тоже. — В голосе Доминики агрессивность. — Почему ты их защищаешь?

— Я защищаю тебя от тебя самой. Ты всегда говорила, что надо уметь держать себя, когда приходится плохо. Ты возмущалась Жанной Тексье.

— Я не кончаю с собой, я мщу. Что сказать, ка-

кие доводы найти?

— Они скажут, что ты лжешь.

— Она им ничего не скажет, она их возненавидит.

— Представь, что скажет. Они будут всюду кричать, что ты написала это.

— Ну нет, не станут они перемывать грязное белье на людях.

— Они скажут, что ты написала гнусности, не уточняя.

— Она им не скажет: она их возненавидит.

— Ты представляешь, что о тебе подумают?

— Что я себя в обиду не даю. Все равно, я брошенная женщина; старая женщина, брошенная ради молоденькой девушки. Лучше быть отвратительной, чем смешной.

— Умоляю тебя!

— Ах, отстань, — говорит Доминика, — хорошо, я не буду, что тогда?

Снова лицо ее уродует гримаса, она разражается слезами.

— Мне никогда не везло. Твой отец ни на что не был способен. Да, не способен. А когда, наконец, я встречаю мужчину, настоящего мужчину, он бросает меня ради двадцатилетней идиотки.

— Хочешь, я останусь ночевать у тебя?

— Нет, дай мне таблетки. Я немного увеличу дозу и буду спать! Я на пределе.

Стакан воды, зеленая капсула, две маленькие пилюли, Доминика глотает их.

— Можешь оставить меня теперь.

Лоранс целует ее, закрывает за собой входную дверь. Она ведет машину медленно. Напишет или нет Доминика свое письмо? Как ей помешать? Предупредить Жильбера? Это было бы предательством. Он к тому же не может уследить за корреспонденцией Патриции. Увезти маму в путешествие, сейчас же, завтра? Она откажется. Что делать? Как только возникает этот вопрос, полнейшая растерянность. Я всегда катилась по гладким рельсам. Ничто не было плодом моих решений: ни замужество, ни выбор профессии, ни роман с Люсьеном, он завязался и развязался сам собой. Со мной что-то случается, вот и все. Что делать? Посоветоваться с Жан-Шарлем.

— О господи! Если бы ты знал, в каком состоянии Доминика! — говорит она. — Жильбер ей все сказал.

Он откладывает книгу, сунув предварительно закладку между страниц.

— Это можно было предвидеть.

— Я надеялась, что она легче перенесет удар.

За последний месяц она мне наговорила столько дурного о Жильбере.

— Слишком многое поставлено на карту. Взять хоть деньги — ей придется переменить образ жизни.

Лоранс делает над собой усилие. Жан-Шарль ненавидит патетику, это известно; но все же какое равнодушие в его словах!

— Доминика любит Жильбера не за его деньги.

— Но у него они есть, и это идет в расчет. Это идет в расчет для всех, представь себе, — говорит он вызывающе.

Она не отвечает и направляется в свою комнату. Он решительно не может переварить, что потерял из-за аварии восемьсот тысяч франков. И возлагает ответственность на меня! Резкими движениями она скидывает одежду. В ней закипает злость. Я не хочу злиться, мне нужно как следует отдохнуть. Стакан воды, немного гимнастики, холодный душ. Разумеется, нечего было рассчитывать на совет Жан-Шарля: вмешиваться в чужие дела — ни за что. Один человек мог бы помочь Лоранс — ее отец. И все же, как он ни понятлив, ни благороден, Лоранс не станет пробуждать в нем жалость к горестям Доминики. В виде исключения она принимает снотворное. На-

чиная с воскресенья на нее обрушилось слишком много волнений, как водится, одно к одному.

Из боязни разбудить мать Лоранс звонит ей в последнюю минуту перед уходом на работу. Она спрашивает:

— Как ты себя чувствуешь? Ты спала?

— Великолепно, до четырех утра.

В голосе Доминики веселый вызов.

— Только до четырех?

— Да, в четыре я проснулась. — Пауза. Потом Доминика триумфально провозглашает: — Я написала Патриции.

— Нет! О нет! — сердце Лоранс начинает дико колотиться. — Ты не отправила письма?

— Пневматической почтой, в пять часов. Представляю, как у нее вытянется мордочка, — вот смеху-то!

— Доминика! Это безумие. Нельзя, чтоб она прочла это письмо. Позвони ей, умоли не распечатывать его.

— Как же, позвоню! И вообще слишком поздно, она уже прочла.

Лоранс молчит. Она кладет трубку и едва успевает добежать до ванной комнаты: желудок сводит болью, ее рвёт только что выпитым чаем; вот уже много лет, как ее не рвало от волнения.

Желудок пуст, но спазмы не отпускают. Она лишена воображения, она не представляет себе ни Патриции, ни Люсиль, ни Жильбера, ничего. Но ей страшно. Панически страшно. Она выпивает стакан воды и, вернувшись в комнату, падает на диван.

— Ты заболела, мама? — спрашивает Катрин.

— Немножко. Ничего серьезного. Ступай, делай уроки.

— Ты больна или огорчена? Это из-за бабушки?

— Почему ты спрашиваешь об этом?

— Ты раньше мне сказала, что ей лучше, но было не похоже, что ты так думаешь.

Катрин поднимает к матери озабоченное, но доверчивое лицо. Лоранс обнимает ее, прижимает к себе.

— Она не больна. Но она должна была выйти замуж за Жильбера, а он ее разлюбил и женится на другой. Поэтому она очень несчастна.

— А! — Катрин задумывается. — Что можно сделать?

— Быть с ней поласковее, больше ничего.

— Мама, а бабушка станет злой?

— То есть как?

— Брижитт говорит, что если люди злы, значит они несчастны. Кроме нацистов.

— Она тебе так сказала? — Лоранс прижимает к себе Катрин еще крепче. — Нет. Бабушка не станет злой. Но будь внимательна, когда ты с ней встретишься, не показывай виду, что ты знаешь, как ей тоскливо;

— А ты? Я не хочу, чтоб тебе было тоскливо, — говорит Катрин.

— Я счастлива, потому что у меня такая милая доченька. Ступай делай уроки и ни о чем не говори Луизе, она еще слишком маленькая. Договорились?

— Договорились, — говорит Катрин.

Она чмокает мать в щеку и убегает улыбаясь. Ребенок. Нежный, искренний ребенок. Неужели неотвратимо, чтоб она превратилась в женщину, такую, как я, с камнем на сердце и адом в голове?

Не думать больше об этом, не хочу об этом думать, говорит себе Лоранс, обсуждая с Моной и Люсьеном в своем кабинете в Люблинфе рекламу батиста флорибель. Половина двенадцатого. Патриция получила пневматичку еще в восемь утра.

— Ты слушаешь меня? — говорит Люсьен.

— Ну конечно.

Люсьен держится натянуто, подчеркивая оби-

ду, неприязнь. Она предпочла бы вовсе с ним не встречаться, но Вуазен его не отпускает. Невинность батиста, невинность продуманная, прозрачность, чистота ручья, но шаловливая нескромность — надо играть на этих контрастах. Лоранс вздрагивает от телефонного звонка. Жильбер: «Я вам настоятельно рекомендую посетить вашу мать». Голос резкий, злой. Он уже повесил трубку. Лоранс набирает номер матери. Ненавистный механизм, сближающий и разделяющий людей, проклятая Кассандра, пронзительный зов которой внезапно ломает день, предвещая трагедии. Там звонок дребезжит в тишине: можно подумать, что квартира пуста. Но, судя по фразе Жильбера, Доминика должна быть дома. Кто-то в пустой квартире, но кто? Мертвец.

— С матерью несчастье. Сердечный приступ, не знаю что… Я бегу к ней.

На Лоранс, наверно, страшно смотреть, ни Мона, ни Люсьен не говорят ни слова.

Она бежит; бросается в машину, мчится на предельной скорости; оставляет ее там, где запрещено; поднимается по лестнице через ступеньки — дождаться, пока спустится лифт, у нее не хватает терпения; она трижды звонит по два раза. Тишина. Она нажимает на кнопку и не снимает

пальца.

— Кто там?

— Лоранс.

Дверь открывается. Но Доминика поворачивается к ней спиной. На ней голубой пеньюар. Она заходит в спальню, где шторы задернуты. В полумраке видна ваза, опрокинутая на пол, разбросанные тюльпаны, лужа на бобрике. Доминика бросается в кресло: как в тот день, голова ее запрокинута на спинку, взор устремлен в потолок, рыдания вздувают на шее жесткие жилы. Пеньюар спереди разорван, пуговицы выдраны.

— Он дал мне пощечину.

Лоранс идет в ванную, открывает аптечку.

— Ты не принимала транквилизаторов? Нет? Тогда выпей.

Доминика подчиняется. Она говорит чужим голосом. Жильбер позвонил в десять часов, она думала, что пришел консьерж, — открыла. Патриция немедленно бросилась к Жильберу, выплакаться у него на груди. Люсиль кричала. Он захлопнул дверь ногой. Патрицию он гладил по волосам, нежно успокаивал, а ее тут же, в передней, оскорбил, дал пощечину, схватил за ворот голубого пеньюара и поволок в спальню. Голос Доминики пресекается, она икает.

— Мне остается только умереть.

Что произошло на самом деле? Голова Лоранс пылает. В разоренной комнате — неубранная постель, разорванный пеньюар, разбросанные цветы — она видит Жильбера, его крупные холеные руки, злое лицо, слегка оплывающее жиром. Он посмел? А что могло ему помешать? Ужас хватает Лоранс за горло, ужас от сознания того, что произошло в Доминике за эти несколько мгновений, что происходит сейчас. Все прелестные картинки полетели к черту, и их уже никогда не восстановить. Лоранс охотно приняла бы сама транквилизатор, но нет, ей сейчас необходима ясная голова.

— Какой скот! — говорит она. — Все они скоты.

— Я хочу умереть, — шепчет Доминика.

— Успокойся, нечего плакать, это доставило бы ему слишком большое удовольствие, — говорит Лоранс, — умой лицо, прими душ, оденься, выйдем.

Жильбер понял, что пронять Доминику можно только одним способом — унизить ее. Удастся ли ей подняться? Было бы легче, если бы Лоранс могла обнять ее, погладить по голове, как Катрин. Самое мучительное, что к жалости примешивается гадливость, точно она жалеет раненую жабу,

не решаясь к ней прикоснуться. Ей отвратителен Жильбер, но и мать тоже.

— Сейчас он все рассказывает Патриции и Люсиль.

— Ну нет. Поколотил женщину, тут гордиться нечем.

— Он гордится, он будет повсюду хвастать. Я его знаю…

— Он не сможет объяснить, чем это было вызвано. Ты сама вчера мне сказала: не будет же он звонить всему свету, что спал с матерью своей невесты.

— Паскуда! Она показала ему мое письмо!

Лоранс смотрит на мать с изумлением.

— Но, Доминика, я же тебе сказала, что она покажет.

— Я не поверила. Я думала, что ей станет противно, и она порвет с ним. Она должна была так поступить из уважения к матери: промолчать и порвать. Но она нацелилась на денежки Жильбера.

Годами люди были для нее препятствиями, которые надо устранить, и она брала верх над ними; в конце концов она забыла, что у них есть собственные расчеты, что они могут и не подчиниться ее планам. Слепая истеричка, ко-

медиантка. Всегда кому-нибудь подражала, не умея выработать свою систему поведения. Ее принимают за женщину рассудочную, волевую, дельную…

— Одевайся, — повторяет Лоранс. — Надень темные очки. Я отвезу тебя позавтракать куда-нибудь за город, где можно быть уверенным, что никого не встретишь.

— Я не голодна.

— Тебе полезно поесть.

Доминика идет в ванную комнату. Транквилизатор подействовал. Она молча приводит себя в порядок. Лоранс выбрасывает цветы, подтирает воду, звонит на работу. Она усаживает мать в машину. Доминика молчит. Большие темные очки подчеркивают бледность кожи.

Лоранс выбрала ресторан на холме, весь из стекла, пейзаж парижских окрестностей открывается как на ладони. В глубине зала какой-то банкет. Место дорогое, но не элегантное. Знакомые Доминики здесь не бывают. Они садятся за столик.

— Я должна предупредить мою секретаршу, что не буду сегодня, — говорит Доминика.

Она удаляется, слегка сутулясь. Лоранс выходит на террасу, которая господствует над равниной.

Вдалеке белеет Секре-Кер, черепицы парижских крыш блестят под ярко-голубым небом. Один из дней, когда весенняя радость пробивается сквозь декабрьский холод. Птицы поют на голых деревьях. Внизу, по автостраде, бегут, посверкивая, машины. Лоранс замирает. Время внезапно останавливается. За этим гармонически завершенным пейзажем — дороги, скопления городских кварталов, деревушки, машины, которые куда-то торопятся — проступает нечто, и эта встреча так ее волнует, что забываются заботы, тревоги: Лоранс вся — ожидание, без начала и конца. Поет невидимая птица, обещая грядущее обновление. Розоватая полоса тянется над горизонтом, и Лоранс забывается на долгое мгновение, охваченная таинственной душевной смутой. Потом она приходит в себя на террасе ресторана, ей холодно, она возвращается к своему столику.

Доминика садится рядом с ней. Лоранс протягивает ей меню.

— Я ничего не хочу.

— Выбери все же что-нибудь.

— Выбери сама.

Губы Доминики дрожат, чувствуется, что у нее нет сил. Она говорит униженно:

— Лоранс, не говори об этом никому. Я не хочу, чтоб знала Марта. И Жан-Шарль. И твой отец.

— Разумеется, не скажу.

У Лоранс сжимается горло. В ней поднимается волна участия к матери, хочется ей помочь. Но как?

— Если б ты знала, что он мне говорил! Это чудовищно! Это чудовищный человек.

За темными очками накипают две слезы.

— Перестань. Запрети себе думать об этом.

— Не могу.

— Уезжай. Поставь на этом крест. Заведи любовника.

Лоранс заказывает омлет, камбалу, белое вино Она знает, что ей придется часами повторять одно и то же. Она готова к этому. Но она вынуждена будет в конце концов оставить Доминику. И что тогда?

Лицо Доминики искажают странная гримаса, злоба, одержимость.

— Все-таки брачную ночь я им подпортила, надеюсь, — говорит она.

— Для Дюфренов я хотел бы найти что-нибудь сногсшибательное, — говорит Жан-Шарль.

— Надо поискать в папином районе.

У Жан-Шарля предусмотрена специальная

статья бюджета на подарки, поздравления, угощения, приемы, непредвиденные расходы, и он продумывает ее с той же неукоснительной тщательностью и любовью к порядку, как и все остальные. Когда они отправятся после полудня за покупками, они потратят сумму, определенную заранее, с точностью до нескольких тысяч франков. Тонкая работа. При этом ни скаредности, ни желания пустить пыль в глаза не должно быть заметно; однако подарок должен свидетельствовать не о чувстве меры, а лишь о стремлении доставить удовольствие тому, кому он предназначается. Лоранс бросает взгляд на цифры, которые выписывает муж.

— Пять тысяч франков для Гойи — это не жирно.

— Она у нас всего три месяца. Не станем же мы давать ей столько же, сколько дали бы, если б она проработала целый год.

Лоранс молчит. Она возьмет десять тысяч франков из собственных денег; хорошо иметь профессию, при которой получаешь премиальные без ведома супруга. Можно уклониться от дискуссии. Не к чему портить Жан-Шарлю настроение: отметки Катрин не обрадуют его. Нужно все-таки собраться с силами и показать их.

— Дети вчера получили табели с отметками за первую четверть.

Она протягивает ему табель Луизы. Первая в классе, третья, вторая. Жан-Шарль равнодушно пробегает его глазами.

— Дела Катрин не так блестящи.

Он смотрит, хмурится: двенадцатая по французскому, девятая по латыни, восьмая по математике, пятнадцатая по истории, третья по английскому.

— Двенадцатая по французскому! Она всегда была первой! Что с ней стряслось?

— Ей не нравится учительница.

— А пятнадцатая по истории? Девятая по латыни?

От замечаний не легче: «Могла бы работать лучше. Болтает в классе. Рассеянна». (Рассеянна: не от меня ли она это унаследовала?)

— Ты виделась с учителями?

— С учительницей истории; у Катрин утомленный вид, она витает в облаках или, наоборот, не сидит на месте, дурачится. Как она мне сказала, девочки в этом возрасте часто переживают кризис: приближение половой зрелости, не стоит волноваться.

— Кризис, на мой взгляд, серьезный: она не

работает, кричит по ночам.

— Два раза кричала.

— Два раза тоже ни к чему. Позови ее, я хочу с ней поговорить.

— Не ругай ее. Отметки не так уж катастрофичны.

— Не много тебе нужно!

В детской Катрин помогает Луизе переводить картинки. После того как младшая сестра плакала от ревности, Катрин трогательно заботлива. Ничего не попишешь: Луиза хорошенькая, забавная, лукавая, но я предпочитаю Катрин. Откуда этот спад в занятиях? У Лоранс на этот счет есть свои соображения, но она твердо решила их не высказывать.

— Деточка, папа хочет с тобой поговорить. Он обеспокоен твоим табелем.

Катрин молча идет за ней, склонив голову. Жан-Шарль строго глядит на нее.

— Что такое, Катрин, объясни мне, что с тобой случилось? В прошлом году ты всегда занимала одно из первых мест. — Он сует табель ей под нос. — Ты перестала заниматься.

— Нет.

— Двенадцатая, пятнадцатая!

Она поднимает на отца удивленные глаза.

— Какое это имеет значение?

— Не дерзи!

Лоранс вмешивается веселым голосом:

— Если ты хочешь стать врачом, нужно много учиться.

— Но я буду учиться, мне будет интересно, — говорит Катрин. — А сейчас мне никогда не говорят о том, что меня интересует.

— История, литература — это тебя не интересует? — говорит Жан-Шарль возмущенно.

Когда он спорит, ему важнее взять верх, чем понять собеседника, иначе он спросил бы: а что тебе интересно? Катрин не смогла бы ответить, но Лоранс понимает ее: ее интересует окружающий мир — мир, который от нее прячут и который она открывает.

— Это ты от своей приятельницы Брижитт научилась болтать в классе?

— О, Брижитт очень хорошая ученица, — Катрин воодушевляется. — У нее плохая отметка по французскому, потому что учительница дура, но она первая по латыни и третья по истории.

— Видишь! Ты должна брать с нее пример. Мне очень больно, что моя дочурка превращается в оболтуса.

Глаза Катрин наливаются слезами, Лоранс гла-

дит ее по голове.

— В следующей четверти она будет заниматься лучше. Сейчас она отдохнет на каникулах, забудет о лицее. Иди, милый, иди, играй с Луизой.

Катрин выходит из комнаты, и Жан-Шарль говорит рассерженно:

— Если ты ласкаешь, когда я ругаю, не к чему мне заниматься ею.

— Она очень чувствительна.

— Слишком чувствительна. Что с ней случилось? Она плачет, задает вопросы не по возрасту и не работает.

— Ты сам говорил, что она в том возрасте, когда задают вопросы.

— Пусть так, но то, что она отстала в школе — ненормально. Я спрашиваю себя, полезно ли ей дружить с девочкой, которая старше и к тому же еврейка.

— Что?

— Не принимай меня за антисемита. Но общеизвестно, что еврейские дети отличаются преждевременным развитием и чрезмерной эмоциональностью.

— Глупые россказни, я в них не верю. Брижитт рано развилась потому, что лишена матери и должна сама во всем разбираться, потому что

у нее есть старший брат, с которым она очень близка; я нахожу, что она прекрасно влияет на Катрин: девочка взрослеет, думает, обогащается. Ты придаешь слишком большое значение школьным успехам.

— Я хочу, чтоб моя дочь преуспела в жизни. Почему бы тебе не сходить с ней к психологу?

— Ну уж нет! Неужели нужно бегать к психологу всякий раз, как ребенок отстает на несколько мест в классе!

— Отстает в классе и кричит по ночам. Почему бы нет? Почему не обратиться к специалисту, когда расстроена эмоциональная система? Ведь водишь же ты дочерей к врачу, если они кашляют!

— Мне это не по душе.

— Классический случай. Родители непроизвольно ревнуют к психологам, которые занимаются их детьми. Но мы достаточно умны, чтоб стать выше этого. Странный ты человек. То ты вполне современна, то отчаянный ретроград.

— Ретроград или не ретроград, но я вполне довольна Катрин, какая она есть, не хочу, чтоб мне ее портили.

— Психолог не испортит ее. Просто попытается понять, что неладно.

— Что значит неладно? По-моему, у людей, которых ты считаешь нормальными, тоже не все ладно. Если Катрин интересуют вещи, не включенные в школьную программу, это не значит, что она тронутая.

Лоранс говорит с резкостью, удивляющей ее самое. (Тише едешь, дальше будешь, не сворачивай с проложенного пути, влево, вправо не оглядывайся, всему свое время; если тобой овладевает гнев, выпей стакан воды и сделай несколько гимнастических движений. Мне это хорошо удалось, мне это удалось прекрасно; но меня не заставят проделать тот же номер с Катрин.) Она говорит твердо:

— Я не стану мешать Катрин ни читать книги, которые ее интересуют, ни встречаться с товарищами, которые ей нравятся.

— Признай, что она утратила равновесие. В данном случае твой отец был прав: информация — прекрасная вещь, но для детей она опасна. Нужно принять меры предосторожности, возможно, избавить ее от некоторых влияний. Совершенно ни к чему, чтобы ей стали немедленно известны печальные стороны жизни. Всегда успеется.

— Ты так думаешь! Вовсе не успеется, никогда не успеется, — говорит Лоранс. — Мона права,

говоря, что мы ни черта не понимаем. Ежедневно читаем в газетах об ужасных вещах и продолжаем ничего не знать о них.

— Ах, не устраивай мне, пожалуйста, снова приступ больной совести, как в шестьдесят втором, — сухо говорит Жан-Шарль.

Лоранс чувствует, что бледнеет: точно он дал ей пощечину. Она не могла унять дрожь, она потеряла всякую власть над собой в тот день, когда прочла об этой женщине, замученной насмерть. Жан-Шарль прижал ее к себе, она доверчиво отдалась его объятиям, он говорил: «Это чудовищно», она поверила, что он тоже потрясен. Ради него она взяла себя в руки, сделала усилие, чтоб забыть. Ей это почти удалось. Ради него в конечном счете она избегала с тех пор читать газеты. А оказывается, ему было наплевать, он говорил «это чудовищно», просто чтоб ее успокоить, а теперь злопамятно бросает ей в лицо тот случай. Какое предательство! До чего он уверен в своей правоте! Его приводит в бешенство, что мы не соответствуем картинке, его представлению о нас. Примерная девочка! Образцовая молодая женщина! Ему совершенно все равно, что мы такое на самом деле.

— Не хочу, чтобы Катрин унаследовала твою

спокойную совесть.

Жан-Шарль ударяет кулаком об стол; он никогда не мог вынести, чтоб ему противоречили.

— Это ты своими угрызениями и сентиментальностью превращаешь ее в психопатку.

— Я? Сентиментальностью?

Она искренне удивлена. В ней это было, но Доминика, а потом и Жан-Шарль вытравили из нее всякую чувствительность. Мона упрекает ее в равнодушии, а Люсьен корит бессердечием.

— Да, и в тот день тоже, с велосипедистом…

— Уходи, — говорит Лоранс, — или уйду я.

— Я уйду, мне нужно зайти к Монно. Но тебе не вредно бы проконсультироваться с психиатром о себе самой, — говорит Жан-Шарль, вставая.

Она запирается в спальне. Выпить стакан воды, заняться гимнастикой — нет. На этот раз отдается гневу; буря разражается в ее груди, сотрясая все клетки организма, она ощущает физическую боль, но чувствует, что живет. Она видит вновь себя сидящей на кровати, слышит голос Жан-Шарля: «Не нахожу, что это очень изобретательно, наша страховка компенсирует ущерб только третьему лицу… Все свидетели стали бы на твою сторону». И вдруг ее как молнией ударяет: он не шутил. Он упрекал меня, он

и сейчас меня упрекает, что я не сэкономила ему восемьсот тысяч франков, рискуя при этом убить человека. Входная дверь захлопывается, он ушел. А он сделал бы это? Во всяком случае, он зол на меня за то, что я этого не сделала.

Она долго сидит неподвижно, ощущая прилив крови к голове, тяжесть в затылке; ей хотелось бы заплакать, как давно она разучилась плакать?

В детской вертится пластинка: старинные английские песни; Луиза переводит картинки, Катрин читает «Письма с мельницы». Она поднимает голову.

— Мама, папа очень сердился?

— Он не понимает, почему ты стала хуже учиться.

— Ты тоже сердишься?

— Нет, но мне хотелось бы, чтобы ты постаралась.

— Папа часто сердится в последнее время.

Действительному него были неприятности с Вернем, потом эта авария: он разозлился, когда девочки попросили его рассказать о ней. Катрин заметила, что он не в настроении; она смутно ощущает горе Доминики, тоску Лоранс. Может быть, этим объясняются кошмары? Если говорить правду, она кричала три раза.

— Он озабочен. Нужно покупать новую машину, это стоит дорого. И потом он рад, что сменил работу, но ему пришлось столкнуться с рядом трудностей.

— Как печально быть взрослым, — говорит Катрин убежденно.

— Ничуть, взрослые очень счастливы, например, когда у них такие милые девочки, как вы.

— Папа не считает, что я так уж мила.

— Ну конечно, считает! Если бы он не любил тебя, его бы не огорчали твои плохие отметки.

— Ты думаешь?

— Уверена.

Прав ли Жан-Шарль? Действительно ли я наградила ее беспокойным характером? Страшно подумать, что невольно отпечатываешься в детях. Укол в сердце. Тревога, угрызения. Смены настроений, случайно сказанное слово или умолчание, все эти мелочи повседневной жизни, которые должны были бы стираться после меня, вписываются в эту девочку, она их перебирает, запоминает навсегда, как я помню интонации голоса Доминики. Это несправедливо. Нельзя отвечать за все, что делаешь или чего не делаешь. «Что ты для них делаешь?» Счет, внезапно предъявленный в мире, где ничто в общем в счет

не идет. Есть тут какое-то злоупотребление.

— Мама, — спрашивает Луиза, — ты поведешь нас поглядеть на рождественские ясли?

— Да, завтра или послезавтра.

— А можно пойти к рождественской мессе? Пьеро и Рике говорят, что это так красиво, музыка, иллюминация.

— Посмотрим.

Существует множество легенд для успокоения детей: рай Фра Анжелико, светлое будущее, солидарность, милосердие, помощь слаборазвитым странам. Одни я отметаю, другие более или менее приемлю.

Звонок. Букет красных роз, карточка Жан-Шарля: «С нежностью». Она раскалывает булавки, разворачивает глянцевую бумагу, ей хочется выбросить букет на помойку. Букет — это всегда не просто цветы, это выражение дружбы, надежды, благодарности, радости. Красные розы — пылкая любовь, в том-то и дело, что нет. И даже не искреннее раскаяние, она уверена; просто соблюдение супружеского декорума: никакого разлада в семье в рождественские и новогодние праздники. Она ставит розы в хрустальную вазу. Нет, это не пламенный порыв страсти, но они красивы и не виноваты в том, что на них возло-

жена лживая миссия.

Лоранс касается губами душистых лепестков. Что я думаю о Жан-Шарле в самой глубине души? Что думает он обо мне? Ей кажется, что это не имеет никакого значения. Так или иначе, мы связаны на всю жизнь. Почему Жан-Шарль, а не кто-нибудь другой? Так сложилось. (Другая молодая женщина, сотни молодых женщин в эту минуту задают себе вопрос: почему он, а не другой?) Что бы он ни сделал, что бы ни сказал, что бы ни сказала, ни сделала она, ничто не изменится. Бесполезно даже сердиться. Исхода нет.

Услышав, как ключ поворачивается в замке, она вышла ему навстречу, поблагодарила, они расцеловались. Он светился, потому что Монно поручил ему разработку проектов строительства сборных жилых домов в пригороде Парижа; верное дело, сулящее большой заработок. Он наскоро позавтракал (она сказала, что поела с детьми, ей кусок не шел в горло), и они поехали на такси за подарками.

Они шагают по улице Фобур Сент-Оноре. Сухой ясный холод. Свет в витринах, рождественские елки на улице, в магазинах; мужчины и женщины торопятся или фланируют, с пакетами в руках, с улыбкой на губах. Говорят, что праздников не

любят одинокие люди. Хоть меня и окружают близкие, а я тоже не люблю праздников.

От елок, улыбок, пакетов она не в своей тарелке.

— Я хочу подарить тебе что-нибудь очень красивое, — говорит Жан-Шарль.

— Не безумствуй. С этой новой машиной…

— Забудь. Я хочу безумствовать, и с сегодняшнего дня я располагаю на это средствами.

Медленно текут витрины. Шарфы, клипсы, цепочки, драгоценности для миллиардеров — бриллиантовое колье с узором из рубинов, ожерелье черного жемчуга, сапфиры, изумруды, браслеты из золота и драгоценных камней; и более скромные прихоти — тирольские, рейнские самоцветы, яшма, стеклянные шары, в которых, переливаясь под лучами света, пляшут змейки, зеркала в лучистой оправе из позолоченной соломки, бутыли из дутого стекла, вазы из толстого хрусталя для одной розы, туалетные приборы из белого и голубого опалина, флаконы из фарфора и китайского лака, золотые пудреницы, пудреницы, инкрустированные самоцветами, духи, лосьоны, пульверизаторы, жилеты из птичьих перьев, кашемир, светлые пуловеры из козьей и верблюжьей шерсти, пенная свежесть белья,

мягкость, пушистость домашних платьев пастельных тонов, роскошь парчи, клоке, золотого тканья, гофрировок, тонких шерстяных тканей, посеребренных металлической нитью, приглушенный пурпур витрин Гермеса, кожа и меха, контрастно оттеняющие друг друга, облака лебяжьего пуха, воздушные кружева. Глаза у всех — и у мужчин, и у женщин — горят вожделением.

И у меня так горели глаза; я обожала заходить в магазины, тешить взор обилием тканей, прогуливаться по шелковистым лугам, изукрашенным фантастическими цветами: по моим рукам струилась нежность мохера и козьей шерсти, прохлада полотна, изящество батиста, теплота бархата. Она любила эти райские сады, устланные роскошными материями, где под тяжестью карбункулов гнулись ветви, именно поэтому у нее тотчас нашлись слова, чтобы говорить о них. А сейчас она жертва собственных рекламных формулировок. Профессиональная болезнь: если меня привлекает обстановка или вещь, я спрашиваю себя, чем это мотивировано. Она чует ловушку, мистификацию, все эти изыски утомляют и даже в конце концов раздражают ее. Кончится тем, что мне все опротивеет…

Все же она остановилась перед замшевой курт-

кой неуловимого цвета: цвета тумана, цвета времени, цвета платьев сказочной принцессы.

— Какая красота!

— Купи. Но это не подарок. Я хочу подарить тебе что-нибудь бесполезное.

— Нет, не хочу.

Желание уже покинуло ее: куртка утратит свой неповторимый оттенок, свою бархатистость, стоит отделить ее от троакара в тонах палой листвы, от пальто из гладкой кожи, от ярких шарфов, которые обрамляют ее в витрине; каждый из выставленных предметов притягивает Лоранс как часть ансамбля.

Она показывает на магазин фотоаппаратов:

— Зайдем. Ничто не доставит большей радости Катрин.

— Разумеется, не может быть и речи о том, чтоб лишить ее рождественского подарка, — говорит Жан-Шарль озабоченно. — Но уверяю тебя, следует принять меры.

— Обещаю тебе подумать.

Они покупают аппарат, несложный в обращении. Зеленый сигнал показывает, что освещение достаточное; если слишком темно, сигнал становится красным; ошибиться невозможно. Катрин будет довольна. Но я хотела бы дать ей иное —

надежность, счастье, радость бытия. Я продаю именно это, когда создаю любую рекламу. Ложь. В витринах предметы еще хранят ореол, который осеняет их на отлакированной картинке. Но берешь в руку — и волшебство исчезает, это всего лишь лампа, зонтик, фотоаппарат. Недвижный, холодный.

У «Манон Леско» переполнено: женщины, несколько мужчин, пары. Вот это молодожены: они обмениваются влюбленными взглядами, пока он застегивает ей браслет на запястье. У Жан-Шарля горят глаза, он прикладывает колье к шее Лоранс: «Нравится?» Прелестное колье, мерцающее и строгое, но чересчур роскошное, чересчур дорогое. В ней все сжимается. Не будь утренней ссоры, Жан-Шарль не дарил бы его мне. Это компенсация, символ, заменитель. Чего? Чего-то уже не существующего, возможно никогда не существовавшего: внутренней связи, тепла, которые делают ненужными всякие подарки.

— Оно тебе здорово идет, — говорит Жан-Шарль.

Неужели он не чувствует, каким грузом лежит между нами невысказанное? Не молчание, а пустословие. Не чувствует за ритуалом внимания, как они отъединены, далеки друг от друга?

Она снимает с себя драгоценность с какой-то яростью, точно избавляется от лжи.

— Нет, не хочу.

— Ты только что сказала, что колье нравится тебе больше всего.

— Да. — Она слабо улыбается, — но это неразумно.

— Это мне решать, — говорит он недовольно. — Впрочем, если тебе не нравится, не надо.

Она снова берет в руки колье: к чему перечить? Лучше покончить разом.

— Да нет, оно великолепно. Я только считала, что такая трата— сумасшествие, но это в конце концов твое дело.

— Мое.

Она немного наклоняет голову, чтобы он мог снова застегнуть колье: безупречная картинка супружеской любви после десяти лет брака. Он покупает семейный мир, радости домашнего очага, согласие, любовь — и гордость собой. Она созерцает себя в зеркале.

— Ты хорошо сделал, милый, что настоял: я безумно рада.

По традиции Новый год встречают у Марты: «Привилегия женщины, прикованной к домашнему очагу, — у меня много свободного

времени», — говорит она снисходительно. Юбер и Жан-Шарль делят расходы: нередко возникают сложности, потому что Юбер прижимист (надо сказать, он не купается в золоте), а Жан-Шарль не хочет давать больше, чем шурин. В прошлом году ужин был довольно жалкий. Сегодня все нормально, заключает Лоранс, обследовав буфетный стол, воздвигнутый посреди салона, которому Марта придала рождественский вид с помощью свечей, елочки, омелы, остролиста, цветного дождя и блестящих шаров. Отец принес четыре бутылки шампанского, полученных им от одного друга из Реймса, а Доминика перигорский гусиный паштет, «самый лучший во Франции, страсбургский куда хуже». Тушеная говядина, закуски, фрукты, птифуры, бутылки вина и виски — вполне достаточно, чтобы напоить и насытить десять человек.

В прошлые годы Доминика проводила праздники с Жильбером. Идея пригласить ее на сегодняшний вечер пришла в голову Лоранс. Она спросила отца:

— Тебе будет очень неприятно? Она так одинока и несчастна.

— Мне совершенно все равно.

Детали никому не известны, но в курсе разрыва

все. Здесь Дюфрены, которых привел Жан-Шарль, Анри и Тереза Вюйно, друзья Юбера. Доминика придает вечеру тон «семейного празднества»; она в строгом платье из джерси цвета меда, волосы у нее скорей седые, чем белокурые: стиль «молодая бабушка». Она улыбается мягко, почти робко и говорит замедленно; лицо апатично, она злоупотребляет транквилизаторами. Стоит Доминике остаться одной, как лицо ее сразу дряхлеет. Лоранс подходит к ней:

— Как прошла неделя?

— Неплохо; я спала довольно прилично.

Механическая улыбка: можно подумать, что она вздергивает уголки губ за две нитки; она отпускает нитки.

— Я решила продать дом в Февроле. Я не могу одна содержать эту махину.

— Обидно. Если бы можно было как-нибудь…

— Зачем? Кого я, по-твоему, буду теперь там принимать? Интересные люди — Удены, Тирион, Вердле — приезжали ведь ради Жильбера.

— О, они приедут и ради тебя.

— Ты веришь в это? Ты еще не знаешь жизни. Женщина без мужчины — социальный нуль.

— Ну, не ты, оставь, пожалуйста. У тебя есть имя, ты сама по себе.

Доминика качает головой:

— Женщина, даже с именем, без мужчины — полунеудачница, своего рода обломок крушения... Я отлично вижу, как на меня смотрят люди: поверь мне, совсем не так, как раньше.

У Доминики это навязчивая идея — одиночество.

Вертится пластинка. Тереза танцует с Юбером, Марта — с Вюйно, Жан-Шарль с Жизель, а Дюфрен приглашает Лоранс. Все они танцуют из рук вон плохо.

— Сегодня вы ослепительны, — говорит Дюфрен.

Она замечает себя в зеркале. На ней узкое черное платье и это колье, которое она не любит. Оно тем не менее красиво, и Жан-Шарль хотел, делая этот подарок, доставить ей удовольствие. Она находит себя ничем не замечательной. Дюфрен уже немного выпил, у него в голосе настойчивые нотки. Милый парень, показал себя хорошим товарищем по отношению к Жан-Шарлю (хотя в глубине души каждый из них не так-то любит другого, скорее ревнует), но она не испытывает к нему особой симпатии.

Меняется пластинка, меняются кавалеры.

— Не осчастливите ли вы меня этим танцем? —

спрашивает Жан-Шарль.

— С удовольствием.

— Забавно видеть их вместе, — говорит Жан-Шарль.

Лоранс следует за ним взглядом; она видит отца и Доминику, которые сидят друг против друга и вежливо Беседуют. Да, это забавно.

— Похоже, что она взяла себя в руки, — говорит Жан-Шарль.

— Она пичкает себя транквилизаторами, гармонизаторами, антидепрессивными средствами.

— В сущности, они должны были бы воссоединиться, — говорит Жан-Шарль.

— Кто?

— Твой отец и твоя мать.

— Ты спятил!

— Почему?

— Это люди абсолютно противоположных вкусов. Ее влечет светская жизнь, а его одиночество.

— Они оба одиноки.

— Ну и что из этого?

Марта останавливает пластинку.

— Без пяти двенадцать!

Юбер хватает бутылку шампанского:

— Я узнал отличный прием открывания шампанского. На днях его продали на бирже идей.

— Я видел, — говорит Дюфрен. — У меня есть свой прием, который еще лучше.

— Давайте…

Пробки выскакивают, оба не проливают ни капли, вид у них чрезвычайно гордый (хотя каждому было бы приятнее, если бы у другого не получилось). Они наполняют бокалы.

— Счастливого года!

— Счастливого года!

Звон бокалов, поцелуи, смех, а под окнами разражается концерт клаксонов.

— Какой чудовищный шум! — говорит Лоранс.

— Им подарили пять минут, как мальчишкам, которым абсолютно необходимо порезвиться между двумя уроками, — говорит отец. — А речь идет о вполне цивилизованных взрослых людях.

— Ба, подумаешь, надо же отметить, — говорит Юбер.

Они открывают еще две бутылки, все отправляются за пакетами, сложенными около канапе, разрезают позолоченные ленточки, разворачивают обертки из яркой бумаги, разукрашенной звездами и елочками, искоса поглядывая на остальных, чтобы понять, кто взял верх в этом

потлаче[18]. На сей раз мы, констатирует Лоранс. Они отыскали для Дюфрена часы, которые показывают, который час во Франции и во всех странах мира; для ее отца — восхитительный телефон, копию старинного, который как нельзя лучше подойдет к керосиновым лампам. Другие их подарки менее оригинальны, но утонченны. Дюфрен пошел по линии «механических безделушек». Он подарил Жан-Шарлю «венузик» — вечное сердце, испускающее «тук» семьдесят раз в минуту, а Лоранс «транеовей», который она никогда не осмелится приделать к рулю своей машины, если он действительно имитирует пение соловья. Жан-Шарль вне себя от восторга. Всякие штучки, которые ни на что не нужны, не имеют никакого смысла — его хобби. Она получила также перчатки, духи, носовые платки. Все в упоении, кричат, благодарят.

— Берите тарелки, приборы, накладывайте, устраивайтесь, — говорит Марта.

Гул, звяканье посуды, до чего вкусно, берите еще. Лоранс слышит голос отца:

— Вы не знали этого? Вино нужно согревать

---

**[18] Примечания: 18**

Английское слово индейского происхождения. Праздник американских индейцев, на котором присутствующие обмениваются подарками, состязаясь друг с другом в богатстве.

только когда оно раскупорено, ни в коем случае не раньше.

— Замечательное вино!

— Жан-Шарль выбирал.

— Да, я знаю одну отличную лавчонку.

Жан-Шарль может счесть замечательным вино, явно отдающее пробкой, но разыгрывает из себя знатока, как и остальные. Они смеются, шутят, а ей шутки не кажутся забавными. В прошлом году… Что ж, ей было тоже не очень весело, но она делала вид; в этом году у нее нет желания принуждать себя, слишком утомительно. В том же прошлом году она думала о Люсьене: своего рода алиби. Она думала, что есть человек, с которым ей хотелось бы быть вместе; сожаление было романтическим огоньком, согревавшим ее. Почему она решила опустошить свою жизнь, сберечь время, силы, сердце, когда она не знает, куда девять время, силы, сердце? Чересчур заполненная жизнь? Чересчур пустая? Заполненная пустыми вещами. Какая неразбериха!

— И все же, если вы проследите линию жизни тех, кто родился под знаком Козерога или Близнецов, вы обнаружите, что в каждой группе есть необъяснимые аналогии, — говорит Вюйно.

— С научной точки зрения не исключено, что

небесные светила влияют на наши судьбы, — говорит Дюфрен.

— Ерунда! Истина в том, что в нашу эпоху плоского позитивизма люди испытывают потребность в чудесном как в некоей компенсации. Вот они и создают электронные машины или читают «Планету».

Горячность отца веселит Лоранс, он остался молодым, он моложе всех.

— Это правда, — говорит Марта. — Я предпочитаю читать Евангелие и верить в чудеса религии.

— Даже в религии утрачивается понимание чудесного, — говорит госпожа Вюйно. — Я нахожу поистине огорчительным, что мессу служат на французском языке и в добавок под современную музыку.

— Ах нет! Я не согласна! — говорит Марта своим вдохновенным голосом, — церковь должна жить в ногу со временем.

— Только до известной степени.

Они отходят и вполголоса продолжают дискуссию, которую не следует слышать нечестивым ушам.

Жизель Дюфрен спрашивает:

— Вы смотрели вчера по телевидению ретро-

спективный обзор?

— Да, — говорит Лоранс. — Мы, оказывается, прожили странноватый год: я как-то не отдавала себе в этом отчета.

— Все годы таковы, и мы никогда не отдаем в этом отчета, — говорит Дюфрен.

Смотришь «Новости дня», фото «Матча» и тут же забываешь. Но когда они собраны воедино, это несколько ошарашивает. Окровавленные трупы белых, негров, автобусы, опрокинутые в кювет, двадцать пять убитых детей, дети, рассеченные надвое, пожары, каркасы разбившихся самолетов, сто десять пассажиров, погибших разом, циклоны, наводнения, разорившие целые страны, пылающие деревни, расовые волнения, локальные войны, вереницы измученных беженцев. До того все мрачно, что под конец почти хочется смеяться. Следует заметить, что смотришь на все эти катастрофы, комфортабельно расположившись в домашней обстановке, и уж никак нельзя сказать, что мир вторгается к тебе: видишь картины, скользящие по экранчику в аккуратной рамке, лишенные своей реальной тяжести.

— Интересно, что скажут через двадцать лет о фильме «Франция через двадцать лет», — говорит

Лоранс.

— Кое-что в нем вызовет улыбку, как и в любом произведении о будущем, — говорит Жан-Шарль. — Но в целом фильм правдоподобен.

После всех этих бедствий контраста ради им показали Францию через двадцать лет. Триумф урбанизма: повсюду лучезарные города, напоминающие, с поправкой на высоту сто двадцать метров, ульи, муравейники, только залитые солнцем. Автострады, лаборатории, университеты. Один только минус: под тяжестью чрезмерного изобилия, объяснил комментатор, французы рискуют окончательно утратить энергию. Им показали снятых рапидом беспечных молодых людей, которые не дают себе труда передвинуть ноги. Лоранс слышит голос отца:

— Как правило, через пять лет или даже через год все обнаруживают, что планировщики и иные пророки полностью ошибались.

Жан-Шарль глядит на него с видом утомленного превосходства.

— Вам, вероятно, не известно, что в настоящее время предвидение будущего становится точной наукой? Вы никогда не слышали о «Рэнд корпорейшн»?

— Нет.

— Это мексиканская организация, располагающая сказочными средствами, которая опрашивает специалистов всех отраслей и определяет ведущую тенденцию. В работе принимают участие тысячи ученых во всем мире.

Лоранс раздражает его тон превосходства.

— Во всяком случае, когда нам рассказывают, что французы не будут ни в чем нуждаться… Нет необходимости консультировать тысячи специалистов, чтоб знать, что через двадцать лет у большинства еще не будет ванных комнат, поскольку в домах массовой застройки устанавливают по преимуществу только душ.

Она была шокирована этой деталью, когда Жан-Шарль изложил ей свой проект сборных жилых домов.

— А почему не ванны? — спрашивает Тереза Вюйно.

— Система труб стоит очень дорого, это подняло бы цены на квартиры, — говорит Жан-Шарль.

— А если снизить прибыли?

— Но, дорогая, если их слишком сократить, никто не станет интересоваться строительством, — говорит Вюйно.

Жена смотрит на него неприязненно. Четыре молодые пары: и кто кого любит? За что любить

Юбера или Дюфрена, за что вообще можно кого-нибудь любить, когда спадает жар первого физического влечения?

Лоранс выпивает два бокала шампанского, Дюфрен объясняет, что в делах с земельными участками трудно провести границу между жульничеством и перепродажей: приходится идти в обход законов…

— Но то, что вы рассказываете, очень тревожно, — говорит Юбер. Он, кажется, в самом деле огорошен.

Лоранс обменивается с отцом понимающей улыбкой, они забавляются.

— Я отказываюсь в это верить, — говорит он. — Когда хочешь остаться честным, возможности находятся.

— При условии, что выбираешь иную профессию.

Марта снова завела пластинку; они опять танцуют: Лоранс пытается обучить Юбера джерку, он старается, потеет, остальные смотрят на него с насмешливым видом; внезапно она прекращает урок и подходит к отцу, который спорит с Дюфреном.

— «Вышел из моды», у вас эти слова с уст не сходят. Классический роман вышел из моды.

Гуманизм вышел из моды. Но, защищая Бальзака и гуманизм, я, быть может, предвосхищаю завтрашнюю моду. Вы сейчас поносите абстрактное искусство. Значит, десять лет назад, когда я не клюнул на эту удочку, я вас опередил. Нет. Есть нечто неподвластное моде: ценности, истины.

Он говорит о том, о чем Лоранс часто думала, не такими словами, конечно; но теперь, когда они произнесены, она узнает в них собственные мысли. Ценности, истины, сопротивляющиеся моде, она верит в них. Но какие именно?

На абстрактную живопись нынче спроса нет, но на фигуративную тоже, в живописи кризис, чего вы хотите, была инфляция живописи. Толчение воды в ступе. Лоранс скучно. Я предложила бы им тест, думает она. У вас страховка, по которой компенсируется только ущерб, нанесенный третьему лицу; велосипедист, бросается, вам под колеса; что вы сделаете — убьете велосипедиста или раздолбаете машину? Кто искренне предпочтет заплатить восемьсот тысяч франков, чтобы спасти жизнь незнакомцу? Разумеется, папа. Марта? Сомневаюсь. Что бы там ни было, она всего лишь орудие в руках божьих: если господь бог решил призвать к себе беднягу… Остальные? Первая реакция, возможно, и была бы — не налетать,

но потом, уверена, они бы об этом пожалели. «Жан-Шарль не шутил», — сколько раз за последнюю неделю она повторила про себя эту фразу? И опять повторяет. Может, это я ненормальная? Тоскую, томлюсь, что есть во мне, чего у них нет? Мне на этого рыжего плевать, но если бы я его раздавила, у меня на душе было бы прегнусно. Папино влияние. Для него нет ничего драгоценней человеческой жизни, хотя он и находит людей жалкими. И деньги для него роли не играют. А для меня играют, хотя ив меньшей степени, чем для всех. Она прислушивается, потому что говорит отец: сегодняшней ночью он куда менее молчалив, чем в прошлые годы.

— Кастрационный комплекс! Это перестало что-нибудь объяснять, поскольку им объясняют все. Представляю себе психиатра, который, войдя утром в камеру приговоренного к смерти, застал бы его плачущим. «Какой кастрационный комплекс!» — сказал бы он.

Они смеются и продолжают спор.

— Ты ищешь формулировку? Для какого нового продукта?

Отец улыбается Лоранс.

— Нет, я задумалась. Надоели мне их денежные истории.

— Я тебя понимаю. Они искренне убеждены, что счастье зависит от денег.

— Заметь, с деньгами легче.

— Я даже в этом не уверен. — Он садится рядом с ней, — я тебя совсем не вижу в последнее время.

— Я много занималась Доминикой.

— Она горячится меньше, чем когда-то.

— Это депрессия.

— А ты?

— Я?

— Как твои дела?

— Праздничная пора утомительна. Да еще на носу выставка-продажа белья.

— Знаешь, о чем я подумал: нам бы надо вместе поехать куда-нибудь ненадолго.

— Вместе?

Старая нереализованная мечта; сначала она была слишком мала, потом появился Жан-Шарль, дети.

— У меня отпуск в феврале, я хочу им воспользоваться, чтоб снова повидать Грецию. Хочешь поехать со мной?

Радость, как фейерверк. Ничего не стоит получить две недели отпуска в феврале, и у меня на счету есть деньги. Неужели бывает, что мечта становится реальностью?

— Если дети будут здоровы, если все будет хорошо, я могла бы, может, устроиться. Но мне это кажется чересчур прекрасным…

— Ты попытаешься?

— Конечно. Я попытаюсь.

Две недели. Наконец у меня будет время задать все вопросы, выслушать все ответы, которых я жду годами. Я познаю вкус его жизни. Я проникну в секрет, делающий его столь непохожим на всех, на меня в том числе, возбуждающий во мне любовь, которую я не испытываю ни к кому, кроме него.

— Я сделаю все, чтобы это удалось. Но ты, твои планы не, изменятся?

— Клянусь деревянным и железным крестом, солгу — так гореть мне вечным огнем, — говорит он торжественно, как говорил, когда она была девочкой.

## Глава 4

Мне вспоминается фильм Бунюэля; он никому из нас не понравился. И все же последнее время я не могу от него отвязаться. Люди, замкнутые в магический круг, случайно повторили мгновение прошлого; они восстановили распавшуюся связь времен и тем самым ускользнули из за-

падни, в которую неведомо как попали. (Правда, вскоре ловушка опять за ними захлопнулась.) Я бы тоже хотела вернуться назад; разрядить капканы, осуществить то, что было упущено. А что было упущено? Даже не знаю. У меня нет слов ни для жалоб, ни для сожалений. Но комок в горле мешает мне есть.

Начнем сначала. Спешить некуда. Занавески я задернула. Лежа с закрытыми глазами, перебираю наше путешествие, картину за картиной, разговор за разговором.

Взрыв радости, когда он спросил меня: «Хочешь поехать со мной в Грецию?» И все же я колебалась. Жан-Шарль уговаривал. Он считал, что я в подавленном состоянии. К тому же я дала согласие на то, чтобы показать Катрин психологу: он полагал, что в мое отсутствие им будет легче наладить отношения.

«Проделать путь до Афин в „каравелле“, обидно!» — говорил папа. А я люблю реактивные самолеты. Машина резко взмывает в небо, я слышу, как рушатся стены моей тюрьмы, моей узкой жизни, стиснутой миллионами других, о которых мне ничего не известно. Громады городских ансамблей и крохотные домики отступают, я лечу поверх всех загромождений, освобожденная

от силы тяжести; над моей головой разворачивается беспредельно голубое пространство, под ногами стелются белые пейзажи, ослепительные и несуществующие. Я вне их: нигде и повсюду. И отец принялся рассказывать о том, что он мне покажет, о предстоящих нам с ним совместных открытиях. А я думала: «Мне нужно открыть тебя».

Посадка. Теплый воздух, смешанный запах бензина, моря и сосен; чистое небо, вдали холмы, один из которых называется Гиметт; пчелы, собирающие добычу на лиловой земле. А папа переводил надписи на фронтонах домов: вход, выход, почта. Мне нравилось детское ощущение таинственности языка, возрождавшееся во мне при виде этих букв, нравилось, что, как в детстве, смысл слов и вещей приходил ко мне через папу. «Не смотри», — говорил он мне на автостраде. (Несколько разочарованный тем, что она заменила старую, в ухабах, дорогу его молодости.) «Не смотри: красота храма неотделима от пейзажа; чтобы оценить всю его гармонию, на него следует смотреть с определенного расстояния, не ближе и не дальше. Наши соборы волнуют издалека так же, а иногда и больше, чем вблизи. А тут совсем по-иному». Эти предосторожности меня умиляли.

И в самом деле Парфенон на вершине холма был похож на гипсовые репродукции, продающиеся в магазинах сувениров. Никакого величия. Но мне это было безразлично. Мне было важно ехать рядом с папой в оранжево-серой ДС — у этих греческих такси странные цвета: черносмородинового шербета, лимонного мороженого, — и знать, что впереди двадцать дней. Я вошла в комнату гостиницы, разложила вещи, не чувствуя себя в роли туристки из рекламного фильма: все, что со мной происходило, было подлинным. На площади, которая выглядит, как гигантская терраса кафе, папа заказал для меня вишневый напиток — свежий, легкий, кисловатый, по-детски восхитительный. И я изведала смысл слова, читанного в книгах — счастье. Я знавала радости, удовольствия, наслаждения, мелкие триумфы, нежность, но эта гармония голубого неба и отдающего ягодой питья, прошлого и настоящего, слитого воедино в дорогом лице, и душевного мира во мне, — это мне было неведомо, разве что по далеким воспоминаниям детства. Счастье точно самоутверждение жизни в собственной правоте. Оно обволакивало меня, когда мы ели барашка на вертеле в таверне. Видна была стена Акрополя, купающегося в оранжевом свете, и папа говорил,

что это святотатство, а мне все казалось красивым. Мне нравился аптечный вкус смолистого вина: «Ты идеальный спутник», — говорил папа с улыбкой. Он улыбался назавтра на Акрополе, потому что я ревностно слушала его объяснения: сима, мутулы, гутты, абака, эхин, шейка капители, он обращал мое внимание на легкий изгиб, смягчающий жесткость горизонтальных линий, наклон вертикальных колонн, их округлость, тончайшую изысканность пропорций. Было прохладно, ветрено, безоблачно. Вдалеке я видела море, холмы, сухие домики цвета поклеванного хлеба, и голос папы лился на меня. Мне было хорошо.

«Западу многое можно поставить в упрек, — говорил он. — Мы совершили крупные ошибки. И все же человек здесь реализовал и выразил себя с полнотой, не знающей себе равных».

Мы наняли машину; мы посещали окрестности и ежедневно перед заходом солнца поднимались на Акрополь, Пникс или Ликавит. Папа отказывался пойти в новый город. «Там не на что смотреть», — говорил он мне… Вечером он вел меня, по совету старого друга, в маленькое «типичное» бистро: пещеру на берегу моря, убранную рыбацкими сетями, раковинами, ко-

рабельными фонарями. «Это куда забавнее, чем большие рестораны, которые обожает мать». По мне, это была обычная ловушка для туристов, не хуже и не лучше всякой другой. Только вместо элегантности и комфорта здесь продавали местный колорит и затаенное чувство превосходства над теми, кто по протоптанной колее устремляется в роскошные отели. (Идея рекламы была бы: «Не будьте как все», или: «Место, не похожее на все другие».) Папа обменивался по-гречески несколькими словами с хозяином, тот вел нас на кухню, поднимал крышки котелков. (Он поступал так со всеми клиентами, но каждый при этом считал, что ему оказана особая привилегия.) Они тщательно разрабатывали меню… Я ела с аппетитом и безразличием…

Голос Марты:

— Лоранс! Ты должна что-нибудь съесть.

— Я сплю, оставь меня в покое.

— Хотя бы чашку бульона. Я приготовлю тебе бульон.

Она мне помешала. На чем я остановилась? Дорога в Дельфы. Мне нравился жесткий светлый пейзаж, резкое дыхание ветра над летним морем; я не видела ничего, кроме камней и воды, оставалась слепа ко всему, что мне показывал отец. (Его

глаза — глаза Катрин: мир видится им по-разному, но полным красок, волнующим; а я — рядом с ними и слепа.) «Взгляни, — говорил он мне, — у этого скрещения дорог Эдип убил Лайя». Это случилось вчера, эта история касалась его лично. Пещера Пифии, стадион, храмы; он объяснял мне каждый камень, я слушала, я старалась изо всех сил: тщетно, прошлое не оживало. Я уже слегка устала удивляться, вскрикивать. Возничий: «Потрясающе, а?» — «Да. Красиво!» Я понимала, чем может пленить тот высокий мужчина из зеленой бронзы, но потрясения не испытывала. Это рождало во мне чувство неловкости, угрызения совести. Я предпочитала часы, которые мы проводили в маленьких бистро, разговаривая за бутылкой узо. Он говорил мне о своих давних путешествиях: как ему хотелось, чтоб Доминика ездила вместе с ним, и мы тоже, когда мы подросли. «Подумать только, она видела Бермуды и Америку и не видела Греции и Италии! И все же она переменилась к лучшему, — сказал он мне. — Может быть, оттого, что ей был нанесен жестокий удар, не знаю. Она стала шире, зрелее, мягче, стала судить умнее». Я с ним не спорила; я не хотела лишать бедную маму тех крох дружбы, которые он ей уделял.

С чего же нужно начать, чтоб раскрутить нить времени? С Дельф? Мы сидели в кафе над долиной; за широкими стеклянными окнами угадывалась ясная холодная ночь, мириады звезд. Играл маленький оркестр; было полно: американские туристы — две супружеские пары, остальные — местные: влюбленные, компании молодых парней, целые семьи. Одна девочка лет трех-четырех вдруг принялась танцевать, крохотная, темноволосая, с огромными черными глазами, в желтом платье, которое колокольчиком раздувалось вокруг ее колен, в белых носочках; она кружилась, подняв руки, в экстазе, точно обезумев. Она была во власти музыки, захвачена, ослеплена, опьянена, преображена. Жирная и добродушная, ее мать болтала с другой толстухой, покатывая взад-вперед коляску с младенцем; нечувствительная к музыке, к ночи, она время от времени бросала на маленькую менаду коровий взгляд.

— Ты видел девчушку?

— Очаровательна, — сказал папа равнодушно.

Очаровательная девочка, которая превратится в такую вот матрону. Нет. Не хочу. Или я выпила слишком много узо? Я тоже была зачарована этим ребенком, которого зачаровала музыка. Пусть

будет нескончаемым это мгновение восторга. Пусть не растет маленькая танцовщица; пусть она кружится вечно, а я буду вечно смотреть на нее. Я отказывалась забыть о ней, стать вновь молодой женщиной, которая путешествует с отцом, я отказывалась думать, что в один прекрасный день она станет похожей на мать и даже памяти не сохранит о том, как была прелестной менадой. Малютка, приговоренная к смерти, к чудовищной смерти заживо. Жизнь убьет ее. Я подумала о Катрин, которую убивали сейчас.

Внезапно я сказала:

— Я не должна была соглашаться вести Катрин к психологу.

Папа взглянул на меня удивленно. Меньше всего он сейчас думал о Катрин.

— Почему ты думаешь об этом?

— Я часто об этом думаю. Я тревожусь. На меня оказали давление, я жалею, что согласилась.

— Вряд ли это нанесет ей ущерб, — сказал папа невыразительным голосом.

— Ты послал бы меня к психологу?

— Ну нет!

— Видишь.

— В общем я не знаю, не было нужды: ты была очень уравновешенной.

— В сорок пятом я в достаточной мере утратила почву под ногами.

— Было от чего.

— А сейчас не от чего?

— Есть, я полагаю, что есть. Вполне нормально, что у человека возникает чувство ужаса, когда он начинает познавать мир. Так было во все времена.

— Значит, успокаивая, его делают анормальным, — сказала я.

Я вдруг поняла это необыкновенно ясно, меня как громом поразило. Под предлогом избавления от «сентиментальности», беспокоившей Жан-Шарля, ее искалечат. Мне хотелось завтра же вернуться, отнять ее у них.

— Я тоже предпочитаю, чтоб люди выкручивались собственными силами. В глубине души я считаю — только не повторяй этого, скажут: до чего старик отстал, — я считаю, что вся эта психология — шарлатанство. Ты найдешь Катрин точно такой же, как оставила ее.

— Ты думаешь?

— Убежден.

Он принялся говорить об экскурсии, которую запланировал на завтра. Он не принимал всерьез моих тревог. Естественно. А я не так уж интересо-

валась древними камнями, которые привлекали его. Было бы несправедливо с моей стороны на него за это сердиться. Нет, струна оборвалась не в Дельфах.

Микены. Может, это случилось в Микенах? Но в какую минуту? Мы вскарабкались по каменистой дороге, ветер вздымал вихри пыли. Вдруг я увидела эту дверь, двух обезглавленных львиц и почувствовала… Было ли то потрясением, о котором говорил мне отец? Я сказала бы скорее — смятением. Я прошла по царской дороге, я увидела террасы, стены, пейзаж, расстилавшийся перед Клитемнестрой, когда она ожидала возвращения Агамемнона. Мне чудилось, что я отторгнута от себя. Где я? Я не принадлежала веку, когда люди спали, ели, ходили по этому еще не тронутому временем дворцу. А моей жизни, сегодняшней, не было дела до этих развалин. Что такое развалины? Не настоящее, не прошлое, но и не вечность тоже: настанет день, когда они исчезнут. Я говорила себе: «Как это прекрасно!» У меня кружилась голова, я чувствовала, что меня подняло, понесло, закачало, смело, я была превращена в НИЧТО. Мне хотелось вернуться на туристскую базу и провести день, читая детективные романы. Группа американцев фотографировала. «Какие

варвары! — сказал папа. — Фотографируют, чтобы не смотреть». Он говорил мне о микенской цивилизации, о величии Атридов, об их падении, предсказанном Кассандрой; раскрыв путеводитель, он уточнял каждый клочок земли. И я подумала про себя: в сущности, он делает то же самое, что туристы, над которыми он смеется; он пытается приобщить к своей жизни руины храма, который ему не принадлежит. Они наклеят фотографии в альбом, будут показывать их друзьям. А он унесет в голове картины с соответствующими подписями и отведет им надлежащее место в своем внутреннем музее; у меня не было ни альбома, ни музея: я наталкивалась на красоту и не знала, что с ней делать.

На обратном пути я сказала папе:

— Завидую тебе.

— Почему?

— Все это так много для тебя значит.

— А для тебя?

Вид у него был разочарованный, и я быстро ответила:

— Для меня тоже. Но я понимаю хуже. Не хватает культуры.

— Прочти книжку, которую я тебе дал.

— Прочту.

Даже если бы я прочла, говорила я себе, меня не потряс бы тот факт, что имя Атрея было обнаружено на табличках в Каппадокии. Я не могла бы ни с того ни с сего увлечься этими историями, о которых ничего не знаю. Нужно долго жить с Гомером, с греческими трагиками, путешествовать, иметь возможность сравнивать. Я чужда всем этим умершим столетиям, они меня подавляют.

Женщина в черном вышла из сада, сделав мне знак. Я приблизилась: она протянула руку, что-то бормоча; я дала ей несколько драхм. Я сказала папе:

— Ты видел?

— Кого? Нищенку?

— Она не нищенка. Она крестьянка, и даже не старая. Это ужасно: страна, где крестьяне нищенствуют.

— Да, Греция бедна, — сказал папа.

Когда мы останавливались в каком-нибудь городишке, меня часто стеснял контраст между непомерной красотой и непомерной бедностью. Папа однажды заметил, что людям, жившим бедно, — в селениях Сардинии, Греции, — благодаря тому, что они не знают денег, доступны ценности, утраченные нами, и суровое счастье. Но, ни у крестьян Пелопоннеса, ни у женщин,

дробивших камень на дорогах, ни у девочек, тащивших слишком тяжелые ведра, отнюдь не было написано счастье на лицах. Я старалась не обращать внимания. Мы приехали не для того, чтоб разжалобить себя их видом. Но мне бы все же хотелось, чтобы папа назвал точно место, где он видел людей, удовлетворенных собственными лишениями.

В Тиринфе, в Эпидавре минутами я испытывала то же волнение, что и в Микенах. В ночь, когда мы приехали в Андрицену, я от души радовалась. Было поздно, машина долго тряслась у самого края пропасти, по ухабам дороги, освещенной луной. Папа вел с сосредоточенным видом, нас обоих клонило ко сну, мы устали, и нам казалось, что мы одни в целом мире, надежно защищены от всех опасностей в нашем движущемся доме; мягко светилась приборная доска, а фары освещали нам путь в полумраке.

— Здесь есть очаровательная гостиница, — сказал мне отец. — Деревенская, чистенькая.

Было одиннадцать, когда мы остановились на центральной площади перед постоялым двором. Ставни были закрыты.

— Это не гостиница господина Кристопулоса, — сказал он мне.

— Поищем.

Мы блуждали пешком по пустынным улочкам; ни огонька в окнах, ни одной гостиницы, кроме той, на площади. Папа постучал в дверь, позвал, никакого ответа. Было очень холодно, перспектива спать в машине не казалась заманчивой. Мы снова принялись кричать и стучать. По улице издалека к нам бежал человек: иссиня-черные волосы и усы, ослепительной белизны рубашка.

— Вы французы?

— Да.

— Я услышал, что вы кричите по-французски. Завтра базарный день; гостиница переполнена.

— Вы хорошо говорите по-французски.

— Ну, не так уж хорошо, но я люблю Францию…

Он улыбался улыбкой столь же ослепительной, как и его рубашка. Гостиница господина Кристопулоса давно не существует, но он найдет нам ночлег. Мы пошли следом за ним, я была в восторге от наших приключений. С Жан-Шарлем такого никогда не дождешься: всегда уезжаешь и приезжаешь в положенный час, и номера он всегда заказывает заранее.

Грек постучал в дверь, в окне показалась женщина. Да, она была согласна сдать нам две

комнаты. Мы поблагодарили провожатого.

— Мне так хотелось бы повидать вас завтра утром, чтобы поговорить о вашей стране, — сказал он нам.

— Охотно. Где?

— На площади есть кафе.

— Условились. В девять часов. Вам подходит?

— Конечно.

В комнате с полом из красных плиток я спала сном младенца под грудой одеял, пока меня не разбудила рука отца на плече.

— Нам повезло: сегодня базарный день. Не знаю, как ты, а я обожаю базары.

— Я буду обожать сегодняшний.

Площадь была заполнена женщинами в черном, которые сидели перед корзинами, поставленными прямо на землю: яйца, козий сыр, капуста, несколько тощих цыплят. Наш друг ждал около кафе. Было холодно. Торговки, наверное, промерзли насквозь. Мы вошли. Я умирала от голода, но есть было нечего. Меня утешил аромат крепкого черного кофе.

Грек принялся говорить о Франции, он всегда так счастлив, когда встречает французов! Как нам повезло, что мы живем в свободной стране! Ему так нравятся французские книги, французские

газеты. Он понизил голос, наверно, больше по привычке, чем из предосторожности:

— У вас никогда не сажают в тюрьму за политические убеждения.

Папа неожиданно для меня посмотрел на него с понимающим видом. Он и вправду знает так много, из-за его скромности не отдаешь себе в этом отчета. Он спросил вполголоса:

— Репрессии свирепствуют по-прежнему?

Грек покачал головой:

— Эгинская тюрьма полна коммунистами. И если бы вы знали, как с ними обращаются!

— Это так же ужасно, как лагеря?

— Так же ужасно. Но им нас не сломить, — добавил он несколько патетически.

Он расспрашивал нас о положении во Франции. Папа бросил мне сообщнический взгляд и стал говорить о трудностях рабочего класса, его надеждах, его завоеваниях: можно было подумать, что он член коммунистической партии. Я забавлялась, но желудок у меня сводило от голода. Я сказала:

— Пойду посмотрю, может, куплю что-нибудь.

Я блуждала по площади. Женщины, тоже одетые в черное, пререкались с торговками. «Суровое счастье» — я читала совсем иное на ли-

цах, покрасневших от холода. Как папа, обычно прозорливый, может обманываться до такой степени? Он, правда, видел эти края только летом: когда кругом солнце, фрукты, цветы, все выглядит наверняка веселее.

Я купила два яйца, которые хозяин кафе сварил мне всмятку. Я разбила одно и почувствовала отвратительный запах, разбила второе — тоже тухлое. Грек пошел купить еще два; их сварили — тоже тухлые.

— Как это возможно, ведь их привозят из деревни.

— Базар бывает раз в две недели. Если повезет, можно напасть на вчерашние. Если нет… Лучше их есть вкрутую, я должен был вас предупредить.

— Я предпочитаю вовсе не есть.

Немного погодя, на пути к храму Аполлона, я сказала папе:

— Я не думала, что Греция так бедна.

— Ее разорила война, в особенности — гражданская.

— Он симпатичный, этот человек. А ты отлично сыграл свою роль: он убежден, что мы коммунисты.

— Здешних коммунистов я уважаю. Они и

вправду рискуют свободой, даже головой.

— Ты знал, что в Греции столько политических заключенных?

— Конечно. У меня есть коллега, который бомбардировал нас просьбами о подписях под петициями против греческих лагерей.

— Ты подписывал?

— Один раз подписал. В принципе я ничего не подписываю. Прежде всего потому, что это совершенно бесполезно. И потом за каждым из этих начинаний, на вид гуманных, кроются всегда политические махинации.

Мы вернулись в Афины, и я настояла на том, чтоб осмотреть современный город. Мы обошли площадь Омония. Угрюмые, плохо одетые люди, запах бараньего сала. «Видишь, тут не на что смотреть», — говорил папа. Мне хотелось бы знать, какая жизнь идет за этими угасшими лицами. В Париже мне тоже ничего не известно о людях, с которыми я соприкасаюсь, но я слишком занята, чтоб тревожиться об этом; в Афинах у меня не было других забот.

— Надо было бы завести знакомых среди греков, — сказала я.

— Я был знаком с несколькими. Ничего интересного. Впрочем, в наши дни люди во всех

странах одинаковы.

— Все же здесь они сталкиваются с иными проблемами, чем во Франции.

— Что здесь, что там, они невыносимо будничны. Здесь гораздо больше, чем в Париже, поражал — меня, во всяком случае, — контраст между роскошью богатых кварталов и убогостью толпы.

— Наверно, эта страна летом веселее.

— Греция не весела, — сказал мне папа с едва уловимым упреком в голосе, — она прекрасна.

Коры были прекрасны, губы, изогнутые улыбкой, остановившийся взгляд, вид веселый и глуповатый. Они мне понравились. Я знала, что не забуду их, и охотно ушла бы из музея сразу после того, как их увидела. Другими скульптурами — всеми этими обломками барельефов, фризами, стелами — мне заинтересоваться не удалось. Я ощутила огромную усталость тела и души; я восхищалась папой, его поглощенностью и любопытством; через два дня мы с ним расстанемся, но я знаю его не лучше, чем в начале поездки: эта мысль, которую я подавляла вот уже… с какого момента? внезапно меня пронзила. Мы вошли в зал, где было полно ваз, и я увидела, что зал следует за залом, длинной анфиладой, и что все они полны ваз. Папа остановился перед витри-

ной и принялся перечислять эпохи, стили, их особенности: гомеровский период, архаический, чернофигурные вазы, краснофигурные на белом фоне; он объяснял мне сцены, изображенные на них. Стоя рядом со мной, он удалялся в глубину анфилады залов, сверкавших паркетом, или это я шла ко дну безразличия; во всяком случае, между нами возникла непреодолимая дистанция, потому что разница в цвете, в характере рисунка пальметок или птицы изумляла и радовала его, связываясь с прежним счастьем, со всем его прошлым. А мне эти вазы осточертели, и чем дальше мы продвигались, переходя от витрины к витрине, тем острее завладевала мной скука, переходящая в тоску, и неотступно преследовала мысль: «Ничего у меня не вышло». Я остановилась и сказала: «Больше не могу».

— Ты в самом деле на ногах не стоишь. Что ж ты раньше не сказала!

Он расстроился, предположив, вне сомнения, какие-нибудь женские недомогания, доведшие меня внезапно почти до обморока. Он отвез меня в отель. Я выпила хересу, пытаясь говорить ему о Корах. Но он казался мне страшно далеким и разочарованным.

На следующее утро я покинула его у входа в

музей Акрополя.

— Я предпочитаю еще раз взглянуть на Парфенон.

Было тепло, я смотрела на небо, на храм и испытывала горькое чувство поражения. Группы, пары слушали гидов, одни с вежливым интересом, другие — с трудом удерживая зевоту. Ловкая реклама внушила им, что здесь их ждут несказанные восторги; и по возвращении никто не осмелится сказать, что остался холоден, как лед; они станут взывать к друзьям, чтоб те посетили Афины, и цепь лжи потянется дальше, и вопреки утере иллюзий прелестные картинки пребудут неприкосновенны. И все же вот передо мной юная пара и эти две женщины постарше, которые не спеша поднимаются к храму, разговаривая, улыбаясь, останавливаясь, глядя вокруг с видом умиротворенного счастья. Почему же не я! Почему мне не дано любить то, что, я знаю, достойно любви?

Марта заходит в комнату.

— Я приготовила тебе бульон.

— Я не хочу.

— Сделай над собой небольшое усилие.

Чтоб доставить им удовольствие, Лоранс проглатывает бульон. Она не ела два дня. Ну и что

ж? Раз она не голодна. Их тревожные взгляды. Она допивает чашку, сердце колотится, она покрывается потом. Она едва успевает добежать до ванной комнаты, ее рвет; как позавчера и за день до того. Какое облегчение! Ей хотелось бы опустошить себя еще полнее, изрыгнуть себя до конца. Она полощет рот, бросается на кровать, обессиленная, умиротворенная.

— Тебя стошнило? — говорит Марта.

— Я тебе сказала, что не могу есть.

— Ты обязана повидать врача.

— Не хочу.

Что может врач? И зачем? Теперь, после того, как ее вырвало, она чувствует себя хорошо. На нее опускается мрак, она отдается мраку. Она думает об одной истории, которую читала: крот ощупью пробирается по подземным галереям, вылезает из них, чует свежесть воздуха; но ему и в голову не приходит открыть глаза, и он видит, что все черно. Бессмыслица.

Жан-Шарль садится у ее изголовья, берет за руку:

— Милая, попытайся мне сказать, что тебя мучит? Доктор Лебель, с которым я советовался, думает, что ты пережила какую-то неприятность…

— Все в порядке.

— Он говорил о потере аппетита. Он скоро придет.

— Нет!

— Тогда постарайся выйти из этого состояния. Подумай. Беспричинно аппетит не теряют. Найди причину.

Она отнимает у него руку.

— Я устала, оставь меня.

Неприятности, да, думает она про себя, когда он выходит из комнаты, но не настолько серьезные, чтоб это мешало встать и есть. У меня было тяжело на сердце в «каравелле», на которой я летела в Париж. Мне не удалось бежать из тюрьмы, я видела, как ее двери вновь захлопнулись за мной, когда самолет нырнул в туман.

Жан-Шарль был на аэродроме.

— Хорошо съездили?

— Потрясающе!

Она не лгала, она не говорила правды. Все эти слова, которые произносишь! Слова. Дома дети встретили меня криками радости, прыжками, поцелуями и кучей вопросов. Все вазы были полны цветами. Я раздала кукол, юбки, шарфы, альбомы, фотографии и принялась рассказывать о потрясающем путешествии. Потом я развесила

платья в шкафу. У меня не было впечатления, что я играю в молодую женщину, вернувшуюся к домашнему очагу: это было хуже. Я была не картинкой, но я не была и ничем другим. Пустота. Камни Акрополя были мне не более чужды, чем эта квартира. И только Катрин.

— Как ее дела?

— Очень хорошо, как мне кажется, — сказал Жан-Шарль. — Психолог хотела бы, чтоб ты созвонилась с ней возможно скорее.

— Ладно.

Я поговорила с Катрин; Брижитт пригласила ее провести вместе пасхальные каникулы у озера Сеттон, там у них есть дом. Я разрешу? Да. Она так и думала, что я разрешу, она очень рада. С госпожой Фроссар они в хороших отношениях: она там рисует или играет в разные игры, не скучает.

Может, это и классика: соперничество матери и психиатра, меня, во всяком случае, это не миновало. Я дважды встречалась с госпожой Фроссар без всякой симпатии: любезна, вид знающий, вопросы задает толково, быстро фиксирует и классифицирует ответы. Когда я с ней рассталась после второго свидания, она знала о моей дочери почти столько же, сколько я. Перед отъездом в Грецию я ей позвонила, она мне ничего не сказа-

ла; лечение едва началось. «А сейчас?» — думала я, звоня к ней. Я приготовилась к отпору, ощетинилась, выставила колючки. Она, казалось, не заметила этого, бодрым голосом изложила мне ситуацию. В целом Катрин эмоционально вполне уравновешенна; она безумно любит меня, очень любит Луизу; отца — недостаточно, нужно, чтоб он постарался это преодолеть. В ее чувствах к Брижитт нет ничего чрезмерного. Однако, поскольку подруга старше и рано развилась, она ведет с Катрин разговоры которые ту волнуют.

— Но она же мне обещала, что будет осторожна; и это очень честная девочка.

— Не можете же вы требовать от двенадцатилетнего подростка, чтоб она взвешивала каждое слово. О чем-то она, возможно, и умалчивает, но остальное рассказывает, а Катрин болезненно чутка. В ее рисунках, ассоциациях, ответах на тесты бросается в глаза встревоженность.

По правде говоря, я знала, я и без мадам Фроссар понимала, что потребовала от Брижитт невозможного: дружба нуждается в откровенности, в душевных излияниях. Не было иного способа, как прекратить встречи, именно этот вывод и сделала мадам Фроссар. В данном случае речь не шла об одной из тех неодолимых детских страстей,

когда грубое вмешательство опасно. Если тактично положить конец частым свиданиям, Катрин не будет потрясена. Я должна устроить так, чтобы они пореже видели друг друга в месяцы, оставшиеся до летних каникул, чтоб в будущем году оказались в разных классах. Было бы также неплохо найти моей дочери других подруг, пусть у них интересы будут более детские.

— Видишь, я был прав, — сказал Жан-Шарль с триумфом. — Катрин свихнулась из-за этой девочки.

Я и сейчас слышу голос, вижу Брижитт с ее булавкой в подоле: «Здрасьте, мадам»; и мне стягивает горло узлом. Дружба — это ведь сокровище. Будь у меня подруга, разве я лежала бы сейчас пластом, я бы с ней разговаривала.

— Прежде всего мы не отпустим ее на пасхальные каникулы.

— Она будет в отчаянье.

— Ничуть, если мы предложим ей что-нибудь заманчивое.

Жан-Шарль загорелся. Катрин не могла оторваться от фотографий, привезенных мною из Греции; прекрасно, мы покажем им с Луизой Рим. А по возвращении нужно будет придумать занятия, которые ее поглотят: спорт, танцы. Лошадь!

Вот гениальная мысль, даже в эмоциональном плане. Заменить подругу лошадью! Я спорила. Но Жан-Шарль был непоколебим. Рим и уроки верховой езды.

Катрин пришла в замешательство, когда я заговорила о Риме: «Я обещала Брижитт, она огорчится».

— Она поймет. Поездка в Рим — это ведь не каждый день случается. Тебе разве не хочется?

— Я так хотела поехать к Брижитт.

Она расстроена. Но Рим ее увлечет, сомнений нет. О подруге и не вспомнит. Немного изобретательности, и к будущему году она ее забудет начисто.

Горло Лоранс сжимается. Жан-Шарлю не следовало потом выносить на публику всю эту историю с Катрин. Предательство, насилие. Что за романтизм! Но какой-то стыд душит ее, точно она сама — Катрин, услышавшая ненароком их разговор. Отец, Марта, Юбер, Жан-Шарль, она сама — все они обедали у Доминики. (У мамы появился вкус к семейным торжествам! Чего только не бывает! А как папа галантен с ней!)

— Сестра рассказала мне о совершенно аналогичном случае, — сказал он. — Одна из ее учениц в четвертом классе подружилась с девочкой

постарше, мать которой была мальгашка. Ее мироощущение совершенно изменилось. И характер тоже.

— Их разлучили? — спросила я.

— Вот этого не знаю.

— Если советуешься со специалистом, следует считаться, как мне кажется, с его рекомендациями, — сказала Доминика. — Ты согласен? — почтительно спросила она у папы, точно придавала огромный вес его мнению.

Я понимала, что ее трогает его внимание: она так нуждается в уважении, дружбе. Меня коробило только, что он клюнул на ее кокетливые уловки.

— В этом есть логика.

Какой нетвердый голос! А тогда, в Дельфах, когда мы смотрели на танцующую девочку, он был согласен со мной.

— На мой взгляд, проблема в другом, — сказала Марта. Она повторила, что ребенок не может жить в мире без Бога. Мы не имели права лишать Катрин утешения, которое дает религия.

Юбер ел молча. Он, вероятно, продумывал сложную операцию по обмену колец для ключей, это его последняя придурь.

— Но ведь иметь близкую подругу так важно, —

сказала я.

— Ты прекрасно обошлась без нее, — ответила мне Доминика.

— Не так уж прекрасно, как ты полагаешь.

— Хорошо, мы найдем ей другую, — сказал Жан-Шарль. — Эта ей не подходит, коль скоро она плачет, терзается кошмарами, плохо учится и, по мнению госпожи Фроссар, слегка отклонилась от нормы.

— Нужно помочь ей восстановить равновесие. Но не разлучая с Брижитт. Ну, папа, ты же сам говорил в Дельфах, что когда человек начинает открывать для себя мир, у него, естественно, голова идет кругом.

— Существуют вещи естественные, которых, однако, желательно избежать. Естественно вскрикнуть, обжегшись, но желательно не обжигаться. Если психолог находит, что она отклоняется от нормы…

— Но ты же не веришь психологам!

Я почувствовала, что говорю слишком громко, Жан-Шарль бросил на меня недовольный взгляд.

— Послушай, раз Катрин соглашается поехать с нами и не устраивает из этого трагедии, не устраивай и ты.

— Она не устраивает трагедии?

— Ничуть.

— В чем же дело?

Отец и Доминика произнесли одновременно: в чем же дело? Юбер покачал головой с понимающим видом. Лоранс заставила себя есть, но именно тут она почувствовала первый спазм. Она знала, что потерпела поражение. Против всех не пойдешь. Ей никогда не хватало высокомерия, чтобы считать себя умней всех. (Были Галилей, Пастер и другие, которых приводила в пример мадемуазель Уше. Но я не мню себя Галилеем.) Итак, на пасху — она к этому времени, разумеется, выздоровеет, тут дело нескольких дней, несколько дней пища тебе противна, а потом все налаживается само собой — они повезут Катрин в Рим. Желудок Лоранс судорожно сжался. Возможно, что она еще долго не сможет есть. Психолог сказала бы, что она заболела нарочно, потому что не хочет ехать с Катрин. Абсурд. Если бы она в самом деле не хотела, она бы отказалась, она бы боролась. Они все вынуждены были бы отступить.

Все. Потому что против нее — все. И снова на нее надвигается картина, которую она яростно вытесняет из сознания и которая возникает снова и снова, стоит ей ослабить бдительность:

Жан-Шарль, папа, Доминика улыбаются, как на американском плакате, расхваливающем овсянку. Мир, единство, радость семейного очага. А различия, казавшиеся непреодолимыми, на поверку решающего значения не имеют. Она одна, иная, отверженная, неспособная жить, неспособная любить. Обеими руками она вцепляется в одеяло. На нее наваливается то, чего она страшится хуже смерти: мгновение, когда все рушится; ее тело — камень, ей нужно закричать, но у камня нет голоса, нет слез.

Я не хотела верить Доминике; мы встретились через три дня после того обеда, через неделю после нашего возвращения из Греции. Она мне сказала:

— Представь себе, что мы — твой отец и я — подумываем, не жить ли нам снова вместе.

— Как? Ты и папа?

— Тебя это так удивляет? Почему же? В сущности, у нас много общего. Прежде всего наше прошлое, и ты, и Марта, и ваши дети.

— У вас такие разные вкусы.

— Они были разными. Мы слегка изменились, постарев.

Спокойствие, говорила я себе. Салон был полон весенних цветов: гиацинтов, примул. Папи-

ны подарки? Или она меняет стиль? Кому она подражает? Той женщине, которой намеревается стать? Она говорила. Слова обтекали меня, я все еще отказывалась им верить: она так часто выдумывает. Она нуждалась в защите, привязанности, уважении. А он ее уважает, даже очень. Он осознал, что неправильно судил о ней, что ее светскость, честолюбие были проявлением жизненных сил. И ему тоже необходим кто-нибудь живой рядом. Он чувствует себя одиноким, скучает; книги, музыка, культура — все это прекрасно, но существования этим не заполнишь. Надо отдать ему справедливость, он еще может нравиться. К тому же он эволюционировал. Он понял, что негативизм бесплоден. Она ему предложила, поскольку он в курсе парламентских дел, принять участие в радиодискуссии: «Ты не можешь вообразить, какое это ему доставило удовольствие». Голос струился, уравновешенный, умиротворенный, в уюте салона, где недавно раздавались дикие вопли. «Переживет, переживет». Жильбер оказался прав. Вопли, рыдания, конвульсии, точно в жизни есть нечто достойное того, чтоб так вопить, рыдать, волноваться. А это неправда. Нет ничего непоправимого, потому что ничто не имеет значения. Почему же не остаться

на всю жизнь в кровати?

— Не понимаю, — сказала я. — Ты ведь находишь папино существование таким тусклым!

Доминика не переменила внезапно мнения о папе, не приняла его мировоззрения, не смирилась с тем, чтоб разделить с ним жизнь, которую именовала посредственной.

— Ах, я сохраню собственную жизнь, — живо возразила она. — Тут мы единодушны, у каждого свои дела, своя среда.

— Некое мирное сосуществование?

— Если угодно.

— Почему же вам тогда не ограничиться встречами время от времени?

— Ты решительно не знаешь света, просто не отдаешь себе ни в чем отчета, — сказала Доминика.

Она помолчала; мысли, которые она перебирала в голове, явно не были приятными.

— Я тебе уже говорила: женщина без мужчины, с точки зрения социальной, деклассирована; в этом есть некая двусмысленность. Я знаю, про меня уже распускают сплетни, что я содержу мальчиков, впрочем, некоторые мне предлагали свои услуги.

— Но при чем тут папа? Ты могла найти чело-

века более блестящего, — сказала я, подчеркнув последнее слово.

— Блестящего? В сравнении с Жильбером никто не будет блестящим. Все сочли бы, что я удовлетворилась эрзацем. Твой отец — другое дело. — По ее лицу пробежало мечтательное выражение, прекрасно сочетавшееся с гиацинтами и примулами. — Супруги, вновь обретшие друг друга после многих лет раздельной жизни, чтоб встретить вместе надвигающуюся старость: возможно, люди удивятся, но подсмеиваться не будут.

Я не была в этом столь же уверена, как она, но теперь я поняла подоплеку. Надежность, респектабельность — вот в чем она нуждается в первую очередь. Новые связи отбросили бы ее в ранг доступных женщин, а мужа найти нелегко. Я уже видела роль, в которой она намеревается выступать: женщина, сделавшая карьеру, пользующаяся успехом, но отказавшаяся от легкомысленных радостей ради иных — более тайных, глубоких, интимных.

И папа согласился? Лоранс поехала повидаться с отцом в тот же вечер. Квартира одинокого мужчины, которую она так любила, газеты и книги, набросанные в беспорядке, аромат старины. Почти тотчас она спросила, стараясь улыбаться:

— Доминика рассказывает, что вы будете снова вместе. Это правда?

— Как это тебе ни покажется невероятным, да. Так-то!

Вид у него был немного смущенный. Он вспомнил, что говорил о Доминике.

— Да, признаюсь, мне это кажется невероятным. Ты так дорожил одиночеством.

— Никто не заставляет меня отказаться от него, если я поселюсь у твоей матери. Квартира у нее большая. Разумеется, в нашем возрасте мы оба нуждаемся в независимости.

Она выдавила из себя:

— Я считаю, что это хорошая мысль.

— Думаю, что да. Я веду слишком замкнутый образ жизни. Нужно все-таки сохранять контакт с людьми. А Доминика стала более зрелой; знаешь, она понимает меня куда лучше, чем раньше.

Они поговорили о том, о сем, вспомнили Грецию. Вечером, после обеда, ее стошнило; назавтра она не поднялась с постели, на следующий день тоже; она была сражена лавиной картин и слов, непрерывно дефилировавших и бившихся между собой в ее голове, точно малайские криссы в запертом ящике (откроешь — полный порядок). Она открывает ящик. Просто я ревную. Эдипов

комплекс, не ликвидированный вовремя: мать, ощущаемая, как соперница. Электра. Агамемнон… Не потому ли меня так волновали Микены? Нет. Нет. Чушь. Микены были красивы, меня тронула красота. Ящик заперт, криссы бьются. Я ревную, но главное, главное… Она дышит слишком часто, задыхается. Значит, это не было правдой, что он владеет радостью, мудростью, что ему хватает внутреннего света! Она упрекала себя в неумении раскрыть секрет, а секрета-то, может, и вовсе не было. Вовсе не было: она поняла это в Греции. Она РАЗОЧАРОВАЛАСЬ. Слово пронзает, как кинжал. Она зажимает платок между зубами, точно желая помешать крику, хотя кричать не в силах… Разочаровалась. У меня есть для этого основания. «Ты не можешь вообразить, какое это ему доставило удовольствие!» А он: «Она понимает меня куда лучше, чем раньше». Он был польщен. ПОЛЬЩЕН. Это он, который смотрел на мир сверху вниз, с просветленной отчужденностью, он, который познал тщету всего и обрел душевный покой по ту сторону отчаяния. Он, непримиримый, будет выступать по тому самому радио, которое обвинял в лживости и лакействе. Он не принадлежал к другой породе. Мона сказала бы: «Какого черта! Они похожи как

две капли воды».

Она задремала в изнеможении.

Когда она открывает глаза, рядом Жан-Шарль.

— Милая, совершенно необходимо, чтобы ты согласилась повидать доктора.

— Зачем?

— Он поговорит с тобой, поможет тебе понять, что с тобой происходит.

Она вскрикивает:

— Нет, ни за что! Я не дам копаться во мне. — Она кричит: — Нет! Нет!

— Успокойся.

Она вновь падает на подушки. Они заставят ее есть, они принудят ее проглотить все. Что все? Все, от чего ее тошнит, ее собственную жизнь, жизнь всех остальных, все их мнимые любви, денежные истории, вранье. Они ее излечат от отказов, от отчаяния. Нет. Почему нет? Если крот откроет глаза и увидит, что все вокруг черно, какой ему от этого прок? Закрыть глаза. А Катрин? Ей тоже приколотить веки? «Нет!» — она закричала вслух. Только не Катрин. Я не позволю, чтобы с ней сделали то, что со мной. А что из меня сделали? Женщину, которая никого не любит, не чувствительна к красоте мира, не способна даже плакать, женщину, которой меня рвет. Нет,

она должна немедленно открыть глаза Катрин, может, луч света пробьется к ней, может, она выкарабкается? Откуда? Из этого мрака. Из невежества, из равнодушия… Катрин… Внезапно она поднимается.

— С ней не сделают того, что со мной.

— Успокойся.

Жан-Шарль берет ее за руку, в глазах у него смятение, точно ему хочется позвать на помощь; властный, уверенный в себе, он пугается при малейшей неожиданности.

— Не успокоюсь. Не хочу врача. Я больна от вас и выздоровею сама, потому что не уступлю вам. Катрин я не уступлю. Со мной покончено. Меня обработали раз и навсегда. Но Катрин не искалечат. Не хочу, чтоб она лишилась подруги. Хочу, чтоб она провела каникулы у Брижитт. И к психологу она больше не пойдет.

Лоранс отбрасывает одеяла, встает, натягивает халат, перехватывает ошарашенный взгляд Жан-Шарля.

— Не зови врача. Я не спятила. Просто говорю, что думаю. О господи, да не гляди ты на меня с таким видом.

— Я решительно не понимаю, о чем ты.

Лоранс делает над собой усилие, тон ее стано-

вится рассудительным:

— Очень просто. Катрин занимаюсь я. Ты вмешиваешься эпизодически. Но воспитываю ее я, следовательно, принимать решения должна я. Я их принимаю. Воспитать ребенка не значит сделать из него прелестную картинку…

Помимо собственной воли Лоранс повышает голос, она говорит, говорит, говорит, сама не понимая, что; не важно, важно перекричать Жан-Шарля и всех остальных, заставить их замолчать. Сердце ее колотится изо всех сил, глаза горят.

— Я приняла решение, и я не уступлю.

Замешательство Жан-Шарля растет, он шепчет умиротворяюще:

— Почему бы не сказать мне всего этого раньше? Совершенно не обязательно болеть. Я не знал, что ты приняла эту историю так близко к сердцу.

— Слишком близко к сердцу, да; у меня, может, больше нет сердца, но эту историю я принимаю близко к сердцу.

Она смотрит на него прямо в глаза, он отворачивается.

— Ты должна была поговорить со мной раньше.

— Возможно. Во всяком случае, теперь все сказано.

Жан-Шарль упрям; но в глубине души он не относится серьезно к дружбе Катрин и Брижитт: эта ребяческая история не затрагивает его по-настоящему. И в моей болезни пять лет назад веселого было мало, и у него нет ни малейшего желания, чтобы я снова свалилась. Если я упрусь, победа за мной.

— Хочешь воевать, будем воевать.

Он пожимает плечами.

— Мы — воевать? С кем ты говоришь?

— Не знаю, это зависит от тебя.

— Я никогда ничего не делал тебе наперекор, — говорит Жан-Шарль.

Он задумывается.

— Правда, что ты занимаешься Катрин куда больше меня. В конечном итоге решать тебе. Я никогда с этим не спорил. — Он добавляет раздраженно: — Все было бы куда проще, если б ты объяснилась. Сразу.

Она натянуто улыбается.

— Я виновата, но я тоже не люблю идти тебе наперекор.

Они молчат.

— Значит, решено, — говорит она после паузы, — Катрин проводит каникулы у Брижитт?

— Если ты этого хочешь.

— Да.

Лоранс причесывается, приводит в порядок лицо. Моя песенка спета, думает она, глядя на свое отражение — бледное лицо, обострившиеся черты. Но дети еще могут на что-то рассчитывать. На что? Если б знать.

## Франсуа Нурисье. ХОЗЯИН ДОМА
### *Перевод Норы Галь*

*Посвящается Тототте*
*Я все пытаюсь понять, откуда такая опустошенность. Как будто силы мои подрезаны под корень. Да, именно так: словно внутри что-то росло — радостно, щедро, доверчиво, и рухнуло, подкошенное внезапным ударом. Принять смерть. А смерть ли это?.. И так далее.*
***Пьер-Жан Жув, Во глубине годов***



Все это расщепляется, трескается, лупится, коробится, вспучивается, ползет, окисляется, ржавеет, отсыревает, подгнивает, перекашивается, выцветает, тускнеет от времени — так это называется! — плесневеет, рассыхается, расшатывается, оседает, дряхлеет, кренится набок, грозит рухнуть, прогибается, провисает, идет пятнами, ветшает, сохнет, истрепывается и медленно, медленно рассыпается. В прах. Теряет твердость и лоск, гибкость, живость и цельность. Становится рыхлым, ноздреватым. Заболевает. Терпит бедствия и напасти, разруху, грабеж, воздействие кислот, газов, морского прибоя, бурь и гроз, благоговейные ласки паломников, их лобзания (недаром истерлась каменная стопа святого Петра). Колдобины, ухабы, Непрочные обочины, аварии на дорогах, соль, туман, ночная тьма. Все это кашляет, перхает и трясется. Разбухает съеживается. Облезает, вздувается, лопается, трещит, рассекается щелями, дает течь, тонет, идет ко дну. Ни минуты спокойствия. Переломы, вывихи, разрывы, сыпь, шелушение, опухоли. Выбрасываются новые побеги, все это пухнет, зреет, набухает почками, распускается, истекает Соками, зудит. Ссадины, заражение крови. Древние камни Экса (Прованс). Обрубки конечностей. Ребра. Легкие.

Стена, подставленная западному ветру. Хрупкая нервная система. Предохранительные пробки электросети. Терраса. Корпус корабля. Клепаная сталь. Золотые пломбы в зубах. И в алмазе заводятся черви, и в мраморе — гнилые дупла. Все это час от часу разваливается, хлопает, скрипит, колотится, перетирается, перегревается, черт ее знает, эту сволочь! Опостылело все это. Что именно? Да вообще все. Вещи… Выматываешься в этой игре. Взять хотя бы дом.

Имейте в виду, приятно ездить в хорошей машине, это я отлично понимаю. Я и зятю своему всегда говорю — чего ради отставать от века? Каких только рассуждений я не наслушался, когда платил за сноп драндулет. Недавно я получил недурные комиссионные — продал участок возле Палаваса, так почему бы… Да-да, прошу извинить. Ну вот, дело было в среду вечером. Кажется, в ноябре, по крайней мере шел дождь. Только тут я и заметил, что они не одни. У них машина — такая, знаете, скорлупки, в нее никак не втиснешься, недаром называется спортивная, — и они помогли вылезти одной маленькой женщине, лицо у нее знакомое. Его-то я часто вижу, он в нашем округе представляет фирму по продаже удобрений и немного занимается

сельски хозяйственным инвентарем; ну, а с его супружницей я, наверно, и десяти слов не сказал. С виду уж такая бойкая дамочка. Она и говорит, будто мы с ней только вчера беседовали — мосье Фромажо, говорит, это друзья детства моего мужа, то есть вот он — друг, а это его жена, вот привезла их к вам, им тут кое-что нужно. «В наших краях?» — спрашиваю, а она отвечает: «Ну, ясно!» — и давай хохотать. Будто я невесть какую глупость сморозил. А у нас приезжий человек редкость. Больше всего я озлился, извините за выражение, потому что кто ж это заявляется в полседьмого, на ночь глядя, ежели хочет купить дом. И одеты они были нескладно — понимаете, вроде как для загородной поездки, но безо всякой элегантности. Неподходящий вид для такой тележки! Волосы у дамочки растрепанные, темные очки от солнца, лет ей тридцать пять — тридцать восемь, и, однако, вся бронзовая, это меня поразило, ведь ноябрь на дворе… Я сразу подумал — да что ж это за люди? Она в особенности. У нас тут нынче любая девчонка, последняя замухрышка, о себе заботится — подтянутая, кокетливая, волосы взбиты, налакированы, чистенькая, любо поглядеть, а такие вот господа… Словом, он держался учтиво, да, учтиво, но суховато, с таким видом, будто ему

недосуг, нет терпенья дослушать вас до конца, и после тоже, врать не стану, он был любезен, но всегда оставался вот таким гордецом.

Я не столь наивен и не собираюсь начинать с первого впечатления. В порядке и последовательности я не силен. И какой порядок? Порядок во времени? До времени мне дела нет. Время только на то и годится, чтобы тянуть его, убивать, тратить, подсчитывать. Не правда ли, сколько презрения в этих словах! И меж тем какой подстерегает ужас — с колючим взглядом, с острыми когтями, всегда готовый к прыжку. Но об этом еще не место говорить. А впрочем, где для этого место? Какой порядок? Какое место? Ужас будет подстерегать повсюду, вот почему мне ничуть не интересно начинать с самого начала. Да и есть ли у этой истории начало? Право, не знаю, как определить, с чего все эго пошло и в какой последовательности развивалось. Можно бродить по этому зданию вдоль и поперек, в любое время, когда и как вздумается. Ужас заполняет дом, как вода — пруд. И счастье тоже? Можно это назвать и так, звучит очень мило.

Могу сказать: сегодня вечером. Это ровно ничего не значит. Как знать, чт**о** это — июльский вечер, когда стрекочут в пустошах цикады, и

порой налетает теплый душистый ветерок, и слышно, как хлопает огромными крыльями взлетевший филин? И угадывается во тьме суета насекомых, пожирающих друг друга? Или на дворе январь, зима в разгаре? Разноголосые арии мистраля, обезумевшие глаза деревьев? И наконец-то вечером разражается буря? А быть может, это октябрь или апрель, уже приглаженные, чистенькие, точно воспитанные дети поутру, когда они приходят поздороваться со старшими?

Во всяком случае, это ночь, скорее всего ночь, самое сердце ночи, ее плотное, непроницаемое ядро, счет колокольных ударов сквозь сон, перекличка собак. И посреди всего этого я бодрствую, прислушиваюсь, настороженный и медлительный. Пускаюсь в обход, брожу по дому, присматриваюсь к стенам, осторожно ступаю в тишине, чтоб не звякнула под ногой расшатанная плитка. А мои все спят — мальчики вечно в испарине, Беттина ускользнула — она здесь, слышно, как она дышит, и все равно ускользнула, но я делаю вид, что мирюсь с этим… Вздыхает сквозь сон собачонка в своей корзинке из скрипучих ивовых прутьев; спит Женевьева, она не погасила мою лампу, и вот мне пришлось спуститься сюда, где я застыл Теперь и стою столбом; спят, может

быть, друзья, навестившие меня проездом, ради них завтра надо будет побриться; спит прислуга (если только это слово вам не надоело). Стукни я нечаянно дверью, брякни щеколдой, пробеги по дому сквозняк, всполошенный моими блужданиями, — и шум отразится от всех стен, умножится, разрастется среди этой заточенной в камень темноты, ста нет глухим гулом, гневным голосом тишины, и все спящие заворочаются в постелях, среди своих одеял и подушек, невнятно забормочут. По моей вине им привидятся сны. Три часа утра, так это называется, а на самом деле вокруг непроглядная тьма и пустота. Сон захлестывает меня жаркими, расслабляющими волнами. Кто осмелился бы написать: «Я чувствую, как живет мой дом»? Я чувствую, как он подстерегает, примеривается, чувствую, как он завладевает нами, поглощает нас, поди угадай, чего ему надо: он такой прочный, неодолимый, в нем тянет непонятными запахами, по нему бродит эхо, даже изъяны его успокаивают, словно раны, которые наконец-то пере стали кровоточить. Вернее сказать, он иссечен не ранами, а морщинами; он колеблется, его прорезают трещины, постареет он, как сама земля: не дряхлеет, не слабеет, твердыня его нерушима; все так же скреплены

кованными гвоздями балки, на которых каленым железом помечены давно минувшие годы; отлично подогнаны каменные плиты — огромные и, однако, изящные, закопченные, обо жженные, выскобленные, слоеный пирог из камня, который трепещет, точно живое существо, случай, которым нельзя упустить, нечто незаурядное, с характером, изысканное наследие былых времен, пропасть, обуза, сложная вязь, приступ страсти или безумия, память о сотне забытых мертвецов, кров, под которым спят сейчас шесть или восемь живых, все, кому я опора, а может быть, они опора мне, поди разберись в эту сырую ночь, теплую и полную жизни, жизни самой разнообразной, потому что, вне всякого сомнения, на дворе лето.

> Не стану корчить из себя мудреца, а только они мне сразу не понравились. В нашем деле, понимаете, привыкаешь помаленьку разбираться в людях. Эти двое сразу, как бы вам сказать, сбили меня с толку, извините за выражение. И не столько своим разговором, нет, я ведь всякого навидался и наел у шалея, и потом вы, верно, приметили, у меня и у самого выговор… Родом-то я северянин,

из Ножан-ле-Ротру. Это тоже здесь не всем по вкусу. Да что жаловаться, не об том сейчас речь, вот и зять мой, сестрин муж, всегда говорит: юг меня кормит. А эти — как бы вам сказать? Это такие люди, сами не знают, чего им надо. С придирами да занудами в нашем деле часто встречаешься, они въедаются в печенки, но с ними совладать можно. Не поймите худо. Я что хочу сказать: под конец уже знаешь, как к ним подойти да как их успокоить. А эти с виду вроде мягкие, а нутро ничем не проймешь, или, может, наоборот; в общем, с такими чувствуешь себя не в своей тарелке, понимаете, что я хочу сказать? Люди добрые, если покупают, приезжают смотреть чаще всего в субботу, а то и в воскресенье, хотя по воскресеньям… Я-то как раз люблю сходить с зятем на охоту, если сезон, ну или скатать куда-нибудь в Тараскон, в Монпелье, летом иной раз даже к морю, а эти заявились в среду вечером, на ночь глядя, представляете? Жозетта сказала… виноват? Нет, мосье, это моя секретарша, так вот, она сразу сказала: «Смотрите-ка, парижане».

Глянул я в окно — тележка за тридцать тысяч франков, легкая на ходу, но уже не больно новая, зарегистрирована невесть где, номерные таблички белые, а буквы и цифры черные. И с чего Жозетта взяла, что они из Парижа?

Мадам Пашабюльян была то ли армянка, то ли черкешенка и похожа на Сталина, только без усов; она меня несколько удивила: вдруг посреди разговора об аскетизме и непостижимых безднах пожелание, не чуждое поэзии… но ведь никогда не знаешь, чего ждать от людей. Они с мамой хлопотали между столом и буфетом, перетирали рюмки. Резной хрусталь, который приберегается для самых парадных случаев. И я услыхал ее голос: «Вот если бы у меня еще когда-нибудь завелись деньги, я не стала бы их тратить ни на путешествия, ни на каракуль и жемчуга, мне так хочется иметь дом вдали от жизни…»

Я, разумеется, был в соседней комнате, которая служила то ли художественной мастерской, то ли салоном, И патефон играл «Венгерскую рапсодию». Я от нее без ума. Как только мы пришли, я поставил эту пластинку, аппарат был старый, заводился рукояткой, и я раз десять ее крутил,

все не мог наслушаться. У меня находили «способности», только неизвестно к чему именно. Что же означали слова мадам Пашабюльян? Она говорила, как Поют в театре «Ла Скала»; грудь ее высоко вздымалась — могучий пятидесятилетний фрегат женского пола, горделиво плавала она в трехкомнатных апартаментах на верхнем этаже дома в квартале Вожирар (меблированные комнаты, где все звали друг друга как-нибудь вроде Григорий или Алеша) и рассуждала о былом величии и о людской зависти. Она подавляла маму бесконечными рассказами о России, о тайнах Константинополя и (вполголоса) о своей умудренности в делах любви. О каких же далях, о каком еще изгнании мечтала эта изгнанница? В какую рулетку играли ее грезы, самоубийственные, как всякие грезы? Все помыслы — о роскоши, если глаза голубые — это славянская душа, если карие — это уже Восток, и вечная тяга назад в Ниццу, и полный сундук длинных платьев, обтрепавшихся до бахромы, и на комоде фотографии офицеров с дарственными надписями бог весть на каких языках…

Лист и Венгрия немного вскружили мне голову. Но когда играют под сурдинку, не та это музыка, чтобы заглушить разговор! Впрочем, в ту пору

я охотно приписывал людям глубокие мысли. Оккупация и четырнадцатый год моей жизни подходили к концу: мне было примерно столько, сколько сейчас Ролану. Он тоже помешан на музыке: Шопен, концерт ми-минор «Ночь на Лысой горе», но он хохочет при одном слове «патефон», и вся эта механика теперь электрическая. Стоило чуть повнимательней прислушаться к излияниям мадам Пашабюльян, и со всеми загадками было бы покончено. Но, наверно, музыка и сама была тогда подобием цыганского хмеля, что царил у меня в голове заодно с образами немецкого фильма «Золотой город»[19] — я ходил смотреть его, хоть мама и запретила. «Дом вдали от жизни…» Вот к чему стремятся беженцы, думал я, вот клочки счастья, оставшиеся в их израненных судьбах… смерть точно замок, им нужна уже не жизнь, а смерть в замке, самый подходящий конец для этой почтенной женщины, которая вновь и вновь повторяла, прижимая руку к груди, что она продала все свои драгоценности.

Прошли годы, пока я признал, что мадам Пашабюльян тешила себя всего лишь мечтой о жизни на лоне природы. Ей попросту хотелось посе-

**[19] Примечания: 19**
Цветной фильм известного фашистского режиссера Фейта Харлана.

литься «вдали от городской жизни». Тогдашний Париж был безмолвен и пустынен, вот отчего мечта ее казалась великолепной и сбивала с толку, но я-то в 1943 году плохо это понимал. Толчея на Больших бульварах по вечерам в четверг — все, что мне запомнилось от довоенной шумной суеты, — занимала слишком мало места в моих мыслях.

Итак, долгое время желание чем-либо владеть оставалось для меня облеченным в четыре приглушенных, загадочных слова, в которых сквозила не столько надежда обладать собственностью, как тоска и отчаяние скитальца без родины. И не смешна ли эта жажда владеть стенами и деревьями? Детство мое прошло среди разгрома: вдовы, нужда, распродажа наследственных имений. Я слышал, как говорили важные господа: «Мой кошелек совсем отощал», — и важные дамы: «Лучше уж я продам Бородьер, крыша течет, а чинить слишком дорого…» Они шли прахом, все эти собственные дома и имения! Люди, которые нас окружали, просаживали целые состояния на каких-то дурацких башенках и английских газонах. Нотариусы советовали рубить тополя. Во всех знакомых семействах утирали слезы, глядя на фотографии домов с закрытыми наглухо

ставнями: последний снимок, сделанный наспех, когда агенту по продаже недвижимости уже не терпится рвануть машину с места, и трава сырая, а туфельки тоненькие. «Жаклина, быстрей отнеси ключи госпоже Буасье», — и этот тип, с важным видом раскуривая сигару и переключая скорость, заявляет: «Считайте, что вам еще повезло, мадам, загородные дома отжили свой век, никому они больше не нужны, а вы внакладе не остались. Знаете, с этим Народным фронтом… Вон какую вечернюю газетку стали выпускать эти красные! Вы чихаете? Надеюсь, барышня не подхватит простуду…»

«Лучше уж я продам»… Продам, продам. «Про д'Ам» — звучит недурно, можно так назвать дом. Имение «Про д'Ам» расположено на полпути между Приморскими Альпами и побережьем, в тихом, укромном уголке, у которого, однако, большое будущее, ибо он, без сомнения, привлечет туристов. Наконец-то отделались от Про д'Ама, уф, можно вздохнуть с облегчением! А эта мадам Пашабюльян, не угодно ли, в разгар войны признается, что ее заветная мечта — обзавестись недвижимостью… Вечно эти иностранцы витают в облаках. Всего лет пятьдесят назад они еще владели крестьянами, вот так потом И сам не

заметишь, как окажешься шофером такси. Сплошные неурядицы: бегство, страховые полисы, мороз, черепица так и сыплется, мебель маркетри не выдерживает зимы в нетопленом доме, а если топить, инкрустация тоже погибает. Позвать краснодеревщика? Но во Франции не осталось настоящих мастеров, все сплошь большевики, видали, какую они выпускают вечернюю газету? Вся голытьба к ним переметнется, так вот, о русских, они не умеют думать о завтрашнем дне, просто богема, водят дрянные малосильные машины, и все они так и остались поручиками, впрочем, надо бы познакомиться с ними поближе, правда? Хотя они все чересчур важные аристократы, так что насчет порядочности… Про мадам Пашабюльян я не говорю, она женщина достойная, а если у нее бывали романы, что ж, ее личное дело, меня это не касается, в конце концов, она вдова, а иногда она так забавно рассказывает! Но в ее годы, в ее положении мечтать о загородном доме — ну нет, откровенно вам скажу, это сумасбродство.

С такими клиентами что мудрено, мосье: их не в чем упрекнуть. Разве только уж такие тонкости, что и не ухватишь. Люди добропорядочные, чего уж там.

Даже, можно сказать, изысканные. Раза три мне случалось их отвозить в гостиницу, где они останавливались, ничего не скажу, всегда окажут любезность, мол, не выпьете ли рюмочку? Бармен их зовет по имени, сразу видно — завсегдатаи, ни в чем себе не отказывают. Но про свое житье-бытье, про свои занятия — ни полслова. Да вот один раз, я вам потому говорю, что меня это поразило, я ведь вижу, они подыскивают дом побольше, ну и спросил осторожненько — мадам, конечно, заботится о детях? И что, по-вашему, он мне ответил — он сам, она и вовсе рта не раскрыла, — да каким ледяным тоном! Мосье Фромажо, говорит, а вы не встречали людей, которые в жизни не только о детях думают? Когда вот так рассказываешь, в этом вроде и нет ничего особенного, но если вам бросают такое среди разговора, да эдак через плечо, ну прямо холодом обдает. Тем более, казалось бы, никаких причин не было. В конце концов, никуда не делись их деточки, насмотрелись мы на них! Так для чего секретничать!.. спрашивается? Вы

скажете… ну да, да, вот именно…

Непостоянные женщины, бесценные золотые метеоры, — вы, кому недешево дается смирение, кого укрощает бремя лет и забот (в зябкой дрожи раннего утра начинается молчаливая суета — спринцовки, пудра, порошки, вино, радости любви и тщеславия, вечная, самозабвенная погоня, вечный самообман, зеркало, перед которым силишься перехитрить худобу и морщины, пемза, массаж, притирания, кремы, маски из яйца и сливок, кожа, снова и снова натягиваемая и разглаживаемая до последнего часа, до последнего распада плоти, тысяча малых смертей, прежде чем придет последняя, настоящая, — о эта игра в отсрочку, нескончаемый фарс, почетный караул чаяний и надежд!) — я говорю только о вас!

И это жизнь — ну не смешно ли? Да ведь это ноль без палочки, мрамор улыбки, благоухание слов. Растолкуйте мне, на что годится страх. Докажите, что это достойное занятие — отмывать гнуснейшую грязь. Нечист есмь, и нечист остаюсь, и скверна моя черным-черна. Да, хотел бы я, кроткий живописец при вашем боге, чтобы рука моя писала нечто иное: рай в шалаше, цветы человечности; вы даете нам вдоволь сю-

жетов, ободряете, желаете успеха! Рассвет? Море? Детские игры? Чем я виноват, если для меня рассвет поднимается над неразберихой из стали и кровельного железа, и металлический запах бензина, холодный текучий огонь струится меж трав, перекрывая все запахи земли, и, когда вскинешь глаза к небу, видно, как листья ластятся к ветру, и человеческий слух ловит еле слышное тиканье часов, которые не желают показывать смертный час — слабое биение упрямой артерии на виске или на запястье. Взморье, дети — вот я вам скажу, что я об этом думаю.

Я был еще малышом, когда газеты поведали о той войне, в которой мавры шли в атаку, размахивая знаменем чужого бога, а навстречу им поднимались другие солдаты с криком: «Да здравствует Смерть!» Эти не ошиблись в выборе повелителя.

* * *

Полуденная тишина содрогается от вопля предсмертной муки. В солнечных лучах, отражаясь от стекол, непрестанно, неумолчно бьется предсмертное жужжанье какой-то мухи, от него ноют зубы и перехватывает дыхание. У меня в

Лоссане целый арсенал патентованных «бомб» от насекомых. Самые новомодные выглядят очень соблазнительно, раскрашены в желтый и красный цвет, прямо как бензоколонки. Они источают яд, душистый, точно лаванда. Крупные сверкающие насекомые, чьи тела отливают зеленым и синим, — в детстве меня развеселило открытие, что они так прямо и называются «навозные мухи», — впадают в какое-то недвижное, бездыханное исступление. Угадываешь в этом жалком мозгу, в глазах величиной с мушиную точку неистовый страх смерти, ее грозная тень быстро сгущается. И смотришь. Странно, с какой легкостью оставляешь насекомых так долго, бесконечно долго умирать, хотя этот шорох, внезапные содрогания и трепет крыльев докучают вам и мешают читать. Но что ж! Не подниматься же, чтобы раздавим, ногой крохотный шумный комочек ужаса, который так противно хрустнет под башмаком. От этого пачкается плиточный пол. Да, есть еще липучка-мухомор. Ее можно купить в мелочной лавке франка за два — за три, совершенные пустяки, делают ее теперь на пластике, красную и желтую, как «бомбы», она мягкая, ее легко свернуть, и она действует наверняка, но уж очень странно покупать такое

пошлое дешевое изделие. И вот мы читаем газету или перевариваем яичницу, а в трех шагах от нас бьются и трепыхаются синие мухи, издыхают в чуть заметных для глаза судорогах, точно мотор на холостом ходу или сверло бормашины, которому никак не одолеть коренной зуб. Синие мухи, осы, пчелы, слепни, шмели — мрут все подряд, без разбору, а завтра придется сказать Розе, чтобы прошла с пылесосом, он поглотит надоевших маленьких мертвецов, и к десяти утра, когда солнце станет пригревать, кафельный пол будет чист и опрятен и можно будет, позевывая, бродить босиком по всему дому. И без того неизвестно, с чего начать день, не хватало еще натощак, небритому ступать по трупам.

Хотите верьте, хотите нет, но подъехали мы к Фортаньяку, остановил я машину, чтобы они на него поглядели, — и что они, по-вашему, сказали? Ни словечка не сказали и давай хохотать… у него все время вид был, извините за выражение, кислый а тут он даже слезы утирал от смеха. Больше всего их развеселили башенки, они их называли колоколенками. Вообще-то Фортаньяк построен в духе

Возрождения. Послушайте, я своим делом уже одиннадцать лет занимаюсь, мой отец был агентом по недвижимости еще до войны, и уж если я вам говорю что Фортаньяк — красивый замок, можете мне поверить на слово. Не спорю, может, этот господин из Марокко и наделал кой-каких ошибок… С кем не бывает? Но здание первый класс, я бы даже сказал величественное. А он наклонился ко мне в машине и говорит: «Мосье Фромажо, нам не нужен дом с колоколенками…» Меня, знаете, такое зло взяло! Но что ж, мой зять недаром говорит: покупатель всегда прав. С того дня и пошла потеха! Они всё твердили: «Мосье Фромажо, мы для того и приехали, давайте смотреть дома!» Я им выложил все свои козыри. Мы прочесали всю округу. Ездили даже в Пезенас, в Андюз, в Гриньян… По двести километров в день, шутка сказать! А им хоть бы что! Никакого угомону не знали!

Долгое время я им сопротивлялся. По невежеству, по бедности, суеверию и легкомыслию (привычка жить на чемоданах) я держался по-

дальше от них от всех, я даже не знал еще, как удобны чужие дома, жилища друзей, куда я понемногу научился проникать, что называется, зайцем, играя на обаянии или на любви (как в толпе проталкиваешься локтями); я пробивался в первый ряд любителей и вскоре занимал видное место (странно, что никто ни разу не усомнился в чистоте моих побуждений): я совал нос во все на свете, от окраски стен до семейных сцен. Меня занимали ковры и кровля, слуги и собаки, я ломился в двери и чувства, дрожал — как бы не выгнали! — я был верный слушатель, навязывался всем, кто хотел поговорить, но вскоре без меня уже не могли обойтись, я подбирал крохи под чужими крышами, как голодный подбирает объедки с чужих тарелок, и впрямь открыл в себе какой-то неутолимый голод — его не мог бы насытить ни один дом в отдельности. По справедливости женщины принадлежат сластолюбцам, а стены — бродягам. Но я этого еще не знал.

Да полно, вправду ли они меня пугали? Может быть, просто моя жизнь проходила вне их стен. Детство я провел среди перепуганных людей, среди женщин, которые продавали все, что могли, юность — среди насмешливых, злоязычных девчонок, — такое общество не располагало к

оседлости. Модно было жить в гостинице. И я кочевал по меблированным комнатам, втайне надеясь, что там более или менее чисто, но принято было прежде всего требовать, чтобы там было «забавно». (Одно из самых ходких словечек той поры, хотя смеялись тогда очень мало.) Выбирали жилище с названием посмешней. Вот почему я одно время жил на площади Пантеон в «Отеле великих людей» или еще в «Трианонском дворце», где была отчаянная сырость и ничто не напоминало Версаль. Довольно мрачный Трианон. На улице Принца я украдкой завел подвесной патрон для лампочки; вечерами я подключал его к свече маленькой люстры «под Людовика XVI», свисавшей с потолка; протягивал провод длиной в два метра, выдвигал стол на середину комнаты, включал сильную лампу (уходя из дому, я прятал ее под стопкой белья) — и при помощи всех этих ухищрений мог работать и читать; провод уродовал люстру, щекотал мне лоб, и я становился похож на жительницу меблирашек, что сама на скорую руку гладит тонкое белье — непременную принадлежность ее малопочтенного ремесла.

Иногда Женевьева меж двумя взрывами смеха — потешаясь над своим глупым мужем, она хохочет, как девчонка, — восклицает:

— Да в Париже нет такого места, где ты не жил! Когда ты успел? Сколько тебе лет?

Сама Женевьева знала только один дом — внушительный особняк на улице Жорж-Мандель, построенный еще ее дедом. Там я и увидал ее впервые. Моя бродячая жизнь ее изумляет. «За десять лет твоего детства улицу трижды переименовали, но вы — вы не сдвинулись ни на шаг. Вот что значит семья: вы так прочно пустили корни в одном месте, названия улицы оказались куда менее долговечными. Выдержать беглый огонь войн и революции, предназначенный для других, — и не дрогнуть, не сбежать». Как они были хороши, юные аристократки из района Пасси, на своих велосипедах, в туфлях на грубой тол стой подошве, летом 1944-го…

— Ну же, постарайся вспомнить, я хочу, чтобы ты мне назвал все-все дома, где ты жил в Париже, да по порядку!

Короче говоря, из стана бродяг в стан людей оседлых я переметнулся с того дня, когда оказалось, что я сыт по горло оплеухами и залатанными чемоданами. С того дня. когда у меня пропала охота свергать Франко. Скажем для ясности так — с того дня, когда мне стало наплевать на Франко: пусть его состарится в своем углу, больше я

не стану портить ему кровь, подписывая всякие заявления и обращения. Со дня, когда мои милые мятежницы, которые так яростно отвергали всё на свете (почти всё), мои карающие ангелы, мои милые цветущие розы показались мне довольно безобидными — грубо говоря, розами без шипов. О, пришел и их черед повзрослеть! Я и теперь изредка с ними сталкиваюсь — то в безличной прохладе аэровокзала, то у входа в дорогой отель. Теперь уже известно, с какой стороны хлеб намазан маслом. Короче говоря, в один прекрасный день мне надоело разыгрывать вояку, храброго только на словах. Меня занимают предметы серьезные: законы нашего синтаксиса, рост плодовых деревьев. На горизонте этих просторов, где произрастают проза и яблони, вздымались стены домов. Надо было наконец подойти и заглянуть внутрь.

— Был дом на улице Драгун, в глубине двора, за узким проходом — «совсем как у Бальзака», говорили эти дурочки. Была каморка прислуги в доме на улице Турнфор, постройки 1930 года, там донимала жара, зато вид был превосходный; к несчастью, я забыл в стенном шкафу таблетки от кашля, и на целый месяц мое жилище пропахло камфорой. Был дворец на площади Вобан, там

я жил в комнате, обитой пробковым дубом, и книжные полки прогибались под тяжестью Британской энциклопедии, но ванную приходилось делить с заклятыми врагами мыла, и жадные глаза подсматривали за моими любовными похождениями. И еще безымянные и бесцветные жилища на улице Даниэль-Лесюер, на улице Фоссэ-Сен-Жак, на авеню Латур-Мобур. И еще…

— Постой, ради бога! У меня голова кругом идет. Оказывается, я вышла замуж за психа с комплексом непостоянства и непоседливости, за бродягу…

Женевьева обнимает меня взглядом насмешницы и лакомки. Я — пирог по ее вкусу. Она ест меня не спеша, ломтик за ломтиком, и порой на зубах вдруг хрустнет что-нибудь редкостное, изысканное, крупица кофе или безрассудства — то горькие, то прочные, мимолетные неожиданности, что придают мужчине цену.

— Довольно воспоминаний. Мосье Андре сейчас сказал мне, что в голубой комнате протекает потолок. Наверно, та буря в четверг разворотила черепицу. Ты бы полез посмотрел. Да, и еще, чуть не забыла, он говорит, что видел в погребе мышиный помет и слышал ночью, как они бегают на чердаке… Представляешь, какой переполох!

Постарайся его успокоить. А я куплю мышья…

— Нет, нет! Прошу тебя, Женевьева, не говори этого слова.

* * *

Они появились в Антверпене, в Лондоне, в Роттердаме, в Гамбурге. Говорили, что они огромные, очень умные, прожорливые и действуют все заодно. Они разгадывали и сводили на нет наши уловки. Без вреда для себя глотали отраву. Они кишмя кишели, они шли в наступление. Страх объял ученых, которые не знали, что еще изобрести, и докеров, у которых они отнимали кусок хлеба. Это — новое третье сословие. Крыс уже стало больше, чем нас. Они еще не требуют настоящего дележа. Точно негры и китайцы в старину, они довольствуются трущобами, трюмами, водами, где плавают трупы и гнилые плоды (в них с криком погружается нищий ребенок), канатами, что поднимаются к носу корабля, забытым людьми пространством меж балками и полом. Там у них идет своя жизнь, и скоро ее шумы обступят нас со всех сторон, потревожат нас в день первого причастия и в ночь любви. Обо всем этом говорят «Фигаро» и «Комба», Сопротивление и Революция, серьезные люди и

статистика, врачебная наука, чума и пожирание трупов: нас подстерегает Крыса. Завтрашний день принадлежит крысам. (А быть может, травам или мухам, стоит почитать фантастические романы…) Они завладеют нашей Землей. Это не пустяк: гибель рода людского, крушение папства и Нобелевских премий, племя Авраамово победят длиннохвостые и остромордые наши преемники, что вылезут из расщелин мостовой — вон оттуда, смотрите, из дыры, куда вор швыряет выпотрошенный кошелек. Отчего бы нашему концу и не стать началом чего-то другого, безудержным разрастанием другого, иначе говоря, событием. Торжеством Жизни. Человек ли, крыса ли — с точки зрения вечности разница невелика. И если крыса — та самая, что издавала солдатам четырнадцатого года вздремнуть в окопах, а теперь в трущобах не упустит случая загрызть грудного младенца, — если она вам не по душе, выйдите в сад и поднимите камень: вот перед вами сырое и темное царство иных гуннов, иных воинов или пожирателей. Они тоже множатся и набирают силу. Пользуйтесь передышкой, у вас не так уж много времени. Вы еще можете перечитывать моралистов, а *тех* подставить жгучим солнечным лучам, по своей прихоти разрушить их общину

каблуком. Пользуйтесь, вам недолго осталось. Завтра они станут резвиться на вашем черепе и пересказывать друг другу ваши воспоминания.

Как вспомню о Фортаньяке… Я тогда себе сказал: вот повезло, у меня как раз было кое-что в запасе. Я только что закончил несколько неплохих дел и подумал — это очень кстати. Мы уговорились назавтра встретиться. Супруга мне подсказывает — ты им покажи ту махину за Вильвьей. Дом, учтите, занятный, но у меня-то было на уме другое. Я забрал себе в голову, что тут можно сорвать большой куш, какие в наших местах редкость. Видно, это какие-нибудь киноактеры или, может, художники. Деньги девать некуда. Решил прощупать почву — чем я рискую? Ну и не стал объяснять, куда и что, а без лишних слов повез их в Фортаньяк — знаете, нет? Родовое поместье, владельцы были люди знатные, но под конец пришлось им продать его приезжим из Марокко, эти разводили виноград. Дело было в девятьсот пятьдесят пятом, мосье, в ту пору чудаки распро-

давали все подряд. А эти оказались уж до того напористые! Стоит поглядеть, что они сделали из этого замка. Везде ванные, плавательный бассейн, в парке дождевальная установка — они прямо помешались на воде. В главной зале везде марокканские ковры, бар, пуфики — есть на что поглядеть. У прежних владельцев перед замком разрослась целая чаща, этакие кривые сосны, как дунет мистраль, так тебе того гляди и одежу и рожу в клочья порвет. А новый нанял бульдозер, ораву каких-то каторжников — откуда их только понабрали! — и хоп! — в неделю ему все расчистили, открылся шикарный вид. Но у его жены был рак. И он решил обратить эту недвижимость в наличные. Не то чтобы с легким сердцем, можете мне поверить, ведь сколько трудов на все это положили. Но, конечно, это был лакомый кусок. Я туда уже возил одну пару: англичане, он ученый, вышел на покой, а дама его знала наши края еще получше меня, да только они никак не могли столковаться. Ну, я и сказал себе: «Дружок мой Фромажо, эта работенка

нам с тобой не по плечу. Ты только на то и годен, чтоб весь век посредничать по мелким участкам, по ссудам земельного банка да виноградникам с носовой платок величиной…»

Желание процарапать покровы и заглянуть поглубже. Не утруждайте себя: под мясом скрываются кости. А внутри — костный мозг и маленькие хрупкие черепа, плотные оболочки сухожилий. В общем, это должно бы успокаивать — прочность, твердость камня, взаимозаменяемые достоверности под зыбкой, точно студень, плотью. Увы, и у этой системы есть уязвимые места: хрящи, что соединяют костяк, и разменная мелочь плюсен, запястий и отверстий. Больше всего тревожат отверстия. Мы дырявые мешки. Совсем как дома: изрешечены окнами, пронизаны трубами. И при этом вы чувствуете себя в безопасности? Хорошо бы стать замкнутым наглухо, как яйцо в скорлупе, без единой дырочки в булавочный укол, через которую тебя могут высосать. А вместо этого столько всякой канители: глаза бессмысленные, как медузы; канализация, проникающая до самых внутренностей, мочевой пузырь, легкие; непорочные половые органы ушей (но и в

них проникает зараза) и органы женские, легко сказать! Мерзкая пуповина, которую врач выворачивает наизнанку, точно прачка — носок; рот, из которого пахнет и который только на то и годен, чтоб сунуть в него дуло пистолета. Мы умираем оттого, что мы дырявые. Бесплодная известковая почва, источенная гнилыми ручьями. И есть еще воители, которые в упор расстреливают побежденных из автоматов; которые занимаются любовью, сжигая женщин и девушек огнеметами. После разгрома остаются трупы с начинкой из пуль и огня. Сила воображения! Всегда можно придумать что-нибудь новенькое. Так что от костей толку мало. Мнимая безопасность, линия Мажино в нашем теле, фундамент, опорные стены, балки здания, которое неотвратимо разрушается. Любая беда настигает нас через наше тело. Разве только один череп может служить вечно, если его прокипятить со щепоткой соды, как следует отбелить и отскоблить. Его можно продать антиквару.

* * *

Молодой выдумщик краснеет, бледнеет, путается в объяснениях. Сзади в его таратайке плесневеет в луже свернутый комом резиновый

плащ. Лужа в машине — такое не часто встретишь. На заднем сиденье громоздится пустой бидон из-под бензина фирмы «Шелл», сапоги, какие-то тряпки — куча хлама, так что Женевьева еле примащивается с края. И вот мы колесим узкими каменисты ми дорогами по округам Сен-Реми, Сен-Максимен, Опс, Драгиньян. Куда вздумается, туда и едем. По вечерам возвращаемся без сил. Когда машина останавливается на бульваре Мирабо, мы ведем молодого человека в бар отеля. Иногда он ненадолго исчезает — бежит в свое агентство и приносит оттуда фотографии домов, куда повезет нас завтра. Пальцами, натруженными от вечной возни с неподатливыми засовами и щеколдами, он меж двух глотков тычет в какой-нибудь генуэзский портик или арку, в укос стены, как он выражается, или рощицу кипарисов. Он так и сыплет словами, обещает с три короба. За вином мы забываем, какие ухабистые здесь дороги и как коченеют руки на ветру. Мы верим всему — генуэзским портикам, кипарисам, у Женевьевы весело блестят глаза. Назавтра мы выезжаем спозаранку, на коленях у нас развернутая карта, мы курим сигарету за сигаретой. А в Париже теряют терпение. Не понимают, чего ради нас в ноябре понесло в Прованс, почему я

не отвечаю на письма. Должно быть, они говорят друг другу: «Ну вот! Опять начинается?..»

Мы без конца петляем, одолеваем крутые подъемы, пересекаем прокаленные за лето пустыри, деревушки, где окна в домах наглухо закрыты от солнца и ветра, предместья, где грохочут грузовики, объезжаем парки, минуя которые наш молодой человек небрежно упоминает громкие имена в сочетании с титулами или миллиардами; на миг в просвете меж двумя стенами деревьев мелькнет далекое небо, изъеденное проказой дыма и фабричных труб… А потом оказываешься обычно перед железной оградой, нужно долго лупить ногой в ворота, пока они откроются, за ними арка, обшитая прогнившими досками, скрепленными листовым железом; а дальше колючие кусты, непролазные заросли, каменные осыпи. Тогда молодой человек спешит привлечь внимание Женевьевы к какому-нибудь карнизу или узорной железной решетке. Он словно движением руки подхватывает наши взгляды, прикованные к трещинам в стенах, и бросает их на открывшийся вид. Молодой человек разрывается на части: впопыхах он силится убрать все преграды, что мешают нам перейти от разочарования к блаженству, — отворяет двери, с треском

распахивает ставни и в то же время трещит без умолку, соблазняет, искушает, старается заговорить нам зубы.

Внутри всегда охватывает одно и то же чувство: словно заболеваешь. В доме, который продается, тебя знобит. Закуриваешь сигарету, жалеешь, что не захватил шляпу. Из расщелин меж разбитыми кафельными плитками непрестанно поднимается пыль и тотчас покрывает обувь и брюки. Сперва безотчетно проводишь пальцем по изгибам резьбы на стенах, по успокаивающей шероховатости камня — надо же хоть чему-то порадоваться. Потом приходит второе дыхание. Я слышу свой голос — точно заведенный, по старой-престарой привычке я что-то говорю, ноги и губы у меня застыли, я заставляю себя обживать этот дом. Слышу, как язык мой выговаривает: *гостиная, столовая.* Обещаю снести перегородки. Заделываю окна, выходящие на север, выравниваю в этом хлеву пол, заново штукатурю облупившиеся стены, промазываю, скоблю, крашу, белю, надстраиваю, расчищаю. Я совершаю открытие. Обаяние и красота, дух семьи и домашнего очага, давние обычаи — все это расцветает пышным цветом в моих невнятных, но пылких посулах; возвращаются на свои

места старинные кованые решетки, которые я разыскиваю в лавке древностей; мне самоотверженно помогают любящие друзья; у конюшни появляется простая, но солидная и удобная пристройка, здесь будет мой рабочий кабинет, здесь я наконец-то завершу свой труд, который вот уже два года никак не сдвинется с места; рукой, посиневшей от холода, я разрубаю пространство на части, благословляю дальние дали, ласкаю изгибы воображаемых линий, а молодой человек, который за эти несколько дней еще не освоился с моими душевными судорогами, оторопело смотрит на меня. Вошел я в этот дом нехотя, продрогший, злой и недоверчивый, а выхожу из него исполненный восторга и решимости; я уже преобразил его согласно всем моим прихотям, непостижимым образом я завладел им, ибо во мне сидит какой-то бес обладания — и Женевьева, которая все это выучила наизусть, нянчится с ним и усмиряет его, словно недуг, бережно, исподволь, осторожно подбирая слова.

И снова надо залезать в эту малосильную тарантайку, дышать вонью затхлой берлоги и окурков, слушать скрежет в коробке скоростей; молодой человек, ошарашенный, но покорный судьбе, молча ведет машину, а я прощально, горестно

оглядываюсь на облезлую въездную арку (гвозди повыпадали, деревянная обшивка топорщится, на просевшую двускатную крышу, на стену ограды с изъеденным хребтом, за которой сверкают листвою одичавшие лавры; прощальным горестным взглядом касаюсь этого дома, мне никогда им не владеть, но так уж странно устроена моя память, что стиль этого здания, его расположение, облик, его неповторимые черты, угадавшиеся обрывки его прошлого врезаются в нее неизгладимо, навсегда.

Когда машина, в которой холод пробирает теперь еще злее, на обратном пути минует все петли, подъемы, деревни, предместья и з**а**мки, а небо по-вечернему отвердеет и застынет, самое лучшее — остановиться у первого попавшегося кафе и спросить спиртного. По домам, с которыми свел случайное знакомство, траур недолог. Их открываешь, проходишь из конца в конец, завладеваешь ими, опустошаешь их, преображаешь — всё в считанные минуты, — но утрата их тяжка. И надо их позабыть, как зарываешь родных в землю: неловко, смущенно, со стаканом в руке. Сколько мне вспоминается кабачков! В этих залах всё — словно назавтра после разгрома или стихийного бедствия: полы липкие, у сте-

ны порой торчит телевизор, потолок закопчен дочерна, с него свисают ядовито-желтые листы мухомора, старик хозяин или его сноха переставляют за стойкой десяток бутылок и не спускают с тебя глаз. Смеха почти не слышно. Здешние жители народ хмурый и недоверчивый. Мы с Женевьевой и наш молодой человек (или другой ему подобный, не все ли равно) стоя пьем ликер или анисовую, и скоро мне ударяет в голову настолько, что я уже могу войти в новую роль, начинаю острить, утешаю мальчишку, который таскает нас от одних развалин к другим, подбадриваю его, забываю, что еще один день прошел, не принеся мне желанного облегчения, пристанища, где я мог бы наконец передохнуть, — напротив, осенний час обманул меня, я едва не принял подделку за свершение заветной мечты. И вновь я жду. И все думаю: мы еще встретимся…

* * *

Да, именно так: я маюсь домами. Как другие маются зубами или поясницей. Бывали у меня дома ужасно чувствительные, они ныли от малейшего излишества. Например, от избытка любви или дружбы, что излились на меня чересчур щедро, а затем все кончено, чемоданы мои упакованы,

и дверь за мной захлопнулась: тут мои мученья стоили тысячи смертей. Для некоторых любовь — странствие, для меня же оседлость. Любовь — мое жилище. Вы знаете мою склонность к переездам… Мне случалось упускать дома, как под старость мужчины упускают женщин. Мало того, что тебе открыт сад и постлана постель, нужно еще немного музыки. В памяти моей звучат фальшивые ноты. И еще симфонии, романсы. Иначе говоря, имена. Имена деревушек, памятных уголком, лесов, перекрестков; путеводитель Мишлен — поэма, которой хмелен наш край, а во всем этом разместились лица, куски жизни или ночи, пора, когда укореняешься, как говорят о деревьях садоводы, или — так принято в наши дни — всего лишь несколько сладостных, но отдающих горечью часов, когда тела опустошены и души немы, и все же навек останется врезано (где? В каком податливом камне? В каком многотерпеливом органе?) воспоминание о том, как она смеялась, о движении руки, которым она (а быть может, другая) гасила лампу.

Все эти дома, наверно, стоят и поныне; вечные, загадочные, они уносят в недвижное странствие груз прошлого, груз рождений и недугов. Не берусь утверждать, что и я наложил на них

неизгладимую печать, обрел над ни ми власть, какие-либо права, я ведь так спешил. Другие жили там и там умрут, я же только второпях прошел по комнатам и садам, и, однако, не кому-то другому, а мне, у которого хватит и слов и бесстыдства, выпало на долю о них рассказать. Я летописец домов. Я лелею и прославляю память о домах, и это моя исповедь, но я поведаю еще и о другом, что больше и лучше меня: в Лоссане я хочу восстановить некий порядок вещей, обреченный на гибель, сохранить его и удержать для моих близких, пока хватит у меня сил и воображения, чтобы верить в могущество этого порядка.

Дома причиняли мне боль просто потому, что какая-то часть моего существа гнушается разрушением и не приемлет его. Но, между нами говоря, не проиграна ли заранее моя игра?

> Скажу по чести, им это дело нравилось. Ни разу пощады не запросили! А я ведь знаю, каково это, когда протащишься за тридевять земель, чтобы полюбоваться на такой сарай, что клиенты еле-еле согласятся переступить порог, а возвращаешься на ночь глядя, и начинается дождь, и у дамочки замерзли ноги… Настроение

тогда в машине такое, что тебя прямо холодом обдает. А с этими ничуть не бывало Еще попросят меня остановиться у обочины и глянут напоследок — все-таки, мол, красивый дом. Я стал примечать, что им больше по вкусу строгий стиль. Мадам Фромажо, супруга моя, их как-то увидала и давай уверять, что они выступают по телевидению. Только я ведь тоже телевизор смотрю, а их физиономии мне что-то незнакомы. На второй день я подумал, может, им подойдет шикарная вилла, ее выстроил себе один нотариус да сразу и номер. Этакий сверхмодерн, но в провансальском стиле, и прямо перед входом два высоченных кедра, а они обожают деревья… Так нет же, им и это оказалось не по нраву. Ну и стали снова здорово смотреть сельские дома, самые что ни на есть сельские: овчарни, мельницы, питомники шелковичных червей. Если подняться на Севенны, в округе Ардеш, можно отыскать настоящие крепости. Обыкновенных клиентов я ни за что бы не посмел туда везти. А эти вроде заинтересовались. Но всегда окажется

что-нибудь да не так. Им все подавай что подревнее да поогромнее. А если дом крыт фабричной черепицей, штукатурка свеженькая, все зацементировано, выбелено, тут они злятся, вернее сказать, приходят в отчаяние, чуть не стонут в машине! Иной деревенский житель показывает, как он обновил свой дом, и прямо раздувается от гордости — видели бы вы, как они посылали его куда подальше! Да превежливо! Таких вежливых больше свет не видал, можете мне поверить. Пригласят к завтраку, выставят бутылочку, и он всегда мне предлагал свою машину. Да ведь эти машины знаете какие, тормозят сами собой, скорость двойная, прямо оторопь берет. И потом дороги попадаются всякие, а он как услышит, что по его драгоценному кожуху барабанят камешки, ему уже охота поворачивать обратно. Понемногу узнаёшь друг друга, сами понимаете: дней пять или шесть ездишь вместе на розыски, и потолкуешь, и пошутишь. Больше с нею, она препотешная!

Откровенно говоря, неизгладимей всего мне запомнилась поперечная пила. Знаете ли вы, что такое поперечная пила? Приспособление для разделки древесных стволов, инструмент сверхсовременный, его поят бензином и запускают, дернув за шнур, как лодочный мотор. С виду она похожа на оружие, на огромный автомат, и ее назначение — убивать деревья.

Поперечная пила воет. Точь-в-точь затравленный зверь, сбесившаяся сирена, пущенный на полную мощность мотор, жернов: отчаянная жалоба все нарастает и становится оглушительной в тот миг, как зубья впиваются в кору. Можно подумать, что держишь в руках отбойный молоток, которому не хватает гудрона и мостовых, и всю его механическую ярость надо обратить на дерево; выставляешь ногу вперед для упора, налегаешь всем телом, и во всем теле отдается резкая дрожь. Понемногу вопль машины словно тонет в сердцевине ствола, вязнет, гаснет, обращается в глухое нутряное урчание, и вскоре лезвие замирает в глубине раны. Тогда надо извлечь его оттуда, отступить, растереть занемевшие руки, сведенные как в чудовищном столбняке, и вновь запустить мотор, прибавить ему мощности, иными словами, дать еще несравнимо больше

воли этому нестерпимому вою, прежде чем снова погрузить все это — вопль, лезвие, исступление — в самые сокровенные глубины, где замкнута юность дерева.

Когда работает поперечная пила, собаки спасаются бегством, обезумев, точно от колокольного звона или от свистков, — несомненно, их уши ранит этот скрежет, перед которым любой другой шум все равно что карманный фонарик перед солнцем. Дети зажимают уши. Даже крестьяне с дальних полей бросают взгляд в ту сторону, где с таким шумом совершается убийство дерева.

Мы приехали под дождем. Уже целую неделю мы мотались по югу Франции, осматривали полуразрушенные хутора, жилища отставных полковников, замки, башни, мельницы в окрестных болотах. Сердца наши разбухли, точно губки, совсем как здешняя почва. Я пропустил мимо ушей название этой деревни, уже которой по счету; мы подъезжали к ней, и мосье Фромажо расхваливал ее за то, что здесь будто бы ничуть не сыро. Две улочки этой деревушки, кафе, часовня (или, может быть, храм?) — все казалось каким-то ненастоящим и вместе знакомым: словно все это уже видено, уже когда-то было… Мы объездили столько новых мест, что уже начали привыкать к

этому смутному чувству. И, наконец-то, вот оно!

Мы обогнули площадь, и перед нами предстал Лос сан — громадина, живописная неразбериха стен и крыш, острых углов, откосов, граней, вся в печальных розовато-серых тонах, не дом, почти крепость — контрфорсы напряглись, словно готовясь выдержать осаду, скупо прорезаны узкие амбразуры окон, и все это под проливным дождем, окутанное паром, что поднимался от нагретой земли. Трое или четверо мужчин хлопотали посреди улицы, стараясь оттащить только что сваленное дерево и освободить проезд. У подножия стены выступал из асфальта пень, золотисто-смуглый, точно живая плоть. Падая, дерево надломилось. Все вокруг усеяли сучья и мелкие веточки. Опилки уже смешались с водой и грязью, и эта жижа стекала по канавке вдоль мостовой.

Наш проводник заговорил с этими людьми, стал спрашивать о ключах, а мы, задрав головы, разглядывали Лоссан. Надо было обогнуть его и проехать под аркой, только тогда открывалось обращенное ко двору и дружной гурьбе деревьев — его украшению — приветливое лицо дома. С этой стороны крепость встречала вас улыбкой. Наперекор грязи и запустению в этих стенах, в

линиях сводов и арок, в очертаниях лестницы чувствовалось старомодное горделивое изящество. Мы вошли.

Неважно, как оно тогда было. Речь не о том. Кажется, я уже позабыл, как выглядел Лоссан в тот первый день. Вернее, каким он нам показался, что мы увидели в нем или не увидели при той поспешности, с какой мгновенно влюбляешься в дом. Помню одно: у меня не было ни малейшего желания что-то снести, а что-то надстроить, и мы не стали прикидывать, где у нас будет спальня, а где столовая. Этот дом надо было принять, как он есть, или сразу от него отказаться. Разумеется, он был слишком велик для нас: избыток тени, непомерный размах, исполненное благородства грандиозное обветшание, которому еще не предвиделось конца, — но кое-где сохранились и следы жизни: торчали огромные крюки, что поддерживали когда-то зеркала или портреты предков; свисали по стенам клочья обоев, позеленевшие, в черных разводах, а с изнанки еще можно было разглядеть изъеденные сыростью газеты, которые сообщали о передвижениях кораблей в Марсельской гавани в лето от рождества Христова 1847-е…

Внезапно с улицы, пронизав даже эти толстые

стены, донесся истошный, раздирающий вой пилы. Женевьева в отчаянии зажала уши ладонями. Вой становился все пронзительней, достиг, кажется, немыслимой, предельной для звука высоты, потом захлебнулся в неистовом бешенстве распиловки. Фромажо распахнул окно — и вопль этот, вновь нарастая, атаковал нас в лоб.

— Да они с ума сошли! Просто с ума сошли! — невольно вскрикнула Женевьева.

Мы прошли коридор из конца в конец и оказались на галерее, довольно высоко над улицей. Внизу уже начали отпиливать самые толстые сучья. Рядом с нашей машиной остановился полицейский автомобиль: видно, жандармы требовали от пильщиков, чтобы те поскорей очистили дорогу. Опилки летели им в глаза. Дождь перестал, из соседних домишек высыпали жители поселка: одни помогали удерживать ветвь, на которую набрасывалась пила, другие в раздумье прислушивались к стонам дерева. На минуту стало тише, мы перевели дух.

— Это вяз, — сказал мосье Фромажо.

Уже назавтра мы снова приехали сюда одни, полные подозрений. Ветер затеял поход туч на восток, они шли весело, и движение это отражалось на земле быстролетной сменой света и

тени. Детвора была в школе, деревня пуста. О вчерашней расправе напоминала только груда поленьев да опилки среди луж. Мы свернули и пошли пешком.

Дом выдержал испытание. Волшебство не рассеялось. Солнце смягчало угловатые очертания этой каменной громадины: дом казался чуть менее высоким, чуть менее суровым. И, однако, в глубине души — может быть, потому, что вновь настала хорошая погода, — мы оробели больше вчерашнего. Приступы моей лихорадки не поддаются ураганам, но готовы уступить солнцу. Женевьева качала головой. Щелкала фотоаппаратом и опять качала головой. Нас можно было принять за американских туристов.

Через несколько дней, осмотрев с десяток лачуг между Роной и Пиренеями и совершенно вымотавшись, мы вернулись в Лоссан. Мы хотели окончательно все выяснить. И только совсем запутались. Уже ни о чем не могли судить здраво. Я подписал бумагу, которая, в сущности, мало что решала. Мы возвратились в Париж, и там наши восторги вызвали град насмешек. Проявили снимки, и дом предстал на них во всей красе. Этот мошенник «кодак», слепой ко всему серому и грубому, запечатлел лишь золотые и охряные

краски Лоссана на фоне яркой синевы, которую пересекала белая вереница облаков. Мы снова сели в поезд и субботним утром очутились в конторе нотариуса.

В кабинете у этого законника жара стояла, как в парильне. Волос у него было куда больше на пиджаке, чем на голове. Он обратил к нам сверкающую лысину и принялся бормотать текст, который он именовал соглашением. Слово это не сулило добра. Я обливался потом и поминутно утирался, как будто этот плешивый тип читал мой смертный приговор. Женевьеве явно было не по себе. Она первая возразила против какой-то мелочи, которую раздула прямо на глазах. Нотариус поглядел на нее поверх очков с двойными стеклами; у этого человека было три способа смотреть на вещи. Вдруг возникла уйма осложнений. И столь серьезных, что надо будет советоваться с госпожой Блебёф, с архитектором, с банком, с целым светом… Мы перепугались. В таких делах не следует долго раздумывать. Я почувствовал это по удвоенной любезности нотариуса, словно он заранее решил, что мы люди уж чересчур осторожные. Мои переменчивые настроения оказались тут не к месту. Мы простились.

Обедали мы рассеянно, не замечая вкуса, а

гарское вино навело на нас тоску, и вечером мы свернули с дороги в город, где собирались переночевать, и опять покатили в Лоссан. Была уже полночь, холодно светила луна. Деревушка словно вымерла. Черно, ни огонька, горят лишь четыре уличных фонаря. Лоссан смотрел незрячими окнами, он спал тем непробудным сном, каким спала наша земля до появления человека.

В этот час невозможно было ни бродить вокруг, ни восторгаться лунным светом: собаки еще кое-как выносят американских туристов, но поднимают лай, заслышав пешеходов. С разных сторон уже доносилось приглушенное рычание. А я терпеть не могу, проезжая по деревне, будоражить собак. Мы поспешно пустились в обратный путь, за первые полчаса не обменялись ни словом, но, несмотря ни на что, увезли в себе запечатленный так же прочно, как на тех цветных снимках, строгий облик: дом, застывший в безмолвии, холодный и голубой от луны.

За две недели до рождества мы купили Лоссан.

Меня, видите ли, смущало одно: маленькая мадам Рош мне сказала — они, мол, с моим мужем друзья детства... А я никак не пойму, ну что общего между

Рошем и моими клиентами. Ну и вот, на третий вечер возвращались мы из Сен-Жан-дю-Гар, я и спросил его напрямик. Стало быть, спрашиваю, вы с мосье Рошем старые приятели? — Да, отвечает, мы вместе учились в Париже, в лицее, во время войны. Я каждое лето сюда приезжал, «помощь сельскому хозяйству», так это называлось, вы-то этого не знаете, вы слишком молоды… Так что маленькая мадам Рош сказала правду. С чего я ей не поверил? Да трудно сказать, уж больно они во всем разные. Рош такой, знаете, толстый, добродушный, веселый, никто про него худого слова не скажет. Даже не верится, неужто он двадцать пять лет назад учился в лицее вместе с таким типом: не угодно ли, над колоколенками этот господин хохочет как сумасшедший, а жестянку свою водит с таким видом, будто невесть о чем замечтался. Хотя, как раз поглядев на его кабриолет, я и надумал свезти их в Лоссан. Я про все это рассказывал зятю, он автомобили терпеть не может, ну и слово за слово зашла речь о Старом доме, он у них там в деревне

продавался, а зять и не подумал меня предупредить… хотя, конечно, эдакая махина, и при ней ни клочка земли, даже не поймешь, кому такое понадобится!.. Вот именно… Ну и раз вы про это спрашиваете, так оно и получилось… Чего мы только не осматривали, в воскресенье средь бела дня даже ломились в какую-то заброшенную лачугу посреди пустоши! А на шестой день, да в такой ливень, что страшно из машины нос высунуть, взяли и покатили в Лоссан. Зять мой велел принести ключи от дома. Ох, и лило же! Важные покупатели непременно заявляются в самую непогоду, когда мистраль, или гроза, или серость беспросветная… И тогда поди докажи, что места эти солнечные и от ветра укрыты, так тебе и поверили!

Допустим, я скажу вам, что имение это составляют шесть построек с горделивыми стенами, но с уютными кровлями; что, пройдя под аркой, попадаешь во внутренний двор, замкнутый и неприступный, точно крепость; во двор этот выходит и крытая галерея, которую поддержи-

вают четыре аркады, и множество окон разной величины, и резные двери искуснейшей работы, и овчарня, и рига, и всевозможные службы, и открытая лестница; допустим, я скажу вам, что здесь две башни: одна — круглая, полуразрушенная — служила некогда голубятней, другая — тяжелая, квадратная — воздвигнута была ради одного тщеславия; допустим, я опишу сводчатые потолки нижнего этажа, камины, мощенный грубыми плитами пол, дверные проемы, такие низкие, что мне всякий раз приходится наклонять голову, три просторные, высокие комнаты второго этажа, выступ единственного балкона, широчайшую лестницу с каменной балюстрадой… Но что же вы узнаете об этом доме? Его называют Дом Лоссан, а иногда в деревне, к которой примыкают две его стороны, — Старый дом. Ну и что же? Что узнаете вы о том часе, когда в медовом свете утра еще тянутся косые тени? Что узнаете вы о ярости, которая овладевает пленённым во дворе ветром? О жестокости багряных зимних вечеров?

О хрупких магнолиях, лаврах, соснах в саду? О том, как отдается эхо в лестничной клетке, вторя нашим голосам? О мгновеньях в ночи, когда меж двумя вскриками ветра ночь и тишину населяет

невнятное бормотание сквозь сон, и хлопанье дверей, и оскорбления, что тени бросают теням, и слышно, как то здесь, то там скулят, отзываясь друг другу, псы, для которых эти ночные хозяева не умеют найти успокоительное слово? Что узнаете вы об этом доме? Вот я его описываю — и что же? В конце концов почему бы и не так… Не две башни, а четыре, терраса, пологая лужайка и кедры: разве от этого хоть что-то изменилось бы? Каков бы ни был дом, драма разыгрывается внутри, и внутри шумит праздник. Фасады — просто лицемеры. Похлебка наша варится в самой глубине, в недрах домов — не туда ли, в самые недра, я вас и веду?

Да, чуть не забыл: дом расшатан временем, и, чтобы он устоял, его со всех сторон пронизывают стальные тяги, цепи, которые концами, словно обеими руками, хватаются за стены — за вмурованные в камень отрезки рельсов, угольники, крестовины, спирали. Говорят, только эти железные объятия и сохраняют дом в целости. Без них, без этого могучего обхвата, без винтов, уходящих глубоко под слой штукатурки, и болтов, что торчали когда-то на виду, а ныне покрыты цементом и ржавчиной, быть может, дом раскрылся бы настежь — спелый плод, женщина, готовая от-

даться? Точно рот человека не первой молодости, дом понемногу тяжелеет от металла. Он оправлен в металл, скреплен им, но изношенные зубы только придают блеск улыбке старика: они-то одеты в золото. Никто еще не видел, чтобы рты ржавели. Я по крайней мере о таком не слыхал. В Лоссане же на стенах кое-где проступают бурые полосы, выдавая присутствие скрытой арматуры, а заодно и ее хрупкость: механические скрепы подвержены окислению. С каждой секундой распад набирает силу. Быть может, стены уже вновь поддались стародавнему крену? Этот дом только о том и мечтает, чтобы вконец распуститься.

* * *

Нелегко мне дается сдержанность, когда я говорю о строительных работах. Вспоминаю то первое утро с мосье Ру — было холодно, Женевьева безмолвно ходила за мною следом, для чего-то явился и Фромажо да так и остался и все поглядывал на меня, но как я ликовал! Какое это великолепное чувство: наконец-то принимаешься за дело, входишь в самую суть. Все это еще живо, вот и сейчас я встрепенулся при одном воспоминании. Суть моей жизни. Ее опора и вместе несбыточная мечта. (Но не думайте, что это

самообман; я отдаю себе отчет в своей лихорадке, знаю ей меру, извлекаю из нее пользу, я склонен даже забегать вперед… Не будем спешить.)

Простые, нехитрые символы, поистине всякому понятные. Охотно на это иду, я уже все продумал. Вот о чем я еще не заговаривал, хотя по восторженному бреду, что нападал на меня во время наших поездок, можно было это предвидеть (так же, как и обратное — равнодушие, наплевательство, — почему бы и нет?): я упиваюсь тихими радостями строительных лесов. Редкими в моей жизни часами, когда я чувствую, что твердо стою на земле. Вокруг меня люди. В руках у меня (почти в руках) вещи весомые и осязаемые. И в голове тоже, но те надо еще растолковать, построить, проверить, оплатить: немало работы, и я жадно на нее набрасываюсь.

Хорошо подниматься на леса одному. Я иду туда, словно любовник на свидание (но тут надо еще подчеркнуть иные оттенки — например, подыскать нечто равноценное ощущению вины и ночной темноты, а значит, и скрытности), нет, вернее, так идет мальчишка на некое испытание храбрости, заранее воображая себе уйму подвигов и тревог. Женевьева все это поняла. Она решила (никогда я не узнаю, чего стоило ей

это решение) дать мне натешиться домом вволю, как хочу. И у меня смутное чувство (но оно прячется где-то на задворках сознания, я не желаю к нему прислушиваться), словно мне предоставили резвиться, оградив от опасностей, словно моей прихоти потакают в надежде, что это меня излечит. «Ему необходимо вновь утвердиться в реальной действительности, понимаете?» Я так ясно представляю — какой-нибудь профессор цедит свои советы, и Женевьева подхватывает их на лету. Уже года четыре, едва меня одолевает мигрень или хандра, сразу находится эскулап, который за непомерный гонорар предписывает мне «переменить обстановку» или «вновь утвердиться в реальной действительности». Я привык. В конце концов, не так уж неприятно догадываться, что тебя исподтишка придерживают на поводке. Все это пустяки, ведь зато впереди чудесная игра, и она будет длиться добрых полгода.

На лесах тебе открываются слова, движения, люди, терпение и упорство. Разница между кувалдой и молотом, между скребком и рубанком — вот что я постигаю с тихим упоением, с каким утоляешь голод или смываешь с себя грязь. Быть может, во мне бродит и поднимается, как тесто, наследие, которое оставили десять поколений

мастеровых людей? Вдали от города вновь пробуждается в моих жилах густая, медлительная кровь. Руки мои, гладкие, изнеженные руки горожанина, только на то и годные, чтобы водить пером по бумаге да ласкать женщину, покрываются мозолями. День ото дня мне лучше удается прочертить ногтем борозду на известняке или гипсе. Ладонь моя привыкает стирать селитру со стены, а глаз — различать рисунок инструмента. Слова и названия, те, что в детстве я находил под картинками в букваре, на странице, озаглавленной «дом», уже выговариваются у меня сами собой, безошибочно и кстати, и я с восторгом убеждаюсь, что они точно и ясно обозначают то или иное место, задачу, закон, словно это какой-то иной язык, независимый от нашего и куда более древний, и посредством его находит выражение подлинная жизнь, подспудная, текущая под слоем наших сплетен и грез.

Не забыть мне то первое утро! Мосье Ру надел круглую шапку вроде тех, в каких ходят русские. Женевьева ежилась в своих мехах и высоких сапожках. Фромажо дышал на застывшие пальцы. С каждым словом изо рта вырывалось облачко пара. Морозное утро было золотисто-голубое, а солнце — точно смех, точно звонкий рог. И весь

мир молод. Я оглядел Лоссан, все во мне всколыхнулось: и нежность, и вызов, надежда на хлопоты и досуг, жажда найти наконец покой и отделаться от старых страхов. Я решил начать новую жизнь.

Отчего мне так трудно говорить об этой работе? Строить — вот что всегда было главным в моих планах и пристрастиях. Я и сам воображал себя строителем, с завистью глядел на каменщиков и плотников, когда навещал друзей и даже когда проезжал мимо своей дорогой. То был инстинкт не собственности, но счастья. Куда бы ни занесла судьба, меня тянуло везде оставить свою печать. Хотелось обновить декорации для себя и для других. Завладеть каждым новым местом — хотя бы в том смысле, как завладеваешь номером в гостинице: довольно бросить на постель свой шарф, спрятать в ящик стола вышитую салфетку, прекрасно понимаешь, что это еще не дает тебе никаких прав, а все же комната словно бы становится обжитой. Да, мне хотелось, я уже честно признавался в этом, присвоить чужое прошлое, смутный привкус чужих жизней, который ощущаешь в незнакомых домах, — хотелось связать их с моей собственной судьбой, чтобы впредь комедия моего скитальчества разыгрывалась среди прочных воспоминаний, пусть даже

взятых у кого-то взаймы. Все это ясно мне (или, может быть, верней было бы сказать — прочно и самоочевидно?). И, однако, я плохо умею об этом говорить. По сути, все проще простого. Я сделан из того теста, из которого созданы старые холостяки-антиквары и вообще любители древностей. У людей этого склада вкус к стенам, как у тех, что становятся содержателями гаражей, — вкус к механике. Предки мои сплошь земледельцы и ремесленники, среди них не было ни одного мирового судьи. Вот так, проще пареной репы.

Не толкуйте вы мне про деревни. Они кончаются. Они-то кончаются, а все делают вид, будто им еще жить и жить. Уж я знаю, что говорю, все-таки это мое ремесло, ну и вот, никто больше не желает киснуть в такой богом забытой дыре. Пускай один какой-нибудь здешний житель все у себя чистит, моет, перекрашивает, старается, чтоб дом у него был как игрушечка, так на одного такого приходится двадцать, которые на все махнули рукой. Кто помоложе занимают денег и строятся. Что-что, а залезать в долги они мастера. И уж не откажутся взять

денежки под два процента. Что ж, ладно, не мне об этом горевать. Если над тобой нет хлыста, ни гроша не сбережешь. Тем более на постройку, это, как ни говорите, дело серьезное, не то что купить дрянную таратайку. Вот я мог пойти агентом в компанию «Цитрон», по департаменту Эры и Луары, они мне предлагали недурное жалованье, а я сказал — нет уж, благодарю покорно. Предпочитаю иметь дело с товаром попрочнее. Так ведь то настоящее строительство, мосье, а к нам шлют без числа пустоплясов, всяких, знаете, свободных художников — заявляется такой, с бородкой, корчит из себя важную птицу, а сам просто ничтожество, знаем мы их повадки, натерпелись! Только приехал и уже распоряжается, командует, всех судит: то можно, этого нельзя… Надо бы понимать: либо это безмозглые путаники, либо фашисты. Вот, не угодно ли, Бертуле, рыботорговец, надумал облицевать фасад тесаным камнем на старинный манер, он мне показывал чертежи — отличная работа. Так вот, ему не дали строить. Запретили— и все тут.

Им одну готику подавай. Готику и чтоб камень гладенький, шлифованный. Так что, сами понимаете, Лоссан им не по вкусу, больно корявый! Ну, эти ладно, куда ни шло, такой у них промысел. А вот его я никак не пойму — и способности у человека, и связи, ну что ему вздумалось зарыться в такой дыре? Чего ради? Хоть убейте, не понимаю… Он бы мог где хотите устроиться, сделал бы карьеру. Когда есть всякие дипломы да хоть немножко денег — ого! — тебе сам черт не брат! Вот попади я вовремя в Париж, да с моими аппетитами, уж я бы теперь был поверенным в большой, солидной фирме, а то и главным управляющим: командовал бы людьми, может, ведал бы стажировкой, обучением. Да, да, знаю. Бывает, что и противоречишь сам себе. Но, знаете, иной раз и замечтаешься. Вот бы они тут рты поразевали, если б я в один прекрасный день прикатил сюда на классной машине, да будь у меня хороший домик на западе, где-нибудь возле Версаля, там места и сейчас не испоганенные, и чтобы с хорошим участком… Глядишь через улицу, в

лучшем случае проедешь в другой конец департамента — и говоришь себе: все, дальше тебе хода нет. Кой-чего я в жизни добился. Занял недурное местечко, грех жаловаться. Но уже подрастает молодежь и смотрит на тебя такими глазами… Знаете, мосье, я прямо чувствую — вот-вот меня проглотят со всеми потрохами. А ведь я не старик и могу за себя постоять.

Мосье Ру родом с Севера. И когда не следит за собой, переходит на медлительный говор северных углекопов, и чувствуется в нем истинно фламандская уравновешенность. Ему сильно не везло во всех делах, и он остался на мели. И не перестает этому удивляться. Когда-то он работал «по части искусства», как он выражается, занимался реставрацией памятников старины. «Церкви — вот что я любил! Храмы!» Мне даже совестно, что я могу предложить ему всего-навсего Лоссан, и он так добр, что этим довольствуется. Мы понимаем друг друга с полуслова. Близость, которая рождается в труде, все равно что фронтовая дружба: нет уз прочней и надежнее. У нас с мосье Ру общие радости — холод раннего утра; перегородка, которую сносишь, если она тебе

вдруг помешала; удар молотка о камень, когда простукиваешь стену, проверяя, надежна ли она; гордость, с какой заново укрепляешь свод, который вся деревня считала обреченным. Сам я ничего в этом не смыслю, но заражаю его своей страстью: надо пытаться спасти все, что только можно, надо испробовать все, что есть прочного и стойкого. Я передаю ему ту острую, жгучую лихорадку, которой он и сам болен не меньше меня. Притом мосье Ру этим занятием зарабатывает себе кусок хлеба, я же влезаю в долги. Так что нас объединяют еще и денежные счеты, словно какая-то гангрена или общий грех. Об этом тоже нельзя забывать.

У строителей междоусобица. Ретивые и медлительные воюют друг с другом. На одного мне жалуются, что он впопыхах все портит и путает, на другого — что он только языком трепать горазд. Не сегодня-завтра на лесах вспыхнет бунт или, напротив, всё замрет. В полдень всей гурьбой отправляемся в кафе. Я ставлю выпивку. Понемногу я узнаю, чем живет каждый, какие у кого дети и какие планы на будущее, а главное, постигаю их осмотрительную философию, что высказывается за вторым или третьим стаканчиком, за приятным теплом аперитива… Каждый

разглядывает свои ладони, которые уже не отмыть от машинного масла или известки; пахнет рабочей одеждой, потом, тянет с кухни пряным запахом рагу, которое тушится на медленном огне. Совсем другая жизнь, и далекая, и близкая, быть может, обманчивая, но я сам выбрал ее или, во всяком случае, уверяю себя, что выбрал; сейчас я предпочитаю ее своей обычной жизни, от той я избавился, сбросил ее с себя, как на рассвете швыряют в канаву дорожный мешок, чтоб легче было удирать…

Сражение, которое даешь стенам и садам, по правде говоря, не борьба, а дезертирство. Но пусть это признание останется тайной.

На стройку полагается приходить с утра пораньше, одному (это я уже говорил), и одеться хоть не по-городскому, но с некоторым все же лоском. Уж если считаешь, что строить дом — праздник, естественно справлять его, не боясь некоторой торжественности. Это щегольство обречено, его хватит ненадолго. И часу не пройдет, как вымажешься в грязи, в цементе, известке, в пыли и мусоре. Ходить по стройке немалое испытание, всюду капканы, ямы, балки, мостки лесов. Горожанин (он же владелец, он же и деньги платит) с удовольствием выставляет напоказ

свою неуклюжесть, он ничуть не скрывает, что боится набить себе шишки и изорвать одежду. От слабости этой, в которой признаешься на арене своего двусмысленного могущества, лишь еще виднее становится, как почти по-матерински опекает вся стройка хозяина дома. Иногда — не часто! — чувствуешь себя хозяином в гостиной, но на стройке ты всего лишь неловкий ученик. Я знаю, строительство правит мною. И я солгал бы, если б стал уверять, будто в иные дни, когда в полдень я вновь сажусь в машину, мне неприятно чувствовать, что я его пленник; я сам все это затеял, мечтал об этом, спешил начать — и вот открываю, немножко поздно (а может быть, рановато?), что сам очутился в сетях у своей затеи.

Я надумал применить к себе возвратные глаголы, которые относят обычно к домам и постройкам. Иначе говоря, я укрепляюсь, привожусь в порядок, восстанавливаюсь, облицовываюсь заново, подвожусь под крышу, обзавожусь новыми трубами. Ну и так далее. А под всем этим скрываются неотвязные мысли о дряхлости и распаде, страх перед разрушением, сумасбродные поиски непреходящих ценностей, жажда устроиться поуютней. Суеверие. Трусишь, двуличничаешь, поджилки трясутся. И все же, как твердит Фрома-

жо, это отличная стройка. «Вот это и есть жизнь, мосье, — опять и опять бормочет он и дышит мне в лицо табачным перегаром, — это придаст вам бодрости, уж вы мне поверьте!»

Вот я вам расскажу один случай, такое только со мной приключается. Есть у меня в наших местах приятель, некто Бенист, он занимается водопроводом — фильтрами, очисткой и все такое прочее. Когда он взялся за это дело, его подняли на смех, а теперь все добиваются, чтоб и к ним эти самые трубы провели. Надо вам сказать, он действует с подходом. Заявится к людям — а он еще и красавчик, скажу я вам, и язык у него ловко подвешен! — разольет воды по пробиркам, раскроет свой чемоданчик, три капли того, десять капель сего, лаборатория, да и только! И разводит перед ними всяческую химию… Думаете, у него образование, диплом какой-нибудь? Да пусть меня повесят! Году этак в 1962-м он был то ли в Алжире, то ли в Оране, привык к автоматам — понимаете, что я хочу сказать?.. Ну да это не моя забота. А потом он переметнулся

в водяные химики, это куда лучше, чем торчать где-нибудь в глуши в Тюле или на острове Ре, верно я говорю? Очень он ловко уговаривает людей, что все кишки и сосуды у них не нынче-завтра зарастут известкой и винным камнем, станут вроде шоссе, мощеные! Он перед ними такое кино разыгрывает… Да-да, виноват, опять я отвлекаюсь. Так вот, катил мой Бенист «Мистралем» в Париж на совещание коммерческих агентов. Он работает в американской фирме, этакое новомодное предприятие, они там совсем забаловали своих служащих, представляете стиль? Ну вам, верно, случалось ездить «Мистралем». Народу битком. В вагоне-ресторане только и разговору что про разные новшества да повышения по службе… И все до того завистливые, ненасытные. Я бы просто окочурился от такой жизни: честолюбие у всех дьявольское, из-за карьеры лучшему другу глотку перегрызут, а в пятьдесят лет разрыв сердца — много ли на этом выиграешь, скажите на милость? В общем, Бенист с двумя или с тремя знакомыми поздоровался, но

обедал сам по себе. А напротив сидел тип, тоже один и явно всему посторонний. И не только потому, что с виду постарше других, ну сами понимаете, а просто ни на кого не похож. Это ведь бросается в глаза: и причесан не так, и одет не так, и усмешка недобрая, кривая, слушает вас вполуха, словом, сразу видно — плевать ему на весь свет. Он допил свою бутылку, Бенист и предложи ему стаканчик — сам-то Бенист пьет в меру, здоровье свое соблюдает, и опять же он больше по дамской части, ну ладно… И завязал он с этим типом разговор. Слово за слово, понял он, что у того в нашем краю кой-какое имение. А Лоссан он знает через моего зятя. Помянули и меня и, короче говоря, спросили шотландского виски. Бенисту, знаете, немало надо, чтоб его развезло. Но на этот раз… Прошла неделя, звонит он мне. «Слушай, — говорит, — этот твой барин что, псих, что ли?» Во-первых, пили они плошку за плошкой. Бенист уже подумывал, не пришлось бы раскошелиться франков на сорок, на пятьдесят. Когда надо завлечь девчонку, он не ску-

пится, но с попутчиком в поезде… В конце концов он живет на комиссионные, иной месяц густо, а иной и пусто. Но главное, как тот разговаривал: всё-то он высмеивал, язвил, послушать его, так всё на свете гроша ломаного не стоит — и чего сам достиг, и эти молодчики вокруг, которые разыгрывают из себя знатных деляг, и разные Миттераны и Тиксье[20], и все подряд — ничего святого не признает человек. И что моего Бениста пуще всего заело — тот и впрямь во всем разбирался, будто он вхож в самые высокие сферы. Вот мы с вами говорим — Жискар, Шарло, а на самом деле от нас все они далеко, что де Голль, что какой-нибудь Жази или Насер… А этот держался так, будто век с ними дружбу водит. И не пьян был, только глядел насмешливо. Я вам все говорю, как мне приятель рассказал… Ну, в общем, к одиннадцати часам Бенист совсем рассвирепел, а тот вроде с ним заскучал. Заплатил за выпивку и поднялся. Ну в точности как в иные вечера тут, у

**[20] Примечания: 20**
Деятели движения за мир.

меня на глазах, воображаю: встанет эдак с ленцой, а на морде написано, что ему всё до смерти надоело. Стало быть, сказал он до свидания и повернулся спиной. А Бенист остался как оплеванный. Да еще он от виски распалился. Он после мне рассказывал про тот вечер, так даже заикался от злости. Вот смех, а? Чтоб нашего Бениста эдак допечь и не где-нибудь, а в наших же краях, в вагоне-ресторане… а ведь он, знаете, в Алжире каких только типов не навидался… Да, скажу я вам, это не всякий сумеет.

Очень неудачно, что тут подвернулся именно Ахмед. Он встречает меня взглядом. У него физиономия недоверчивого барана. И при этом вид безмерно унылый. В руке он сжимает топор. Мосье Ру, быть может, из желания как-то искупить случившееся начинает метать громы и молнии. Он машет руками, точно ветряная мельница. Ахмед подобрал обрубок ствола и показывает мне: «Тут один плющ был… Одна подлость…»

Надо было подправить ограду. Сквозь нее проросла акация, и она искривилась, вспучилась и, наконец, стала разрушаться. «Первым делом

высвободи ствол, — распорядился мосье Ру. — Разберешь все вокруг, расчистишь, а там видно будет».

Ахмед вынимал из стены камень за камнем. И убедился, что главный ее враг и разрушитель не акация, которая уже захирела и была при последнем издыхании, а плющ. За добрую сотню лет он обвился вокруг ствола, пронизал дерево своими корнями, выкачивая из него соки; он душил акацию в объятиях, глушил все новыми побегами, сжимал все крепче, словно в тисках: крутыми витками, скрытыми под блестящей листвой, взбирался выше и выше, достиг верхней развилины дерева, завладел самыми большими и мощными его ветвями и развернулся здесь во всей красе — огромный, торжествующий захребетник, пышно зеленеющий даже в январские холода. Жертва его превратилась всего лишь в столб, в подпорку, в благовидный предлог для этого неугомонного буйства зелени, в союзника, который погиб ради победы плюща. Всю пору своего роста и расцвета обреченная акация отдала, чтобы укрепить исконного соперника. Теперь уже плющу выпало красоваться. Теперь уже он, который, подкрадываясь ползком, спокон веку приводил в отчаяние садовников, оказался до-

стоин уважения. Да, конечно, справедливость требовала вырвать его с корнями и попробовать спасти акацию, того же требовали и весь порядок вещей, общепринятая мера ценностей. Ведь акация, так лее как дуб и платан, бук и вяз, принадлежит к аристократам зеленого царства. Между тем плющ, вьюнок, грибы, мхи, омела, дикий виноград — это чернь парков, прожорливый бич садов и, стало быть, заслуживают лишь презрения и искоренения. Да, все так, но на сей раз плющ был прекрасен — зеленое светило, взошедшее среди иссохших ветвей, могучий кулак, громкий голос жизни, что звучал и в безмолвии зимы…

Ахмед родом из Карфагена, где море неспокойно, а деревья редкость, и ничего этого он не знал. Ахмед убедился: «…Тут одна подлость» — и в пять или шесть взмахов топора перерубил волосатые мышцы плюща, его упрямые корни, что всасывали воду и пищу. Он, Ахмед, который, разумеется, терпеть не может никаких деревьев, гордо спас акацию, помог ей победить в схватке с подлостью и жадностью. И думал, что осчастливил нас. Ведь он поднес нам в дар цветок Запада и цивилизации — той самой, что изничтожает в садах плющ и ублажает акацию.

Удрученный, с топором в руках, он стоит и смотрит на меня. Получилось совсем, совсем не то, чего он ждал (а ведь и то, чего он ждал, было ему не очень понятно).

И теперь все кажется ему еще нелепей, чем обычно: в чем же смысл его работы? Чего мы хотим? Непостижимо! Мы сердимся, а для него это все равно что речи на незнакомом языке.

— Ну что за люди! Что за люди! — твердит мосье Ру. — Они ненавидят деревья… Возьмите Северную Африку… Они там всё извели… Было время — римляне… и турки… но эти!.. Ну, Ахмед?..

> Веселого тут мало, но, скажу прямо, кой-что он делал и хорошее, по своему разумению, от души и все такое, а обернулось оно против него же. Никогда не надо людей ни в чем убеждать. Вот мы с мадам Фромажо, когда приехали в эти места, мы только поженились, тут тебе и молодость, и честолюбие, а все-таки смекнули. Потише надо. Поскромней. Для чего это нужно — гусей дразнить? Всяк по-своему жизнь понимает. Ну а он одержимый, ему хотелось все перевернуть вверх дном. А люди глядели и ждали, чем это кончится.

Страшная штука, знаете: человек воображает — я, мол, во всем прав и всех умней, я открыл истину, — а помолчать не умеет. Раз уж люди сложили руки, и пускай всё провалится в тартарары — животные, деревья, дома, — что уж с ними воевать? Надо укрыться за своим забором, мосье, закрыть ставни и никому глаза не мозолить… хотя, между нами… кто прав, кто виноват… разве тут разберешь? Поглядите хоть на политиков — речи произносят, из кожи вон лезут, а публика слушает и думает — вот, мол, раздувают из мухи слона. Ну и здесь то же самое: кто больно кипятится, того поднимают на смех.

Странно, как из-за него страдаешь, пусть это всего лишь дерево. Должно быть, в нас восстает какое-то очень сокровенное, очень изначальное чувство, нечто идущее из глубины веков. Впрочем, вздор: во глубине веков лес был человеку враг! Его надо было валить, корчевать… Люди могли жить по-настоящему только на прогалинах. Лес означал опасность, под его сенью скрывались в засаде хищные звери и подстерегал враг. Так что Ахмед, одержимый страстью все вырывать с

корнем, куда ближе к истине, чем я. Если, конечно, предположить, что истина… Это еще нужно доказать. Здешние старики, заклятые враги и погубители лесов, говорят: «Лес — подлость одна, там разбойники прячутся…», — и мы, конечно, смеемся… Но если немного поразмыслить… Были же когда-то и камизары[21], и королевские драгуны, шайки католиков и протестантов сменяли друг друга, всё предавали огню и мечу, и легенды навек сохранили память обо всех ужасах… Разгул жестокости и ответная жестокость, кровопролитная резня в дни Реставрации, бандиты и грабители… И вот являюсь я, завзятый горожанин со своими городскими прихотями, в котором, видите ли, заговорил голос предков и потянуло на травку, под ясное небо… Конечно же, они принимают меня за полоумного. Признаться, во всем, что касается солнца и тени, мы престранная компания. Сначала пошли кремы, зонты, вуали, соломенные шляпы и кисея. И в конце концов мы побледнели. А ведь когда-то лица были покрыты загаром и иссечены морщинами, которые прорезаются, когда смотришь прямо на солнце. И затем вдруг — помешательство, о котором вы уже

**[21] Примечания: 21**
Гугеноты-крестьяне, восставшие на юге Франции в начале XVIII века.

знаете. А между тем сердца наши разрываются, когда мы видим, что с какого-нибудь кустика сдирают кору. Все мы открыли для себя земные добродетели, поняли, что это такое — насаждать и растить, а значит, что такое время. Нужно много солнца для кожи и много тени для души. Ахмед с топором в руке нечувствителен к подобным тонкостям. Для него сорняк есть сорняк.

Я остаюсь наедине с тщедушной акацией — врач, приподнимающий простыню над телом давнишнего пациента, — и с обрубками искалеченного плюща. В полуметре от земли отсечены четыре могучих корневища. Без сомнения, через них-то и текли животворные соки. Вокруг этих калек — густая сеть корешков, жилок, сосудиков, до смешного тоненьких, просто не верится, что это они питали огромный зеленый шар у меня над головой. Не знаю, с чего начинается смерть плюща, но стоит на него поглядеть — и чувствуешь: он погиб. Советуюсь с мосье Ру и мосье Мартинесом, электромонтером (он считает себя знатоком по садовой части), их приговор единодушен: раненому не выжить. «Вот увидите, он пожелтеет, зачахнет...» У обоих веселая, певучая южная речь, и от этого мрачный вывод звучит еще безнадежнее.

А вдруг его можно спасти, если искусно закрыть раны? Быть может, если погрузить разрубленные корни в землю, они вновь примутся за дело? Машина как машина, нужно только снова пустить в ход насос. Но не так-то просто засунуть дерево поглубже в землю, что ж, тогда попробуем поднять вокруг него уровень почвы. Имеются Ахмед со своим мастерком, камни и раствор, так мудрено ли возвести еще одну стенку? И я велю ему поставить вокруг акации ограду. Он счастлив, что так легко отделался, не прошло и часу, а ограда готова. Насколько я понимаю, быстрота здесь залог успеха. Боюсь, если обрубки слишком долго пробудут на воздухе, они как-нибудь окислятся или загниют и погибнут. И потом я спешу схоронить следы преступления. Мне кажется, так мы обманем природу. Пока Ахмед обтесывает несколько недостающих камней, я звоню владельцу питомника. Он недавно обещал прислать мне чернозем и удобрения. «Мешок пополнее», — сказал я. «Да вам хватит на весь сад!» Знаю я их, они всегда скупятся. Точно врачи на лекарства. Я принимаю тройную дозу против того, что мне прописано, и это мне только полезно. А деревья разве не заслуживают щедрости и великодушия?

Ученый садовод доставил мне мешок черного

порошка; он смотрит, как я высыпаю все десять кило в каменный колодец, выложенный Ахмедом, и пожимает плечами. Я заполняю отверстие доверху отличной плодородной землей — «…В январе-то, мосье! В январе!..» — выливаю туда же два ведра воды, так что получается вполне аппетитная каша. Укороченная снизу, акация теперь кажется коренастой, крепкой. А раны плюща? Они ловко припрятаны. И по какой-то страусовой логике я воображаю, будто они уже наполовину залечены… Вокруг меня Кассандры мужского пола еле удерживаются от насмешек.

— Вообще-то, мосье, эта акация с плющом у вас только тень наводит, это нездорово, и вид она загораживает, все равно вам придется ее срубить, и потом в акациях сладости много, на них осы слетаются, вот у меня росли две акации, так я их выкорчевал…

Мне становится немного не по себе, я оказался в одиночестве и в дураках — неужели всё в Лоссане будет даваться так трудно и день за днем будет во мне подниматься эта горечь, ощущение, что все напрасно? Здесь работают только ради денег, нимало не верят в то, что делают, и, пожалуй, еще зубоскалят у меня за спиной. Стены, своды, кровля, деревья — все давным-давно брошено на

произвол судьбы, и вдруг являюсь я и прерываю это медленное умирание. Да по какому праву? Без меня тут прошлись бы разок бульдозером и сровняли все с землей. Разровнять, сгладить, снести, вырвать с корнем — все предлоги хороши, чтоб подстричь весь мир под одну гребенку. Главное, лишь бы ничто не выделялось и не торчало! Надо покончить с этими никчемными вертикалями. Самое приятное — сносить и разрушать.

* * *

А мой идеал, уж извините, подпорная арка, контрфорс, колонна, скрепа, опора — подбирайте любые слова, лишь бы они выражали мою страсть во что бы то ни стало помешать распаду и развалу. Так неужели надо мириться с мыслью, что людей насильно не поддержишь, люди ведь разные… Это как с целыми народами или с языками. Бесполезно всю жизнь уговаривать глухих. У меня руки опускаются от ужаса перед миром моторов и эстрадных песенок, перед всеобщей нищетой (я не о деньгах говорю) — скоро отпечаток убожества ляжет и на лица. Земля окрест уже поражена сифилисом, оглядитесь: дома, деревни — все попадает под власть уродства У души есть предместья столь же убогие, как у городов. И

спрашиваешь себя: чем вот так воевать, не лучше ли уйти в изгнание? По-вашему, это мракобесие? Разве вы не понимаете, что не о том речь? Вам не замкнуть меня в этой круговерти, в бессмысленной суете лифта или маятника: все одно и то же, между прошлым и будущим, меж движением и застоем. Всему свое время… Сбор винограда, пора ликованья и ярких красок позади, довольно уже возвращаться к извечным урокам добрых чувств Мракобесие? Нет, просто безнадежность. А если и это, по-вашему, звучит слишком громко, скажем еще скромнее, грусть. По вкусу ли вам это краткое, пронзительное слово, скрипучее, как сверчок, и такое хрупкое? А мне оно, думаете, по вкусу?

В моем просторном доме я поселю грусть.

Я верчусь в своей жизни с боку на бок, словно в постели, когда тщетно пытаешься уснуть. Поверьте, я не выбрал бы ее, вот такую жизнь, если б меня заранее спросили. Я верчусь, словно в тот час, когда отказываешься от сновидений. Если бессонница — это когда не находишь себе покоя, как же назвать того, кто не находит себе жизни? Кому достаются, точно на смех, остатки с брачком на дешевой распродаже либо тяжкое похмелье,

словно после наркотиков или выпивки? Как это назвать? Когда берешь билет, пускаясь в дальнюю дорогу, или покупаешь дом, в плату входят еще и мечты и надежды. Я тоже составил себе программу радостей. Здесь, в нашем доме, Женевьева вздохнет свободнее, а Беттина перестанет играть с нами в молчанку. Мы излечимся природой, вновь обретем прямоту и непосредственность, не так ли, тра-ля-ля, мы заново привыкнем друг к другу. Ничего, кроме жизни… напрасный труд… и город! Не надо забывать про город, мы немножко запутались, тру-ля-ля, но мы во всем разберемся, мы поможем беде, наведем порядок, сделаем все, что надо и не надо, влезем, куда не просят, вот мы какие.

Да есть ли, наконец, в этой ночи прохлада? Есть ли в ней ночной покой? Вертишься с боку на бок, вздыхаешь, притворяешься, будто понемногу начинаешь дышать ровно, сонно, и все это зря. Плющ издохнет, стены оседают и трескаются, и все вокруг только и ждут, когда я сдамся. У смерти слишком много сообщников.

Каждое утро я приезжаю в Лоссан. Когда чувствую, что за мной наблюдают, стараюсь поменьше глядеть в сторону плюща и акации; конечно, это ложный стыд. Но мне теперь и самому

неловко, что я заупрямился, бросил вызов законам садоводства. В первые дни появилось было что-то бессильное, старческое: плющ потускнел, листва его начала сухо, по-осеннему отсвечивать желтизной. Но дальше этого не пошло. А вскоре снизу, из каменного колодца, потянулась словно бы полоска более яркой зелени, как будто живая свежая волна хлынула по сплетенным в объятии стволам обоих растений и достигла нижней части огромного лиственного клубка. Сердце этого больного еще питала единственная артерия: грубое, примитивное приспособление силилось заменить сложную, хитроумную систему, которая так внезапно вышла из строя. Это еще не было исцелением, а все-таки в этой битве счастье наконец мне улыбнулось. Через две недели стало ясно, что плющ выжил, но то была двойная жизнь: зелень перемежалась желтизной, там и сям густая листва поредела. А вот в земле вокруг корней явно все воспрянуло. Мосье Ру тоже начал поглядывать вверх, на больного, не без почтительности. «Ну и крепкие же они, эти твари!» — говорил он теперь каждое утро, поглаживая ствол. Минула третья неделя, и однажды ночью мистраль избавил нас от увядших листьев: он сорвал и унес всё, что тут было иссохшего,

сморщенного, и мы увидели, что живая зелень одержала победу. Казалось даже, что заодно и акации пошел на пользу этот прилив молодости. Окончательно это подтвердится весной.

Все меня поздравляли. Чаще всего повторяли: «Я же вам говорил». Никогда еще в Лоссане у плюща не было столько друзей.

Нет, по этой части к нему не придерешься. Всегда чеком, точно день в день, и никаких споров, и говорить про это тоже не стесняется. Я так считаю, по одному этому сразу видно — человек деньгам цену знает. Ежели он умеет ответить спокойненько — мол, пятнадцатого никак не могу, а уж тридцатого — точно. Или поглядит на дом и скажет — хорош, да мне не по карману, ничего не попишешь. А не цепляется зря по пустякам, мол, и то не так, и другое неладно… Вот это я называю человек с достоинством, не то что некоторые — только пыль в глаза пускают. Так что, сами видите, строг-то я строг, а про него все говорю по справедливости. Помню, прикатил он в своем «пежо», я не удержался и спрашиваю: «А

метеор ваш где же?» А он и говорит: «Э, — говорит, — приятель, мой метеор уже на ладан дышал, он же старый, чиненый-перечиненый. А вы мне вон какую крепость продали, мосье Ру подает счет за счетом, мальчишкам вынь да положь горные лыжи, так что я и на эту диковину еле наскреб! Но, — говорит, — между нами, за мой метеор, как вы выражаетесь, мне все-таки дали четыреста тысяч франков, и на том спасибо».

Вот это, я считаю, красиво. Хоть я его в ту пору всякий день видел на стройке, а и думать не думал, что он так может сказать: мальчишкам, мол, вынь да положь горные лыжи… Вдруг он сделался вроде как свой. И назвал меня «приятель» тоже по-свойски… А меня дернула нелегкая, я ему и расскажи про одно дельце, у меня как раз наклевывалось — земля возле Ремулена, ее можно было распродавать участками по шестьсот метров. И крышка, он эдак ехидно усмехнулся и как воды в рот набрал. А какими глазами посмотрел! Он уж если хотел оскорбить, бывало, сразу глаза мутные и глядят сквозь тебя.

Не успею я умереть, как выпустят новую модель «ситроена». Едва отвернешься — и вот… Сколько времени проходит — недели? Месяцы? Что-то изменится в очертаниях — может быть, кузов станет более обтекаемый? Или фары другие? Если только не придумают что-нибудь сверхновое, и тогда уже назовут другим именем, изобретут еще какое-нибудь хитроумное сцепление, поднимут скорость, устроят багажник чемоданов на десять, не меньше, а как же иначе, мосье, жизнь продолжается. Под Парижем все насквозь пронижут туннелями. Еще дальше протянут автострады. А уж платья… Те, кто умер году в сорок пятом и притом в таком возрасте, когда еще занимает эта ерунда, не подозревали, что их возлюбленные годом позже напоминали бы собственных бабушек — помните ту моду? Стоячие воротники, юбки до пят. А я верю только в приметы или в святотатство: в то повседневное и насущное, что исчезает бесследно, в дедовское кресло — память, которую продают с торгов.

Не следует давать волю воображению, ему опасно пускаться в эту сторону вскачь. Слишком много там провалов, пожалуй, закружится голова. Впрочем, не все сплошь черно в моих предположениях, хотя на другой день после смер-

ти я стану одинаково равнодушен и к черному цвету, и к розовому. Могу, например, биться об заклад, что в глазах Беттины, моей молчальницы, я сразу вознесусь на высоты неслыханные. По лицу у нее ничего не прочтешь, но такая замкнутость обманчива. Уж наверно, на дне какого-нибудь ящика валяется моя фотография, которую она вытащит на свет божий, увеличит, вставит в рамку. И станет на нее молиться. Не завидую поклонникам Беттины, плохо им придется, когда я умру. Она сочтет, что ни один и в подметки мне не годится. Бедняги. До чего же их будет злить эта расплывчатая фотография на камине и холодное молчание девочки. «А ты сама-то читала его писанину?» Беттина разгонит всю эту желторотую шпану и кончит восторгами и упоением в постели какого-нибудь господина в летах, брюзги вроде меня, плешивого и склонного выпить лишнее. Глупая штука жизнь.

Продадут ли мои Лоссан? Сразу же, с перепугу, за бесценок? Или сначала года два будут упрямо биться и отступят с честью? «Ради детей я все сделал а, чтобы сохранить дом, и ведь Робер был так к нему привязан! Но, увы, это невозможно…»

Ох уж эта жестокость, обращенная на тех, кого больше нет! Раны, наносимые жертвам, чье тело

и душа больше не способны кровоточить, рассудительный героизм живых… Как я все это заранее ненавижу! Да, я хотел бы, чтобы все осталось, как есть, на своих местах — тут домашние туфли, там вечная ручка… Пусть мой вязаный жилет отдадут на съедение моли, пусть превратят Лоссан в музей. Музей сугубо личный, без посетителей, без смысла и цели; как бы музей в себе; все оцепенело бы там вокруг моей тени, мимолетная жизнь моя, мотылек-однодневка, обратясь в прах, перешла бы в вечность… Все пугает меня, слишком пугает, и я не прикидываюсь бодрячком, не уговариваю друзей поскорее забывать, а вдов — выходить снова замуж. И раз уж поневоле приходится думать о том, как все пойдет и как переменится после меня, будьте так любезны, увольте меня от лицемерия! Дайте позубоскалить — я не знаю иного способа устоять, когда захлестывает вал.

Было воскресенье, и строители не работали, но я все-таки отправился в Лоссан. Приехал около десяти, в церкви как раз звонили к обедне, а под платанами затевалась игра в шары; некоторое время я бродил по стройке, дергал неподатливые двери, прибирал забытые инструменты. Потом поднялся колокольный перезвон, захлопали автомобильные дверцы, заурчали моторы — и

я вышел на галерею. Деревня разом ожила. На улице перед входом в кафе было полно машин. Слышались громкие голоса. Те из мужчин, что сами не участвовали в игре, подзадоривали игроков. И вдруг словно бы все смолкло. Я говорю «словно бы», потому что на самом деле люди не замолчали, но в общем говоре пролегла борозда тишины — так расступается толпа из почтительности или страха, пропуская трех женщин в черном. В их лицах не было пи кровинки. Трудно было даже сказать, стары они или молоды. Ничего не замечая вокруг, они пересекли лужайку, где шла игра, миновали мой дом и удалились по дороге, ведущей в город.

И тут я вспомнил, накануне рассказывали, что несколькими днями раньше — я тогда был еще в Париже — автомобильная катастрофа унесла сразу четыре жизни из одной семьи.

Женщины в трауре прошли через толпу односельчан — в этой небольшой деревне, наверно, почти все друг с другом «на ты», — еще столь явно и зримо отмеченные тлетворной печатью смерти, что перед ними все стихало. Зачумленные, неприкасаемые. (Но, конечно, понемногу это впечатление рассеется.) Они и сами не пытались перекинуть мостик между окружающей жизнью

и своим временным изгнанием.

Так в моей памяти накладываются друг на друга обрывки виденного и передуманного — наверно, потому, что материал их один и тот же, только по-разному обработан случаем. Не надо искать здесь иносказания. Не надо думать, будто то или это — символ, выражение чего-то другого. Одно другого стоит: всюду тот же страх и те же уловки, при помощи которых люди силятся страх обмануть. Стою на галерее, словно бы причастный к тому, что происходит в деревне, и в то же время посторонний (чтобы меня увидеть, надо задрать голову, да и тогда мне самое большее помахали бы рукой), стою и измеряю силы, которые ненадолго уравновесились во мне, заключили что-то вроде перемирия. Молитвы одних (тех, кто выходил из церкви), ужас других, что пугливо сторонились женщин в черном, и, наконец, вот эта стена у меня под рукой, инструменты, которые я хотел убрать: молоток, мастерки, ватерпас, кувалда. Вера, страх, труд; да, конечно, я просто старая кляча при черпальной машине и хожу на привязи все по тому же кругу. Разве пришел бы я сегодня утром на опустевшую стройку, если б не гнался — по-своему, тяжеловесно — за призраком? Много ли значит невозмутимое спокойствие домов

— два-три жалких столетия, без счету заплат и заплаток, потемневшие от времени стены, — когда все в мире шатко и преходяще. А я, муравей, недоверчивая букашка, я все упорствую!

Не забыл ли я, описывая эти места, упомянуть, что над деревней возвышаются в каких-нибудь двух сотнях шагов одна от другой две звонницы? Одна при церкви, где над входом изображена библия, другая — при часовне, увенчанная крестом. Ну вот, все сказано. Три женщины в трауре, их лица, белые как мел, — это просто призыв к порядку, потому что я прикидываюсь глухим. Так говорите громче! Говорите со мной громче, кричите во весь голос! А вы только подаете мне двусмысленные знаки. Что же, в ноги вам кланяться?

> В общем-то у нас с вами профессии немножко похожие. Я ж вам говорил, тут надо разбираться в людях… Признаюсь по чести, мосье, меня что увлекает в моем занятии, так сказать, человеческая сторона: варишься в самой гуще, извините за такие пошлые слова. Ведь ко мне кто только не приходит — и желторотые птенцы без гроша за душой, и люди с кой-

каким положением, кому надо приличия соблюсти, и старики, кто вышел на покой, этих тянет на травку, на солнышко, а вчера вот приезжала вдова с дочкой… Это ж сама жизнь и есть! Люди мне доверяются. Иной закадычному другу, с кем годами знался, того не скажет, что мне в конторе за десять минут выложит, хоть Жозетту спросите. А как же иначе: дом не шутка. Когда коснется до денег, поневоле во все входишь, вроде духовника, догадываешься, как там в семье, что ладится, что не ладится. И вовсе я не охотник совать нос в чужие дела. Никого за язык не тяну… Просто уж так получается. Мы ведь отчасти лекари… виноват? Что ж, может, вы и правы… Иной раз я их даже останавливаю. Лишние откровенности при нашей профессии тоже ни к чему. Вывернется человек наизнанку, а потом пожалеет, на тебя же озлится — и, прости-прощай, сорвалась сделка. Я всегда говорю: наша забота — ком-мер-ция. Поэзия там, доверие — это все цветочки вокруг настоящего-то дела. Как я называю, человеческая сторона. Но дело — оно

прежде всего. Вот по этому самому, как на духу вам признаюсь, такие люди мне в конце концов не больно интересны. У каждого своих хлопот вдоволь, верно я говорю? Разве что какой-нибудь случай из ряду вон. Но, конечно, когда любишь свое занятие, иной раз и увлечешься, войдешь в азарт. Говоришь себе: вот этим надо помочь, дай-ка я их поддержу, выслушаю, пускай разберутся, что у них там к чему, где правда, а где вранье. Ежели я это сумею, так у них начнется совсем новая жизнь. Про это всегда забывают. В нашем обществе, мосье, самый главный человек — кто торгует. Вот я сколько раз говорил, я не одни дома продаю. Счастье продаю, несчастье. Я, можно сказать, продавец жизни. Бывают такие люди, все-то у них идет через пень колоду, а поселишь их в красивой загородной вилле — хоп! — и свернули на другую колею… Встретишь через год — не узнать! А некоторые еще говорят, что мы больно много берем за комиссию… даже смешно слушать.

Дорога, что ведет через Пон-Сен-Жан и плос-

когорье, пустынна. Я еду медленно, боковое стекло опущено, но в полях еще не пахнет весной. Приезжаю в Лоссан, и, едва успеваю заглушить мотор, меня охватывает тишина. Словно удивленная, полная недвижных деревьев тишина межвременья, когда одна пора года сменяет другую. Минутами издали донесется постукивание мельничного колеса, закудахчут куры мадам Блан, и опять вокруг под лучами солнца покой и безмятежность.

К моей машине подходит один из соседей — как же его фамилия? Скоро совсем позабудется обычай, что мне внушили с детства: здороваешься — снимай шапку.

— Как у вас там, тоже ни облачка?

— В Париже дождь, в Морване еще лежит снег, но реки уже разлились, я только что слышал по радио.

— А-а, радио…

Как он себе представляет, чего ради я приехал сюда в понедельник, в это тихое январское утро? Что думают об этом в деревне? Чувствую, что надо объясниться: «Вот, приехал посмотреть на свою стройку». Когда-то мама смеялась надо мной за привычку говорить: «Я учу свои уроки», «Мои занятия правом». Моя юриспруденция,

моя стройка, мой дом: видно, я ничуть не верю, что мне и впрямь что-то принадлежит, если так усердно обклеиваю эту собственность ярлычками притяжательных местоимений.

— Ну, они работают на совесть! Прежде мы говорили: старый дом… А уж теперь его старым не назовешь!

Он уходит, а я закуриваю сигарету и проникаю в свои владения через пролом в стене: не хочется звонить, хотя мосье Ру и приделал у входа звонок, не хочется сразу же вступать в разговоры. В самом укромном углу двора, у стены, пристроены каменный стол и скамьи. Зиме еще и месяца не исполнилось, а Лоссан уже обретает весеннюю повадку. Впрочем, я ведь раньше не знал, каков он весной. Я еще всему здесь удивляюсь — и ярости мистраля, и этому внезапному теплу, что дышит мне в лицо в январе!

Маляры растворили окна, мне слышно, как они поют и перекликаются. Обычно я не люблю слушать чужие разговоры, не дав знать о своем присутствии; страшновато: вдруг ненароком подслушанное слово больно заденет?

Вдруг очутишься лицом к лицу с этими чужими людьми, а без меня они совсем другие, может быть, враги мне? С какой стати миру относиться

ко мне дружелюбно? Однако сегодня утром я никого не опасаюсь. По выговору понимаю, откуда родом парни, что работают там, наверху. Мастер и его сыновья — парижане; всех старше рабочий из Прованса, еще один — итальянец. Вот на балкон вышел мосье Ру. Значит, и он здесь? А я и не видал его машины. Похоже, он мне обрадовался. Теперь все выглядывают — кто с галереи, кто из окон. Ру и Тревуа спускаются, их голоса гулко отдаются на лестнице. Сейчас начнут мне толковать про дожди в Париже и про холод, расспрашивать, «как мне ехалось», жаловаться на столяра — уж такой копун, такая сонная разиня! — и превозносить слесаря, родом из Орана, который работает за четверых. Они выходят во двор и, жмурясь от солнца, идут пожать мне руку.

О таких минутах надо рассказывать медленно, не торопясь. Это не такой день, как все, не просто день, но передышка на обочине дней. Надо передать каждый штрих и каждый мазок этой картины: как появился мосье Фернандес, остановил свой трактор и подходит поздороваться; какой вдруг поднялся в ветвях птичий переполох; как подшучивают маляры над сыном Тревуа — в воскресенье празднуется его помолвка; как после уроков набежала из школы орава мальчишек,

затеяли футбол, арка Лоссана у них — ворота, десятилетний цыганенок — вратарь. А мы втроем стоим на солнцепеке и рассуждаем: парадная дверь совсем разболталась; дерево было слишком сырое; и штукатурка у входа опять пошла пятнами от сырости; голубая краска, которую я выбрал, чересчур нежная, быстро выцветает. Как быть?

О, если б я только знал, как быть! Если б знать наверняка, что вот это и есть настоящая жизнь, что наконец-то я нашел ее — здесь, сейчас, она у меня в руках, перед глазами, осязаемая, несомненная. Вправду ли это жизнь, моя подлинная жизнь — то, что ощущаю я, прислоняясь к стене Лоссана? Быть может, я достиг если и не конечной цели, то хотя бы привала на пути, и можно передохнуть, предаться мечтам? Или и это всего лишь еще одно заблуждение, дань моде? Ведь на Западе все восьмидесятилетние старцы (если только они не родились под кровом предков — у него свои требования и свои радости…) мечтают пустить где-нибудь корни, сделать последнюю ставку на землю и камень. Сколько еще таких, кто сегодня утром, как и я, сосредоточенно разглядывает крышу своего дома — соломенную или черепичную, крытую шифером или дранкой? Они говорят: «Здесь будет комната Курта (или Пи-

тера, или Франсуа), а вон там — комната Сибиллы (или Герды)...» Они воображают, будто улизнули от извечной преследовательницы, и если в это сияющее утро перед ними встанет ее тень, они заново откроют для себя старую-престарую веру всех зодчих: «Останется после меня...» Какая ложь! И как хотел бы я не поддаваться этому соблазну. Мы больше не сажаем деревья, чтобы когда-нибудь потом они осеняли тех, кто будет носить наше имя, но не вспомнит о наших трудах. Никто больше не строит для потомков. Беттина молчит. Ролан и Робер только посмеются надо мной. Я поверил бы в бога, будь он хранителем домов, их непостижимой и неумирающей души. Но не кощунство ли взывать к богу наперекор самому себе? Искать у него защиты от им же установленного закона жестокости? Ибо надо мной учинена и вновь будет учинена жестокость, и эти стены будут у меня отняты. К чему притворяться, закрывать на это глаза? Я не сумею обжить дом, как не умел за долгие годы обжить собственную жизнь. И вновь будет длиться бегство. Короткая остановка впопыхах, на бегу, — совсем, совсем не то, что привал в пути. Жизнь — путешествие лишь для того, кто знает, куда придет. А для меня не существует царствия небесного в конце пути.

Крики мальчишек вдруг стали резать слух — перессорились они там, что ли. Кажется, и свет померк — откуда взялась эта туча? Мосье Ру, видно, устал, а может, он боится, что непогода его задержит?

— Все разговоры да разговоры…

Да, лучше молчать. И вернуться к работе.

— Это правда, Поль, что в воскресенье вы обручитесь? А когда же свадьба?

Стоило забыть, что зима на дворе, и тем быстрей пробирает дрожь.

— Ну, знаете, до свадьбы… Сперва еще надо в армии отслужить… И потом отец все обещает взять меня в компаньоны, но вы ж сами знаете, какой он… А там пойдут дети…

Счастье Поля повисло в воздухе, как и его слова, — впереди еще столько долгов и отсрочек, столько надо переступить порогов…

— …сами знаете, нынче, чтоб прожить, денег не напасешься!

> И потом тут навык нужен, сноровка, такого опыта в полгода не наберешься. Я всегда говорю: мы растим капитал. Мой округ, мосье, у меня в руках вроде как скрипка, что ли. Ежели ты в своем деле

виртуоз, так и продавать недвижимость — искусство. Мадам Фромажо, супруга моя, иной раз говорит: сколько ты разных историй узнал про людей, прямо для кино! И это знаете, верно, мы тоже режиссеры. Вроде вас, право слово!

Грузовик-фургон с прицепом, медленно пятясь и задевая за телефонные провода, втиснулся в узкий проулок (у одного вяза при этом сорвало нижнюю ветвь). И вот он стоит посреди деревни, задние дверцы распахнуты настежь, людям не так далеко придется таскать вещи. Мы смотрим на эту махину молча и, пожалуй, растерянно.

— Сотню кубометров берет, — нравоучительно произносит усатый шофер. — Это вам не игрушки!

Сотня кубометров: все, что сохранилось в Мезьере и в Нофле, у моей мамы и у родных Женевьевы, обломки прадедовского наследия, все, что мы, так и быть, пощадили и чему последним пристанищем служило мое прежнее жилье. Тут все вперемешку. Есть на что посмотреть. Распахнутые дверцы фургона являют нашим взорам кавардак из дерева, бронзы и мрамора.

Сердце у нас сжимается: перед нами обна-

жен костяк нашей жизни, она разложена на составные части, выпотрошены стенные шкафы, опустели чердаки, рассеялось очарование привычного глазу порядка и уюта. Какое же это барахло! Дощатая изнанка шкафов вся исчеркана, мелом и краской крупно выведены цифры, имена, неведомые инициалы — напоминание о дележах, быть может, о распрях, о просроченной плате мебельному складу… Все житейское убожество порой выставляется напоказ на городских тротуарах — как нот сейчас, в пыли, где собрались и молча глазеют деревенские ребятишки. Пока взмокшие грузчики всё не перетаскают.

И мы с Женевьевой сперва тоже застываем на месте, словно ноги наши вросли в эту пыль.

— Какое счастье, что детей здесь нет, — говорит Женевьева.

Всё вместили эти простые слова — и стыд, и удивление. И память… Детство мое потрясали катастрофы: продажа Бородьера, наш первый приезд в Париж, а потом все покатилось по наклонной плоскости; как страдала мамина гордость, как с каждым новым бедствием сильней расшатывались и скрипели ее бретонские сундуки, когда зубоскалы-грузчики, ворочая и швыряя их как попало на глазах у галантерейщицы и

хозяина молочной, перевозили нас в кварталы все более скромные… Переезды надо скрывать от детишек. Скрывают же от них мертвецов. Я имею в виду похороны, запах цветов и тления. Потом будет вдоволь времени им все объяснить. В сороковом году меня отослали к Коко, играть в электрический поезд. Был ли он простужен, поссорились ли мы, уже не помню, но я сбежал оттуда раньше времени. Не забыть мне возвращения на улицу Бертоле: там еще стоял желтый фургон (кажется, они все желтые — традиция такая, что ли?), и я увидал посреди мостовой — не очень-то оживленным было в ту зиму уличное движение! — позабытую в суматохе мамину любимую лампу. Витую подставку украшал приделанный посередине диск довольно грубой работы, на него так удобно было класть ножницы. И всё венчал расписанный каравеллами абажур. Это было мамино заветное, только возле этой лампы она чувствовала себя в доме как дома. После обеда она устраивалась в кресле, что нам предоставила мадам Пашабюльян, и при ярко-желтом свете лампы коротала вечер за шитьем или вязаньем. Так вот что скрывалось за докучными словами: «Мой-мальчик-нам-надо-решиться-на-новую-перемену-в-жизни». Перемена в жизни

— это попросту значит: подставка от лампы посреди мостовой на улице Бертоле, пустой фургон, перепачканный брезент, сваленный в кучу на тротуаре, на раскиданной соломе… Бурное море с каравеллами убрали, осталась только лампочка, в проволочной овальной рамке она выглядела по-дурацки, точно желток в белке. Сто пятьдесят свечей. Единственное расточительство, которое позволяла себе моя мама, помешанная на бережливости. Еще бы: эта лампа заменяла ей лето, солнце… Из дому вышли старики грузчики (молодежь была в плену), они делили между собой полученные деньги и уже высматривали, где тут поблизости бистро.

— Черт подери! — крикнул один. — Сейчас мы эту лампочку кокнем!

> Вы завлекаете девчонку, дело еще не на мази, а все-таки надо это как-то обставить. Душ, тихий угол — без этого не обойтись. Вечером вы ее ждете, думаете — какая она придет? И даже страх берет, не явилась бы уж чересчур разодетая, раздушенная. В таких случаях приятней, чтоб они выглядели попроще. Это я просто для сравнения говорю. Вам будет

понятнее. Новых людей тоже примерно так ждешь, воображаешь заранее. У меня, знаете, такое чувство — раз я им продал дом, вроде я за них в ответе. Оно и понятно, верно я говорю? Иной раз уж так разочаруешься… Я не злопыхатель, но как некоторые с домами обращаются! Новенький особнячок, только-только отстроенный, это ведь красота, что может быть лучше? Дом, участок — все как стеклышко, любо поглядеть. А потом они въезжают — и только диву даешься, все летит вверх тормашками. И мадам Фромажо, супруга моя, то же самое говорит. Вот у нас в доме: проветрено, всё на месте и в исправности. Не ровен час, зашел клиент со мной потолковать, ему ничто глаз не режет. В нашем деле всё так: одно с другим связано, одно за другое цепляется. А как пойдут игрушки, побрякушки, птички в клетке, салфеточки, статуэтки бронзовые, швейная машина… вы не представляете, мосье: хаос, погибель! В Лоссане, надо признать, поработали на совесть. Я туда зашел, надо ж было поглядеть, как и что. Хитрая это штука в нашем

деле — нащупать линию поведения: и равнодушие плохо, и нескромность плохо. Рабочие еще не ушли. И, скажу вам, сперва я удивился, когда они выбрали этот дом, такая была похабная развалина, хоть брось, а тут, смотрю, он опять в полной форме: огромный, просторные залы, своды, стены, все выбелено, так все сурово, а камень рыжий, охристый, выходит отличное сочетание, — и вдруг подумал: «Надо отдать им справедливость! Хорошо, когда у дома есть достоинство. — А потом вдруг подумал: — Беда! Замучаюсь я, на них глядя!» Прямо скажу, монашеский стиль не по мне. Но что толку постную мину корчить, ежели видимость и суть не в ладах. Вот понапихают они сюда колченогой мебели с парчовой обивкой, прямо как в лавке у Пизенса… что тогда получится из этого дома? А назавтра или на третий день, смотрю, привозят их вещи… Тут я и сказал себе: Фромажо, дружище, ты как в воду глядел… Хоть и знаешь все это, и привык уже, но глядите — даже в приличных семействах уж такая нищета, такое убожество. Забавно, а? Стоит погля-

деть на вещи с изнанки, с исподу… будто все спасаются бегством… Возьмите собаку — что она знает? Мы поворачиваем все казовой стороной, а ей виден горбыль, подкладка, пружины, грязь — оборотная сторона, нешлифованная. В тот день мне первый раз в голову пришло: в переезд у людей жизнь снята со всех подпорок, спущена прямо наземь, это, знаете, мир для дворняги — понаставлено столиков на одной ножке, так и хочется задрать лапу. Потом-то, конечно, все это опять кой-как подправят, наведут лоск, а все равно обман, одна видимость! Недаром тоска берет, когда смотришь, как парни перетаскивают туалетные столики да пуфики. Все это вроде хвори. Ведь люди как рассуждают: землетрясения, дорожные катастрофы — это, мол, припасено для других. А попадут сами в переделку — и опять все одинаковы: самолюбие их одолевает, хитрят, изворачиваются, по-всякому вам глаза отводят. Ну и тут тоже вроде этого. А как посмотришь на порядочную женщину, они, знаете, в этих случаях все на один манер утирают лоб…

Я предвидел, что людям захочется пить, и запасся вином. Роза купила вчера в здешней бакалее несколько бутылок. «Для грузчиков я взяла красного по два сорок». Но они просят минеральной и фруктовой воды. «Уж больно жарко, мосье!» И в самом деле, солнце теперь так раскаляет фасад, что, когда переступаешь порог, сразу пробирает дрожь. Мне кивают на усача: «В прошлое воскресенье он пришел вторым в кроссе „Пари-спринт“, вон как…» Я сперва не понял: они спортсмены.

К одиннадцати прицеп уже пуст, кое-что выгрузили и из фургона. Но на рабочих страшно смотреть — одни побагровели, другие мертвенно бледны. Предлагаю им съездить в город на моей машине, они немного удивлены, но находят, что это очень красиво с моей стороны. Они уже приметили «Станцию Лангедок». Смотрю, как они отъезжают: шофер старается мне показать, до чего он умелый и осторожный. Что ж, тем лучше. Роза нам приготовила ветчину.

Укрываемся в помещении, которое, может быть, уже сегодня вечером, а может быть, и через три недели, станет гостиной, валимся с ног. Где же кресла, подушки?

— Уф, какая жара…

Женевьева протягивает бутылку, я жадно тяну

прямо из горлышка — глоток, другой, и тотчас мне как огнем обжигает все внутренности.

Так проходит день.

В перерыв люди отдыхают под деревьями, растянувшись на брезенте, которым укрывали мебель.

— Подлые цикады! — твердит усач.

Раздаются громкие хлопки — тщетная попытка отбиться от мух. Около четырех все снова берутся за работу, багровые, полные решимости поскорей со всем этим покончить.

— Давай поворачивайся, не валяй дурака!

Женевьева и Роза, точно дирижеры, направляют все это, сдерживают, умеряют. Иногда нам случается передумать, мы просим перетащить в другую комнату какой-нибудь комод, а грузчики воображали, что уже установили его на вечные времена, и лица омрачаются. Наконец семь часов, по сторонам смотреть противно, все вымотались, обессилели, по земле потянулись длинные тени — и вот кончено, четверо грузчиков (рукопожатие, облаготворенность) отправляются восвояси.

И тут, хотя все устали и издергались, нас охватывает обманчивый прилив энергии, надо же «немножко навести порядок». Женевьева, Роза, мадам Жанна и я молча снуем взад и вперед с

охапками простынь и занавесок.

— Хоть постели постлать, — приговаривает Роза.

А сама все машет и машет метлой, поднимая тучи пыли, и мы задыхаемся. Женевьева включила холодильник.

— По крайней мере сегодня вечером будешь пить холодное виски.

Но вечер уже настал, а я весь день отхлебывал из горлышка жгучий глоток за глотком, у меня и так голова кружится. Закат заливает весь дом алым светом. Вдруг зазвонил телефон — и трезвонит нескончаемо: аппарат поставили на пол, завалили занавесками, и теперь мы его никак не можем отыскать. Наконец добрались, но тут он умолкает. Роза взялась за чайную чашку, ручка осталась у нее в руке — и она в слезы. Пока Женевьева ее утешает, я выхожу на галерею подышать свежим воздухом; в саду, в винограднике, на дороге ничто не шелохнется; только три девушки тихо гуляют поодаль, обняв друг дружку за талию. Лет десять назад — нет, меньше, лет шесть или семь, перед тем, как родился Робер, — деревенская девушка еще метнула бы в меня быстрый взгляд, точно спичкой чиркнула, — вызов, брошенный просто так, от нечего делать… Теперь я только

парижанин, который поселился в Старом доме. Какими взглядами они станут обмениваться с Беттиной! Мерзкий вкус у этой сигареты. Меня окликает Женевьева, в голосе улыбка:

— Иди посмотри, какого Роза нашла забавного зверя!

В своей будущей комнате встречает меня оживленная, веселая Роза. Женевьева оперлась коленом на кафельный пол и совсем уже собралась пощекотать черное насекомое, похожее на злющего паука, но его неподвижность внушает ей почтение. Она колеблется. Только этого не хватало!

— Он меня даже пугает, — говорит Женевьева. — Кто это?

— Очень милый скорпион. Просто красавчик скорпион…

Велика сила слов! Женевьева вскочила, Роза вскрикнула и зажала рот рукой.

— Ну чего вы?

Но меня бросает в жар и холод, точно при звуках военного оркестра. Движение Женевьевы не понравилось скорпиону, он молниеносно, свирепо ринулся было к нам (я словно узнаю эту хищную быстроту, хотя никогда ничего подобного не видел) и вдруг опять застыл, насторожился,

готовый ко всему, нацелив хвост, изогнутый с необычайным изяществом.

— Так, значит, это…

По части знаков зодиака Женевьеву не собьешь, и, однако, ей все еще не верится, что это блестящее, точно лакированное, маленькое чудовище, которое уставилось на нас неразличимыми глазами, — самый настоящий скорпион.

— Откуда он взялся?

— Я подобрала с полу покрывало, которое мне дала мадам, и вот…

До Розы вдруг дошло:

— Он и в постель ко мне мог забраться!

К счастью, окно, выходящее во двор, открыто. Я трогаю камни ладонью — они обжигают. Пытаюсь как можно спокойнее объяснить: старые камни, жара, стройка, в доме давным-давно никто не жил… Понятно, первые дни придется… Натянем москитные сетки, будем осмотрительны… Роза с одинаковым сомнением поглядывает то на меня, то на скорпиона. Похоже, сейчас она спросит у меня расписание поездов на Шербур.

— Что же будем делать?

Женевьеве уже, видно, надоели мои туманные рассуждения. А я не могу остановиться.

— Убей его, — трусливо предлагаю я.

— Благодарю покорно. Предоставляю тебе эту честь…

Но меня захлестывает какое-то немного даже суеверное отвращение, и я уже знаю, что пальцем не шевельну, чтобы уничтожить эту тварь. Вот завтра, если появится еще один (но этого, конечно, не может быть), я сам его казню. А сегодня вечером, в багряных отсветах заката, когда у меня кружится голова и вокруг хаос, мебель поставлена как попало, вещи валяются на полу, словно тут на ночлег стали табором цыгане или описывал имущество судебный пристав, — нет, сегодня это свыше моих сил. Вспоминаю ночь, проведенную двадцать лет тому назад под Карфагеном: меж шатрами бедуинов гнались за смутными тенями полицейские, и при вспышках выстрелов галопом удирали крысы, огромные, точно псы. И еще Этьен рассказывал, возвратясь из Малайзии, как в хижинах китайских кули скорпионы величиной с краба по ночам жалили спящих младенцев… Внезапно в наш дом вторгается Восток с порчей и колдовством, со священными животными и смертным потом. Должно быть, я слишком много выпил.

— Ну что же? — повторяет Женевьева.

Тут явилась мадам Жанна и избавила меня от

необходимости отвечать.

— Какой красавчик! — восклицает она, разглядывая гостя. Он и ее заворожил, но ясно, что ей все это не в диковинку и далее забавно. — Большущий! Наверно, у него гнездо в замочной скважине парадной двери. Они это обожают.

— Что, замочные скважины?!

Роза негодует, у нее круглые глаза. Нет, в ее родном Контантене…

Тут скорпиона осенило, и он безо всякого предупреждения бросился на мадам Жанну, а она мигом разъярилась и топнула по нему ногой в шлепанце — раз, другой, третий… Наконец-то он недвижим (ярость испарилась, словно его бросили на раскаленную плиту), и мадам Жанна наступает на него всей тяжестью, да еще поворачивается на пятке — так, гуляя в лесу, старательно затаптываешь окурок. Под подошвой отвратительно хрустнуло. Звук такой, будто сломали сухой сучок или раздавили чьи-то внутренности. Наконец мадам Жанна отступила на шаг, но от скорпиона осталась не бесформенная лужица, не грязное пятно, как можно было ожидать, нет, труп его выделяется отчетливым черным силуэтом на розовом кафеле: две изогнутые клешни, кольчатое туловище, хвост, заканчивающийся

острым жалом — как бы символ всего скорпиоиьего племени. Нам вдруг почудилось (вслух этого никто не говорит, но думает, я знаю, каждый), что эту странную фигуру — паукообразные клещи, живое оружие, изобретенное природой миллионы лет назад, — нам уже не смыть, не вымести метлой, не счистить щеткой, она проникнет в кафель, неизгладимо запечатлеется в нем: яд, испускаемый этим жалом, наподобие кислоты разъест терракоту с золотистым и рыжим отливом, пропитает безобидный минерал злокозненной черной отравой. Странное предчувствие, прозрение, в следующие несколько дней его щедро подтвердят поразительные открытия — на каменных плитах под ногами, на стенах, на прямоугольной плитке, которой выложены коридоры и чердак, я снова и снова буду находить эти искривленные кресты, эти наконечники старинных копий, словно отпечатки ископаемых в доисторическом известняке, словно надписи, начертанные на стене рукой маньяка, магические знаки, что должны нагнать на кого-то страх либо отвести беду, десятки и десятки убитых скорпионов, камнеточцев, память о которых, видно, еще задолго до нашего переселения навек врезана в самую плоть этого дома.

В этот вечер все остальное отодвигается на задний план. Последние часы первого дня проходят для нас под знаком черного старожила, который ждал нас, встретил в кровавом зареве заката, а мы его убили. Роза предлагает подать ужин, но мы отказываемся от первой трапезы в этих стенах. Мы удираем на «Станцию Лангедок» — там горят неоновые лампы, благоухает баранина, жаренная на вертеле. И только поздно ночью мы тащимся наконец обратно в Дом. В комнате Розы свет уже погас.

— Бедняжка Роза! — вздыхает Женевьева, как будто без особых оснований.

На лестнице на удлиненном проводе подвешена лампочка без колпака. Повсюду остатки невыметенной соломы. Лицом к стене прислонены картины и гравюры. Безраздельно царит разгром. Кажется, это уже слишком, даже смех разбирает. Тем более что «лирак» — вино не из слабых. Женевьева опирается на мою руку. В комнате, где мы ночуем, Роза приготовила наши любимые лампы и кресло. И по всем правилам постлала постель: искусно разложены пижамы, безупречно заправлена простыня.

— Не отворяй! — предупреждаю я Женевьеву и показываю на окно.

За окном буйствует туча мошкары. Шмель бьется в стекло с таким упорством, что страшно становится А в комнате жара, духота. По деревне проносится автомобиль, и все псы поднимают лай. Тут я улыбаюсь: только теперь замечаю, что Польки нет и мне ее не хватает. Сейчас она, конечно, забилась бы в какой-нибудь раскрытый чемодан, тоскливо съежилась бы и неотрывно провожала нас глазами, отчаянно вымаливая хоть какой-то привычный знак, который напомнил бы ей о прежней жизни.

— Хорошо, что Соня скоро привезет нам Польку, — говорю я. — Мне без нее скучно…

— Полька?

Я думал, Женевьева улыбнется, но ее, видно, поразила новая мысль.

— А ты не знаешь, — спрашивает она, — скорпионы нападают на собак?

> Я, знаете ли, так считаю, отчего у них не заладилось: нервы виноваты. Потому как в остальном, ничего не скажешь, пара подходящая. Это ведь сразу чувствуется. Ясно, не такая семья, как все у нас. Люди с вывихами, простоты им не хватает. Както с ними неловко становилось, тягостно.

Они замолчат — и ты молчишь. Знаете поговорку — тихий ангел пролетел… Так вот, всё вроде ангелы летали… С ним особенно. Среди разговора вдруг замечаешь, он уже молчит. Хмурый становится, лицо будто на ключ заперто, и сразу чувство такое, что надоел ты ему хуже горькой редьки, право слово. В такие минуты она с ним уже не заговаривала, шутила, будто его здесь и нет, а от этого только еще больше неловко. Никаких там споров, стычек, знаете, как бывает у мужей с женами, только вот эти пустые минуты, если можно так выразиться. Уже на второй день он меня ошарашил. Я не знал, что и делать. А потом пришли в «Империаль», и он предлагает выпить стаканчик. Да каким командирским тоном! Пускай меня дома ждет супруга, ему-то что! Заказал он какую-то смесь, он всегда прикидывался, что без ума от этих самых коктейлей, и разносил бармена — мол, не так смешивает, — а между нами говоря, мосье, ему больше всего по вкусу был чистый джин, только окрестили это по-другому… А ты терпи! Хоть я и нелегко пьянею,

стаканчик за стаканчиком заставлял он меня хлебнуть лишнего, а самого через десять минут не узнать: веселый, душа нараспашку! И она, видно, каждый раз до смерти рада, когда он опять оттает. Да, уж наверно, ей не всякий день случалось улыбаться. В семейных делах и без громких драм люди страдают. Яблоко с червоточинкой, мосье, вот оно, самое верное слово. А чего, кажется, людям не хватало для полного счастья? Мосье Ру… он у них был… а, вы уже знаете? Так вот, он всегда то же самое говорил. Тоже считал, что у них неладно. Деньги, говорит, есть, здоровье есть, чего им еще, спрашивается, надо? Правда, знаете ли, в такое время живем: и гложет людей, и встряска бывает такая, что не под силу, ну иной и надломится. Вот у них — я бы голову дал на отсечение, что у них того гляди все развалится, а почему? Понять невозможно…

Мы с Женевьевой обременены тремя детьми, собачонкой, машиной марки «пежо» и вовсе не мним себя участниками каких-либо вселенских свершений. Если только не считать вселенской

пошлости — вообще-то я примерно так и думаю, но сейчас не о том речь. Мы обыкновенные средние люди. Самые средние, хоть не без завиральщины. Быть может, на меня порой находит помрачение ума чуть посильней, чем на других, заурядные головы идут кругом не столь картинно? Даже и в этом я не уверен. Просто привычка к словам. Вот и говоришь, и пишешь… Будь я фабрикантом сукна или макаронных изделий, я жил бы богаче. Музыкантом, художником жил бы свободнее. А быть может, и легче. Во всяком случае, по-компанейски. Но развязность и непринужденность сходят на нет: об этом заботится наш век. Врачом я был бы трезвей, ближе к жизни, учителем — образованней, рабочим — воинственней, герцогом — насмешливей, революционером — трудолюбивей, полицейским — гнуснее. А что я сейчас? Я знаю немало поэтического о племянницах Мазарини и о любовных увлечениях Жорж Санд. В день, когда Беттине исполнится восемнадцать, не будет задан бал, и сыновья мои не получат в подарок по спортивной машине. Взамен они всегда могут насладиться достаточно живой и интересной застольной беседой. Я средний человек, у которого есть средства, чтобы мечтать. Это зависит не от денег, но от выбора:

я выбрал не галуны и нашивки, но мечты. Не верьте, людям вовсе не возбраняется немножко дать волю воображению.

Лоссан — не отвлеченное понятие. Он находится в сотне километров от Монпелье и в пятидесяти от Авиньона На полпути меж горами и морем. Тут еще растут оливы и уже появляется орех. Наш дом — один из двух десяткой в обыкновенной французской деревушке. Лоссан — самая доподлинная реальность для социологов и картографов, для сборщика налогов и для полиции. Тут нашли прибежище и явно пустят корень две репатриированные семьи. Одна, судя по фамилии, из Испании, другая из Эльзаса: люди отречения и перемены. Они покинули насиженные места и привезли с собою привычку к переменам и труду. Быть может, откажутся от виноградника и станут разводить персики или миндаль? Вишневые сады все ширятся, вытесняя оливу. Здешние жители краснолицые, румяные, так оно идет спокон веку, а тут еще окаянное алжирское вино. До каких пор им, чертям, государство будет деньги давать? Платить врагу, разбойнику — ну что ты скажешь? Гавр, Рубэ, Нанси — тамошний народ все равно что англичане или немцы, богато живут, и всегда туман, в общем, край света. Здесь

любят поворчать. Ворчат даже те, кто обзавелся собственным синим «фордом» или ярко-красным «рено». Сердитые анархисты, никаких иллюзий. Все, что бушует и гнетет людей в других местах, — войны, мятежи — должно быть, утихает где-то вдалеке, не успев захлестнуть Лоссан, ибо наши берега не ведают бурь. Мне кажется, так стоят на якоре, вдали от жизни, все деревни в этом старом-старом краю. Требуется всемирная катастрофа, чтобы люди вылезли из своих нор. Только горожане касаются трепетных нервов жизни и содрогаются под порывами ветра, налетающего из дальних далей. А здесь со времен Гитлера, концлагерей и маки никто ни разу не ощутил, что почва под ногами колеблется. Да, они знают: парни, которые пошли в Алжир воевать, увидали там каменистую пустыню да белых скорпионов, еще посвирепей наших. А в остальном поди угадай, что у них на уме. Молодежи война по душе; молодежь войну ненавидит; но эта злая участь — терпение, бойня, жестокость, все, что держит людей взаперти на заводах или в казармах (а в душе ярость, ведь у тебя украдены дни веселья и любви, и ничего нельзя понять, и остаешься ни с чем, стадо, подневольный скот, а впрочем, посмеяться никто не запретит, и транзистор тоже

слушаешь), — эта злая участь везде одна и та же и всем тягостна. Когда я начал ездить по здешним местам (тому уже скоро два года), я нередко останавливался посреди какой-нибудь деревни перед памятником павшим. Выбитые в камне имена солдат 1914-го заросли мохом. На именах солдат 1940-го уже поблекла позолота. Вот так и узнает пришелец, как зовутся здешние жители: читая надписи на могильных камнях или под бронзовым воином, которому уже не перешагнуть за ограду из цепей, натянутых между четырьмя снарядами. К чему я заговорил о памятниках павшим? А да, Алжир… Успокойтесь, я не путаю джебели[22] с Аргоннами и Дюнкерком. Дело в цифрах. Хотя в конце концов убивают и умирают всегда одинаково… Меня поражало постоянство, очень схожи эти годы, когда люди отправляются на тот свет (и знали бы вы, как!), покидают свой дом и любимую. Словно мало было несчастий без этого! На севере кирпич и грязь, в других местах гранит и изморось, либо каменное крошево, либо снег… И вот уже убиваешь баварцев или феллахов. Я говорю об этом отчасти из-за мадам Пашабюльян: «Вдали от городской жизни… Вдали

**[22] Примечания: 22**
По-арабски — горы: слово входит во многие географические названия.

от жизни...» Соседи мои, избиратели и солдаты, вечно подлежащие призыву к урнам и под ружье, для остального мира вы нередко попросту не существуете! Я плохо умею с вами говорить. Я перед вами робею, а вам со мной неловко. Иной раз, повстречавшись на дороге, мы перекинемся шуткой или кто-нибудь из вас заглянет в Старый дом, и я угощу его рюмочкой ликера, но ведь это внешнее, мы делаем над собой усилие, чтоб не выглядеть совсем уж дикарями. Издали я вижу вас за работой: вы окуриваете или подрезаете виноградные лозы, носитесь очертя голову по обочинам дорог (вот это я не люблю) в машинах, до отказа набитых бревнами, бидонами, щебнем для каких-то загадочных надобностей. И хоть гибель вас миновала, дорогие мои кроты, вы так же позабыты, как и те, кто погиб на войне. Кто помнит о павших на войне? Вот вы по десять раз на дню проходите мимо пирамиды, на которой высечены имена ваших родичей. Семейство живых и семейство мертвецов существуют бок о бок и более или менее уживаются (пожалуй, не более, а менее). И все же здесь не такой холод, как там, откуда я пришел.

Эти смутные мысли и впечатления нередко занимают меня с тех пор, как я очутился здесь

и жизнь моя застыла недвижимо среди ваших недвижных жизней, и я тоже все время настороже, оторвался (так быстро!) от редакций, служб и дружб и тоже погружаюсь (догадываюсь, как погружаются) в забвение, в котором вы пребываете с колыбели. Нет, Лоссан не отвлеченное понятие. День за днем он переживает одну из десяти тысяч полусмертей — тех смертных мук, из которых состоит вся жизнь Франции, между колокольным звоном и игрой в шары между криком детворы после уроков и темным вечерок;, когда вспыхивают экраны телевизоров. Нет, это не отвлеченное понятие, но нечто наглухо закупоренное и непробиваемое; тщетно я противопоставляю его секретам свои; проверяю, сколько по сравнению с ним я в силах терпеть и молчать, и мне страшно. Жизнь не дала крюку, чтобы завернуть и к вам. По большой дороге, поодаль от которой построены ваши дома, она стремглав промчалась куда-то в сторону Америки. Газеты, что вы читаете вечерами, взахлеб сообщают про всякие матчи и турниры, про ежегодные застольные встречи стариков ветеранов, печатают спортивные таблицы и сводки. Извещают о свадьбе Тревуа-младшего (может быть, отец взял его наконец в «компаньоны»?) и

о смерти старой мадам Блан. Кто теперь станет возиться с ее курами? Один юнец из Бюрзака стал чемпионом Лангедока. Градом побило виноградники в Сен-Кентене. Чьи-то жизни… А моя жизнь разве не сплеталась из обедов по гостям и забот, как бы свести концы с концами? Мало ли в ней было честолюбия и злобы? Так что молчание Лоссана заставляет меня в иные вечера обдумывать еще другие темы, сверх того, как пристроены были племянницы кардинала и с кем заводила интрижки баронесса Дюдеван, урожденная Аврора[23]. Слишком красивое имя для женщины, которая курила трубку.

> Их собака, вот именно! Я как раз вам собирался про нее рассказать. Собачонка им сильно повредила, спору нет, хоть вам и странно такое слышать. Это Роза проболталась. Можно понять. Ей тоже это казалось диковато. Сами знаете, мосье, что такое прислуга, получить полсотни франков прибавки — черта с два, не добьешься. А ведь она видит, джин течет рекой, по три тысячи бутылка. Нежда-

---

**[23] Примечания: 23**

Фамилия Жорж Санд по мужу Дюдеван, в девичестве она звалась Авророй Дюпен.

ные гости нагрянули? Живо, — паштет из гусиной печенки, шампанское на лед, ну и прочее, ясно, ей это все нож острый… И с ихней собачонкой та же история. Прыщик вскочил? Смотрит невесело? Сейчас же к ветеринару, рецепты, лекарства. Ихняя Роза клянется, что у них там целая аптечка с собачьими пилюлями да сиропами. Не верится, а? Ну да, согласен, на этот счет, бывает, люди и лишнее соврут. Если зверье для охоты не годится, это им тьфу. Крестьяне, что с них возьмешь! Со скотиной всюду одно обращение: кормят картошкой, ласкают дубинкой. Но тут уж, знаете, другая крайность. Я супруге моей, мадам Фромажо, сразу сказал, еще когда мы только обручились: детишки — пожалуйста. Собаки — нипочем. Я такой человек, нежностей не терплю. И сам знаю, откуда это у меня. Был один случай в сорок седьмом, то ли в сорок восьмом, уж не помню точно, хотите верьте, хотите нет, и плевать я хотел, что выгляжу дураком…

Целую вечность назад, до того, как Франция

проиграла все эти войны (а делает вид, будто выиграла, только никого этим не обманешь), буржуа еще осмеливались владеть «доходными» домами (да и теперь не прочь, только от чересчур откровенного словечка отказались), и в ту пору при Лоссане имелась земля. Все это сборище построек и пристроек было приспособлено к делу. Только три или четыре лучшие комнаты, которые мы теперь снова привели в приличный вид, не служили никакой выгоде. В них располагался на десять, на двадцать дней в году некий крупный «негоциант», когда ему хотелось полюбоваться своими загородными владениями. И оттого, что так сурово и скудно все окрест, он еще сильней упивался сознанием своего благополучия. У него тут росли оливы (насаженные в местах, где ныне природа, мягко говоря, вновь взяла свое), разбит был виноградник (сколько здоровья отнимает у наших виноградарей филлоксера?), а по ту сторону платановой аллеи, видимо, спускался по косогору довольно большой вишневый сад. Он давным-давно одряхлел, скрюченные, обросшие лишайником деревья безобразны, на них страшно смотреть. Их понемногу вырубают, корчуют пни и на просторном пологом склоне начинают строить дачи. Когда-то к вишневому саду затеяли

подвести воду; от выложенных тесаным камнем канавок, разумеется, осталось одно воспоминание, но водоем в углу нашего двора уцелел. Он сложен из тщательно подогнанных плит, грубо, но прочно, и обведен по краю каменным бортиком сантиметров в шестьдесят по меньшей мере — несомненно, затем, чтобы еще увеличить запас воды. Само собой, за долгие годы цемент выкрошился, выводные трубы засорились, насосы, которые должны были откачивать воду из бассейна, лежат на дне его грудой ржавого железа, важнейшие части механизма сломаны либо растащены. Семейство Блебёф и те, что с ним породнились, некогда процветали благодаря трудам на поприще финансовом и просто трудам (правда, то было еще при Луи-Филиппе или при Наполеоне III), однако затем они предпочли полвека позорных банкротств: видно, показалось слишком докучно и хлопотно вновь поднимать разоренное хозяйство. Так что этот клочок земли со щербатой, обвалившейся каменной кладкой, ржавыми трубами, зарослями терновника и гнилой стоячей водой словно олицетворяет всю здешнюю округу.

Рабочие того и гляди подхватят лихорадку либо их искусают крысы, и, однако, мосье Ру решает

все вычерпать, вычистить, осушить, выскоблить. Он намерен воочию убедиться, как обстоит дело. Он добивается этого за три дня, а нас одолевают тучи мух и удушливое, гнилостное зловоние. Наперекор всем моим страхам у Джордано и его товарищей лица даже праздничные: им, видимо, приятно все это расчищать. И вот, наконец, бассейн открыт нашим взорам, он изрядно пострадал от времени и все же внушителен, по-своему красив. Меня издавна пугали замшелые, тинистые, сырые закоулки, укрывшиеся от солнца в непролазной зелени, всегда одолевало искушение предоставить их жабам (но когда кто-то другой опускает руки, я этого не понимаю...), а вот сейчас и ужас, и соблазн бездействия отступили перед видением прозрачного родника.

Скользя на тонкой пленке ила, в котором должна бы кишеть простейшая, первобытная жизнь, мы спускаемся в эту яму, чтобы осмотреть стенки и дно. Мосье Ру, подобно врачу на консультации, озабочен и даже удручен нашим будущим.

— Надо все скреплять сызнова, — твердит он, — все скреплять сызнова.

Наконец принято решение:

— Я вам все это покрою бетончиком.

После чего я выбираюсь наверх, усаживаюсь

за письменный стол и угрюмо погружаюсь в вычитание. Лоссан — пиявка, способная высосать миллионы. Ко мне присоединяется Женевьева, проверяет эти подсчеты и, стараясь рассеять мою тревогу, доказывает, что они неверны (она ошибается в другую сторону). И в самом деле, в придачу ко всем тревогам, о которых я упоминаю, надо сказать откровенно о вечном безденежье. Правда, я привык из него выкручиваться довольно легкомысленными способами, но это уже другой разговор. Мы опять выходим во двор, успокоенные, как всегда после таких занятий арифметикой. Нам довольно, состроив серьезные физиономии, выписать столбик цифр на обороте какого-нибудь старого конверта (ох, какие мы мастера «округлять» итоги!) — и это нас утешает. Впрочем, сложение не относится к существу данной хроники, ибо, как я не раз пытался втолковать Женевьеве, по существу своему хроника эта — почти миф. Иносказание. Басня о простаке, который вообразил, будто ему под силу построить жизнь заново. Доведись мне когда-нибудь составлять руководство по окольным путям, речь пошла бы о блужданиях души; впрочем, сколько бы ни плутала душа, к ней возвратишься напрямик — и всякий раз окажется, что она была

неподалеку.

Мы переживаем лучшую пору нашей сумасбродной затеи. Лихорадочная легкость владеет нами по-прежнему, но горячечное исступление стихает. Вчера нам доставили два грузовика гравия — мельчайшей гальки, обкатанной буйным течением здешних рек, розовато-серой, словно прозрачная, хрупкая ракушка. Ее рассыпали по земле, и, увидав, что получается, мы тоже в азарте схватились за тачки и за лопаты — возить и разравнивать; через несколько часов двор неузнаваем: строгий, какой-то степенный и вместе нарядный, а от этого преобразился и дом. Скрылась изрытая, обезображенная почва, заляпанная цементом, ощетинившаяся камнем; все стало ровное, гладкое, в мягких тонах, гравий похрустывает под ногами, его с разбега взметает на крутых поворотах разыгравшаяся собачонка (как все это памятно с детства!) — земля вновь обрела извечный дар успокаивать глаз и красить жилище. Дни текут в трудах, в чуть наигранном оживлении. Это помогает мне забывать, что сумерки по-прежнему тягостны и ночи долги. Роза прекрасно настроена, свела знакомство с деревенскими кумушками и, когда ходит за покупками — а всего-то надо взять яиц у Мартинесов, —

пропадает битый час; может быть, сплетничает про нашу жизнь? Эта повесть всегда увлекает ее слушателей. Рабочие, которые еще задержались кое-где на разных доделках, с нами свыклись. Вино пьют без стеснения, стакан за стаканом. Мы с Женевьевой все чаще заговариваем о детях. Они уже скоро приедут. Всем родителям знакома мирная радость тех дней, когда все мысли отданы отпрыскам, но еще не надо ежечасно терпеть их общество. Вот тогда любишь их всего нежнее.

Отец я неважный, вспыльчивый, мастер только на увертки, умолчания, неловкости и промахи; но теперь мне радостно думать, что вот они впервые приедут в Лос сан, уж, наверно, им и любопытно и тревожно, а я приготовил им некий истинно семейный сюрприз. Так приятно, что дети у нас вдруг оказываются на первом плане Я поторапливаю мосье Ру; Роза проветривает комнаты второго этажа; я проверяю нашу здешнюю библиотеку, пока еще скудную: надо, чтобы для всех троих нашлись подходящие книги; словом, вихрь благих намерений. Под вечер я сам взволнован чуть не до слез. Немалое преимущество — вот так, когда вздумается, разогревать в себе варево, которым можно и подавиться, если оно простыло!

В общем, картина вам знакомая: форсу много, а в кармане пусто! Ну и пошел он распродавать всякое старье. Сперва уверял, будто торгует своим же барахлом, что досталось по наследству… Только люди сомневались. Правда, согласитесь, в нем нет никакой баронской спеси. А ведь в департаменте Вар до сих пор одна деревня носит его имя, и замок тоже, только у замка новый владелец — фабрикант черепицы, такой Пику, я проездом справлялся… Во всяком случае, этот Пизенс неплохо устроился. И потом он же книжник! Вице-президент общества провансальских поэтов. Всего Мистраля знает наизусть. Верно вам говорю… По совести скажу, меня малость злит эта публика — кто после хорошего обеда распевает «Кубок священный» и все такое. Может, потому, что сам я из крестьян… И мне дают это почувствовать. Короче, с Пизенсом соблюдаешь приличия, но ближе не подходи. И клиенты мои не такой народ, чтоб покупать у него обстановку. Если сядешь в кресло, а оно под тобой рассыплется, это не для них. Дело вкуса.

Помню, мадам Фромажо, супруге моей, загорелось купить у него провансальский поставец, и я спорить не стал, пусть её, это коммерции на пользу, мало ли что, на худой конец такой тип может вам сосватать какое-нибудь выгодное дельце. Но он сам назначил цену, уж так заломил, а поди проверь… Один раз я его застал в Лоссане, он глядел, как разгружали какой-то шкаф. Это еще на первых порах было. По-моему, он им всучил много всякой дряни. Стоило послушать, как он выучился разговаривать. Чем больше слушаешь, тем больше думаешь — ну что он за барон, ни дать ни взять какой-нибудь галантерейщик. Я, мол, знаю в Париже знаменитого антиквара, он как раз этим занимается… Я и с него бы столько же спросил… Собратья друг другу уступают… Предоставляю на ваше усмотрение… ну и прочее. Прямо как мелкота, что занимается недвижимостью в Марселе и вокруг. И потом у этих старьевщиков какая мода: всегда в кармане пачка кредиток, накладных они никогда не дают, чеки выписывать тоже не любят. Попробуй потом сборщик

налогов к ним привязаться. И вечно они скоблят какую-нибудь деревяшку, шлифуют, полируют, лаком кроют. Столяры, да и только! Ежели эти бароны де Пизенс ходили в крестовые походы, они, верно, теперь в своих латах в гробу ворочаются, глядя, как ихний потомок мажет морилкой комоды…

Отчего мы поссорились? Разве за ужином я слишком много пил? Мне не хотелось с этим соглашаться. Было так жарко: свечи в июле, надо же додуматься. В такой вечер пьешь потому, что в горле пересохло. Ну а потом этот разговор… Я чувствовал, что Женевьева за мной наблюдает. Знаю я эту ее манеру, когда она молча восстает против меня. Она не выносит, когда я злобствую, говорю резкости, требую всеобщего внимания. Потом, в темноте, которую разрезали фары нашей машины, столкнулись наши голоса: ее — отчужденный, мой — отяжелевший. Пьяный, я и сам чувствую, как неуклюже ворочаются слова, будто на дне каждого плевок. Под конец мы оба замолчали.

Дверцы машины хлопали, ключ гремел в замке — шумное вышло возвращение. Мы больше не

разговаривали, но и в походке и в движениях прорывалась злость.

Я не сразу заметил, что собаки не видно. У нее уже появились свои привычки: когда нас нет, она спит наверху, на нашей постели. Но стоит машине подъехать к дому, она мигом просыпается и, ошалев от нежных чувств, мчится нам навстречу. Едва мы успеваем открыть и закрыть за собой парадную дверь, она уже тут как тут, начеку, ловит каждое наше движение. В такие минуты отбою нет от ее ласк, она лижет руки, теребит зубами шнурки ботинок, высоко подскакивает, требуя, чтобы ее взяли пл руки. А в этот вечер ни слуху ни духу. Лишь глухая, еле сдерживаемая ярость помешала мне заметить, какой холод, какая тишина встретила нас.

Только у подножия лестницы я услыхал, что она где-то скулит. И еще не удержался, сказал:

— Вот дуреха, застряла в ванной и не может выбраться…

И пошел доставать из холодильника пиво. Возвратясь в прихожую, я расслышал отчаяние в этой тихой жалобе, доносившейся со второго этажа, и вдруг короткое тявканье, заглушенный зов…

— Что это…

Женевьева тоже прислушалась.

— Полька! — позвал я и кинулся наверх, перескакивая через две ступеньки.

Я нашел ее на полутемной площадке третьего этажа. Повизгивая, она ползла мне навстречу, но как ползла! Это было ужасно… Так она нередко потягивалась, просыпаясь, но теперь задние лапы ее волочились. Она подвигалась судорожными рывками, с трудом подтягивая бессильное тело одними передними лапами. И неуклюже виляла хвостом, подметая пол. А в глазах, обращенных ко мне… Я зажег свет. Никогда еще ни в чьем взгляде не видел я такого выражения: ужас, недоверие, мольба, какая-то беспомощная, увлажненная слезами радость… Я опустился рядом на колени. Положил ладонь ей на крестец. Опять она слабо, приглушенно тявкнула — такой же вскрик я слышал раньше, когда был еще внизу, — обернулась и поглядела на мою руку, тронувшую, видно, самое больное место. Так вот оно что: паралич задних конечностей, мне говорили, он часто поражает собак этой породы.

— Что там такое? — окликнула Женевьева. — Где Полька?..

Осторожно, как только мог, я взял собаку на руки, сел на пол и прислонился к стене; теперь я

разглядел на камне влажный след, оставшийся там, где она ползла… До чего она перепугалась… До чего жутко ей было, если она провела так несколько часов, скованная, пригвожденная к полу, не в силах вскочить на постель, где разложены наши пижамы, ее всегдашние сотоварищи в часы терпеливого ожидания, не в силах спуститься по лестнице в этот бездонный колодец, и только изредка тявкала, все тише, все слабей, звала Розу, которая не могла ее услышать, и нас звала, ждала нас, в ужасе от того, что не может двинуться, что все тело ее, созданное для игр и беготни, сражено и пронизано болью, а нас нигде нет, и всюду в доме темно… Теперь она вся дрожала, прижимаясь ко мне, выгнув спину от боли, но где-то в ее сведенном судорогой теле я ощущал словно намек на движение, попытку вильнуть хвостом, показать, как она мне рада; она уже не переставала скулить, она задыхалась, глядя в потолок большими, в черных обводах, глазами, и все-таки то и дело поворачивала голову, безуспешно старалась лизнуть меня в щеку, но не могла дотянуться. Я крепко прижимал ее к себе — так, чтобы не сдавить ее, не причинить новых мучений, но укрыть, защитить, создать ей из моих объятий убежище; никогда никого

из детей я так не баюкал, я шептал ей что-то, старался и словами, и собственным теплом унять эту дрожь, слишком сильную для такого маленького тела и, кажется, готовую его разорвать, а она все длилась, длилась… Как это несправедливо, как глупо и жестоко — в награду простодушию такая мука, такое одиночество… Мы были далеко, этот ужин при свечах, в углу насмешливая улыбка Женевьевы и потом наше возвращение, спор, пустошь, по которой шарили лучи наших фар, — а тут Польку пронзила острая боль, и, может быть, она упала, может быть, скатилась с кровати, пыталась уйти от боли, зажавшей ее в капкан, пыталась прыгнуть, бежать, но холодная черная рука придавила ее к полу. И тогда в тишине она стала звать… Все это поднималось во мне, подступало к горлу, перекатывало, точно прилив гальку, образы несуразные и постыдные, перебирало нелепую жизнь, ее долгие-долгие часы, и, наконец, хлынуло рыданием, взорвалось рыданием — опьянение мое еще не совсем рассеялось, я еще раздваивался и словно со стороны услышал сам себя, услышал, что плачу, все еще что-то бормоча Польке, силясь ее успокоить, нахожу для нее самые нежные слова, которые мне всегда так трудно бывало выговорить, плачу, да,

как изредка плачут по ночам мужчины, когда в отчаянии поймут; все напрасно…

Так и нашла нас Женевьева, когда поднялась по лестнице: я скорчился на площадке, прислонясь спиной к стене, сомкнул руки вокруг Польки и ревел как маленький, ревел так, что уже не мог отвечать на вопросы, и тогда произошло вот что. Знаете эту игру, когда начинаешь притворно хныкать, чтобы верный пес прибежал тебя «утешать»? Польке удалось кое-как перегнуться ко мне, она дотянулась до моей физиономии и принялась старательно слизывать с моих щек, с носа, с подбородка слезы, которые я проливал над нею, а быть может, над нами. Женевьева опустилась на пол рядом со мной и расширенными глазами смотрела на нас.

— Паралич, — сказал я ей, — спина наверняка парализована…

И Женевьева, как прежде сделал я, положила ладонь на Польку, которая больше не дрожала.

Быть может, здесь уместно на минуту остановиться и молить о снисхождении? Этажом ниже, в полусотне шагов от лестничной площадки, где рассказчик убаюкивает Польку (он признается, что никогда не решался на такие нежности ни с кем из детей), — итак, этажом ниже приго-

товлены, премило убраны и с большим вкусом заново обставлены две комнаты, обращенные на восток; по всему видно, что во время недавних работ здесь позаботились о каждой мелочи. Одну комнату окрестили «комнатой Беттины», другую — «комнатой мальчиков». Через несколько дней (паралич разбил собаку незадолго до 15 июля) в этих комнатах поселятся трое детей; всем вместе им тридцать шесть лет, а главное — надо думать, надо надеяться — на них-то и сосредоточены чаяния и надежды, любовь и нежность, все, что не принято оставлять только для животных. Таким образом, пожалуй, замечается некоторое несоответствие между трогательной сценой (Полька) и видимым равнодушием к будущим обитателям этих двух комнат (дети), некоторый разрыв, способный омрачить чувствительные души. Стало быть, нужно объясниться.

Даже самому сухому сухарю, даже тому, кто начисто не способен высказывать свои чувства и стесняется пылких порывов, самому закоренелому холостяку, самому замкнутому отшельнику, себялюбцу, неуклюжему медведю необходимо хоть изредка перевести дух. Одиночество — как погружение в воду: окунешься и на время останешься под водой, но порою надо и вынырнуть,

глотнуть свежего воздуха. Я знаю, о чем говорю.

Иные плохие отцы прекрасно умеют ладить с чужими детьми: тут им хватает смелости. Иные холодные любовники или мужья в автобусе оказываются любезными кавалерами. Ну и так далее. Мне тоже нужна законная доля нежности. И тут мне помогает Полька, ее я обнимаю не стыдясь, она с такой милой беззаботностью засыпает, растянувшись подле меня во всю длину. Полька мне помогает, ведь так ясно, что я ей нужен. Иные люди к старости с головой уходят в свою скорлупу и в животных, укутываются уединением, точно дорожным плащом, и доживают свои дни в едком запахе шерсти и мочи, в горьких и нелестных мыслях о роде людском. Могу ли я сказать, что понимаю их и сочувствую?.. На крутом повороте так легко соскользнуть от одиночества к человеконенавистничеству. Мне по душе, что такие чудаки души не чают в своих кошках и собаках. Мне по душе домишки в пригородах, неприветные, недоверчивые, ощетиненные предостерегающими надписями — не подступись! — где плодятся фокстерьеры, злющие персидские коты, а то и мартышки или белые мыши. Мне по душе нежность, которую питают эти старые сумасброды к своему зверью, потому что я знаю — твердо,

сокровенно, знанием, запрятанным в глубочайших тайниках моего существа, — как трудна нежность. Почти неосуществима. Неблагодарная роль. Безнадежное предприятие. Вот так. Полька ничего ни у кого не отнимает. Полька не станет выставлять напоказ ни своих нахальных поклонников, ни заковыристые вопросы, которые достались на экзамене. Полька не старается, как Ролан, на прогулке ни к селу ни к городу заводить высокоумные разговоры. Я кладу руку ей на грудь и ощущаю неистовый трепет жизни; смотрю, как дружелюбна и естественна она в каждой своей затее, — и это примиряет меня с тем, что приходится видеть вокруг; кто же чувствует себя оскорбленным, кого тут предали? Полька царит в том уголке моего сердца, который слывет недосягаемым для людей, однако их удары проникают и сюда, и от этого больно, так больно… По этой боли можно удостовериться, что я и вправду член нашей семьи… Все ли вам ясно?

Два часа ночи. Ветеринар — вернее, его заместитель, который сообщил нам, что доктор Альдебер уехал отдыхать, — по телефону невнятно нас обругал. Женевьева спросила, как он советует, можно ли дать лекарства, которые у нас под рукой, он ответил: «Один черт», — и повесил

трубку.

Когда я хотел уложить Польку на кровать, она заскулила еще жалобней. В глазах ее выразился ужас: без сомнения, здесь-то ее и настигла беда. Она поползла было в сторону ванной. Я отнес ее туда, и она долго, жадно пила. Ее опять стало трясти. Тогда я лег рядом с ней прямо на полу, укрылся одеялом и край его натянул на согнутую руку, так что над собакой получилось подобие шатра.

Она, видно, не могла толком сомкнуть веки, должно быть, глаза налились кровью. Дрожь унялась, но изредка все тело сотрясала внезапная судорога, задние лапы оставались вытянутыми, мышцы словно окоченели. Так вы глядят освежеванные кролики, чьи тощие ноги будто навек застыли посреди прыжка. Обессиленную, ее клонило в сон. Короткие спазмы уже не выводили ее вполне из этого оцепенения, которое могло незаметно завершиться смертью. Женевьева сидела на корточках подле меня. Я все гладил Польку по спине — медленно, размеренно: это была и ласка, и массаж, самый бережный способ показать ей, что она больше не одинока в беде. Время длилось, длилось, порой его разбивал на части колокольный звон. Женевьева погасила

свет, осталась только одна лампочка в коридоре. Мы не обменялись больше ни словом, но нам стало спокойнее.

Быть может, я задремал? Вдруг до меня дошло, что Полька пробует пошевелиться; она повернула ко мне голову, потом протянула ее в темноту. Я спустил ее на пол, и она потащилась к двери, невыносимо было смотреть, как она силится ползти. Опять я начал расспрашивать ее, подбодрять словами. Потом отнес ее к лестнице, и тут она коротко тявкнула. Тогда, как бывало уже столько раз в эти ночи, я стал босиком спускаться с лестницы, но теперь я прижимал к себе Польку, скрюченную, смятую недугом, а ведь она была такая длинная и так этим гордилась! Завидев дверь, ведущую во двор, она снова тявкнула. Женевьева отворила дверь. Я поставил собаку наземь у самой травы. С неба падали крупные теплые капли: подступала гроза, которой ждали весь день, вдалеке вспыхивали молнии. Полька сделала два или три неуклюжих шажка, чуть присела и помочилась в какой-то нелепой позе, закинув к нам голову, заложив уши назад. И повернула обратно, двигаясь словно бы чуть свободнее. Но у порога остановилась, и ее опять начала бить дрожь. Мы отнесли ее наверх, осыпа-

ли похвалами и ласками, точно щенка, которого впервые приучают к чистоплотности.

Немного погодя стало светать. Над пустошью на горизонте прорезалась огненная полоска. Женевьева уснула, но я слышал, как она стонет и тяжело ворочается во сне. К семи утра мы были уже на ногах. Полька, завернутая в одеяло, куда мы сунули грелку, внимательно следила за нами.

Небо, промытое ночной грозой, обещало ослепительный день, когда около восьми мы позвонили у двери ветеринара.

> Будьте уверены, я и сам додумался, только про это его, пожалуй, всего трудней было спрашивать. Вы уж, верно, поняли, с таким человеком говорить не просто, он вам навстречу не пойдет. И заметьте, вообще-то ничего тут неловкого нет, всякого можно спросить, чем он занимается… Но это вообще, а вот с ним… Все равно как про детей. У нотариуса, когда подписывали купчую, я вдруг подумал, как же так. Ничего не сказано, какая у него профессия. Он даже засмеялся, когда про это помянули, — пишите,

говорит, «собственник», как при Луи-Филиппе… Так что ничего я не узнал. Ладно. Конечно, мадам Фромажо, супруга моя, толковала что-то про телевидение, но мало ли кто там выступает — и профсоюзники, и политики, и про вулканы, и какой-нибудь круглый стол, почем я знаю. Она-то на артистку смахивает. А насчет него я вам скажу, деловые люди не ходят с волосами чуть не до плеч, да еще с немытыми… хотя все на свете меняется. Киношник? Им в такую глушь зарываться ни к чему. Набрался я храбрости. Он был в духе, как захохочет. «На все руки, — говорит. — Дорогой мой Фромажо, я писатель на все руки». Потом, верно, по лицу понял, как меня огорошило. И давай объяснять, даже очень любезно. Только я все равно почуял, что сунулся куда не надо, что это тема опасная. Тут и она подошла и стала слушать. Я, мосье, не такой уж психолог, но неловко стало до того — дышать нельзя… А дело было в гостиной. Я к ним почему пришел — надо было дать ему подписать бумагу насчет общности владения. И вот он то ли злит-

ся, то ли измывается — поди пойми! Мол, будьте покойны, Фромажо, я работаю. Не святым духом живу. Точнее, как это называет моя жена, она иногда не стесняется в выражениях, я *мараю бумагу.* По заказу мараю. На высокие темы. И тут он пошел сыпать всякими штучками, затрудняюсь вам пересказать. Чего только не наговорил — тут и герцог де Линь[24], и девичьи сердца, и какие-то виллы неведомо где, и Верден, и отцовские тревоги… Как плотину прорвало. Чувствую — вроде он шутит, а вроде это и правда. Я прямо не знал, куда деваться. Не помню к чему, а только я вам уже говорил — никогда не известно, чего от него ждать. Кажется, просто валяет дурака, а если вдуматься в эту его болтовню — все верно. Но до чего умеет сбить с толку! Ввернешь словечко о том о сем, не успеешь разойтись, хвать — он уже перескочил на другое… Мол, вы думаете, Фромажо, я человек состоятельный? Ошибаетесь, мой дорогой, ошибаетесь. Просто я изворачиваюсь,

**[24] Примечания: 24**

Шарль-Жозеф де Линь (1735–1814) — писатель, известный своим остроумием.

как все на свете. Первым делом смотрю, на сколько выписан чек. (Об этом я тоже не забываю, будьте уверены). Они меня, видите ли, не поймали. Слишком поздно. Тантьемы[25], жетоны, проценты, четырнадцатый месяц… (Я вам все это пересказываю вперемешку, с пятого на десятое. Я ж говорю, как плотину прорвало. А она как ни в чем не бывало подает нам выпивку. Да-да, она подливала масла в огонь!) Хорошая жизнь — это как автобусная линия… Адреса. Кварталы. Адреса один другого лучше. Думаете, конечная станция — Порт Дофин? Нет, дружище, конечная станция — Левый берег. Дом — первый класс, господин агент по продаже недвижимости. На парадной двери резьба… Наяды, тритоны… А теперь — сами видите… (И он обвел рукой гостиную — гляди, мол: по стенам драпировки еще толком не натянуты, висят кое-как, кресла эти, всё малость колченогое, потрепанное, чего уж там, в их вкусе, верней сказать, в их духе). Согласитесь, если каж-

**[25] Примечания: 25**
Дополнительное вознаграждение высшим служащим.

дого юнца спрашивать, где он хочет быть первым, в деревне или в Париже, так в провинции не останется ни одного великого человека! И вот таким манером — двадцать минут без передышки. Винегрет какой-то — и похвальба, и колкости, и печальное, и потешное. Сам я был не в своей тарелке, про это уж и не говорю, влезли бы вы в мою шкуру, а главное, за нее душа болела. Но у нее и выдержка же! Умеет женщина владеть собой, ничего не скажешь. Преклоняюсь. Мне и четвертой части не пересказать, что он наговорил. И про двоюродного брата, который взял верх в какой-то семейной тяжбе. И про Флобера, который что-то там написал. И про орден Почетного легиона, вот, мол, некоторые с орденами, а переходят на сторону рабочих, голосуют за независимых… Попробуй тут разберись, что к чему. По чести вам скажу, у меня и охота пропала разбираться. Во-первых, от этой его дурацкой болтовни у меня голова кругом пошла, а во-вторых, возле меня на столике лежали газеты. Я одну прочитал, там была заметка про благоустройство

Лангедока. Тут он стал зубоскалить, и я так понял, что он, верно, сам пишет в газетах. Что ж, по-моему, это не позор. Ну ясно, кто в бульварных листках промышляет, тем я не доверяю. Это все вранье и вымогательство. А есть солидные журналы, роскошные, в такие писать не стыдно. Собрался я уходить, чувствую, голова кружится, и никакой больше охоты с ним рассуждать. Вот так-то! Простились мы в тот вечер довольно холодно. Пошел я и чувствую, смотрит она мне вдогонку огромными своими глазищами, прямо насквозь спину буравит. С лестницы сходил — цеплялся за перила. Не помню, как очутился за рулем, чудеса, да и только. Сами знаете, каково это — натощак. Короче говоря, он журналист или вроде того. Очень может быть, что и по телевидению выступал. Мадам Фромажо, супруга моя, будет весьма довольна.

Мы поехали в город встречать Беттину. Аэропорт в это время года напоминает вокзал Перрос-Гирека или Ульгата в июле, году в тридцать пятом. Сетей для ловли креветок больше не

видно. Но волосы ребятишек по-прежнему у корней выбелены морем и лбы — точно галька, которую обкатало и высмуглило лето. Отчего же теперь у жизни какой-то иной привкус? Десятилетия прошли над моим родным краем, как сон. Несчастья и смерть позабыты, ничего они не значат. Девушки стали еще красивее. У калитки по-прежнему стоят продавщица сигарет и шофер фирмы «Герц» (его желтая с черным бляха напоминает мне о поездках по Америке), а за ними в зеркале нас встречают два отражения: Женевьева — худощавая, загорелая, подтянутая, лицо уже готово просиять улыбкой — и рядом отяжелевший сорокалетний дядя. А, правда, я и забыл! Всегда забываю… Десять, двадцать лет назад во всех зеркалах, когда я к ним подходил, отражалось нечто, очерченное легкими вертикалями, в бежевых и серых тонах, и это был я. Хотя всегда замечалась некоторая сутуловатость. Теперь все это раздалось вширь, полотняный костюм обтягивает массивный торс и плечи, над толстощекой физиономией ветер треплет поредевшие космы. И это тоже я. Молодая сила, молодой задор, буйная светлая грива, которую не мог укротить ни один парикмахер, — вот что прежде всего поддалось усталости.

Довольно. Человек достиг зрелости, намечается плешь — поэзии в этом ни на грош, не так ли?

Наконец-то объявляют о прибытии самолета. Юная француженка Беттина возвращается домой, проведя месяц в Суссексе или в Брайтоне, — во всяком случае, там, где полагается. Все это старо, как мир. Она привезет с собой длиннейший шарф ослепительной расцветки — подношение какого-нибудь Боба или Чарли (а может быть, он куплен вчера в Лондоне?), две пачки сигарет «Бенсон и Хеджес» (и две недели она не пожелает курить ничего другого) и пристрастие к имбирной шипучке. В Лоссане ее навряд ли раздобудешь, придется Беттине отстать от этой привычки. Когда-то мои сестры, кузины и даже — столетия не прошло! — мои послевоенные подружки возвращались из таких путешествий, изрядно растолстев на сливках и пирожках. Хоть через прокатный стан их пропускай. А как они преклонялись перед британскими газонами! Но Беттина родилась в канун пятидесятого. За год, проведенный в Шексбре, она успела вдоволь полакомиться «швейцарским печеньем». Среди ее товарок по коллежу только уроженки Ближнего Востока еще находят утешение в сластях. Пирожными и тортами они усиленно залечива-

ют сердечные раны, полученные где-нибудь в Гштаде или Вербьере. Вот и она.

Моя Беттина — тоненькая, точеная, нежно-угловата и молчалива. Она приветствует нас издали сдержанной улыбкой. Ждет, не глядя на нас, пока закончатся таможенные и прочие формальности. Женевьева и я, как истинные философы, тоже проявляем нашу радость в рамках столь томной сдержанности, что нам за это простится немало грехов.

Беттина подходит. Мы обводим ее тем взглядом, каким, возвратясь из дальних странствий, уже с порога окидываешь свой дом. И еще взгляд, каким обмениваются влюбленные после разлуки (после писем, тоски, всей страсти, что оставлена была на произвол судьбы), — чуть затуманенный удивлением или разочарованием, этого ей пока еще не понять. А сейчас, смеющаяся, целая и невредимая, она предстает перед своими владельцами. Владельцы очень скромны. Я знаю, Женевьева мигом подвела итоги: никаких признаков легкомыслия в одежде, прическа прежняя, строгая, вот только налет усталости на лице, пожалуй, чересчур оно бледное… А может быть, тут не обошлось без косметики? Она легонько проводит пальцами по щеке дочери, и тотчас

Беттина угадывет ее мысль:

— Знаешь, в Корнуэлле так мало солнца…

Стало быть, это был Корнуэлл? Да, в самом деле: «Truro, Cornwall» — оттуда она присылала нам маленькие серые снимки: гранитные глыбы, соломенные крыши.

Мы выходим из здания вокзала под яркое солнце — и кажется, Беттина сейчас застонет от наслаждения: она подставляет его лучам лоб, лицо, сомкнутые веки так порывисто и непосредственно, куда охотней, чем несколько минут назад под наши поцелуи. И заявляет без всякого перехода:

— Знаешь, в Лондоне я встретила Ноэль, она вернулась из Шотландии, приедет погостить к дяде в Вар, я пригласила ее к нам, вы не против?

Надо будет освоиться с этой новой, неожиданной манерой, вывезенной из Корнуэлла, — Беттина трещит, как пулемет. А только месяц назад мы посмеивались над ее швейцарской медлительностью… Стремительный поток слов, прерывистый и все же однообразный, только подчеркивает, что с виду она совсем пай-девочка. Должно быть, в Англии она весь месяц провела среди юных парижанок, чудо-модниц из Пасси. Чему еще ее там выучили?

— Знаешь, — она открывает дверцу моей машины, — я там водила «триумф»...

— Какой же герой отважился пойти на такой риск? — спокойно осведомляется Женевьева.

— Никакой не герой, а миссис Стокфилд, невестка Дугласа, ты ее знаешь, папа.

(С этими словами Беттина гордо усаживается в машину; нет, мужчинам она ничем не обязана!)

— Хотя тебе «триумф» не понравился бы, все-таки нескладная телега.

Остаюсь в машине, пускай Женевьева с Беттиной ходят по магазинам без меня. В кронах городских вязов и платанов укрывается несчетное множество пернатого народа. Я опускаю стекла, и на минуту птичий щебет заглушает все уличные шумы. Моя жена и дочь проходят в полутьме, где солнце не так ярко; мне видно, что они оживленно беседуют.

Есть ли на свете слова, которыми можно без неловкости и угрызений совести говорить о собственной дочери? О теле собственной дочери? Может быть, тут просто повинны лето, летнее платье, или какая-то лень, которая разлита сегодня во всем — даже машины словно медлят в душных сумерках, — или какая-то разнеженность мыслей?.. Была ли Беттина так хороша в июне,

когда я поехал забирать ее из коллежа в Веве? Тогда я не ощущал в ней этого порыва, наполняющего все тело, устремления ввысь — подняться и поддержать: так взывает колонна к орнаменту капители, так африканскую рабыню не давит тяжелая ноша, но заставляет неодолимо тянуться к небу, словно молодое деревце. Вот только сейчас, у аэровокзала, когда она, зажмурясь, подставила солнцу лицо, на миг, на один лишь миг испарились все следы воспитания и вышколенности: точно зверек или дикарка, вся она была — бьющая ключом благодарность, радостный дар на жарком алтаре дня. Да, я слукавил, рассуждая о солнце и развивая архитектурные сравнения… А если честно, о теле я умею говорить только словами желания. Это они, самые верные, самые жгучие, пригодились бы мне, только произносить их надо по-особенному, напитать умиротворенностью, которая, казалось бы, с ними несовместима, наполнить, если угодно, наивностью. Не так просто рассказать о наивности мятежными словами. Моя нежность подмечает жадные и удивленные взгляды, обращенные навстречу Беттине, она их копит, ими питается. Я давно спрашивал себя, как я примирюсь (если примирюсь) с тем, что Беттина станет дичью, вот как сейчас, когда она в

зыбких тенях идет по тротуару. Мне мерещились (на эту тему существует немало красочных семейных преданий) приступы удушающей ревности. А меж тем я с удивлением слышу в глубине души только горестную, но и нежную музыку. Говорят, старики вовремя изобретают для себя скуку, она помогает им умереть. Быть может, я изобрел самоотречение, которое поможет мне выносить красоту Беттины? Или, может быть, просто ее сила питается моей усталостью? Нет, во мне не закипает гнев, ни малейшего желания устраивать сцены; только сдержанное и, пожалуй, чуть насмешливое любопытство. Вот уж чего никак не ожидал! Опасная это штука — уловить точный оттенок чувства! Миллиардер уже завещал свою коллекцию музеям. Отныне все это изящество, весь потаенный жар у него лишь во временном пользовании. Уверяю вас, я смотрю рассеянным взглядом, как любитель, почти как проходящий мимо сосед… Я не хочу мучиться.

Они возвращаются. Обе оживлены, разрумянились — сообщницы по лавкам и нарядам. Так вот какой станет когда-нибудь моя Беттина? Жизнерадостная молодая женщина, четко постукивают каблучки, и весь облик отчетлив, и одежда, быстро усвоенная модная небрежность,

и с мужчинами она будет говорить вот так же уверенно, весело, стремительно?.. И это она, моя молчальница! Женевьева села за руль, я отправляюсь на заднее сиденье.

— А знаешь, ты переменилась!

Промах. Непростительный промах. Только отец способен так по-дурацки попасть пальцем в небо. Лицо Беттины мгновенно замкнулось. Снова она — пленница своего возраста и своей сдержанности, строптивый лакомка-зверек, который умеет смотреть так холодно, отчужденно… Ох, как все это трудно! Женевьева безмолвно, одним лишь искоса брошенным взглядом измеряет глубину моей растерянности. И среди нашего надутого молчания принимается говорить о другом — о предстоящих делах, о Польке, о Лоссане. Она знает, несмотря ни на что, Беттина прислушивается, и я недолго устою перед искушением вмешаться. Беттине наплевать, что Робер приедет через три дня и что Ролан завтра возвращается из летнего лагеря — вот как, он три недели провел в Коссе?

— В хорошем виде он вернется! Будет работа его отмывать…

Тут она улыбается, она ясно представляет себе эту сценку: братишку оттирают губкой и щеткой! Веселые действа в ванной, которые перемежа-

ются звонкими шлепками и заканчиваются потопом, — одна из самых больших удач в жизни нашего семейства. Подумав о воде и купанье, я решаюсь заговорить про бассейн: расчеты закончены, может быть, сегодня утром рабочие уже взялись за дело…

— Правда? Можно будет по-настоящему купаться? И нырять? Что же вы мне не писали? Представляете, какое купанье на мысе Лендс-Энд? И они еще хвастают, что их омывает Гольфстрим! Вот если бы…

Ее рука отыскивает мою. Она засыпает меня вопросами. Она презирает всякое обзаведение, роскошная машина миссис Стокфилд для нее телега — и вдруг… право, можно поклясться, что она в восторге от Лоссана. Или это она хочет доставить мне удовольствие? Я перебираю все, чем замечателен наш новый дом, и умолкаю, лишь заметив, что взгляд ее затуманился. Тут вмешивается Женевьева:

— Ты же знаешь папу, по его словам, это настоящий Версаль, а на самом деле все только строится…

— Так это надолго? Семь месяцев? Восемь? Пускай твой дом поскорей приходит в порядок… А я-то пригласила Ноэль…

Машина начинает петлять, взбираясь по косогору. Скоро выедем на плато. Вдалеке поднимается столб дыма: все лето в ландах вспыхивают пожары. Тут Женевьева — гениальный дипломат — включает радио, что-то там на длинных волнах.

— Ой нет, не надо! — кричит Беттина. — Этим я сыта по горло… Лучше расскажите еще.

Быстрая езда, свежий ветерок. Женевьева успокоилась, Беттина внимательно слушает — наконец-то можно разыграть счастливое возвращение под отчий кров, роли распределены, как положено в воспитательных целях, углы сглажены… и тут во мне поднимается смутное, пока еще очень смутное отвращение. Попался. Вот я и попался. Никто из нас троих не был вполне искренним. Каждый, как говорится, подлил в вино воды. Стоит ли глотать это бледно-розовое пойло? Наверно, еще до вечера Женевьева по обыкновению станет нервничать, а Беттина отмалчиваться. Изо всех сил я старался не поддаться чисто мужской недоверчивости, которая заставляет меня подозрительно приглядываться к собственной дочери. Все трое мы мурлычем песенку, пытаемся друг друга провести, но где при этом наши истинные «я»? Если я замолчу,

если дам хоть немного воли мускулам и лицо мое застынет, через минуту-другую на лбу Женевьевы вздуется синяя жилка, а Беттина тоже умолкнет. Она уже молчит. Как? Она с таким блеском разыграла комедию, а ее не оценили?.. Нет, право, несносные люди… И эта жара, голая равнина, треск цикад, от которого хочется скрипеть зубами, — что это, пустыня? Ладно, если по правилам игры надо прикусить язык, они могут не беспокоиться, это я сумею. И первым делом напишу Ноэль, чтоб не приезжала.

А вашим, мол, сколько лет? Чего-чего, а этого вопроса я не ждал. Бормочу что-то, а он и говорит — без злости, вроде даже смеется и других призывает в свидетели — вот, мол, Фромажо не помнит, сколько лет его детям! Все давай хохотать. И я тоже, ясное дело. Потом говорю: три года и шесть лет. Двое мальчишек у меня. Он вроде задумался, а может, вспомнил о чем. Ну, мол, приятель, вы еще хлебнете с ними… Вот увидите, с молодежью найти общий язык — это не шутка! Так и сказал, как вам это нравится? Все только головами покачали. Такие разговоры им сильно

не по душе. Вроде неприлично. Все равно как засветить лампу в головах, когда… ну, замнем. А потом он говорит: «Может, я и зря выдумываю. В конце концов, они просто звереныши, надо им дать волю, пускай перебесятся». (Да-да, так и сказал, поглядели бы вы на мосье Ру, его чуть удар не хватил!) Но это, мол, не так-то легко. Думаешь, меня должны слушаться, я лучше всех понимаю, ну и вмешиваешься. И все портишь, Фромажо, все только портишь. «Вот увидите, оставят они вас ни с чем…» Сказал он так, повернулся и ушел в дом. И все как воды в рот набрали — мосье Ру, и еще там были столяр с подручным. Всем не по себе. Как бы вам объяснить? Будто он взял да и разделся перед нами догола. Вот такой человек. Я-то уж начал к нему привыкать, но согласитесь…

В иное утро мы напоминаем вполне добропорядочное буржуазное семейство, а в иные вечера — чету пьяниц-англичан. Джин прозрачен, как вода.

Вчера явились Робер и Ролан — чтоб поберечь

нервы, мы все это подогнали на одно время. Робера привезла Соня, за три недели в Ульгате его южный загар немного слинял. Все карманы у него полны песка. Если приложить к нему ухо, услышишь шум прибоя, точно в морской раковине. Ролан скрепя сердце ездил в летний лагерь со скаутами. Любое из этих двух слов — скауты, лагерь — приводит меня в ярость. Он это знает, и мы оба смеемся. Женевьева раскрыла его рюкзак — ну и запахи же оттуда поднялись! Ролан без умолку расхваливает Тарнские ущелья. Мальчик говорит о пропастях и всяких чудесах природы, точно о подвигах какого-нибудь выдающегося спортсмена. Всматриваюсь в его лицо — давняя тревога… Но нет, можно только радоваться. Общество этих парней в штанах по колено его не испортило, все то же обаяние и милая ленца, которую я так люблю.

Беттина в три дня разделалась с английскими впечатлениями. Сегодня утром она даже закурила «Голуаз». Отвратительный жест, и все же он меня успокоил. Беттина, от которой несет табаком, как от унтер-офицера, на мой взгляд, куда лучше, чем Беттина с заскоками. Увы, она упрямо носит только мятые платья, вынутые из чемодана. Женевьева — само терпение, кроткое,

но стойкое, — наверняка ее переупрямит.

Каждый из троих, сделав над собой героическое усилие, долгие десять минут посвящает Лоссану. Робер думает только об одном — как бы поторопить рабочих, чтоб скорей доделали бассейн. Ролан полагает, что мы неплохо устроились, нет-нет, совсем неплохо, а Беттина, недавняя жительница Швейцарии, явно не может примириться с тем, что деревня чистотой не блещет. Первое августа, уж и не помню, когда мы выглядели столь образцовым счастливым семейством. Дом так и гудит; крики, смех, джаз, газеты, конверты от пластинок, запахи лака и растворителя и такой топот… кажется, вот-вот рухнет все, что успел воздвигнуть мосье Ру.

За три дня я постарел на десять лет.

Вторжение наших детей в Лоссан (три пары глаз, тридцать шесть лет, три то молчаливых, то насмешливых рта) застигло нас в самую горячую пору. Когда где-то что-то начинает барахлить, нам вовсе не нужны такие сви детели. Представляете, пароход еще не спущен со стапелей, а на борту уже появились пассажиры? Так и тут. Раньше, когда в моей жизни разыгрывалась очередная драма, обо всех прочих драмах, прошлых, настоящих и будущих, я начисто забывал, а вот

стал главой семьи — и этот благословенный дар сыграл со мной злую шутку. Ничто не ладится; внезапно все пошло наперекос. Я забыл, какие дикие вопли испускает Робер, какую скуку наводит Ролан, как замыкается в молчании Беттина. Три эти реальные силы внезапно сокрушили мой воздушный замок. И вот все мы в тупике.

С тех самых пор, как в вечер нашего переезда расплакалась Роза, и до минут, когда мы в здании аэровокзала ждали Беттину, между мной и Женевьевой непрестанно струились живые токи: участливая снисходительность друг к другу, несчетные роднички юмора и дружелюбия. А за эти три дня мы ни разу не встретились взглядом — не хватало времени. Да, это, наверно, не пустяк — изо дня в день оставаться почтенным семейством. Я восхищаюсь Женевьевой и очень невысокого мнения о себе, но, как бы искренне ни отдавать дань уважения, это не заменит настоящего тепла. Будем честны и откровенны: от буйства детей у меня мороз по коже.

В выражении «нравственное здоровье» одно слово излишне. Вероятно, здоровье. Человек может ощущать свое отцовство как некий недуг, и вовсе не обязательно считать его за это прохвостом. Нежность иной раз не облегчает, а

усложняет дело. Быть может, немало моих тревог, связанных с детьми, идет как раз от нежности — неуклюжей, скованной, чересчур разросшейся и почти безответной? Легкость отношений, непринужденность, веселый смех, который так украшает семейную жизнь, — это лишь нарядная оболочка; кто же даст себя провести такой малостью…

> Уж не знаю, с ним тогда Бенист повстречался в «мистрале» или с кем другим, но только в Лоссане он его не упустил. Вот был цирк! Вам бы поглядеть, как Бенист к ним заявился. Он это называл открыть воду. А открыл настоящий балаган. За словом в карман не лез. Такими делами одним шутам заниматься, вот что я вам скажу. Я бы так не мог. Вообще-то надо было пустить в ход фильтр, чтоб очищать воду в бассейне. Бенист — заклятый враг всяких личинок и микробов. Он и свой-то водопровод не очень скрывает, любит пофорсить. По-моему, он все три дня не вылезал из Лоссана. Этакий важный специалист, чистенький, наглаженный, рукава закатаны, бицепсы так и играют,

штаны в обтяжку, из немнущейся материи… А на женщин такое действует, вот провалиться мне на этом месте! Электромонтер, старик, готов был его удавить. Уж не знаю, как оно получилось, но только тут оказались шланги со всей округи. Реквизировал он их, что ли. И детишки тоже тут как тут. Лоссанские — девочки-то не было, только оба мальчугана — с утра пораньше в одних трусах. К семи часам Бенист на пять минут скрылся, потом, гляжу, является, ни дать ни взять победитель на конкурсе красоты. Знаете, как на рекламе: за тридцать дней — мускулы с гарантией! Крохотные плавки, белые, как до войны, вид самый что ни на есть бесстыжий. Такая мода, верно, в Алжире. Дочка ихняя на него поглядела, на Бениста, — ох, и красотка же! — шепнула что-то матери на ухо. И обе как захохочут! А наш атлет ничего и не заметил: божественный прыжок. Он уговаривал девушку раздеться, искупаться, вода, мол, отличная. «Я вас научу прыгать, не сгибая ног». Чего там, просто ему хотелось потрогать ее коленки…

Из глубины сада вместе с ветром — порывы его то относят звук в сторону, то швыряют прямо на дом — слышится гудение насоса: еще один источник шума, Роза ворчит и жалуется, что ей «всю душу выворачивает». Душа и вправду издергана, вывернута наизнанку, но этого никто не замечает. Во мне поселилась неуемная тревога, словно где-то скулят псы. Качают мазут. Уж наверно, кольчатый шланг змеится между кустами лаванды, £ мосье Андре, у которого особая страсть хвататься за все грязное и тяжелое, наверняка взялся помогать истопнику. А позаботился ли он огородить фаянсовые кадки? И посаженные весной кипарисы? Все так хрупко… Цветочные горшки и кадки трескаются и лупятся; каждый день мистраль обламывает ветки, в считанные часы они буреют, и кажется, что кипарис погибает. Никто никогда не принимает всех необходимых мер предосторожности. Может быть, они воображают, будто мир так уж прочен? Надо бы застыть неподвижно посреди своих владений и следить за каждой мелочью; а может быть, вернее ни на минуту не останавливаться, снова и снова обходить крепость дозором, следить, чтоб не рвалось, где тонко, не дать противнику застичь нас врасплох, здесь закрыть хлопающую

дверь, там опустить занавеску от солнца. Хотел бы я стать сразу и часовым и патрульным. Зорко подстерегать из засады и в то же время носиться с места на место. Гуденье нарастает — или мне мерещится? Может быть, это ветер стихает. Все реже я слышу крики детей, чего-то они не поделили там, у бассейна, и переругиваются. Незачем подниматься и смотреть, я и с закрытыми глазами опишу эту сцену: Беттина спустила бретельки купальника и молча вытянулась на каменных плитах. Ролан притащил из своей комнаты проигрыватель и сейчас крутит на весь сад очередной привязавшийся мотивчик — пять, десять, двадцать раз подряд, досыта, как некогда крутилась неувядаемая «Венгерская рапсодия», заглушая голос мадам Пашабюльян. На этой неделе Ролан открыл для себя джаз тридцатилетней давности. Ну вот. Ветер далеко разносит обрывки голосов — то ли вопят пациенты в больнице Сент-Джеймс, то ли звучит «Сен-Луи блюз» — вечно я путаю этих святых.

— Старая штука, ей лет шесть, не меньше, — говорит Ролан и снова ставит ту же пластинку.

— Шесть лет! — не открывая глаз, Беттина пожимает плечами.

(Для первого встречного на улице — женщи-

на. Здесь, с нами и с братьями, — насмешливая девчонка.)

Робер спит после обеда.

— Не могу вынести эту жару, — заявила Женевьева.

Среди листвы я различаю дрожащие, словно пламя в печи, алые и голубые буквы — ESSO или, может быть, TOTAL. Тот тип с мазутом, уж конечно, не может удержаться — болтает с мосье Андре, следит за счетчиком, а сам нет-нет да и покосится на грудь Беттины, на ее плечи. Поднимает глаза на дом, бормочет себе под нос: «Интересно знать, во сколько им это все влетело…» Беттина кожей ощущает… Нет, мне мерещится. Слышу всплеск: кто-то нырнул. С весны она как-то по-новому краснеет — медленно, постепенно, словно тень румянца опускается под загаром от висков до груди.

— Ты на меня брызгаешь! — кричит Ролан.

По дороге на холм взбирается трактор. Может быть, Женевьева где-то в доме помогает Розе смочить белье перед глажкой? Или укладывает в ящик игрушки Робера? Каждое лето глаза Женевьевы светлеют. С тех пор, как мы в Лоссане, во взгляде ее нередко мелькает (по крайней мере так мне кажется) доля того же страха, что затаил-

ся во мне, — я вновь открываю его на дне души, едва замолкает наконец гудение насоса, и вся прелесть этого дня мягко берет меня за горло, чтобы придушить. И давит, давит… Слышится смех, голоса, хлопает дверца, и сквозь листву я вижу — мимо скользят алое и голубое ESSO или TOTAL. Надо бы посметь жаловаться, разложить эту блаженную картинку на составные части, взвесить дозы времени, труда, сна, мужества, которые входят в эту смесь — тяжкий хмель, оцепенение и безнадежность, что берут меня за горло и стискивают, и в груди все дрожит от удушья, и все это у Женевьевы называется «хорошенько отдохнуть после обеда». Да, слишком жаркое нынче лето.

Ну ясно, всегда одни и те же. Женщины не такие модные, как здешние девчонки, зато мужчины — поглядели бы вы! Штаны розовые, рубахи в цветах, туфли рыжие, что твой апельсин… Храбрый народ, ничего не скажешь! Разгуливать в таком виде не всякий решится. И ведь вот смех, «на гражданке», если можно так выразиться, это всё промышленники, издатели газет, в общем, не кто-нибудь. Видели бы подчиненные, какими шутами

они вырядились, куда бы девался ихний авторитет? Странно устроено наше общество. Хотя кто их там знает. Машины у них хороши, это да, и еще они не по-людски выражаются. А кроме этого, ничего не известно… Заметьте, никогда не говорят о деле, о своей работе. Только и разговору что о других, вечно кому-нибудь перемывают косточки. И все-таки не торопитесь судить, от этой шатии не бог весть сколько вреда. В деревне к ним уже немного привыкли, не обращают внимания. А эти, в полотняных туфлях, размалеванных, как конфетка, они по одной части мастера. Кой о чем уж так свободно разговаривают… Вот это меня больше всего удивило. Как мы с вами скажем — мол, люблю аперитив или, допустим, баскетбол. И в то же время скромные. Вот такая хитрая штука: в словах ни капельки не стесняются, а все равно скромные. Надо бы описать подробнее — парижане, вообще нездешние. Вот помню одного — наверняка артист, да какой-то известный, знаете, бывает, лицо знакомое, сто раз видал на фото, а имя никак не вспом-

нишь. Родня? Нет, кроме ихних детишек, вроде никого не было. Швейцарцы, американцы. Один раз приезжал Фидели, депутат, наш мэр его узнал. Свирепый дядя, а? Помните его зажигательные речи — Марат, да и только! Забавно все-таки.

В Лоссане мы стали жить как заправские провинциалы (так понаслышке представляют себе провинцию парижане). Едва смеркнется, закрываем ставни. И после этого часа всякая проезжающая мимо машина кажется нам несколько подозрительной. Во всяком случае, не ко времени. В полдень почта приносит нам вчерашние новости, они успевают потерять свою взрывчатую силу. И мы довольствуемся тем, что сообщают комментаторы телевидения. Все-таки дважды в неделю я езжу в город «за газетами»: покупаю шестьсот или семьсот граммов бумаги, черной от типографской краски, — еще недавно я думал, что не смогу без них жить. И все чаще забываю их читать. Не потому, что у меня заржавели мозги, скорее напротив, мысль работает без отдыха, но вот к газетам меня не тянет.

Удивительна ночная жизнь деревень, такая новая — а может быть, извечная? — только вече-

ра стали безмолвными, на смену бабушкиным сказкам приходят песенки модных девчонок. В глубине каждого дома голубовато светятся в темноте экраны. Никогда еще поздние деревенские вечера не бывали такими темными, такими тихими. Но когда проезжаешь мимо на машине, эти отсветы, так непохожие на живые огни (ведь пламя подвижно и трепетно) — все одинаковые, призрачные, светляки-великаны, затаившиеся в глубине комнат или кухонь, — поддерживает особую полужизнь-полусон. Каждую субботу среди дня, как бы весело ни светило солнце, проулки и закоулки Лоссана пустеют: все мальчишки смотрят очередной матч. А едва игра кончается, вся орава — два десятка чемпионов с горящими глазами, — вдохновясь примером знаменитостей, начинает бушевать у подножия наших стен.

Вчера вечером, после невыносимо жаркого дня, мы часов в десять проезжали через Бюрзак. В одном доме телевизор выставили на подоконник, экраном наружу. И тут, на свежем воздухе, чуть ли не прямо на шоссе, расположились на стульях человек десять и созерцали такое странное сочетание: в сумеречном свете, среди воинственных кликов — вальсирующие пары вперемешку с лихими конями; казалось, эти люди с головой

погрузились в кипение страстей, в любовь и жестокость, что трепетала в самом сердце их деревушки. Кто же решится со знанием дела судить о жителях Бюрзака, Лоссана, Сен-Кентен-дез-Уль, Ванньера? Кто решится измерить их грезы и их усталость? С тех пор, как мы здесь — вот уже несколько месяцев, — все стало для меня еще загадочней: наши соседи — вечные труженики, черная кость, улыбчивые старики, деревни… Мы проезжаем по деревне из конца в конец и замечаем только, что одни дома красивы, а другие безобразны, но мы бессильны проникнуть в их тайны, обменяться словами и опытом с теми, кто здесь живет и молчит. Чужие. Двери заперты. Сады обнесены глухой оградой. А мы — кто мы для них? Парижане с машиной? Машиной тут уже никого не удивишь: у самих есть такая же, а то и почище; наверно, удивляет ритм нашей жизни, наше произношение, упорство, с которым мы стараемся привести дом и усадьбу именно в такой вид, чтобы обитатели Лоссана размечтались об отъезде, о городе?.. За кого они нас принимают? Я не земледелец, не чиновник, не торговец, и, однако, моя работа, судя по всему, позволяет существовать безбедно. Дети наши держатся слишком отчужденно. А молодая женщина, по-

хоже, не боится мужской работы: все видели, как Женевьева красила ставни, разравнивала перед домом гравий. И притом мы не «богема», не задаемся, как артисты, не смотрим свысока — нет, просто очутились бок о бок два совсем разных уклада, наша жизнь, на их взгляд, так же непостижима, как их жизнь для нас, мы не в силах друг друга понять и полюбить. Не говорите мне больше, что в городе человек — одинокая, потерянная песчинка: здесь одиночество ничуть не меньше, оно только еще сильней ошеломляет.

Вечером на той неделе, когда мы проезжали через Бюрзак, едва вернулись домой, Беттина включила телевизор. На тротуарах кишела разношерстная толпа, в которой, кажется, перемешались все национальности; куда-то спешили толстогубые люди, словно даже не замечая, что за ними, в пыли и грохоте, машины разрушают нарядные, щеголеватые домики, а над всем этим высились подъемные краны, стены из бетона и стали. Четверти часа не прошло с тех пор, как в Бюрзаке мы видели зрителей, рассевшихся перед телевизором прямо на улице; удушливая жара еще не спала, и они, должно быть, все еще сидят там, точно придавленные ею к стульям. Стало быть, сейчас у них на глазах в покрытом испа-

риной Сан-Паулу шагают бразильские метисы, неистовствуют бульдозеры и экскаваторы, сокрушая тихий мирок пальм, штукатурки и кружев. У них на глазах валят изгороди, потрошат изящные игрушки, построенные на рубеже XX века, возводят банки и небоскребы, вычерчивают под ярким солнцем слепящую геометрию, и, сколько хватает глаз, многоэтажные здания пожирают последние садики, где прежде грезили женщины. Над сонной деревней разносится грохот разрушения, прерывистое дыхание отбойных молотков, глухой рокот бетономешалок, работающих там, на другом конце света; и, так же как в гостиной у нас в Лоссане, звучный голос с подчеркнутой выразительностью и, пожалуй, не без испуга сообщает, что в городе, о котором идет речь, население за десять лет увеличилось с двух до пяти миллионов человек — подлинное чудо, невообразимый рост! И диктор пытается заставить нас — всех нас, в Лоссане, в Бюрзаке, в Сен-Кентен-дез-Уль и даже в Марселе и Париже, — ощутить буйный размах, неуемную лихорадку, соблазны денег и силы, все великолепные недуги, тень которых заметна на лицах, в складке толстых губ, во взглядах, лишь на краткий миг привлеченных непривычной кинокамерой на улице Сан-Паулу, под солнцем,

чей палящий жар угадывается даже здесь.

Все это так же мало похоже на донимающий меня зуд совести и пристрастий, как девственный лес — на аккуратно подстриженные рощицы Медона. Позаботится ли мосье Мартинес с должным тщанием перекрыть крышу поддельной древнеримской черепицей? Я дал ему адрес одной фабрики в Провансе, они обжигают глину каким-то особым способом: черепица получается совсем бледная, словно выцветшая на солнце за века, честное слово, вы не отличите ее от подлинной. Надо беречь прелесть наших деревень, и Лоссан такая удача! Уцелевшее чудо, при Карле X здесь было двести жителей, а сегодня пятьдесят, вот это жизнь!

Бразилия, бразильские леса… Как надо жить, какой полюс избрать? Чего надо бы опасаться, будь нам предоставлен выбор, — стремнины? Или пруда? Да, мы остались садовниками. Нужно ли этого стыдиться? Все это было в субботу, а назавтра около одиннадцати я спустился в деревню, чтобы присоединиться к болтовне вокруг воскресной игры в шары. Со вчерашнего вечера в памяти моей застряли мельком виденные лица людей в суматошной толчее незнакомого города — признаться, у меня не появилось ни малейше-

го желания там побывать: лица изможденные, рукава засучены, и, наверно, все тело в поту, на ногах легкая потертая обувь, кожаная или матерчатая, какие-то плетеные или дырчатые сандалии, и во всей повадке, во всем облике, с головы до пят, явственно сквозят нужда и спешка… Так я это ощутил. Все они показались мне затравленными и покорными. А вокруг меня совсем другие лица, лица людей, чьи имена я только начинаю запоминать. Мои соседи сперва казались мне такими чужими, но этот американский город с его разрушением и стройкой разом отбросил их в мой лагерь (или меня в их лагерь), согласно тому закону, который самым нелепым образом отделяет «вчера» от «завтра». Нелепость. Изо всех сил я рвусь (не со вчерашнего дня, но вчерашнее зрелище мне всё объяснило) стать в ряды армии, разбитой еще до начала сражения. Настоящая жизнь — это завтрашний день, и это счет на миллионы. Миллионы детей, долларов, домов — всего, кроме деревьев: их рубят под корень. Бедные пальмы, встрепанные, ошарашенные, запыленные, в садиках, которых уже не разглядеть за дощатыми заборами новостроек… Смехотворные коротенькие шеренги, карликовые рощицы среди каменных глыб бразильской

столицы… А у нас крестьяне зимой жгут вдоль дорог на медленном огне заодно с сорной травой молодые вязы и дубы, чтоб вокруг все выглядело ровнее и глаже… Неужели эта война, объявленная деревьям, и есть единственный общий язык, единственная деятельность, которая везде одинакова? Неужели это и есть настоящая жизнь — когда на меня обрушивается все, чего я не приемлю? Я называю словом «завтра» все, что отвергаю, и словом «вчера» все, что люблю, — но если так, можно ли этим не мучиться? Можно ли жить в постоянном упорном сопротивлении, в вечном насилии над собой? Хотел бы я стать человеком будущего, открыть и поддержать в себе простодушие будущего. Уже распаханы саванны, захватчики изгнаны, и многие жизни расцветают на этом бесподобном фоне. Отчего не моя? Отчего я не родился в этих лесах, где царят жара, революции, змеи и сигарный дым? А вместо этого я по складу ума книжный червяк и в придачу дилетант — способности ко всему понемножку. Вкус к словам и камням, ко всему, что из слов и из камней можно построить. И еще умение в любую минуту остановиться и прислушаться.

Подходит мосье Андре. Он принес почту. Почтальон вывихнул ногу, ему уже лучше. Но ему

все еще не дали малолитражки для разъездов по округе… Кто сидит в конторе, тем плевать, сколько тут топаешь километров! Мосье Андре обернул шею огромным платком: небо затягивается, уверяет он, вот уже и ветер подул. А его и так кашель одолел. С холма спускается трактор Мартинеса и тащит прицеп-платформу, а на ней куча детворы, они возвращаются с виноградника. По звукам, что стекают с холма к деревне, по какому-то оживлению угадываешь — настал час обеда. Вот и колокола зазвонили, залаяла собака, через минуту лают уже все псы наперебой. Мы щуримся на солнце.

Что же мне делать? Упрямое постоянство этой жизни, спокон веку одной и той же, многотерпеливой и неодолимой, ее хитрые повадки, ее угрюмая скрытность, ее стойкость и мужество — все это внезапно кажется мне какой-то чудовищной ошибкой: где-то далеко отсюда кто-то просчитался, но меня это словно бы уже не касается…

Бешусь? Нет, не то чтобы бесился. Меня бесят люди жалкие, никудышные. А они не такие. Хотя заметьте, иной раз и жалко их было, тут дело тонкое, не вдруг и объ-

яснишь. Ведь в конце-то концов, мосье, будем откровенны, нелегко быть маленьким человеком… Отец мадам Фромажо, моей супруги, торговал всякой мелочью. Вразнос. И я этого не стыжусь. И, между нами говоря, году в сорок втором — сорок третьем в департаменте Эры и Луары на недвижимости тоже разжиться было трудновато. Но я всегда говорю, унывать не надо. Бывали времена и похуже, так стоит ли плакаться? Одно вам скажу: кривлянье разное сносить больше никому не охота. Во всяком случае, это не по мне. Жалобы, стоны, ахи, охи. Когда насидишься без хлеба, тошно смотреть, если кто фыркает на пироги. Но пироги-то бывают разные. Вот ведь какая штука. Я ж говорю, тут дело тонкое! В общем, мосье, всяк на свой лад мучается. Почему я и говорю про жалость. Когда они только-только поселились в Лоссане, раза три случалось мне нагрянуть к ним, не предупредивши, и уж до того было неловко, ну прямо как в замочную скважину подглядываю. Вот стою перед ними, толкую про дело, из-за чего приехал, а сам чувствую

— вроде выслеживаю исподтишка. Поди пойми, отчего это… После, когда ребята ихние приехали на каникулы, стало полегче. По крайней мере в деревне нам так говорили. Но деревня, мосье…

Гроза собиралась весь день. Порой казалось, что она уйдет в сторону Испании, порой она словно бы поворачивала к острову Камарг и к Роне. От ос отбоя не было. Полька валялась на крыльце. От хмурого неба все уже выглядело по-осеннему; и под вечер по стенам внутреннего дворика во множестве разгуливали скорпионы. Один (должно быть, через окно гардеробной) пробрался к лестнице, застыл на выбеленной стене и, нацелив жало, озирал все вокруг. Когда я зажег свет, он озлился, кинулся было на меня, потом в сторону — и забился в щель между ступеньками, но как следует спрятаться ему не удалось. Я чиркнул спичкой: в узкой трещине поблескивали две черные клешни. Я поднес огонек ближе, и оно, вздрогнув, съежилось, забилось еще глубже в щель. За день я взмок, рубашка липла к телу — меня бросило в дрожь, я отшвырнул погасшую спичку и пошел наверх. Все равно мне их всех не перебить… Я закрыл ставни гостиной, отворил

единственное окно, затянутое москитной сеткой: за нею уже толклась ночная мошкара. Явилась Беттина — босая, в старых джинсах, в свободной белой блузе. Она до того загорела, что в этот вечерний час кожа отливает синевой. На лице, всегда таком спокойном, печать непривычной усталости.

— Не ходи босиком, — говорю, — тут эти…

— Знаю, твои заклятые враги… Я тебя видела там, на лестнице…

Она подошла ко мне, обняла за плечи. И это тоже непривычно. Должно быть, она только что выгладила блузу — и сама ткань пахнет свежестью, чистотой, порядком, но только не детством. Детство кончилось. Я откинул голову, закрыл глаза, ощутил затылком ее нежную грудь и плечо. Газета соскользнула мне на колени.

— «Монд» провалился в тартарары, — сказала Беттина.

— Весь свет провалился в тартарары, — ответил я.

Когда она смеется, в ней трепещет какая-то птица, дрожит, напряженно подстерегает какой-то зверек, которого я уже не смею назвать ее именем. Кто сумеет спокойно выговорить «Беттина», когда почувствует, как ты смеешься? Я уже не

умею позвать так, чтобы не резнуло слух и тебе и другим — мне изменит голос.

Слышно, как внизу то ли отбивается, то ли хохочет Робер, во всяком случае, в ванной шум и возня. Ролан молча копается в своих бесчисленных отвертках.

— Ты становишься близоруким, Ролан? Ты совсем зарылся носом в транзистор.

Он что-то ворчит. Сегодня после обеда то и дело слышится воркотня или сердитые, отрывистые слова. Роза что-то разбила. Женевьева к бурям относится с философским спокойствием, но, должно быть, под конец повседневного плавания остается совсем без сил. Скоро и она придет в гостиную. Она попытается совершить невозможное — устроить хотя бы подобие сквозняка — и скажет Беттине:

— Приготовь нам чего-нибудь выпить, детка…

Недавно мы обучили нашу дочь смешивать коктейли из джина и вермута. Беттина потешается надо мной:

— Девять десятых джина и одна десятая мартини — будет не слишком слабо?

— Сто раз тебе повторять, — ворчит Ролан, не поднимая глаз: — Мартини-в-джине-не-для-запаха-а-только-для-напоминания-о-запахе. Ясно?

Таковы наши вечерние обряды. Достойно изумления, что мы соблюдаем их и сегодня, в такую жару. Едва Беттина кончила сбивать коктейль, на холодном шейкере оседает пар. На миг она прижимается к нему лбом и вздыхает. Теперь мы будем пить — долго, неторопливо — и ждать, чтобы закружилась голова. Вот уже десять дней, как я ни разу не садился за письменный стол. Знают ли они об этом?

Кстати, о бароне, я видел, что дела у них не так уж плохи, и хотел сосватать им одного малого из-под Арля, он мне раз оказал услугу. Ну и дал я маху! Никогда не надо надеяться на других. Только попадешь впросак. В Лоссане мне как-то сказали, что им нужен старинный ларь — «саркофаг». Я это словечко запомнил. И сказал тому арлезианцу, а он в ответ: у меня, мол, есть как раз то, что им требуется. А надо вам сказать, он работает в этаком сараище, там всякого товара битком набито. По-моему, это просто-напросто хлам, старая пыльная рухлядь, но ладно, замнем. В общем, связал я их друг с дружкой, условились — арлезианец при-

едет к ним и «преподнесет» ларь, так он выразился. И объяснил мне порядки их-ней фирмы: привозят мебель и, не говоря худого слова, оставляют вам на неделю, а уж потом являются узнать, чем дело пахнет. Здорово придумано: за неделю вроде люди и привыкли, и отказываться неловко, ну и вообще. И что же оказалось! Саркофаг этот самый — копия, подделка, да еще дрянная, чистейшей воды жульство! От настоящего насилу отличишь, подмалевано, подчищено, стыд и срам… Ну и выслушал же я лекцию — про подлинность, про честность, про всякую липу, про пустую трату времени, и что хорошо, а что плохо, и почему… Главное, это была копия, вот что его, видно, больше всего разозлило. А потом еще и Пизенс явился меня отчитывать. Тут уж и я начал злиться. Поучал он меня, поучал, и как барон, и как торгаш: мол, не надо сбивать цену, выдавать кошку за чернобурку и прочее. Заметьте, я все выслушал до конца, я люблю понять человека. Ежели, мол, я хочу обзавестись новой клиентурой, заняться еще чем-то, кроме недвижимости,

надо в своем товаре разбираться. Ладно, я его выслушал, как пай-мальчик. Но это все цветочки, то ли дальше было! Дней через десять заехал я в Лоссан, дай, думаю, еще разок извинюсь, что ненароком его подвел. Стал объяснять — я, мол, в этих вещах не разбираюсь, мне страх как неприятно — и что ж он, по-вашему? «Вы все про ту липу, дорогой мой Фромажо?..» И повел по всему дому, стал показывать всю мебель подряд, которая настоящая, которая липовая и как это узнать… Так вот, по его выходило, что там половина — подделка. Тогда, спрашивается, чего он раскипятился? Вот объясните мне, сделайте милость: накричал, обидел… По чести скажу, сильно меня это задело. В тот вечер мадам Фромажо, супруга моя, стала говорить — мол, нечего тебе с ними, с гордецами, знаться, гусь свинье не товарищ, так я и спорить не стал. Больше я до ихних шкафов и кресел не касаюсь, только и всего.

Из всех нас (считая и меня? Или я не в счет?) Лоссан полюбился только одному Ролану. Я чув-

ствую, он сросся с новым домом, он здесь просто расцвел. Лоссан вознаграждает его за все коллежи, по которым вот уже пять лет скитается наш добродушный увалень. Он-то не отменил бы приезд Ноэль! Он уже готов пригласить сюда всех своих приятелей. Слово «дом» он произносит с таким чувством, как никто из нас, и мне хочется его поблагодарить, приласкать немножко. Но как это делается?

— Ролан у нас нежная душа, — говорит Женевьева…

Она права, но я не умею, как другие отцы, ни притянуть к себе сына и взъерошить ему вихры, ни свирепо осадить его, когда ломающийся молодой басок бросит в лицо родителю первую дерзость. В чем секрет этого уменья?

Порой во мне поднимается такая жаркая нежность, что я и сам робею. Куда с ней деваться? Я река, которой никак не удается вертеть жернова своей мельницы. Может быть, он отважится первым? Но тотчас мной овладевает желание слегка над ним подтрунить. И он отступается. Длинные молчания. Пустопорожние слова. И вдруг ни с того ни с сего вопрос о чем-то бесконечно важном, слова нежданно глубокие, не по годам значительные, и я оказываюсь столь же безоруж-

ным перед серьезностью детства, как и перед наивнейшей ребячливостью. И самым жалким образом пасую — упрощаю, смягчаю. В минуты, когда он решается спросить меня о том, что в жизни огромно и возвышенно, я ее принижаю. По счастью, остаются еще машины, вечный спор об автоматическом управлении, об ускоряющей передаче и, наконец, на самый крайний случай — наркотик, к которому прибегаешь уже в совершенном смятении: можно доверить Ролану баранку, и вот, судорожно вцепившись в нее, закусив губу, он по моей милости еще чуть быстрей включается в бессмысленную суету своего века.

* * *

Окно открыто, ты меня не видишь, ты даже не знаешь, что я здесь. Ты сидишь на каменной скамье. Ты только что возвратилась из города. В два прыжка Полька вскакивает на стол. Она не видела тебя целых два часа и теперь визжит, осаждает тебя нежностями, лижет — тебе причитается весь пыл ее любви, которая не знает меры. Она ухитрилась передними лапами сжать твое лицо и, стоя на задних, целует тебя в нос и в глаза. Ты покорно уступаешь столь бурным изъявлениям чувств, но это ничуть не успокаи-

вает их, а, напротив, разжигает. Полька тявкает в приступе прямо-таки неистовой радости. Как всегда в таких случаях, лицо у тебя смеющееся, но все же ты настороже (не то собачонка через минуту и язык бы тебе облизала). Но вот ты пытаешься прекратить эту фамильярность и встаешь. Полька совсем шалеет, кидается к тебе, умоляет — и с разбега, очертя голову делает такой прыжок, что, кажется, только чудом остается жива! И ты возвращаешься, берешь ее на руки и сажаешь на плечо, возле самого уха. И что-то ей говоришь. Она еще повизгивает, но шалые глаза становятся спокойнее, и попытки лизнуть тебя в лицо уже не так внезапны, теперь они как реплики в вашей беседе. Ты говоришь на понятном ей языке. Изобретаешь для нее чудесные выражения ласки, которые подчас хватают за душу, как все человеческие слова, обращенные к животным, но такие нежные, и торжественно серьезные, и вместе шутливые… Вот это в тебе лучше всего — ты так кротко, безобидно весела безо всякой причины. И ты так хороша сейчас, залитая солнечными лучами, когда что-то вполголоса говоришь Польке и прижимаешься к ней виском. Не могу наглядеться, пусть бы это никогда не кончалось! В этой сценке — все, что мило

мне в жизни: наивность, игра, хрупкость. Быть может, настанет день, когда эти две-три минуты вновь возникнут перед одним из нас, всплывут из пучины скорби и забвения: ведь так или иначе придет смерть; ведь лицо твое утратит ясность, которую пока щадили годы — почти уже сорок лет; ведь Лоссан или дети… Ох, этот страх гибели и разрушения, ужас перед тем, что подстерегает впереди, и терпеливое время, которое рано или поздно нас уничтожит… Видишь, их не так-то легко пережить, эти две-три минуты радости, они столько подсказывают воображению и столько таят в себе ловушек. Тем хуже, я все еще смотрю на тебя. Наслаждаюсь этим моментальным снимком, силюсь неизгладимо запечатлеть тебя, вот такую, в памяти — теперь ты присела на корточки и уговариваешь Польку вырыть яму в песке, и смеешься, и все, что сохранилось в тебе от детства, детская близость к животным, к самым простым и скромным проявлениям жизни, озаряет эту минуту, как неизменно озаряет она все твое существо, и счастью, которое я, тайком глядя из окна, украл у времени, дарит краски и улыбку вечной весны.

* * *

Ролан возвращается после прогулки на велосипеде. По закону ему предстоит маяться еще несколько месяцев прежде чем он получит водительские права; должно быть, крутые тропинки стоили ему немалых труден и проклятий — смуглая, еще по-детски нежная кожа так и пылает румянцем. Скрипят ворота, вопит Робер, ликует Полька, велосипед взрывает песок, скользит на повороте, валится набок, педаль бьет Ролана по ноге, у него вырывается проклятие. Шум, гам; из окна выглядывает Женевьева, из другого Роза. Мосье Андре туг на ухо и, как старый опытный велосипедист, оглушительно выкликает свои советы.

— Потише, — говорит детям Женевьева, — папа работает.

Да, я забился в свою берлогу, двери закрыты. Видимость эта обманчива. Я отвечаю на открытки, разбираю счета. Очень приземленная жизнь.

Не надо им знать, что Женевьева заблуждается. Отстраняюсь от окна, из которого смотрел на Ролана. Теперь угадываю каждое его движение по шуму; вот он приткнул велосипед к стене (звякнул звонок) и зашагал на кухню. Наверно,

попросит у Розы холодного пива. На ходу он сдирает с себя рубашку с короткими рукавами и открытым воротом и клянет жару на чем свет стоит. Сейчас он разденется и нырнет в бассейн. Пойдут звонкие шлепки по воде и взрывы хохота. И потом торжественная тишина солнечных ванн (дело известное, когда загораешь, полагается держать язык за зубами). Короткие перепалки, стычки из-за тени, кто-то кого-то обрызгал, величественно появляется Беттина — лето, как говорится, идет своим чередом.

Нет, ничего такого. А ведь сами знаете, люди всегда рады позлословить. Но про них не пошла худая слава, никаких там намеков, перемигиваний. Бывает, мы с зятем зайдем в Лоссанское кафе выпить по стаканчику. А она проходит мимо со своей собачонкой, возвращается с прогулки. Так вот, ни разу ни словечка, а ведь сами знаете, как парни на этот счет рассуждают. В кафе всегда четверо или пятеро болтаются, не поймешь, когда они работают. Притом, заметьте, она уже не молоденькая, да еще джинсы эти линялые на них на всех. И не в том дело, что

из другого круга, потому как парни эти никого не уважают. Вы бы на них поглядели. А те точно стеклом огорожены, прозрачной стеной — и он, и она тоже. Это верней всего расхолаживает. Другое дело ихняя дочка, с ней, может, и не так бы повернулось. Но она сколько тут прожила? Недели три, ну четыре, а ведь с девчонками одно из двух. Иная с велосипеда слезает, только покажет коленку, и сразу все горлопаны на постройке давай свистеть, вы и сами такое видали. А другим вдогонку глядят, как бы вам сказать, почти со злостью. Вот она вроде из таких. Уж больно чистенькая, больно загорелая, и потом росту добрых метр семьдесят! Ни капельки на мать не похожа. Парни таких побаиваются. Вы скажете — до поры до времени… Верно, да только я рассказываю все как есть, без прикрас. И потом я ведь вам говорил, мать за собой не больно следит.

В любое время года сплошная каша. Только летом она заварена еще круче, наподобие похлебки, которая густеет на огне. Не забывайте

помешивать, говорится в рецепте, не то образуются комки. Не худо бы и жизнь перемешать. Но где взять такую ложку? А как нужен подходящий инструмент! Утро жизни — красивые слова. В воображении встает молодой лесок, стройные, еще не окрепшие тела, беспечная юность, еще не сознающая, что она мужает, вкус кофе, отдающего бодростью и чуть-чуть железом. Да, я бы не прочь. Но, говорю вам, это каша, вязкая, бесформенная, звуки поднимаются в ней, точно лопаются пузыри, вздуваются волдырями: шум мотора, звон будильника, голос Розы, которая из-за двери возвещает об очередной катастрофе. Нет, дудки. Вам меня пока еще не заполучить. Не расширить пробоину. Я закрываю, заделываю, затыкаю брешь, законопачиваю все щели. Ничто сюда не проникает. Ничто? Увы, откуда они, эти слова, не гаданием ли по внутренностям жертвенных животных подтверждены самые последние страхи, последние расчеты, сделанные только вчера вечером — стало быть, ночь минула и не унесла их с собой? Вот в чем беда. Уже не так-то легко уснуть, и сон тоже не приносит покоя. Нет, если все зря, если наутро опять то же месиво неотвязных тревог, тогда игра не стоит свеч. Ежедневная мука и ужас — все начинать сначала.

Какой смех поможет довести это до конца? Какая неслыханная радость?

Появляется собака; счастье, прыжок; безмерное удивление — оказывается, я здесь, на месте! Безмерная любовь, без меры все знаки удивления и любви. Наконец она выдохлась, успокоилась, вытянулась рядом со мной, а я все лежу, не в силах подняться. Появляется Рони с утренним завтраком: ошибка, в кофе нет металла, пружинной стремительности, как мне воображалось; он тоже какой-то вязкий, тяжеловесный. И не черный, а коричневатый. Нечего рассчитывать, что он придаст бодрости. Вообще не на что рассчитывать. Женевьева проводит рукой по моим волосам, трясет меня за плечо и с крутого берега ночи швыряет в пучину дня. Роза раздергивает занавеси. Ну вот: они меня ждут. Сделаем веселое лицо.

> Знал я одного ихнего брата писателя. Он сочинял про шпионов… И по его романам снимали кино. Чушь собачья, но здорово закручено! Подписывался он Синклер Вэлли. А по-настоящему его звали не то Румайоль, не то Руманьоль. Родом из Лот-э-Гаронн. У него была ши-

карная машина цвета слоновой кости, а изнутри обита красной кожей. Это уж было года четыре назад, а может, и пять. Ему все хотелось луну с неба, но так-то он был славный малый, душа нараспашку. Всегда в клетчатом картузике, на английский манер. Вот кто умел посмеяться! Сделка наша так и не состоялась, у меня в ту пору еще не было настоящего веса в здешних краях. Потом-то этот Вэлли, или Руманьоль, как угодно, что-то себе купил около Биаррица, я про это читал в «Кумушке», так что, видите, мне жалеть не о чем… Ну и вот, у этого малого каждая книжица выходила тиражом чуть не по сто тысяч экземпляров. И до чего просто писал! Его переводили на болгарский, на турецкий… А он был человек как человек, вроде нас с вами. Перед едой всякий раз пил какой-то порошок, каолин, что ли, или висмут — язва у него была. Так что, понимаете, книжки книжками…

Стол накрыт — круглый, белоснежный, и на нем сверкает серебряный чайник. В кувшине остатки оранжада, тарелки сдвинуты как попа-

ло, от торта осталась едва четверть. По креслам раскиданы крохотные салфеточки-рукоделие Розы: в свободные дни, вместо того чтобы пойти погулять, она упорно вышивает их в огромном количестве. Время от времени собака, соскочив с каменной скамьи, почтительно смотрит на остаток торта и умоляюще скулит; Робер, который относится к ней с нежностью, подходит и урезонивает ее — совсем тихо, голоса его я не слышу. Дальше, на краю бассейна, где наконец уложили и зацементировали каменные плиты, на ярко-алом полотенце растянулась Беттина. Она читает, заслонясь от солнца книжкой, которую только что у меня попросила, — очередной роман Диккенса в издании «Плеяды», я в восторге от того, что она взялась за книгу (но ничем ей этого не показал, только буркнул: «И не кидай его, пожалуйста, в воду...»); а Ролан по обыкновению не знает, чем бы заняться, разменивается на мелочи, и все ему скучно: он одновременно швыряет камешки Польке, которая все еще не обрела былой резвости, пытается пускать их рикошетом по воде, раскидывает повсюду газеты — они намокают, потом съеживаются на солнце.

Изредка на пороге кухни во всеоружии своего авторитета появляется Роза и кричит, чтобы ей

что-нибудь принесли или чем-то помогли, но никто и ухом не ведет, и она, рассерженная, вновь скрывается.

Прибавьте сюда тишину, совсем особенную тишину — то и дело ее нарушает далекое покашливание мотора или обрывок беседы, причем местный выговор так силен, что не поймешь, о чем речь.

Вот она, истинная Франция, так и чудится, что ты попал в музей, на полотно какого-нибудь импрессиониста, который в конце прошлого века изобразил счастливый летний полдень в саду — с трепетной игрой света и тени, с молодыми женщинами, и детьми, и рыжими собаками, свернувшимися в клубок под столом.

Быть может, это тщеславная мечта всей моей жизни: воссоздать вот такую сельскую идиллию, воскресить романтику детства и семьи — накрытый стол, дверь дома, позлащенная солнцем, и уже не зияешь, то ли ты очутился на полотне Сислея или Ренуара, то ли — куда пошлее — тебя всадили в пеструю рекламу какой-нибудь спортивной машины или косметического снадобья. Забавные свидания устраивает нам наш век. Смотрю на Беттину, на Ролана, на Робера; слушаю голоса Розы и Женевьевы; замечаю, что

солнце уже клонится к верхушкам кипарисов на кладбище; может быть, мы должны изображать семейство, счастливое своим полисом по страхованию жизни? Прославляем мы ссуды земельного кредита или столь мирной картиной я наслаждаюсь потому, что приобрел шины особой системы, которые обеспечивают людям семейным безопасность в автомобильных прогулках? Ну а для бритья я пользуюсь нежнейшим кремом, именно благодаря ему я завоевал Женевьеву и сохраню ее любовь на вечные времена.

Бросить бы в воду камень. Чтоб разлетелись брызгами все улыбки. Не для того мне нужен был Лоссан, чтоб он превратился в конфетную коробку, в изящный водевиль чик, который только наводит на людей скуку. А ведь Беттине, Ролану, Роберу скучно. Женевьеве — и той приелось удовольствие слышать, как ровно, без скрипа, работает механизм ее хозяйства, Женевьева — и та не сегодня-завтра запросит пощады. Этот маленький мирок задыхается без битв и громких криков. Быть может, призвать озорных деревенских мальчишек? На худой конец они растормошат Робера, а Ролана обучат стрелять птиц из ружья; неплохая педагогика. А дремотный покой, в котором пребывает Беттина? Вечно она молчит,

лежит врастяжку, терпеливо жарится на солнце, а внутри, может быть, все дрожит от гнева? Мечтает она о чем-нибудь? Да, без сомнения, в этом меня уверяют все почтенные авторы — но о чем ее мечты? Оживают ли когда-нибудь лица за этой никогда не убирающейся ширмой? В последние дни, когда кончается то, что они называют моей работой (обычно это все тот же спор с самим собой, которым я поглощен и сейчас), меня тянет к бассейну, к детям. Я бросаю Робера в воду; Ролан пытается меня самого туда столкнуть; все очень обыденно. Тогда я подхожу к Беттине. Вот тут начинается мое мучение. От моих расспросов, от моих сердитых отповедей она отгораживается ответами самыми краткими, безукоризненно вежливыми и ровным счетом ничего не выражающими. Смотрю на нее — и готов голову дать на отсечение, что ей скучно до смерти, что закричи я, подкинь ей только повод — и она почувствует себя свободной, даст волю бешенству, которое — надеюсь — в ней клокочет. Но что крикнуть? Какой найти предлог? Поднимаю глаза на ограду, здесь, со стороны бассейна, она возведена очень высоко для защиты от ветра. Каменные стены раскалены. Солнечные лучи низвергаются в эту печь, отражаются от всех поверхностей и жгут

с удесятеренной силой. Смуглый выпуклый лоб Беттины для меня так же непроницаем, как эти стены. Если уж ее не сжигает это пламя, так разве не бессильны моя нежность, мое потворство? Вялое тепло, которое я ей предлагаю за неимением лучшего. Скоро два часа. Деревня раздавлена жарой. Осы садятся на воду и дремлют, их приканчиваешь одним щелчком. Ролан поднимается, идет взглянуть на термометр и, возвратясь, так гордо и устало сообщает нам, сколько градусов, словно ему поручили подогревать паровой котел. Скоро станет совсем невыносимо. На мне черные очки, я закрываю глаза — пот заливает и ест их, он еще солонее слез.

— Ты не купаешься? — отчетливо произносит Беттина.

Тогда подходит Женевьева, конечно, она уже несколько минут следила издали, как я здесь жарюсь; она тоже очень загорела, от нее тоже веет свежестью, но взгляд светится участием. В руках у нее поднос, она ставит его в тень, на каменный бортик. Быстро взбалтывает какую-то чудовищную отраву и протягивает мне. Я выпиваю залпом, лед не успевает растаять и смягчить обжигающий спирт. «Скорей, еще стакан». Беттина либо снова ложится и закрывает

глаза, либо неслышно погружается в воду. Ролан внимательно смотрит, как я пью. Иногда, если я поднимаюсь и смешиваю себе третий коктейль, он решается пошутить, что «папа у нас совсем спился». Женевьева позволяет посмеяться на этот счет. Больше того, она наверняка поощряет это остроумие: лучше шуточки вслух, а значит, невинные (мне не возбраняется съязвить в ответ, напротив), куда зловредней шепоток по углям. Впрочем, не все ли равно… Знали бы они! Какую тяжесть приходится поднимать каждый день, как все непроглядно-мутно и как медленно рассеивается этот туман; повседневная работа отдает затхлым, как непроветренная комната. Быть может, надо попытаться все это им сказать? Быть может, предложить им сделку — их секреты в обмен на мои? Их нетерпение в обмен на мою усталость? Скверная история! На разных конференциях, в конце лекций и докладов (кто меня приглашал с ними выступать?) я порой пытался говорить с молодежью, притворялся, будто хочу ее «тронуть», «взять за душу» и прочее. Гнусная комедия! Жадность к жизни, беспорядочность, дерзость, легковерие — еще долго можно бы перечислять все, что мне в этих мальчишках и девчонках горько и отвратительно. Собственные

мои дети по крайней мере не швыряют весь этот вздор мне в лицо! Быть может, пресловутое молчание наших сыновей — наше счастье? Быть может, мы только потому и в состоянии жить дальше, что дети с нами не откровенничают? Так пусть молчат и впредь, пусть живут по-своему, меня это не касается. Понять их… не довольно ли, как говорится, их любить?

Сейчас Женевьева скажет: «Как нам тут хорошо!» Положит руку на плечо Беттины и скажет: «Ты не перегрелась, детка? Будь благоразумна». Обернется ко мне и скажет…

Ну вот и полегчало. Мне уже ничуть не страшно, мне весело. Смеюсь, утираю пот со лба. Ролан смотрит на меня. И Женевьева тоже смотрит. И тихонько говорит:

— Какое у тебя довольное лицо…

Сейчас я ей отвечу каким-нибудь изречением о полотнах импрессионистов и о счастье. И покачаю головой. Отвечу одной фразой — разрушительной, насмешливой, бойкой, небрежной… Достаточно ли этого? Во всяком случае, отвечу словами, которые могут ввести в заблуждение. Не знаю, понятно ли вам, что я хочу сказать.

Насчет равнодушия тоже надо бы рас-

толковать. Во-первых, слово это не самое подходящее. Подбирать слова я не мастер. Можно бы сказать наплевательство, распущенность, можно выразиться и покрасивей — к примеру, анархия, но мне тошно говорить на его манер, сколько раз я это видел, я уж вам рассказывал: станет вечером посреди гостиной или примется шагать взад-вперед — и вот рассуждает… За свою жизнь он, верно, сотню километров эдак оттопал, день за днем, и все кому-то что-то втолковывал. Честно вам скажу, я при этом был вроде желторотого мальчонки, который зайцем пролез в театр на серьезное представление. Этот говорит, доказывает что-то — поток слов. Я мог улизнуть, он бы и не заметил. Но я все-таки слушал. Поглядываю искоса, вижу — жена его занимается своими делишками, прибирает все — газеты там, стаканы, пепельницы — и вроде ничего не слышит, а я-то слушаю. Кой-что все-таки можно было понять в его речах, даже неловко становилось, чувствую, такой он человек — загреми вокруг него весь мир в преисподнюю, он и не обернется.

Он уже со всем этим распрощался, мосье. То есть он за всем следил, читал невесть сколько разных газетенок, слушал радио, телевизор смотрел не меньше нас с вами, а то и побольше, и все-таки по-настоящему он был уже не здесь. Рассказывает что-нибудь подробнейшим образом битый час, а все равно чувствуется, ему все осточертело. Мадам Фромажо, супруге моей, не больно нравилось, что я у него засиживаюсь. Она сердилась — зря, мол, я позволяю забивать себе голову. И на что, мол, тебе сдалась его болтовня? Чего тебе от этих парижан надо, что в них хорошего?.. Между нами будь сказано, не часто имеешь дело с такой публикой: для них нет ничего святого, поглядеть — живут как люди, а о чем ни заговорят, от ихних слов будто все разваливается на глазах: что ни заденут, начинают перетряхивать да задавать такие вопросы — прямо хоть сквозь землю провалиться... Ихние разговоры тебе все нутро разъедают хуже всякой кислоты. Поначалу я смущался, я уж вам рассказывал: тут детишки, тут выпивка, а потом — как бы вам ска-

зать? — вошел во вкус, что ли. На вещи можно смотреть по-разному и говорить про них — тоже. Он, может, рассуждает без стыда и совести, так ведь от других вовсе слова умного не услышишь, что утром в газете прочли, то тебе вечером и выложат. Эх, мосье, вот занимаешься своим делом — таким ли, эдаким, тянешь лямку, заводишь семью, а между прочим, вся жизнь в том и проходит, что слушаешь дураков. Ведь что получается? В двадцать лет ты порох, готов весь мир перевернуть. А потом оглянуться не успел — уже и выдохся, всем поддакиваешь, на все согласен. Это чистая правда. Только ведь, если другой любит суп с перцем, а ты нет, не станешь плевать ему в тарелку, верно? Однако, мосье, заболтался я с вами. Поди потом объясни женщине, почему поздно пришел!

«Знаешь ли ты, как ты хороша? О, еще бы, девушки очень быстро открывают, как одарила их природа — в зеркале, в чужом взгляде, даже в голосе, что становится перед ними тих и кроток, точно рослый дядя с пересохшими от робости

губами. И однако, мне кажется, их одолевают сомнения, ощупью, наугад они ищут уверенности, а ее никогда до конца не завоюешь. Вот почему то, что я хочу сказать, касается самого сокровенного. Что за важность, меня скорее злили бы часы, потраченные в безжалостном мертвенном свете ламп, с ножницами в руках, среди всех этих гребенок, карандашей, щеток, пудры, целой радуги красок, от персиковой до смоляной… Завороженный, я хотел бы задать тебе один вопрос, но едва ли ты в силах понять. А потом настанет час, когда ты бы дорого дала, чтобы его услышать, но уже слишком поздно будет тебе шепнуть… Ты будешь царить в своем кругу, и тебе станут поклоняться. Я этого не увижу. Я уйду, уеду подальше и в эти краткие месяцы межвременья, превращения из подростка в юную женщину, ты не узнаешь, как я был хмелен тобой, изранен, измучен тревогой. Как бы я тебя любил. Потому что ты прекрасна. Потому что я изгнал из этого слова весь трепет и соблазн. Я отчаялся в тебе, моя молчальница, и это преглупо, я ведь знаю, ты выйдешь из своего оцепенения. Ты расцветешь. Восторжествуешь. Но ты не могла бы оценить всю справедливость моих слов. Ты обойдешь меня стороной. Ты не одаришь меня своим сиянием, а я так нежно и так

неистово этого хотел, я мог бы научить тебя сиять еще немного ярче и упился бы твоим блеском, но ты об этом не узнаешь. Ни о чем ты не узнаешь. Ты будешь просто девчонкой, как все девчонки, поглощенная своими желаниями и расчетами, будешь взвешивать меру опасности и осторожности; только я один увидел бы и понял твой крутой взлет, жгучий зенит твоей красоты, твой единственный полдень, самую пронзительную песнь из всех песней тела, — но я уже стараюсь от них защититься и полон решимости о них забыть, хотя бы наполовину я останусь к ним слеп и глух».

Порой Женевьева спокойно и неторопливо, без малейшей досады, как пришла бы напомнить о светских обязанностях (надо навестить такого-то, он болен; не забудь, непременно напиши такому-то), поднимается в мой рабочий кабинет и говорит:

— Ты бы поболтал немножко с Беттиной. Она меня беспокоит. По-моему, ей это нужно, ты бы ей помог…

И только. Это говорится мимоходом, среди замечаний о том о сем, по возможности забавных, среди отзвуков окружающей жизни, которые она так мастерски собирает и преподносит мне: сын

Тревуа без ума от своей молодой жены (они ездили на Балеарские острова, недавно вернулись), ничего не видит и не соображает, ходит как в тумане, того и гляди свалится с лесов… А сестра мадам Блан тоже расхворалась, лежит в постели и все приговаривает: «Куры мои, курочки… бедные мои курочки…» А Роза со вчерашнего дня дважды просила расчет, «потому как они меня совсем загрызли, мадам»: Робер и Полька нашли себе новую забаву — кусают ее за руку.

А меж тем во взгляде Женевьевы, на самом дне, меня подстерегает умело сдерживаемая тревога. Чуть заметный огонек, но его никак не погасить. «Да проснется ли он наконец, увидит ли ее? Разглядит ли что-нибудь в своей нескладной, ленивой дылде, в этой соне, которая только и знает, что купаться и жариться на солнце?.. Когда она была маленькая, был у нас вечный припев, и надоевший и забавный: „У-нашей-Беттины-опять-секреты“. Но теперь она скрывает уже не какую-нибудь простуду, о которой потом рассказываешь по телефону бабушке. Она скрывает жизнь. Чрезмерную стремительность, крестовые походы против несправедливости, попытки к бегству. В ней пробуждаются несбыточные мечты, гнев и ярость, и мы больше не находим всему

этому названия; слова, которые мы подбираем, так глупы, что уж лучше молчать. Так пусть же он что-нибудь сделает, ведь он мужчина! Мужчина, у которого есть и усы, и одиночество, и собака, и часы тишины. Уж, наверно, ему все дается легче, не то что мне. Чем он, собственно, мучается? Отчего он одеревенел, какие тревоги его изводят? Вот у меня нет времени нянчиться с моими тревогами. Приходится выбирать, что важнее. Сейчас главная моя забота — Беттина. Опрометчивый новобранец, она вырвалась вперед, за линию нашей обороны, застряла среди колючей проволоки и теперь безмолвно умоляет, чтобы мы пришли ей на выручку. Да, я знаю, за мазут еще не плачено, твоя работа не двигается, жара донимает, Бишурль тебя подвел. Да еще эти боли в левом боку. Ты ведь давно боишься смерти! Но я не затем сюда поднялась, чтобы увязнуть в твоих огорчениях. Я пришла поговорить с тобой (право, давно пора) о твоей дочке, о Беттине… Ей шестнадцать лет, и мне совсем не нравится, какими глазами она смотрит на мир. Слышишь ли ты меня, когда я молчу? Неужели ты бы понял скорее, если бы я принялась ломать себе руки?..»

Я слышу Женевьеву. Слышу ничуть не хуже, чем если б она кричала во весь голос. Ее сдер-

жанность порой гремит как гром. Мне дорога ее учтивость, вот уже восемнадцать лет она так неизменно вежливо принимает мои увертки! Если сейчас она издали увидит, что я подхожу к Беттине, сажусь рядом, дергаю ее «конский хвост», смеюсь, облокотись о колени, картинно развожу руками (для разговора с шестнадцатилетней дочерью самая выгодная позиция, это почти так же удобно, как курить трубку), ей на время станет спокойнее. И после она ни о чем не спросит. У нас с ней не принято, как нередко делают родители, заранее сообща обдумывать разведывательные операции, а потом вечером, в супружеской спальне, обсуждать их, говорить о диком племени своих отпрысков, точно об индейцах Мату Гроссу[26]. Таким этнологам и миссионерам суждено рано или поздно лишиться скальпа.

Она будет молчать. Завтра, послезавтра она будет вглядываться в лицо Беттины — искать проблески смягченной веселости, света, покоя… Но, разумеется, ничего не раз глядишь в этой дьявольской красоте, которую и завтра будут портить косметика и упрямая немота, в этой

---

**[26] Примечания: 26**
Один из центральных штатов Бразилии.

неизменной маске, замкнутой и неприступной.

Нет ли тут еще какой бабенки? Что ж, ищите, вы все на это мастера, только на меня не надейтесь, догадки да намеки не по моей части. Что видел, что думал, про то и говорю, и на этом точка. Нынче всякий готов целое кино сочинить, а я не собираюсь. Не по мне это… Хотя от вас что ж скрывать! Я уж вам говорил, в Лоссан иной раз заявлялись престранные личности. Так ведь, сами знаете, их и в других местах пруд пруди. Не хочу говорить, кто да где, вам не хуже моего известно, я уж вижу, вам охота кой-кого назвать, да только меня это не касается. Тут ли, там ли, все одна компания. Одна бражка, рыбак рыбака… не поймешь, как они терпят: толчея, крик, визг, назавтра опять снова-здорово, эдак друг другу опостылеешь. Нет, у нас с вами другие привычки. Не завидую я им, вот уж ни капельки! От такой жизни и спятить недолго. Вот мы с зятем ежели два раза на одной неделе увидимся, это уже светопреставление. И с Бидиулями то же самое, они друзья

мадам Фромажо, супруги моей: два раза в месяц друг друга навестим — и хватит, я сыт по горло! А у этих не так. Ведь что за народ, только в девять вечера у них жизнь начинается. Иной раз ужинаешь в кафе на террасе, так слышали бы вы — у них в Лоссане шум, галдеж до двух, до трех ночи. И мужчины ихние, мосье, крикливее всякой бабы, хотя об этом я уж говорил, тут мы с вами сходимся. Пожимаешь плечами и идешь своей дорогой. А насчет юбок… Обратите внимание, никто про это словом не обмолвился — чудеса, верно? Насчет этого люди всегда рады пошептаться. Их хлебом не корми, только дай язык почесать. А тут ни гугу. Тоже ведь не зря, верно? Заметьте, толком никому ничего не известно. Для этого надо завести с ними дружбу, да где там, дудки! Но я не в обиде, что ж, в конце-то концов… А все-таки я был к ним вхож. Толкну, бывало, дверь и прямо шагаю во двор или на лестницу, крикну: «Это я, Фромажо!» — и уж поверьте, мне всегда улыбнутся, побеседуют малость. Один раз летом приглашают меня — вот, мол,

бассейн, может, искупаетесь, но я ни в какую. Представляете — притащу в портфеле плавки и появлюсь нагишом? Не хватает только ореховым маслом намазаться и лечь загорать… Нет, знаете, моя профессия такая, надо уметь кой от чего и отказаться. Соблюсти расстояние. Так что приду я, бывало, выкурим по сигарете, десять минут поболтаем — и к делу! Сколько я таким манером народу перевидал! Кстати, — вам никто не говорил? — у них там вечно ошивается красотка мадам Дюж**а**, вдовушка… Вы меня поймите правильно, я говорю — ошивается, не более того. Ее поневоле заметишь, она раскатывает в такой маленькой красной машинке. Ну а не езди она в Лоссан, ездила бы другая такая же. Да, хороша, ничего не скажешь. Как погляжу на такую вдовушку, всегда думаю — вот бы он и заменил ей покойника! Он ведь не так уж слаб здоровьем! Но это все одни догадки. Они ее звали Деа. Деа туда, Деа сюда. Одета всегда просто. Короче говоря, ежели хотите знать, на мой взгляд, больно часто она туда ездила, все-таки не родня. Я бы смотрел в оба. На

чьем месте? Ну ясно на чьем. Только ведь, ежели все делается тонко, скромно, люди ничего и не замечают… Бывают такие тонкие духи, не вдруг учуешь, вы меня понимаете? Не то что от трубки табачищем несет. Как вы сказали? Да нет, уже не молоденькая.

Надо опять и опять возвращаться к ночам. Пожалуй, стыд меня одолевает не меньше, чем страх. Тут нужны слова, которые обычно мужчины оставляют для женщин, для спиртного, для тех своих слабостей, что нераздельны с головокружением и одиночеством. И с падением тоже, ведь так и говорят — опять он впал в грех, или просто о преступнике, который попался: до чего низко пал! А я снова и снова впадаю все в тот же грех — предаюсь ночи, ночным мыслям, предаюсь дому… Какой судья меня оправдает?

С первых дней июня я заставляю себя ночами бродить по дому босиком. Затея дерзкая и не очень умная: тут и скорпионы и вездесущая пыль… Вообще-то приятно вновь обрести устойчивость, приятно человеку летом ощутить под ногами извечную ровную землю и ступать по ней не шумной походкой господина и повелителя, а

мягко, неслышно, не стуча каблуками.

Но для меня все это было иначе и по-иному трудно. Пойти на такую близость с домом, провести ночь с ним наедине — в этих ласках есть что-то нечистое. Как с женщиной, про которую знаешь, что в ящике у нее на всякий случай припасен мышьяк.

Не буду врать, дается мне это нелегко. В первые минуты я чувствую одно только отвращение. Когда мы подписали у нотариуса купчую, старая мадам Блебёф напоследок наставляла нас:

— …И не забывайте по утрам первым делом вытряхнуть шлепанцы, а уж потом обувайтесь! Они обожают забираться в шлепанцы…

И вот, когда я тихонько, стараясь не разбудить Женевьеву, вылезаю из-под одеяла и выхожу, не надев тапок, мне кажется — я отечески предоставляю их, разношенные, пахучие, черным тварям, чтоб им спалось уютнее. Каждому свое логово.

Встаю среди ночи и чувствую себя, пожалуй, так, словно отправляюсь на войну. Кажется, именно войной отдает и тревога, и весь этот обряд, ощущение, что ты окружен со всех сторон, словно не на охоте, скорее в дозоре.

Выхожу из спальни, не зажигая огня. В коридоре не сразу ощупью отыскиваю выключатель, я

еще не выучил дом наизусть. В одну из первых ночей, когда вспыхнул свет, в десяти сантиметрах от кнопки (а значит, и от моего повисшего в воздухе пальца) обнаружился огромный паучище, он окаменел, должно быть, столь же мало обрадованный этой встречей, как и я, — мохнатая звезда с лапами омара; без сомнения, обитатели дома, которым мы изрядно мешаем, поставили его часовым — следить за нами, спящими. Он тут же умчался — наверно, спешил оповестить свое начальство и равных по рангу, сообщников и родню, что пришелец, босоногий и всклокоченный, зажег свет и, перекосив рот, начал спускаться с лестницы.

С той поры они, наверно, притерпелись к нашему навязчивому соседству. Наверно, им пришлось укоротить маршруты разведывательных экспедиций, ограничить действия летучих отрядов и засад. Наверно, первым делом в их лагере принялись точить жвалы, клещи, зубы, когти, собирать и копить яды, но настоящая война не разразилась — и они, как и мы, приспособились к этому вооруженному миру. Итак, мы с ними делим время и территорию. Только я один нарушаю этот молчаливый уговор своими ночными обходами. Наверно, они считают, что я играю не

по правилам. Крысы в мусорных ящиках, сколопендры под рамками москитных сеток, жабы в лужах, остающихся после поливки, мыши под кухонным столом, муравьи, осаждающие сахарницу, пауки и их сородичи, вылезшие из сырых щелей и колодцев, — все они уже не так жаждут снова здесь поселиться: чересчур однообразной и ровной стала почва, натерты полы, чересчур гладки выбеленные стены — наверно, эта гладкость и запах известки им не по душе. Я прервал кишащее всяческой живностью празднество разрушения. Ночь за ночью (битвы при свете солнца — всего лишь самообман) я отбиваю дом у врага, который просочился в эти стены и засел в них, укрепился и торжествовал так, словно здесь уже навек не суждено звучать человеческим голосам. Вот почему летом я должен вставать по ночам, ходить дозором, быть готовым ко всему. Только так и можно показать, что я и впрямь здесь хозяин, иначе останется одна видимость — днем вещи кажутся покорными, но это ничего не значит, истинные чувства свои дом выражает с наступлением темноты.

Итак, вы, наверно, поняли, за полночь мои руки и ноги, ничем не защищенные — ни обуви, ни перчаток! — движутся в непрестанном пуг-

ливом ожидании: вот-вот на что-то наткнешься, кого-то раздавишь, быть может, содрогнешься от омерзения, крикнешь, даже упадешь, застучишь зубами, потрясенный внезапной встречей с чем-то неведомым и опасным. Так и чудятся эти обитатели мира, скрытого у нас под ногами, — клейкие или в хрупком панцире, а главное, безмолвные… Надо совладать с этим страхом, изгнать затаившегося во мне зверя, куда более опасного, чем те, напуганные, как и я, что прячутся в щелях дома, и порой я подвергаю себя испытанию. Например, спускаюсь с лестницы, не зажигая огня; в этих случаях я ставлю ногу на ступеньку твердо, по словам Женевьевы, даже нахально: нежданная встреча, грозящая испугом и ядовитым укусом, мне, пожалуй, не опасна, я надавлю на врага всей своей тяжестью, и он обратится в прах. Когда я добираюсь наконец до площадки второго этажа и зажигаю свет, сердце у меня готово выскочить, виски мокры от пота. И разом среди теней, протянувшихся по полу и по стенам, возникают декорации этой сцены — длинная цепь, к которой все еще не подвесили фонарь; столик на гнутых ножках, весь в мягких, то ли пастельных, то ли конфетных тонах; кресла, которые в Париже загромождали нашу

прихожую. Меня должен бы разбирать смех! Но кто так подумает, тот плохо знает, что такое ночь. Ибо ночь продолжает существовать наперекор всем канделябрам под алыми абажурами, и в ней полным-полно неведомых соглядатаев.

Так неужели мне не опостылело каждую ночь разыгрывать эту комедию? Не посоветоваться ли с врачами? Вероятно, надо меньше пить, да и есть поменьше, надо глотать пилюли, всевозможные снадобья — успокоительные, бодрящие, снотворные. Есть лекарства, которые помогают совладать с простудой, с параличом, с любовью и семьей, так должно же найтись и лекарство, которое помогло бы совладать с домом. Да, о да, я повторяюсь… Как повторяется сама жизнь, и ночь, и отвага того, кто стоит на страже, и каждый день по утрам все то же неодолимое чувство; за утренней легкостью и радостью постоянно помнишь, что день, и дневные разговоры, и почтовые открытки всегда будут лишь краткой передышкой. Душа странствует по ночам. И если ты спишь, никогда ты не встретишься со своей душой.

Моя сестра не такая крепкая, как я. Она прожила в департаменте Эры и Луары

до семнадцати лет, да и то поневоле. У нее, как я это называю, бывают провалы. Приступы какие-то. Люди говорят, надо на юг — это, по-ихнему, к морю, да только климат тут ни при чем. Южный климат тяжелый, даже нездоровый, когда погода меняется. Вон, смотрите, сердечники его просто не переносят. И потом за пять лет трое ребятишек! Надо прямо сказать, из каждого месяца неделю у нее такой вид, что и не глядел бы. А уж в дни, когда ветер! Тогда она и вовсе не спит; и зятя моего боится потревожить, и мерещится ей, что детишки плачут, в общем, выдумывает невесть что… И вот встает, плетется в гостиную, иной раз берется чего-нибудь штопать да латать — это в три часа ночи! Ну вот, как-то в такую ночь выходит она — ей померещилось, вроде дверь хлопнула. И видит, у них там, в Лоссане, на самой верхотуре, два окна светятся. Ей и самой было чудно в такой час проснуться да еще выйти на улицу. Она и подумала, неужто они там, в Старом доме, вот эдак все ночи не спят. Назавтра опять дул мистраль, она поднялась тихонько, гля-

дит — опять же окна светятся, и заметно — тени движутся, кто-то ходит. Ну сами знаете, женщина: наутро не утерпела и рассказывает про это мужу, зятю моему. Он ей говорит: «А ты-то сама? Чего тебя понесло среди ночи в окно глядеть?» В общем, разругались. И надо вам сказать, это у них бывает чаще, чем… Я еще и поэтому хожу с Фернаном на охоту — стараюсь его вразумить… Назавтра она и пошла жаловаться, рассказала, как да что, вся деревня так и порешила: мол, в Лоссане никогда не спят. Утром почтальон принес ему заказной пакет, надо расписаться, а он уж в таком виде… И пошли толки да пересуды, ославили его — дальше некуда. Понимаете, к чему я клоню… То, другое… Выйди-ка в халате, встрепанный, люди мигом скажут — ага, скот, вымотался… слышали бы вы, в словах не стесняются, как поднимут на смех… Он говорит: вы, мол, меня извините, я заработался допоздна, — а почтальон, уже в дверях, бормочет: «Знаем мы эту работу…» Этот, лоссанский, с министром почты приятели. И он хлопотал, чтоб нашему почтальону дали

наконец малолитражку. До сих пор этой малолитражки не дождались… Ну и ежели тот с утра зеленый, почтарь про него уж такое наговорит…

Дома — деревянные швейцарские домики, бревенчатые амбары — потрескивают и поскрипывают, рассыхаются от тепла балки чердаков. По ночам в таком доме слышишь: стонут корабельные снасти, шумит лес. Лоссан — груда камней, не будь ветра, здесь царила бы тишина. Но круглый год по ночам поднимается ветер. Здесь назначают друг другу свидание северный ветер, что налетает с океана, пробиваясь меж горбами Севеннского хребта, и яростный мистраль, расходившийся над сверкающими скалистыми берегами Роны. Да, они встречаются именно здесь, думаю я, когда со скрежетом ошалело вертится железный флюгер и кружат во дворах внезапные вихри, раскачивая сосны и свистя в проводах. Ветер — это голос тишины. И когда движением руки я возвращаю дом свету и, надеюсь (если бы, если бы!), миру и покою, когда я окидываю все вокруг испытующим взглядом, на смену одному противнику приходит другой, на смену тьме — ветер, и все начинается сначала.

В темноте я не слыхал, как скрипят все эти двери, как раскачиваются на цепочках и ударяются о стены крюки, как врываются сквозняки в щели над порогами и задыхается вода, сдавленная узкими трубами. И теперь я кидаюсь то туда, то сюда — надо скорей прощупать, закрыть плотнее, привинтить, закрепить, подпереть, всеми силами поддержать дом, помочь ему устоять перед недобрыми чарами ночи.

Ну и работенка! Какие силы бушуют вокруг меня, какое злобное коварство таится в минутах затишья, как изобретательны и многолики шумы! Голова моя раскалывается на части. Нужна передышка — хоть на миг остановиться, вслушаться или, может быть, оглохнуть, сам не знаю. И вот я в кухне — тут холодно, пахнет давней стряпней — стою перед холодильником, его тоже трясет, и отмеряю себе толику спиртного: без выпивки дозорные засыпают. Выхожу. Возвращаюсь. Хлебни еще, моряк! Наконец-то во мне все утихает. И я вновь поднимаюсь на капитанский мостик.

Нет, я не возомнил себя капитаном, и, однако, под ногами у меня скрипит и содрогается корабль. Я не считаю себя зодчим и, однако, чувствую: расстановка стен, разделение пространства, за-

кон переходов и преград даже ночью ткут вокруг меня сложную сеть поступков и зависимостей, которую я неделю за неделей запечатлевал в камне Лоссана. В этом отстроенном заново доме жизнь моя и моих близких по моей воле отлилась в определенную форму. Сейчас темно. Каждый спит и видит сны там, где я пожелал. Мои ошибки стали отныне холодом или теплом, шумом или тишиной, всем тем, что проникает в их сны и населяет эти сны видениями. Окна вздрагивают под ударами ветра: рамы пригнаны кое-как, стекла дребезжат; я не уберег комнаты от сквозняков, по ним проносятся вздохи и посвисты. Мои прихоти и промахи стали жизнью, она будет длиться, меняться, куда более прочная и долговечная, чем все грезы, что ее породили. Как же поступают другие? Как отваживаются они воздвигнуть среди поля четыре стены своего жилища и разместиться в нем? Как не страшатся развязки драмы, ведь отныне она развивается сама собой, не подчиняясь им? Как говорят без трепета: «Вот мой дом; я сам задумал его таким, сам все рассчитал; от начала до конца я следил за его постройкой; и здесь я счастлив…»? Можно ли заставить тех, кого любишь, поломать все прежние привычки и подчинить их новым движениям и поступкам,

выбрать для них новый горизонт, впустить в тайники чужой души разрушительную силу, скрытую во всяком доме, который, как говорится, только что СООРУЖЕН?

Я не возомнил себя капитаном, и однако, судно идет навстречу буре. Сегодня вечером небо на западе побагровело; соседи предсказывали ветер, и вот ночь выпустила его на волю. Валы ветра прокатываются по крыше. Он яростно набрасывается на корабль со всех сторон, измеряет прочность всего, что ему сопротивляется, опять и опять упрямо идет на приступ.

Я ходил проверять запоры на дверях и на окнах. Напрасный труд. Весь летний зной сегодня вечером преобразился в злобные ледяные струйки, они украдкой просачиваются в дом, проскальзывают в каждую щелку, набрасываются на корпус корабля, безошибочно находят каждое слабое место. Совсем недавно я поднялся весь в испарине, разнеженный теплом постели и лета, — и вот стою недвижно у подножия лестницы и весь дрожу, вслушиваюсь в разноголосый шум, всем существом своим ощущаю, как хрупка и вместе с тем прочна эта посудина, проходят еще минуты — и я смеюсь. Чем больше ярится мистраль, тем неудержимей я ликую. Все-таки я укрепил

плотину; я дал старому дому опору, теперь он устоит против разгула двух стихий — страха и ветра; я стою в сердце моей крепости, я сильнее всех. Близкие мои спят, защищенные тоннами камня, железа и дерева. И разве их сон не моя победа? Разве я смеялся бы, не будь я хоть отчасти победителем?

На миг останавливаюсь перед дверью Беттины. Нет, бесполезно. Вхожу к мальчикам: губы Ролана приоткрыты, во сне он ни разу не шелохнется — так он спит с колыбели, меня всегда это поражало. Робер сопит, ворочается, я укрываю его, шепчу что-то успокоительное.

Возвращаюсь к себе; видно, Женевьева проснулась, когда я уходил, и взялась за книгу, дожидаясь моего возвращения. Лампочки, горящие в изголовье, отбрасывают желтоватый свет на гладкое дерево мебели, порой блики света вздрагивают от бешенства бури. Женевьева поднимает глаза, улыбается.

— Опять ходил дозором? — говорит она. — Итак, стража не дремлет?

> Люди, мосье, сразу чуют притворство. Мой зять — он в этом разбирается — всегда говорит; может, они и просты, да их не

проведешь. Я это в делах каждый день замечаю. Нынче никому очки не вотрешь. Всякий понимает, что добротное, а что липа. Но уж эти, извините за выражение, пересаливали. Я нагляделся — приедут, бывало, агенты по недвижимости из Марселя, из Монпелье и уж так стараются пустить пыль в глаза: мне — мол, поперек не суйся, я первый это дело застолбил; им — хотите, мол, берите, не хотите — не надо, у меня еще трое с руками оторвут… А здешние только посмеиваются. Пойдут они к нотариусу и раз, и другой, а я не тороплюсь… Знаете, как говорил маршал Фот: всякое излишество… Короче говоря, боюсь, в Лоссане они кой в чем пересолили — понятно, не во всем, построено-то на совесть, спору нет, а вот в пустяках. Видно, пустяки они больше всего к сердцу принимают. Говорил я вам про случай с деревом?

Паралич, который разбил собаку в ту июльскую ночь — душную, грозовую, полную криков и слез, в ночь, что началась безалаберно, шумно, пьяно, а закончилась взрывом чего-то вроде отеческой

нежности (и я знаю, многим это показалось бы смехотворным), — коварное нападение недуга, тайными нитями связанное с нашей жизнью в Старом доме, с нашим отсутствием (мы погрешили против самих себя и своего добровольного затворничества), — как же мы не поняли, что все это предзнаменования? Слишком рано мы вообразили, будто все это было и прошло.

Нельзя любить старые дома, издавна кем-то обжитые углы, землю с долгим и сложным прошлым — и не верить в приметы. Не веря в приметы, нельзя любить ни сны, ни полночные бдения. Я люблю не спать ночами, бодрствовать и ждать, ибо ночи полны своей потаенной жизнью. Люблю повиноваться велениям мест и предметов. Люблю невнятные послания старых писем и книг, люблю в часы бессонницы прислушаться к воспоминаниям комнат, которые повествуют о рождениях и о смертях. И люблю признаваться в своих суевериях и страхах. Люблю подхлестнуть норовистую лошадь, когда она пугливо упирается и не желает брать воображаемый барьер.

У моей страсти, страсти хозяина обладать собственностью, есть своя солнечная сторона — сады, дети, фонтаны — и сторона ночная. Ее порождает сходство между лицами и портретами,

ощущение, что это уже было, что когда-то я это уже видел. «Чувство однажды пережитого?» — скажете вы. А быть может, чувство, что однажды это уже похоронено?..

Изломанные рамки, прерванные нити, яростная, осязаемая несомненность снов — я верю страхам, которые вы во мне пробуждаете. Помните первый день, черную тварь, застывшую в багряном свете заходящего солнца, тварь цвета яда, которая встретила нас в час цвета крови? Словно где-то у кого-то — конечно же, совсем близко от нас, быть может, у мертвеца под могильной плитой — вырвался пронзительный крик… словно чей-то голос шепнул мне на ухо… мог ли я не услышать?

Признают ли нас здесь? Принимают ли, терпят ли? Разве не захлопывает ветер дверь у пас перед носом? Быть может, завтра обрушится степа? Быть может, в зеркале отразится совсем не то, что перед ним происходит? Быть может, мы перестанем откликаться, когда нас назовут по имени? А что если ласточки покидают свои гнезда? Если сохнут корни самшита и сосен? Уверены ли вы в конечном счете, что мир вас приемлет? Что он вас любит? Пожалуй, вы слишком многого хотите.

Говорю вам: далеко не все приметы к добру.

Если судьба хмурится, как небо в тучах, надо судьбу заклинать. Пить — этого слишком мало, мой друг. Полька скулила ночью, в темноте, а мы где были? Чем занимались? Какие такие великие проблемы требовали нашего внимания, разве они важнее, чем зов и жалоба самой обыкновенной собачонки? Вот так и обрушивается на дом проклятие. Печать холода, несчастья, Как вам это объяснить, если вы сами не чувствуете?

* * *

На ходу я смотрю под ноги. Никогда прежде я не замечал, как разнообразны ландшафты почвы. Словно в ковбойском фильме: ущелья, где так удобно затаиться в засаде; пространства, покрытые пылью; каменные осыпи, знойные пустыни, и всюду, если вглядеться поближе, кишмя кишит жизнь. В Париже все поглощает ворсистый бобрик. Он безличен, податлив. Ступаешь по мохнатому туману. Единственное разнообразие вносят волнистые следы, которые оставляет иногда пылесос, — словно след проносящегося ветра над морем или над лесом, если смотреть с большой высоты. Помню, мальчишкой я зашелся от восторга, когда у нас в Бородьере полы в гостиной, как выражалась мама, обили коврами. После

я годами мечтал о чудесных гладких плоскостях, о честной открытости ровного пространства, которое обещает безопасность и покой: о низко подстриженном газоне, о дорожках в саду, посыпанных песком, который каждое утро заново разравнивают граблями, о ковровых равнинах, золотистых или дымчатых, об озерной глади мраморных плит, по которой скользят неясные отражения света и теней.

В Лоссане почва под ногами может немало порассказать. Расколотые камни; разболтавшаяся кафельная плитка; швы из мертвенно-серого цемента, который тотчас крошится в пыль. «Прах еси и в прах обратишься». Слова эти еще справедливей для камня, чем для человека. Во всяком случае, это более наглядно, если на ходу смотришь под ноги. Ибо на земле самовластно царит пыль. Не та, привычная, домашняя, которую весь свой век выслеживают, стирают, подметают, вытягивают пылесосом хозяйки; нет, та пыль, в которую постепенно превращаются самые величавые дворцы. Это мельчайшие частицы здания, на которые его медленно дробит ход времени, неумолимый износ, трение, сотрясения, изломы. Эта пыль — дом в порошке, его изначальное вещество, мука, из которой состоит наш

каменный хлеб. Когда Роза говорит: «Я нынче утром припоздала, у меня еще и пыль не стерта», — она думает о мохнатых сбившихся комках, о сотканной за ночь паутине, о тусклом налете, что каждый день покрывает мебель. Это как бы изморось времени, усталость вещей, которую и впрямь можно смахнуть метелкой из перьев. Нет, подлинное разрушение, о котором свидетельствуют сглаженные углы и притупившиеся грани камня, и серая накипь, плотно забившая в Лоссане каждую щель, каждую трещину, — это нечто совсем иное. Смерть сланца и песчаника не втянешь пылесосом. Не пройдешься тряпкой по времени. Тем более что на самом деле все это еще куда сложнее…

Прежде всего сырость.

Сырость может просочиться струйкой дождя под дверью, сквозь плохо пригнанные оконные рамы; она может проступить на стене, подняться из тайников подземелья. Камни потеют. В этом сухом, знойном краю, где земля покрывается хрустящей коркой, словно хорошо пропеченный хлеб, камень Лоссана по ночам весь взмокает, словно последний трус. Нам толковали о подпочвенных водах… Легко сказать. Чересчур это просто — всякий раз объяснять видимое тем,

что скрыто от глаз, поверхность — тем, что под землей. Или уж я зайду слишком далеко по этому пути, и тогда мы совсем запутаемся. Подлинна и несомненна только эта испарина: дом по вечерам бросает в пот, в неурочный час выпадает роса. Ничего другого я знать не желаю.

И еще все осложняет неугомонная живность. Одно в какой-то мере следствие другого. Сырость в Лоссане точно дождь для полей, она удобряет почву. Насекомые плодятся здесь, как одуванчики в саду. Можно подумать, будто я помешался на скорпионах: дело в том, что они обжили дом больше, чем мы, если в этой области существует какая-то мера. Во всяком случае, они жили здесь до нас и будут жить… Ладно, хватит глупостей. Я еще не перечислял? Сколопендры, муравьи, всевозможные пауки и паучки, грызуны — жизнь в них бьет ключом, словно их нарочно поливают. Уж не говорю о разной летучей живности.

На всякую хворь найдется лекарство, и мы прибегаем к самым последним новинкам. В москательной лавке арсенал средств, убивающих любую вредную тварь, ничуть не меньше, чем в аптеках выбор снадобий, благотворно влияющих на рост младенцев. Не сразу я набрел на отравленные зерна, которыми без вреда для себя

лакомится Полька. Я быстро предпочел их порошкам. Они продаются в картонной упаковке, на ярком фоне изображен черный силуэт врага. Невозможно найти оружие, предназначенное именно для того противника, с которым воюешь. Приходится подыскивать что-то похожее. Метишь в пилильщика или колорадского жука, чтобы поразить скорпиона, в листоеда или долгоносика — в надежде заодно истребить и мух. Не бойтесь разить направо и налево. В сущности, все это делается чисто символически.

Полагается готовить эти зелья в жидком виде, развести их, растворить и потом поливать или опрыскивать вражескую территорию. Но мне надо обработать не плодовый сад и не поле, а дом. Тайники дома. Те жилища, что устроили себе в недрах моего жилья мои враги. И я начинаю с самого неотложного — рассыпаю отраву прямо по земле. Я припудриваю Лоссан. Каждый вечер я иду в обход с картонкой в руках и сыплю едко пахнущий хлором порошок всюду, где хоть раз заметил скорпиона, в пазы, трещины, щели и щелочки, где мог бы спасаться или подстерегать враг, всюду, где каменщики напрасно пытались замаскировать уязвимое место нашей брони. Таким образом, за несколько дней с помощью

ветра и наших подошв поверх пыли разрушения я наложил пыль войны. Мы ступаем по грязной муке, от едкого ее запаха першит в горле. Мы начинаем кашлять, чихать.

Бронхи и гортань у нас воспалены. Городской аптекарь в недоумении советует нам обратиться к врачу.

Зато каждое утро мы находим трупы, они валяются желтоватым брюшком кверху, жало отныне ничем не грозит, они похожи на карикатурные жезлы Меркурия, вычерченные на рыжей или серой почве, и свидетельствуют — я старался не зря. Те, что выжили, еле ползают, бестолково тычутся взад и вперед. Куда девалась головокружительная быстрота их движений. И уже не так трудно прикончить их ударом метлы или каблука. Правда, увы, еще случается: за полночь повернешь выключатель и увидишь — на стене, застигнутое светом врасплох, во всеоружии своей свирепости чернеет воинственное чудище, словно символ зла, по-прежнему леденящий наше воображение. Обычно эти ночные гости — настоящие великаны, такие живучие и выносливые, что их не берут мои яды, а может быть, они явились издалека и еще не знают, что старый дом вновь отбит у них и предан умиротворению. На таких пришельцев

надо нападать стремительно, собрав все силы, и тут же их растоптать. Церемониться некогда. Еще случается — плиты, которыми вымощен внутренний дворик, и его стены с наступлением темноты оживают: блестят, шевелятся жуки, жужелицы, многоножки; а иногда в расщелине меж двух камней, где прелесть солнечного света сочетается со свежестью после поливки, дети поутру замечают клешни и изогнутый хвост одного из самых заклятых наших врагов, застывшего в терпеливой неподвижности, присущей разве что металлу или минералу. Я и не надеялся за несколько месяцев совладать с врагом, больше того, это, пожалуй, рискованно: бесповоротно истребить всю эту породу — значило бы покончить и с приметой, которая в ней воплощена, и тем самым провиниться перед ночью. Без сомнения, за это нам пришлось бы жестоко поплатиться.

И, однако, я всегда начеку. Никогда еще все углы и закоулки гаража, котельной, амбара, подвала не бывали так щедро засеяны ядом. Ибо я рассыпаю свои порошки в этих просторных помещениях с размахом поистине величественным. Я сею смерть. Я готовлю почву — плотно убитую землю, перемешанную с соломой и навозом, — под невообразимый урожай. Пути, по которым

передвигается все, что ползает, бегает, карабкается, семенит на шести ногах, на восьми, на сотне или тысяче ножек, — все эти пути и дороги обведены роковой чертой, засыпаны параличом и удушьем.

Одно тут неудобно — повсюду белые пятна, отпечатки наших шагов, и Роза стонет:

— Да что ж это вы мне весь дом запоганили!..

Одно неудобство — следы. Когда убиваешь, следы оставлять не годится. В Лоссане нетрудно пройти за убийцей по пятам, из комнаты в комнату. Детская игра. Расследовать преступление ничего не стоит.

Вот почему на ходу я смотрю под ноги, я отыскиваю не только те места, где надо бы перейти в наступление, усилить нажим на противника, но еще и отпечатки подошв — и яростно их уничтожаю. Нехорошо, если днем чей-то сторонний взгляд заметит, разгадает, истолкует по-своему неизбежную ночную жестокость. Подобное насилие не нужно выставлять напоказ. Кстати, тогда и дело пойдет успешнее.

Всякую бакалею им поставляла «Звезда Прованса». Ну так вот, спиртного они заказывали прорву. Сын Бернье в этой

фирме шофером, он про это и рассказал, очень веселился. «У меня, — говорит, — мерка верная, я-то знаю, в каком доме как живут: привожу бутылки полные, забираю пустые… Можно сообразить что к чему, большой учености не требуется! Наш хозяин даже выписал новые марки, мы прежде такими винами не торговали, и все для них одних, это что-нибудь да значит».

Дети, животные. Такие уязвимые. Представляешь себе, как ребенок, играя, впервые расшибся до крови (они так самозабвенно мчатся под гору, раскинув руки) и как осенью истребляют всякое зверье охотники. В обоих случаях чувство одно и то же — точно у тебя содрали ноготь или в тело медленно вонзают нож. И если приснится зияющая рана на теле женщины, которую любишь, тоже, пожалуй, заплачешь во сне.

Алые губы свежей раны, шрам, точно грязная надпись на стене твоего дома, — символы насилия, издевательства над слабостью, осатанелой злобы, готовой уничтожить наших заступников.

Мы научились различать три вида смерти.

Одна смерть — портал собора, название главы,

вопрос без ответа, бесплодные раздумья в часы бессонницы, излюбленная тема пьяниц. Это она воплощена в бронзовых и каменных аллегориях от Дворца Правосудия до Роны.

Другая — страх. Когда переворачиваются все наши внутренности и слабеют обессиленные ужасом мышцы. Это уже не смерть сама по себе, а смерть внутри нас. Не какие-то необъятные пространства, но яма, вырытая в точности по твоей мерке, и заколоченная над тобой крышка гроба. Не над кем-то — над тобой. Никаких благородных покровов, ниспадающих живописными складками, просто мокрые с перепугу штаны.

Третья ждет нас на полпути. Кажется, старая-престарая история — бежит ребенок, идет женщина (знакомы тебе их черты?). И вдруг лицо и все тело смяты, неузнаваемы, натянута простыня, жадное, гнусное любопытство в глазах зрителей, полицейские мундиры, кто-то обнимает меня за плечи, люди, люди, и отзывчивые, и неотвязные, а где-то на влажной земле валяется крохотный башмачок, словно здесь только что полиция стреляла по мятежникам. Но попробуй вписать в эти привычные картины образ тех, кого любишь! И сразу бьет нестерпимая дрожь. (Ибо все, что было до сих пор, конечно, совершен-

ные пустяки.) Как могу я дышать, когда ты не со мной? Как дождаться в конце тропинки, пока вы наконец добежите? Повсюду камни, сталь, огонь, оружие, яд — все, что убивает, терпеливо ждет вас и не теряет надежды.

Все, что убивает, терпеливо ждет вас и не теряет надежды: на каждую минуту моей жизни приходится минута жизни вашей, с краями полная опасностей. Коже грозит лезвие… Костям — камни… Надо хотя бы вместе стоять на часах и вместе идти в бой, вместе ступать по краю бездны, вместе, крепко взявшись за руки, проходить по обманчиво дружелюбным деревням, вместе ждать невообразимого мгновенья.

Наконец-то: внезапно просыпаюсь, освобождение.

Весь в поту, непроглядная тьма. В своей корзинке мерно дышит Полька, после той июльской ночи ее дыхание нередко становится хриплым; и вдруг она тоже вскакивает; ее тоже кинуло в пот — от страха? от боли? — и впервые от ее шерсти, такой шелковистой, самым плачевным образом пахнет псиной. Да, конечно, сейчас еще ночь, но разумно ли снова ложиться?

Ненавижу тебя, смерть! Знаю, ты застигнешь меня врасплох. Ударишь, когда я отвернусь. Будут

гости, какой-нибудь телефонный звонок. Или мы поссоримся из-за случайного слова, из-за мелочи. На какой-то миг мы оба отвернемся. Вот тогда ты и ударишь. В этот самый миг.

Что мне до мировой истории, до того, чему у нас учат столетия. Все для меня начнется и кончится одним-единственным криком. Губы мои приготовятся оледенеть, коснувшись твоего лица, о жизнь, о смерть… ибо в темноте вы неразличимо схожи.

* * *

Вы и сами знаете, ребята — народ злой. В школе, совсем мальчишкой, как меня только не дразнили. Фром-флю, Финти-флю, Фром-тили-бом. Я вам почему про это говорю — теперь-то, сами понимаете, мне на это плевать. Кличек я наслушался всяких, сыт на всю жизнь. Вот поэтому, когда по деревне пошли толки — чудн**а**я, мол, фамилия, и какой же они нации, может, белые арабы, а может, и жиды или вроде этого, я сказал — хватит! У меня в наших краях доброе имя. Все знают, чем-чем, а этим я не грешу. Алжирцы, согласитесь, все равно что евреи, верно

я говорю? Так вот, мосье, с некоторыми я так подружился, будто с детства вместе росли. Даже так скажу — я ведь вам поминал про Бениста и про Семама? С ними поговорить куда интересней, чем с деревенщиной из Ножан-ле-Ротру. Надеюсь, вы меня с полуслова поймете. Люди, извините за выражение, с чувством чести, люди мужественные. Не то что некоторые, кто давно выжил из ума, сами знаете, про кого я. Да, верно, я все отвлекаюсь, только в моей профессии, мосье, такого терпеть нельзя. Иначе ни одна сделка не состоится. Как-то раз, хоть я ни о чем не спрашивал, он мне сам намекнул, что он родом из Лотарингии. Чего еще надо? И потом, когда они болтали между собой, они часто поминали Тионвиля, Эйанжа, а это имена известные, сталелитейные тузы. И все-таки, не скрою, здешнему народу его фамилия пришлась не по вкусу. Никто не знал, как ее произносить. Что-то вроде этого уже было в сороковом, с беженцами из Эльзаса. А началось еще с черной кости, с беженцев 1871-го! Согласитесь, вот уже почти сто лет про-

шло, можно бы и не цепляться, даже если фамилия малость отдает фрицем… В футбольных командах полно черномазых и поляков, а ведь как воскресенье, так все болельщики с ума сходят, верно? Расизм, мосье, это стыд и позор.

Любим ли мы одиночество? Да, любим. Боимся ли его? Да, боимся. Что страшит нас еще сильней одиночества? Ответ: люди. Самые разные люди. Светское общество и промышленники, крайние и центр, красные, бледные и серые, здешние и парижане, те, кто роскошествует, и самые скромные (будем откровенны, мы предпочитаем тех, кто живет в роскоши), целомудренные, педанты и нарушители всех законов, изысканные вкусы и простодушная прямота. Все они одинаково нас пугают. Кто бы ни появился, мне сразу становится не по себе.

Разумеется, совсем без людей было бы, пожалуй, еще хуже. Существует круг необходимых человеческих отношений, есть магические слова, которые в обществе определяют все: охотничий азарт, алчность, безволие, любопытство. Всем этим тоже можно наслаждаться. Брейся я каждое утро, я не стал бы таким нелюдимым. В Париже

я пятнадцать лет кряду ужинал в чужих домах, каких только приправ не отведал. Так, наверно, мог бы полюбить если не приправы, то хоть застольную беседу? В пору, когда ты уже не желторотый птенец, отучился поминутно робеть и смущаться, на каждой вечеринке даже самый ничтожный мальчишка может поохотиться на прелестную дичь, — вот тогда я пристрастился к разношерстным компаниям, к неожиданным встречам, к варварским и ободряющим обычаям шумного застолья. Всякий раз, как я звонил у дверей, сердце мое начинало биться учащенно не от застенчивости, но от жадного предвкушения: вот и еще вечер, когда, вытащив сети, я разберусь в улове — отделю рыбу от гнилых коряг, отброшу бесцветную третьесортную рыбешку и займусь рыбкой первоклассной. В этом азарте рыболова немало пошлости. Но чья молодость не знала ни малейшей пошлинки? Итак, я был храбрый малый, и Женевьева, существо куда более высокой культуры, только улыбалась моей пылкости. Годы пригасили пыл, но я оставался все таким же.

Зато в Лоссане все меняется. Все уже изменилось.

Отчего они меня пугают? Откуда у меня эта смутная досада, приступы ожесточенного мол-

чания или злости? Стоит им войти в дом, и я бешусь, теряюсь. Чувствую себя рабочим, который только что выложил пол кафелем, цемент еще не успел схватиться, а уже нагрянула толпа в грубых башмачищах — и все труды идут прахом. Осматривают ли гости дом, рассуждают ли о начатых работах, дают ли советы, прикидывают ли расходы — все меня выводит из равновесия. А если они, напротив, делают вид, что не хотят быть нескромными, все оглядывают мельком, из вежливости, меня злит их равнодушие. Я подталкиваю их к гостиной, как бросает уголь в паровозную топку кочегар, которому наконец сказано, что по линии пустят электровозы. Руки мои заняты бутылками, кувшинами, бокалами, кусочками льда, я готовлю выпивку, а внутри смятение. В голове только одна мысль: пускай они пьют. И скорей бы основательно выпить самому, освежить мозги.

Как при этих обстоятельствах положиться на Женевьеву? Близорукая, она льет вино не в бокал, а мимо. Хрупкая, пьянеет от трех глотков. Пьянея, смеется чересчур громко. Смеясь, забывает поддерживать разговор. И она слишком хорошо воспитана, чтобы улучить минуту и подтолкнуть всю компанию к лестнице, к прощанию и отъезду

и возвратить дому тишину.

Ролан, слава тебе, господи, общителен чрезвычайно. Оказалось, в нем живет дух благопристойности. Что до Беттины, в редкие часы, когда ей случается снизойти до рода людского, она молча улыбается. Но уже от одного ее присутствия загораются глаза, вспыхивают ревниво или жадно. А иногда какой-нибудь плут ей понравится, и тогда она сама кротость.

По праву гордишься лишь тем, чем владеешь, — вот оно, уязвимое место. Я не настолько чувствую себя хозяином Лоссана, чтобы принимать здесь посторонних. Будто присвоил чужую роль безо всякого на то права. (В Германии, после войны, в реквизированных особняках я пользовался только одной комнатой, одним столом или креслом — совестно было посягнуть на большее…) Едва достигнуто равновесие (чаще всего по какому-нибудь мелкому поводу), едва завоеван покой и уют, приходится вновь ставить их под сомнение и притворяться перед другими, будто чувствуешь уверенность, которой на самом деле нет и в помине. У меня на глазах они вторгаются в тайны, в которые я и сам еще не проник. Они смотрят с понимающим видом, они льстят и хвалят, а порой (или это просто мнительность?) я перехватываю

и косые взгляды исподтишка — и мне кажется, что гости мои за один-единственный час пустили здесь более прочные корни, чем я за все время. Еще немного — и они выставят меня за дверь.

И, однако — верх нелепости и взаимного непонимания, — принято считать, что я не могу жить без большого общества и обожаю сборища. С тех пор как приехали дети, званым обедам нет конца, гости сваливаются как снег на голову, в бассейне мы плещемся целой оравой, болтовня не смолкает ни на минуту. Едва в Лоссан проникло полдюжины друзей-приятелей, я принялся пить больше, чем следует (смотри выше). А отсюда лихорадочное возбуждение и многословие. Женевьева уже перестала понимать, когда я трезв, когда пьян, и, возможно, ей кажется попросту хорошим настроением блаженная веселость, порожденная выпивкой. На этом она и успокаивается. А может быть, топкий психолог, она предпочитает, чтобы я шумел и суетился, лишь бы не унывал и не падал духом, и решила (самая вредная политика) поощрять это лечение. Словом, лечебные или случайные наезды гостей все учащаются, и я уже не знаю, куда деваться с досады. Вы скажете, все это продолжается каких-нибудь две недели… но у меня уже не хватает

сил. И потом я хотел бы понять. А что понять?

* * *

Нашим гостям мы с Женевьевой даем прелестные имена (ничуть не менее звучные, чем клички, которые давались предкам Польки). Но одна, которую вчера привезла общая приятельница, перещеголяла все наши выдумки: ее зовут Диана-Алина. Мы, конечно, сразу изобрели «Дианалин»: правда, похоже на патентованное средство? Дианалин Сиба. Лучший Дианалин Заводов Роны. Уже одно это имя унимает зубную боль, успокаивает сердце, успокаивает настолько, что сердцебиение, которое я ощутил, когда она приехала (она красивая!), унялось почти мгновенно.

Приехали еще несколько старых друзей. Ветераны давних битв, увечные воины дней моей юности. В двух словах я изображаю им мои драмы и метания. Мы посмеиваемся — что ж, без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Особенно с Гийомом — я часами езжу с ним по округе в поисках мест самых безотрадных, самых пустынных, вечером будет о чем пофилософствовать.

Домам дана особая власть, они вызывают к жизни семью; и члены наших семейств, про-

слышав о Лоссане, забывают, как еще недавно презирали нас с Женевьевой, и вновь появляются на нашем горизонте. Они приезжают суховатые, настороженные, но все же приезжают. Они очень осмотрительны; не ровен час мы вообразим, будто в главном они пошли на уступки; еще внимательней они присматриваются к нашему образу жизни. (Главное, человек без определенной профессии всегда останется для них человеком второго сорта. Представляю их замешательство, узнай они, что их отношение за эти почти уже двадцать лет — подозрительность, отчужденность, а сейчас и недоверчивое удивление, — на мой взгляд, вполне разумно. Мне понятны их подозрения. Пожалуй, на их месте я держался бы еще опасливей. Сам себе я доверяю еще меньше, чем они, и, когда вместе с ними обвожу взглядом стены Лоссана, меня куда сильней одолевают сомнения.) В целом Лоссан им нравится. Мы чувствуем это по кислым улыбочкам их дражайших половин. Это прочно, солидно, настоящий семейный очаг. От своей Женевьевы они ничего подобного не ждали. Они ходят, смотрят, принюхиваются. Вот-вот заглянут в зубы нашим детям, проверят, как лошадей, — не плутуем ли мы, не убавляем ли им годы? Трогают какой-то

комод: «Это наследство тети Кло?» А скажи им, что комод мы купили, они тотчас спросят меня: «Так за эти статьи, которые вы пишете, прилично платят?» Цифры — вот что им нужно знать.

Дорогой мой Фромажо, все эти ваши Бирр, Сен-Рафаэль, Сензано, Порто, Фронтиньян, Дюбонне, Сюз, Мартини, Ферне-Бранка и прочее, скажу я вам, такая же чепуха, как дома с колоколенками. Пить, дорогой Фромажо, следует английскую или русскую водку. Это здоровее всего. Запомните: английскую или русскую водку.

Представляете, человек говорит вам такое у себя в гостиной, в семь часов вечера, со стаканом в руке, да эдак важно, на полном серьезе, — что вы про него подумаете? Что он вдрызг пьян, верно? Так вот, в тот самый вечер он разобрал по косточкам отчетную ведомость нашего мосье Ру. Дотошней самого прожженного бухгалтера! Будь на час больше или меньше заплачено какому-нибудь землекопу, он и то бы заметил… Что вы на это скажете, а? Мой вывод такой — он себя вел как

настоящий хозяин, вот и все. Или просто дурака валял? Да чего ради…

Только они появятся — и сразу чувствуешь себя, точно после потасовки или на корабле в бурю. Кто *они?* Да неважно — ураган бушует всегда одинаково. Детвора носится повсюду вскачь. И поднимает крик из-за каждого пустяка, из-за каждой шишки и царапины. Взрослые без конца курят, и часу не пройдет, как дом становится точно жилет какого-нибудь радикального деятеля: всюду пепел — в укромных уголках кресел, на коврах, на лестнице. Положит кто-нибудь зажженную сигару на край пепельницы, забудет про нее и уйдет, а она тлеет, дымит, отравляет воздух. Потом этот жалкий, кривой недокуренный огрызок сваливается на стол и выжигает в дереве черную борозду, к каким столь почтительно относятся антиквары. А еще все забывают сигары и сигареты на полках над умывальниками. Тут гореть нечему. Окурок тихонько гаснет, и на эмали остается жирное желтое пятно; если на беду тронуть его пальцем, потом долго не отделаешься от вони трубочного перегара. Пройдет несколько часов — и все в доме вверх дном. Если б мы затеяли полную перестановку мебели, и то не получилось бы большего

беспорядка. И на всех столах и стульях появляются какие-то непопятные предметы, круглые следы стаканов, полосы, пятна, забытые очки, зажигалки, пустые, смятые и скрученные картонки из-под сигарет, развернутые вчерашние газеты, поверх рекламных объявлений с ромбами и негритянками исчирканные какими-то цифрами. Все двери настежь, а вы терпеть не можете, когда их не затворяют. Ставни хлопают, потому что их распахнули, но не накинули крючки. Повсюду гуляют сквозняки, все стучит, трещит, письма и счета кружатся в вихре, словно осенние листья. С лаем носятся взад и вперед собаки. Ящики комодов толком не закрыты. В саду валяются забытые книги. На брошенные пирожные слетаются осы. Окна, затянутые москитными сетками, остаются открытыми, лампы горят всю ночь напролет. Иголка проигрывателя со скрипом крутится на последних тактах одной и той же пластинки уже, должно быть, час или два. На страницах журналов — кляксы варенья. Под диванами валяются расчески.

Вот вам люди, ваше окружение.

Я пытаюсь в одиночку бороться со всеобщей небрежностью и хаосом. Ни минуты покоя. То и дело я вскакиваю: надо что-то проверить,

закрыть, закрепить, погасить, подобрать. С натянутой учтивостью, ровным голосом я подаю советы; а изредка взрываюсь бешенством. Порою случай или стихия воздают неряхе по заслугам еще раньше, чем я успею вмешаться: разбивается стекло двери, хлопавшей на ветру, книга падает в бассейн, шелковый шарф в клочки раздирают собаки, перегорают пробки.

Не покладая рук, особенно по вечерам, я опорожняю пепельницы. Точно тень скольжу я среди друзей с проворством и усердием необычайным; высыпаю содержимое маленьких пепельниц в большие, больших — в ведерко; я уже не участвую в разговорах, я только и знаю, что охочусь за пеплом да собираю пустые стаканы, исподволь отнимаю у Розы и мосье Андре их обязанности: слежу за ставнями, за сухими листьями, за рытвинами на посыпанных гравием дорожках, подбираю среди цветов на клумбах игрушки — вскоре я уже ведаю всем, у чего есть свое место, что боится царапин, что нужно разглаживать, разравнивать, собирать в кучу, раскладывать, приводить в порядок. Надежно только то, что я сам проверил; только то чисто и опрятно, по чему я сам подозрительно провел пальцем. Я всегда забегаю вперед, а потом с удовольствием

огорчаюсь, что все делается так медленно. Я сам на себя взваливаю черную работу — и втайне осуждаю других за нерадивость: почему они не утроили свое прилежание? В иные дни, когда, как весело сообщает Женевьева по телефону, «дом ломится от детей и друзей», я развиваю просто бешеную деятельность. Мне чудится, что удобство, здоровье, самая жизнь всех вокруг держится на одной-единственной ниточке, и я отчаянно за нее цепляюсь. Расстройство пищеварения, укусы насекомых, солнечные удары, всяческие оплошности, промашки, опоздания не обрушиваются на нас только потому, что я, неусыпный страж, всегда начеку и вовремя отвращаю все напасти. В эти дни Лоссан становится полем непрестанной и многообразной битвы, по пятнадцать часов кряду я воюю с присущей моим чадам и домочадцам и их ближним готовностью пустить жизнь на самотек, ибо это не сулит добра.

Примечательно, что с передрягами по части домашнего распорядка, чистоты и аккуратности, послушания и усердия обычно совпадают передряги внутренние: усталость, бессонница, нет сил работать, нет надежды пробить скорлупу, в которой замкнулись мои дети. На то, чтобы поддержать и сохранить Лоссан, я трачу главным

образом силы, украденные у любви или у работы ради хлеба насущного. И тогда мне кажется, что мои усилия утвердить дом в его совершенстве и нерушимости, сделать его надежной опорой, эти сверхчеловеческие усилия таинственным образом искупают былую трусость, увертки и расхлябанность, которыми отмечено мое прошлое. Каждому полученному письму, что меня когда-то ранило, каждому неосуществленному замыслу, каждой разорванной странице, каждому неисполненному обязательству соответствуют забитые гвозди, завинченные скрепы, подстриженные кусты, выговоры нерадивым, старания, как говорится, поддержать порядок в доме. Поддержать Лоссан значит удержать мою жизнь. Я мечтаю запечатлев в Лоссане идеальную гармонию пространства, вещей, обычаев, освободить его от навязчивых гостей, сделать средоточием неизменно мирного ландшафта, навеки остановить для него ясный, весенний день, не тревожимый ни малейшим дуновением ветерка; я хотел бы видеть его таким уединенным и незыблемым, как это возможно лишь в царстве минералов, — вот тогда бы я, наверно, успокоился.

Как не могу я приняться за работу, пока не

разложу все вещи на письменном столе в определенном порядке, так и жить в Лоссане тоже не мог бы, не защитившись хоть в малой мере от хрупкости и ненадежности дома (ведь даже дом хрупок и ненадежен) строгой неизменностью его убранства и уклада. Я мечтаю о блаженном покое, каким наслаждаются, должно быть, люди беззаботные и небрежные, о смятых подушках, о пыли и растоптанных шлепанцах. Да, я мечтаю обо всем этом, но не без презрения. Наверно, в таком вот коконе, в уютном гнезде, в теплом чреве, в мягком пушистом убежище другие обретают то же ощущение безопасности, какое я ищу в недвижной, геометрически правильной расстановке всех вещей. И я могу вообразить, что строгий ритуал наведения порядка, ритуал, в котором я черпаю утешение и поддержку, других выводил бы из равновесия. Я могу это вообразить, но что толку?.. Вот он, Лоссан, и я для того существую в сердце Лоссана, чтобы жизнь его шла и сверялась по моим законам, а не по законам тех, кому безалаберность не помеха. Мне (так я думаю и чувствую) порядок необходим, чтобы жить, все равно как правила языка необходимы, чтобы высказаться. Мою жизнь мне надо выразить словами, я не могу нечленораздельно ее

пробормотать. Страх заставляет меня собрать все силы — и всеми силами я стараюсь сохранить отчетливость и чистоту той участи, которую избрал: предоставь я ее обступившей со всех сторон бестолочи и мути, все быстро поглотил бы подстерегающий нас ужас.

Ах, чувство долга, вот оно что… Ну ежели дошло до чувства долга… Это вы ищете ветра в поле, скажу я вам. Когда человек так и остается будто пришитый, с женой, с ребятишками, со всей этой домашней канителью — стулья расшатанные, повсюду раскидано грязное белье… оно, конечно, понять трудно. Только не стоит преувеличивать. Ежели хотите знать мое мнение, люди почему остаются? Потому что тяжелы на подъем. Конечно, со всяким бывает — вроде как в голову ударит или нутро переворачивается, верно? Но человек думает — не ломать же семью из-за первой встречной юбки. А на самом деле просто все уж больно ленивы. Вот чужие косточки перемывать — это им первое удовольствие. От злых языков не убережешься. Взять хоть меня, когда я

нанял Жозетту, и то же самое, когда машину купил. Что машина, что девчонка — им это нож острый. А я сказал: «На чужой роток не накинешь платок». Мадам Фромажо, супруга моя, выше сплетен. Ну да, верно, Жозетта была девочка что надо. Почему «была»? Так ведь тут все решено, мосье. Она свела знакомство с одним малым из Сен-Мари. А я? Что ж, мне вон скоро стукнет тридцать пять. Машина работает полным ходом. Только можете поверить, ежели человек не удирает куда глаза глядят, так это потому, что жутковато, не знаешь, как спать в новой постели да куда положить зубную щетку. Порядочные женщины дело другое. Вы примечали, уж больно быстро они становятся рыхлые, дряблые. За собой не следят, да еще детишки… От подозрений я бы рехнулся. Я сроду доверчивый. А у таких людей, кажется, только и на уме что шуры-муры да разные забавы, так нет же, все наоборот. Понятно, я только про то говорю, что сам видел. Со стороны, знаете ли, судить трудно. Иной раз думаешь — интересно, как они на своем культур-

ном языке рассуждают про девчонок и про всякое такое? Вроде как идете вы по улице, приметили хорошенькую, и вдруг вам скажут — через час она ваша, — чудно покажется, верно я говорю?..

Напрасно я смеюсь над Дианой-Алиной (а может быть, это извечный прием несчастных мальчишек — дергать девочек за косы?). Она так хороша, у нее огромные, непостижимые глаза, она вернулась и вернется опять, и она приносит мне чудесную боль, мученье, которому нет цены.

Настанет когда-нибудь день — ив последний раз мы навестим милые нам места. Настанет день — и я увижу озеро Леман в осенней дымке, серые, неяркие деревушки, серое море у бретонских берегов. Что-то иссякнет во мне — то ли силы, то ли радость, и тогда придет мудрое понимание, что пора со всем этим кончать, пора наглядеться досыта (а быть может, и до отвращения, чтобы больше не страдать), и тогда сумеешь уйти. Мне кажется, я обрету дар (горький дар — так надо ли этого желать?) в последний раз обласкать взглядом все, что мне дорого, все собрать и все рассеять по ветру одним усилием памяти.

Кажется, глаза ее полны не каких-то непости-

жимых загадок, а просто печали, может быть, она похоронила мужа или он пропал без вести? Может быть, за этим скрывается какая-то драма, разбившийся самолет, морская пучина, но ко всему тайно примешался разлад, одиночество. А я не люблю задавать вопросы. Старая привычка, я научился этому к двадцати годам и снова к этому вернулся: не следует слишком хорошо знать тех, кого любишь; не надо вводить в свою жизнь имена и образы, вокруг которых когда-нибудь — как знать? — цепким плющом обовьется страдание. Разумеется, нет и речи о том, чтобы полюбить Деа. Одна мысль об этом так бесплодна, так мучительна… Но Деа приехала, она здесь, и ржавый механизм, точно чихание остывшего мотора, дает мне знать, что не совсем еще вышел из строя.

Женевьева смотрит на Деа. Смотрит на эту воплощенную нежность, какая бывает только до тридцати (а мне с молодых лет кажется, что она давно устарела), и молчит. Каждой утонченной женщине присущи трогательная учтивость и беззащитность. Хочется обнять каждую женщину, которая не ведет себя, точно взъерошенная кошка. Надо бы засмеяться, положить руку Женевьеве на плечо, объяснить ей все это, но ведь она-то все это знает, ей объяснять незачем. Итак,

помолчим.

Она знает, что красота Беттины меня и завораживает и мучит. (Но знает ли она, что в то же самое время плевать я хотел на красоту Беттины? Знает ли, что я плюю на молчание и на прелестное тело Беттины едва ли не в той же мере, как страдаю из-за них?) Женевьева знает, что лето, как говорится, выдалось тяжкое. Тяготят и дом и жара. Тягостен полученный урок — здесь я узнал, что, пожалуй, силы мне изменили, что я уже не так твердо стою на ногах и не так высоко держу голову. И она старается посмотреть на Диану моими глазами. Она спрашивает себя: «Каким образом Деа приносит ему боль или радость? Что он думает о ее лице и о ее теле?» Женевьева тряхнула волосами, зрачки расширились. Ей хочется понять. Для нее я человек без возраста — мы почти однолетки, не такой уж почтенный возраст. Я старый товарищ, я так давно делю с нею и смех, и ночи. И вот она смотрит, какими глазами я смотрю на Диану, — так мне порой случалось видеть, как прояснялось ее лицо, лучилось изнутри полузабытым светом, потому что мимо кораблем в море проходил человек, достойный любви. Но она оставалась на берегу. Оба мы остаемся на берегу подле нашего дома,

как остаются муж и жена, если они не дикари: взявшись за руки, но каждый наедине со своими думами, смотрят они на проплывающие вдалеке паруса, и мечтают о возможных странствиях (а это все меньше — странствия, и все меньше они возможны), и твердят своей жизни «да», которое так быстро перестаешь возвещать во весь голос, которое понемногу начинаешь бормотать еле слышно, и, однако, звучит оно теперь совсем по-другому.

Вот так оно и идет. В такие минуты мужчина, если он курильщик, раскуривает трубку и берется за книгу, а женщина с иглой в руках склоняется над детским бельишком.

* * *

Не стоит спешить с выводами, ахать и возмущаться только оттого, что в Лоссане побывала (сколько раз — четыре? пять?) молодая женщина, с которой мы, как говорится, завели добрососедские отношения. Пожалуй, мы сдружились слишком быстро, на такое решаешься только в ранней юности. А мы уже вышли из этого возраста. Но большеглазые гостьи пробуждают в нас великодушные порывы. Даже старик размечтался бы перед женщиной с такой гордой, высокой

грудью. Тем более если голос ее пронзает сердце (не говорят ли так и о раздирающем вопле, и об ударе молотка по пальцам? Все, что исходит от нее, причиняет мне боль).

Деа проходит по дому. Присаживается то здесь, то там, смотрит на то, на что надо, и так, как надо, не изрекает никаких глупостей. Когда она здесь, дом перестает меня пугать. Есть у нее такой дар, она и сама это знает и пользуется этим — сколько людей во скольких домах говорили ей, что она создана для этих стен?

Я хитрю, увиливаю, но придется заговорить и об этом: о ее теле. Мне нравится в нем скромность, но скромность эта захватывает и остается с вами, словно аромат духов. Мне нравятся ее платья — из гладкой ткани, чистых цветов, алые или желтые, они напоминают какие-то яркие фанты, они ничего не навязывают, но втайне неизменно пробуждают неотступные образы желания. Мне нравится, что в ее облике и поведении нет ни намека на сообщничество. И наконец, — ясно ли это? — все эти слова бродят вокруг да около, мне надо бы еще изобрести какие-то фразы, в которые удалось бы облечь ее движения и ее неподвижность. Жаркие сны, ночь вкрадчивых снов, завладевшая мною вплоть до бесцеремон-

ного рассвета, — жжет и перехватывает дыхание все, что связано с ее телом, только с телом. Не все ли мне равно, что у нее есть еще и душа и память! В эти недели, полные отвращения, она помогает мне если не любить, то хотя бы терпеть шкуру, в которую я чувствую себя втиснутым, точно товар в упаковку, терпеть лоснящийся лоб и нос (непонятно, как она переносит хотя бы, что на прощание мы обмениваемся беглым поцелуем). Появляется женщина — и вновь тебе кажется, будто и ты тоже человек, и вновь работает чудовищная кухня: где-то в подземельях твоего существа вскипают алчность и воображение, а на вершинах — все, что в тебе есть благородного. Ибо понемногу становишься безупречен. Стар, глуп и безупречен. Пари держу, где-то эту красивую вдовушку, чьи глаза, быть может, в конце концов полны… полны планов… уже ждет какой-нибудь промышленный туз. Она вдруг начинает мне так мешать! Она так мне надоела! Пускай убирается, да поживее! Пускай куда-нибудь в другое место увезет свое лукавство, это изумление и всепонимание цвета лесного ореха, над которым трепещут ресницы и тяжелеют голубоватые веки — голубоватые не от косметики, но от усталости или от жадности; так жадны те, кто уцелел после

катастроф, нимало мне не интересных, одиночки, что хотели бы переделать на свой лад мое одиночество, взвалить на меня задачу еще более трудную, из всех моих чувств отнять у меня то единственное, которое мне нужно в Лоссане, — яростное упорство.

— Надо бы все-таки подать весточку бедняжке Деа, — говорит Женевьева.

И Ролан подхватывает:

— А кто все-таки был ее муж? Летчик? Моряк?

И Робер:

— Ее муж был космонавт…

— В сущности, тебя, по-моему, всегда к ней не очень-то тянуло, — говорит Беттина.

(Нет, она сказала грубее — то ли «от нее тошнило», то ли «воротило» — слова невозможные для утонченных движений моей души.)

— А сколько ей лет? — это опять Робер.

— Двадцать восемь. — Женевьева, как всегда, точна.

— А тебе? — спрашивает меня Ролан тоном школьника, который обнаружил у приятеля плешь. — Тебе сколько?

— Сорок пять.

— Ах, сорок пять?..

— Да, сорок пять.

* * *

Чтобы по-настоящему узнать ланды, надо походить пастушьими тропами. Они вьются среди низкорослых деревьев и каменных выступов. На высоте человеческого роста топорщится пропыленная листва, все холмы быстро начинают казаться неразличимо похожими друг на друга, и в этом однообразии того и гляди потеряешься, но, по счастью, можно еще посмотреть на солнце и на далекие деревни, построенные каждая по-своему. В грозу тропы, выбитые стадами, обращаются в бурные потоки. А потом наступает жара, и они высыхают, каменеют, точно африканская пустыня, над ними проносится удушливо-жаркое дыхание ветра, запахи то сладкие, то едкие, как перец, и непрестанно дрожит необъятный хор еле уловимых, но неумолчных голосов. Кажется, даже среди ночи угадываешь звуки перепуганной жизни — она цепенеет либо мечется в ужасе, под землей разгораются страсти; кто-то алчно набрасывается на иссохшие, сожженные солнцем трупы; зорко подстерегают змеи; меж камней, сводя старые счеты, пожирают друг друга заклятые враги в сверкающих панцирях.

Зимою словно бы восстанавливается мир. И

тогда подолгу бродишь, защищенный холодом и своей радостью. Но изредка, особенно по воскресеньям, трещат ружейные выстрелы. И вдруг навстречу, окруженные свитой рыжих псов, мчатся верхами мальчишки самого разбойничьего вида. Нет, они тебя не грабят. Как одержимые несутся они вдогонку за кроликом — не каким-нибудь вообще, а за старым знакомым, которого они, кажется, даже знают по имени, — и, запыхавшись от галопа, толкуют о нем, словно о хитрейшем и коварнейшем противнике:

— Говорят тебе, он поскакал вон туда…

Они свирепо пригнулись. Они идут в атаку, дикари, объявившие постыдную войну маленьким травоядным; предки их гордо выступали под солнцем и сеяли смерть, они же не признают изысканных правил этой игры — носятся напролом по кустарникам и косогорам, увлеченные этой нелепой травлей; и вот они скрываются беспорядочной оравой, все в поту, с разинутыми ртами; опереточные охотники, они готовы палить по всему, что прыгает и визжит, в том числе и по собакам, и свищет свинец, рассекая чуткую декабрьскую тишину.

Подлинная жестокость, неисчислимые, неутомимые убийства совершаются не руками нелов-

ких мальчишек, но у нас под ногами. По счастью, наши воскресные охотники об этом не подозревают.

До переезда в Лоссан я совсем позабыл о животных. Я не помнил, как безумен взгляд лошади — окаймленный белком страх, забыл, как мягким, пугливым движением все они — и собаки и лошади — изгибают шею, оборачиваются и молят, чтобы мы хоть малейшим знаком объяснили, какая участь их ждет.

И теперь, мне кажется, я вновь — так скоро! — стал подданным животного царства... Линялые глаза этих ублюдков — помеси дворняги с гончей; вялая рысца лошадей, на которых за десять франков в час трясутся ничтожества с усами счетоводов; внезапные обиды и нежности Польки; жизнь птах в саду; верность ласточек, гнездящихся в риге, — все это приносит мне и мучения и радости. Даже когда подыхают истребляемые моими трудами мухи и всякая насекомая мелочь, я смотрю на них теперь с подозрительным вниманием. Трудно сказать, в чем истинный смысл той чувствительности, что вдруг на меня напала. Между скупыми словами и щедрыми ласками, между отвращением, которое охватывает меня при одной мысли, что надо ответить на письмо,

и неизменными заботами о настроении моей собаки словно бы установилось какое-то равновесие. Все происходит очень быстро, Лоссан точно соскоблил с меня или стравил кислотой тонкую пленку человеческого. Я все лучше разбираюсь в запахах и звуках. Все охотней лежу прямо на земле, на пригреве, но при этом обострилось мое отвращение к пыли, ко всему жирному и липкому. Теперь я без омерзения беру в руки многое, к чему год назад не осмелился бы даже мимолетно прикоснуться. Среди красочных представлений о старости иные еще недавно казались чистейшей фантазией, сугубо книжной выдумкой, а вот теперь я с ними свыкаюсь: шестидесятилетний чудак, обросший полуседой щетиной, облаченный в отрепья и облепленный кошками; пьяница и сквернослов, медленно догнивающий в недрах своего дома… Не то чтобы я стал в чем-то походить на эти карикатуры (хотя… как знать? Надо бы еще проверить!), но во мне обнаружилась некая слабость, похоже, что я готов отпустить вожжи, дать себе волю и махнуть на все рукой, — вот так человек и становится беспутным бродягой, перекати-полем. Вся соль в том, чтобы поглубже вдохнуть в себя подлинную жизнь, проникнуть в суть вещей, поближе

к самой их сердцевине, в ту сокровенную глубь, где бродят и множатся силы жизни. Какой путь вернее? Лихой водитель спортивной машины, любитель и знаток древностей мало-помалу стушевывается во мне, уступая место соглядатаю собственного «я», неусыпному стражу моего же душевного спокойствия. Не стану торопиться с выводом, будто «Лоссан помог мне познать самого себя» и прочий вздор. Этот дом и край, и почти болезненное внимание, с каким я к ним поневоле присматриваюсь, действуют на меня, точно едкие кислоты. С меня спадает старая кожа, и, может быть, взамен нарастает другая. Домашнее животное пустили в лесную чащу, полную опасностей? Человека, что жил шумом и спешкой, погрузили в медлительность и тишину? Есть и это. Но главное — внезапная пустота, куда, как и я, еще больше, чем я, брошены мои близкие. Так с Беттиной, лето словно подчеркнуло ее и отставило поодаль — чего-то ждать. Так с Женевьевой — Лоссан навязывает ей долгие переходы во времени и в пространстве, и по дороге она не может не спрашивать себя, что же сталось с нашей нежностью. Состояние дома и клочка земли, столь важное для архитекторов и нотариусов, становится нашим душевным состоянием. Когда

мы восстанавливаем стены и крыши, истребляем всякую нечисть, спасаем от разрушения камни, тем самым что-то укрепляется и во мне, в нас; или, напротив, при этом становится очевидно, что в нас отжило, износилось и чем стоит пожертвовать. Затея, на которую мы пустились, чтобы жить проще и спокойней, быстро осложняется. Жизнь становится труднее. Но, быть может, в ней открывается истина? Примерно это я и пытался установить, когда говорил, что рыжие глаза охотничьих псов, повстречавшихся мне среди пустошей, как и ошалелые, дикие глаза их хозяев (только по-иному), пробудили во мне спящую жалость.

Позвольте вам сказать, мосье, что я устал от ваших расспросов. Не тот я человек, какой вам нужен. До истины расспросами не докопаешься, тут мы с вами согласны, да ведь то, чего вы от меня добиваетесь, дело тонкое. Мы люди обыкновенные. Зря я. знаете ли, на это поддался. Вот на все на это — стал рассказывать да рассуждать, что к чему. Я уж вам как-то говорил, не нравятся мне такие мужья, которые не гасят лампу. На

мой взгляд, есть в этом что-то нечистое. Понятно, я тут ни при чем! А все-таки чувствую, вроде и сам влип… О некоторых вещах говорить не положено, вот что я вам скажу. По-вашему, я болван, да? Вот послушайте, я сейчас вдруг подумал, каково-то ихней дочке все это выносить, толки всякие, намеки, если она кой-что поняла. Делаю из мухи слона? Вот и видно, что вы человек не сочувственный, ежели так говорите. Жестокое у вас сердце, черствый вы сухарь! Вам ничего не стоит раздавить человека. Его ли, другого ли, это уж разница невелика… А наш брат, знаете ли, склонен к чувствительности.

Проходили месяцы, я латал стены и душу, ощущал на себе смену времен года и вот теперь начинаю догадываться: Лоссан — плод моего воображения. Разве не так называют то, что взято из грез, но питается еще и памятью? То, что ускоряет полет мечты, расцвечивает ее, наполняет (так парус вздувается ветром) и золотит повседневность либо окрашивает ее в черный цвет?

В Лоссане я себе придумал дом. Всегда говорят: дом детства, семейный дом, загородный дом, вот и

я придумал себе детство, семью, тихий край. Мне всегда недоставало прошлого. Давно хотелось где-то пустить корни, но не хватало решимости или, может быть, безрассудства, движения, каким вскидываешь на плечо дорожный мешок перед долгим переходом. А на сей раз, в Лоссане, я остановился. Меня ждала работа: фундамент и стропила, полы и крыша, парадная дверь и каменные плиты. И молчание детей или — хуже всякого молчания — долголетняя привычка вполуха слушать Женевьеву, рассеянное равнодушие ко всем остальным, к рассказам об окружающем мире и о других людях — эти шумы и отзвуки мне мешали; и вот я очутился перед стеной, перед горной цепью молчания. Мне пока не удалось, но я хотя бы понял, что рано или поздно надо будет от этого избавиться. Да, вот именно, это и есть самая важная работа.

Нельзя выдумать себе отца или мать. Тут нас удерживает внутренняя чистоплотность, одно из тех красивых чувств, которые нас принаряжают и от которых в жизни никакой пользы. Но дом! С десяти лет, с тех самых пор, как продали Бородьер (а он был безобразен), я мечтал о каком-то прибежище. Становишься взрослым, и все равно хочется каждый год, когда наступает июль, войти

в решетчатые ворота на скрипучих петлях (на рождество их забыли смазать)… Я перелистал альбом воспоминаний.

Итак, я подновил детство. Убежище в ветвях деревьев, двоюродные сестры, поцелуи украдкой, одиночество в самой глубине сада — все это могло быть и под кровом Лоссана. Но ведь пьеса не была сыграна? Что ж, пусть у меня будут по крайней мере декорации. Это помогает мечтать. Мне казалось, завладев этим домом, я наконец перестану быть нищим, обделенным в чем-то очень важном: мне всегда так не хватало детства. В иные вечера, когда после этого нескончаемого лета на исходе дня вновь можно было насладиться долгожданной свежестью, я смотрел по сторонам — всюду порядок, все вычищено, вылизано, мягкие краски, ни одна мелочь не режет глаз… И мне чудилось, что я строил не на новом месте, мог же я и впрямь унаследовать дом предков, мебель, которую уже не замечаешь, потому что видел ее с колыбели, зеркала, в которых наши лица навсегда остаются детскими. Ну, а мама? Разве не могла она чинить наши рубашки, изодранные, когда мы лазили на те каштаны в конце сада, при свете вот этой красной с золотом лампы? Кажется, я помню маму в Лоссане, в давние-дав-

ние, доисторические времена — как мастерски она готовила фруктовые салаты и растирала нас, когда мы заболевали, и запирала от нас на ключ нескромные романы, и шила по вечерам не при той тяжелой стоячей лампе с каравеллами… Мать из классического романа? Нет, не то, лучше — хранительница ребячьих вольностей. Однажды она бы впервые пожаловалась: «Глаза у меня слабеют…» И, как многие старые люди, стала бы подальше отодвигать газету, на расстоянии вытянутой руки разглядывать детские рисунки, нацарапанные в те дни, когда на дворе гроза и не дают житья мухи, когда приходится спозаранку закрывать ставни и младшим велят прекратить беготню и заняться какой-нибудь тихой игрой.

В углу желтой гостиной стояло бы ее любимое ветхое кресло, теперь в нем спала бы Полька, и никто не осмелился бы сдвинуть его с места, тем более выставить на чердак. Были бы у нас особые обиходные словечки, были бы гвозди, на которые спокон веку вешают ключи.

Беттина вдруг объявила бы: «Мой матрас надо перебить, он, наверно, совсем засаленный!» Мы посмотрели бы на нее с возмущением, а она бы надулась, но только для виду, на самом деле она была бы счастлива. Дети любят поддерживать

огонь в очаге. Детям совсем ни к чему родители — антиквары и декораторы. Дети не обладают тонким вкусом, и не так уж он им нужен. Им надо, чтобы жизнь началась задолго до них и чтобы каждая вещь отзывалась долговечностью. Когда продаешь дом, они плачут; когда покупаешь, они сбиты с толку.

И потом самый воздух, климат новых мест — прикидываешься, будто он тебе издавна знаком. Узнаешь с десяток слов здешнего наречия, перенимаешь выговор. Радуешься, когда лавочники встречают тебя запросто — мол, здравствуйте, мосье Дюпон… Новосел похитрее подхватывает там и сям клочки здешней истории, археологии; заводит у себя в библиотеке полку справочников, путеводителей, покупает мемуары какого-нибудь отставного полковника — здешнего уроженца. Все это долгий, нелегкий труд, подобный труду пахаря… По сравнению с ним усилия честолюбцев и снобов — чистые пустяки. Кажется, наконец ты достиг цели, черенок привился, тебя, как говорится, *признали за своего,* — вот тогда-то нечаянно слышишь, как говорят о тебе где-нибудь в мелочной лавочке или в кафе. Соседи называют тебя и твоих «эти городские…». Не по злобе, а просто так, для них это само собой разумеется. И сразу чув-

ствуешь себя таким же безродным, бездомным бродягой, как в день переезда. Так, значит, ты не сумел сам себе рассказать сказку? И никого не убедил, что это чистая правда? Я же вам говорю: все это лишь плод воображения.

> Говорил я вам про Румапьоля? Ну, который пишет полицейские романы? Так вот, он мне рассказывал — в один прекрасный день он на своем «ягуаре» на скорости сто шестьдесят в час врезался в платан, машину согнуло в крючок, платан измочалило. А он, заметьте, отделался одним переломом кисти. Да и то левой! Рассказывает он мне, а сам хохочет. Хотя правая рука, левая, это ему плевать: он свои книжицы стукает на машинке. Вот что значит у всякого своя судьба. А бывают, мосье, невезучие люди, так уж им на роду написано. Может, выпьете еще чего-нибудь?

Вести счет моим геройским поступкам — это я могу. Но могу и подсчитать, в чем и когда трусил. Вот уже двадцать лет я взрослый человек и вряд ли еще в чем-то заметно переменюсь. Я хорошо знаю, какая цепь действий и бездействия сделала

меня тем, что я есть, и привела сюда, к повороту, где у меня появились досуг и потребность перестроить свою жизнь, освободиться, насколько возможно, от всего неистинного. Но вот беда, истина подчас предстает в мерзком обличье, а фальшь надевает личину добродетели. Нелегко разобрать, где правда, а где ложь, вот она, лазейка для притворства. Как оно завлекает, томное, умело волнующее, в нем есть что-то от продажной девки. Ночь за ночью, когда я работаю, а чаще в те часы настороженной неподвижности, которые следуют за работой либо перемежают ее, мне становится страшно — уж не лицемерю ли я? Это так легко! Взять хотя бы одиночество. Очень рано, еще совсем мальчишкой, я стал создавать вокруг себя пустоту. Чувствовал свою силу? Или попросту боялся соперничества? Несколько раз я порывал с прошлым и начинал жить заново — была это честность или просто безволие? Выглядело это так, словно я отказывался от видных постов, от громкого имени, от денег, от благополучия. Я уходил, отстранялся — и окрестил это свободой. А быть может, столь громким словом я только прикрывал страх перед борьбой? Четверть века я мечтал об уединении, о тишине, и теперь, наконец, у меня есть Лоссан, мечта сбывается.

Вот она, моя крепость, защита от всех ветров; вот они, стены, укрепленные моими стараниями, и вся жизнь, наконец, от всего отгорожена, укрыта за бойницами, обособлена — позади только пустынные ланды да небо. Какой же улов день за днем приносят мои сети?

Боюсь, что все это сводится к нескончаемым плутням и самообману.

А если и впрямь столько лет я разыгрывал комедию, чем же мне теперь жить? Чего жаждать, к чему стремиться? И чем утолить жажду, какой глоток не будет отравлен?..

Я уверял себя и других, будто уважаю свободу моих детей — а не отдалил ли я их от себя ради собственного удобства? Я отверг честолюбие, отказался от карьеры — а может быть, просто побоялся, что ничего не сумею добиться? Может быть, я делал вид, будто целюсь чересчур высоко, чтобы промах выглядел почетнее? И может быть, я отказался от любовных похождений, презрел пошлые клятвы и случайные постели только с той поры, когда в усталом теле страх перед поражением оказался сильнее, чем жажда победы? Бог, нарушитель веселья, страж, хранитель дичи и лесов, оказался не по мне, но стоило ли его отвергать, да еще с таким жаром, лишь для того,

чтобы позже, воздвигнув три скромные башенки, обратиться к суровому, трезвому богу собственников? Может быть, я пытался облапошить бога? Порой я ходил вокруг да около, избегая встречи с ним, так же как избегал слов, воздающих ему хвалу. А теперь все чаще нахожу удовольствие в нескончаемых диалогах с тишиной, с головокружительной бездной, — в беседах, которые так легко окрестить молитвой, и это звучало бы так возвышенно! Быть может, здесь, в Лоссане, я просто готовлю спектакль — свое обращение к богу?.. Дурацкая ловушка, хитрость, шитая белыми нитками, попытка провести бога, точно последнего простофилю. Если тут и кроется истина, то это самая мерзкая из всех моих уверток и уловок.

Но с таким же успехом я мог бы расставить декорации, осветить сцену, отбросить всякие угрызения совести, стать в позу и поверить в себя. Да-да, смотрите и восхищайтесь: перед вами воплощенное самоотречение и целомудрие. Я не должностное лицо и не облечен никакой властью; я не военный и не красуюсь в орденах; я не отставной слуга, и мне не платит пенсии никакой хозяин. Я отец семейства, Беттина, Ролан, Робер со мной в наилучших отношениях, я верен Женевьеве, трудолюбив, не брезгую никакой

работой, предан своим немногочисленным друзьям, ненавижу войну, стою за справедливость. Поддерживаю в себе должное равновесие между человеколюбием и тоской, между суровостью и снисходительностью. Люблю старые камни и собак, буйство природы и сладость музыки. Поистине я чудо, презабавная диковинка — человек, довольный собой. Смотрю на себя в зеркало — и мне не смешно. Посмотрите и вы на меня со всей серьезностью: совесть моя чиста, дети у меня одаренные, проза моя ясна и прозрачна, дом прочен. Я не признаю подделок, не сбываю фальшивой монеты. Я друг богу, президентам и смиреннейшим моим ближним. И наконец, что больше всего достойно зависти, я в дружбе с самим собой. Входите же! Побывайте у меня в доме! Взгляните на наши сверкающие кафелем полы и на лари — изделие Прованса, на ковры, бесхитростно вытканные из простой грубой шерсти, и на мечты, сотканные из простой грубой ночи. Приходите, сравните свою низость с нашей добродетелью, свои блуждания с нашими прочными корнями… Входите все! Хозяин дома вас ждет.

Где же истина?

Я иду по жизни наугад. Я заплутался. Солнце, звезды, далекие горы, все приметы и маяки скры-

ты в тумане, и я ничего не узнаю окрест. «Кто не хуже всех, еще хорош...» — говорил безумный король, чья судьба потрясла меня в юности[27]. Но театральные короли умолкли, и я вынужден довольствоваться изречениями попроще, словами обыденной жизни — я притворяюсь, будто предпочитаю их всем остальным. Обыденность? Я сыт по горло.

> Вы уж извините, малость не по себе, устал... И еще с непривычки, больно жарко натоплено. Да, пожалуйста, холодной водички, больше ничего не надо. Я уж и с доктором советовался — в жару, зимой, или когда вдруг нагнешься, сразу в глазах темно и голова кружится, а он говорит — пустяки. Ни тебе лекарство прописать, ни режим какой назначить. Только и знает, что похлопает по плечу, да и выпроводит. Хороша медицина! Правда, он и деньги не всякий раз возьмет, этот Лориоль... Не то что Тессон — они-то лечатся у Тессона. Вот кто не скупится на всякие зелья, на уколы да на ампулы... Они, видно, глотают

**[27] Примечания: 27**
«Король Лир», II, 4. *Перевод Б. Пастернака.*

лекарства без передышки. Надо думать, целое состояние на этом просадили. Ну и счет же он им, верно, представил. Чудной тип, этот Тессон. Пятнадцать лет прожил в Индокитае, у нас тут поселился только в пятьдесят пятом. Ну а в тех краях, знаете ли… Кто там подольше пожил, у них тоже вошло в привычку. Любопытно знать, как они тут обходятся. Хотя, конечно, врач — ему что… Далеко искать не надо. В общем, Тессон — он не жмется, выписывает, про него уже и слава такая пошла — ежели кому нужны всякие штуки от бессонницы или насчет девчонки, пока дело не слажено по закону… Все так и говорят — сходи, мол, к Тессону! Словом, сами понимаете. Ну а у этих к лекарствам прямо страсть, так уж, верно, они отказу не знали…

Помню торты моего детства, солидные сооружения из льежского шоколада, хитроумно увенчанные взбитыми сливками, волей-неволей приходилось смотреть на них жадными глазами, считалось, что я за них «готов продать отца с матерью»… И какое это было облегчение,

если с тортом покончено, а меня не стошнило! Так и осталось на всю жизнь: когда сбывались долгожданные радости, самым большим удовольствием был вздох, что вырывается у беглеца, у того, кто уцелел в беде. Подле женщин, которых слишком сильно желал, томительно тянулись нескончаемые ночи; в путешествиях, к которым так старательно готовился, на третий день заедала скука. Всегда, в любых обстоятельствах были у меня «завидущие глаза», и всегда в разгар долгожданного удовольствия сверлило одно чувство — хоть бы унести ноги…

Суть не в общеизвестных пошлостях на тему наслаждения и пресыщения, говорить об этом было бы просто глупо; нет, все именно так, как я пытаюсь объяснить: с детства меня одолевает отвращение, прочно укоренившаяся уверенность, что ломти торта чересчур велики и сладость его тошнотворна. Так и лето подходит к концу, я провожаю его, как провожал в восемь лет шоколадные торты — в восторге от того, что меня не вывернуло наизнанку.

У всех чудесный загар — золотистый, бронзовый, как полагается, движения куда более раскованные и легкие, чем в первые дни, и улыбки не такие принужденные. Каждый готов

возвратиться в свою тюрьму, и все признания иссякли. Как говорит Роза, «они уже вроде и не здесь». Были написаны письма и получены ответы, были телефонные разговоры, и всем этим возобновляется установившаяся ребячья жизнь, в которую мы сами себе едва ли не добровольно закрыли доступ, в которой мы не в счет, и это едва ли случайно. Женевьева сама когда-то училась в закрытой школе («а в мое время, можешь себе представить...») и все принимает с философским спокойствием. Больше того, ей по душе эти независимые, дружные детские республики, она и сама когда-то все это любила. А я рос в замкнутом, душном семейном мирке, для нас слова «тебя отошлют в пансион» означали кару, отчаяние, отверженность — и всякий раз отъезд детей словно бы выставляет напоказ мою трусость. Каждый год меня трижды одолевают муки совести: в январе, в апреле и в сентябре. А потом я только злюсь, что письма приходят так редко и такие пустые, и наконец, словно по молчаливому уговору, обо всем забываю и со всем мирюсь. Иногда мы вдруг загрустим, или просто на нас находит — мы срываемся и едем в Шексбр или в Ссн-Лансьен. Нас встречают два вежливых мальчика, которые за несколько недель заметно вытянулись, или веч-

но спешащая лыжница (невозможно догадаться, о чем она думает), — и мы смутно чувствуем, что помешали им. Тогда мы прибавляем им карманных денег. Новость эту встречают возгласами: «Вот здорово!», — и мы вспоминаем, что у нас ни перед кем нет никаких обязательств, кроме как перед детьми. Ночуем мы в гостинице, у нас уже образовались свои привычки. Приезжая в Веве, мы останавливаемся «Под тремя коронами», а по соседству с Сен-Лансьеном — в известном «Трактире», где над головой тяжелые деревенские балки, где подают жареных омаров и где завершают свои похождения неверные мужья и жены из трех смежных департаментов. Ох уж эти наши вечера с глазу на глаз! Женевьева нервничает. Я терзаюсь угрызениями совести (преувеличенно) и принимаю решения (неискренние)… Повторяется известный школьный анекдот: никак я не стану взрослым. «Господин учитель, это не я!» Отцовство, деньги, рак: господин учитель, это не я! Женевьева убаюкивает своего старого младенца, уговаривает: «Ты ничего тут не можешь поделать. Глупо каяться в несуществующих грехах. Дети довольны и счастливы. Чего тебе еще?» Такова версия Женевьевы, вечный припев моей храброй подруги, неизменно приходящей на выручку:

«Господин учитель, это не он…»

Она отвезет мальчиков в Лион и проводит Беттину до швейцарской границы. Быстро и весело собраны все пожитки. Одна Полька, которую приготовления к отъезду приводят в ужас, мечется у нас под ногами и непременно хочет улечься в чемодан. Ее отчаяние для меня мучительней всего остального. Каждый играет свою роль, не отступает от нее, не теряет выдержки. А вот Полька скулит и зовет на помощь, и как не почувствовать, что права она, а не мы?

Я настоял на том, чтобы проводить их до Авиньона, вернусь оттуда в такси. Дурацкое мотовство, лишние расходы нам совсем ни к чему. Но я уперся на своем. Так что распрощались мы на Площади часов довольно коротко и сухо — к этому стилю я сам долго приучал своих (успех превзошел все мои ожидания!). А во мне на этот раз поднялась такая растерянность, такое смятение. Или — просто и глупо — такая печаль. Но ее невозможно ни высказать, ни подавить. И хоть как-то ее обнаружить тоже было бы дурным вкусом. Догадываюсь: Женевьева все это чувствует, на лбу ее вздулась синяя жилка, руки слишком спокойно лежат на баранке руля. «Пежо» уносится прочь по дороге, ведущей к древним

крепостным стенам, и тут все, что подспудно копилось во мне долгих два месяца, прорывается наружу, снося мои плотины и запруды. А что это «все»? В голове мечутся слова: «бессмыслица», «молчание». В них тоже не очень-то много смысла. Вспоминаю тот вечер, три месяца назад, когда мы вернулись домой и застали собаку в параличе. Какие напасти, какие удары и утраты ждут меня сегодня вечером?

Пойду бродить по улицам, среди городского шума и влажной духоты. Как можно дольше буду оттягивать час еды. Под конец с горя зайду в бистро, где можно закусить жареным картофелем и лепешкой, запеченной с луком и помидорами. Выпью целую бутылку здешнего рыжего вина, которое мигом бросается в голову. И потом, разгоряченный, опять пущусь в погоню за призраками. После шести, когда пустеют конторы и магазины и походка у людей становится по-вечернему неторопливой, я тоже начну двигаться по-другому, не спеша, выбирать тротуары, площади, террасы, смотреть в упор и криво усмехаться — стану подыскивать девицу, позволю себе это развлечение — делать вид, будто я охочусь на девиц. Долгая, нескончаемая игра… Будет поздний вечер. Улицы опустеют, потом снова оживятся.

Закончатся сеансы в кино. Но никакой девицы я, конечно, не подцеплю. Такие охотники, как я, всегда остаются ни с чем. Тогда я вернусь к вокзалу, забьюсь в угол такси (восемьдесят километров но ночной расценке) — машина будет взбираться по склону Англя, в открытые окна заструится запах листвы и ночи, а во мне все громче станут звучать голоса протеста и насмешки. Быть может, голос гнева и бессилия даже вырвется наружу? И тогда таксист через плечо ехидно или хмуро, смотря по характеру, покосится на пьяницу-пассажира и подумает — хоть бы в карманах у пьяницы нашлось чем заплатить за поездку.

Не так-то просто судить о человеке! Вот послушайте. Как-то Мартинес говорит моему зятю: обогнал, говорит, я его на плато, за поворотами Пон-Сен-Жан, он делал сорок километров в час и даже не мог удержаться на прямой, так и вилял справа налево, уж не знаю, как он вообще вел машину! Ну вот, и в тот же день, а может, назавтра, Рожиссар уверял, будто тот запросто обогнал его на своем «пежо». Другой бы на такой скорости врезался — только мокрое место бы осталось. У

Рожиссара, надо вам сказать, машина — игрушечка, в самом лучшем виде. И не забудьте, до войны он был у Ситроена испытателем, пробовал новые марки. И он мне сказал — тот, мол, вел машину как бог! Кто-кто, а уж Рожиссар в этом толк знает. Вот и разберись, то он гонщик-чемпион, то размазня какая-то… Вы мне поверьте, чтоб такое с человеком стряслось, он должен сам себя невзлюбить. Признайтесь, трудно к малому хорошо относиться, ежели он вроде и сам себе противен…

Все словно бы начинается в кончиках пальцев, можно подумать, будто в них затаился и только ждет минуты для нападения паралич или какая-нибудь болезнь костного мозга, из тех, что постепенно сковывают вас неподвижностью. Вот и примеры.

Газетный киоск. Левой рукой придерживаешь под мышкой сверток — только что отобранные журналы. Правой достаешь из кармана деньги, встряхиваешь на ладони — да, хватит. И пытаешься двумя пальцами, большим и указательным, отделить и высыпать на прилавок

нужные монеты. И тут пальцы перестают слушаться, суставы не гнутся либо повинуются так неловко, неуверенно, что скоро сводит уже всю кисть, даже предплечье, рука отдергивается, и продавец, кажется, смотрит с нетерпением и жалостью. А ведь когда-то руки были такие быстрые, гибкие, ловкие. «Лапы у тебя цепкие, как у обезьяны», — говорила мама. И вот надо поневоле отказаться от этой затеи (другим покупателям наскучило ждать), кладешь газеты на стойку, пускаешь в ход обе руки, копаешься в монетах, точно старуха, и все это с непомерной досадой, так что скоро руки трясутся уже чуть не до самых плеч и на лбу проступает пот.

Собачья моча, дерьмо, всякая раздавленная мерзость, столько всего налито и намусорено по тротуарам и вдоль стен… даже непонятно, как набираешься храбрости вечером снять башмаки, тронуть их руками, представляете? Ходишь по плевкам, по мокрицам, по жевательной резинке и еще бог весть по какой дряни, все это липнет, мажется, воняет, а запахов хватает и без того — несет бензином, человечиной, п**о**том… От земли и то

идет вонь. Под ногами сырость, скользко, или и вовсе нога увязает, и кажется — сейчас провалиться в яму, да так там и останешься, будешь задыхаться, пока не помрешь. Вот вы поймите, каково тут помирать: обычно забываешь, чт**о** у этих людей в памяти, когда они твердят — там, мол, жить стало невыносимо. Невыносимо — вроде пустое слово, ничего не значит. Так его и слушаешь вполуха. Нет, мосье, надо поехать да поглядеть своими глазами, что это такое — этот самый ихний город. Нам-то кажется, мы тоже это знаем, ведь иной раз летом в субботу скатаешь в Монпелье, в Ним, и уж так намучаешься — ой-ой! Просто взвоешь. И правда, бывает, натерпишься в разных канцеляриях, пока ждешь, сто раз бросит в пот, а после свернешь в переулки, там попрохладней, но, между нами говоря, и прохлада какая-то не та, будто на кладбище! Все впрозелень, гнилое, нездоровое, проходишь мимо дома, а из дверей тебя вроде как нечистым дыханием обдаст — и мочой пахнет, и прокисшим кофе со сливками, и плесенью, да еще малышня

шныряет под ногами — гоняются друг за дружкой, рваные, полураздетые, визжат. В общем, нам-то кажется, мы все это знаем. Только настоящий город, мосье, Марсель, Париж, да в июле месяце — это надо испробовать на своей шкуре. Я вам как-то говорил, меня приглашали на съезд агентов по продаже недвижимости, и пошли мы вечером целой компанией в Сен-Жермен-де-Пре. Там были молоденькие девочки, незамужние, им хотелось поразвлечься. Но что творилось на улицах — не описать! Всюду пробки, одни машины застряли, другие в них уперлись, третьи пробуют извернуться, объехать, а морды — вы бы поглядели! Уж до того злобные! Каждый убить тебя готов, придушить, за человека тебя не считает, вот-вот в глаза плюнет, а за что? Зачем ты мимо идешь да еще увертываешься от ихних бамперов да от выхлопных труб. Дым, вонь — за глотку берет и наизнанку выворачивает… Многие там держат собак — породистых собачонок в ошейниках, на поводке, так даже не знаю, как эти несчастные зверюги не сдохнут: кругом

колеса, бензин, шум — все равно как в печь кидают живую тварь, бойня, стыд и срам! Меня прямо жалость взяла. А еще говорят — Париж, Париж! У меня всегда язык чешется сказать — а вы, мол, поезжайте да поглядите, что это за штука — Париж. Посмотрим, в каком виде вы оттуда вернетесь. Ну и лица там у людей, мосье! Какие-то старые, страшные. Чего ж тут удивляться, ежели они, как бы это сказать, не брезгуют никакими средствами. Им наркотики нужны, чего уж там! Подхлестнуть себя, одурманить. А то и держаться печем. А потом нервы сдают — тоже ничего удивительного. А тогда крышка, все от них отворачиваются. Красиво это, по-вашему?

Я на почте, кладу свои письма на весы для посетителей — надо только перегнуться к ним через стойку. Теперь я знаю, на какие конверты надо наклеить обычные марки, а на какие, с весом сверх нормы, — более изысканные: изображение собора или портрет художника-импрессиониста. Отодвигаюсь подальше от посетителей, которые выстроились в очередь, кладу письма на на-

клонную доску (обычно она служит подставкой для телефонной книги), сую перчатки в карман — от всех этих движений я уже выдохся, я зол и утомлен, точно на меня навалилась непосильная ноша. Из другого кармана достаю бумажник, из бумажника прозрачный футляр; туда вложены марки, я накупил их заранее и по отдельности, и целыми книжечками, чтоб не приходилось подолгу ждать у окошка, и они почти совсем закрывают мои водительские права. Надо засунуть палец под пластик, извлечь марки, сосчитать, согнуть листы по дырчатым швам, оторвать марки, наклеить одни туда, другие сюда, на некоторые конверты по две и по три, и при этих последовательных операциях пальцы мои постепенно немеют, становятся неповоротливыми, и уже грозят разные катастрофы: книжечка марок застревает, зацепившись за металлическую скрепку, которая придерживает на водительском удостоверении мою фотокарточку (на этом фото я выгляжу плешивым забулдыгой); разрозненные марки скользят меж пальцев; рвется марка со святым Людовиком — пропали франк шестьдесят сантимов; наспех сунутая бумажка в сто франков торчит наружу, сейчас она зацепится за мой карман и порвется так, что пострадает номер,

а то и вовсе потеряется, и пойдут бесконечные пересчеты и проверки, и я в бешенстве решу, что меня наверняка надула кассирша в магазине стандартных цен. И в это же время большой палец правой руки — краешек возле ногтя, что ороговел почти до прозрачности и пожелтел от табака, — вдруг теряет всякую чувствительность, кажется, он наотрез отказывается мне служить. Меня кидает в жар. Честное слово, можно подумать, что эту печку, установленную посреди почты, натопили до белого каления. Сам не знаю, отчего кровь бросилась мне в лицо — нездоровится ли мне, или стыдно собственного тела, которое меня так бессовестно предает, или тут виноваты суетливость, упрямство, одышка, что овладевают мною всякий раз, как я снова и снова убеждаюсь: мир вещей мне враждебен, они не желают мне повиноваться.

Вот и сейчас, когда я пишу эти строки, пальцы мои коченеют, намертво стиснув ручку, и руки дрожат так, что я вынужден навалиться на стол и, наверно, перепачкаю бумагу, либо, несмотря на все усилия, от которых сводит челюсти, написанное нельзя будет разобрать: кажется, даже эти чудовищные, кривые каракули изувечены нестерпимой тяжестью, которую я так мучитель-

но стараюсь выразить словами.

Признайте по справедливости, я-то знаю свое место, только говорите что хотите, а я так считаю — у него есть оправдания. Что? Ну, я хочу сказать, может, есть причины. Нервы, нервы, легко сказать! Понятно, я ничего этого не знаю, но уж, наверно, какая-нибудь серьезная болезнь, не то что басни про запой и про желтый дом — между нами говоря, в это ни одна душа по-настоящему не верит, — а что-нибудь такое, секретное, про что он один знает, ну и ждет, что будет, и страх его берет, представляете?.. Сколько раз люди замечали, очень он бывает чудной. И не только в том смысле, как вы думаете. Не так оно все просто. Один раз, то ли в октябре, то ли в ноябре… помню, лило как из ведра. Погодка была вроде как в конце зимы. Почему я помню — я еще надел плащ. Машину я остановил перед мэрией, он не мог меня видеть. А может, и видел… Так вот, вышел он с почты и постоял минуту на крыльце. Как сейчас его вижу, будто на фотографии

— в красной рубашке, ворот распахнут, вылезает майка, и эти вечные вельветовые штаны. Все насквозь промокло, прилипло — в такую-то погодку! Идет он мимо моей машины, — а я сижу за рулем, не шелохнусь, сам не знаю почему, — да как споткнется о ступеньку, ну чистый лунатик, нет, мосье, не пьянчуга, я ж вам говорю: лу-на-тик… Больной человек… И видно было — не брился дня два, а то и три. У кого волосы рыжеватые, издали кажется — себя соблюдает, а в трех шагах — бродяга бродягой. На крыльце почты стал он утираться платком, будто летом, в самую жару, да и тогда люди добрые стараются, чтобы это не так напоказ, у всех на виду. Пот с него льет в три ручья, космы отросли длиннющие, весь встрепанный, стоит утирается, навстречу дама какая-то с малышом — хотела пройти на почту, а он и не замечает. На скулах красные пятна так и горят. Чувствуется, не в себе он, даже смотреть неловко. Я уж вам говорил, видно было, что он человек конченый, а главное — как бы это объяснить? — совсем один. Да, вот это точно

— до того один, что страх берет. Та дама даже подождала, чтоб он сошел с крыльца, только потом отворила дверь. И еще я видел, по улице Вилет подходил мосье де Пизенс, антиквар, увидал его и перешел на другую сторону. А надо вам сказать, в ту пору он должен был Пизенсу немалые денежки, так кому бы от кого бегать… Ан нет. Может, все это и пустяки, а все-таки, пожалуй, признаки. Подумаешь, эко дело — небритый дядя утирает пот со лба. А вот запомнилось, так и стоит перед глазами. Признаки чего? Ну, мой милый, это уж вам судить или, может, докторам — верно я говорю?

И вот зима, я собираюсь сесть в машину. Она вся в жирной пыли, и на ходу я пачкаю пальто. Открываю дверцу — в лицо бьет запах старых окурков и долгих поездок. Только я сел, надо перегнуться и открыть другую дверцу: Женевьева ждет, стоя на холоде. Протягиваю руку, но в зимней одежде движения у меня неловкие, связанные. Тянусь сильнее — что-то трещит (лопнул шов? Подпоролась пола?), это наказание за мою спешку, за чересчур размашистый жест. Мотор

чихает. Стартер, видимо, пора менять. Наконец раздается чих погромче, поэнергичней, и за ним знакомое урчанье, оно становится ровнее, уверенней. В зеркале вижу — сзади появляются клочки белой ваты то ли пар сгущается на холоде, то ли цилиндры износились. Надо проверить. Что именно? Не важно, пускай проверяют все подряд.

— У тебя есть карта? — спрашивает Женевьева. — Или путеводитель?

(В зеркале я вижу ее лицо, оно уже усталое, словно после долгой, тяжелой поездки…)

Вылезаю из машины, иду к багажнику, но спохватываюсь, что забыл ключ, возвращаюсь, отворяю дверцу, залезаю в кабину, достаю ключ, опять вылезаю, огибаю машину, открываю багажник — тут выхлопная труба выстреливает мне в колени струю горячего газа, — роюсь в мешанине старых тряпок, пожелтевших газет, изношенных тапок, жестянок, всяких инструментов… пачкаю пальцы черной жирной дрянью, которой питаются автомобили… и ничего не нахожу. Хлопаю крышкой, запираю багажник, обхожу вокруг машины, отворяю дверцу, сажусь.

— Его там нет?

Главное — не отвечать. Путеводитель, навер-

но, валяется между спинкой сиденья и стеклом, на пространстве, обтянутом черной подделкой под кожу — оттуда бьет ключом горячий воздух, иногда музыка, и если с нами едет Полька, она шагает там взад и вперед, точно караульный на посту. Итак, мне довольно обернуться, но расстояние не маленькое, я тянусь назад и чувствую, что моему пальто опять достается — с треском лопнула подкладка; сиденье, на котором мой вес переместился под неожиданным углом, поддается, я едва не теряю опору, уж не говоря о том, что я самым дурацким образом вывернул шею и плечо, и через час-другой в мышцах непременно начнется ломота или ревматические боли…

— Проще было выйти и открыть заднюю дверцу, — замечает Женевьева.

К этой минуте я совершенно вымотался и зол до потери всякого соображения; хватаю наконец путеводитель, в бешенстве швыряю его на заднее сиденье, рывком включаю первую скорость; теперь только не поворачиваться к Женевьеве, пускай смотрит на мой профиль, я-то хорошо знаю, как я сейчас выгляжу — псих при последнем издыхании.

Не стану сейчас называть по имени болезнь, что завладевает вещами при столкновении со

мной, ни ту, которой заболеваю я, сталкиваясь с ними, — противоречие между внешним миром и миром моего тела проявляется опять и опять, на тысячу ладов. С обеих сторон — отчужденность, уклончивость, омертвение, склонность к излишнему насилию или скупости и даже, если это поможет вам что-то понять, язвительность и злость. Мне уже не удается оживлять бесформенный мир неодушевленной материи: моей воле (в сущности, такой смиренной и покладистой) он противопоставляет всю свою неповоротливость, свой непробудный сон. Я пытаюсь встряхнуть вещи, а они спят. Они покрывают мои пальцы жирной, липкой грязью, заволакивают мне глаза густым туманом, и я бреду сквозь туман вслепую, без надежды.

И все эти примеры еще ни о чем не говорят. Надо обобщать. Идти от малого к большому и опять возвращаться к мелочам, В этом смысле и дом, видно, тоже участник заговора. Я ушибаюсь о его стены; цепенею, придавленный его тяжестью. Да, конечно, я давным-давно, задолго до приезда в Лоссан, знал, что между мною и вещами старые счеты и покончить с ними невозможно. Лоссан стал в некотором роде испытанием. Для меня это слово имеет двойной смысл; боль, о которой

спрашиваешь себя (как вдовы, как невесты, когда возлюбленный погиб на войне), сумеешь ли ее вынести; препятствие, о котором спрашиваешь себя, сумеешь ли его одолеть.

Старый дом — это скопище сил, которые мне сопротивляются, нагромождение вещества: камень, дерево, земля, цемент, железо, пыль — быть может, они возьмут надо мной верх, а быть может, дадут мне случай вновь скрепить дружеские узы с миром вещей. Дом может принести мне либо крах, либо исцеление. Быть может, через него я вновь стану близок всему, что соприкасается одно с другим, держится одно за другое, взаимно связано законами трения, сцепления, тяготения? А быть может, напротив, я окончательно провалюсь и однажды непослушными пальцами, с отвращением в душе, в последний раз запру ворота и сбегу подальше отсюда, поддамся всеобщему оцепенению, застыну где-нибудь в недвижности и покое. Пускай там безобразно распухнут мои пальцы и начисто откажутся мне служить. Пускай там, в грязном, запущенном логове, я навсегда отрешусь от сумасбродного желания бороться, буду валяться на пыльных диванах, тело мое освободится от всякого соблазна двигаться и жить — быть может, тогда я наконец перестану

наталкиваться на непроницаемость всего того непонятного и неподатливого, что не есть я? Вот это и называется: весь мир к твоим услугам.

Не говорите мне, что реки Азии, разливаясь, уносят и топят сотни тысяч голодных людей. Не говорите мне про войны, ураганы, бешенство стихий. Не рассказывайте про потоки крови на бойнях и про отчаяние тех, кто приговорен к смерти: я вам отвечу — это здесь ни при чем. Вы предпочитаете возвышенные речи?

Тогда я скажу вам о боге. О том, как он безмолвен и неколебим. О том, как он гневлив и нетерпим. О том, как это беспросветно и как тошно — жить в мире, о котором бог забыл.

Я отважился подать знак, я заново отстроил дом — придет ли он? Или, как говорится, мое приглашение запоздало?

> Заметьте, я ничего не утверждаю, а только мое мнение такое: в конце сентября — в начале октября что-то у них там стряслось. Она укатила на ихней машине, вроде бы отвозить ребят куда-то, уж не знаю, где они учатся. А чтоб вернулась, этого никто не видал. Ежели и вернулась, так не сразу. А он тем временем у

Рожиссара — знаете, у которого напротив сберегательной кассы гараж, — взял взаймы старую «симку». И непременно хотел заплатить за прокат, да Рожиссар и слушать не стал, за такое барахло грех деньги брать! В общем, начал он раскатывать по дорогам, ел где придется, а ведь до того сколько месяцев с места не трогался. Видали его и в Ниме, и на острове Камарг (между нами говоря, сами знаете, там чем только не торгуют…), а как-то вечером его даже видели в Баньоле, в одном кабачке. Дело было в субботу. Подцепил он каких-то молодых ребят. Даже пил потом с ними и дурака валял. Одна девчонка ему, видно, приглянулась. А может, эти щенята только зря болтают, лишь бы на них внимание обратили. Во всяком случае, девчонку эту у нас никто не знает, понятно? Ну и пошли разговоры… Здешние, скажу я вам, сами не святые, чего уж других грязью обливать. А только, спору нет, он сорвался с привязи. Роза и дядюшка Андре, сколько их ни спрашивай, только морду кривили. Бедняги и сами ни черта не понимали. Потом вернулась

жена. Все опять стало тихо-мирно. Видно было, на некоторых окнах у них ставни всегда закрыты. Несколько раз по утрам приезжал доктор Тессон. Говорили, ему делают уколы. Бедненький, — это ихняя Роза говорила, — хорошо, хоть уколы ему помогают. А какие, мол, уколы, мадам Роза? От чего уколы? — Как так, от чего? От нервов, ясное дело… — дура набитая.

Мои блуждания. Как я ни старался пустить в жизни корни, от этой потребности и от этого ужаса отделаться не удалось. Есть же люди, смотришь — входят в кабачок и покупают женщину, точно стакан портвейна. А я часами мотаюсь по улицам, иногда пешком, но тогда наталкиваешься на свое отражение в зеркалах, в витринах — встреча не из приятных. А иногда я медленно веду машину вдоль самого края тротуара и ничего не вижу, ничего не замечаю — только неясную фигуру, что прячется в толпе или в тени. Желание? Его меньше всего в этих охотничьих вылазках. Охота за призраками, в конце концов, такой же способ погрузиться в глубь самого себя, в эту яму. Как они тогда прекрасны, лица встречных женщин, как хороша походка, какими

блестящими, диковатыми глазами на миг перехватывают они твой сумасшедший взгляд! Но тут дело не в плоти. Быть может, это — неслыханное потворство собственной слабости? Просто сам собой любуешься? А быть может, задыхаешься от одиночества? И уже ни часу нельзя вытерпеть, если не сказать кому-то какие-то слова, все равно какие, все равно кому. Тогда иной раз подбираешь на дороге ребенка. Тянет только к детям. Все прочие — драконы с жадно оскаленными зубами и распутными повадками, меня от таких воротит. Но в последнюю минуту я отступаю. В лучшем случае все кончается длиннейшими излияниями, от которых у несчастной девчонки уши вянут. А потом я удираю. Ярость и стыд оттого, что опять остаешься один. Ярость и стыд оттого, что надо вновь отворить дверь своего дома.

В тот вечер я возвращался в Лоссан в такси, которое провоняло луком-шарлот и фланелевыми фуфайками — возвращался точно в яму: медленно, медленно спускаешься по бесконечно петляющей дороге, порой останавливаешься, смотришь вокруг, на холмы, на поля. Но в конце пути — яма, только яма.

Нет, серьезно, неужто вам всем не

обрыдла эта трепотня, сплетни да пересуды? Мол, говорил я вам. Мол, я так и знал, что это добром не кончится. Да по какому такому праву вы им косточки перемываете, а? С какой такой стати? Они ж на ваших глазах пропадали, черт подери, а вы хоть бы что! Пропадали? Да меня от этого слова смех берет. Вы меня заставите полюбить этих людей, вот что. Все вы только и знаете, что брызгать слюной, толкуете про то, чего не видали, лезете с объяснениями, а сами ни уха ни рыла не смыслите. Я ж, мол, говорил — вам это слаще меда. Радуетесь. Вас хлебом не корми. Ежели у соседа беда, вам праздник, вам лестно, мы-то, мол, не такие! Вы на седьмом небе! Ты, Жозеф, заткни глотку. Ежели ты бы не нашептывал всякую чушь, может, и не сбил бы всех с толку. Я чужое несчастье уважаю. Я над ним измываться не стану. Это вот вы сейчас рассиживаетесь в забегаловке, чешете языками и рады до смерти, что грозой спалило не ваш дом. Слава тебе, господи, чужой. И рядышком, можно вдосталь налюбоваться, и не так уж близко, чтоб

самим сдрейфить. Смех разбирает, на вас глядя. Сами вы хороши, да-да, вы все! И не разоряйся, Жозеф, ты мне глотку не заткнешь. Я и про вас много чего могу порассказать, знаю я ваши делишки, ваши грошовые секреты, только неохота копаться в дерьме. И заодно при всех тебе говорю — тебе, Гастон, слышишь? И тебе, Жозеф! Имейте в виду, я за свою машину заплатил наличными, выложил свои кровные, честно заработанные, и пошли вы все к чертям собачьим. У мадам Фромажо, супруги моей, имя без пятнышка, она в вашем одобрении не больно нуждается. А я с кем хочу, с тем и знакомство вожу. Пускай всяк за собой смотрит, а в чужие дела соваться нечего… И оставьте вы этих людей в покое, черт подери! Я не шучу. Зарубите себе на носу.

Прямо скажем, затея с «Синим орлом» провалилась. Торжество в честь инвалидов войны с участием парижских эстрадников. Меня трясет попеременно то от бешенства, то от смеха. Смеркается, и дневная зыбь уже не поддерживает меня на плаву. И вот я на мели. Позвонил в гостиницу

«Под тремя коронами», но консьержка мне сказала, что мадам уехала в своей машине и к обеду не возвращалась. Женевьева не звонила мне уже два дня. Она убеждена: «Когда с тобой неладно, лучше оставить тебя в покое». Когда-то я сам внушил ей это правило супружеского благоразумия. И она от него не отступает. Не отступает, когда я готов душу черту продать, лишь бы услыхать человеческий голос — ее ли или чей-нибудь еще… Лучше бы ее… Считается, что, когда на меня находит, мне всего нужней одиночество, таблетки, в меру джина и побольше сна. Но как ее определить, эту меру? И как уснуть, если перепутал таблетки и наглотался тех, от которых сердце скачет как бешеное? «Синий орел» провалился. Может быть, Женевьева поехала в Шексбр? Сейчас она болтает с начальницей пансиона. Обещает доставить Беттину назад не слишком поздно. Она повезет девочку обедать в Сен-Сафорен или в Лютри. Они выпьют белого вина, у них разгорятся щеки. Обо мне говорить не станут.

Здешние газеты отдают затхлостью и старьем. Пока новости дойдут до провинции, они успевают выдохнуться. Суббота, дороги забиты новехонькими машинами, куда отцы семейств втиснули всех своих чад и домочадцев; а если

время позднее, то катят на балы и вечеринки юнцы со своими подружками. Они взбивают и завивают свои вихры так же старательно, как их деды зализывали волосок к волоску бриллиантином во времена танго.

— Может, скушаете яичницу, мосье?

Нет, мосье навострил лыжи, мосье пускается наутек, он выпивает лишнее, вскакивает и смывается. Мосье дал себе волю, бедная моя Роза…

— А если мадам позвонит?

Помню, мама терпеть не могла, когда я пожимал плечами.

Я всегда побаивался этого длинного, чуть намеченного извива дороги за Гожаком, где один дом называется «Фаянс». Ночью в свете фар все гладко, однообразно, ни единой приметы, и кажется — летишь в пустоту и сейчас затеряешься среди безликой равнины. Вот тут-то у обочины и ждали трое — девушка голосовала, рядом стояла еще одна и молодой парнишка, они, видно, не очень надеялись, что их подберут. Я притормозил, машина вильнула. Я поглядел в зеркало — они бежали ко мне в пляшущем свете фар грузовика, который я только что обогнал; девушки спотыкались на высоких каблуках. Запахло духами. Еще чем-то. Пошли перешептывания. Машина пере-

стала быть замкнутым пространством, моими владениями. Теперь она принадлежит им. Они хотели втиснуться все втроем на заднее сиденье. Я распорядился, чтобы одна из девушек села рядом со мной. По правую руку от меня села та, что помоложе. В свете приборной доски блеснули ее колени. Мгновенное смущение, потом смешки. Они едут на танцы в Баньоль. Нет, я не знаю ресторана «Пергола». Забавно, как девушки смело усаживаются — юбки, ноги…

Арлетту никто не ждет. Патрик и Люсьена захватили ее с собой: «Просто так, мне было скучно. Они помолвлены». Она легко согласилась, чтобы я составил ей компанию.

Я отвык жить в своем теле. Ощущение такое, словно оно болтается вокруг меня, как чересчур просторная оболочка. Отвисший живот, дряблый и шершавый двойной подбородок, дряблая шея. Тяжеловесный, безобразный, я очутился в шумном пекле, и рядом податливая девочка, чье тело захвачено ритмом танца, хоть она и притворяется, что терпеть не может танцевать. Арлетта — имя для машинистки, худенькое и смуглое, очень ей под стать. Она поднимает на меня глаза, в них и обида, и готовность сдаться. Почему никто за мной не следит? Почему меня отсюда не

выставят? Девушки мне кажутся прелестными. Все до единой. Меня всегда завораживали танцы, эта свобода движений, неистовство. Стройные ножки, полудетские платья, а во мне разгорается пожар. Они погружаются в танец, точно в ванну, в бесстыдное объятие.

— Это «Соно»! — кричит мне на ухо Арлетта.

И увлекает меня за собой. Почему она не выпускает мою руку? Я смотрю, как она прокладывает нам дорогу в толпе. Ее плечи. Ее тело — такое же, как все другие, вот оно, не зная стыда, бессознательно изгибается, раскачивается в танце, движется так же бездумно, как мурлычешь песенку, — бездумно, безотчетно, а я топчусь перед ней, голова у меня идет кругом, и на поверхности потока, что бушует во мне (поток или пожар?), грязной пеной всплывают непристойные видения… Почему она не плюнет мне в лицо, эта девочка? Но нет, вот она поворачивается, улыбается:

— Здесь потише, верно?

Те двое исчезли, точно растворились в воздухе. Пить? Да, конечно, хорошо бы выпить, если только пробьешься сквозь эту толчею, сквозь шумный людской водоворот. Скорей, как можно скорей надо вновь обрести недавнюю легкость

— с приездом в «Перголу» в этой жарище я ее утратил; да еще другой жар, внутри, он тоже требует своего, взывает все настойчивей, ему нужен алкоголь, чтобы пришла свобода, чтоб хватило смелости на какие-то жесты и слова, да, надо выпить… Субъект без пиджака, рукава рубашки прихвачены у локтей резинками, лоснящийся нос, изумление, когда я прошу целую бутылку, и потом деньги, бумажки, чаевые, и сразу бог весть почему желание растолкать всех и удрать, все это так быстро, в ушах хриплый гул голосов, голоса, как ножи, вонзаются в меня и ранят… А меж тем Арлетта, мой старый друг Арлетта, моя сестренка Арлетта наливает мне стакан, потом другой, бутылку она прижимает к себе, словно сокровище, она оберегает меня от воров и от шума, она вспоминает движения, какими ее когда-то баюкала мать, и находит другие — те, которыми она согреет когда-нибудь своего ребенка и своего возлюбленного… и снова она меня увлекает все дальше по коридору, где пахнет мочой и мылом и девушки наспех поправляют прически, к двери с надписью «Хода нет», но Арлетту надпись не смущает, она толкает дверь — и распахивает ее в ночь.

Она придерживает мой лоб. Она видела, что

так помогают пьяницам и малышам, когда их выворачивает наизнанку. Сквозь головокружение и тошноту я, несмотря ни на что, различаю запахи ночи, сада и безыскусственный, свежий запах девичьего тела. Но ее снисходительность, эта готовность исцелять раны, протянуть руку помощи побежденным, едва ли не ужасает меня. Сколько доброты. Почему она не отхлещет меня по щекам? Отворяется дверь, в сад на миг врывается музыка, шум и гам зверинца, и вдруг невозмутимый, с акцентом голос:

— Какого-то малого рвет. Пошли отсюда…

И снова тишина.

Наконец внутри опустело, и я попятился, в точности так же, как пятится Полька, если ее вырвет или она откопает какую-нибудь тварь, которая не внушает ей доверия. Жадно глотаю воздух, словно всю гнусность этого вечера может вытеснить во мне дыхание деревьев.

— Сколько тебе лет?

— Семнадцать.

К чему задавать еще вопросы?

— Пройдем здесь, на площадь…

Я мотаю головой — нет, там людно.

— Кафе уже закрыты, сейчас ведь поздно… Идем.

Мы выбираемся со двора каким-то узким проходом, оказываемся на площади, и тут меня встречает журчанье фонтана. Еще сидят на скамьях старики. Взасос целуется влюбленная парочка. Плевать я хотел на них на всех. Скидываю куртку, распахиваю рубашку на груди и полными горстями плещу воду себе в лицо, тру лоб, прижимаю пальцами веки, низко наклоняюсь и, раскрыв рот, окунаю лицо в воду. Она очень холодная и отдает то ли металлом, то ли озером. Выпрямляюсь. Теперь я чист, на удивление чист, и от жгучего глотка воды головокружение как рукой сняло. Расправляю носовой платок, утираюсь. Отнимаю ладони от лица, Арлетта мне улыбается.

— Не захворай, — говорит она.

И помогает мне одеться, точно гардеробщица в раздевалке. «Синий орел»… наверно, это какой-нибудь фильм с индейцами.

А потом немного ночи, на уличном перекрестке ветер дохнул совсем по-осеннему. И память подсказывает (так, значит, это не забылось?), что в Праге и в Лондоне двадцать лет тому назад и еще раньше, в меблированных комнатах «Ла Мюэт» или Отейля, в темноте (затемнением и комендантским часом я прикрывался, когда ночевал не

дома), — да, уже и тогда вовсе не заметно было, чтобы девушек отталкивал едкий запах наших губ, если нас сваливало с ног пойло тех лет. Девушки так смиренны, и они всё понимают. Так, значит, прикосновение их губ осталось тем же? Но запах переменился. Когда-то поцелуи пахли фуксией, геранью. И платки тоже, когда после утирал лицо и снимал следы помады с ворота рубашки… У меня все еще кружится голова. Склоняюсь над этой гибкой снисходительностью, над этим ландышем, — испарина, поднятое ко мне лицо бледно от луны, покорные и нежные слова вполголоса, смирение сестры милосердия, для совсем юного существа куда более естественное, чем возмущение. Вкушаю пресный плод, прикидываясь, как полагается, нетерпеливым и пылким, но, по правде говоря, прошли те времена, когда подобные импровизации увенчивались успехом. Комедия разыгрывается перед пустыми креслами.

Неторопливым шагом — надо же соблюсти приличия — отвожу Арлетту обратно к серой двери и к зверинцу. Шум обрушивается на меня, как удар. Скорей, скорей, все это надо бы поскорей. Я устал от этой ночи. Я волочу ее через силу, ей нет конца. У стойки спрашиваю стаканчик, Арлетта

поднимает брови. Не проходит и пяти минут, как новый приступ, сухой, как пустыня, увлекает меня в еще не изведанные края ночи. Почти падаю на скамью. Арлетта уходит «поискать своих». Звучит «Синий орел», вот оно что: оказывается, это танго. Меня трясут за плечо, разве я задремал? У нас тут, мосье, не такое заведение. Кажется, вон там промелькнула Арлетта, она танцует с каким-то верзилой, курчавым, как баран. Удивительно красивым движением она поднимает руку. Ее тело. Только что этого тела касалась моя ладонь. Не стоит вспоминать, все пустое. Воспоминания увязают в сонливости, в единственном желании — скорей бы это кончилось. Карусель замедляет бег. Когда Арлетта с друзьями снова оказывается передо мной, танцующие уже почти все разошлись. Я понимаю, чего ждут от меня эти трое. Но они побаиваются. Никто из них не осмелится предложить, чтобы я пустил их за руль. Арлетта робко советует мне еще раз окунуть голову в воду фонтана, ведь от этого мне как будто полегчало. Молча они садятся в машину. Чувствую, как неотрывно три пары глаз следят за моими руками и за дорогой. Может, им кажется, что так можно уберечься от опасности? Понемногу им становится спокойнее, вновь начинается болтовня.

Арлетта положила руку мне на колено, но скоро она оборачивается, чтобы удобней было говорить с сидящими позади. Вот и поворот на Гожак, где несколько часов назад я их подобрал, но они поглощены разговором, смехом и не чувствуют неуловимой тяги машины к внешнему краю поворота, не ощущают соблазна, который готов увлечь летящий снаряд по прямой, к дальним мишеням ночи. Измеряю взглядом условия задачи: стрелка на скорости сто сорок, кустики травы на левой обочине, черная пустота, в которой растворяются лучи фар. В тот же миг тело мое напрягается, я силюсь удержать машину в повиновении, не дать ей оторваться от земли, я борюсь с тем неодолимым, что бьется в ней, точно она живая. Сколько длится эта борьба — две секунды, три? Руки мои дрожат от напряжения, и сердце… Но вот машина словно бы примирилась с дорогой: только что она слепо неслась по инерции — и вот вновь становится норовистой игрушкой, что едва не выскользнула у меня из рук. Теперь и я тоже смеюсь, и все трое принимают мой смех так, словно я, наконец, перестал дуться, как невесть на что разобидевшийся болван. И рука Арлетты чуть сжимает мне колено.

Это вроде как бой барабана в Африке — штука громкая, далеко разносится. Слыхали когда-нибудь? Но там хоть не сплетни передают. Да, верно, я это зря. Не стоит волноваться, побережем здоровье. Только обрыдло мне, извините за выражение, когда люди говорят про то, чего не знают. Что были у них разные промашки — это да, согласен. Только что ж их за это ногами топтать? Почему бы человеку у себя дома и не выпить лишнее, ежели ему вздумается? Это никому не помеха. Все меньше народу их навещало — тоже верно. Ну и что из этого? Такое время года. Ихние друзья такой народ, вечно разъезжают — из Парижа на курорты, на побережье и обратно. Ну и заглянут по дороге, крюк невелик. А осенью все это кончилось. Нет уж, давайте по-серьезному: когда к ним что ни день катали гости, все говорили — вот, мол, балаган, а когда стало тихо-мирно, нам это, видите ли, подозрительно. Уж выбирайте что-нибудь одно. Ежели хотите знать, тут сильно напортила общность владения, деревенские с ним заспорили из-за этой

общей ограды. Он-то, конечно, зря так вскинулся, наверно, был в подпитии. Ну а те сразу в крик — мол, он и обманщик, и злодей, Синяя борода! А суть в том, мосье, что масло с водой не смешаешь. Хоть сто лет склянку тряси. Все равно как в спорте, во всяких состязаниях: разные категории — и все тут. И заметьте, не в том дело, кто лучше, а кто хуже. Есть у меня в Монпелье знакомец, тоже агент по недвижимости, и пустился он в крупные сделки — подбирает участки под парки, под роскошные особняки. Уж каким манером преуспел, другой вопрос. А только преуспел. Загребает сотни тысяч, живет на широкую ногу, денег куры не клюют. Ну так вот, когда я попадаю в те края, я к нему захожу в контору — перекинуться словечком о том о сем, поддержать знакомство, а чтоб он меня в гости пригласил — этого избегаю. Почему? Да потому, что я-то принять его не могу, мосье. По всем правилам, как положено, не могу. А стало быть, лучше воздержусь, у всякого своя гордость. Смекаете, к чему я вам про это говорю? Люди все разные, и гусь свинье

не товарищ. Влезешь в чужую компанию — ничего хорошего не будет, только сплетни да зависть. Нет, всякому свое. Я и супруге моей, мадам Фромажо, это втолковал, она было размечталась попасть на яхту к моему знакомцу из Монпелье и красоваться в модном купальнике… Нет, я никому не судья. Я им желаю из этой истории выкарабкаться, только и всего. Работенка у него, между нами говоря, тоже не сахар: один как перст, да еще сиди сиднем, ни воздухом подышать, ни махнуть куда-нибудь. Вот я иной раз остановлю машину на обочине просто так, без дела, ради одного удовольствия. И думаю про себя — Жак, дружище, ты выбрал благую часть: работаешь с прохладцей, сам себе хозяин, всегда в разъездах. Это не шутка — такая профессия, что ты в разъездах да на природе. Так вот, ежели этот человек иной раз падает духом, не наше дело к нему придираться. Что, неправда? На том стою.

Весна и осень, это переходное, половинчатое время года, для меня особенно тяжки, и, чтоб

сопротивляться их ядам, да и самому себе, у меня остается только полсилы и половина здоровья. Конечно, потому они и ценятся так высоко в самых туманных областях нашей жизни — скажем, в поэзии, всюду, где грубая, осязаемая реальность только тревожит и мешает. Все зависит от того, какими капиталами располагаешь. А я беден, и, когда меня урезают наполовину, это разорение. В апреле, в мае для меня мучительно, что вокруг бьют через край жизненные силы и соки. Весной мне не хватает длинных ночей, холодов, огня, который с треском разгорается в камине в тихие январские вечера. Осенью, когда уже привыкнешь наконец к изобилию и вдруг оно пресеклось, я обездолен, мне становится страшно. Чтобы выйти из оцепенения, мне нужны бы длинные-длинные дни, а они, как назло, становятся все короче, все раньше рушатся в темноту. Едва я успеваю свыкнуться с буйной зеленью деревьев, она чахнет. И так всё: дети, дружба. Когда я начинаю с удовольствием отвечать болтунам, они перестают меня навещать; едва мы выйдем из оцепенения и к нам вернется толика былой гибкости и подвижности, как дети опять уезжают.

Знакомы ли вам осенние города? *Чужие* города

— те, где никогда не жил, а только пересекаешь их в разгар лета, мимоездом, в поисках тени, и во встречных машинах мелькают надменные загорелые лица, девушки, которые кажутся еще красивей оттого, что встреча мгновенна и неповторима, и девичий профиль врезается в память на фоне усталости и досады, жары и заторов на дороге… Случалось ли вам возвратиться в такой город осенью? Настоящей глубокой осенью, в октябре или в ноябре, в сырость, в дождь и ветер, когда перелетных птиц и след простыл и из дверей, из темноты, выглядывают одни старухи.

Вчера мы отвезли мосье Андре в больницу на консультацию. Я ходил по городу. Навстречу попадались только вдовы да торговцы. Коммивояжеры в коричневых костюмах, с портфелями в руках, выскакивали из машин и, хлопнув дверцей, вбегали в дом. Я заходил в кафе, по стенам красовались трофеи — свидетели спортивных и военных побед. И всюду одно и то же: толстяк, сидя у кассы, читает газету, немолодая женщина за стойкой выжимает губку. И у всех этих женщин гордо выпячена могучая грудь. Женевьеву и мосье Андре я отыскал напротив древнего цирка.

— Я сяду за руль, — сказала Женевьева.

Я расхохотался. Нашего мосье Андре, кажется,

покоробило. Может быть, ему не нравится сидеть в машине, которую ведет женщина? Огорчаться ему было не с чего, Женевьева сразу же меня успокоила: анализы отрицательные. Прекрасное выражение. На что же ему жаловаться? Порой наступает в жизни такая полоса — вот теперь я к ней близок, — когда долгую неделю проводишь в страхе, но под конец узнаешь, что «анализы отрицательные».

А когда-нибудь, наверно, они окажутся положительными. Каким чувством тогда сменится неодобрение, которое я читаю сейчас на лице мосье Андре? Жизнь прекрасна, мосье Андре. Почему вы не смеетесь, как я, мосье Андре? На лбу Женевьевы вздувается так хорошо мне знакомая синяя жилка. Мне кажется, она ведет машину не так ровно, как всегда, руки ее судорожно сжимают баранку. На плоскогорье мы подобрали какого-то военного, который «голосовал» у обочины. Ему «надобно взобраться на Алее», сказал он. Вместе с ним в машине водворился неизбежный запах казармы. Я опустил стекло и повернулся к мосье Андре спросить, не мешает ли ему сквозняк. И совсем близко увидел его глаза — в них, кажется, навек застыл обращенный к жизни укор за некую ошибку, которую она допустила

в сложении, — увидел совсем белые, вьющиеся, уже редеющие волосы. Осень… Порыв дружеских чувств… Но что толку в таких порывах? Этого слишком мало, ими не задобришь мосье Андре. Не задобришь осень.

Я не стал завтракать, отговорился тем, что в жару хочу отдохнуть, и тяжело провалился в сон. Я знаю, этот сон среди дня полон шумов, его то и дело сотрясает сердцебиение. В час, когда надо бы жить, сердце вдруг барахлит. Бешено стучит в груди, точно заключенный, который барабанит в дверь камеры, до крови обдирая кулаки. Но надзиратель не приходит. Надзирателю снятся обвалы, бегущие толпы, пожары, унижения. Он просыпается к пяти, голова у него разламывается, язык еле ворочается во рту. Свечерело. В деревне такая тишина, словно все голоса и звуки, что врывались в мой сон, вовсе и не существовали на самом деле, а только в этой давящей мнимой ночи. Пристыженный, неловкий, я схожу вниз. Роза внимательно смотрит на меня и сообщает: Женевьева пошла купить газеты. Полька тоже с ней, я один. Перехожу из комнаты в комнату, зажигаю все лампы, включаю радио, готовлю бутылки, лед, как будто мы нынче ждем друзей, со злостью, рывком задергиваю занавеси на окнах, за кото-

рыми уже почти совсем темно, И наконец, под громкую театральную музыку, среди этой подделки под праздник, с бокалом в руке выхожу на балкон: вино уже рассеивает сгустившиеся было во мне туманы, прохлада бросает меня в дрожь; я жадно дышу и жду, когда же послышится рокот мотора и на стволах вязов заиграет свет фар.

Я говорю: деньги, красотки, щедрые комиссионные, оплата расходов на представительство, но, между нами, и монету зарабатываешь, и все рвешься вперед, пробиваешься, а куда? Ну ладно, супруге моей, мадам Фромажо, это все приятно, лестно, так ведь попробуй на нее угоди... Нет-нет, я это ей не в укор, вечно у нее голова болит, у бедненькой, вечно она занята подсчетами да расчетами, а только для чего мы в конце-то концов надрываемся, скажите на милость? С утра выезжаешь все раньше, мотор насилу разогреешь, зимой он чихает, возня с ним, а потом сижу я за рулем и сам себя пытаю: к чему, мол, все это? Во рту у меня остается вкус кофе с молоком, я сроду терпеть не мог кофе с молоком, только,

помню, году в сорок втором, а может, в сорок третьем, сказал я раз утром моей матушке — мол, чайку бы, а она как влепит мне оплеуху. Так уж было в доме заведено. Ну я и дальше обходился без чаю. И заметьте, уж теперь бы можно, ан нет, менять не станешь, и во всем так. Профессия, супруга, дом — это как с чаем. Выбрал такую жизнь — будто подрядился раз и навсегда. Ну и вот, сижу в машине, духота, мотор разогревается, а я гляжу: на доме уже штукатурка пожелтела и лупится; мадам Фромажо непременно хотелось посадить кипарисы, а они принялись плохо, какие-то растут корявые, чахлые, кой-где побурели, не поймешь, то ли от мороза, то ли от солнца, только видно, что им не жить. На сиденье по правую руку от себя кладу записную книжку, все встречи у меня расписаны: ежели разъездной агент не станет помечать у себя заказы, это уж последнее дело! Нет, благодарю покорно, с меня хватит, пора и в дорогу. Когда перехожу на первую скорость, меня иной раз мутит… Говорят, это от печени, кофе со сливками при печени вредно, а

в июне — мол, это от жары, тогда, может, в январе от холода, все равно как с кипарисами? Ох, уж эти болезни! Доктор вам толкует — мол, надо себе дать роздых, приятель! А у самого изо рта луком разит, в зубах еда застряла, так по какому праву он лезет со своими советами? Ну, только еще по маленькой, напоследок. Думаете, это я у них понабрался таких мыслей? Ничуть не бывало, началось куда раньше. Помню, я еще не женат был, а на меня иной раз находило — будто в яму провалишься, страх берет, всего боишься — и не упустить бы чего, и не растолстеть бы, и… да вы не смейтесь! Между такими, как он, и такими, как я, одна разница — пускай он знает, что за дверью покойник, у него все равно хватит храбрости открыть. Понятно вам? Мы все остаемся малыми ребятами. Вроде страусов. Только бы, мол, не знать да не глядеть! А он себя спрашивает, как оно на самом деле. Называет вещи своими именами. Знаете, мол, Фромажо, человек так устроен, у него быстро пропадает охота шевелить мозгами. Об этом нельзя не сказать. По-

пробуйте-ка глядеть открытыми глазами. Попробуйте разобраться вслух, что там такое непонятное ворочается у вас в мозгах. Это все равно как наклониться над пропастью, когда голова закружилась. И тянет, и жуть берет. И кто его знает, что сильней — тянет или трусишь? А после трудно — войдет в привычку, пошлешь, что надо только говорить про это вслух, и тогда уж трудно устоять… поздно-то как! В хорошем же я виде, напрасно это вы допустили… Ну, ребятишки уже, верно, спят, и то хорошо.

В полдень, когда мы возвращались из города, Женевьева обернулась, не отрываясь от руля:

— Мосье Андре, вам не очень неудобно там, позади?

И вот теперь эти ее слова, точно пробудившееся в памяти эхо, приводят мне на ум другие слова, которые обволакивают, затеняют медлительность и усталость: «запоздание», «поздняя осень»… В голову ударило выпитое залпом вино, и сквозь хмель думаешь об осени по-иному; если предстоит последняя битва, говоришь о разгроме, если всего лишь передышка — о том, как до

нее далеко. Весь мир словно затушеван. Кто так яростно работал здесь резинкой? Кому понадобилось сделать таким смутным, расплывчатым все, что меня окружает? Как бы я ни хотел, мне ничего не удержать, ни за что не ухватиться. Я сожму руку, но в горсти останется пустота. Вот я слышу— к дому подъехала машина. Вернулась Женевьева. Она сигналит, но и гудки мне кажутся призрачными. Может быть, она вызывает Розу, чтоб помогла донести чересчур объемистый сверток? Или просто лает в ночи на луну, как лают собаки, когда их пугает тишина? Поздняя осень — быть может, эго значит: наступают первые пронзительно холодные синие ночи, в которых уже не сыщешь ни единого знамения, а без знамений в душе такая тоска, такая пустота, какой в нас не рождало недавнее изобилие самых дурных примет. Если я очнусь, то лишь затем, чтобы взметнуть в разрисованное звездами небо такой волчий вой, такой вопль отчаяния, что отрадными, щедрыми, плодотворными покажутся блуждания в летние ночи, когда я воображал, будто стою на страже у врат моих страхов.

Поздняя осень. Вот она и настала для меня — о, эта одышка, и мечты, отдающие горечью, и попытки к бегству, и погоня за пошлыми бойки-

ми девчонками, которым темнота прибавляет смелости, попытки воскресить те времена, когда кровь моя еще не остыла. А теперь чувство такое, словно бредешь в самом хвосте отступающей армии, по холодной грязи, в которую дезертиры побросали оружие. Враг преследует по пятам. Я слышу его перешептывание. Угадываю вражеские засады, чувствую на себе вражеские взгляды. Беттина, Ролан, Робер, почему вы нас бросили? Нам кажется — дом слишком велик. Тявканье Польки, смех Розы, шага Женевьевы, даже наши голоса не в силах заполнить его тишину. Я прохожу в этой тишине — смятенье, что бушует у меня в голове, не заглушает тишину и не защищает меня от нее, — я направляюсь к единственному выходу из тишины, и этот выход — пьянство и разнузданность. Вы, конечно, замечали: жизнь, зажатая в тесных берегах, изливается на необъятные равнины; слабое тепло переходит в огонь. Не бывает огня наполовину, и у жизни нет тылов. Дом не укроет меня в своей тени. Бесполезная осажденная крепость… Придется рано или поздно отважиться на вылазку. Осень обрекает меня всему, что разрывает оболочку, дает ростки, тянется вверх и, побитое морозом, умирает. Долго ли еще можно выносить эти непроглядные туманы, эти

увертки. Все разрешится в зените неизбывного отчаяния — предельным потрясением, последним криком.

Зима? Господи, да тут и рассказывать почти что нечего. Я уж вам поминал, говорили, жена его в Швейцарии, а как она вернулась, он вроде воспрянул. Всё успокоилось. Роза всем твердила, будто ей от этого легче на душе — сам, мол, опять работает. Даже слишком. Надо бы ему поостеречься, уж больно он переутомился… Когда со сбором винограда покончили, зять мой с Жюльеной поехали в Палавас отдохнуть малость. Ну и мне незачем стало останавливаться в Лоссане, потому как со свекром Жюльены мне разговаривать не о чем. Да еще дожди пошли, ветер. В нашем деле это мертвый сезон. Мадам Фромажо стала меня донимать, поедем да поедем в Барселону. К чему я вам все это говорю? А, да, началась зима. В общем, ничего такого не происходило. Разок приезжала на субботу и воскресенье ихняя дочка — долговязая, которую звать, как итальянку. Мы с зятем отправились за

Бюрзак на охоту и столкнулись с ней нос к носу. Она прогуливала ихнюю собачонку. Мы смеемся и говорим — вы, мол, не спускайте собачку с поводка, а то еще кто-нибудь подстрелит ее заместо кролика. Она тоже засмеялась, и мы добрых четверть часа стояли втроем и болтали. Свою кроху она взяла на руки, а то наши псы вокруг так и плясали, поглядели бы вы! И хотите верьте, хотите нет, девчонка и трех раз не побывала в деревне, а оказалось, она знает клички всех трех зятевых собак! Поневоле про это заговорили; она нам рассказала, что у них в Швейцарии, рядом с коллежем, псарня; сказала, что уже начала кататься на лыжах, — ну совсем девчушка! Но красивая девчушка, и веселая такая, смешливая. Зять мой ее и спроси — а что, мол, папаша ваш не очень расстраивается, что хорошей погоде конец и все вы поразъехались? А она отвечает: «Ну, папа, он вообще…» Вы скажете, это не ответ. Вот то-то и оно.

День выдался чудесный, не мягкий, но свежий, омытый холодом, точно светом. Каждый раз

после полудня, в один и тот же час, порывистый ветер вдруг стихает. На лист бумаги ложится от моей ручки длинная тень. В эту пору хочется встать и одеться потеплее; или Полька просыпается, потягивается, зевает и просит, чтобы я пошел с ней погулять. Очень быстро небо розовеет. На западе разливаются красные озера облаков (а весь день небо чистое), в несколько минут они поглощают солнце, словно его пожирает охвативший их пожар. Но все, что там происходит, не столь важно. А вот здесь как-то разом стало тошно жить. Я встал, выхожу, словно в поисках помощи, и весь наш дом кажется мне пустым, необитаемым, тонет в серой мгле — таким он был до нас и только и жаждет вернуться к прежнему. Все наши труды едва коснулись поверхности. Вспахать землю вовсе не значит поскрести ее сверху, как проводят ногтем царапину на огромной скале.

Не надо зажигать лампы. Толку не будет: в этот вечерний час спор идет не между светом и тенью. Истоки гораздо глубже. В самом сердце скалы. Так стоит ли ранить в кровь пальцы?

Надо свистнуть собаку, сойти вниз, не говоря никому ни слова, взять в гараже машину и удрать в город. Там в витринах полным-полно

холодильников и парижских пальто, там тоненькие девчонки, одетые по-зимнему (эту одежду они не умеют толком носить), девичий смех, шумное оживление в кафе и кондитерских, и все это будет говорить мне об одиночестве и о том, как отрадно не спеша, одной рукой поглаживая Польку, возвращаться в Лоссан, который ночная тьма предает его истинной судьбе, и эта судьба — властвовать надо мной.

> Политикан? Ну нет. Тут есть оттенок… Я нипочем не стал бы людям зубы заговаривать, это все не по мне — жульство, пустая болтовня. А только иной раз вдруг находит: охота растолкать всех этих лежебок, излупить их, разбудить пинком в зад, извините за выражение, охота им сказать — вы, мол, спите, а жизнь проходит мимо! Вы ж, мол, все на свете прозеваете! Вот вы их знаете получше меня, ну, скажем, не хуже, хотя, к несчастью, коммерция — преотличная школа, но вы нее видите, как они живут, разве это жизнь, внутри у них муть, неразбериха, ни на что их не хватает… Мне иной раз прямо совестно за наши края. Так ведь

тут живешь, привыкаешь и уже ничего толком не видишь. А вот приедут сторонние люди — тогда и самому бросается в глаза. Тогда и на знакомые места смотришь по-другому. И видно, что всё идет к чертям. Пропадает, разваливается. Кроме шуток, вроде как чему-то пришел конец — то ли эпохе, то ли семье. А ты стоишь у дороги и любуешься на похоронную процессию. Так вот, меня от этого тошнит! И что самое смешное, понимаете, ведь это они меня встряхнули, не кто другой, они открыли мне глаза, а потом раз вечером я попробовал ему про это сказать, невтерпеж мне стало, а он только плечами пожал. И говорит мне: Фромажо, говорит, можете махнуть на них рукой — пускай пропадают. Да каким тоном! Это было как раз в те дни, когда она его оставила одного, а может, была занята где-нибудь по хозяйству… Нет, конечно, он был один, средь бела дня все ставни закрыты, а в ту пору солнце уже редкость, ловишь его, и пепельницы были все полные. И еще он мне сказал — у меня, мол, пропал аппетит, вот я возьму кусок швейцарского

сыру, читаю книжку, ем сыр и запиваю стаканчиком доброго вина. Голос его отдавался на лестнице, как в бочке. В прихожей на полу валялись сухие листья, видно, занесло ветром, а подметать никто больше не подметал. Глаза у него были красные, может, от чтения, а может, от бессонницы. Пусть их пропадают, говорит, им ведь только того и надо. Человек сам себя заживо похоронил.

Внезапно я прорываюсь жалобами, брожу взад-вперед нетвердой походкой, как дряхлый старец или как пьяный, меня прошибает пот сожалений и страхов — его так же невозможно остановить, как настоящий пот… Но столь же внезапно ко мне, поверженному, приезжает Женевьева, и все проясняется, становится даже забавно. Ясны и отчетливы ее шаги, ясен и отчетлив голос — едва я его услышал, равнодушия как не бывало; стройная фигурка с годами стала худощавой. Смотрю на Женевьеву. Смотрю, слушаю. И вдруг сладостной, неправдоподобной болью пронзает уверенность; да ведь это счастье! Долгое, верное! Заслужено ли оно, нет ли, что за важность, главное — это счастье, оно срослось со мной, оно уже

неотделимо от меня, и в дни, которые, казалось, я едва пережил, я не замечал, что во мне живет Женевьева.

Беспутные девки, за которыми я когда-то гонялся, подцеплял их где попало, куда-то завлекал, целовался с ними по углам, — из всего этого можно сплести себе венок, такое к лицу героям модных романов — вечным странникам и страдальцам. Но Женевьева… Восемнадцать лет — единый, неиссякаемый поток великодушия. Наили драмы разрешались легко и весело. Редкостное мужество этой жизни вдвоем, за годы обретенное уменье в самую нужную минуту вдруг засмеяться — да как было не сложить об этом песню?.. Женевьева всегда хлопотала обо мне, как о больном, как о старом младенце, а я ни разу о ней не позаботился, ее силу и здравый смысл принимал как должное. Она оставалась мне верной соратницей, когда я менял фронт. Была бескорыстна, когда судьба над нами насмехалась. Трезво и деловито устраняла помехи с моего пути. Так разве не о чем сложить песню, хотя бы один куплет?..

Чей же дом Лоссан — мой или Женевьевы? Нечего пожимать плечами. В жизни супружеской четы, даже самой спокойной и мирной, есть свои

приливы и отливы, они постоянно колеблют здание, словно землетрясения — кору молодой планеты. Равновесия еще нет, но в конце концов все определит один из двоих, и жизнь потечет по тому ли, по другому ли склону. Когда я убедил Женевьеву продать Мезьер и она разделила порыв, толкнувший нас на покупку Лоссана (а верила ли она в него?), когда она весело ободряла меня отдать этому сумасбродному увлечению стенами все деньги, что удалось наскрести с таким трудом, и долгих два месяца день и ночь всем моим приступам и капризам противопоставляла свою снисходительность и чувство юмора, разве она не дарила мне этот дом? Тайный подарок, залог доверия к моим безрассудствам, она этим говорила мне: «Вот видишь, на мой взгляд, ты не такой уж сумасброд, ведь я позволяю тебе ради этой мечты рискнуть нашей судьбой, погрузить все наши сокровища в этот исполинский ковчег…»

Лоссан — мой дом, но жизнь моя — Женевьева. Какую жизнь можно было бы установить, поддержать, упрочить в этом доме, если бы мою собственную жизнь мало-помалу не заполнила Женевьева?

Я и в детстве этим страдал: еще мальчишкой бывал весел у чужих, а дома чувствовал себя

несчастным, как собачонка на привязи, не смел позвать к себе приятелей, уверенный, что им будет скучно и они станут насмехаться над абажуром с каравеллами. Уже в двенадцать лет я по-настоящему жил только у других и питался чужой жизнью. Даже собственную комнату не умел сделать таким местом, где хоть кто-то, кроме меня, чувствовал бы себя свободно. Всегда я жил, как говорится, «по гостям». А вот Женевьева, мастерица вить гнездо, поборница домашнего очага, здесь поселилась словно бы мимоездом, словно на полпути приземлилась на посадочной площадке, готовая продолжать полет, едва обнаружится, как говаривала когда-то мама, насколько я не способен «устроить-себе-уютный-уголок-где-приятно-будет-принимать- друзей». Да, это бьет по самому больному месту, я так и не научился устраивать себе уютный уголок… Моя страсть к домам — это, по сути, страсть к чужим домам, к чужим жизням и чужим тайнам. Страсть менять жизнь. Став владельцем дома, я вновь принимаюсь рваться с привязи. Так Полька не дотрагивается до мяса, которое положено ей в миску, когда чует запах мяса сверху, с нашего стола.

Нет, мосье. Уж извините, но вы из меня больше ни словечка не вытянете. Слишком тонкое это дело, надо отвечать за свои слова. В конце-то концов всяк живет по-своему. Ежели некоторым угодно перемывать чужие косточки, судить, что белое, а что черное, ладно, пускай, меня не касается, может, у них и есть такое право, а я помогать не обязан. По крайней мере, я так понимаю. Видит бог, в моей профессии сколько раз приходится попадать между двух огней. Но всегда можно очень красиво из этого положения вывернуться, мосье, надо только держать язык за зубами. Нынче их разбирают по косточкам, а завтра, может, придет наш черед… Что тогда? Сами видите, до сих пор я, извините за выражение, содействовал, как мог. Короче говоря, предоставил вам, так сказать, психологические данные, какие у меня были. В общем… Впечатления, мосье, мои впечатления, не более того. Можно ведь и ошибиться, понять как-нибудь не так… Я уж сказал доктору: доктор, говорю, это ваше дело, только ваше… К чему Фромажо станет в это вмешивать-

ся? Бывают такие люди, будто роком отмеченные. Так вот, скажу я вам, самое разумное — держаться от них подальше, как от зачумленных.

Вот и опять зима. Прозрачный морозный воздух, деревни застыли недвижно. Чего мы ждем? Прежде все было по-другому. Никакую повесть не расскажешь, как задумывал заранее: смотришь на то, что перед глазами или что рисует воображение, но сила слов влечет за собой совсем иные образы…

Я снова принялся за дело. Уединение приносит только тишину, но сил оно не дает. Просто я вновь вошел в колею, размеченную привычными вехами: чтением, измаранными и перечеркнутыми страницами, спешкой — надо кончить работу в срок. Колея затягивает меня и обязывает.

Кажется, первые холода избавили Лоссан от непрошеных гостей. Должно быть, вся нечисть забилась поглубже в свои щели. Неожиданно в доме воцарился порядок. Часовой может на время оставить свой пост.

Я живу. Это чудесно — жить! Я живу, окутанный нежностью Женевьевы. Как мало мы изменились! Вспоминаю наши первые ночи,

рано поутру я спускался по величественной лестнице швейцарского отеля — мы были там почти одни, повсюду снег уже сдавался буйному апрелю, победоносно струились ручьи, — я шел купить первые утренние газеты, доставленные из Цюриха, и кое-как разбирался в немецком тексте. Крупными буквами сообщались новости о Корее, о войне. Так мы все те же?

Я живу окутанный нежностью Женевьевы.

В иные дни поверхность моей души (о глубинах говорить не смею, там затаились мерзкие чудовища) озаряется таким безмерным, восторженным изумлением — словно зеркало, где отразилась вся прелесть этой ранней зимы, — что я даже пугаюсь. Я говорю Женевьеве:

— Не кури!

(Потому что мне представляется — тело ее изнутри мало-помалу выстилает черный перегар.)

Я говорю ей:

— Почему ты непременно хочешь сама вести машину?

(Потому что перед глазами стоят картины — катастрофа, кровь — и я не в силах от них избавиться.)

Я умоляю ее не принимать больше снотворных,

на которые доктор Тессон, не скупясь, выписывает нам рецепты, мне страшно: не отравили бы ее все эти пилюли и наркотики, эти коктейли, перемежающиеся удары хлыста, от которых я порой боюсь потерять рассудок. Я говорю ей: после захода солнца не гуляй одна в пустошах; когда подходишь к дороге, бери Польку на руки; не говори слов, которые накликают и призывают смерть; затворяй двери; не ищи сходства в портретах… Заклинаю тебя, будь осторожна.

Да, мне страшно и в часы тревог, и в часы передышки, и тогда, когда нас омывает прилив нежности — и когда отлив обнажает прибрежную гальку и на нее опускаются черные птицы. Но этот страх вовсе не начало мудрости. Это лишь первый шаг к иному страху, более глубокому. Наклонная плоскость, головокружение — и если я дам себе волю, если подамся в эту сторону, мною вновь завладеет отчаяние летних ночей, что чреваты были недобрыми предзнаменованиями.

Я знаю, говорят, что я снова запил. Говорят также:

— Но сейчас как будто становится полегче…

Какими еще избитыми фразами они стараются придать своей жалости достойное обличье? Выбирают тон врачебный? Или тон дружеских!?

— Пора уже ему взять себя в руки.

— А по-вашему, одиночество в подобных случаях полезно?

— Впрочем, совершенно ясно, почему жена толкнула его на этот переезд. Надо думать, в Париже иной раз бывало несладко. Помните эти вечеринки?..

— Во всяком случае, она очень разумно поступила, что отослала детей!

Самые продувные, должно быть, на свой лад меня защищают:

— Кто-кто, а я не брошу камень в человека, который подошел вплотную…

К чему вплотную? Что я обошел по краю, куда заглянул, поскользнулся и едва не сорвался? Какими еще нелепыми словами вы станете мерить бездонную пропасть? Вы говорите — депрессия, говорите — сник, приуныл, пал духом — точно про иву над ручьем или про серый пасмурный день. Эти слова напоминают о дожде, о неторопливом течении рек. А значит, и о зелени, о густых травах, о плеске озера в отлогих берегах. (Может быть, потому-то как раз в таких местах и строят клиники, где вы надеетесь лечить депрессию, упадок духа?) Да по какому праву там, в кабинетах, где уже не звонят для меня телефоны, в

приемных, куда я больше не прихожу продавать плоды своих трудов, вы с важным видом беретесь обо мне судить и рядить? Безмозглые ослы, да как вы смеете обсуждать мою жизнь, точно какой-то недуг… Черным- черно, непроглядная тьма, в которой бредешь ощупью, населенная чудовищами, та, что чернеет под плотно сомкнутыми веками, в недвижно застывшем сердце, — а вы упорствуете, вам кажется, так просто подбавить туда немножко света, словно молока в кофе? Вам довольно перечислить все знакомые вам оттенки серого цвета? Пепельный, серо-бурый, мышиный, жемчужный, аспидный. А я повторяю: черный, как уголь, черный, как злодейство. Наклонитесь над упадком, над провалом, ведь сердца у вас в отменном равновесии. Киньте камешек в колодец и ждите — из черных глубин моей ночи до вас донесется далекий всплеск. Если кто болен, так это вы! Не я, а вы достойны жалости, если до ваших подземных вод рукой подать. Вам надо бы пройти науку страха в его необъятных университетах, где свищет ветер. Приезжайте в Лоссан на практику. Здесь лечат здоровых. Обучают их постигать смысл слов. И цвет. Говорю вам: чернота.

Женевьева мне предана и так нежна. А вы что себе позволяете? Вы говорите о ней, как о сидел-

ке. Да, правда, она входит в кабинет, видит, что бутылка пуста, и смеется.

— По крайней мере ты не грустишь?

Будь покойна, я отсчитал свои капли и проглотил таблетки. Грусть схожа с гриппом: надо побольше пить. «Постарайтесь пропотеть», — советуют врачи. Какой скромный совет… Старайтесь потеть, старайтесь уснуть, старайтесь больше об этом не думать. Старайтесь наперекор всему… Что бы ни было — старайтесь.

Я живу окутанный нежностью Женевьевы.

Сегодня вечером мы поднимаемся по лестнице, точно два крестоносца, возвратившиеся из похода на Восток. Я так устал. Пошатываюсь, цепляюсь за перила.

— Беттина слишком быстро уехала, — говорит Женевьева, — мы немножко растерялись…

И продолжает:

— Если не пишется, отложи это пока, возьмись за что-нибудь другое. В общей работе никогда не бываешь последним…

Еще ступенька, другая. На площадке — синее кресло.

— Жизнь хороша, ведь правда? Она стоит того, чтоб держаться за нее обеими руками? Стоит

того, чтобы взять ее приступом?

Женевьева играет со мною во все игры. Вот я сижу в синем кресле на площадке лестницы, на полпути меж днем и ночью, меж податливостью укрощенных слов и дурными снами, в которых кишат скорпионы, — сижу и спрашиваю, правда ли, как по-твоему, ведь жизнь?.. И Женевьева терпеливо садится подле меня на ступеньку.

— Жизнь?..

И пресерьезно излагает мне свою философию, и посмеивается над собой, и подзадоривает меня.

— Может, доживем свои дни в Лоссане? Станем этакими чудаками на чисто английский манер, притчей во языцех для всех окрестных деревень. Ты будешь бриться раз в неделю, не чаще. Потомство Польки окружит нас нежностью и запахами. Ставни гостиной быстро зарастут диким виноградом. И может быть, если ты получше поищешь, ты обретешь бога? Если только в конце концов мы не продадим этот старый дом — почему бы и нет? А можно сдать его внаем — Фромажо торжественно введет к нам какого-нибудь американского гения, насквозь пропитанного неразбавленным виски, — ему и сдадим, почем знать…

Глаза у Женевьевы совсем такие, как в то сентябрьское утро на Площади часов, когда она

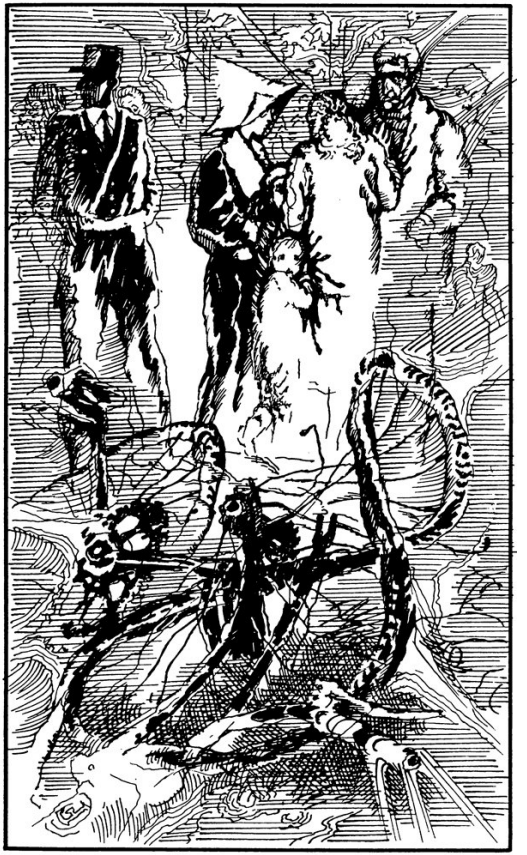
видела, что я сел на мель, что, как я ни храбрюсь и ни улыбаюсь, корабль затянуло илом. И едва она, забрав детей, умчится прочь, корабль повалится набок, дожидаясь ветра и прилива. В этот вечер на площадке лестницы в Лоссане я терплю бедствие совсем как тогда, на тротуаре Авиньона. И в эту ночь я потащусь за мечтами, как в тот день тащился за девицами на улицах, без веры, без сил, пьяный от снотворного, как в тот день пьян был печалью, от которой мне уже никогда не очнуться.

— Пойдем! Пора спать…

Так говорит крестоносец старому товарищу. Вместе они одолели неверных, изгнали крыс, истребили ядовитых соглядатаев, покончили с целой армией бутылок; вызвали улыбки на лицах хороших людей; благословили небеса, когда их дети, порожденные их плотью и нежностью, удостоили отозваться на их заискиванья; общими силами подавили в себе приступы злобы, досады, неуемной тревоги; встретили лицом к лицу безымянные недуги, что заносит ветром и в эти края; вместе заново отстраивали, сажали, возделывали землю; да, они возвращаются из похода, но они не завоевали империю и нигде не водрузили крест. Завоеван один только старый дом. Да и то

этому бастиону со всех сторон грозят опасности, эти хрупкие владения еще придется защищать от вражеских набегов. Покинем же просторное синее кресло. Поднимайся. Пора спать. День был долог, но осталось дотянуть всего лишь десять минут. Через десять минут мы погасим лампу и скользнем наконец в ночную белизну. Итак, это все? Все ли сказано? Всегда спрашиваешь себя, как закончится рассказ. Ответ очень прост: как день, как жизнь. Все это длится, длится, и нет никакой причины, отчего бы это кончилось. Возможностям нет числа, случаев великое множество — не так ли? Но где-то подстерегает молчание. И вмешивается. Как странно: вдруг, на повороте фразы, повесть уходит в пустоту страницы и теряется в ней — говорят, так порой теряются ручьи в песках пустыни.

**Клер Галуа. ШИТО БЕЛЫМИ НИТКАМИ**
***Перевод Елены Бабун***



Я полюбила Клер июльским воскресеньем. С тех пор она часто приходит по ночам к моей постели. Стоит неподвижно, прижимая к груди скрещенные руки, словно ей холодно. Когда я открываю глаза, она смотрит на меня сквозь завесу темно-рыжих волос, падающих на лицо. Я лежу не шевелясь. Я знаю, настанет день — и она уже не придет. Так мне сказали, и, это, пожалуй, логично.

В то воскресенье нас за столом было шестеро. Папа, мама, Валери, Оливье, Шарль и я. В нашем доме так заведено, что, пока тебе не минет пятнадцати, ты не имеешь права поднять за столом голос. А также пить вино и есть жареную картошку. Мама говорила о свадьбе Клер. Валери отвечала ей настороженным взглядом. Она считает, что о Клер нечего больше говорить. Мне бы хотелось любить маму так, как ее любит Клер. Сестры часто жаловались, что в детстве видели маму только ночью, когда, возвращаясь с бала (верно, такая высокая, мечтательная), она заходила к ним в спальню, в блестящем платье, в жемчугах и бриллиантах, которые папа каждый раз аккуратно запирал в сейф у себя в кабинете.

Знай я маму в то время, может, она бы и меня пленила. Но попробуй-ка сейчас попроси у мамы

разрешения выйти из-за стола во время еды, она улыбаясь, ответит:

— Если тебе и в самом деле так приспичило, что ж, иди, но помни: тебя ждет порка.

В то воскресенье, только-только подали жаркое с жареной картошкой и отдельно пюре для нас троих, младших, мне ужасно захотелось в одно местечко. Под столом залаял пес, он там валялся, разморенный полуденным солнцем. По воскресеньям псу разрешается лежать под столом, когда мы едим, в остальные дни мама говорит, что он натрясет блох на ковер. С улицы вдруг до нас донесся какой-то неожиданный звук, хруст гравия под велосипедными шинами. Папа встал, чтобы распахнуть ставни застекленных дверей. В комнату ворвался ветер, и мы увидели хозяина местного кафе, запыхавшегося, багрового от езды по солнцепеку. Лицо у папы сразу запылало и стало серьезным — во сне я вижу его с салфеткой, повязанной вокруг шеи, — и таким же пылающим голосом он спросил, что случилось.

Надо сказать, что по воскресеньям почта у нас всегда закрыта. Тут они все бросились к папе, а я воспользовалась этим, чтобы сбегать в одно местечко, в конец коридора.

Вот там и настиг меня этот смех. Никогда преж-

де я не слышала, чтобы так смеялись. Словно они все с ума посходили. Словно какая-то шутка до того их развеселила, что их теперь и не остановить. Я и сама не прочь похохотать, да разве за ними угонишься — вон как их разобрало. Это уж всегда так — уйдешь на минутку и обязательно что-нибудь произойдет. Я побежала, чтобы поскорее присоединиться к ним, а когда ворвалась в столовую, увидела, что они все сбились в кучу, вцепились друг в друга, и трясли головой, и кусали пальцы. Они толклись на месте, и тут уж было не разобрать, где чья рука, спина. Лица были ярко залиты солнцем. Они плакали.

— Что произошло? — Я крикнула, чтобы они услышали. — Что случилось?

Наконец Валери обернулась, эта дылда вечно что-то из себя строит. Она сказала, стараясь тоном подчеркнуть свое презрение ко мне:

— С Клер произошел несчастный случай.

На сразу потемневших стенах завертелось светлое пятно, головокружительное солнечное колесо, оно стремительно уменьшалось. Через несколько секунд оно превратилось в сверкающий алмаз, маленький осколок солнца, и я поняла, что Клер умерла.

Сколько же я молилась, чтобы кончилось нако-

нец мое детство. Мама оторвала руки от папиных плеч, запрокинула лицо к небу, сказала незнакомым голосом:

— Прежде всего я хочу, чтобы мое дитя соборовали.

Мама просто обожает это. Сама она уже соборовалась пять раз, при рождении каждого из нас, а в прошлом году чуть было не заставила соборовать Шарля, когда Оливье швырнул свой индейский нож и всадил его Шарлю прямо в горло. У Шарля лицо как у младенца, черты расплывчатые, невыразительные. Ему шесть лет, а он все еще носит детский костюмчик. Мальчик он не очень-то аккуратный и самостоятельный, поэтому мама считает, что проще отстегнуть перемычку на этом костюмчике или даже вообще ее не застегивать — это почти незаметно, — чем каждый раз возиться с лямками штанишек. Я вспомнила, как в прошлом году Шарль вернулся домой, с трудом переступая дрожащими ножками, поддерживая обеими руками подбородок, вспомнила, какой у него был оробелый, ошеломленный вид из-за этой раны. Сейчас, когда с Клер произошел несчастный случай, он забрался под стол и сидел там на корточках, уставясь в пустоту с тем же удивленным выражением. Я тоже присела на

корточки рядом с ним, обняла его, и мы смотрели, как остальные мечутся и страдают. Шарль всегда очень пугается. Когда он чуточку успокоился, я шепнула ему на ухо:

— Клер умрет, малыш.

Он несколько раз энергично кивнул. Оливье вцепился в мамину талию, бился головой в ее живот, с ревом звал ее, словно очутился один в темноте. Мама схватила его на руки, осыпала поцелуями. Потом все станут говорить:

— Не будь Оливье, Вероника сошла бы с ума.

Вероника — это мама. Она никогда не наказывает Оливье, даже если на него пожаловаться.

Солнце на улице палило по-прежнему. Но теперь уже было все равно, будет в доме прохладно или нет. Стучали ставни, хлопали двери. Лицо у папы все больше багровело, он то и дело подносил руку к щекам, потом разглядывал ладонь, словно ожидал, что она будет в крови. Мы с Шарлем еще глубже забились под стол. Мы слышали, как наверху, быстро и решительно ступая, ходит мама, слышали, как она, отдавая распоряжения Валери, возвышает голос до крика. Она готовила траурную одежду — на тот случай, если Клер умрет. Вот шаги ее направились к бывшей детской, где, с тех пор как мы выросли, помеща-

лась бельевая и гардеробная. Я очень люблю эту комнату с маленькой ванной — теперь, когда садишься в нее, приходится поджимать ноги, чтобы вода покрыла тебя целиком, — с обоями, на которых изображены мельник, его сын и осел и от которых мы, каждый в свой черед, отклеивали и отрывали клочки в лунные вечера, когда не спалось. У своей кровати я нацарапала ножкой циркуля «Красный Нос». Так я называю свою сестру Валери, когда злюсь на нее. Ей делали пластическую операцию носа. Если смотреть против света, при ярком освещении кажется, что нос у нее из матового стекла. Я решила, если Клер и в самом деле умрет, никогда больше не называть Валери Красный Нос и ни с кем больше не ссориться. Валери вошла в столовую, чтобы принять гепатроль. Вечно у нее приступы печени. Пятно света лежало на ее лице, выбелив губы и нос. Когда она заметила под столом нас с Шарлем, она спохватилась и сказала:

— Мне все равно, пусть даже я разболеюсь, ведь Клер так страдает.

И, помолчав с минуту, добавила:

— Знаешь, — губы ее задрожали, а глаза закатились куда-то под лоб, и я уже поверила, что сейчас она и сама исчезнет, — знаешь, пусть бог

возьмет мою жизнь в обмен на жизнь Клер.

У меня перехватило дыхание. И я невольно крикнула:

— Дайте же ей умереть! Здесь и умереть спокойно не дадут, даже умереть!

Прибежала мама. Она обняла нас, глаза у нее словно выцвели, она все твердила:

— Господи, господи, сохрани жизнь моей девочке. Пусть даже калека, даже парализованная, даже обезображенная, только сохрани мою Клер в живых.

Она поднялась, во взгляде ее навсегда угасла какая-то частица прошлой жизни. Еще она сказала:

— От меня скрывают правду.

И потом забыла про нас.

У папы просто мания какая-то фотографировать. У него есть старенький «кодак» с камерой гармошкой, снимки получаются очень светлые, и на них мы всегда выглядим гораздо красивее, чем в жизни, — верно, потому, что папа ошибается в наводке на дальность, а скорее даже, потому, что он раз и навсегда нацелил аппарат в бесконечность. Когда мы все уже были одеты — братья в коричневых штанишках на лямках, в которых щеголяли еще прошлой зимой, мама в

шляпке, которую обычно надевает на свадьбы, с лицом акварельных тонов под слоем машинально, но умело наложенной косметики, Валери в белом пикейном платье и черных лакированных туфлях на каблуках, напудренная до самых глаз, чтобы скрыть следы слез, — папа в очередной раз выстроил всех на ступеньках террасы.

Каждое лето он делает всегда один и тот же снимок. И наносит черточки карандашом на двери ванной комнаты, чтобы знать, насколько мы выросли. Шарль — 1 *м* 08, Оливье — 1 *м* 42, я — 1 *м* 57, Клер — 1 *м* 66, Валери — 1 *м* 70. Отныне к этим зарубкам мы уже не притронемся. Папа пожелал сейчас, чтобы между Валери и мной была пустая ступенька — ступенька Клер. На этом снимке головы у всех опущены. Мама умоляла его:

— Жером, ну Жером, поскорей, я хочу застать ее в живых.

Папа не переоделся. Он был в том же, что и за обедом, сером костюме, казавшемся теперь чересчур светлым. Он словно бы ничего не слышал. Только белели суставы пальцев, обхвативших аппарат. Щелкнул затвор, и папа рухнул в шезлонг, голова его бессильно свесилась набок. Он заявил, что не сдвинется с места. Автомобили — это типичное орудие смерти. К своей машине он

больше не подойдет. Или купит себе танк и будет давить подряд все машины, которые задавили Клер. Шарль смотрел на папу расширившимися глазами, и, хотя было жарко, у него начали лязгать зубы. Мамины руки повисли как плети, она вдруг вся как-то сникла. Поцеловала папу точно ребенка — в щеку. И сказала:

— Может, ты немножко передохнешь? Приедешь попозже, когда почувствуешь себя лучше. Я просто не в силах тебя дожидаться.

А мне шепнула:

— Оставайся с папой. Следи, чтобы он не наделал глупостей.

Еще она поручила мне наши чемоданы, а сами они отправились на станцию пешком, мама и остальные трое.

Папа наконец решился. Мы уселись с ним вдвоем в огромный «пежо», кузов у него специально приспособили для нашей семьи — два дополнительных откидных сиденья, — потому что обычно ехали мы, пятеро детей, потом двое родителей, потом Анриетта и иногда бабушка. Жара обрушилась на папу. Он вздрагивал, жмурился, голова его падала на грудь, потом он снова ее вскидывал. Обычно, если поблизости не видно жандармов и мы с папой вдвоем, я держу руль,

положив свои руки поверх папиных. Папа совсем оглох от слез. По щекам его тянулись блестящие дорожки вроде тех, что оставляет улитка. Ни разу еще я не видела, чтобы папа плакал. Я без конца твердила себе, что Клер умерла или умирает, но все равно ничего не чувствовала.

Мы ехали, катили мимо людей — одни пили оранжад, другие собирали цветы у обочины. По мне, так лучше бы произошло землетрясение или пожар — в общем, что-то вполне реальное. Иногда папина ладонь на миг ложилась на мою руку, но я поспешно отдергивала ее. Он повторил прерывающимся голосом, что хотел бы врезаться во все машины, задавить убийцу, который задавил Клер. Он стал чересчур резко обходить грузовик с прицепом, я смотрела на огромные двойные колеса высотой почти что с нашу машину, и тут папа снова весь как-то обмяк, закрыл лицо руками, шофер грузовика сигналил, сигналил, я видела сквозь ветровое стекло его налившееся кровью лицо и знала, что огромные колеса втягивают нас, вот-вот сотрут в порошок. Я ждала уже, что мы погибнем, но папой внезапно овладел гнев. На станции обслуживания мы выпили кока-колу, папа собирался было показать заправщику телеграмму о Клер, но я потянула его за рукав.

Больше за всю дорогу мы не обменялись друг с другом ни словом.

Мы приехали на огромную площадь, на тот перекресток, откуда начинается автострада; немного отступя от шоссе, было не то кафе, не то ресторанчик с террасой и цветником. Напротив кафе стоял полицейский автобус с антенной и жандарм, который направлял поток машин в объезд. Вокруг автобуса — толпа, нам видны были только спины. Папа поставил машину у кафе, и мы вышли. Мы с папой крепко-крепко держались за руки, и все перед нами расступались, и у нас перехватывало дыхание, а потом мы увидели там, за этими людьми, жандарма со складным метром, который промерял асфальт.

Он выпрямился, держась за поясницу. У края асфальта, около скамьи под сенью платанов, был нарисован мелом распростертый силуэт — раскинутые руки, одна нога короткая, другая длинная, и кровь, повсюду кровь, лужицы и ручейки крови, даже в сточной канаве кровь, местами такая густая, что меловые линии прорезали в ней розовые желобки. Воздух весь дрожал от солнечных стрел, глаза невольно щурились, и было жарко до тошноты. Папа выпустил мою руку, все смотрели на нас, смотрели и смотрели

нам прямо в лицо, даже когда мы зажмурились. Хозяйка кафе хотела увести меня, легонько подталкивая в спину, платье на ней было желтое, а губы намазаны слишком ярко. Какое было дело этой дурище до крови на мостовой — ведь это не ее кровь. Я сказала маминым тоном:

— Вы могли бы выплеснуть на дорогу ведро воды, раз знали, что приедут родные.

Папа обернулся. Жандармы стояли с похоронным видом. Мне хотелось выть. Я сжала папину руку, и мы выслушали объяснения жандармов. Тогда я ничего не запомнила, но с тех пор выучила это наизусть, потому что до самого суда папа сотни раз повторял нам мельчайшие подробности. Не выдержав, я потянула папу за рукав.

— Она жива?

— Да-да, — папа был какой-то невнимательный, возбужденный.

И собаки запрыгали на солнцепеке, из окон машин торчали сачки для ловли бабочек, и люди на террасе кафе помешивали лед в бокалах с лимонадом. Мы поспешили сесть в машину.

Родильный дом, который держали монахини, стоял вроде бы на самой вершине холма. Не знаю, почему Клер отвезли именно туда. На пороге нас встретила молодая монашенка с ямочками

на щеках. Она ласково посоветовала нам плакать тихонько, чтобы не расстраивать мамаш, которые только что произвели на свет божий младенчиков. Потом легко впорхнула в белый коридор, и складки ее платья взвихрились. Она сказала, что все сестры молятся о нас и что нашей Клер уже наверняка уготовано место в сонме ангелов. С великими предосторожностями монахиня открыла дверь в палату, сначала чуть ее приотворила, просунув внутрь свой чепец, потом с достоинством отступила, пропуская нас вперед.

Постель, где лежала Клер, тонула в полумраке. Я подумала, может, монахиня стоит за дверью, проверяя, не будем ли мы плакать слишком громко. Вскоре мы уже различили лилии на ночном столике в банке из-под джема. Я слышала тяжелое папино дыхание. От всего в комнате веяло каким-то неземным покоем. Клер лежала, вытянувшись на спине, руки сложены на груди. Совсем не похожая на прежнюю. Выглядела гораздо старше. Это была не на самом деле Клер. Из-под толстого слоя ваты, которая чепцом обхватывает голову, выбиваются пряди темно-рыжих волос, задубевшие, почти красные. Нос кажется совсем маленьким, верно, оттого, что подбородок и щеки распухли. Рот полуоткрыт, и зубы обна-

жены, словно в улыбке. Какие-то заледеневшие, синеватые зубы. Папа сказал: он рад, что мама не видела всего этого. Он всегда высказывается с запозданием, думаю, эти слова относились к той Клер, что была нарисована мелом на мостовой. Папа достал свой старенький «кодак» с камерой гармошкой и оперся на спинку кровати, считая: раз, два, три, четыре, пять — для выдержки. Все, кто видели этот снимок, говорили папе про Клер комплименты.

И в самом деле, на смертном ложе Клер улыбается. Надеюсь, что это просто уголки губ у нее приподняты лицевыми мускулами, которые свело от удара, раздробившего ей затылок. На снимке Клер словно осушенная до дна чаша света и мрака.

Сделав снимок, папа поставил рядом с Клер единственный имевшийся в комнате стул и сел. Он протянул руку, будто хотел взять ее за локоть, но тут же отдернул, точно осмелился на какой-то безумный жест. Он взглянул на меня с упреком, и, поскольку я все больше заливалась краской, медленно проговорил:

— Подойди, моя девочка, поцелуй сестру.

Когда мне страшно, я неспособна ослушаться. Я старательно обдумывала, куда бы мне поцело-

вать Клер, чтобы не причинить папе страданий. Ни в ее распухшие щеки. Ни в висок, который почти целиком был скрыт под слоем ваты. В лоб. Туда, где сохраняется нечто живое, начертанное на мраморе статуй.

Потом для меня потянулись бесконечные минуты страха. Во рту до того пересохло, словно я никогда больше не смогу плюнуть, и это будет длиться вечно.

Мама приехала вдвоем с Валери. Она сделала крюк, чтобы завезти Оливье и Шарля к Анриетте. В Париже Анриетта когда-то всех нас поила молоком из бутылочки с соской, даже тетю Ребекку и маму, всех, кроме папы и бабушки. Мама бросилась к папе, как будто он был ее новообретенное дитя, они обнялись, потянулись приласкать друг друга, словно на пороге последнего безмолвия, вдохнули слезы, орошавшие их лица, отстранились на расстояние вытянутых рук, и вся эта драма, это одиночество растворились в их взгляде, и тогда, прижавшись друг к другу, объединенные общей тайной, они склонились над Клер; они искали себе прибежища над ее ложем, точно над колыбелью, и мама даже улыбнулась. Тут мы залились такими горючими слезами, что наши руки, плечи, лбы перемешались, и я люби-

ла всех, даже свою сестру Валери. А Клер лежала между нами, свежая, нежная, благоухающая эфиром, и мы нечаянно пошевелили ее, а монахиня сказала строго:

— Не притрагивайтесь к покойнице.

И все поспешно отступили. Мама выпрямилась последней. Она проговорила тихо, с мучительной нежностью:

— Она еще не закоченела…

Потом глаза ее расширились, и она добавила:

— Выйдите все. Я хочу в последний раз увидеть тело моей девочки.

Мне всегда стыдно за своих родителей. Сколько раз я мечтала: хорошо бы быть как растение — высадили тебя в землю и расти, и никого у тебя нет. За маму бывает ужасно неловко. Она не носит перчаток, лифчика, не закалывает волосы шпильками. По ее словам, ей ненавистно все, что сковывает. Если ей нужно встать среди ночи, она поднимает в ванной комнате ужасный шум. Когда ей случается нас наказывать, она потом просит прощения. Уж не знаешь, куда деваться. Она стоит перед тобой, и глаза у нее такие горящие и синие, и она говорит:

— Бедное мое дитя, у тебя скверная мать, нервная мать, мать, она совсем вас не любит.

И смеется. Ну а мы вздыхаем. Часто она даже к обеду бывает неодета, слоняется по дому в кружевном пеньюаре с огромным декольте. За столом вдруг объявляет, что ей не хочется есть, она должна похудеть. А то еще изобретает себе всякие диеты — три дня подряд ест одни винные ягоды или рис, сваренный на воде, или швейцарский сыр — и злится по пустякам. Папа ворчит: пусть уж лучше она немножко пополнеет, лишь бы характером стала помягче. Тогда мама швыряет на стол салфетку и запирается в своей комнате. Через пять минут мы слышим, как она плачет. Я уверена, она нарочно плачет прямо у замочной скважины. Лицо у папы становится страдальческим, он не слишком уверенным тоном велит кому-нибудь из нас пойти утешить маму. Обычно вызывается Клер. Клер безумно любит маму. Я видела, как мама хлестала ее мокрой тряпкой по щекам, а Клер даже не шелохнулась, глазом не моргнула, не пожаловалась. Тогда мама начинала рыдать и твердила, что Клер убивает ее. Клер — единственная, у кого мама никогда не просит прощения.

Прислонившись к стене в коридоре, заложив руки за спину, мы с Валери ждали у двери палаты, где лежала Клер. Хотя мы и не смели сказать

это вслух, мы прекрасно знали — и мама тоже знала, — что живая Клер не пожелала бы, чтобы ее вот так раздевали донага и разглядывали. Монашенки беспрестанно порхали перед нами. И все как одна, вылетая из-за поворота, подметали подолом радиатор в углу коридора. Они старались подбодрить нас сочувственными жестами. А потом наступил час цветочных горшков.

Сразу, почти одновременно, появились десятки мужчин с цветами. Цветы пока что не были предназначены для Клер. Мужчины открывали дверь за дверью, словно делали ходы при игре в гусек, и каждый раз в коридор врывался луч солнца, крик младенца, нежный щебет. Там, в палатах, все называли друг друга «миленькими».

Наконец распахнулась дверь палаты Клер. Штора на окне была теперь приподнята. В маминых глазах вспыхивали яркие искорки, словно она вдруг сделала какое-то неожиданное открытие. Лицо у Клер потемнело.

— Знаете, до чего глупо, — сказала мама, — у нее на лбу маленький прыщик, и я подумала, что надо бы приложить каломель.

Папа и мама будто гордятся, глядите, мол, как они привыкли к телу Клер. У папы снова начался тик, он беспрестанно подергивает бровями и

обламывает кончики ногтей. Мама обняла меня и Валери. Она поклялась, что никогда больше не станет нас наказывать. А потом мы должны были поклясться ей, что никогда больше не сядем на велосипед. Клер задавили, когда она ехала на велосипеде. Значит, теперь за городом нас будут держать взаперти, намертво. Я спросила у мамы:

— И Оливье с Шарлем тоже больше не сядут на велосипед?

— Никто больше. Никогда. О! Господи! О! Клер!

С тех пор у мамы страх перед велосипедами. Когда она из машины замечает велосипедиста, едущего у самой обочины, она поднимает крик и крутит руль, который держит папа.

В палату снова проскользнула монашенка, оставив дверь приоткрытой, голову она склонила набок. Мама питает уважение к монахиням, она твердит, что им удалось со мной сладить. Ясное дело, не стану же я бунтовать в пансионе против их порядков: мне важно одно — поскорей вырасти.

Монахиня подошла к маме и что-то зашептала ей на ухо, мама с воплем вскочила, умоляя не отправлять в морг ее дочь. Потом стала наседать на папу:

— Жером, да предприми же что-нибудь.

Папа сказал, что в воскресенье ничего предпринять нельзя. Он машинально скреб себе шею, а монашенка, перебирая четки, сказала, что у них морг совсем особенный. Там только младенцы и молодая женщина одного с Клер возраста, девятнадцати лет. Мама и слушать не хотела, не хотела покидать Клер, хотела, чтобы Клер принадлежала ей, только ей, все дни и ночи, пока ее не предадут земле.

— Стало быть, послезавтра как раз четырнадцатое июля, — заметила монашка, — стало быть, самое раннее — это будет в четверг, стало быть, это поздновато. Уж не говоря о комнате, она ведь, знаете ли, занята…

В Крийоне в гостинице была заказана комната для Алена и Клер на вечер их свадьбы. Мама предложила монахине сделать какое-нибудь пожертвование на благотворительные дела. В эту минуту вошел мой бывший будущий зять, и все замолчали.

Ален всегда так нежно улыбался Клер. Ни разу мы не видели его подозрительным или гневным. Как утверждает мама, человека вообще нельзя узнать, пока он не скажет тебе: «дерьмо». Когда мама произносит это слово, делается как-то неловко. Чувствуешь, что она заставляет себя.

Я испытываю неловкость, когда она заставляет себя что-то делать. Как-то она позвала меня и Оливье, чтобы побеседовать с нами о сексуальных проблемах. Оливье корчился от смеха и попросил ее проиллюстрировать рассказ рисунками. Я предложила маме: пусть купит мне книжку на эту тему, больше мы к тому разговору не возвращались. Терпеть не могу, когда мне объясняют назначение различных органов моего тела. В один из вечеров Клер рыдая вышла из маминой комнаты.

— Ну да, непоправимое свершилось, нет у меня больше твоего приданого, этой святыни. — И она рыдала так, как одна только Клер умела рыдать или смеяться, или, раскинув руки, точно крылья, идти по гребню крыши загородного дома, или подражать крику совы, дуя в сложенные ладони. Я знаю, мама будет вспоминать обо всем этом. Будет терзаться угрызениями совести.

Мама лишь совсем недавно сделалась ласковой с Клер. Это произошло на Пасху, когда Клер вдруг стала такой красивой. Словно на нее обрушился целый поток света. Зубы, волосы, глаза, кожа — все в ней как бы озарилось. И все люди, все люди на улице и повсюду смотрели на нее и улыбались. Валери с каким-то ожесточением

взялась объяснять причину новой красоты Клер. Пожимала плечами.

— Она нарочно напускает на лицо это выражение, чтобы завлекать молодых людей.

Вообще-то Валери не слишком ко мне пристает. Я, единственная в семье, осмеливаюсь залепить ей пощечину. Но поскольку я для этого недостаточно высокая, я жду, когда она сядет, или сама влезаю на стул, стоит ей забыть о нашей ссоре. Если я очень уж разозлюсь, я заявляю, что встану как-нибудь ночью и тресну изо всех сил по ее перекроенному носу. Я себя ненавижу и презираю за эту злость, но знаю: чтобы стать по-настоящему доброй, мне надо дождаться, пока я вырасту. Мама не сразу заметила, что Клер стала такая красивая. Она по-прежнему раздражалась, прикладывала руку ко лбу, ну совсем как бабушка.

— Как я от тебя устала, Клер.

И смех Клер тотчас обрывался. Она смотрела на маму как-то грустно и выжидательно. Мама отворачивалась или же выходила из комнаты, так как вместе со смехом Клер исчезала причина для сетований. Ален тоже появился на Пасху. Он взглянул на Клер, и Клер сразу сделалась молчаливой. Мама превратила это в настоящее торжество. У Клер наконец-то появились новые

платья. Прежде мама просто укорачивала для нее старые платья Валери. И Клер уже не послали ни в Швейцарию, ни в Англию, ни в Германию, ни еще в какую-нибудь страну, где мама находила семью, которая держала бы ее по вечерам взаперти. Клер теперь носила белые шерстяные брюки и амазонку, обшитую коричневым шнуром, для завтраков в «Поло де Багатель», изумрудную тунику для обедов у «Максима» или воздушный наряд из тюсора, чтобы отправиться на танцы с Аленом. Мама просто бесилась во время примерок, придиралась к портнихе:

— Да не подчеркивайте вы так у нее грудь!

— Я вовсе и не подчеркиваю, мадам, но куда же ее деть!

Портниха цедила слова сквозь зубы, во рту у нее было полно булавок, Клер слегка краснела, но глаза ее исподтишка смеялись. Ален просил у мамы ее руки. Не у папы. А папа только отшучивался — в этом семействе от него все скрывают. Ален целых два года был траппистом. Мама не желает, чтобы об этом говорили, а то у него могут быть неприятности. Папа говорит, что этот болван (то есть Ален) лишился таким образом места в банке у своего отца и что его брат (который менее глуп) сумел повернуть это к своей выгоде.

Мама возражает, что Ален, во всяком случае, пользуется доходами с капитала своей матушки и что потом, после смерти отца, банк перейдет к нему. Ален уверяет, что сразу же влюбился в Валери, в Клер и даже в меня. А выбрал он Клер, потому что она самая живая. Во время помолвки Клер Валери убежала на кухню поплакать. Мама, сдержанно улыбаясь, принимала поздравления — Ален как раз то, что нужно Клер, он сумеет ее укротить. Мама часто говорит о Клер, точно о молодой горячей лошадке с темно-рыжей гривой. Папа без конца пил шампанское, похлопывал по плечу своих коллег, тоже офицеров Почетного легиона:

— Надо еще двух дочерей пристроить, старина! Не найдется ли у тебя сына их возраста?

Мама лягнула его под столом ногой, и папа, вскрикнув «ой», подскочил прямо как в кинокомедии. Анриетта сказала, что бриллиантовое кольцо Клер стоит самое меньшее двести пятьдесят тысяч.

Рука Клер казалась теперь еще меньше и бледнее, она прятала ее за спину. Я уверена, что для Клер Ален был явлением чересчур сложным. Когда она смотрела на него, она переставала смеяться. Медленно подходила, брала его руку в свои

ладони, терлась лбом и носом о его плечо, совсем так, как жеребенок трется о стволы яблонь.

Ален появился в дверях палаты Клер в клинике, прижимая к груди целую охапку цветов. Он вошел, ни на кого не глядя, шагнул прямо к Клер и положил букет к ее ногам. Теперь вид у нее стал совсем мертвый. Губы Алена дрогнули. Он заключил в объятия маму, и она, закрыв глаза, несколько раз качнула головой. Он назвал ее «мамой». Потом обнял папу и назвал его «папой». Сложив руки на животе, монахиня взирала на нас с восхищением.

Мы долго стояли вокруг постели Клер, смотрели на нее так упорно, что казалось, она вот-вот зашевелится. От лилий исходил усыпляющий нежный аромат. Я послала в пространство по волнам молчания имя Клер, словно свистнула в папин свисток для собак. Дунешь туда тихонько, и Бобби за много километров от тебя услышит и возвращается. И так десятки раз. Клер… О! КЛЕР! Я думала о Клер, которая ехала на велосипеде, а за спиной ее по ветру развевались волосы. Она смеялась, и смех ее был полон солнца. Я думала о той приближающейся машине и о Клер, переброшенной через капот. О кричащей Клер, кричащей, а потом переставшей кричать. Кричала ли она?

В конце коридора я увидела монахиню, она укладывала марлю для компрессов на металлическую тележку.

— Что делали моей сестре?

Она только на секунду подняла глаза, очки ее блеснули на солнце.

— Да ничего, в сущности. Она умерла по дороге сюда.

— А зачем тогда вата вокруг головы?

Она ответила совсем как бабушка Красной Шапочки:

— Чтобы скрыть раны, дитя мое.

А были еще и другие раны там, под простыней? Монахиня сказала, словно о пустяке:

— Открытый перелом ноги и разрыв бедренной артерии.

— Она кричала?

— Да что вы! Она не успела.

Во всяком случае, Клер была не виновата. Жандарм сказал папе, что у нее было преимущество при движении.

Я почти совсем не знала Клер. Все эти годы я провела в пансионе. Приезжая домой, я сплю в ее комнате. Она тогда не захотела меня будить. Оделась при закрытых ставнях. Натянула спортивную блузу и джинсы, потом долго приче-

сывалась, откидывая назад голову, и волна волос с электрическим потрескиванием спускалась до самого пола. Она целый час накладывала на лицо косметику, улыбалась и напевала, как человек, который ждет какого-то события, потом подошла к моей кровати.

— Послушай-ка, ты, не притворяйся, что спишь. Скажешь папе, что я выбрала серебряные ложечки в форме ракушки.

Вот и все. Она не попрощалась, ничего не сказала. Уехала и умерла. Всех нас отвергла. Здорово нас провела. Зря она ждет, что я стану ее оплакивать. У Клер нет больше лица. Она утратила свои черты, как некое магическое заклинание, как заклятие. Мне хотелось бы стать такой же посторонней для всех.

Ален отвез нас в Париж. Мама с папой остались около Клер. Из-за ветра мы все время жмурились. Солнце еще не зашло. Ален поднял откидной верх. Он вел машину и курил, левая его рука свисала наружу, и мы ехали медленно, словно на отдыхе. Валери сидела рядом с Аленом, на месте Клер.

Перед киоском, к крыше которого были прицеплены воздушные шары, Ален остановился и купил нам мороженое. Мы ели с серьезным ви-

дом, стоя у обочины, слизывали кончиком языка слой за слоем. От проносившихся мимо машин подол платья бился о ноги. Я три раза повторила про себя: Клер никогда больше не будет есть клубничное мороженое. А потом?

«А потом… ничего. Такое долгое потом…»

Иногда ночью Клер твердит это, думая, что я сплю, и говорит еще другое, и тихонько плачет, и громко смеется, а я боюсь, вдруг она догадается, что я проснулась.

Мебель в нашей парижской квартире была в чехлах, пепельницы вытряхнуты, вазы пустые, ковры скатаны. Захлопали двери. В передней на кресло был брошен плащ, его забыла здесь Клер. Валери мимоходом спокойно подхватила его, прошла во вторую прихожую, стена которой из раздвижных зеркал примыкает к нашим спальням, и, хотя там был полумрак, я видела, как она натянула на себя новый плащ Клер и вертелась во все стороны, чтобы рассмотреть, идет ли он ей. Я потихоньку приблизилась и сказала ей очень вежливо:

— Ты что, берешь его себе?

Она взглянула на меня в зеркало и ответила:

— Уж конечно, я оставлю его себе, с какой стати он должен доставаться кому-то другому.

Мы долго-долго смотрели друг на друга в зеркало, пока изображение не затуманилось.

— Что это на тебя нашло? Чего ты в конце концов хочешь? — сказала Валери.

Это было, ей-богу, не нарочно, просто я ляпнула по-дурацки:

— Хочу, чтобы плащ остался у Клер.

Ненавижу перекроенный нос Валери. Ненавижу ее особый запах. Ненавижу ее вместе с ее слабительными. Ненавижу ее в сочельник. Вот Клер в сочельник подарит тебе разрезальный нож из бузины, на котором острием перочинного ножа она сама вырезала трех соловьев. По крайней мере она сказала, что это соловьи.

Прибежала Анриетта, держа на руках Шарля, закутанного в купальный халат. Лицо у нее было мокрое, разбухло как губка. Фартук она сняла, и из-за черного платья казалось, что она в трауре; она сказала нам:

— Какое несчастье, нет, это просто невозможно, такая красивая девочка, самая лучшая из всех, я совсем голову потеряла, вот уже третий раз купаю ваших братцев, а они, бедненькие мои купальщики, даже не скандалят.

За спиной Анриетты Валери повертела пальцем у виска и взглянула на Алена. Анриетта

открыла в гостиной ставни, принесла большой кувшин сангрии — красного вина с плававшими в нем кружочками апельсинов и лимонов. Тоненько позвякивали ледышки. Она сказала, что ведь надо все же хорошо принять беднягу Алена, вдовца, не успевшего стать мужем. Ален достал из кармана записную книжку и начал золотым карандашиком отмечать галочками фамилии в списке. Потом поставил на колени телефон. Валери протянула ему бокал, весь запотевший, с липким ободком по краю. Он положил руку на голову Валери, сидевшей с ним рядом, и, зажав телефонную трубку между ухом и плечом, стал свободной рукой набирать номера телефонов. Отхлебывая маленькими глотками вино, он сообщал всем, что Клер умерла. Да, сразу. Нет, не мучилась. Лицо у нее, благодарение богу, совсем не пострадало.

Бабушка Картэ явилась ужинать с нами. Ключи от нашей квартиры прицеплены у нее к общей связке, и еще издали слышно, как она ими позвякивает. Вся в черном, надушенная «Эмерод де Коти», она говорит так тихо, что все умолкали, иначе не слышно было слов, плечи у нее совсем согнулись, и ее мучила одышка. В шелковых складках платья прятались жемчужины четок, и

ее пальцы перебирали их. Она купила заливного цыпленка и ананасный торт. И велела Анриетте поднять с постели Оливье и Шарля, чтобы мы все вместе помолились. Она так печально поцеловала нас, что мурашки пошли по коже.

Она поцеловала также Алена, притянув его к себе за галстук. Бабушка обладала особым даром превращать нас всех в малых детей. Стоит ей появиться на пороге, как туг же надо вскакивать, обрывать разговор, смотреть только на нее. Она бросает как бы в шутку:

— Кто знает, долго ли еще вам суждено меня видеть? В мои годы весишь чуть больше перышка, порыв ветра подхватит и… — фьюить! — унесет вашу бабулю.

Теперь из-за Клер она, должно быть, чувствовала себя задетой. Она прошла в столовую, опираясь на руку Алена. Взглянула в проем большого окна сквозь лазурные очки и напомнила о том дне, — да не вчера ли это было? — когда мы все так передрались, что поданные на десерт сливочные сырки, пролетая над столом, шмякались об оконное стекло. Она спохватилась и, чтобы подправить картину, сказала:

— Но в глубине души, дорогие мои детки, вы крепко любите друг друга, правда? Теперь вам на-

до еще сильнее любить друг друга, чтобы потом не пришлось себя укорять.

Она вздохнула и еще раз вздохнула:

— Вашей бедной мамочке… верно, хотелось бы, чтобы я была там?

Мы отвечали:

— Да, бабуля, но она боялась, что это тебя утомит.

Погрузив нос в носовой платок, она проговорила сквозь батист:

— И для чего только щадить мою старую жизнь?

Мы не знали, что ответить. Столовую затопляли краски и запахи летнего вечера. Словно наши слова и жесты были ненастоящими, словно Клер и не думала умирать.

Самый мой любимый торт — ананасный.

Обычно посередине обеденного стола три бронзовых амура держат на своих крыльях корзину, наполненную камелиями или черным виноградом. Мамины кольца сверкают, когда она вертит в руках хрустальную подставку для ножей. Граненые пробки преломляют темный или бледный отблеск вина в графинах. Стулья у нас с выгнутыми ножками, с настоящими резными копытцами, но, к несчастью, Оливье, Шарль и я порвали кожу

на сиденьях. Из-за шафрановых занавесей столовая всегда будто залита солнцем. Когда Анриетта разносит блюда, от рук ее пышет жаром, а платье слегка трещит в пройме. Против света волосы Клер кажутся на удивление светлыми. Положив локти на стол, она подмигивает Шарлю, тот смеется и шлепает ложкой в своем пюре. Мама ударяет черенком ножа Клер по локтю:

— Нарочно ты, что ли?

Если Клер говорит «да», разыгрывается сцена. За каждой едой бывает сцена. Оливье непременно желает пить молоко из кубка, как американские солдаты. Он требует, чтобы ему стригли голову под машинку, устраивает со своим пулеметом засаду в коридоре и осыпает нам ноги стрелами. Я дразню его, говорю, что он точь-в-точь штафирка-немец на развалинах Берлина — с тощими икрами и уродливым черепом. За столом я непременно стараюсь залпом выпить его молоко. Он вопит, мама сердится — насколько же всем спокойнее, когда я в пансионе. На глаза у меня навертываются слезы, щиплет в носу, но я улыбаюсь маме, улыбаюсь прямо ей в лицо, и она кричит:

— Не смей на меня так смотреть! Да уйми ты ее, Жером.

Папе все это просто осточертело, он встает и объявляет, что идет в кино. И громко хлопает входной дверью, но, поскольку через десять минут он все равно вернется, нас это не тревожит. А мама тем временем плачет. Она говорит, что они с папой были так счастливы, пока мы не появились на свет, и что мы порвали кожаную обивку на стульях.

Сейчас никто не ссорился. Бабушка, проворно орудуя пальцами, расправлялась с остовом цыпленка. Куриную гузку она называет «скоромным местечком». Ален по оплошности налил мне вина, и я выпила. Валери, загибая пальцы, вместе с Аленом вспоминала все мелочи, которыми придется заниматься завтра. Отменить уведомления о предстоящей свадьбе. Отослать подарки, за которые Клер еще не успела поблагодарить. Подсчитать совместные расходы папы и Алена на квартиру для новобрачных. Валери подняла увлажнившийся взгляд:

— И вы будете там жить один, Ален? Как все это грустно!

Ален предложил, чтобы мы все перешли на «ты». Он спокойно и рассудительно посматривал на нас. Когда потом, в декабре, он женился, Анриетта сказала, словно спорила с кем-то:

— Уж этот-то не помирал от горя, сразу видно было.

Но в монастырях они все такие, смерть для них — заупокойная месса, и только. В пансионе, когда умирала одна из сестер, нам обычно давали шоколадный крем. Голова у бабушки совсем отяжелела, она подпирала ладонями лоб и говорила обо всех, кто умер на ее веку: о тетушке Клемане, которой в восемьдесят лет ничего не стоило перекинуть ногу через стул; о своем брате, маленьком Жан-Луи, который утонул сразу после обеда сорок лет назад; о старой подруге Клотильде и еще о множестве других людей, которых мы не знали. Только о нашем дедушке она забыла, но мы не стали ей напоминать.

Клер отходила все дальше и дальше. Я боялась, вдруг кто-нибудь произнесет ее имя. Боялась, вдруг Клер вернется. Я вспомнила аромат лилий в клинике и вышла из-за стола — день был таким необычным, что никто ничего мне не сказал. Я не захотела ночевать в спальне Клер.

И отправилась в комнату, которая у нас называлась «Наполеон», потому что папа превратил ее почти что в мавзолей императора: в запертой на ключ витрине хранится его треуголка, пистолеты его сына, Римского короля, с перламутровой ру-

кояткой, сабли трех-четырех маршалов вроде Нея или Ла Бедуайера, а также фанфары и знамена их полков. Повсюду в комнате эмблема Наполеона — золотые пчелы, — на стенах, занавесях и даже на кровати, доставленной из Мальмезона. До чего же, вероятно, было тоскливо в этом Мальмезоне по воскресеньям.

Я легла, натянув простыню на голову, надавила кулаками на глазные яблоки, чтобы замельтешили красные звездочки — я это обожаю. Но я стала думать о Клер, о ее неплотно прикрытых веках, о неестественно сложенных руках, о холоде кожи, который я ощутила, когда пришлось ее поцеловать.

В нашем загородном доме Клер, бывало, потащит меня за собой ночью в сад. Освещенные окна исчезают за поворотом аллеи, делается так темно, что мы беремся за руки, чтобы не потерять друг друга. Вдруг Клер, не предупреждая, выпускает мою руку, и я не знаю, близко или далеко она от меня. Она дует в сложенные раковиной ладони, сначала это крик совы или гудок парохода в тумане, потом он переходит в жалобу, словно кто-то ужасно несчастный стонет в темноте, и вдруг я ощущаю руки Клер на своем лице, словно прикосновение души, отлетающей от земли.

Я принялась орать. Орала я с такой силой, что нити, удерживавшие меня в «Наполеоне», порвались, и я устремилась к горизонту; за моей спиной один за другим рушились в бездну года, и я была свободна, меня увлекали за собой небесные светила — те, что августовскими ночами свершают свой оборот вокруг солнца, а мы внизу говорим: «Гляди-ка, звездочка покатилась…»

И тут меня разбудили. Валери трясла меня за плечо:

— Ты что, больна?

Я сказала:

— Я видела Клер в ногах своей кровати.

В конце концов мой страх передался и ей. Валери перетащила свой матрас в «Наполеон». Время от времени мы спрашивали друг друга: «Спишь?», чтобы не поддаться сну. Нам чудилось, будто этим мы защищаемся от Клер и ей до нас не добраться. Две машины, рокоча моторами, въехали на нашу улицу и остановились как раз под окнами: слышно было, как хлопают дверцы, смеются люди. Я встала, перегнулась через перила балкона. И увидела двух женщин в длинных платьях, словно сошедших с обложки модного журнала, и двух мужчин в смокингах, в точности такая сцена, участницей которой я представляю

себя в будущем, одна из тех сцен, что позволяют мне терпеливо дожидаться, пока я вырасту; но сейчас все это и правда вывело меня из себя, и я крикнула:

— Вы что, не можете помолчать немного? В доме покойник.

Воцарилась тишина. Машины бесшумно отъехали. Спустя некоторое время Валери сказала:

— Все-таки ты уж чересчур.

Папа резко распахнул дверь «Наполеона». И обнаружил, что мы лежим вдвоем на одном матрасе — так мы в конце концов уснули вместе, прижавшись друг к другу.

— Бедные мои девочки, — сказал он, — бросили вас совсем одних.

Крупными шагами он подошел к окну, раздвинул жалюзи, из-за яркого солнца мы заползли под простыни. С улицы, где проехала поливальная машина, доносился запах дождя. Папа без пиджака, с расстегнутым воротом рубашки и небритыми щеками напоминал какого-то узника из кинофильма.

Пана не любит, когда мы поздно встаем; он входит к нам в спальни, приставляет к губам большой палец, словно мундштук горна, и кричит, поднимая, как по тревоге:

— Подъем! Боши идут врассыпную, цепью!

Обалдело вскакиваешь с постели, и, пока сообразишь, что это шутка, сон как рукой сняло, и бесполезно пытаться снова заснуть. Но сегодня папа торопил нас совсем иначе, словно получил еще одну телеграмму; мы сели, закутавшись в простыни, протирая глаза, и Валери проворчала:

— Папа, еще шести нет.

— Подъем!

— Но что случилось, в конце концов? — запротестовала Валери. — Прежде всего выйди отсюда, дай нам одеться.

В эту минуту появился Шарль, он волочил по полу своего мишку Селеста, держа его за лапу. Шарль вцепился в папину ногу и твердил, вторя Валери:

— Что случилось, папа? Что случилось?

Папа тряхнул Шарля, чтобы тот выпустил его штанину, и отвесил ему парочку подзатыльников, пожалуй чересчур сильных; Шарль недоуменно вскинул на него глаза и вдруг завыл, сначала вроде бы нерешительно, потом завопил отчаянно. Папа заткнул уши:

— Да замолчите же вы наконец! Вы что, забыли, что у вас умерла сестра?

Тут вошел Оливье, босой, еще не совсем

проснувшийся; он увидел, что Шарля наказали, уголки его губ опустились, и, желая защитить брата, он сказал:

— А мне плевать, что она умерла.

Мы все затаили дыхание и смотрели на папу. Папа утонул в молчании, руки его бессильно повисли, он заплакал, но теперь совсем беззвучно. Он поцеловал нас, как в те дни, когда особенно любил и называл «миленькие мои».

Анриетта толкнула дверь, застегивая на ходу блузу, которую обычно надевала, чтобы купать Оливье и Шарля; увидев нас, она прижала ладони к лицу и залилась слезами. Папа, слабо улыбаясь, спросил:

— Вы тоже любили Клер, Анриетта?

— Не могу этому поверить, — рыдала Анриетта, — не могу поверить, мсье.

Папа помотал головой, совсем как лошадь. Наконец сказал, не глядя на нас:

— Сегодня утром на пальцах у Клер выступили черные пятна.

Мы бесшумно оделись. Даже Оливье и Шарль не проронили ни слова. За завтраком слышно было только позвякивание чашек о блюдца, потом мы в строгом порядке спустились по лестнице вместе с папой, стараясь шагать совсем неслышно.

Был канун 14 июля. К балконам уже прикрепляли флаги, цветочницы поливали выставленные на тротуаре горшки с цветами, и на пыльном асфальте растекались круглые лужицы.

Для клиники час был еще ранний; вазы с цветами, стоявшие на полу в коридоре, еще не внесли обратно в палаты; монахини в белых ночных одеяниях, беззвучно шевеля губами, дочитывали молитвы, и поэтому не могли с нами поздороваться.

Перед палатой Клер цветов не было. Папа приоткрыл дверь, и мы друг за дружкой протиснулись туда; мама молча поднялась нам навстречу и коснулась плеча каждого из нас, словно пересчитывая. Она не плакала, от нее веяло каменным спокойствием. Она приподняла штору и сказала, что не решается совсем ее отдернуть из-за пятен.

— Взгляни, Жером, еще одно появилось на подбородке.

Мы выстроились вокруг кровати Клер и, стараясь не подать виду, искали глазами пятна. Маленькие круглые пятна. Фиолетовые. А не черные. Оливье и Шарль еще не видели Клер. Оливье оперся о край матраса, стал на цыпочки, широко открыл рот, но не произнес ни слова.

Папа приподнял Шарля, наклонил его над Клер, мама сказала:

— Нет-нет, Жером, он еще слишком мал.

— Я хочу, чтобы он запомнил, — ответил папа.

Шарль, потянувшись руками к лицу Клер, запечатлел на нем слюнявый поцелуй. Папа опустил его на пол; Шарль вздохнул, обвел нас взглядом, снова повернулся к Клер и, ухватившись за простыню, хотел вскарабкаться на постель.

— Не трогай, детка, — сказал папа.

Клер уже застыла, закаменела, это было заметно. Папа подтолкнул Оливье:

— Хочешь поцеловать Клер?

Оливье быстро-быстро замотал головой и попятился к стене.

— Поцелуйте Клер, — раздраженно сказал папа, — все поцелуйте.

Мы не могли. Клер медленно погружалась на дно, к центру земли. Лицо ее поблекло, как отцветшие цветы, которые вот-вот осыплются. Мы боялись Клер. Папа настаивал:

— В последний раз.

Он притянул Валери за шею, она упиралась.

— Как? Ты не хочешь?

Валери сказала:

— Да нет, конечно, хочу.

Но не сдвинулась с места. Мама словно вдруг очнулась, она спокойно сказала:

— Оставь их, Жером, они правы, это негигиенично.

Мама вечно воюет с микробами. Стоит кому-нибудь из посторонних поговорить в нашем доме по телефону, она, едва дождавшись, когда положат трубку, тут же протирает аппарат ватой, смоченной одеколоном.

Мы, ничего не понимая, взглянули на маму. А потом, конечно, сразу вспомнили все эти истории, которые любят рассказывать, о могильных червях и прочем, и бросились к Клер, мы крепко целовали ее, так крепко. «Клер, умоляю тебя, не сгнивай никогда». И мы принялись вопить — словно таким способом еще можно было удержать Клер, вернуть Клер. Сразу же появилась монашенка:

— Пожалуйста, потише, вас слышно в том конце коридора!

Около полудня монашенка объяснила:

— Все дело в этой жаре. Если вы будете ждать дольше, у вас могут быть неприятности.

Она откинула назад монашеское покрывало, заколов его булавкой, на лбу и на носу у нее блестели капельки пота, выглядела она совсем

нестарой. Она взяла блюдце с водой, веточку букса и две свечи, я помогла ей вынести все это в коридор; там я спросила:

— А лилии оставите?

Она ответила, что лилии брали из соседней палаты. Она ходила быстрыми шагами, и ее кожаные туфли поскрипывали.

Когда мне делали операцию аппендицита, меня положили на каталку, покрытую белой простыней, повезли по коридорам, а я смеялась и твердила: «Быстрей, еще быстрей», и у меня кружилась голова.

Так же поступили они и с Клер. Два санитара привезли в палату каталку и поставили рядом с кроватью. Они приподняли Клер за плечи и за ноги — тело ее не прогнулось посредине, оно оставалось прямым, точно ствол дерева, — и опустили его на каталку.

Мы отошли в глубь палаты, уступив место каталке, папа с мамой стояли впереди, заслоняя от нас кровать. Папа обеими руками поддерживал маму, а мама сказала:

— Поосторожнее, ох, да поосторожнее… — когда перекладывали Клер.

Монашенка хлопотала, снимала с матраса простыню, расстегивала пуговицы на наволочке;

она шепнула, не переставая сноровисто двигать пальцами:

— Не держитесь все вместе, а то получится настоящая процессия.

Мы ничего не ответили. Мама склонилась над Клер в головах каталки, лицо у нее было совсем такое, какое бывает, когда мы болеем и она говорит нам: «Усни, мама тут, с тобой, твоя боль перейдет к маме».

И правда. Просыпаешься окрепшей, а мама словно и не пошевельнулась, ты по-прежнему прижимаешь ее руку к сердцу. А у нее уже припасен для тебя сюрприз: то ли абрикосы, то ли куколка, наряженная сиделкой. Мама погладила Клер по щеке, прежде чем монахиня натянула на ее лицо простыню. Папа подхватил на руки Шарля, который ходит слишком медленно, и мы вышли в коридор. Впереди вприпрыжку спешила монашенка, подметая подолом плитки пола; другие сестры, прижавшись к степе, крестились, когда мы проходили мимо. Каталку поместили в лифт, а мы стали спускаться вниз по лестнице, все, кроме мамы, — она по-прежнему крепко сжимала железную ручку каталки.

Мы вышли в сад. Солнце уже высоко поднялось над цветником, и нельзя было различить, какое

небо: голубое или белое, ветер приносил с собой запахи песка и нагретого асфальта. Каталка с трудом продвигалась по гравию, Клер подбрасывало на ней, и мама положила ладонь на сложенные руки Клер, в том месте, где под простыней отчетливо выступал холмик. Оливье ныл:

— Мама, у меня во рту пересохло, пить хочу.

Мама едва слышно проговорила:

— Сейчас, сейчас.

Мы остановились перед небольшим одноэтажным домиком, стоявшим в стороне. Нас уже ждали люди в черном, в полосатых брюках. Они обнажили головы и знаком велели продвинуть каталку дальше — так загоняют в гараж машину. Внутри было свежо и хорошо пахло. И кругом было множество всяких цветов — гладиолусы, анютины глазки, лилии, розы, маргаритки и еще букеты, венки из одних только белых цветов, лежавших даже на черно-белых плитах пола. Соломенные стулья выстроились вдоль стен, как в ризнице. Ален был уже здесь, он встал, держась очень прямо, скрестив руки на втянутом животе, словно старался сдержать икоту. Он взглянул на каталку, потянулся было к Клер, потом закрыл глаза. Распахнулись двустворчатые двери, и мы увидели яркую, выкрашенную в зеленый цвет

комнату и на помосте — гроб. Клер вовсе не была такой большой. Мы сразу догадались, что это гроб, какая-то совсем новая мебель, вроде буфета из «Галери Барбес». Валери моргнула и выдавила из глаз две слезинки, блеснувшие у нее на щеках. Санитары втолкнули папу, маму и Алена в комнату и захлопнули дверь у нас перед носом.

Мы стояли, прислушиваясь к тому, что происходило за дверью: вот зашуршали простыни, заскрипела каталка, скрежет колес о камень, шумное дыхание людей, несущих какую-то тяжесть и чей-то голос:

— Осторожно… Хоп!

Шарль сосал большой палец. Вышли санитары с пустой каталкой, они кивнули нам на прощание и на цыпочках удалились.

В дверях появился папа, дрожавший всем телом, он велел нам войти. Мама стояла к нам спиной, и, когда папа дотронулся до ее плеча, чтобы обратить на нас внимание, она рывком высвободилась, даже не обернувшись к нам. Ален удерживал дыхание, он тоже на нас не взглянул.

Никто теперь не мог поцеловать Клер. Обтянутые крепом стенки помоста были слишком высоки. Не знаю, кто позаботился о Клер, люди в черном или санитары, только она опять

стала прежней. Убрали вату, окутывавшую ее голову, волосы снова падали свободно, на ней было белое подвенечное платье. Надо было бы запретить смотреть на эту притворно уснувшую Клер, заключенную в атласный футляр, как в чрево кита.

Я думаю, перед умершим всегда чувствуешь себя дурак дураком. Прощай, Клер, прощай твой последний земной облик, как выражается папа. Уходи от нас поскорее, уходи подальше — ведь то, что ты еще здесь, уже ничему не поможет. Уходи, пока нам не стало стыдно.

Люди в черном попросили у папы разрешения действовать, папа склонил голову, они подняли крышку, хорошенько пригнали ее к гробу, достали из сумки горелку, один из них надел прозрачную маску. И они запаяли Клер.

Едва вылетели первые голубые искорки, мама сразу же увела нас на улицу. Выйдя на солнце, она провела по волосам гребенкой — волосы у нее были коротко подстриженные, каштановые и белокурые вперемежку, — взяла Оливье и Шарля за руки и сказала:

— А сейчас мы с вами вкусно позавтракаем, ладно?

Клер пошла с нами. Она догнала нас в обсажен-

ной кустарником аллее. На ней была шелковая желтая кофта с большим вырезом, широкие черные расклешенные книзу брюки, золотистые итальянские босоножки. Волосы ее струились по плечам, она ступала по гравию совершенно бесшумно. Солнце завладело миром. Я вдохнула так глубоко, что оно осветило до дна мои легкие, две темно-рубиновые пещеры, и сделала несколько па. Валери ущипнула меня с вывертом, шепнув:

— Ты что, с ума сошла?

От жары нас бросало в дрожь. Голова гудела от этого белесого солнца, обрушившегося на нас, едва мы вышли из домика, где осталась Клер. Папа шагал, закрыв лицо ладонями, точь-в-точь Адам, изгнанный из земного рая, каким он изображен в книге по Священной истории. Я уже пробовала: сквозь пальцы все отлично видно. К нам приблизились родители Алена… пожилой господин с трудом подкатил свою жену, колеса глубоко врезались в гравий.

Старая дама до того толстая, что уже никогда больше не сможет ходить. Она так и живет в кресле с велосипедной передачей, его можно вкатывать даже по лестнице. Когда ей делается скучно, она стучит палкой об пол и ей подают наверх бутерброды с паштетом из гусиной пе-

ченки.

Она утверждает, что в свое время у нее была такая тонкая талия, что даже Клер не влезла бы в ее корсет новобрачной. Из глаз ее катились голубые слезы. Она непременно хотела нас поцеловать, и пожилой господин тоже. Мама обычно против этого возражает: на губе у него какая-то болячка, как знать, не рак ли это.

Они сказали нам, что очень любили Клер. Называли ее «ваша бедненькая сестричка». Они высказали предположение, что мы, должно быть, очень несчастны. Особенно мама. Пожилой господин похлопал маму по плечу и, повернувшись к папе, намекнул ему, что существует все-таки нечто еще худшее, чем потерять свое дитя: потерять мужа. Старая дама запротестовала, она сказала:

— О нет, что ты, Фернан.

Отец Алена прижал рукой дужку очков, чтобы лучше разглядеть свою супругу. Среди наступившего молчания мы услышали птиц, они пели гораздо громче обычного. Мама потянулась к папе, чтобы взять его под руку. И Клер прошла между ними. Папа шагал с таким видом, будто все происходившее было ненастоящим, в глазах у него стояли слезы. Мать Алена вытянула шею в

мамину сторону и выдохнула:

— К счастью, у вас, Вероника, осталось еще четверо.

— Умоляю вас, — устало проговорила мама.

Если волосы у Клер темно-рыжие, а полные губы уже не открывают верхний ряд зубов, то это потому, что я смотрю на нее.

Завтрак вовсе не был вкусным, как пообещала мама: лапша, все та же лапша, которую нам дают в сентябре, когда мы возвращаемся под дождем, распространяя вокруг запах промокших учебников. Мама заставила Оливье и Шарля выкупаться и облачиться в пижамы. Прямо среди дня, ну и ну. Завтракали мы за не покрытым скатертью столом, это тоже было впервые.

Прижавшись лбом к столу, я изображала лошадь, которую вот-вот сразит револьверный выстрел; Валери проговорила:

— Ох! Да перестань ты строить из себя неизвестно что.

И внезапно она начала рыдать. Казалось, звуки вырывались у нее прямо из живота. Мама посмотрела на нас. Ей, верно, хотелось нас любить, но никто сейчас не осмелился бы приставать к ней, да, впрочем, вряд ли она даже слышала хныканье Валери. И папа тоже о нас забыл, он жевал сухое

печенье, макая его в апельсиновый джем, как в дни, когда у него бывало несварение желудка. Обычно в таких случаях мама ему говорила:

— Ну вот, ты начинаешь уже копировать своего бедного отца.

Дедушка всем нам предпочитал Клер. Он всегда брал ее с собой, когда ездил лечиться в Шатель-гийон, и она играла там в рулетку в казино, и он подарил ей изумрудные серьги бабушки номер один. Он говорил Клер:

— Пока тебе нет восемнадцати, можешь садиться ко мне на колени.

И даже когда ей исполнилось восемнадцать, он продолжал говорить «пока тебе нет восемнадцати». Дедушке не дарована была радость испытать эту боль, он уже умер. Я помню все очень хорошо, потому что это был день моего рождения и я не получила подарка. Дедушка лежал, вернее, полусидел в постели и дышал при помощи свистящей резиновой груши. Мама отослала нас с Анриеттой в Булонский лес, а когда мы вернулись, он уже был мертв. Словом, так нам сказали, и тетя Ребекка увезла нас за город, и мы каждый день ели жареную картошку, пока не приехала мама и не заставила всех нас, Оливье, Шарля и меня, выпить по ложке касторки. Она поставила

в уборной два ночных горшка, а я восседала «на троне», как выражается Анриетта, и мы втроем все утро развлекались, стараясь произвести как можно больше шума, ну, в общем, состязались, кто лучше всех сумеет подражать дедушке. Мы с Оливье придумали, как называть дедушку, чтобы никто не догадался: Помпон II — когда-то у нас жил кот с таким именем, у которого, как и у дедушки, тоже вечно бывали колики.

А потом по большой красной лестнице, где окна доходили до самого потолка, вереницей потянулись люди. Облаченные в черное, они по очереди звонили у двери, и шепот их траурных голосов отдавался эхом, точно в пустом доме.

После завтрака мама заболела. Она соорудила себе нечто вроде саркофага, улеглась на большую папину кровать, возвела глаза к потолку. Когда папа касался рукой ее ног, она, вздрогнув, вскрикивала:

— Что случилось?

Люди интересовались маминым недугом, хотели ее видеть, застывали на миг на пороге спальни, прислонившись к дверному косяку, глядели на нее, качая головой, и удалялись, поскрипывая туфлями. Они шли и скрипели вдоль всего коридора, бросая вокруг себя насторожен-

ные взгляды, словно дорога была полна ловушек. Нормальным голосом они начинали говорить только в папином кабинете.

Я усаживалась напротив, по-моему торжественно серьезная, и ожидала их вопросов. Желая хоть чем-то быть полезной, бабушка Картэ заперла Оливье и Шарля в столовой. Она вязала, раскачиваясь, волосы ее из-за шафрановых занавесей розовато пенились. Под столом Оливье с Шарлем изображали грузовик, но совсем тихонько, словно у него было всего две скорости. Не знаю, чего мы ждали. Все равно чего, может, напева дудочки в тростинке. Горя мы уже не испытывали, но наши жесты, наши слова сковывала какая-то осторожность, предписывавшая нам молчание, тайну.

Мадам Эмбер или мадам Сарт — а за их спиной стояли мужья и незамужние дочки — из деликатности еле нажимали на звонок. Я бежала в переднюю, чтобы первой оказаться у двери, потом медленно открывала ее и смотрела им прямо в глаза. Дамы говорили:

— Бедная девочка…

Но я отступала, прежде чем они успевали коснуться моей щеки или подбородка. Я вела их в папин кабинет, даме предлагала расположить-

ся в плюшевом, пропахшем пылью кресле, все прочие тоже рассаживались, сложив на коленях руки, на хлипких стульях стиля ампир, на которых можно сидеть только очень прямо. Сама я садилась под портретами-близнецами маршала Петэна и генерала де Голля; мое платье в зеленую и розовую полоску казалось чересчур ярким, а торчавшие из-под него ноги — чересчур голыми. Я все еще никак не могла взять в толк, что на нас обрушилось страшное несчастье и люди являлись к нам выразить свое сочувствие, надеясь, что и мы ответим им тем же, когда настанет их черед страдать.

Говорят, кожа у прокаженных утрачивает чувствительность и они не замечают ожога, даже не догадываются о нем, пока не увидят собственными глазами — только тогда они и узнают, что обгорели.

Боюсь, что я тоже прокаженная: я никогда не страдаю. Порой меня это даже беспокоит, и я царапаю бритвой ляжки. Гляжу на длинные красные полосы, скрытые юбкой, и немного горжусь. Однажды мама заметила мои царапины, когда я с размаху села на стул. Она с каким-то волнением поцеловала меня, и я слышала, как она рассказывала бабушке, что я умерщвляю плоть. Я никак не

могу понять, что уж такого серьезного в смерти Клер. Ее нет с нами, но ведь это часто случалось.

Являвшиеся к нам с визитом люди не скрывали своего разочарования оттого, что их встречала только я, а не какой-нибудь более взрослый представитель нашего осиротевшего семейства. Тем не менее я вызывала у них известный интерес, потому что они меня совсем не знали: все эти годы я жила в пансионе. Я выглядела недостаточно печальной, они смотрели на меня с осуждением — на мои чересчур голые ноги, чересчур яркое платье, — может стоило меня пожурить. Им непременно хотелось видеть папу. Папа был занят с агентами похоронного бюро. А мама? Я вела их взглянуть на лежавшую маму. Они спрашивали меня:

— А где ваша бедняжка сестра?

Валери ездила по разным поручениям, связанным с похоронами. А раз так, они желали выслушать рассказ о том, как умерла Клер.

Мы помним все назубок. В воскресенье утром Клер отправилась к своим друзьям. К каким друзьям? Я не знаю друзей Клер. Известно, что она была одна, это подтвердили свидетели. Она ехала на велосипеде по дорожке, по дорожке, обсаженной кустами боярышника, отпустив руль. Когда

Клер едет на велосипеде, она всегда отпускает руль. Она сказала кому-то «здравствуй». И много-много раз сказала «прощай».

Она довольно быстро, по словам свидетелей, достигла перекрестка, где начинается автострада. С соседней дороги подъехала, не притормозив, еще невидимая машина, которой предстояло ее задавить. И тут человек, сидевший за рулем, заметил Клер, так он сказал жандармам. Это был свиноторговец, ну, словом, агент по продаже свиней.

— Свиней? — переспросила мадам Сарт. — Какой ужас!

Он видел, как Клер, описав широкий полукруг, пересекала площадь. Сначала он решил было объехать Клер слева, как это предписывают правила уличного движения. Потом счел более благоразумным свернуть вправо, чтобы дать Клер время добраться до обочины дороги. В эту минуту Клер тоже его увидела. Она заметалась. Вправо. Влево. Они находились еще далеко друг от друга, но почти что напротив. Опасности вроде бы не было, стояла прекрасная погода. Этот перекресток такой широкий, точно церковная площадь. Они были совсем одни: Клер на велосипеде и свиноторговец на своем «шевроле» в 40

лошадиных сил. Свидетели рассказывали, что они все время вроде бы искали друг друга, зигзагами двигались навстречу. Так сталкиваются на тротуаре двое прохожих, пытаясь разминуться.

Левое крыло машины ударило Клер. Она перелетела через капот, упала и расшиблась. И велосипед тоже.

— Ну а потом, потом? — допытывалась мадам Эмбер.

Я сочиняла. Клер совсем не было больно. Она только удивилась, что лежит на земле. И даже, робко улыбаясь, обратилась к свиноторговцу:

— Кажется, у меня ничего не сломано, я просто испугалась.

Но она не могла пошевельнуть головой. Это и понятное у нее был разбит затылок. Поэтому-то она не видела, что лежит в крови, что натекла целая лужа крови из-под спины, из-под сломанной ноги. Свиноторговец наклонился над ней, красный как рак, он вытирал пот со лба, а когда говорил, в уголках его рта вскипали белые пузырьки. Сбежались люди, сидевшие на террасе кафе, и свиноторговец сказал им:

— Вот так история, да, вот так история, это мне дорого обойдется.

Клер пожаловалась, что у нее болит голова.

Свиноторговец сказал:

— Ее вроде бы здорово задело.

Он осмотрел левое переднее крыло своей машины, краска там лишь слегка облупилась. Тем временем взгляд Клер стал тускнеть, и никто на свете не знает, о чем она думала. Кроме меня.

Вначале она падала навзничь на прохладную, мягкую как пух лестницу. Когда падение завершилось, она, покоясь в ласковом забытьи, поняла, что умирает. Она немножко поплакала, как дети, когда их запрут в темной комнате, хотя на самом-то деле они не испытывают страха. Ей было жалко себя, жалко родителей, но не нас: она прекрасно знала, что в юные годы братья и сестры не так уж сильно любят друг друга. А об Алене она и вовсе не думала. Ей было жалко неба и солнечных лучей, которые оно ей посылало, но очень скоро она примирилась с тем, что умирает.

Мадам Эмбер заплакала. Она плакала по-настоящему, а не из вежливости, она встала, обняла меня, и я догадалась, что печаль есть начало любви к тому, что тебе неведомо.

А потом мне надоело рассказывать всем о Клер. Я не пожелала больше выходить в переднюю, когда звонили у двери. Бабушка сказала:

— Что же ты, милочка, кажется, тебя это так развлекало?

Оливье и Шарль ползали на четвереньках под столом, они больше ни во что не играли, а заглядывали бабушке под юбки.

Мы услышали, как папа повернул ключ в замочной скважине, и бросились к нему, чтобы удрать от бабушки. Теперь папа был весь в черном и казался каким-то непохожим на себя. Он поцеловал нас, уколов небритой щекой, посадил на одну руку Оливье, на другую Шарля и относ их к маме в постель. Мама, не открывая глаз, прижала обоих к себе. Шарль припал к маме и стал сосать свой большой палец. Бабушка вошла в спальню вслед за папой, она хотела забрать Оливье с Шарлем. Бабушка просто не в силах оставить нас в покое. Стоит сесть в какое-нибудь кресло, даже если рядом стоят еще четыре свободных, как она тут же говорит:

— Может, ты встанешь и уступишь место своей бабушке?

Клер встряхивает головой, и волосы ее пляшут, точно змеи. В загородном доме она вылезает на крышу через чердачное окошко. Она разгуливает по гребню крыши, раскинув руки точно крылья, и зовет:

— Бабушка… У-у-у…

Бабушка выходила на лужайку перед домом, ей с трудом удавалось поднять голову, чуть не вывернув себе шею.

— Сделай милость, спускайся немедленно. Немедленно, слышишь?

Клер смеется, ей вторит эхо. Бабушка сердилась:

— Эти забавы кончатся тем, что ты разобьешься.

Клер отвечает, что ей это все равно. Бабушка пожимала плечами:

— Ну и многого же ты достигнешь, когда умрешь.

— Большего, чем ты, — говорит Клер.

День отступал все дальше и дальше, как свет, когда смотришь сквозь воронку. Вечером мы устроили генеральную репетицию, без Клер. То есть у нас собрались все персонажи последних дней: Ален, его отец и мать, наша бабушка и еще все мы, кроме Клер, разумеется. Все были в приготовленной для траурной церемонии одежде, даже на мне было черное платье. Я вовсе не хочу проявлять неуважение к памяти Клер, но я была довольна. Издали я казалась себе молодой девушкой. Я мрачно разглядывала себя в больших

зеркалах передней, и Ален сказал:

— Теперь ты, пожалуй, сможешь выезжать на балы в будущем году.

Валери скорчила гримасу:

— Эта дуреха оттопчет ноги своим кавалерам.

Ален погладил меня по щеке.

— Молодые люди будут приглашать ее не ради собственных ног.

Я взяла руку Алена, обвила ею свои плечи, прижалась к нему, и так мы стояли и смотрели на Валери, пока она не ушла. Потом Ален присел передо мной на корточки, держа меня на расстоянии вытянутых рук, я видела его веснушки, его ласковые глаза. Сердце стучало у меня в висках, Клер была здесь, совсем рядом, но, как в легендах, нельзя было обернуться, не то она исчезнет.

— Знаешь, — сказал Ален, — ты на нее похожа.

— Нет, что ты! — воскликнула я с надеждой.

Ален дотрагивался пальцем до моего лица:

— Брови, лоб, нос…

— Ноги, — поспешно добавила я, — ноги и руки.

— А там, — сказал Ален, коснувшись моего лба, — что же там будет скрыто?

Я ответила вовсе не нарочно:

— Мертвая девушка.

Мне стало ужасно неприятно. Но Ален притянул меня к себе и все повторял:

— Тс-сс, тс-сс.

Я спросила его:

— Ты еще любишь Клер, Ален?

— Конечно, — сказал Ален, — конечно, ты забудешь, как и все мы забудем.

— А ты все-таки женишься потом?

— Послушай-ка, — сказал Ален, — сейчас мы все так потрясены.

Я пожала плечами. Меня раздражает, что они превращают смерть в какую-то трагедию. Я потащила Алена к себе в комнату, чтобы открыть ему один секрет, о котором никто не знает, показать ему своих вьетнамских солдат. Я вырезала их из «Пари-Матч», у меня их одиннадцать штук, они покоятся в самых различных позах, лица их залиты кровью. Ален сразу же взял тон старшего брата:

— Нехорошо быть такой извращенной, играла бы ты лучше в куклы.

Я объяснила ему, что мои солдаты гораздо лучше кукол. Это живые мертвецы. Как Клер.

За обедом царил дух набожности. Начала, конечно, бабушка. Она уткнулась носом в тарелку с грибным супом и зашептала:

— Господь, взглянув на нее, возлюбил ее и сказал: «Прииди».

Бывшие будущие свекор и свекровь Клер вежливо отозвались:

— Аминь.

Опять было неловко за маму — она без конца улыбалась. Губы у нее распухли, говорила она только глазами, я хочу сказать, что она предлагала блюда беззвучно, но ясно было, что ей казалось, будто она произносит слова. Поэтому мы, чтобы не выводить ее из оцепенения, тихонько отвечали: «Большое спасибо». Папа ничего не ел. Он сидел, согнувшись над тарелкой, вперив взгляд в солонку. Внезапно он стал напевать: «У меня красные сабо, любовь моя, прости, навек прости и не грусти», песенку, которую иногда мурлыкала Клер. Потом он взглянул на нас, но нас не увидел и умолк. Мы просто не знали, куда деваться. Оливье колотил ногами снизу по столу, торчал только его уродливый бритый череп. Валери бросала на него грозные взгляды, но не смела показать, что злится, ей хотелось произвести хорошее впечатление на Алена. Старая дама и бабушка рассказывали друг другу, как они молились все эти дни об искуплении грехов Клер.

— Но она в этом не нуждается, — заключила

бабушка, — она ангел из ангелов.

За жарким бабушка добилась от мамы обещания, что Анриетта не будет присутствовать на похоронах — ведь она наверняка станет плакать в голос, и люди, чего доброго, подумают, что она член семьи. Небо между шафрановыми занавесями казалось фиолетовым.

— Завтра, — сказал пожилой господин, — на небе будет праздник в честь Клер.

Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы не было рая, чтобы молитвы были всего лишь шуткой, и избавь нас от других, когда мы мертвы.

Пока мы ели сыр, шло разрушение Клер, запаянной свинцом в ящике без воздуха, и подбородок ее образовывал все более и более острый угол с шеей, пока затылок не оказался наконец соединен с позвонками хребта лишь ломаной, хотя еще заметной линией.

По анатомии я иду первая. Скелет, эту целостную картину нашего тела, я предпочитаю пышному цветению нашей плоти. Своим вьетнамским солдатам я дала благородные имена, они зовутся Трицепс, Абдуктор, Кифоз, Ганглий, точно какие-нибудь римские императоры. Клер начала свое путешествие с такой удивительной легкостью. Позже, когда мы станем одного воз-

раста, я узнаю ее тайны.

Я никогда не плачу, это нетрудно, надо только поджать в туфлях пальцы ног. Рокфор я есть не стала, оттого что там могут быть черви. Мамин взгляд заблестел, словно душу ее переполняла радость.

— Клер, — сказала она, — в шесть лет просто набросилась на камамбер.

Ну так и есть. Для мамы Клер вновь стала маленькой девочкой, у которой выпал первый молочный зуб и которая прячет его под подушку, чтобы мышь-волшебница превратила его в подарок. Еще немного времени, и для мамы будет Клер будет лишь вторым рожденным ею на свет младенцем, а еще немного — и мама предпочтет быть беременной Клер и лелеять надежды, долгие, как сама жизнь. Мама говорит, что она счастливей всего, когда держит на руках младенца. Вся беда в том, что, подрастая, мы становимся для нее довольно обременительным грузом и ей приходится опускать нас на землю.

Завтра маме предстоит опустить в землю Клер.

Папа любит нас всех скопом, а не по отдельности. Для него мы — единый ребенок, разделенный на четыре части, и еще Клер. Поэтому в то утро, когда должны были состояться похороны Клер,

он не обращал на нас внимания, только рассердился на Валери, которая взяла его бритву, чтобы побрить себе ноги. Он был готов гораздо раньше, чем нужно, и все оставшееся время закрывал в квартире ставни, задвигал шпингалеты на окнах, задернутых шторами, выключил также электрический и газовый счетчики, словно мы уезжали надолго.

На папе был фрак, в котором он должен был вести Клер к алтарю, серый галстук заколот жемчужной булавкой. Он порезал подбородок, когда брился, и мама залепила ранку пластырем, пообещав спять его, прежде чем мы войдем в клинику.

Мама была прекрасна. Она была совсем не похожа на нашу обычную маму. Под черной прозрачной вуалью она казалась очень высокой, а лицо ее было подобно цветку, глаза — два синих неподвижных лепестка, ярко рдеющий лепесток рта. Нам нельзя было ее поцеловать. Прежде чем выйти, она устроила нам смотр в передней. Обувь у всех блестела. Оливье обрядили в брюки для конфирмации, а на рубашку нацепили черную ленточку. Шарль тихонько хныкал, потому что был в белых штанишках на лямках, а ему хотелось надеть такие же брюки, как у Оливье, но

мама сказала, что у китайцев белый цвет — траурный, и он успокоился.

Не знаю, как бы это выразить, но в то утро мы не были единой семьей, мы не могли ни разговаривать между собой, ни прикасаться друг к другу.

Под аркой дома выстроились консьержки и торговцы нашего квартала, чтобы поглядеть на нас вблизи. Парадный подъезд был задрапирован черным, на фронтоне выделялись наши инициалы, и мне сделалось стыдно, словно наш дом отметили каким-то позорным клеймом. Папа и мама отправились первыми вместе с бабушкой, которая уже сидела в машине, тщательно обряженная Анриеттой, черные перья на ее шляпе торчали очень прямо, и все было в полном порядке. Мы следовали за ними в машине тети Ребекки, яркой, веселой машине, где вечно валялись бумажки от конфет и на сиденьях были разбросаны журналы. На шоссе она спросила нас, не забыли ли мы сходить по маленькому, потому что церемония будет долгой. И еще она угощала нас рогаликами — она почему-то решила, будто мы выехали на пустой желудок, — но мы боялись жирных крошек. Прижавшись носом к стеклу, мы разглядывали поля, засеянные овсом, четкие очертания самолетов, все это находилось

на довольно большом от нас расстоянии. Нас немножко знобило, хотя жара усиливалась, а когда мы зевали, слезы застилали пейзаж.

У подножия холма, на котором была расположена клиника, уже стояло столько машин, что дальнейший путь нам пришлось проделать пешком.

— Чтобы похороны прошли удачно, должно светить солнце, — сказала тетя Ребекка, — и в романах, и в жизни. Когда идет дождь, людям неохота себя утруждать.

Она раскланивалась направо и налево, благодарила своих друзей. Всем хотелось на нас взглянуть, но мы торопились отыскать папу и маму и шли быстро, с опущенными головами.

Вот наконец и наши дорогие родители, они держались за руки, мы выстроились позади них, и тут прибыл катафалк: белый катафалк, в который были впряжены четыре лошади — три белые и одна черная. Зажав рукой готовый сорваться с губ стон, мама сказала:

— Нет, Жером, не надо черной, это невозможно.

Папа повел переговоры с красавцами кучерами, они долго качали головой, но в конце концов один из них зашел в пристройку, куда дня три

назад запрятали Клер. Он вернулся оттуда с попоной. И черная лошадь стала белой.

— Теперь хорошо, — кивнула мама.

Она обернулась к нам, сказала:

— Я вас люблю, люблю, люблю.

И хотя мы не сдвинулись с места, все мы бросились к ней, мечтая стать детенышами кенгуру, забившимися в материнскую сумку, но мы не произнесли ни слова, потому что поклялись все, даже Шарль, держаться прилично. Об этом мама просила нас накануне ночью, подтыкая одеяла. Она вообще предпочла бы, чтобы мы и вовсе не ездили на похороны и только по временам вспоминали Клер, в дневных играх, в ночных грезах, без печали, без боли. Она говорила нам об этом тихонько, чтобы не слышали посторонние; еще она сказала нам:

— Вы мои чудесные детки, мне так повезло с вами, мне так повезло, что одна из вас уже на небесах.

Потом мы услышали тишину. Мы не замечали этой тишины, пока люди в черном не вынесли гроб Клер. Они водрузили его на катафалк, затем выстроились цепочкой от дверей домика, передавая венки. Лилии, маргаритки, гладиолусы, белые розы. Главное — лилии. Лилии просто

подавляли, из них можно было бы сплести гирлянды для лошадей, а оставшиеся разбросать по земле, чтобы устлать дорогу цветами, как в той истории, когда кричали «Осанна».

Ален в строгом черном костюме в полном одиночестве приблизился к гробу, он нес свои свадебные подарки Клер и водрузил их на самую вершину цветочного холма, потом занял место в наших рядах.

Люди, стоявшие далеко позади, начали потихоньку продвигаться вперед, мы знали это, даже не оборачиваясь, потому что звук шагов менялся, когда вступали на дорожку, посыпанную гравием.

И вот эта минута пришла. Церковный сторож разделил нас — папу, Оливье, Шарля и Алена поставил впереди, сразу за катафалком; маму, Валери и меня — во второй ряд. Бабушка и старики родители Алена не пошли вместе с нами в этой процессии: папа сказал, что у них ноги не выдержат, и тете Ребекке пришлось везти их на своей машине.

Лошади, вытянув шеи, тронулись с места, и груз цветов дрогнул. Мы шагали словно бы под музыку, медленно-медленно, и все вокруг было очень торжественно: и солнце, и покачивание

катафалка, и белые лошади; и наши сердца бездумно постигали подлинную жизнь. Клер не расшвыряла наваленные на нее цветы, но она зажгла у нас под ногами солнце. Мама права — надо было хохотать, кружиться в хороводе вокруг катафалка, а потом устроить битву цветов, бросая их друг в друга, а когда выглянет крышка гроба, насильно разбудить Клер, и каждый из нас по очереди ложился бы в этот атласный футляр, и мы бы так веселились. Часто, когда все засыпают, мы трое, Оливье, Шарль и я, играем в покойника. «Труп» лежит неподвижно, мы накрываем его простыней и зажигаем по углам постели четыре свечи. А еще одну свечку ставим ему на живот, и, если пламя колеблется, значит, он не по-всамделишному умер, и тогда мы начинаем его мучить — щиплем и царапаем в тех местах, где больнее всего, когда ты живой. Если же он умер совсем как по-настоящему, его нежно целуют, гладят по волосам и приговаривают:

— Как счастлив ты теперь, когда обрел приют. Даруем тебе все на земле, куда ни ступит нога твоя, от бесплодной пустыни до бескрайнего моря в лучах заката.

И сквозь трепещущие веки ясно видно, что покойник доволен.

На вершине холма зазвонили церковные колокола каким-то глиняным звоном, словно звуки долетали из глубины вулкана, и у меня мучительно сладко сжалось сердце, мне даже стало больно от счастья. Катафалк покачивал свою цветочную ношу, лошади чуть пританцовывали, папа держал Оливье и Шарля за руки. Я знала, что мамины губы вздрагивают в улыбке.

Жить, а потом так чудесно умереть, как Клер под этими цветами, лежать под всеми этими цветами. Телеграфные провода поднимались, опускались, деревья вырастали навстречу, прежде чем опрокинуться, вздымались светящиеся столбы дорожной пыли, и правая лошадь радостно вскинула голову и призывно заржала. Я обернулась: под палящим солнцем тянулась почти сплошь черная траурная процессия, по длинной дороге медленно, друг за дружкой ползли машины. Жаль, что пришлось тащить за собой всех этих людей.

Двустворчатые двери были распахнуты в пустоту церкви. Отступать нам было уже некуда. У самых ступенек паперти лошади оставили золотистые кучи навоза. Красавцы кучера снова обнажили головы, раздвинули цветы, и Клер торжественно перенесли к алтарю, и органная

музыка зазвучала, подобно гулу оваций. Мы опустились на колени на почетные молитвенные скамеечки: папа, Оливье, Шарль и Ален — по одну сторону, мама, Валери, я и тетя Ребекка — по другую, и еще бабушка, которая, прихрамывая на ходу, присоединилась к нам на главной аллее.

Певчие отладили серебряную цепь кадильницы, и, когда гул голосов теснившихся между скамьями людей затих, началась кара.

Силою молитв и ладана они замкнули Клер в очерченные ими круги, они заставили музыку воздвигнуться, подобно второму каменному своду, и так громко призывали бога, что у нас мурашки пошли по спине.

Бабушка сказала, что мы слишком разогрелись на солнце и непременно схватим в церкви простуду, но, если она и в самом деле вздумает умереть, она все равно опоздала. Я немножко помечтала о том, что под белым покровом вместо Клер лежит бабушка, и мне ужасно захотелось плакать.

Я скосила глаза в сторону, так умеют только лошади: поодаль, над свечами, часто моргала мама, и в ее глазах отражались, суживаясь, крошечные язычки пламени. Бабушка молилась на четках, она всегда перебирает их, читая молитвы, не

выпускает из рук во время мессы, а мессу отстаивает у себя в спальне. Оливье и Шарль держались потрясающе прилично, у них, верно, здорово затекла шея. Валери принимала томный вид, как в те минуты, когда считала себя красивой, и закусывала щеки изнутри, чтобы появились интересные ямочки. Валери нас всех ненавидит. Она спрятала первое вечернее платье Клер у себя под матрасом, и Клер не смогла в первый раз выйти с Аленом, а она кричала: «Это несправедливо, несправедливо!» — и даже выбежала без пальто на улицу, судорожно всхлипывая, и мама поймала ее на тротуаре и залепила ей пощечину, чтобы она вернулась домой. А теперь Клер снесли с катафалка, и левая лошадь с опухолями на ногах величественно склонила голову, а правая, весело потряхивая гривой, призывно ржала.

Сейчас, будь я молодым человеком, я сказала бы Клер:

— Отныне ты стала совсем бледной, и я тебя люблю.

И Клер вышла бы из тьмы, предстала бы Владычицей небесной, живым Иерусалимом, красой Израиля, надеждой в ночи, чтобы каждое унылое утро, каждый тоскливый вечер мы, не уставая, твердили, как мы счастливы и как завидна наша

участь. Вот о чем поведал нам каноник Майяр. Он велел преклонить колени, и мы молились о Клер, заставившей нас страдать.

Ее окропили со всех четырех сторон и превратили в труп. Другого объяснения нет. Каноник велел еще раз возблагодарить бога за благо, которое тот нам ниспослал, вежливо умолчав о зле, от которого он нас не охранил.

Большие хоры были еще открыты, и церковный сторож с алебардой провел нас в придел, и люди подходили по очереди, чтобы поздравить нас с тем, что церемония прошла так удачно и что Клер превратилась в твердый белый предмет, заключенный во гробе.

Ален, единственный, смотрел людям прямо в лицо, отзываясь на их сочувственные слова жестами, исполненными покорности судьбе, — и я даже слышала, как он ответил мадам Эмбер, что свершилась воля божия. Валери смотрела на него влажными от слез глазами, словно он обещал вознаградить ее за смерть Клер.

До самого конца мы держались прилично, но несчастье ударило нам в голову, потому что все кругом молились о том, чтобы мы были несчастны. Незачем думать о Клер, которая лежит под белым покровом. Слишком поздно. Слишком

поздно — вот что хотели выразить люди, шептавшие прямо нам в лицо: «Мужайтесь!», насильно целуя нас. Даже Шарль это понял, испугался, стал звать маму. Мама не откликнулась, она не могла, ей нужно было соблюдать приличия; тогда Шарль — хотя он, конечно, прекрасно понимал, что это запрещено, — крикнул:

— Клер, Клер!..

Я пнула его ногой, Валери сказала:

— Замолчи, она скоро вернется.

Просто, чтобы заставить его замолчать. Те, кто стояли поблизости, были взволнованы.

Когда мимо нас прошли последние участники процессии, папа приподнял мамину черную вуаль, сжал руками ее лицо и поцеловал, как в день их свадьбы на той фотографии, где он поднимает ее белую вуаль, а она не сводит взгляда с его губ.

На другом снимке папа и мама стоят, обнявшись, на террасе загородного дома, они смеются, папа внизу подписал: «Вот и второй!». Кажется, мама на этом снимке ждет Клер, но Клер совершенно невидима.

Катафалка не было уже у церковных ступеней, лошади и кучера тоже исчезли. Мы вышли из церкви осиротевшие, даже папа и мама, и под яркими лучами солнца казались такими жал-

кими — это заметно было по лицам стоявших кучками на паперти людей, беседовавших вполголоса о нас.

Гроб и немножко цветов втолкнули в фургон, впереди еще посадили папу с мамой, захлопнули дверцы и тронулись в путь. За ними следовал Ален со стариками родителями. Бедная толстая дама все это время просидела в машине, потому что ее кресло не привезли, но ей оставили пакет печенья, и она, не переставая, грызла его.

Мы поехали с тетей Ребеккой, а следом потянулось множество других машин. И мы двинулись длинной процессией за Клер куда-то еще, мы не знали куда, где были похоронены старшие члены нашей семьи, два наших дедушки и бабушка номер один.

Кажется, чтобы освободить место для Клер, пришлось переселить бабушку в могилу к дедушке. От нашей юной бабушки уцелело только вышедшее из моды голубое платье в складку, в которое ее обрядили, когда родился папа и когда она умерла. На свежем воздухе оно рассыпалось в прах, и рядом с дедушкой положили горстку воспоминаний, да маленькую челюсть. Папа при нас рассказывал об этом маме. Тем лучше для Клер, тем лучше, раз можно питать надежду, что

мы и впрямь становимся только трепетным дуновением, а не существами, навеки заключенными под мрачные своды в каком-нибудь саду.

Обо всем этом я думала, не отрывая глаз от фургона, увозившего втиснутую в ящик Клер. Клер равнодушную и далекую, с тусклыми волосами, свернутыми на затылке, и неподвижно вытянувшимся телом в подвенечном наряде, подпрыгивавшую на дорожных ухабах.

Клер с ее бесполезными ранами. Клер, которую погрузил в неведомое сильный удар в поясницу, перебросивший ее через капот машины. Я зову ее изо всех своих сил сквозь крепко зажмуренные веки:

«Клер, убей меня, я тоже хочу жить так, чтобы вся Вселенная стала по мне, я тоже хочу вырасти и убежать, Клер, Клер…»

И на меня дохнуло ее тепло, на лицо, на обнаженные руки, она тихонько зашевелилась у меня в животе, тетя остановила ехавшую на полной скорости машину, я нагнулась над травой, и горькие, обжигающие потоки хлынули у меня изо рта, и я услышала все, что чуть было не поняла и что невозможно передать во веки веков.

С тех пор всякий раз, когда я слишком много думаю о Клер, у меня начинается рвота. Валери

говорит, что мне остается одно — вечно ходить с половой тряпкой. Просто она завидует, что с ней этого не случается.

После того как мне стало дурно в траве у обочины, мы все испытали облегчение. Тетя Ребекка усадила меня впереди, под острым бабушкиным локтем, и дала затянуться своей сигаретой, чтобы отбить неприятный вкус во рту. Она курит так, словно дышит через сигарету, и хрупкая палочка пепла становится все длиннее, а потом осыпается на ее пуловеры. Машину она ведет точно гонщик, пригнувшись над рулем, рыжие ее волосы треплет ветер, они лезут ей в глаза, а две прекрасные морщинки по бокам рта раздвигают в улыбке губы.

Она чуть было не вышла замуж за человека, который забрал ее ковры и серебро, это все, что мне известно. С тех пор она подбирает на дороге автостоповцев — я слышала, как мама говорила об этом с бабушкой, — и ее никогда не приглашают на приемы, которые устраиваются у нас в доме.

Она повернула ручку настройки приемника, и мы услышали, как рокочут гитары для счастливых людей, для людей, которые могут взять и нацепить на уши поданные на десерт вишни и неторопливо потягивать вино, сидя под оранже-

выми тентами.

— Выключи! — завизжала Валери. — Совсем стыда у тебя нет!

— Не смеши меня, — сказала тетя.

— Послушай, Ребекка, — сказала бабушка, — соблюдай все-таки приличия.

Тетя увеличила скорость и, нажимая на акселератор, обошла вереницу машин, которые обогнали нас, когда мы останавливались на обочине. Проснулись Оливье и Шарль, они на четвереньках перелезли через Валери и принялись во весь голос выкрикивать «пим-пом, пим-пом», заглушая даже гитары; и ветер странствий подхватил и понес нас за фургоном, который мчался своей дорогой среди полей и лугов. Солнце палило по-прежнему, волны зноя заливали гудрон. И мы снова оробели.

— Скорей бы все кончилось, — сказала тетя Ребекка.

Едва она выключила мотор, нам стало страшно. Мы сразу поняли: нам осталось побыть с Клер всего несколько минут, даже если мы не будем спешить.

Гроб вынесли из фургона. Меж оградами могил уже ждал каноник с крестом в руке. Нам не хотелось вылезать из машины. Даже бабушка

молчала. Слышен был стрекот кузнечиков, пахло нагретой травой. Мама подошла к нам обычным своим шагом, вид у всех был озабоченный. Она сказала, что Оливье, Шарль и я останемся в машине. Мы перелезли через бабушку и Валери, выбираясь наружу, и, поглядев на маму, отрицательно мотнули головой. Мама чуть улыбнулась, поцеловала нас и сказала:

— Знаете, это совсем не страшно, мама вам обещает. Согласны?

Шарль повторил за ней своим низким голосом:

— Согласны.

Мама для начала слегка подтолкнула нас, и мы, все трое, не взявшись даже за руки, зашагали за гробом. Каноник высоко поднял серебряный крест, и, хотя мы старались держаться очень прямо, мы стали как будто еще меньше ростом. Нам ужасно хотелось спрятаться за спиной папы и мамы, но они шли позади нас.

Подойдя к маленькому домику-склепу, мы увидели яму, поднятую плиту и рядом кучу земли.

Они опустили эту штуку, этот гроб. И больше я ничего не помню.

Только Шарля, который стал лязгать зубами. Мама поддерживала его челюсть ладонью, а го-

лову уткнула себе в юбку.

Только папу и его лицо, когда он, поднявшись на цыпочки, наклонился над ямой, а по щекам у него ползли крупные слезы, стекавшие к подбородку.

И белые корешки, прорезывающие кучу земли.

И сине-белое небо, тускло-черные одеяния, запах ладана.

И могильщика, вытиравшего лоб платком.

И нашу траурную одежду, в которой становилось все жарче.

И кто-то незнакомый, кто-то невидимый в толпе начал плакать за нас, начал рыдать.

И каноник Майяр замедленными жестами благословил последнее пристанище.

А потом этот мерзкий тип заставил нас петь «Разлука эта не вечна», в то время как гроб, раскачиваясь на веревках, погружался в яму.

А потом Ален обручился со всей нашей семьей.

Он поклялся быть нашим братом, он поклялся, склонившись перед нашими родителями, быть их сыном; и он первый бросил горстку земли на Клер.

Я боюсь каноника. Слишком уж он ласков. Обычно он говорит лишь о нас самих, какими мы станем в будущем, расточая похвалы, которых

мы не заслуживаем. И от этого бывает очень неловко.

Каноник Майяр печется о нашем семействе. Он венчал папу с мамой, он крестил всех нас и все такое прочее. Каждый раз, когда по воскресеньям он является к нам на обед, он без лишних церемоний предлагает всем исповедоваться. Устроившись в папином кабинете под портретами-близнецами маршала Петэна и генерала де Голля, он велит нам стать на колени, лицом к нему. Папа туда никогда не заглядывает. Он пьет «американо» или чинит штепсель, пока мама проходит очередное очищение.

Валери заносит на листочек свои прегрешения, закрываясь локтем, чтобы у нее не списывали. Клер… не знаю уж, что делает Клер. Думаю, учит в кухне танцевать Анриетту и макает палец в шоколадный крем.

Когда приходит очередь Оливье, он отвечает так громко, что его голос доносится даже через закрытую дверь. Бешеным галопом он перечисляет:

— Я нарочно разбил зеркало в передней, стащил у мамы из сумочки деньги…

Так становится известен виновник всех оставшихся нераскрытыми проделок. Он нарочно

придумал такую хитрость, чтобы избежать наказания.

Время от времени каноник ловит меня:

— Теперь наша очередь.

Я отвечаю, что уже исповедовалась в пансионе. Он смотрит на меня, и я не знаю, куда деваться. Он начинает смеяться, и крест подрагивает на его фиолетовой пелерине, которая год от года все больше раздувается; он тычет в меня пальцем и говорит:

— Господь догонит тебя где-нибудь на повороте и превратит в великую святую.

И все потому, что во время крещения я подняла голову и сама открыла рот, чтобы вкусить крупицу премудрости.

С тех пор бог внушал мне сильную тревогу.

Вечером, стоя в дверях, я собираюсь с силами и прыгаю прямо в кровать, чтобы бог не успел схватить меня за пятку; я говорю ему:

— Господи, пожалуйста, забудь обо мне, сделай так, чтобы я не стала великой святой.

Однажды Клер застигла меня за этой молитвой и расхохоталась. Она, к несчастью, не принимает меня всерьез. Ждет, когда я вырасту. Она долго и судорожно потягивается, закладывает волосы за уши, зевает по-кошачьи, обнажая в улыбке два

маленьких острых зуба в глубине рта; говорит:

— Вырастай поскорее, тогда я тебе все расскажу.

А потом уходит, нарочно переплетая ноги в розовых носках, ни разу не споткнувшись. Перед тем как открыть дверь, она оборачивается, бросает смеющийся взгляд через плечо, задевает меня мимоходом, но не ерошит мне волосы, ничего. Не касается меня.

Мы с Клер не целуемся, не пожимаем рук, даже не говорим «здравствуй». Ждем, когда я вырасту. Мы почти не знаем друг друга, потому что я живу в пансионе, а она часто уезжает на каникулы куда-нибудь в горы или к реке, не знаю точно, я никогда не прислушиваюсь, о чем они там разговаривают, мне это еще не интересно.

Встречаясь, мы не разглядываем друг друга. Лишь чуточку наблюдаем одна за другой, изо дня в день, и я замечаю, что у нее маленькие, квадратные уши. И держится она до того прямо, что порой даже выступают тонкие бедренные кости, точно два межевых камушка, ограничивающих крошечное поле живота. А то вдруг она измеряет сантиметром мой нос, потом свой и говорит:

— У нас с тобой самые маленькие носы в семье.

И это еще одно, что связывает нас.

Именно из-за Клер я и попросила отдать меня в пансион несколько лет назад. В пансионе тебя заставляют есть и заниматься гимнастикой, и поэтому быстрее растешь. И еще заставляют трудиться, там редко кто остается на второй год, вот вам и выигрыш во времени, чтобы поскорее со всем этим разделаться.

В июле, когда я вернулась из пансиона, как раз накануне смерти Клер, именно она открыла мне дверь; захлопала длинными ресницами, точно кукла с закрывающимися глазами, и сказала:

— Вот здорово, дружок!

За последний триместр я выросла на четыре сантиметра, но никому не заикнулась об этом, а она вот сразу заметила.

«Вот здорово, дружок», может быть, это был знак. В тот вечер толстобрюхие ночные бабочки сталкивались между собой со стуком, от которого становилось не по себе, врывались, кружась, под красный абажур моей лампы, а я, забравшись с ногами на кровать, в идиотской пижаме с изображениями Пиноккио, я глядела на Клер.

Клер широко распахнула окна; от лип, где ворочаются в листве две совы, старые наши знакомые,

поднимался теплый воздух. Она вытаскивала охапками платья, все свои туалеты, раскладывала их на кровати, брала один за другим и, приложив к себе, смотрела в зеркало, чуть покусывая губу. Потом отбрасывала их и шептала про себя:

— Нет, не то.

Повернулась ко мне:

— Ты не проговоришься, обещаешь, клянешься?

Она достала спрятанный на груди голубой листок телеграммы, поцеловала его; прижала к губам, надкусила, изорвала зубами в мелкие клочки и наконец проглотила всю телеграмму целиком, съела по-настоящему.

Потом клубочком свернулась на своей кровати, как кошечка, и стала напевать:

— Хлоп и бум и тра-ля-ля, гликс, клюкс, флюкс и бум-ля-ля… — и от этих слов она смеялась и плакала. Глядя в потолок, она сказала: — Завтра — день феер-рического счастья. А потом — долгая скучная жизнь с новобрачным. А потом — единственные свидания с вами каждую ночь на Полярной звезде, на кончике хвоста Малой Медведицы.

Я прекрасно поняла, что новобрачный — это Ален, а об остальном ничего не спросила.

А после Клер побросала на пол все новые платья, которые купила ей мама к свадьбе с Аленом, влезла в ночную рубашку; взглянув в зеркало, отдала себе честь и белым языком пламени закружилась по комнате. Совсем задохнувшись, она остановилась передо мной; повторила, прижав руку к сердцу:

— Клянись, что не проговоришься!

Я не ответила. Притворилась, что сплю, натянув на голову простыню, и твердила молитву, которая меня усыпляет: «Господи, пожалуйста, забудь обо мне».

Утром Клер не захотела меня будить. Оделась при закрытых ставнях. Натянула спортивную блузу и джинсы.

Целый час накладывала на лицо косметику. Напевала, как человек, который ждет какого-то события, потом подошла к моей кровати.

— Послушай-ка, ты, не притворяйся, что спишь. Скажешь папе, что я выбрала серебряные ложечки в форме ракушки.

И все. Она не попрощалась, ничего не сказала. Уехала и умерла. Лучше бы она все мне открыла, если это и правда был знак, когда она сказала:

— Вот здорово, дружок!

Из-за того, что я так выросла.

Все воскресные дни за городом похожи как две капли воды. Клер родилась 8 октября. Значит, это было ее девятьсот семьдесят шестое воскресенье, но тогда я еще не сосчитала.

И в этот раз, как всегда, мама обходила все комнаты, открывала и закрывала двери, проводила пальцем по зеркалам, проверяя, нет ли пыли.

Валери загорала, лежа на циновке из рафии; чтобы защитить от солнца свой перекроенный нос, она наклеила на него серебряную бумажку, за каждой щекой у нее было по карамельке, она читала журнал «Эль», всасывая потихонечку сладкую слюну.

На лужайке Оливье с Шарлем ползком осторожно пробирались по африканскому лесу. Они прихватили с собой тигра из столовой, и Анриетта, подметавшая на террасе, крикнула, увидев, что на тигра налипла целая куча веточек и травы:

— У меня небось не четыре руки, чтобы ходить за вами грязь подбирать!

— Конечно, — ответил Оливье, — если бы у тебя было четыре руки, ты взяла бы два веника.

И в этот раз, как всегда, мама звала Клер, искала ее по всему дому, в саду под деревьями, даже на крыше. Засунув руки в карманы кружевного

пеньюара, она сказала папе:

— Уверяю тебя, ее не мешало бы запереть. Опять убежала, никого не предупредив, и это за две недели до свадьбы.

Папа ничего не слышал. Уши у него были еще забиты белой пеной, и он бритвой прокладывал по лицу сложные тропинки.

И в этот раз, как всегда, мадемуазель, сидевшая за фисгармонией, неизменно юная с самого дня нашего рождения, все в том же цветастом платье с плоским корсажем и все с теми же вздернутыми бровями ниточкой, довела, буквально, до одышки инструмент, исполняя «Славься».

И в этот раз, как и всегда, когда мы вышли после мессы, папа купил нам «пустомель» — маленькие печенья, на которых написано: «Я вас люблю» или «Не пойман, не вор».

И в последний раз, когда мы садились за стол, мама все еще злилась на Клер, обещая, что ей дорого обойдется эта выходка.

— Уж можете мне поверить, — сказала мама, строго поглядывая на нас.

А Клер тем временем тайком продвигалась навстречу своей смерти. Она ехала на велосипеде по дорожке, обсаженной кустами боярышника. Когда Клер едет на велосипеде, она всегда отпускает

руль. Она сказала кому-то «здравствуй». И много-много раз сказала «прощай». Свидетели видели это. Она смеялась, темно-рыжие волосы летели у нее за спиной, и солнце звенело в ее смехе. Успела ли она уже договориться о свидании на Полярной звезде? Значит, теперь каждую ночь кто то ждет в полном одиночестве на этой звезде.

Но здесь, в домике-склепе, для Клер отныне было навсегда покончено с Полярной звездой. Здесь ее ждал покой, конец всем горным и речным краям, конец тому смеху, с каким она проглотила голубой листок телеграммы.

— О! Обнимите меня покрепче, поцелуйте покрепче, — сказала нам мама, когда на могилу были брошены последние лопаты земли.

И мы снова прошли, только теперь уже в обратном па-правлении, кладбищенской дорожкой, между двумя живыми изгородями: кустарником и людьми, которые уже говорили обычным своим голосом, перебрасывались фразами:

— Да, ужасно.

— А этот несчастный юноша, как найти для него слова утешения?

— Лучше бы Вероника поплакала, а то она не вынесет.

— Что поделаешь, рано или поздно их должен

был постигнуть удар, как и всех на свете.

— Послушайте, было бы еще хуже, если бы она осталась калекой.

— По-моему, смерть у девочки прекрасная, в мгновение ока, раз — и конец!

— Я от души желаю себе такой смерти.

— Послушайте-ка, поспешим, такси ждет.

Нас вышибло из колеи, мы сбились с пути, растерялись. Папа напоминал человека, разбуженного среди ночи, который вдруг понял, что его кошмары оказались реальностью. Его прекрасный фрак был весь измят, но он, расправив плечи, жестом собственника подтолкнул нас вперед, перед собой, Оливье, Шарля и меня.

Папа часто говорит о нас троих, последышах:

— Моя вторая выпечка.

И краешком глаза улыбается нам. С тех пор как Валери провалила экзамен на бакалавра, папа с ней чрезвычайно любезен. По утрам он спрашивает, хорошо ли она спала. Достает из бумажника и протягивает ей купюру, держа между указательным и большим пальцем, и говорит:

— Не вздумай благодарить.

Если она просит разрешения провести рождественские каникулы в Германии вместе с подругой американкой, он отвечает, не отрывая

усов от чашки кофе с молоком:

— Поговори с мамой.

Мама чуть не целый час держит руку на кофейнике.

— Жером, а что если это друг американец?

Папа пожимает плечами:

— Что прикажешь делать?

— А если она вернется беременной?

— Тогда у нее будет хоть какое-то занятие, — отвечает папа.

Мама хлопает дверью. Если этот стук все же не выводит папу из себя, она снова заводит разговор. Каноник Майяр подбадривает маму: Валери обретет душевный покой в замужестве.

— А что ей еще остается? — ворчит папа.

Вот Клер — это совсем другое дело. Папа надевает серый костюм и галстук жемчужного цвета, подставляет Клер руку калачиком и ведет есть устрицы. Тетя Ребекка говорит:

— Взгляните-ка, до чего счастливы эти мошенники. Наконец-то я вижу прежнего Жерома.

Говорят, до нас папа был настоящим франтом, носил трость с серебряным набалдашником, вечно торчал у «Максима», глаза в глаза с Люлю Диаман, которая пила из ладошки шампанское. Единственным дефектом Люлю Диаман была

маленькая бородавка на среднем пальце левой руки. А потом Люлю Диаман вышла замуж за венецианского банкира, а он заставил ее удалить эту маленькую бородавку. И зимой Люлю Диаман умерла, потому что маленькая бородавка, хотя никто об этом не догадывался, была вроде застежки, которая держала на запоре притаившийся рак.

— Главное, не передавайте маме, что я все это вам рассказываю, — говорит тетя Ребекка.

Маме не по душе, что папа познакомился с тетей Ребеккой раньше, чем с ней. Папа говорит, что маме нечего опасаться — тетя Ребекка нагоняла на него страх. Она хотела внушить папе, что одинока. Что лишена поддержки семьи. Лишена материальной поддержки. Всякой поддержки. Тетя Ребекка покупает шоколадные эклеры, которые мама запрещает нам есть, закуривает новую сигарету, струйка дыма обвивается вокруг ее запястья, и мы просим:

— Расскажи еще.

Это самая наша любимая история, хотя мы знаем ее наизусть.

— Пока ваш папа не сводил глаз с Люлю Диаман, мама ваша подрастала в доме своего молчаливого отца и нервной матушки, вашей теперешней

бабули.

В двенадцать лет мама ездила на собственных лошадях, ее кормили бананами и зеленым горошком, потому что тогда в моде были упитанные дети. Однажды немка-гувернантка оправой от кольца рассекла ей губу за то, что мама не выполнила какого-то приказания, отданного на языке тевтонов. И вот фрейлейн отослали обратно в Германию, а мама так и осталась с раскрытым на коленях непонятым «Вертером».

— Когда Люлю Диаман умерла, ваша мама как раз начала выезжать в Оперу, сидела в ложе своего облаченного во фрак папеньки, который сжигал себе бронхи, вдыхая цемент на стройках, и маменьки, которой стало уже не по летам появляться в декольтированных платьях. А я, — говорит тетя Ребекка, — лучше бы я сломала в тот вечер ногу, я сама привезла в соседнюю ложу вашего папу, безутешного после смерти Люлю Диаман…

Оливье, Шарль и я даже сопим от наслаждения, мы отодвигаем тарелку с шоколадными эклерами и ждем, пока официантка в белом переднике нальет тете Ребекке еще чашечку зеленого чая, от которого пахнет дымком костра, и спрашиваем:

— А потом?

— Потом… — повторяет тетя Ребекка.

Она прихлебывает крошечными глотками дымящийся чай, оставляя следы губной помады по краю чашки, нарочно заставляет нас ждать, и глаза ее из-под сиреневых век смеются.

— Потом ваш будущий папа последовал за машиной вашей будущей мамы и был весьма удивлен, обнаружив, что она живет в том же самом доме, что и я. По дощечке у входа он установил, что ваш дедушка — строительный подрядчик. Он явился к нему за консультацией, и, поскольку ваш дедушка не смог предложить ему никакого подходящего проекта для постройки дома, ваш папа в конце концов объявил, что просит разрешения устроить счастье его дочери. «Ребекки?» — спросил ваш будущий дедушка. «Ни за что в жизни», — ответил ваш будущий пана. «Меня это тоже удивило бы», — сказал ваш будущий дедушка. И вот так они наконец обвенчались в церкви Сент-Оноре д'Эйлау — она в белом подвенечном платье, он в черном фраке, получив устное благословение каноника Майяра и письменное — папы Римского.

Ваш отец забросил трость с серебряным набалдашником, не появлялся больше у «Максима», а стал есть пюре, чтобы упростить меню, поскольк-

ку родилась Валери.

Он совсем уже перестал удивляться излишней удобоваримости пищи, когда с нового благословения каноника на свет появилась Клер. Ваш отец смирился с тем, что придется вечно жить среди мокрых пеленок и рева на рассвете, к которому его приучила Валери, когда вдруг заметил, что Люлю Диаман вернулась на землю, приняв облик дрыгающей ножками и горланящей малышки Клер.

— Клер не мамина дочка? — спрашивает Оливье.

— О, — вздыхает тетя Ребекка, — для своего возраста вы не так уж глупы.

Она поднимает вверх палец, просит, чтобы дали счет, ее золотые браслеты, звеня, спадают к локтю, потом достает губную помаду, и мы следим, как она рисует между двумя прекрасными морщинками жандармскую шапку.

У кладбищенской ограды мы сделали последнюю остановку для последних объятий. На этот раз люди словно бы хотели угадать по нашим лицам, какое путешествие уготовано Клер, и спешили, прежде чем тронется поезд, пожелать ей счастливого пути.

Каноник Майяр со своей стороны принимал

знаки внимания, пожимая множество рук; а папины коллеги, офицеры Почетного легиона, те самые, что приходили на помолвку Клер, ободряюще похлопывали его по плечу и твердили:

— Помни, мы с тобой, Жером.

И папа словно молодел. Когда шумная толпа поредела, мама подошла к тете Ребекке, неподвижно стоявшей в тени кипарисов.

— Я перед всеми хочу поблагодарить тебя, Ребекка, за то сердечное тепло, которое ты дарила моей дорогой Клер.

Тетя Ребекка не ответила, она повернулась лицом к дереву, сняла черную шляпку, расчесала обеими пятернями волосы и в конце концов проговорила:

— Не знаю, как только вы выносите всю эту процедуру тисканья и объятий.

Вдруг она вся как-то незаметно напряглась, глаза ее расширились, она рванулась навстречу какому-то типу, который шел по аллее. Такого типа мы еще никогда не видывали: похож на огромного орангутанга с огромными плечами, огромными ушами, в огромных черных очках и со смуглой кожей, кожей инков; тетя Ребекка крикнула:

— Фредерик!

— Кто это такой? — спросила Валери, приставив козырьком ладонь к глазам.

Тетя Ребекка приникла к нему, на минуту замерла у него на плече, потом оттолкнула его. Но этот тип по-прежнему неподвижно стоял в своих черных очках, верно, считая себя из-за них невидимым.

— Я еле на ногах держусь, еле держусь, — простонала бабушка.

Мама подхватила ее одной рукой и позвала папу:

— Помоги мне, Жером. Милой бабуленьке нехорошо, такие волнения не для ее возраста.

Бабушка Картэ, я все время за ней слежу, никогда не умирает. Ломает одну ногу, ломает другую, расшибает плечо, съедает ядовитую устрицу, останавливает сердце, надавив на грудь обеими руками, и падает навзничь, но потом обязательно наступает минута, когда она открывает глаза и требует свои очки.

— Для того, кто так стремится попасть в рай, она что-то уж слишком крепко держится за жизнь! — говорит Анриетта.

Бабушка никак не может поверить в наше существование; она твердит:

— Откуда только взялись эти дети?

Клер особенно выводит ее из себя.

— Ох уж мне эти чарующие позы, и как она вертит своим задом, у нее, бедняжка моя Вероника, дьявол под юбкой, тебе не мешало бы приструнить ее как следует.

Мама пугается:

— Ты в самом деле так думаешь?

И они втроем, мама, бабушка и каноник, принимают решение укротить Клер, как укрощали бы лошадь, отправляя ее в прерии Швейцарии, Германии или Англии.

— Там она хоть языки выучит и подышит свежим воздухом, не поддаваясь всем этим обезьяньим штучкам, — говорит бабушка.

И я представляла себе огромных обезьян, которые вприпрыжку бегут за Клер, но Клер их не боится. Сердце у нее колотится, но она успокаивает их, треплет рукой по загривку; она говорит им:

— С завтрашнего дня мы станем гулять вместе, я пойду впереди, но все время буду оборачиваться, чтоб поглядеть на вас, чтоб быть уверенной, что вы, сокровища мои, никуда не делись.

А потом один из огромных орангутангов становится любимчиком Клер, он кладет ей передние лапы на плечи, пачкая ее, но он такой милый, что

Клер улыбается, закрывает глаза и просит:

— Ну еще, ну еще, хоть до скончания света, если вам угодно.

Вот так я теперь часто думаю о Клер. Открываю для себя ее улыбки, которые она не дарила нам. Жду, когда смогу войти в окружающий ее ландшафт и тоже окажусь в стране обезьян. Тогда бабушка закроет глаза на свои лишенный красок мир и мама из папиных уст узнает, как умерла Люлю Диаман, умерла оттого, что ей не разрешили оставить на пальце бородавку.

Маме ничего не известно о Люлю Диаман. Мы о ней не рассказываем, даже когда хотим, чтобы мама подольше посидела перед сном у нашей постели и для этого выдумываем какой-нибудь секрет и шепчем ей его на ухо.

Шарль чуть не каждый вечер просит ее выйти за него замуж, с мамой этот трюк всегда проходит, он пытается поцеловать ее в губы.

— Я бы на тебе женился, если бы ты не была старой.

Мама, слегка улыбаясь, вытирает рот, подтыкает плотнее под него одеяло и обещает ему, что завтра утром ей будет восемнадцать.

— Даже в автобусе? — спрашивает Шарль.

— Везде, куда я тебя ни поведу за руку, — гово-

рит мама.

Широко раскрыв глаза в темноту, я жду ее. Она подходит, в полумраке она кажется выше ростом, ласково проводит рукой по моему лбу.

— А какой же у тебя великий секрет?

И секрет тотчас исчезает, я вспоминаю только, как она меня укусила. Я была маленькой, и она встала на колени, чтобы быть со мной одного роста, взяла мою руку и медленно стиснула зубами, и мое лицо затопил ее синий горячий взгляд; она сказала:

— Понимаешь, как это больно?

Потому что я укусила Оливье. После этого я спряталась в стенном шкафу, но и во мраке я по-прежнему утопала в ее синем горячем взгляде, мне было страшно — я обнаружила жестокость на дне маминой души.

Когда Клер лежит в соседней постели, мне не страшно. Красный свет лампы, обнаженные ноги Клер, которая, покусывая ноготь, читает Ницше. Она держит наготове раскрытую книгу Кронина или Жильбера Сесброна, чтобы быстро подменить, заслышав приближающиеся мамины шаги. Мама бросает недоверчивый, как у таможенника, взгляд, сначала смотрит на Клер, и Клер начинает улыбаться, что означает: «Я тебя люблю, люб-

лю», слова, обращенные к маме, которые Клер не осмеливается произнести, она напишет их на клочке бумаги и сунет под мамину подушку. Мы знаем об этом, потому что каждый раз, когда мама сердится на Клер, она говорит:

— В таком случае не трудись совать мне под подушку нежные записочки.

Вид у папы делается совсем несчастный, и Клер спешит укрыться в его объятиях. Папа прижимает Клер к себе, молча вытирает ей слезы. И в конце концов Клер улыбается, она говорит папе:

— Я тебя прощаю, я прекрасно знаю, что это не твоя вина.

И она уезжает в Швейцарию, в Англию или в Германию, туда, где мама отыскивает семью, которая по вечерам будет держать ее взаперти.

Но в одну из ночей Клер, рано или поздно, обязательно возвращается — с новыми лыжами или со списком английских ругательств в кармане, — она не может удержаться от смеха: ее отослали домой.

Последние каникулы она всю зиму провела в Ницце с тетей Ребеккой, и никто об этом не знал, она убежала из немецкой семьи и участвовала в киносъемках.

— Вот так, мадам! — сказала тетя Ребекка прямо

маме в лицо. — И еще благодари бога, что она вернулась.

Мама схватилась за сердце, а Клер принялась бить вазы, тарелки — все, что ни попадало под руку, и рыдала при этом:

— Ну да, непоправимое свершилось, нет у меня больше твоего приданого, этой святыни!

А потом на Пасху появился Ален. Он взглянул на Клер, и Клер сразу сделалась молчаливой. Мама превратила это в настоящее торжество.

— Ален именно то, что нужно Клер, — говорила она, — он сумеет ее укротить.

Но тетя Ребекка пробралась к папе в кабинет, положила сиреневые ногти на лацканы его пиджака.

— Жером, ну как ты можешь допустить такое? Это все равно что обвенчать лед и пламень.

— Что поделаешь, — сказал папа, — когда трудно самому заплатить по счету, волей-неволей приходится обращаться к банкиру.

— Ты, видно, забыл, чем кончилась подобная история? — сказала тетя Ребекка.

Вернувшись с кладбища, папа не снял фрака, не вышел к столу, он ходил по квартире и все чего-то искал: нашел игрушечные литавры Клер и ее старенькую блузку, которая пошла на тряпки

и валялась в чулане вместе со щетками.

Оп унес эти сокровища в спальню Клер и запер-ся на ключ. Нами он больше не интересовался. Он не брился. Не спал в маминой постели, а лежал ничком на диванчике Клер, ноги его свисали на пол, и он тихонько говорил ей какие-то непонят-ные слова. Мама за дверью умоляла его:

— Жером, открой мне, не оставляй меня одну, поговори со мной.

А мы, мы все молчали, чтобы не потревожить папу, который снова готов был влюбиться в Клер. Оказывается, у папы с Клер был роман и про-должался он целых шесть лет. До тех пор, пока мама не начала сердито поглядывать на Клер и говорить ей: «Папа занят», — каждый раз, когда Клер цеплялась за папины брюки и с обожанием глядела на него, ожидая поцелуя или комплимен-та. Бабушка боялась, как бы Клер не завладела маминым мужем.

— Да ты только подумай, Вероника, эта парочка лишь об одном мечтает — спать вместе; вот уви-дишь, Клер бросится Жерому на грудь, залезет в вашу постель, пригреется на твоем месте!

Бабушка боится всего. Она натягивает на колени черную шаль, кисти рук у нее уже не раз-гибаются и похожи на увядший салат, все десять

пальцев сложены вместе и обращены к небу, и она, не переставая, твердит о том, что запрещено нам в этом мире:

1. Разводы.
2. Революции.
3. Политические партии, кроме благонамеренных.
4. Кумиры и люди, лишенные нравственных принципов, пусть даже симпатичные.
5. Ходить, размахивая руками, сидеть, болтая ногами, витать мыслями в облаках.
6. Жареный картофель и вино, прежде чем минет пятнадцать лет.
7. Бранные слова и медицинские термины.
8. Отдел происшествий.
9. Фильмы об адюльтерах.
10. Все писатели, кроме тех, которые уже умерли или являются членами Французской академии.
11. Летать на Луну, даже когда билеты будут продаваться в транспортном агентстве, потому что бог раз и навсегда создал нас для жизни на Земле.
12. Рак, туберкулез, нервная депрессия, поскольку в нашей семье таких вещей не водится.
13. Иметь воинственный дух, потому что как

раз он-то и погубил мир.

— Когда бы каждый твердо стоял на своем посту, выполняя свой долг, как в четырнадцатом году, — говорит бабушка, — не получилось бы так, что одна нога на Луне, а другая разъедена метастазами, от которых в мое время никто и не погибал. То, чего не знаешь, того и не существует.

Когда Клер умерла, бабушка изобрела новый запрет: раз и навсегда покончено с Клер, веселой и живой, с той, что ждет на пороге, такая тоненькая в белом платье, такая стройная, с длинными ногами, раздражавшими бабушку, покончено с ее улыбками, манящими и в то же время недоступными, которые сводят с ума обезьян.

Бабушка Карте предпочла превратить Клер в некую икону, где ее последний земной облик на последнем ее ложе, в клинике, парит в туманном кольце цитат из Священного писания, и посоветовала нам навеки запечатлеть этот образ между страницами наших молитвенников.

— Этот образ фальшив, уничтожьте его, — сказала тетя Ребекка.

Каждый день после полудня она приезжала за нами. Траура она не носила. Платья у нее были фисташкового, коричневого, малинового, апель-

синового цвета, они бились вокруг ног, когда на улице поднимался ветер. Открывая ей дверь, Валери мерила ее взглядом:

— У тебя и в самом деле стыда нет.

— Не смеши меня, — отвечала тетя Ребекка.

В нашей семье вечно так. Тетя Ребекка, взяв нас за руки, вела в сад Тюильри, там она брала нам лодочки, и мы, изо всех сил дуя в паруса, старались их перевернуть. Она покупала красные воздушные шары, и мы выпускали их на берегу Сены, следили за их полетом в облаках и скакали по мостовой на одной ножке, запрокинув вверх лицо, так что голова начинала кружиться.

Когда мы уставали, она усаживала нас в плетеные стулья, наклоняла над нами тент в сине-белую полоску, щелкала пальцами, и к нам подходил официант; он изнывал от жары в своей белой куртке и кончиком языка облизывал уголки губ, чтобы хоть капельку освежиться. Держа на ладони блокнот, он записывал туда мороженое всех цветов, которые мы требовали.

Кроме синего. Шарль каждый раз просил синее мороженое, и тетя Ребекка, покачивая босоножкой, чудом держащейся на кончике пальцев, уперев руку в бедро, диктовала гарсону:

— И будьте добры, порцию синего мороженого

вот для этого молодого человека.

— Сегодня у нас синего уже не осталось. А завтра будет непременно, — обещал официант.

— До чего же тебе везет, — говорила тетя Ребекка Шарлю, — у тебя всегда назавтра синее мороженое.

Мы смотрели, ничего не понимая, как расцветает ее улыбка между двумя прекрасными морщинками.

Она рассказывала вам о Клер. Правда, Клер уже по могла быть с нами и есть мороженое или еще что-нибудь, но ее не было больше и в том домике-склепе.

— Это нехорошее воспоминание, — говорила тетя Ребекка. — Выбросьте его из головы. Одни лишь старики, окончив жизнь, умирают.

Клер всего-навсего вроде бы исчезла. Она была с Люлю Диаман, которая пила из ладошки шампанское. И с напой в те времена, когда он еще был настоящим франтом и носил трость с серебряным набалдашником. И с мамой, когда та ездила на собственных лошадях и ела бананы и зеленый горошек.

Отныне Клер могла ранним утром, напоенным запахом сирени, вскочить на лошадь и ехать не спеша по лужайкам, где в струйках воды, вее-

ром разбрасываемых водометом, играет радуга, следовать за изменчивым полетом белого или желтого мотылька.

Клер излечилась от жизни, она еще немного слаба. Она может курить, когда ей захочется, даже если между у выкуренной сигаретой и следующей пройдет лет десять. Никто больше не властен причинить ей боль ни в ее воспоминаниях о прошлом, ни в ее надеждах на будущее. Она по-прежнему будет молчаливо жить среди нас, будет любить, кого захочет, и не понесет за это никакого наказания. Ей не придется уже считать оставшиеся до смерти годы.

— А ты, — сказала тетя Ребекка, обращаясь ко мне, — не должна говорить, как несправедливо, что бабушка совсем дряхлая, а не умерла раньше Клер.

Будь то день, будь то ночь, Клер наверняка сумеет утешить нас — ведь она больше никогда не будет спать. И, стоит только назвать ее по имени, она наверняка сможет вернуться на время и жить опять обычной жизнью…

— Уф! — вздыхала тетя Ребекка. — Для вас троих так все теперь и пойдет с сегодняшнего дня, ладно?

Солнце становилось розовым, холодало, и мы

шли по Елисейским полям прямо между лап Триумфальной арки. Тетя Ребекка отводила нас домой, заставляла принимать ванну, потом вела в гостиную, где мама, Валери и Ален тихо беседовали в полумраке за закрытыми ставнями. Мама ощупывала наши мокрые головы, почти не видя нас, глаза у нее были все в красных прожилках.

В ожидании, когда папа выйдет наконец из спальни Клер, мы ели пюре, приготовленное на скорую руку. Вечер за вечером — пюре на скорую руку для Оливье, Шарля и меня в старой супнице, у которой ручки были в виде цыплят. Алену и Валери подавалось холодное мясо с корнишонами.

— Поскорей доедайте — и в постель, — говорила нам мама.

А мы, прокладывая вилкой бороздки в этом проклятом пюре, наблюдали за ней. С тех пор как умерла Клер, маме все время было жарко. Подбородок у нее блестел от пота, и, когда она нас обнимала, она была какая-то липкая. Она десятки раз принималась за свою порцию холодного мяса, мыла в раковине руки, все время мыла руки, потом нюхала пальцы.

— Опять этот запах, кажется, я никогда не избавлюсь от запаха лилий, он, ей-богу, въелся мне в кожу.

И мы тоже начинали ощущать аромат белых лилий с желтыми сердечками, которые стояли в банке из-под джема у кровати Клер; и не могли уже проглотить ни крошки.

— Неважно, — говорила мама, — больше я никогда не стану вас ни к чему принуждать, никогда не заставлю плакать, ничего не буду запрещать, и вы будете счастливы, правда? Вы не станете говорить, что я была к вам слишком строга, слишком вас притесняла?

Ален и Валери входили в кухню.

— Мы тебе поможем, мама, — объявляла Валери.

Она доставала из холодильника две банки пива, Ален делал в каждой по две дырки, они пили пиво, и у них над верхней губой появлялись усы.

Они распахивали окно, отсюда видна была японская акация, которая росла во дворе, радио в швейцарской передавало новости. Ален присаживался на край мойки, курил, потом гасил сигарету под струей холодной воды. Валери садилась на кончик стола, за которым мы ели, приподняв подол нового платья в черно-белую полоску: глаза она подрисовывала, чтобы они казались немножко нежнее и добрее. Она смотрела на Алена.

— До чего они милы, когда едят своими ручками!

Вот идиотка. Мы вовсе не едим руками. Ален делал вид, что соглашается с ней, дотрагиваясь временами до черной ленточки в петлице — знак траура по Клер.

А потом папа с проклятьями вышел из спальни Клер. Он молотил в передней кулаками по шкафу, он зажег свет, мы все сбежались, босиком, еще сонные, и увидели, что он срывает с себя воротничок и галстук жемчужного цвета.

— Но в Париже ведь нет осиных гнезд, — сказала мама, косо застегивая кружевной пеньюар.

А папа тряс большим заросшим щетиной лицом:

— Да помогите же мне, черт побери, сорвать эти тряпки, я больше не могу терпеть.

И нам, — да, так оно и было! — нам разрешили шуметь, мы кричали и хохотали, цеплялись за фалды папиного фрака, за его жилет, материя трещала, поддавалась. Мама начала улыбаться, прикрыв рот рукой, и мы снова почувствовали себя такими счастливыми, что готовы были даже содрать с папы заживо кожу и выставить его в окне, чтобы все убедились, что он к нам вернулся. Когда папу раздели почти догола, а прекрасный

фрак, в который он влез ради Клер, был приведен в полную негодность, мы обнаружили, что мучился он вовсе не из-за осиных укусов, а из-за фурункулов. Сорок восемь укусов-фурункулов.

Вначале мы хорошенько не знали, как взяться за дело, но потом здорово наловчились. Пинцет, кипяток, компрессы — этим занималась я. Оливье накладывал мазь, Шарль налеплял пластырь. Мама наблюдала за нами, сидя напротив папы, который испускал стоны, чтобы доставить нам удовольствие. Она явно была рада, что на папу напали эти фурункулы. А потом стало еще лучше, потому что и на маму тоже напали фурункулы.

И, словно мы только этого и ждали, решено было поехать к Алену в Бретань.

— Не расставаться больше, никогда не расставаться, — шептал Ален, проходя мимо нас по коридору.

«Гнусный раб», — бросала я ему мысленно.

Сама не знаю почему. Они с Валери отправились первыми, чтобы проветрить дом. Мы двинулись вслед за ними, ехали ночью вдоль берега Луары, и луна плыла под водой, и тучи двигались, точно челюсти гиганта, который медленно зевает, раздирая себе рот. Мы уснули, когда Луара уже оставалась позади.

Путешествовать ночью была мамина идея. Она предпочитает теперь ездить по ночам. Говорит, что тогда папа не сможет узнать огромный «шевроле» в 40 лошадиных сил, который задавил Клер.

Приехали мы на рассвете; дом Алена, обдуваемый ветрами, казался синим, и папа перенес нас туда на руках и уложил в кровати, поцеловал, как в прежние времена, уколов усами.

Проснулись мы от холода — у нас замерзли ноги, но всех нас ждали купленные мамой матросские тельняшки, и каждое утро сквозь прорези в ставнях мы видели солнечное сердечко, а за завтраком мы пили из чашек, на которых было написано: «Гастон», «Лидия» или «Альбер».

Потом мы ухаживали за папой и мамой, они сделались нашими детьми. Мы будили их, приносили на подносе все необходимое для лечения фурункулов.

— Будьте умниками, миленькие, сейчас вас полечат.

Мама сквозь ресницы улыбалась папе. Папа чмокал ее в нос; они стали неразлучны, гуляли рука в руке. Ветер приминал пряди маминых волос, папа повязывал вокруг шеи шелковый платок, чтобы не так жгли фурункулы, и они шли

в поселок делать уколы пенициллина. Возвращались они, накупив газет, ложились у мола на пляже, в защищенном от ветра месте. Страницы газет улетали одна за другой, мама бессильно откидывалась назад, закрывала глаза, папа брал ее за руку, сжимал изо всех сил, и мы знали: Клер снова пришла к ним.

Тогда мы прогоняли Клер громкими криками. Шарль стучал по ведерку, Оливье притаскивал краба, держа его двумя пальцами, и хныкал:

— Мама, он меня укусил.

— Поди-ка ты сюда, — говорила мне мама, — что это с тобой, ты такая бледная, верно, ешь слишком много жареной картошки.

И в самом деле, мама нам больше ничего не запрещала, вот мы и пользовались этим, когда подавали жареную картошку. Но нельзя было не видеть Клер. Ее купальник напоминал две дольки мандарина, она пробовала ногой воду и морщила нос:

— До чего же холодная, бесчеловечно!

Или скакала вместе с мальчишками между дюнами на длинногривых пони, ее можно было узнать по темно-рыжим волосам, она оборачивалась, и ветер залеплял ей рот.

Клер всегда была той девушкой, что дальше

всех, той, у которой длинные волосы, той, что быстро бегает и бросает смеющийся взгляд через плечо.

К счастью, с Аленом она не бывала. Никогда. Ален участвовал в теннисных состязаниях, возвращался на заходе солнца, накинув на плечи темно-синий свитер, а рукава завязав на груди; он еще издали спрашивал, не нуждаемся ли мы в чем-нибудь.

С каждым днем на носу у него появлялось все больше веснушек, все больше выгорали волосы на ногах. Валери семенила за ним, помахивая ракеткой, она носила коротенькие плиссированные юбочки, Ален посылал ей мячи в ворота гаража, она подпрыгивала наискосок, и мячи пролетали мимо, словно ракетка у нее была дырявая; она краснела.

— Это потому, что они на меня смотрят, — жаловалась она, — убирайтесь отсюда, малыши!

Но слишком уж нам приятно было каждый раз кричать: «Мимо!», а при Алене она не смела нас особенно задевать.

Как-то, когда фурункулы у папы и мамы начали подживать, аленовская Анриетта сидела на пороге кухни в черном переднике, держа на коленях медный котел. Она долго начищала его

мокрым песком. Потом поманила нас издали старушечьим пальцем.

— Золотки мои, не надо больше говорить папе и маме о вашей сестричке, пусть они хоть немножко успокоятся.

Мама притаскивала целые охапки дрока для котла, она отступала назад и, прищурив глаза, старалась оценить плоды своего труда.

— Последи, чтобы твои братья не произносили при папе имени Клер, а то у него опять могут выскочить фурункулы.

Папа бродил по саду куда глаза глядят, у него появилась старая привычка, заложив руки за спину, обламывать ногти. Он смотрел на яхты под белыми парусами, разбегавшиеся во все стороны, минуя бакены. Я прижалась к нему, обхватив рукой за талию; он очнулся.

— Ах, это ты, детка. Пока мы здесь с тобой вдвоем, послушай меня: не говори больше о Клер при маме, она еще слишком потрясена.

Ни о чем больше нельзя было говорить. Разве что об ученых, обнаруживших формалиновые облака в Млечном Пути и аммиак неподалеку от туманности Стрельца.

— «Это доказывает, — громким голосом читал папа, — вероятность того, что жизнь является

результатом некой химической эволюции».

— Как это интересно! — воскликнула мама, вырывая у папы из рук газету.

Надо было без конца притворяться, что все забыто. Ален и Валери принимали участие в регатах, возвращались они усталые, с мокрыми ногами, торчавшими из-под желтых непромокаемых плащей. Слегка сконфуженные тем, что так весело провели время, они уверяли, что устали до смерти.

Во время сиесты Ален приносил мне шоколад, я молча отворачивалась к стенке.

— Ты неправа, — шептал он, стараясь для меня одной говорить мужественным тоном.

Ведь для этого-то мы и родились на свет, чтобы исчезнуть в один прекрасный день, чтобы время унесло нас, погребло, растворило. Чтобы остались от нас лишь жалкие крохи примет, искаженные даты. Богу угодно было, чтобы мы жили, жевали шоколад, если охота, повторяли изо дня в день как ни в чем не бывало привычные жесты, поступки, и пятое, и десятое, все это я знаю назубок. И я отвечала Алену: «Ладно», чтобы он оставил меня в покое.

Завернувшись в одеяло, я лежала ничком на лужайке, носом к земле, касаясь щеками травы;

я пыталась припомнить ее голос, глаза, зубы.

Я пыталась рассказывать себе про Клер, словно смотрела пьесу в театре: как она приехала бы сюда с Аленом, как заскрипели бы на повороте шины автомобиля. Я пыталась представить, как они пили бы игристое вино, которое ударяет в голову, как плавали бы в чернично-синем море. Говорили бы о детях, о подрастающих детях и ложились бы спать на большую белую софу, сделанную для Клер.

А потом я вскидывала голову, я знала, что все эти планы одна ложь, что Клер не могла жить вместе с Аленом. И все-таки она строила эти планы ночью, думая, что я сплю, но совсем не Алена она звала.

Что-то разладилось в этом пейзаже, море стало серое, взбаламученное, словно иссеченное галькой, аленовская Анриетта заставляла нас принимать горячие ножные ванны. Где-то стучал метроном, где-то между домом под синей крышей, почтенными соснами и кленами, скалистой грядой со ступеньками, выбитыми в камне и спускавшимися на пляж, куда посторонним вход воспрещался.

За столом папа, мама, Валери и Ален мило беседовали о предстоящем приливе, они заво-

рачивали ржаной блинчик на слое рыжеватого сахара, слизывали сладкие крошки с подбородка. Я глядела им прямо в лицо, и главное — в лицо папе, который был влюблен в Клер целых шесть лет и потом еще два дня, когда заперся в ее спальне, но они даже не пошелохнулись. А метроном все стучал.

— Еще блинчик?

— Еще сидра, мама?

— Чудесная ночь, море спит.

— А завтра посетим садки для устриц, будем их есть живыми.

— Да, выковыривать прямо ножом, это ужасно вкусно.

Чудесная ночь, море спит, и я кусала в темноте подушку, звала Клер, крепко-крепко зажмурив глаза.

— Приди, Клер, приди.

Но она не желала приходить. Ночь за ночью я забывала, какой у нее нос, рот, овал лица, взгляд. Когда удавалось ухватить хоть какую-то черточку, из памяти исчезали ее походка, ее смех. Все девушки, которых я видела днем издалека, перепутались в моей голове — та ли она, что скакала между дюнами с мальчишками, или та, что вскрикнула:

— До чего же холодная, бесчеловечно! — пробуя ногой воду в море.

Я вставала и ходила по темной спальне. Я уже не боялась, что бог схватит меня за щиколотки; я говорила ему:

— Подлый бог.

Воздух безостановочно сотрясался от ударов метронома, стук его лез в уши, завладевал всем телом, и, повинуясь его ритму, сердце колотилось как бешеное. Я ничего не смыслю в том, что они называют смертью. В пансионе задают сочинение: рассказать, как мы проведем последние пять минут своей жизни. Каролина содрала ответ у святого Людовика Гонзаго; она написала: «Я буду все так же спокойно играть». Она оказалась первой. А я им выложила: «Если бы я знала это точно, я выбросилась бы из окна, чтобы не дожидаться». Я заработала единицу, и, кроме того, маме сообщили о моем плохом поведении.

Каждый день в четыре часа надо было есть тартинки с джемом, от них на зубах скрипел песок, смотреть, как папа с мамой пьют ненавистный им чай вместе с Аленом под стоявшим на лужайке зонтом, наблюдать, как Валери изучает свой гороскоп, спрятав его между страницами какой-то философской книги, нагонявшей на нее тоску.

Искусственная, навязанная жизнь, словно все мы сидим в какой-то мушиной клетке, укрываясь от внешнего мира. Под деревьями Оливье и Шарль гонялись друг за дружкой, стреляя из револьвера; они кричали:

— Не шевелись, ты умер, не смей шевелиться.

Роясь в песке, я извлекала различные предметы, пролежавшие там не одну неделю: апельсиновую кожуру, палочки от эскимо, обломок расчески без зубьев и даже совершенно развалившуюся комнатную туфлю.

В глубинах этого заброшенного мира безостановочно рождались личинки, шло непрерывное опасное брожение среди гроздьев яичек, они грызли, уносили Клер далеко, все дальше и дальше, потому что никто больше не желал говорить о ней.

Еще дальше, чем дедушку номер один, в белом одеянии, в саду нашего детства, еще дальше, чем юную бабушку, исчезнувшую в складках голубого платья.

Далеко, туда, где смерть бесповоротна, где, словно хлопья снега, на все нисходит тишина. Солнце, пробивая в тучах белые прогалины, все отступало и отступало в глубину пространства. Я говорила Клер:

— Не тревожься, я не позволю им это сделать.

Мертвые не входят в кухню, не приближаются к металлическому крану, под которым неслышно наполняется водой стакан.

Они не бродят по крыше, раскинув руки точно крылья. Не шагают так стремительно по самому краешку тротуара в золотистых итальянских босоножках, потряхивая темно-рыжими волосами. Я закрываю глаза и вижу идущую издалека Клер, ее лицо, руки, ноги, точно такие же, какие будут у меня, когда я вырасту, и она проходит сквозь меня совсем легко, даже не задев.

А потом однажды утром метроном смолк. Волей-неволей они вынуждены были заговорить об этом — отец в темно-серых брюках, мать в трикотажном лимонном платье, застегивающемся спереди, Ален совсем белесый, в белой водолазке, Валери с нарисованными карандашом веснушками на перекроенном носу и с появившимся у нее в последнее время удивленным взглядом. Да, все было готово к первому завтраку: чай, обычный кофе, кофе без кофеина и пять сортов джема. Да, все и правда было в полном порядке, и каждое утро, когда они оглядываются, прежде чем сесть за стол, я читаю удовлетворение в их взглядах, и это всегда меня смешит, я всегда твержу себе:

«Вот оттого, что они так довольны этой своей размеренной жизнью, они и пожнут катастрофу». Аленова Анриетта принесла ее прямо на тарелочке и сказала, опустив голову:

— Извините, пожалуйста, кому это передать?

И мы узнали, что Клер получила письмо. Никто не ответил. Мама с пылающими щеками разлила кофе на стол, в блюдца и даже в чашки.

— Этого и следовало ожидать, — сказал папа.

Письмо положили перед Аленом. Он подтолкнул его к маме, а мама чуть отодвинула, и письмо осталось лежать посредине вышитой маками скатерти. Испачканный, перечеркнутый конверт, перемаранный тремя разными адресами: парижским, нашим загородным и теперь бретонским адресом Алена, красные и зеленые марки, жирный фиолетовый штемпель — Correos del Peru, а потом изображение ламы на горе. И еще печать: «Лима — Пруденсия, 5 июля», времени было достаточно, чтобы все это разглядеть.

— «Cor-reos del Pe-ru», — запинаясь, медленно прочла Валери с таким оскорбленным видом, как будто сама Клер была здесь.

Я сказала:

— Ну и что, это ведь не запрещено.

Папа взял письмо, повертел его в пальцах, разо-

брал на обратной стороне штемпель французской почты: «Париж, доставлено 13 июля», он прочел эти слова как-то неуверенно, хотя очень громко, письмо в его руке начало дрожать, сначала незаметно, потом все сильнее. Мама окликнула его:

— Жером!

Будто папа находился далеко, будто он уехал в изгнание утром 13 июля, тем самым утром, когда уехала Клер, не попрощавшись, ничего не сказав.

— Какое печальное совпадение, — сказал Ален.

Он сидел неподвижно в плетеном кресле лицом к окну, и вид у него был, пожалуй, раздосадованный. Валери повела плечами:

— Что ж тут поделаешь?

Глаза у мамы были широко открыты, как тогда, когда она сказала: «Я хочу в последний раз увидеть тело своей девочки».

Я покраснела как рак.

— Мама, прошу тебя, прошу тебя, сожжем его, не надо распечатывать, она не хочет, я не хочу.

— Имеем же мы право знать, — сказала Валери.

Я посмотрела на нее в упор, на ее перекроенный нос.

— Уж тебе никто никогда не напишет из Перу,

поэтому ты и хочешь, чтоб письмо распечатали.

Мама грустным голосом обозвала меня злюкой.

— Неужели смерть Клер не послужила тебе уроком? Подумай, как бы тебя мучила совесть, если бы Валери умерла, после того как ты с ней так разговаривала.

Я не пожелала отвечать. Мама ножом вскрыла конверт, вынула оттуда квадратный листок бумаги, не обычной почтовой бумаги, а просто листок, вырванный из рабочего блокнота, чтобы побыстрей черкнуть несколько строк Клер. В последнюю минуту мама сказала:

— У меня не хватает духу, прочтите вслух вы, Ален.

— Нет, — сказал Ален, — пускай лучше прочтет отец.

— Ну что ж, — сказал папа, — пусть будет, как в песенке: самого маленького съедают первым, иди-ка ты сюда.

Я не поверила, но папа улыбался краешком глаза, как, должно быть, улыбался Люлю Диаман, как улыбался Клер, когда, повязав галстук жемчужного цвета, вел ее есть устрицы. Именно такого папу я любила. Я взобралась к нему на колени, и выглянувшее из-за тучи солнце на

мгновение ярко осветило стол и тотчас скрылось опять. Папа развернул листок, я старательно прочистила горло.

— Начинать, папа?

Он кивнул со слабой улыбкой. Может быть, он пробежал глазами первые строчки. Почерк был неразборчивый, поэтому читала я медленно.

*Икитос, 5 июля*

Моя козочка,

42° в тени. Сплю мало, работаю много. Люди вялые, из-за жары невозможно их расшевелить. Сильные ливни превращают все кругом в болото. Бесконечные трудности… пожалуйста, переверни страницу…

…и однако, я нахожу время скучать по тебе.

Чем ты занимаешься? Что поделываешь? Мне просто необходимо знать, что ты счастлива. Ничего не попишешь, так уж мне, видно, в жизни суждено! Мне не терпится показать тебе то, что я отснял. У меня тысяча всяких планов для нас обоих. Многосерийный телевизионный фильм для Канады и итальянская доку-

ментальная лента об автомобильных гонках, в общем, сама увидишь. Я тебе все расскажу. Думай обо мне крепко-крепко, я это почувствую, и мне будет казаться, что ты мне написала.

Вернусь 12 или 13 июля, может быть, раньше, чем это письмо до тебя дойдет; почта здесь несколько странноватая. Я тебе телеграфирую. Да здравствуем мы! Нежно тебя целую.

***Фредерик***

Валери ахнула, тыча пальцем в кого-то невидимого, она сказала:

— Мама, это он, он! Тот самый тип, что явился на похороны, тетя Ребекка еще поцеловала его, уж для нее-то никогда не существовало никаких понятий о нравственности. Да он к тому же, оказывается, снимает фильмы, впрочем, ничего удивительного нет, стоит только посмотреть на его темные очки!

Значит, это был он, тот, кто прислал телеграмму по пневматичке, тот, кому назначено свидание на Полярной звезде, огромный орангутанг в темных очках? Я сказала Клер: «Вот здорово, дружок! — как она когда-то сказала мне, оттого, что я

так выросла. — Значит, тебя любят даже в Перу?»

Ален опустил голову, он чертил ножом по скатерти. Морщины у него на лбу казались нарисованными карандашом. Папа сложил письмо, поскреб шею; по-моему, он даже тихонечко заржал — гимн лошадей, взявших барьер, — но, может быть, я все это придумала. Мама укладывала справа от себя тосты, один на другой, ровным столбиком, потом взглянула на Алена, и в глазах ее снова воскресла Клер, ей хотелось показать, что Клер сожалеет, и она проговорила:

— Ален, скажите, что вы меня прощаете? Я заблуждалась, я так виню себя, но в то же время для меня такая огромная радость, что… ох! Простите, простите, я вас всех шокирую.

Папа, должно быть, счел, что мама преувеличивает.

— Но, Вероника, вовсе не надо извиняться. Они уже тайком распрощались, он и она. И поцеловались. И она даже подарила ему свою карточку и просила никогда никому ее не показывать.

Все поглядели на папу так, словно он сошел с ума.

— Ты все выдумываешь, выдумываешь, — поспешно сказала мама.

— Вовсе нет, — сказал папа, — когда любят,

любят навеки.

И с видом человека сведущего он откашлялся, чтобы избавиться от смущения, потом сказал:

— Ну хватит. Слишком это ужасно, да и ничего не дает.

Он опустил меня с колен и вышел, ни на кого не глядя.

— Моя козочка! — повторила Валери. — Он называет ее «моя козочка», и мы должны это слушать!

Она издала короткий смешок. А я смотрела на муху, увязшую лапками в джеме, и мой рот растягивался в улыбку. Я представляла себе огромного типа в темных очках, как он стоит, засунув руки в карманы, и насвистывает песенку о ковбое, который собирается съесть жареного цыпленка.

Клер с растрепавшимися волосами мечтала на солнце, подставляла солнцу маленький нос, жизнь под солнцем казалась ей прекрасной, и что же поделаешь, если отныне глазницы ее пусты.

Вот к какой жизни я стремилась — за пределами метронома, когда в мгновение ока перепрыгиваешь из Перу в слишком уж чинный дом в Бретани, не страшась, что тебя поглотит земля — ведь Земля так огромна.

Не страшась ни копий, ни стрел, ни греческого

огня, ни бомб — всех этих хрестоматийных ужасов. Не боясь ни революций, ни рака, ни полетов на Луну — всех этих бабушкиных запретов. Без коленопреклонений, без чаепитий, без стремления прослыть образцом высокой морали.

И я смотрела на Клер, не видя ее, на Клер, зубами рвущую в мелкие клочки телеграмму, проглатывающую ее, чтобы быть уверенной, что не позабудет уходя.

Мама взяла письмо, повертела в руке.

— Прочту его в последний раз. И покончим с этим… мне так не хочется, чтобы это омрачало память о Клер.

— Это и в самом деле было бы прискорбно, — прошептал Ален.

Я встала, чувствуя себя по меньшей мере восемнадцатилетней, и сказала маме, как равная равной:

— Не понимаю, кого ты собираешься щадить. Что бы там ни было, Ален все равно уже не может расторгнуть помолвку с Клер.

Мама быстренько напомнила мне мой возраст, отвесив пощечину.

Мы дрались на дуэли: мама и я. Я была в перуанской рубашке с кружевными манжетами, в черных штанах с широким поясом, в сапогах с

серебряными шпорами, я зарядила пистолеты, взвела курок и целилась маме прямо в лоб в ответ на ее пощечину.

— Ты и правда хочешь заставить меня уехать, как Клер?

Кроме того дня как она меня укусила, мама ни разу не осмелилась меня даже пальцем тронуть. Когда она в хорошем настроении, она говорит:

— Я просто робею, когда ты так смотришь на меня.

Когда она раздражена, она говорит:

— Не смей на меня так смотреть.

И все. Она еще ни разу не осмеливалась поднять на меня руку. На Клер да, постоянно. Анриетта говорит:

— Если собрать все пощечины, которые ваша мамаша отвесила этой девочке, набралось бы аплодисментов минут на пять.

— Иди в свою комнату, — пробормотала мама, — уходи, ты сама не знаешь, что говоришь.

Ален и Валери не пошевельнулись, я видела их глаза, похожие на испуганных птенчиков, готовых издать пронзительный писк. Я сказала маме:

— Тогда идем со мной, я хочу с тобой поговорить.

Мы поднялись по лестнице друг за дружкой прямо в Перуанскую пустыню, где в каждом кактусе таилась угроза и где жила обманчивая надежда, что вдруг все могло бы вновь стать ясным и простым, что, преодолев линию горизонта, можно в крайнем случае обо всем позабыть.

Увидеть, как из дальней дали приближаются фигуры, и выбрать, кого избежать, с кем встретиться. Войдя в мою комнату, мама прислонилась спиной к двери, очень бледная, она еле держалась на ногах; я сказала:

— Почему ты всегда ее запирала, била по щекам, наказывала… Почему?

— Так надо было, — простонала мама, — ты причиняешь мне боль, замолчи, детка, ты не можешь понять.

Она закрыла лицо руками, и я услышала свой крик:

— Почему? Скажи, что она тебе сделала?

— Она была упрямая, не хотела слушаться, она самой себе навредила бы, ты не можешь понять, — повторила мама.

Мы взглянули друг на друга — мама и я. Молчание было таким весомым, что мне показалось, я слышу, как оно упало, разлетелось в куски у самых наших ног, сопровождаемое крошечными

взрывами. Сердце мое выпрыгнуло из грудной клетки, бесформенное, красное, все в бороздках, как в анатомическом атласе, и шумно стучало, хлюпая клапанами.

Я сказала маме:

— Все плачет и плачет тихонечко ночью и повторяет: «Что же все это такое, Фредерик? Думаешь ли ты обо мне? Думаешь ли ты иногда, что я для тебя единственная?»

— Ох, этого-то я и подозревала, — сказала мама, опускаясь на кровать.

У мамы опять был тот самый взгляд, как после смерти Клер, — взгляд немного безумный от бессильного горя; она тихо взмолилась:

— Рассказывай еще, детка.

— Говорит потом о другом, громко смеется, а я боюсь, вдруг она заметит, что я проснулась.

— Еще, — потребовала мама.

Но больше я не могла рассказывать ей про Клер. Я сняла сапоги с серебряными шпорами, отложила в сторону пистолеты и села рядом с мамой.

Чтоб ее утешить, я сказала:

— Можешь наказать меня, если хочешь.

— Больше никогда в жизни, — сказала мама.

И она обняла меня, гладила по волосам, шепча с закрытыми глазами, словно во сне:

— Усни, моя радость, мое маленькое сокровище, твоя боль перейдет к маме.

Те самые слова, которые она говорит, когда мы больны и засыпаем, прижав к сердцу ее руку. Чтобы думать о Клер в маминых объятиях, я закрыла глаза, и больше у меня не было сил.

Я все время слышу голос Клер в ту последнюю ночь, когда она белым языком пламени закружилась по комнате, потом остановилась передо мной:

— Клянись, что не проговоришься!

Я не ответила. Я притворилась, что сплю, натянув на голову простыню, и повторяла убаюкивающую меня молитву: «Господи, пожалуйста, забудь обо мне». Но я не смогла уснуть. Клер начала тихонько плакать в темноте и громко смеяться и шептала:

— Мне так часто не хватает тебя, я тебя зову. Мне кажется, я несчастна оттого, что тебя нет рядом со мной. Я говорю: «Мой Фредерик, мой Фредерик», я все твержу, твержу эти слова, а бывают минуты, когда я думаю покончить с собой. Думаю о смерти. Оттого что, говорю я себе, моя жизнь завершила свой оборот.

— Мне не хочется больше жить, — сказала Клер ночью тем приглушенным голосом, который

разносится так далеко, когда душат слезы. — Не на самом деле не жить, потому что всегда надеешься. Я все еще надеюсь, я так часто говорю себе, говорю: «Немыслимо, чтобы в один прекрасный день я… я не зажила вместе с Фредериком». Мне хотелось бы иметь от тебя ребенка, дитя нашего прошлого года, мечтать, что ребенок будет расти, будет спать между нами на большой белой софе. Сейчас он мог бы уже родиться. Ты не захотел. Сказал, что боишься меня. Потому что я хотела заставить тебя поверить, будто я одинока.

Будто лишена поддержки семьи. Материальной поддержки. Всякой поддержки.

Я уже сама не знаю, чего хочу. Уже не знаю, чего жду. Жду завтрашнего дня. В последний раз жду завтрашнего дня. И потом — единственные свидания с вами на Полярной звезде? Нелепо. А потом? Ничего. Такое долгое потом. Набраться мужества. Позволять Алену целовать себя каждый день, когда ему захочется. Как это трудно. Я больше не знаю, что с нами происходит.

А после Клер принялась хохотать в темноте, сидя в постели на корточках, в белой ночной рубашке, похожая на бедуина, ожидающего зарю. Ее охватил приступ безумного смеха.

— Те, кто меня и правда любят, говорят, что я

еще не зрелая. И я, которая себя и правда люблю, тоже говорю себе, что я не зрелая, но что лучше примириться с этим — чего другого ждать в мои годы, ведь так? Часто я не могу удержаться от смеха. До того все это глупо. До того пустыми стали мои дни. Видно, у меня совсем мало гордости, если я стала сама себя ругать. И все-таки. Если уж приходится вспоминать. Заставить себя сделать аборт. Лгать. Тысячу раз?

Потом Клер снова вытянулась в темноте на постели и заговорила почти светским тоном, словно и в самом деле к кому-то обращалась:

— Послушай, Фредерик, пожалуйста, не делай такого лица, ты же прекрасно знаешь, что в моих чувствах к тебе ничего не изменилось. Ну конечно, я знаю, ты меня любишь. На свой лад! Ты говоришь: «Уж мы-то никогда не расстанемся». Время от времени опять повторяешь, говоришь: «Ну просто близнецы». Говоришь про нас: «Мы близнецы». И когда тебе грустно, говоришь: «Какое счастье, что ты рядом!» Или же с тяжелым вздохом: «До тех пор, пока один из нас не уйдет!»

Если я рожу ребенка не от тебя, мне все будет казаться, что этот чужак меня уничтожит. Но неужели это и в самом деле возможно — ведь я такая идиотка! — что в глубине души я не люблю

тебя? Я просто играю роль в одном из твоих фильмов? И поскольку не могу жить вместе с тобой, должна воображать, что люблю тебя. Хитро, не правда ли?

Если бы можно было точно знать, вместо того чтобы выдумывать неведомо что. Так долго веришь, что любовь — это какое-то необоримое чувство, что ли. Потребность во Фредерике. Фредерик — единственный на свете. Моя зеница ока. Теперь я верю, что любовь или то, что называют любовью, — это родство. Нельзя отказаться от своего отца или матери. Они даны на всю жизнь, подходят они вам или нет. Ну вот, когда любишь кого-нибудь, когда любишь Фредерика, можешь испытывать тоску, желание выскочить замуж за кого-то другого, как собираюсь сделать я, но, несмотря ни на что, ты — частица меня, и все.

— Ты частица меня, вот и все, — сказала Клер отсутствующему Фредерику. — Даже Гаспар, знаешь, что говорит Гаспар? Он говорит: «У Фредерика с женой дело не пойдет».

Говорит, что она властная. Ты, верно, разъярился бы, если бы знал, а? Он говорит, что у тебя какой-то несчастный вид. Говорит, что мы с тобой что-то упустили. Ты тоже мне это сказал. Ты сказал мне это в машине на авеню Йены, вечером, а

я, я сказала тебе: «Нет-нет, не надо меня целовать, ведь я теперь выхожу замуж, нас могут увидеть».

Я жду, что ты мне напишешь. Ты вечно говоришь: «Как только я туда приеду, я тебе напишу».

Всякий раз, когда ты далеко, тебе меня не хватает, и ты мне об этом пишешь, а я рву письмо, открытку или телеграмму. Потому что боюсь, вдруг кто-нибудь их найдет. Жаль, что у меня такая хорошая память. Все спрашиваешь и спрашиваешь у самой себя: почему?

Почему? Невозможно понять. Когда я объявила тебе, что тоже выхожу замуж, ты подарил мне цепочку. Она вся почернела у меня на шее. И тогда я подумала это оттого, что наша с Фредериком любовь вся почернела, ей нельзя показаться на белый свет. Почернела цепочка.

Ты сказал, что очень счастлив и в то же время очень несчастлив, оттого что я выхожу замуж. Надеюсь, насчет очень счастлив ты солгал.

Вот ты, когда ехал венчаться, позвонил мне и старался говорить совсем тихо, боялся, как бы она не услышала, и ты сказал мне, что…

— Что тебе очень страшно, — повторила Клер, и голос у нее пресекся. — Что ты носишь с собой маленькую косточку Меровингов, которую я тебе

подарила. Фредерик, ведь это неправда? Все это невозможно. Просто скверная шутка. Я не могу понять.

Она несколько раз шмыгнула носом, потом заговорила иным, рассудительным тоном:

— Ты должен быть счастлив. Вот что я себе твержу, но особой радости не испытываю. Нет, я хочу сказать, что испытываю радость, но это не утешает. Фредерик, я была с тобой счастлива. Может, вовсе не так счастлива, но мне это казалось. В сущности, да, лучше было бы, чтобы ты действительно был счастлив со своей женой, лучше бы, и я надеюсь, что…

Я надеюсь, что у вас с ней будет ребенок и все прочее. Но в чем же смысл? Не могу понять. Не могу больше понять. Ничего не понимаю. А дни идут за днями и ничего не улаживают.

Думаю, когда-нибудь вопреки всему. Вопреки всему и себе на беду. Я покончу с собой. Чтобы помешать всему, что… Всему, что может еще произойти. Но, возможно, у меня слабое воображение, я не вижу чего-то иного, что со мной произойдет. Не вижу больше. Не желаю больше, чтобы со мной что-то происходило. Только то, что завтра. Рассказывать тебе. Слушать тебя. Воображать, будто все можно перечеркнуть и

начать сначала.

А потом она уснула. Или, вернее, я. На следующее утро она не хотела меня будить. Она не попрощалась, ничего не сказала. Уехала и умерла. Так что волей-неволей все это и запечатлелось в моей памяти.

Папа тоже предатель. Мне было так стыдно, что я думала о Клер в маминых объятиях, так стыдно, что мама не захотела меня наказать, когда я сказала: «Ты и правда хочешь заставить меня уехать, как Клер?», что я спряталась в машине. Чего-чего, а прятаться я умею здорово. Ведь в стенной шкаф или в машину они сроду не заглянут, им это и в голову не придет, уж они непременно будут искать тебя где-то далеко, где тебя и в помине нет.

Мне до того хотелось так вот и сидеть в машине, пока они про меня не забудут и не уедут в Париж, ясно, вместе со мной, уже высохшей, и с моей челюстью на заднем сиденье, но я до того проголодалась, что этот план оказалось слишком трудно выполнить. Когда я решила, что они уже улеглись спать, я вылезла из-под откидного сиденья и выбралась наружу. Ноги меня не слушались, точно у новорожденного ягненка, в ушах звенело. Я не очень-то хорошо представляла себе, что мне делать, дошла до угла гаража, дом был

погружен в темноту.

И вдруг, совсем рядом, увидела неподвижную фигуру папы. И я сразу поверила, что папа больше всех на свете, что у него теплые руки, которые могут унести далеко, и я очутилась наверху, в его объятиях. На этот раз мой трюк с поджиманием пальцев ног не удался, я не могла удержаться и захныкала, но мне было не так уже стыдно, потому что папа запер кухонную дверь на засов и поклялся, что никто меня не увидит.

Мы съели глазунью и одиннадцать тартинок, макая их в шоколад с молоком. Папа посадил меня на колени, ему хотелось знать, почему я ушла. Он говорил «ушла», как люди говорят о Клер, и тогда я сказала, помимо моей воли:

— Потому что я не хочу больше жить с вами.

— Почему?

— Потому что не хочу стать похожей на вас.

— Что же, по-твоему, в нас такого ужасного?

Я прекрасно чувствовала по папиному голосу, что он не принимает меня всерьез, и от этого было еще труднее объяснить.

— Не знаю. Метроном. Бабушка. Каноник. Запрет летать на Луну, даже когда все будут туда ездить. В общем, все.

— Метроном? — спросил папа, улыбнувшись

в усы.

— То самое. То, что заставляет вас так поступать.

— Ладно, — сказал папа. — Попробуем кое-что уточнить. Знаешь ли ты, чего именно хочешь?

— Я хочу быть, как Клер. Как Люлю Диаман.

— Люлю Диаман! Кто рассказал тебе о ней?

— Тетя Ребекка.

Папа спустил меня с колен; скрестив ноги, он сказал:

— Знаешь, твоя милейшая тетушка — ужасная чудачка.

Он сказал, что Люлю Диаман звали Мадлен Триньон. Она была бретонкой, но все слова произносила с английским акцентом. Ее мечта, говорила она, смотреть, как за окнами лачуги льет дождь, и есть прямо руками каштаны, обмакивая их в сметану. Она лгала, она вообще не желала есть. Целью ее жизни было добиться, чтобы грудь и бока ее стали лишь клеткой с дугообразными прутьями-ребрами, за которыми бьется сердце.

— Приложи руку, Жером, чувствуешь, оно совсем близко, ты мог бы даже взять его в ладонь, подсечь, как рыбак на удочку, хочешь?

Папа отправлялся на улицу Руаяль, ждал ее

появления во время выхода манекенщиц, вот уж действительно было зрелище! Жеманно, с продуманной грацией вышагивали молодые женщины — носительницы драгоценностей и удачи…

Судьбы некоторых были связаны с политикой, с дипломатией. Кое-кого можно и сейчас узнать по фотографиям на первых полосах газет, они сохраняют все ту же гордую посадку головы, загадочную складку губ, свое молчание.

Но Люлю Диаман не выносила молчания, она бежала к «Максиму», насыщалась шампанским.

— Понимаешь, Жером, это химический процесс, мы суть то, что мы поглощаем, и я в конце концов превращусь в пузырьки, в пену, искрящуюся на солнце.

Люлю Диаман благоразумием не отличалась. Когда папе до смерти хотелось спать, она не давала ему закрыть глаза:

— Если ты хоть на минутку отведешь от меня взгляд, я перестану существовать, я это знаю, чувствую.

У папы начинало зудеть все тело, это Люлю Диаман покусывала его то там, то здесь.

— Жгло, как фурункулы после смерти Клер?

Папа не ответил. Люлю Диаман хотела, чтобы он целиком принадлежал ей, она в этом призна-

лась, закрыв глаза и мило улыбаясь:

— День за днем, до скончания света, если пожелаете.

Папу охватил страх, Люлю Диаман уже возносилась пузырьками ввысь, это заметно было заметно, потому что глаза ее блестели все сильнее, все прозрачнее становилась грудная клетка, где все громче и громче стучало сердце.

Дедушка номер один рассердился:

— Послушай-ка, Жером, ты что, хочешь, чтобы у тебя на руках оказалась больная? Девица, которая появилась неведомо откуда и, поверь мне, идет неведомо куда. Лишенная поддержки семьи, материальной поддержки, всякой поддержки.

Папа поверил дедушке. И он любезно сказал Люлю Диаман, что должен хорошенько все обдумать. Люлю Диаман поняла. Она улыбнулась папе, первый раз в жизни помада у нее на губах была наложена неровно.

Они тайком распрощались, он и она. И поцеловались, и она даже подарила ему свою карточку и просила никогда никому ее не показывать.

Очень скоро она вышла замуж за банкира. Благоразумней она не стала, по-прежнему отказывалась есть, и желудок у нее сделался таким маленьким, что ей хватало одного-единственно-

го печенья.

— В сущности, — сказал папа, — бедняжка Мадлен была не слишком-то умна.

Я выслушала папин рассказ до конца. Я по очереди шевелила пальцами — большим, указательным, средним, безымянным, мизинцем и снова большим. Я не напомнила папе про бородавку на пальце Люлю Диаман, слишком о многом он уже забыл. Я смотрела на него, на его усталое, немного отекшее, сероватое лицо, на подбородке еще остался след от фурункула; и сказала ему:

— Знаешь, я тебя все-таки очень люблю.

Мама устроила сеанс прощения. Она твердила, по своему обыкновению:

— Я тебя прощаю, прости и ты меня.

Такова ее обычная формула. Прямо не знаешь, куда деваться. Она стоит перед нами, глаза у нее еще горячее и синее, чем обычно; она смеется:

— Бедное мое дитя, у тебя скверная мать, нервная мать и совсем вас не любит.

Мы только вздыхаем. На этот раз мне нужно было еще просить прощения у Алена, Валери и даже у Оливье с Шарлем, поскольку я, видимо, всех их оскорбила, спрятавшись в машине. Я проделала все, что от меня требовали.

— Пойми, детка, надо пользоваться каникулами, чтобы восстановить силы, прибавить килограмм или два, если возможно, и тогда осенью, подхватив простуду, почувствуешь, как благотворен великолепный морской воздух.

— Дышите полной грудью, у-фф, это изгоняет из организма токсины, а розовые детские щеки — залог здоровья, которое здесь в вас вкладывают.

— Подумайте о тех детях, что никогда не выезжают на каникулы, личики у них прозрачные, как бумага.

— На нашу долю выпало тяжкое испытание, но мы с божьей помощью его выдержим. Впрочем, самое трудное позади.

— Вера в загробную жизнь — вот, что помогает, это несомненно.

— Иначе, может, пришлось бы руки на себя наложить.

— Я так страшусь возвращения в Париж, вернуться опять ко всем этим вещам, принадлежавшим Клер. Взять в руки платье, которое она никогда больше не наденет, косынку, флакон духов, просто сердце надрывается.

— Надо написать Анриетте, пусть отдаст все вещи Клер в пользу бедных молодых девушек. И еще пусть, пожалуй, распорядится, чтобы пере-

красили комнату.

— Ты прав, так я и сделаю. Но каждый из нас возьмет себе что-нибудь на память, подумайте об этом хорошенько, прежде чем я пошлю письмо.

— Надо бы сжечь оставшиеся брачные уведомления.

— Моя бедная девочка, которой никогда не исполнится сорок. Виновата ли я, что все время об этом думаю.

— Бог в неизреченной своей доброте уберег ее от страданий, от опасностей, от горестей жизни — вот что надо неустанно твердить себе.

— Знаете, Ален, не сочтите меня жестокой, но порой я думаю, что вы были бы не слишком счастливы с Клер. Она была еще чересчур молода, чересчур импульсивна.

— А я никогда не забуду, что ты был ее последней земной радостью, Ален. Ведь, в сущности, она умерла счастливой?

— Повторяйте мне это, дорогие мои детки, повторяйте, иначе я не вынесу.

Кто говорил все это? Папа, мама, Валери, Ален, кто-то, во время бесконечных сидений за накрытым к чаю столом, потому что лил дождь.

В воздухе стоял запах гудрона, гниющих водорослей, мокрого песка, опавших листьев.

Оливье и Шарль окрестили аленовскую Анриетту «Боблок». Они все время спорят, кому первому карабкаться ей на спину. Стоя на четвереньках, она наващивала ступеньки лестницы и ворчала:

— Вот увидите, уж коли я начну сейчас лягаться, хорошенькие следы останутся у вас на попках!

Но они не унимались, подстегивая ее пыльной тряпкой:

— Эй, Боблок!

Направляясь к себе в комнату, я перешагивала через них.

— Правда, что у тебя неблагодарный возраст? — низким голосом кричал Шарль. — Это мама сказала, когда ты пряталась в машине.

Я заперлась на ключ. Стены комнаты голые. На постели покрывало в красную и белую клетку и такие же занавеси на окнах. На выбеленном жавелевой водой полу мне иногда вдруг попадался кузнечик. Я усаживалась рядом с ним, подтянув колени к подбородку. Накрыв рукой, я заключала его в темницу. Он прыгал, щекоча мне ладонь, я воображала, что он ищет щель, через которую мог бы убежать, ищет неутомимо, но неразумно. А потом без всякой причины он смирялся на дне своей пещеры, прикидываясь мертвым. А потом снова я чувствовала лихорадочное трепетание

его лапок то тут, то там, ничто не могло заставить его разувериться, ничто не могло остановить его, словно в этой черной пещере, образованной моей ладонью, заключена была вся его земная жизнь, хоть и не было никакой надежды выбраться отсюда.

Я разжимала пальцы, оставляя для него отверстие, отводя большой палец, но этот идиот не находил выхода. Он продолжал колотиться своей кузнечиковой головкой, впрочем, у него, видно, уже отбило память. Я раскрывала ладонь.

За окном надвигалась ночь. Я спускалась вниз и присоединялась к тем, кто сидел за чайным столом.

— Когда идет дождь, не знаешь, чем занять детей, — говорил кто-нибудь из них.

В нашем зеленом классе мне нравится, что солнце падает прямо на меня. Оно греет весь левый ряд стоящих вдоль большого окна парт, и в последний триместр у нас, пяти девочек, покрывается загаром левая рука и щека. Перед классной доской стоит сестра Долли, она разучивает с нами телефонный разговор по-английски. Когда очередь доходит до меня, я поднимаюсь на кафедру, прикладываю к уху кулак, словно телефонную трубку, сестра Долли поступает так же, и мы пе-

рекликаемся словно на большом расстоянии.

— How do you do?[28] — с энтузиазмом восклицает сестра Долли.

Я тоже почти кричу, чтобы она меня услышала:

— How is Claire?

— She is fine, — говорит сестра Долли.

— Has she eaten her rotten chicken?[29]

Сестра Долли прерывает телефонную связь.

— Не «rotten» детка. «Rotten» значит «гнилой».

Вечно я говорю «rotten», когда хочу сказать «жареный». Но пока что мы проходим описание фермы, и у нас не так уж много тем для беседы. От сестры Долли пахнет кофе с молоком и пылью, ходит она стремительными большими шагами, и в складках юбки у нее позвякивают четки. Каролина клянется, что она переодетый мужчина.

Каролина моя лучшая подруга. Вернее, это она избрала меня своей лучшей подругой. Из-за каштановых волос, свисающих по обеим сторонам острого подбородка, она напоминает мне нашего

---

**[28] Примечания: 28**

Как вы поживаете? *(англ.)*

**[29] Примечания: 29**

— Как Клер? *(англ.)*

— Превосходно *(англ.)*.

— Ела ли она гнилого цыпленка? *(англ.)*

английского спаниеля Бобби. Чтобы доставить ей удовольствие, я, так же как она, напускаю на себя мрачность в те воскресные дни, когда мы остаемся в пансионе, а родственники могут встречаться с нами в приемной для посетителей. Мы с ней усаживаемся на лужайке, Каролина выдергивает травинку за травинкой и каждые пять минут спрашивает:

— Берта, ты тоже грустишь, оттого что твои родные не приедут?

И я отвечаю:

— Ну, конечно, Берта.

Мы с Каролиной называем друг друга «Берта». В зеленом дортуаре наши кровати стоят рядом, и по утрам мы говорим:

— Привет, Берта!

— Привет, Берта!

Таким образом становишься вроде бы никем, а это приятно. В часы, свободные от занятий, мы прогуливаемся под присмотром в нашем парке, только не у самой стены, там растет кустарник, и это запрещено. Каролина старается подпрыгнуть повыше, она жалуется:

— Из-за этой стены ничего не увидишь, до чего же мне хочется выйти отсюда.

А я вот довольна, что нахожусь за стеной. Здесь

бродит на воле старый конь с выгнутой спиной по имени Клокло, он тычется ноздрями в наши ладони, протяжно вздыхает, дрожь электрическим током пробегает вдоль его позвоночника, прогоняя мух. По ту сторону ограды, отделяющей нас от монастырской общины, видно монахинь, играющих в мяч. Девочки медленно, пара за парой проходят по аллеям, перешептываются, волосы у них свободно падают на плечи или же подняты вверх по новой моде, и неизбежно наступает год, когда меняется цвет ленточки у нас в бутоньерке. Розовая — для группы малышей, зеленая — для нашей, синяя — для старших.

Смена ленточки — единственное событие, которое меня интересует, не считая посещений бывших воспитанниц в день праздника. Вдыхаешь запах улиц, который они принесли с собой. Им удалось ускользнуть из маленького мирка в большой мир, это сразу заметно по лукавому любопытству, с каким разговаривают с ними монахини, спрашивают даже, прикрывая ладонью улыбающийся рот, об их будущих детях.

Я гляжу на них во все глаза. Каролина тянет меня за руку.

— Берта, перестань на них так смотреть. Что у тебя за манера разглядывать людей, потом хло-

пот не оберешься с мальчишками, если будешь на них так пялиться.

Каролина только и думает, что о мальчишках. В поезде, который в субботу раз в месяц отвозит нас в Париж, она ухитряется строить глазки контролеру. И утверждает, что он отвечает ей тем же.

Когда мы в сентябре вернулись в пансион, Каролина, желая меня поразить, извлекла украденный у матери бюстгальтер и, уперев руки в бока, заявила:

— Спорим, что я надену его еще до весны?

— Бедная моя Берта. Мне он ни к чему, я и так заполучу себе дружка.

И потом каждый вечер в темноте мы развлекались тем, что рассказывали друг другу про Фредерика.

— К несчастью, ему приходится носить темные очки, даже когда он спит. Он обжег глаза, снимая солнце с борта реактивного самолета. Знаешь, на такой высоте небо страшно разрушает зрение. На землю он вернулся ослепшим, его мать просто сходила с ума от беспокойства.

Каролина делала вид, что сражена:

— Бедная моя Берта! Значит, когда вас станут фотографировать вдвоем, всегда будет казаться, что ты стоишь под руку с преступником, темные

очки на снимке выходят совсем как черная полоска на лице, если хотят, чтобы человек остался неузнанным.

— Подумай, зато это будет дьявольски удобно, когда он станет знаменитым.

Каролина от злости ворочалась в постели. Уткнув нос в подушку, она спросила:

— А какие фильмы он уже снял?

— О! — беззаботно отвечала я. — У него главное — планы. Планов выше головы, вечно он с самолета на самолет, то в Перу, то в Бретани. Боюсь, в этом году у него не будет времени повидаться со мной. Мы поженимся через четыре года.

— Бедняжка Берта, — вздыхала Каролина, — он найдет себе другую, в солнечных очках, в белых бикини на золотистой коже.

Я была спокойна. Фредерик предпочитает девушек с длинными темно-рыжими волосами, которые держатся до того прямо, что порой у них даже выступают тонкие бедренные кости, точно два межевых камушка, ограничивающие крошечное поле живота. Словом, таких, какой я стану позже.

— Ты в этом уверена, Берта?

— Послушай, Берта, он же мне пишет. И даже называет «моя козочка».

Но после первого же посещения родителей Каролина бегом примчалась по дорожке, посыпанной гравием, ее каштановые волосы мотались во все стороны, пронзительным голосом она звала под каждым окошком зеленого класса:

— Берта! Берта!

Распахнув дверь ударом ноги, она взглянула на меня, и ее коричневые глазки совсем сузились, она принялась орать:

— Лгунья ты, Берта, подлая лгунья! Твой Фредерик — просто выдумки. А на самом-то деле у тебя во время каникул умерла сестра, твоя мать написала об этом моей матери, просила, чтобы я была с тобой поласковей. Еще чего не хватало, буду я ласкова с такой лгуньей!

И все вдруг погрузилось в тусклую тишину, только гулко стучало мое сердце, удары его были точно подземные взрывы. Я посмотрела в окно, но ничего не увидела, кроме мутного пятна. Приподняв крышку парты, чтобы как-то укрыться за ней, я сказала:

— Клянусь тебе, Берта, это абсолютная ложь.

Каролина набросилась на меня, дергала меня за волосы и, не переставая, кричала:

— Лгунья, нет, ты мне скажешь правду!

Я тоже вцепилась ей в волосы, мне удалось да-

же укусить ее в ладонь, и она принялась орать, а я совсем озверела, и тут появилась сестра Долли.

— У нее умерла сестра, — задыхаясь, проговорила Каролина, — а она не хочет в этом признаться.

— Ох-хо, ужасно, бедная деточка, тише, тише, — выдохнула сестра Долли.

Она заключила меня в объятия, замкнула в кольцо своих запахов — пыли и кофе с молоком, — втянув носом подступавшие слезы, я высвободилась из ее объятий и сказала, глядя ей прямо и открыто в глаза, как она этого всегда требует:

— Нет, неправда. Мама недоносила младенчика, выкидыш — вот и все!

— What?[30]

— Младенчика, — повторила я, расставив ладони, чтобы показать, какой он крошечный. — Но у нее будет другой, правда!

Потом мы остались вдвоем, я и Каролина, в зеленом классе; мы попытались, сидя рядышком, читать «Моби Дика», не разговаривая, не глядя друг на друга. И вдруг я почувствовала, что это надвигается из самой глуби гниющих лесов, где

---

**[30] Примечания: 30**
Что? *(англ.)*

едва поставишь ногу на слой опавших листьев, как вокруг уже просачивается темный ореол, отпечаток следа. Я увидела, как на мои колени, на синий передник капают, расплываясь, темные пятна — одно за другим. Каролина тоже увидела их; она робко сказала:

— Послушай, Берта…

Я уткнулась в скрещенные на парте руки. Больше не о чем было спорить. Я сказала ей:

— Это злой поступок, Берта. Я хочу теперь, чтобы Клер оказалась здесь.

И я крепко-крепко прижалась лбом к дереву парты, устремив глаза в темноту, волны душе-леденящего-горя пробежали по моей спине, как у коня Клокло. Я канула в пустоту, в некий колодец, вырытый в центре бетонной пустыни, медленно погружалась туда вместе с остальной вселенной, с зеленым классом, сестрой Долли, папой, мамой, со всеми нами, неразличимыми, как крупицы слюды, поблескивающие на лестнице метро. Все мы — ничто, и если все мы и в самом деле ничто, Клер может вернуться, ведь позади нас пролегло столько тысячелетий, что мы теперь в равном положении.

Дрожь душе-леденящего-горя нежно окутала меня, стала настоящей нежностью, все возрас-

тающей нежностью, радостью, всеобъемлющей радостью. Я подняла голову: Клер была здесь.

Не видимая, нет, но живая, так что я даже забыла о самой себе, — замкнутая в стенах зеленого класса, с телом, растянутым между партами, классной доской и почти черным сейчас окном. Существовавшая во все множащихся зовах, которые перекрещивались вокруг нас, в свистке семичасового поезда, пронзительных голосах проходивших по коридору девочек, приглушенном шуме телевизора, долетавшем сюда.

— Берта, — шепотом сказала Каролина, — слушай, пошевелись. Надо зажечь свет, запрещено сидеть в темноте.

— Еще минутку. Слушай, Берта, я разгадала фокус, я могу теперь увидеть ее, когда пожелаю.

— А где? — дрогнувшим голосом спросила Каролина.

Я вскочила на ноги, расхохоталась: «Здесь» — и показала пальцем на кафедру, на доску, на все вокруг. Каролина издала стон.

— Мне страшно, Берта. Расскажи, какая она?

Мне просто хотелось взбесить Каролину, но это и в самом деле была Клер в желтой кофте с большим вырезом, в широких черных расклешенных брюках, в золотистых итальянских босоножках.

Волосы ее струились вдоль плеч, она бесшумно ступала по гравию, присоединившись к нам в аллее клиники в тот день, когда ее запаяли в гроб.

— Ничего не понимаю, Берта. Никогда не видела, чтобы она так одевалась, сама знаешь, мама ни за что бы не разрешила.

Мы зажгли свет и стали размышлять. Каролина грызла ногти.

— Послушай, Берта, если она уехала из дому, не попрощавшись, то, может, потому, что не хотела возвращаться. В таких случаях, знаешь, нарочно делаешь все, что было запрещено. Если я сбегу отсюда, уж будь уверена, я отправлюсь кататься на автоскутере вместе с железнодорожным контролером, я стану щекотать ему усы, и мы будем выплевывать скорлупу от арахиса прямо на землю. Представляешь себе выражение лица моей мамы, если ей об этом расскажут? И тут то же самое.

— А как она умерла? — шепотом спрашивала Каролина.

Ей без конца хотелось говорить о Клер. Я натягивала на голову простыню, но Каролина, свесившись с постели, щипала меня.

— Можно не беспокоиться, она уже сняла свой чепец.

В свете ночника сквозь матовое стекло каморки видна была голова сестры Долли — теперь она стала совсем круглой и не походила больше на парусник.

Все девочки спали, но нужно было дождаться, пока соседка Каролины, Луиза, засунет в рот три пальца и начнет их сосать, тогда можно быть уверенными, что не спим только мы двое. Я прошептала:

— Фредерик выстрелил в нее из револьвера, пуля попала в самое сердце.

— Ты врешь, Берта, — отвечала Каролина, даже не сердясь.

— Послушай, Берта, ведь это моя сестра, а не твоя.

— Ну так как же? — снова спрашивала Каролина.

— Она подорвалась на бомбе, и жандармам пришлось нарисовать ее фигуру на шоссе, чтобы ее могли опознать.

— Ну, ладно, — говорила Каролина, — я все равно узнаю правду.

Я затыкала уши, так что начинало шуметь в голове, выгибалась дугой от затылка до пят, но ни разу мне не удалось настичь Клер в том беспредельном просторе, куда она вырвалась,

ускользнув от объятий, приказов, разговоров. Я десятки, сотни раз беззвучно кричала:

— Клер, я хочу тебя видеть на самом деле, хоть разочек, только один разочек, явись.

Я чувствовала, что она приближается, и не смела дышать.

— Я не стану смотреть, обещаю, только приди, о, приди!

И тут воздух врывался в мои легкие, и шар, в котором я была заключена вместе с Клер, лопался. Тогда я отодвигалась на самый краешек кровати, чтобы оставить побольше места для Клер, если она вдруг придет ко мне во время сна.

— Ты спишь, Берта? — шептала Каролина.

— Да, Берта, молчи.

И я лежала не шевелясь. Никто на свете не обнаружил бы, что я жива, не приложив руку к моему сердцу.

Раз в месяц, в субботу, нам полагается ездить домой. В первую субботу, когда я вернулась, все прошло удачно, мама с подозрительным видом спросила:

— Ты не передаешь мне ни слова от сестры Долли? Ты уверена, что не забыла отдать ей мое письмо?

Я нагнулась, подтягивая носки, чтобы она не

видела моего лица.

— Она поминала Клер в своих вечерних молитвах, вот тебе, мама, доказательство, что она знает.

Мама снова успокоилась. Она то и дело раздвигала пошире шафрановые занавеси, расставляла по росту бутылки с ликером, шла взглянуть, действительно ли на стене появилось пятно из-за вечной нашей привычки, Оливье, Шарля и моей, всюду лезть со своими грязными лапами.

Папа состарился. Он все время звонил по телефону, громоздил одну папку на другую на письменном столе, отправлялся на машине фотографировать треугольник острием вниз (что должно было означать «стоп!») на перекрестке шоссе, где огромный «шевроле» задавил Клер. Папа без конца садился, вставал, разговаривал сам с собой.

— Он мне дорого заплатит. Я добьюсь, что у него отнимут права. Посмотрим, как он тогда станет торговать свиньями, передвигаясь на своих двоих. Я его в тюрьму упеку. Разорю. Миллионное возмещение убытков.

Оп всюду таскал с собой, зажав под мышкой, целую кучу счетов, ложась спать клал их рядом, на ночной столик, обращался к Некоему лицу, по-

хлопывая по листкам тыльной стороной ладони:

— Они все здесь, начиная со счета, предъявленного после родов, кончая расходами, в которые мы влезли ради ее замужества. Он мне еще заплатит за ее подвенечное платье. Может быть, он думает, что я так вот и отступлюсь от своего имущества? Ребенок — это капитал, и мы его отсудим!

Потом бессильно опускался на стул, начинал плакать, и его большое серое лицо вздрагивало. Мама молча делала мне знак подойти к нему, утешить. Но я, даже не взглянув, проходила мимо. Слезы внушали мне отвращение. Только когда ни в ком не нуждаешься, можно быстрее вырасти, уехать. Быть одной на свете. Одной и одновременно везде. Из Перу в Бретань в мгновение ока.

Скача на одной ножке по коридору, я повторяла:

— Вот так, да-да-да.

Все одеты в черное на этом процессе. Длинные ряды скамеек, как в нашем зеленом классе, почти пустых. Преподаватели выстроились в шеренгу у классной доски, лица их выпачканы мелом, только на месте рта красная черточка. На этот раз папа и мама оба худые. Они стоят, вцепившись руками в железный барьер. Есть тут и адвокат в

широкой мантии, от его стремительных шагов подол мантии развевается, как развеваются ее рукава, когда он воздевает вверх руки, провозглашая:

— Сто франков кило лососины, дамы-господа. Четыреста восемьдесят франков бежевая амазонка с коричневой отделкой, которую носят с брюками. Миллион франков за лужайку с миллионом травинок, где эта молодая девушка некогда выросла.

На шатающемся одноногом столике полосатый карлик с выкрашенной черной ваксой бороденкой при каждой цифре восклицает:

— Принято!

Чтобы все выглядело всерьез. Он крутит ручку счетной машинки, фиксируя сумму, бумажная лепта тянется, скручивается и в конце концов падает на пыльный паркет, ползет по полу, как толстый белый червь. А карлик совершает гигантский прыжок, ловко приземляется перед строем преподавателей и объявляет гнусавым голосом:

— Сто семьдесят семь тысяч восемьсот сорок часов подготовки ради того, чтобы умерла эта молодая девушка весом в сорок шесть килограмм… Сколько же получается у нас за кило, дамы-госпо-

да, чтобы я мог подбить итог.

— Есть возражение! — вопит адвокат. — Часы, когда светит солнце, гораздо дороже. Следует включить дополнительные расходы на клубничное мороженое, на дурацкие журналы, которые зимой не читают. А велосипед, взятый напрокат для последней прогулки, вы что, совсем сбрасываете со счетов?

Папа с жалобным видом открывает портфель, трясет его, желая продемонстрировать, что он пуст.

— У меня все забрали, — говорит он вяло. — Видите, ничего не осталось, прочие мои дети полностью девальвированы.

Старший преподаватель изо всей силы ударяет молотком, стук далеко разносится, он говорит папе:

— Вы оплатили свое право молчать, так воспользуйтесь же нм. Убийца, встаньте.

Появляется маленький, вполне приличный господин, он идет на четвереньках, старательно вытягивая ноги, чтобы не образовались мешки на новых серо-зеленых брюках, цвета нечищенного котла. Единственное, что у него неприлично, — это рот, в уголках которого вскипают белые пузырьки. Голоском младенца орангутанга, воло-

часть на коленях перед папой и мамой, протягивая к ним сложенные ладони, он взывает:

— Бог-отец и Бог-мать, простите меня, ведь я не погрешил против вас. За меня моя вера и еще крыло моей машины, взгляните сами на заключение экспертизы, краска лишь чуточку облупилась. Мой свидетель — солнце, оно подтвердит мои слова, ваша молодая девушка бросилась ко мне, она искала у меня защиты и спасения. Она сказала! «Наконец-то вы здесь, мсье, я вас ждала. Конечно, лицо ваше не слишком красиво, я знавала лица гораздо красивей, если бы вы видели, какие мне присылали из Перу. Но не будем терять зря времени, вы все же вполне приличны».

— Ложь! — кричит мама. — Мы ждали Клер к обеду.

Маленький господин грустно трясет головой:

— Я не стану лгать перед вами, Бог-мать. Она даже настояла, что оплатит свой проезд бриллиантовым кольцом стоимостью двести пятьдесят тысяч, которое носила на безымянном пальце левой руки. Вот заберите его, фактически она путешествовала вполне самостоятельно. Ох, боюсь, что в этой истории мной воспользовались просто как средством передвижения, не больше.

— В таком случае пусть мне вернут мое брил-

лиантовое кольцо, — объявляет бесстрастным голосом Ален.

— Как, и вы тоже здесь? — говорит мама. — Скажите, пожалуйста, по какому праву вы подслушиваете наши цифры? С любезностями покончено, голубчик мой. Вы годны только на то, чтобы жениться, вот и ждите, когда придет ваш черед. И помалкивайте, понятно?

— Так что же, — в нетерпении спрашивает бородатый карлик, — какой счет я вам выписываю?

— Добавьте к общей сумме треугольник острием вниз, — говорит папа. — Он не обратил внимания на «стоп», у нас есть свидетели.

Губы маленького господина складываются в капризную гримаску:

— Да я же говорю вам, она делала мне знаки. Она сама так захотела, да-да!

Старший преподаватель встает. Его огромный рост нагоняет на всех страх. Папа и мама чуточку толстеют, они садятся, они верят в правосудие и совершенно спокойны.

— Ваше блямканье мне надоело, — грубо заявляет преподаватель.

Все вздрагивают.

— Пусть мне переведут, пусть переведут! — умоляет бородатый карлик, прикладывая руку

трубочкой к уху.

— У меня за плечами большой опыт и большое знание человеческого сердца, — снова говорит старший преподаватель, — Короче, все вы будете осуждены. Вы, — он тычет пальцем в маленького господина, — потеряете свою собственную дочь, это отучит вас подбивать на путешествия несовершеннолетних без согласия родителей.

— У меня нет дочери, ваша честь, — извиняется маленький господин.

— Не имеет значения, — говорит преподаватель. — Тогда, значит, жену. От рака, это как раз подойдет для ее возраста.

Маленький господин тотчас скрючивается от боли на пыльном паркете.

— Это всего лишь колики, непроходимость кишечника, — стонет он, — умоляю вас, пощадите меня.

Папа начинает насмехаться, и сразу же темные одежды становятся ему слишком широки, он говорит:

— Да уж, от этого вы никак не разбогатеете!

И внезапно я просыпаюсь.

Я жду, когда молчаливая сова, раскинув огромные крылья, пролетит на бреющем полете над восемью стоящими в ряд кроватями в нашем

зеленом дортуаре. Луиза сосет засунутые в рот пальцы.

Каролина радостно икает во сне, потом раза два подгребает рукой.

Ночами мне тоскливо. Я сажусь на постели. В белой ночной рубашке я — бедуин, ожидающий зарю. Я закрываю глаза и вижу, как навстречу мне встает бескрайний, плоский небосвод, он опрокидывается, и я падаю. Пролетаю атмосферные слои, они поддаются один за другим, разрываются, словно перепонки, а в самом конце — узкий проход, окруженный красным кольцом, он все сужается, и я не могу, не могу его преодолеть.

— Клер, Клер!

И она приходит, обжигающая, да, она как ожог, рывком хватает меня за плечи, и я выпрыгиваю из своей скользкой кожи, и приземляюсь на ноги, раскинув руки, как акробат в цирке, приветствую публику.

— Вот здорово, дружок! — говорит Клер и хлопает длинными ресницами, изображая куклу с закрывающимися глазами.

С каждой секундой она отступает все дальше, я следую за ней по прямой, натянутой до предела, туда, где гуляет ветер, от которого перехватывает дыхание. Клер шагает слишком быстро, я не по-

спеваю за ней, она закладывает волосы за уши, бросает смеющийся взгляд через плечо:

— Вырастай поскорее, тогда я тебе все расскажу.

И она продолжает удаляться, нарочно переплетая ноги в розовых носках, ни разу не споткнувшись.

— Послушай, Клер, они хотят устроить судебный процесс, они уже все облачились в черное…

Клер не принимает меня всерьез. К несчастью, она ждет, когда я вырасту.

Она запирается вместе с Фредериком в маленьком домике-склепе. Непринужденно берет его за руку, говорит ему:

— Надеюсь, дорогой мой, вы со мной согласитесь, хорошо живется только под землей. У нас повсюду будут подушки, белые цветы, а солнце мы станем вдыхать через соломинку в крыше.

Если вам надо будет отлучиться, вы лишь слегка прикроете меня землей, так, чтобы лицо выглядывало и я могла улыбаться, дожидаясь вашего возвращения. Я даже, если мне заблагорассудится, положу ту, другую свою улыбку в карман вашего пиджака, она будет оттуда выглядывать с заледеневшими, синеватыми зубами и с носом, кажущимся еще меньше, может быть, от-

того, что щеки и подбородок распухли. Видите ли, я разбилась, когда спешила на встречу с вами.

Кстати, пока я не забыла, последняя деталь: наше свидание на Полярной звезде невозможно. Представьте себе, небо в той стороне, где Перу, совершенно иное, там нет Полярной звезды, моя младшая сестренка смотрела по атласу, и мне не хотелось бы, чтобы вы глупейшим образом блуждали среди незнакомых нам звезд. Я боюсь, как бы они не вырыли зияющие черные ямы у вас под ногами и не нарушили нашу тишину, постепенно заполнив ее мертвенным шелестом глубинных вод.

И что-то завопило в темноте, и они опустили на землю эту штуку, гроб. У Шарля стали стучать зубы, мама поддерживала его челюсть ладонью, а голову уткнула себе в юбку. Белые корни прорезывали кучу земли. И гроб на веревках начали погружать в яму, и все бросали по горсти земли.

Все бросали землю, мама, я хочу видеть маму!

Пусть мы будем совсем еще маленькие, и пусть будет июльское воскресенье, и пусть мы собираемся сесть за стол, и пусть придет Клер, и ничего не поделаешь, если даже я не вырасту.

Сестра Долли зажигает свет, появляется на пороге в смешном чепце на маленькой головке, все

девочки толпятся вокруг моей постели, и я прекрасно вижу, что Берта трусит, рот у нее открыт. Сестра Долли заставляет меня выпить какую-то горькую водичку.

— Это, чтобы вы успокоились, бромистый препарат. Ничего, деточка, вас мучили кошмары, а теперь все прошло.

Но я-то прекрасно знаю, что это никогда не пройдет.

— Никогда, никогда. — И я сжимаю ее крепкую руку. — Не давайте мне уснуть, я так боюсь уснуть, не желаю больше спать.

Она обещает разбудить меня, если я засну; она посидит рядом, гаснут огни, и мы друг за дружкой, гуськом, погружаемся в сон, а сестра Долли молится, чтобы мы уснули, и говорит: «Господь мой пастырь», она бодрствует над нами, мы — хранимые ею белоснежные агнцы.

Наступает утро, и, пока мы ввосьмером чистим зубы, стоя перед восьмью умывальниками, голые, в одних трусиках, сестра Долли смотрит на меня.

— Честное слово, — шепчет Каролина, — ты совсем не меняешься.

Не моя вина, если мама купила мне семь совершенно одинаковых трусиков.

— Ну и переполох же ты устроила ночью, —

продолжает Каролина.

Ей ужасно хотелось бы, чтобы я болтала с ней, как прежде. Я пытаюсь, говорю:

— Это из-за твоей башки у меня кошмары, Берта.

Я не знаю, что еще сказать. Огромный «шевроле» в 40 лошадиных сил все катится, проезжает в зеркало умывальника, стекло искажает его очертания, словно кузов отражается в витрине. Одна за другой тянутся квадратные горы Перу, то видимые, то скрытые темными очками. Я надеюсь, что там есть небоскребы, которые карабкаются все выше и выше в облака, улицы, ровные, словно вытянутые по веревочке, освещенные желтыми пучками света. Огромные орангутанги, небрежно прислонясь к дверному косяку, провожают взглядом фигурки в желтых кофтах с большим вырезом, в черных широких расклешенных брюках и на ходу нашептывают им:

— Вы гуляете в одиночестве, вы смотрите вокруг, придете?

Никто не отвечает. Клер ушла. Мама стоит, пошатываясь, в коридоре нашей парижской квартиры, в темном коридоре, тянущемся бесконечно, — мамина фигурка съеживается, качается, она удерживает равновесие, хватаясь обеими

руками за стену. Взгляд у нее немного безумный от бессильного горя, взгляд, который появился после смерти Клер; она говорит:

— Я ищу свое маленькое сокровище.

Это уж полное идиотство. У папы вокруг шеи повязана салфетка, лицо у него серьезное, пылающее, и таким же пылающим голосом он спрашивает:

— Что произошло?

Спина у бабушки совсем согнулась под тяжестью жемчужного колье; она неустанно приподнимает его обеими руками все тем же привычным движением и говорит:

— Вот что сохраняет мне молодость. И еще мой список запретов, чего вам больше?

Она до того старая, что просто не верится. Застывшая на негативе Валери лежит на животе, ее улыбка расплющена стеклом фотопластинки. Она считает, что о Клер нечего больше говорить.

Белая поверхность умывальников, душевой головокружительно сверкает, ничто уже не способно удержать меня, я скольжу с неслыханной скоростью, не встречая препятствий, по новой белой дороге, вокруг меня градом падают секунды, но я проношусь сквозь них. Местами они образуют пласты непрозрачного льда, подобного

матовому стеклу, и я сворачиваю в сторону, вхожу в полосу зноя, влажного зноя, она извивается острыми, как черви, спиралями, которые сверлят землю, выбрасывая на поверхность грязные брызги. Когда будет пробит туннель, я вплыву в него с раскрытым ртом, чтобы вдохнуть воздух, и жизнь, и землю.

Я повторяю вслед за Клер:

— Но в чем же смысл? Не могу понять. Ничего не понимаю. Я уже не знаю, чего жду. Я больше не знаю, что с нами происходит.

А потом сестра Долли хлопает в ладоши. Перед тем как принять душ, мы должны построиться в линейку, на расстоянии вытянутых рук, для того чтобы наклоняться, подниматься на носках и приседать — раз, два, раз, два.

Затем время пить шоколад с молочными булочками; мы с Каролиной поспешно набиваем полный рот и стараемся смеяться как полоумные, делая вид, что делимся какими-то секретами, которые остальные девочки не смогут понять. По средам у нас бывает геометрия. В пятницу принимаем ванну. Когда у сестры Долли выдается минут пять свободных, она, закрывшись в музыкальном зале, играет «Желтые розы Техаса». Вечно «Желтые розы Техаса».

Каждое утро мы сидим за партами в зеленом классе, заложив руки за спину, и часто на меня падает солнце, а сзади Каролина хлопает меня по голове учебником.

Как-то раз в декабре Каролина ворвалась как сумасшедшая. Я читала «Моби Дика», лежа на постели в зеленом дортуаре, а на улице шел дождь. Всю зиму я читала «Моби Дика». Я стала уже думать, что на самом-то деле белый кит вовсе был черным и что капитан Ахав виноват не меньше, чем он. Что означают эти бесконечные погони друг за другом по всем океанам?

— Берта, — сказала Каролина, обеими руками придерживая бурно вздымавшуюся грудь под темно-синим передником, — там тебя ждет какой-то мужчина. Настоящий, клянусь, он, того и гляди, начнет расточать улыбочки сестре Долли, иди скорей!

Я поднялась с постели, мне пришлось сосчитать до пятнадцати, прежде чем я соблаговолила сделать следующее движение.

— Скорей! — твердила Каролина.

Она в нетерпении сама подтянула мои носки, развязала мой передник и расстегнула верхнюю пуговичку на форменном платье, заявив:

— Так ты похожа на молодую девушку. А вдруг

это Фредерик? Ты мне расскажешь, а, Берта?

— Да, Берта.

Только губы мои шевелились.

В вестибюле, который вел в приемную, и заметила стоявшего ко мне спиной белокурого, очень высокого мужчину во фланелевом костюме жемчужного цвета, таком, как у папы в те времена, когда он был настоящим франтом и носил трость с серебряным набалдашником.

— Хоп! — Щелкнув пальцами, он повернулся. — Иди же сюда! Тебя что, парализовало?

Я узнала Алена. Я подошла к нему, чтобы вежливо его поцеловать; он остановил меня, отстранил на расстояние вытянутой руки.

— Да ты растешь не по дням, а по часам! А волосы! Ты что, собираешься их отпускать?

— Как Клер. Папа с мамой не приехали?

— В качестве делегации явился я. И смел думать, что ты очень этому обрадуешься!

Лицо его морщилось в улыбке. Он взял меня за плечи и, забыв пропустить вперед в дверях, повел к машине, потому что в приемной было слишком много народу. Мы устроились с ним, я — за рулем, а он — на месте пассажира, скрытые запотевшими от дождя стеклами. Он достал с заднего сиденья белый сверток, ухватив его за

кончик ленты.

— Догадайся, что там?

— Пирожные.

Ален улыбнулся. Потом выдал другие улыбки, пуская в ход челюстные мышцы, если одна из них вдруг застревала надолго. А потом скрестил на груди руки и сказал, что в машине холодновато. Вздохнул. Снова скрестил руки. Пожелал, чтобы я сначала ела пирожные, а поговорим мы после. Открыл коробку с шоколадными эклерами, самыми моими любимыми, и я принялась их жевать, стараясь производить как можно более шума. Сначала никакого другого шума не было слышно. Только дождь, да еще ветер шелестел в тополях.

Ален заметил, что ветер подул сильнее. Это было неправдой. Он зевнул, хлопнул меня по коленке.

— Ты и в самом деле не любопытна. Даже не спрашиваешь, что я собираюсь тебе сообщить.

С набитым ртом я потрясла головой — то ли «да», то ли «нет».

Разделавшись с пятью шоколадными эклерами, я положила руки на руль, делая вид, что веду машину, вслушиваясь в тишину дождя, которую нарушал, быть может, лишь легкий скрежет зубчатых колесиков в часах на запястье Алена.

Ален закурил сигарету. Несколько раз затянулся, вздохнул полной грудью и сказал:

— Ну вот, надеюсь, ты будешь довольна: я женюсь на Валери.

Я опустила стекло со своей стороны, высунула наружу голову, запрокинув кверху лицо, и почувствовала, как мелкие освежающие капли потекли по вискам, вдоль носа и щек; я ловила их языком.

— Ужасно люблю дождь.

И я широко улыбнулась. Освежающий дождь падал на целый свет, на Перу, на Аляску, на Австралию, нависал над нами, словно драпировка, его складки мягко окутывали дни и ночи, все то, что готовит последний удар, тот, от которого зубы леденеют и делаются синеватыми, а веки остаются полуприкрытыми. Блестящими глазами Ален следил, какой эффект произведет его новость.

— Так что же ты на это скажешь?

Он приподнял пальцем мой подбородок и с коротким смешком шепнул:

— Знаешь, будь ты постарше, я, верно, женился бы на тебе!

Каролина подстерегала меня у двери вестибюля, сидя на плюшевом диване; глаза ее были сощурены, а на лице застыла гримаса, словно от

любопытства у нее чесался кончик носа. Девочки медленно проходили парами, шепотом передавая друг другу новости, которые узнали в приемной. Вскоре наступит время мыть руки перед обедом. Из зала для музыкальных занятий доносились звуки пианино — «Желтые розы Техаса». Сестра Долли вечно играет «Желтые розы Техаса».

Когда я вошла, Каролина бросилась ко мне, ткнувшись ртом прямо в мои волосы:

— Ну, Берта, рассказывай!

Движением плеч я высвободилась от нее.

— Да ничего интересного, Берта. Еще один тип хотел на мне жениться. Вот и все.